

Annotation

Герой романа знаменитого чешского писателя Ярослава Гашека бравый солдат Швейк фигура одновременно комическая и трагедийная. Этот «маленький человек» литературы XX века — носитель народной смекалки и оптимизма — зримо известен всему миру по незабываемым иллюстрациям Йозефа Лады. Роман вошёл в сокровищницу мировой литературы.

Есть и ещё одно мнение об этой книге — это литература для настоящих мужчин, потому как казарменный юмор солоноват на женский вкус.

СОДЕРЖАНИЕ

Ярослав ГАШЕК

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА



Ярослав Гашек

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА ВО ВРЕМЯ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Перевод
С ЧЕШСКОГО

Иллюстрации
ЙОЗЕФА ЛАДЫ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва · 1963

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В ТЫЛУ

Предисловие

Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона. История ничего не говорит о них. Но при внимательном анализе их слава затмила бы даже славу Александра Македонского. В наше время вы можете встретить на пражских улицах бедно одетого человека, который и сам не подозревает, каково его значение в истории новой, великой эпохи. Он скромно идёт своей дорогой, ни к кому не пристаёт, и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью. Если бы вы спросили, как его фамилия, он ответил бы просто и скромно: «Швейк».

И действительно, этот тихий, скромный человек в поношенной одежде — тот самый бравый солдат Швейк, отважный герой, имя которого ещё во времена Австро-Венгрии не сходило с уст всех граждан чешского королевства и слава которого не померкнет и в республике.

Я искренне люблю бравого солдата Швейка и, представляя вниманию читателей его похождения во время мировой войны, уверен, что все будут симпатизировать этому непризнанному герою. Он не поджёг храма богини в Эфесе, как это сделал глупец Герострат для того, чтобы попасть в газеты и школьные хрестоматии. И этого вполне достаточно.

Автор

Глава I
ВТОРЖЕНИЕ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА В МИРОВУЮ ВОЙНУ

Убили, значит, Фердинанда-то нашего, — сказала Швейку его служанка.

Швейк несколько лет тому назад, после того как медицинская комиссия признала его идиотом, ушёл с военной службы и теперь промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные.

Кроме того, он страдал ревматизмом и в настоящий момент растирал себе колени оподельдоком.

— Какого Фердинанда, пани Мюллерова? — спросил Швейк, не переставая массировать колени. — Я знаю двух Фердинандов. Один служит у фармацевта Пруши. Как-то раз по ошибке он выпил у него бутылку жидкости для ращения волос; а ещё есть Фердинанд Кокошка, тот, что собирает собачье дерьмо. Обоих ни чуточки не жалко.

— Нет, эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили. Того, что жил в Конопиште, того толстого, набожного…

— Иисус Мария! — вскричал Швейк. — Вот-те на! А где это с господином эрцгерцогом приключилось?

— В Сараеве его укокошили, сударь. Из револьвера. Ехал он со своей эрцгерцогиней в автомобиле…

— Скажите на милость, пани Мюллерова, в автомобиле! Конечно, такой барин может себе это позволить. А наверно, и не подумал, что автомобильные поездки могут так плохо кончиться. Да ещё в Сараеве! Сараево это в Боснии, пани Мюллерова… А подстроили это, видать, турки. Нечего нам было отнимать у них Боснию и Герцеговину… Вот какие дела, пани Мюллерова. Эрцгерцог, значит, приказал долго жить. Долго мучился?

— Тут же помер, сударь. Известно — с револьвером шутки плохи. Недавно у нас в Нуслях один господин забавлялся револьвером и перестрелял всю семью да ещё швейцара, который пошёл посмотреть, кто там стреляет с четвёртого этажа.

— Из иного револьвера, пани Мюллерова, хоть лопни — не выстрелишь. Таких систем — пропасть. Но для эрцгерцога, наверно, купили что-нибудь этакое, особенное. И я готов биться об заклад, что

человек, который стрелял, по такому случаю разоделся в пух и прах. Известно, стрелять в эрцгерцога — штука нелёгкая. Это не то, что браконьеру подстрелить лесника. Всё дело в том, как до него добраться. К такому барину в лохмотьях не подойдёшь. Непременно нужно надеть цилиндр, а то того и гляди сцапает полицейский.

— Там, говорят, народу много было, сударь.

— Разумеется, пани Мюллерова, — подтвердил Швейк, заканчивая массаж колен. — Если бы вы, например, пожелали убить эрцгерцога или государя императора, вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо — два лучше. Один присоветует одно, другой — другое, «и путь открыт к успехам», как поётся в нашем гимне. Главное — разнюхать, когда такой барин поедет мимо. Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? Ведь он с ней прогуливался. Вот и верьте после этого людям!

С той поры ни одна императрица не ходит гулять пешком. Такая участь многих ещё поджидает. Вот увидите, пани Мюллерова, они доберутся и до русского царя с царицей, а может быть, не дай бог, и до нашего государя императора, раз уж начали с его дяди. У него, у старика-то, много врагов, побольше ещё, чем у Фердинанда. Недавно в трактире один господин рассказывал: «Придёт время — эти императоры полетят один за другим, и им даже государственная прокуратура не поможет». Потом оказалось, что этому типу нечем расплатиться за пиво, и трактирщику пришлось позвать полицию, а он дал трактирщику оплеуху, а полицейскому — две. Потом его увезли в корзине очухаться… Да, пани Мюллерова, странные дела нынче творятся! Значит, ещё одна потеря для Австрии. Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил ружьё и пошёл в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он — всё своё: должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял ружьё и — бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да ещё наделала в канцелярии бед: раскололо бутылку с чернилами, и они залили служебные бумаги.

— А что стало с тем солдатом? — спросила минуту спустя пани Мюллерова, когда Швейк уже одевался.

— Повесился на помочах, — ответил Швейк, чистя свой котелок. — Да помочи-то были не его, он их выпросил у тюремного сторожа. У него, дескать, штаны спадают. Да и то сказать — не ждать же, пока тебя расстреляют? Оно понятно, пани Мюллерова, в таком положении хоть у кого голова пойдёт кругом! Тюремного сторожа разжаловали и вкатили ему шесть месяцев, но он их не отсидел, удрал в Швейцарию и теперь

проповедует там в какой-то церкви. Нынче честных людей мало, пани Мюллерова. Думается мне, что эрцгерцог Фердинанд тоже ошибся в том человеке, который его застрелил. Увидел небось этого господина и подумал: «Порядочный, должно быть, человек, раз меня приветствует». А тот возьми, да и хлопни его. Одну всадил или несколько?

— Газеты пишут, что эрцгерцог был, как решето, сударь. Тот выпустил в него все патроны.

— Это делается чрезвычайно быстро, пани Мюллерова. Страшно быстро. Для такого дела я бы купил себе браунинг: на вид игрушка, а из него можно в два счёта перестрелять двадцать эрцгерцогов, хоть тощих, хоть толстых. Впрочем, между нами говоря, пани Мюллерова, в толстого эрцгерцога вернее попадёшь, чем в тощего. Вы, может, помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? Во какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет… Ну, я пошёл в трактир «У чаши». Если придут брать терьера, за которого я взял задаток, то скажите, что я держу его на своей псарне за городом, что недавно подрезал ему уши и, пока уши не заживут, перевозить щенка нельзя, а то их можно застудить. Ключ оставьте у привратницы.

В трактире «У чаши» сидел только один посетитель. Это был агент тайной полиции Бретшнейдер. Трактирщик Паливец мыл посуду, и Бретшнейдер тщетно пытался завязать с ним серьёзный разговор.

Паливец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него было «задница» или «дерьмо». Но он был весьма начитан и каждому советовал прочесть, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо.

— Хорошее лето стоит, — завязывал Бретшнейдер серьёзный разговор.

— А всему этому цена — дерьмо! — ответил Паливец, убирая посуду в шкаф.

— Ну и наделали нам в Сараеве делов! — со слабой надеждой промолвил Бретшнейдер.

— В каком «Сараеве»? — спросил Паливец. — В нусельском трактире, что ли? Там драки каждый день. Известное дело — Нусле!

— В боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?

— Я в такие дела не лезу. Ну их всех в задницу с такими делами! — вежливо ответил пан Паливец, закуривая трубку. — Нынче вмешиваться в такие дела — того и гляди сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какое-то Сараево, политика или там

покойный эрцгерцог — нас это не касается. Не про нас это писано. Это Панкрацем пахнет.

Бретшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир.

— А когда-то здесь висел портрет государя императора, — помолчав, опять заговорил он. — Как раз на том месте, где теперь зеркало.

— Вы справедливо изволили заметить, — ответил пан Паливец, — висел когда-то. Да только гадили на него мухи, так я убрал его на чердак. Знаете, ещё позволит себе кто-нибудь на этот счёт замечание, и посыплются неприятности. На кой чёрт мне это надо?

— В этом Сараеве, должно быть, скверное дело было? Как вы полагаете, уважаемый?..

На этот прямо поставленный коварный вопрос пан Паливец ответил чрезвычайно осторожно:

— Да, в это время в Боснии и Герцеговине страшная жара. Когда я там служил, мы нашему обер-лейтенанту то и дело лёд к голове прикладывали.

— В каком полку вы служили, уважаемый?

— Я таких пустяков не помню, никогда не интересовался подобной мерзостью, — ответил пан Паливец. — На этот счёт я не любопытен. Излишнее любопытство вредит.

Тайный агент Бретшнейдер окончательно умолк, и его нахмуренное лицо повеселело только с приходом Швейка, который, войдя в трактир, заказал себе чёрного пива, заметив при этом:

— В Вене сегодня тоже траур.

Глаза Бретшнейдера загорелись надеждой, и он быстро проговорил:

— В Конопиште вывешено десять чёрных флагов.

— Нет, их должно быть двенадцать, — сказал Швейк, отпив из кружки.

— Почему вы думаете, что двенадцать? — спросил Бретшнейдер.

— Для ровного счёта — дюжина. Так считать легче, да на дюжину и дешевле выходит, — ответил Швейк.

Воцарилась тишина, которую нарушил сам Швейк, вздохнув:

— Так, значит, приказал долго жить, царство ему небесное! Не дождался даже, пока будет императором. Когда я служил на военной службе, один генерал упал с лошади и расшибся. Хотели ему помочь, посадить на коня, посмотрели, а он уже готов — мёртвый. А ведь метил в фельдмаршалы. На смотру это с ним случилось. Эти смотры никогда до добра не доводят. В Сараеве небось тоже был какой-нибудь смотр. Помню, как-то на смотру у меня на мундире не хватило двадцати пуговиц, и за это меня посадили на четырнадцать дней в одиночку. И два дня я, как Лазарь,

лежал связанный «козлом». На военной службе должна быть дисциплина — без неё никто бы и пальцем для дела не пошевельнул. Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: «Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!» Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.

— Всё это сербы наделали, в Сараеве-то, — старался направить разговор Бретшнейдер.

— Ошибаетесь, — ответил Швейк. — Это всё турки натворили. Из-за Боснии и Герцеговины.

И Швейк изложил свой взгляд на внешнюю политику Австрии на Балканах: турки проиграли в тысяча девятьсот двенадцатом году войну с Сербией, Болгарией и Грецией; они хотели, чтобы Австрия им помогала, а когда этот номер у них не прошёл — застрелили Фердинанда.

— Ты турок любишь? — обратился Швейк к трактирщику Паливцу. — Этих нехристей? Ведь нет?

— Посетитель как посетитель, — сказал Паливец, хоть бы и турок. Нам, трактирщикам, до политики никакого дела нет. Заплати за пиво, сиди себе в трактире и болтай что в голову взбредёт — вот моё правило. Кто бы ни прикончил нашего Фердинанда, серб или турок, католик или магометанин, анархист или младочех, — мне всё равно.

— Хорошо, уважаемый, — промолвил Бретшнейдер, опять начиная терять надежду, что кто-нибудь из двух попадётся. — Но сознайтесь, что это большая потеря для Австрии.

Вместо трактирщика ответил Швейк:

— Конечно, потеря, спору нет. Ужасная потеря. Фердинанда не заменишь каким-нибудь болваном. Но он должен был быть потолще.

— Что вы хотите этим сказать? — оживился Бретшнейдер.

— Что хочу сказать? — с охотой ответил Швейк. — Вот что. Если бы он был толще, то его уж давно бы хватил кондрашка, ещё когда он в Конопиште гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. Будь он толще, ему бы не пришлось умереть такой позорной смертью. Ведь подумать только — дядя государя императора, а его пристрелили! Это же позор, об этом трубят все газеты! Несколько лет назад у нас в Будейовицах на базаре случилась небольшая ссора: проткнули там одного торговца скотом, некоего Бржетислава Людвика. А у него был сын Богуслав, — так тот, бывало, куда ни придёт продавать поросят, никто у него ничего не покупает. Каждый, бывало, говорил себе: «Это сын того,

которого проткнули на базаре. Тоже небось порядочный жулик!» В конце концов довели парня до того, что он прыгнул в Крумлове с моста во Влтаву, потом пришлось его оттуда вытаскивать, пришлось воскрешать, воду из него выкачивать… И всё же он помер на руках у доктора, после того как тот ему впрыснул чего-то.

— Странное, однако, сравнение, — многозначительно произнёс Бретшнейдер. — Сначала говорите о Фердинанде, а потом о торговце скотом.

— А какое тут сравнение, — возразил Швейк. — Боже сохрани, чтобы я вздумал кого-нибудь с кем-нибудь сравнивать! Вон пан Паливец меня знает, верно ведь, что я никогда никого ни с кем не сравнивал? Я бы только не хотел быть в шкуре вдовы эрцгерцога. Что ей теперь делать? Дети осиротели, имение в Конопиште без хозяина. Выходить за второго эрцгерцога? Что толку? Поедет опять с ним в Сараево и второй раз овдовеет… Вот, например, в Зливе, близ Глубокой, несколько лет тому назад жил один лесник с этакой безобразной фамилией — Пиндюр. Застрелили его браконьеры, и осталась после него вдова с двумя детьми. Через год она вышла замуж опять за лесника, Пепика Шалловица из Мыловар, ну и того тоже как-то раз прихлопнули. Вышла она в третий раз опять за лесника и говорит: «Бог троицу любит. Если уж теперь не повезёт, не знаю, что и делать». Понятно, и этого застрелили, а у неё уже от этих лесников круглым счётом было шестеро детей. Пошла она в канцелярию самого князя, в Глубокую, и плакалась там, какое с этими лесниками приняла мучение. Тогда ей порекомендовали выйти за Яреша, сторожа с Ражицкой запруды. И — что бы вы думали? — его тоже утопили во время рыбной ловли! И от него она тоже прижила двух детей. Потом она вышла замуж за коновала из Воднян, а тот как-то ночью стукнул её топором и добровольно сам о себе заявил. Когда его потом при окружном суде в Писеке вешали, он укусил священника за нос и заявил, что вообще ни о чём не сожалеет, да сказал ещё что-то очень скверное про государя императора.

— А вы не знаете, что он про него сказал? — голосом, полным надежды, спросил Бретшнейдер.

— Этого я вам сказать не могу, этого ещё никто не осмелился повторить. Но, говорят, его слова были такие ужасные, что один судейский чиновник, который присутствовал там, с ума спятил, и его ещё до сих пор держат в изоляции, чтобы ничего не вышло наружу. Это не было обычное оскорбление государя императора, какие спьяна делаются.

— А какие оскорбления государю императору делаются спьяна? — спросил Бретшнейдер.

— Прошу вас, господа, перемените тему, — вмешался трактирщик Паливец. — Я, знаете, этого не люблю. Сбрехнут какую-нибудь ерунду, а потом человеку неприятности.

— Какие оскорбления наносятся государю императору спьяна? — переспросил Швейк. — Всякие. Напейтесь, велите сыграть вам австрийский гимн, и сами увидите, сколько наговорите. Столько насочините о государе императоре, что, если бы лишь половина была правда, хватило бы ему позору на всю жизнь. А он, старик, по правде сказать, этого не заслужил. Примите во внимание: сына Рудольфа он потерял во цвете лет, полного сил, жену Елизавету у него проткнули напильником, потом не стало его брата Яна Орта, а брата — мексиканского императора — в какой-то крепости поставили к стенке. А теперь на старости лет у него дядю подстрелили. Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нём и начнёт поносить. Если теперь что-нибудь разразится, пойду добровольцем и буду служить государю императору до последней капли крови! — Швейк основательно хлебнул пива и продолжал: — Вы думаете, что государь император всё это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. «Убили моего дядю, так вот вам по морде!» Война будет, это как пить дать. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка!

В момент своего пророчества Швейк был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Всё у него выходило просто и ясно.

— Может статься, — продолжал он рисовать будущее Австрии, — что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, других таких в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и всё пойдёт как по маслу. Война будет, больше я вам не скажу ничего.

Бретшнейдер встал и торжественно произнёс:

— Больше вам говорить и не надо. Пройдёмте со мною на пару слов в коридор.

Швейк вышел за агентом тайной полиции в коридор, где его ждал небольшой сюрприз: собутыльник показал ему орла и заявил, что Швейк арестован и он немедленно отведёт его в полицию. Швейк пытался объяснить, что тут, по-видимому, вышла ошибка, так как он совершенно невинен и не обмолвился ни единым словом, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.

Но Бретшнейдер на это заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена.

Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу:

— Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне ещё рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.

Бретшнейдер показал Паливцу своего орла, с минуту глядел на трактирщика и потом спросил:

— Вы женаты?

— Да.

— А может ваша жена вести дело вместо вас?

— Может.

— Тогда всё в порядке, уважаемый, — весело сказал Бретшнейдер. — Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.

— Не тревожься, — утешал Паливца Швейк. — Я арестован всего только за государственную измену.

— Но я-то за что? — заныл Паливец. — Ведь я был так осторожен!

Бретшнейдер усмехнулся и с победоносным видом пояснил:

— За то, что вы сказали, будто на государя императора гадили мухи. Вам этого государя императора вышибут из головы.

Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей обычной добродушной улыбкой:

— Мне сойти с тротуара?

— Зачем?

— Раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару. Я так полагаю.

Входя в ворота полицейского управления, Швейк заметил:

— Славно провели время! Вы часто бываете «У чаши»?

В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая её:

— Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора?

Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как сумел он столь далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал «У чаши», то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.

Глава II
БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК В ПОЛИЦЕЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик инспектор, встречая их в канцелярии для приёма арестованных, добродушно говорил:

— Этот Фердинанд вам дорого обойдётся!

Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже, он нашёл там общество из шести человек. Пятеро сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой — мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что кого посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ.

— Из-за Сараева.

— Из-за Фердинанда.

— Из-за убийства эрцгерцога.

— За Фердинанда.

— За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога.

Шестой, — он всех сторонился, — заявил, что не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрения, — он сидит тут всего лишь за попытку убийства голицкого мельника с целью грабежа.

Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как попали в тюрьму.

Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин с заплаканными глазами в очках; он был арестован у себя на квартире, потому что за два дня до сараевского покушения заплатил по счёту за двух сербских студентов-техников «У Брейшки», а кроме того, агент Брикси видел его, пьяного, в обществе этих студентов в «Монмартре» на Ржетезовой улице, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счёту.

На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу:

— У меня писчебумажный магазин!

На что получал такой же стереотипный ответ:

— Это для вас не оправдание.

Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он, заканчивая общий психологический анализ покушения, объявил:

— Идея покушения проста, как колумбово яйцо.

— Как то, что вас ждёт Панкрац, — дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе.

Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Годковичках «Добролюб». В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой. Пришёл жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель Добролюбах добродушно сказал:

— Подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне».

Теперь он сидел повесив голову и причитал:

— В августе состоятся перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу.

Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с четвёртым арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за «марьяжем», побив трефового короля козырной бубновой семёркой, сказал:

— Семь пулек, как в Сараеве!

У пятого, который, как он сам признался, сидит «из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве», ещё до сих пор от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала морду лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не вымолвил ни единого слова, этот даже не читал газет об убийстве Фердинанда: в полном одиночестве он сидел у стола, как вдруг к нему подошёл какой-то господин, сел напротив и быстро спросил:

— Читали об этом?

— Не читал.

— Знаете про это?

— Не знаю.

— А знаете, в чём дело?

— Не знаю и знать не желаю.

— Всё-таки это должно было бы вас интересовать.

— Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?

— Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?

— Меня вообще никакие убийства не интересуют. Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать.

На том разговор и окончился. С этого момента через каждые пять минут он только громко уверял:

— Я не виновен, я не виновен!

С этими словами он вошёл в ворота полицейского управления. И то же самое он будет твердить, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдёт и в свою тюремную камеру.

Выслушав эти страшные истории государственных изменников, Швейк счёл уместным разъяснить заключённым всю безнадёжность их положения.

— Наше дело дрянь, — начал он слова утешения. — Это неправда, будто вам, всем нам ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Всё это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберётся, тем лучше для нас: веселее будет. Когда я служил на военной службе, у нас как-то посадили полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами! Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорождённых близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у неё родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить, её всё-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмём, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавочку в ночь под рождество: он клялся, что зашёл погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия — дело плохо. Плохо, да ничего не попишешь. Всё-таки надо признать, — не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьёзное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будейовицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была

капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперёд каждый десятый». Само собою разумеется, я оказался десятым. Стали по стойке «смирно» и «не моргни». Капитан расхаживает перед нами и орёт: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас сделать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуску не дам, всех на две недели без отпуска!..» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был что надо.

— Я не виновен, я не виновен! — повторял взъерошенный человек.

— Иисус Христос был тоже невинен, а его всё же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Maul halten und weiter dienen»,[1] как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело.

Швейк лёг на койку и спокойно заснул.

Между тем привели двух новичков. Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадёт лоток с товаром. Вторым был трактирщик Паливец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул:

— Я уже здесь!

Швейк сердечно пожал ему руку и сказал:

— Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность — вещь хорошая.

Но Паливец заявил, что такой точности цена — дерьмо, и шёпотом спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные: ему как трактирщику это может повредить.

Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства голицкого мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании: сидят из-за эрцгерцога.

Паливец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя императора.

— Замарали мне его, бестии, — закончил он описание своих злоключений, — и под конец довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу! — добавил он угрожающе.

Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвести на допрос.

Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нёс свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись: «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами:

— Добрый вечер всей честной компании!

Вместо ответа кто-то дал ему под рёбра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошёл со страницы книги Ломброзо «Типы преступников».

Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:

— Не прикидывайтесь идиотом.

— Ничего не поделаешь, — серьёзно ответил Швейк. — Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я — официальный идиот.

Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.

— Предъявленные вам обвинения и совершённые вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти.

И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная с государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов-царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда; отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку всё это происходило в общественном месте.

— Что вы на это скажете? — победоносно спросил господин со звериными чертами лица.

— Этого вполне достаточно, — невинно ответил Швейк. — Излишество вредит.

— Вот видите, вы же сами признаёте…

— Я всё признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Это, знаете, когда я служил на военной службе…

— Молчать! — крикнул полицейский комиссар на Швейка. — Отвечайте только, когда вас спрашивают! Понимаете?

— Как не понять, — согласился Швейк. — Осмелюсь доложить, понимаю и во всём, что вы изволите сказать, сумею разобраться.

— С кем состоите в сношениях?

— Со своей служанкой, ваша милость.

— А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических

кругах?

— Как же, ваша милость. Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», «сучку».

— Вон! — заревел господин со зверским выражением лица.

Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал:

— Спокойной ночи, ваша милость.

Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один: немножко на вас покричат, а под конец выгонят.

— Раньше, — заметил Швейк, — бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскалённому железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли пожарным факелом бока, вроде того как это сделали со святым Яном Непомуцким. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле Национального музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме — одно удовольствие! — похваливал Швейк. — Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлёбка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всём виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос — по трём лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто и оживлённо. Одного ведут сюда, другого — туда. Тут молодой, там старик, мужчины, женщины. Радуешься, что ты по крайней мере здесь не одинок. Всяк спокойно идёт своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посовещались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены, по вашему собственному выбору». Это был тяжёлый выбор! Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашёл бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.

Едва Швейк кончил свою защитную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул:

— Швейк, оденьтесь и идите на допрос!

— Я оденусь, — ответил Швейк. — Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И, кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду уже во второй раз, а они

ещё ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии.

— Вылезти и не трепаться! — последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство.

Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твёрдо и решительно.

— Во всём признаётесь?

Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал:

— Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: «Швейк, ни в чём не сознавайтесь», — я буду выкручиваться до последнего издыхания.

Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался.

И Швейк подписал показания Бретшнейдера со следующим дополнением:

> «Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми.
>
> *Йозеф Швейк*».

Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину:

— Ещё что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?

— Утром вас отвезут в уголовный суд, — последовал ответ.

— А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать?

— Вон! — раздался во второй раз рёв по ту сторону стола.

Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решёткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному:

— Тут всё идёт как по писаному.

Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и чётко ответил:

— Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда.

Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла.

Только босниец сказал:

— Приветствую!

Укладываясь на койку, Швейк заметил:

— Глупо, что у нас нет будильника.

Утром его всё-таки разбудили и без будильника и ровно в шесть часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд.

— Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает, — сказал своим спутникам Швейк, когда «зелёный Антон» выезжал из ворот полицейского управления.

Глава III
ШВЕЙК ПЕРЕД СУДЕБНЫМИ ВРАЧАМИ

Чистые, уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление: выбеленные стены, чёрные начищенные решётки и сам толстый пан Демертини, старший надзиратель подследственной тюрьмы, с фиолетовыми петлицами и кантом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в великопостную среду и в страстную пятницу.

Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилатов 1914 года внизу в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того чтобы честно умыть руки, посылали к «Тессигу» за жарким под соусом из красного перца и за пльзенским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру.

Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглёры законами, жрецы мёртвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов.

Исключение составляли несколько человек (точно так же, как и в полицейском управлении), которые не принимали закон всерьёз. Ибо и между плевелами всегда найдётся пшеница.

К одному из таких господ привели на допрос Швейка. Это был пожилой добродушный человек; рассказывают, что когда-то, допрашивая известного убийцу Валеша, он то и дело предлагал ему: «Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот как раз свободный стул».

Когда ввели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал:

— Так вы, значит, тот самый пан Швейк?

— Я думаю, что им и должен быть, — ответил Швейк, — раз мой батюшка был Швейк и маменька звалась пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии.

Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя.

— Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-

чего.

— У меня всегда много кое-чего на совести, — ответил Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь. — У меня на совести, может, ещё побольше, чем у вас, ваша милость.

— Это видно из протокола, который вы подписали, — не менее любезным тоном продолжал судебный следователь. — А на вас в полиции не оказывали давления?

— Да что вы, ваша милость. Я сам их спросил, должен ли это подписывать, и, когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы это, безусловно, не принесло. Во всём должен быть порядок.

— А что, пан Швейк, вы вполне здоровы?

— Совершенно здоров — так, пожалуй, сказать нельзя, ваша милость, у меня ревматизм, натираюсь оподельдоком.

Старик опять любезно улыбнулся.

— А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?

— Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня триппера.

— Знаете что, пан Швейк, мы всё-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберём хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем отдохнёте как следует. Ещё один вопрос. Из протокола следует, что вы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война?

— Разразится, ваша милость господин советник, очень скоро разразится.

— Не страдаете ли вы падучей?

— Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль. Но это случилось много лет тому назад.

На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в свою камеру, сообщил своим соседям:

— Ну вот, стало быть, из-за убийства эрцгерцога Фердинанда меня осмотрят судебные доктора.

— Меня тоже осматривали судебные врачи, — сказал молодой человек, — когда я за кражу ковров предстал перед присяжными. Признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали

слабоумным, то это пригодится на всю жизнь.

— Я этим судебным врачам нисколько не верю, — заметил господин интеллигентного вида. — Когда я занимался подделкой векселей, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевероха. Потом меня поймали, и я симулировал паралитика в точности так, как их описывал профессор Геверох: укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я прокусил икру одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило.

— Я этих осмотров совершенно не боюсь, — заявил Швейк. — На военной службе меня осматривал один ветеринар, и кончилось всё очень хорошо.

— Судебные доктора — стервы! — отозвался скрюченный человечек. — Недавно на моём лугу случайно выкопали скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек сорок лет тому назад скончался от удара каким-то тупым орудием по голове. Мне тридцать восемь лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке.

— Я думаю, — сказал Швейк, — что на всё надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибёшься. Врачи — тоже ведь люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от «Банзета», ко мне подошёл один господин и хвать арапником по голове; я, понятно, свалился наземь, а он осветил меня и говорит: «Ошибка, это не он!» Да так эта ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня ещё раз по спине. Так уж человеку на роду написано — ошибаться до самой смерти. Вот однажды был такой случай: один человек нашёл ночью полузамёрзшего бешеного пса, взял его с собою домой и сунул к жене в постель. Пёс отогрелся, пришёл в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбели разорвал и сожрал. Или приведу ещё пример, как ошибся один токарь из нашего дома. Отпер ключом подольский костёл, думая, что домой пришёл, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лёг на престол, поскольку решил, что он дома в постели, накрылся покровами со священными надписями, а под голову положил евангелие и ещё другие священные книги, чтобы было повыше. Утром нашёл его там церковный сторож, а наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. «Хорошая ошибка! — говорит церковный сторож. — Из-за такой ошибки

нам придётся снова освящать костёл». Потом предстал этот токарь перед судебными врачами, и те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый, — дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в Панкраце… Приведу вам ещё один пример, как полицейская собака, овчарка знаменитого ротмистра Роттера, ошиблась в Кладно. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский район стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот привели к нему однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в Ланских лесах. Он сидел там на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что всем людям свойственно ошибаться, будь то учёный или дурак необразованный. И министры ошибаются.

Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, может ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется, состояла из трёх необычайно серьёзных господ, причём взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатров.

И если в случае со Швейком три противоположных научных лагеря пришли к полному соглашению, то это следует объяснить единственно тем огромным впечатлением, которое произвёл Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и заметив на стене портрет австрийского императора, громко воскликнул: «Господа, да здравствует государь император Франц-Иосиф Первый!»

Дело было совершенно ясно. Благодаря сделанному Швейком, по собственному почину, заявлению целый ряд вопросов отпал и осталось только несколько важнейших. Ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о Швейке, составленное на основе системы доктора психиатрии Кадлерсона, доктора Гевероха и англичанина

Вейкинга.

— Радий тяжелее олова?

— Я его, извиняюсь, не вешал, — со своей милой улыбкой ответил Швейк.

— Вы верите в конец света?

— Прежде я должен увидеть этот конец. Но, во всяком случае, завтра его ещё не будет, — небрежно бросил Швейк.

— А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?

— Извиняюсь, не смог бы, — сказал Швейк. — Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку, — продолжал он. — Стоит четырёхэтажный дом, в каждом этаже по восьми окон, на крыше — два слуховых окна и две трубы, в каждом этаже по два квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара бабушка?

Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее один из них задал ещё такой вопрос:

— Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?

— Этого, извините, не знаю, — послышался ответ, — но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Влтаве.

— Достаточно? — лаконически спросил председатель комиссии.

Но один из членов попросил разрешения задать ещё один вопрос:

— Сколько будет, если умножить двенадцать тысяч восемьсот девяносто семь на тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят три?

— Семьсот двадцать девять, — не моргнув глазом, ответил Швейк.

— Я думаю, вполне достаточно, — сказал председатель комиссии. — Можете отвести обвиняемого на прежнее место.

— Благодарю вас, господа, — вежливо сказал Швейк, — с меня тоже вполне достаточно.

После ухода Швейка коллегия трёх пришла к единодушному выводу: Швейк — круглый дурак и идиот согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учёными психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим стояло:

> «Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врождённого кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из заявления «да здравствует император Франц-Иосиф Первый», какового вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого нижеподписавшаяся

комиссия предлагает:

1. Судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить и

2. Направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выяснения, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих».

В то время как состоялось это заключение, Швейк рассказывал своим товарищам по тюрьме:

— На Фердинанда наплевали, а со мной болтали о какой-то несусветной чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили, и разошлись.

— Никому я не верю, — заметил скрюченный человечек, на лугу которого случайно выкопали скелет. — Кругом одно жульничество.

— Без жульничества тоже нельзя, — возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрац. — Если бы все люди заботились только о благополучии других, то ещё скорее передрались бы между собой.

Глава IV
ШВЕЙКА ВЫГОНЯЮТ ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА

Описывая впоследствии своё пребывание в сумасшедшем доме, Швейк отзывался об этом учреждении с необычайной похвалой.

— По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дались. Но там это — самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью матерь, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава. (Впрочем, тот всё время был связан и лежал нагишом в одиночке.) Ещё был там такой, который всё кричал, что он архиепископ. Этот ничего не делал, только жрал, да ещё, с вашего позволения, делал то, что рифмуется со словом жрал. Впрочем, там никто этого не стыдится. А один даже выдавал себя за святых Кирилла и Мефодия, чтобы получать двойную порцию. А ещё там сидел беременный господин, этот всех приглашал на крестины. Много было там шахматистов, политиков, рыболовов, скаутов, коллекционеров почтовых марок, фотографов-любителей. Один попал туда из-за каких-то старых горшков, которые он называл урнами. Другого всё время держали связанным в смирительной рубашке, чтобы он не мог вычислить, когда наступит конец света. Познакомился я там с несколькими профессорами. Один из них всё время ходил за мной по пятам и разъяснял, что прародина цыган была в Крконошах, а другой доказывал, что внутри земного шара имеется другой шар, значительно больше наружного. В сумасшедшем доме каждый мог говорить всё, что взбредёт ему в голову, словно в парламенте. Как-то принялись там рассказывать сказки, да подрались, когда с какой-то принцессой дело кончилось скверно. Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря Отто и просивший каждого, чтобы его раскрыли и нашли слово «переплётное шило», — иначе он погиб. Успокоился он только после того, как на него надели смирительную рубашку. Тогда он начал хвалиться, что попал в переплёт, и просить, чтобы ему сделали модный обрез. Вообще жилось там как в раю. Можете себе кричать, реветь, петь, плакать, блеять,

визжать, прыгать, молиться, кувыркаться, ходить на четвереньках, скакать на одной ноге, бегать кругом, танцевать, мчаться галопом, по целым дням сидеть на корточках или лезть на стену, и никто к вам не подойдёт и не скажет: «Послушайте, этого делать нельзя, это неприлично, стыдно, ведь вы культурный человек». Но, по правде сказать, там были только тихие помешанные. Например, сидел там один учёный изобретатель, который всё время ковырял в носу и лишь раз в день произносил: «Я только что открыл электричество». Повторяю, очень хорошо там было, и те несколько дней, что я провёл в сумасшедшем доме, были лучшими днями моей жизни.

И правда, даже самый приём, который оказали Швейку в сумасшедшем доме, когда его привезли на испытание из областного уголовного суда, превзошёл все его ожидания. Прежде всего Швейка раздели донага, потом дали ему халат и повели купаться, дружески подхватив под мышки, причём один из санитаров развлекал его еврейским анекдотом. В купальной его погрузили в ванну с тёплой водой, затем вытащили оттуда и поставили под холодный душ. Это проделали с ним трижды, потом осведомились, как ему нравится. Швейк ответил, что это даже лучше, чем в банях у Карлова моста, и что он страшно любит купаться. «Если вы ещё острижёте мне ногти и волосы, то я буду совершенно счастлив», — прибавил он, мило улыбаясь.

Его желание было исполнено. Затем Швейка основательно растёрли губкой, завернули в простыню и отнесли в первое отделение в постель. Там его уложили, прикрыли одеялом и попросили заснуть.

Швейк ещё и теперь с любовью вспоминает это время:

— Представьте себе, меня несли, несли до самой постели. В тот момент я испытал неземное блаженство.

На постели Швейк заснул безмятежным сном. Потом его разбудили и предложили кружку молока и булочку. Булочка была уже разрезана на маленькие кусочки, и в то время как один санитар держал Швейка за обе руки, другой обмакивал кусочки булочки в молоко и кормил его, вроде того как кормят клёцками гусей.

Потом Швейка взяли под мышки и отвели в отхожее место, где его попросили удовлетворить большую и малую физиологические потребности.

Об этой чудесной минуте Швейк рассказывает с упоением. Мы не смеем повторить его рассказ о том, что с ним делали потом. Приведём только одну фразу: «Один из них при этом держал меня на руках», — вспоминал Швейк.

Затем его привели назад, уложили в постель и опять попросили

уснуть. Через некоторое время его разбудили и отвели в кабинет для освидетельствования, где Швейк, стоя совершенно голый перед двумя врачами, вспомнил славное время рекрутчины, и с его уст невольно сорвалось:

— Tauglich![2]

— Что вы говорите? — спросил один из докторов. — Сделайте пять шагов вперёд и пять назад.

Швейк сделал десять.

— Ведь я же вам сказал, — заметил доктор, — сделать пять.

— Мне лишней пары шагов не жалко.

После этого доктора потребовали от Швейка, чтобы он сел на стул; один из них несколько раз стукнул пациента по коленке, затем сказал другому, что рефлексы вполне нормальны, на что тот покачал головой и сам принялся стучать Швейка по коленке, в то время как первый открывал Швейку веки и рассматривал его зрачки. Потом они отошли к столу и перебросились несколькими латинскими фразами.

— Послушайте, вы умеете петь? — спросил у Швейка один из докторов. — Не могли бы вы спеть нам какую-нибудь песню?

— Сделайте одолжение, — ответил Швейк. — Хотя у меня нет ни голоса, ни музыкального слуха, но для вас я попробую спеть, коли вам вздумалось развлечься.

И Швейк хватил:

Что, монашек молодой,
Головушку клонишь,
Две горячие слезы
Ты на землю ронишь?

— Дальше не знаю, — прервал Швейк. — Если желаете, спою вам: Ох, болит моё сердечко,

Ох, тоска запала в грудь.
Выйду, сяду на крылечко
На дороженьку взглянуть.
Где же ты, милая зазноба…

— Дальше тоже не знаю, — вздохнул Швейк. — Знаю ещё первую

строфу из «Где родина моя» и потом «…Виндишгрец и прочие генералы, утром спозаранку войну начинали», да ещё пару простонародных песенок вроде «Храни нам, боже, государя», «Шли мы прямо в Яромерь» и «Достойно есть, яко воистину…»

Оба доктора переглянулись, и один из них спросил:

— Ваше психическое состояние уже исследовали когда-нибудь?

— На военной службе, — торжественно и гордо ответил Швейк. — Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом.

— Сдаётся мне, что вы симулянт! — обрушился на Швейка другой доктор.

— Совсем не симулянт, господа! — защищался Швейк. — Я самый настоящий идиот. Можете справиться в канцелярии Девяносто первого полка в Чешских Будейовицах или в Управлении запасных в Карлине.

Старший врач безнадёжно махнул рукой и, указывая на Швейка, сказал санитарам:

— Верните этому человеку одежду и передайте его в третье отделение в первый коридор. Потом один из вас пусть вернётся и отнесёт все документы в канцелярию. Да скажите там, чтоб долго не канителились, чтобы он у нас долго на шее не сидел.

Врачи ещё раз презрительно посмотрели на Швейка, который пятился к дверям, учтиво кланяясь. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он тут дурака валяет, Швейк ответил:

— Я ведь не одет, совсем нагишом, в чём мать родила, вот я и не хочу показывать панам того, что заставило бы их подумать, будто я невежа или нахал.

С того момента как санитары получили приказ вернуть Швейку одежду, они перестали о нём заботиться, велели одеться, и один из них отвёл его в третье отделение. Там Швейка держали несколько дней, пока канцелярия оформляла его выписку из сумасшедшего дома, и он имел полную возможность и здесь производить свои наблюдения. Обманутые врачи дали о нём такое заключение: «Слабоумный симулянт».

Так как Швейка выписали из лечебницы перед самым обедом, дело не обошлось без небольшого скандала. Швейк заявил, что если уж его выкидывают из сумасшедшего дома, то не имеют права не давать ему обеда.

Скандал прекратил вызванный привратником полицейский, который отвёл Швейка в полицейский комиссариат на Сальмовой улице.

Глава V
ШВЕЙК В ПОЛИЦЕЙСКОМ КОМИССАРИАТЕ НА САЛЬМОВОЙ УЛИЦЕ

За прекрасными лучезарными днями в сумасшедшем доме для Швейка потянулись часы, полные невзгод и гонений. Полицейский инспектор Браун обставил сцену встречи со Швейком в духе римских палачей времён милейшего императора Нерона. И так же свирепо, как они в своё время произносили: «Киньте этого негодяя христианина львам!» — инспектор Браун сказал:

— За решётку его!

Ни слова больше, ни слова меньше. Только в глазах полицейского инспектора при этом появилось выражение какого-то особого извращённого наслаждения. Швейк поклонился и с достоинством сказал:

— Я готов, господа. Как я понимаю, «за решётку» означает — в одиночку, а это не так уж плохо.

— Не очень-то здесь распространяйся, — сказал полицейский, на что Швейк ответил:

— Я человек скромный и буду благодарен за всё, что вы для меня сделаете.

В камере на нарах сидел, задумавшись, какой-то человек. Его лицо выражало апатию. Видно, ему не верилось, что дверь отпирали для того, чтобы выпустить его на свободу.

— Моё почтение, сударь, — сказал Швейк, присаживаясь на нары. — Не знаете ли, который теперь час?

— Мне теперь не до часов, — ответил задумчивый господин.

— Здесь недурно, — попытался завязать разговор Швейк. — Нары из струганого дерева.

Серьёзный господин не ответил, встал и быстро зашагал в узком пространстве между дверью и нарами, словно торопясь что-то спасти.

А Швейк между тем с интересом рассматривал надписи, нацарапанные на стенах. В одной из надписей какой-то арестант объявлял полиции войну не на живот, а на смерть. Текст гласил: «Вам это даром не пройдёт!» Другой арестованный написал: «Ну вас к чёрту, петухи!» Третий просто констатировал факт: «Сидел здесь 5 июня 1913 года, обходились со мной прилично. Лавочник Йозеф Маречек из Вршовиц». Была и надпись,

потрясающая своей глубиной: «Помилуй мя, господи!»

А под этим: «Поцелуйте меня в ж…»

Буква «ж» всё же была перечёркнута, и сбоку приписано большими буквами: «ФАЛДУ». Рядом какая-то поэтическая душа накарябала стихи:

У ручья печальный я сижу,
Солнышко за горы уж садится,
На пригорок солнечный гляжу,
Там моя любезная томится…

Господин, бегавший между дверью и нарами, словно состязаясь в марафонском беге, наконец, запыхавшись, остановился, сел на прежнее место, положил голову на руки и вдруг завопил:

— Выпустите меня!.. Нет, они меня не выпустят, — через минуту сказал он как бы про себя, — не выпустят, нет, нет. Я здесь с шести часов утра.

На него вдруг ни с того ни с сего напала болтливость. Он поднялся со своего места и обратился к Швейку:

— Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы я мог со всем этим покончить?

— С большим удовольствием могу вам услужить, — ответил Швейк, снимая свой ремень. — Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне… Одно только досадно, — заметил он, оглядев камеру, — тут нет ни одного крючка. Оконная ручка вас не выдержит. Разве что на нарах, опустившись на колени, как это сделал монах из Эмаузского монастыря, повесившись на распятии из-за молодой еврейки. Мне самоубийцы очень нравятся. Так извольте…

Хмурый господин, которому Швейк сунул ремень в руку, взглянул на этот ремень, швырнул его в угол и заплакал, размазывая грязными руками слёзы и выкрикивая:

— У меня детки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни, Иисус Мария! Бедная моя жена! Что скажут на службе! У меня деточки, а я здесь за пьянство и за безнравственный образ жизни!

И так далее, до бесконечности.

Наконец он как будто немного успокоился, подошёл к двери и начал колотить в неё руками и ногами. За дверью послышались шаги и голос:

— Чего надо?

— Выпустите меня! — проговорил он таким тоном, словно это были

его предсмертные слова.

— Куда? — раздался вопрос с другой стороны двери.

— На службу, — ответил несчастный отец, супруг, чиновник, пьяница и развратник.

Раздался смех, жуткий смех в тиши коридора… И шаги опять стихли.

— Видно, этот господин здорово ненавидит вас, коли так насмехается, — сказал Швейк, в то время как его безутешный сосед опять уселся рядом. — Тюремщик, когда разозлится, на многое способен, а когда он взбешён, то пощады не жди. Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то всё это действительно ужасно. Вы, если не ошибаюсь, уверены, что вас выгонят со службы?

— Трудно сказать, — вздохнул тот. — Дело в том, что я сам не помню, что такое я натворил. Знаю только, что меня откуда-то выкинули, но я хотел вернуться туда, закурить сигару. А началось всё так хорошо… Видите ли, начальник нашего отдела справлял свои именины и позвал нас в винный погребок, потом мы попали в другой, в третий, в четвёртый, в пятый, в шестой, в седьмой, в восьмой, в девятый…

— Не могу ли я помочь вам считать? — вызвался Швейк. — Я в этих делах разбираюсь. Как-то раз я за одну ночь побывал в двадцати восьми местах, но, к чести моей будь сказано, нигде больше трёх кружек пива не пил.

— Словом, — продолжал несчастный подчинённый того начальника, который так великолепно справлял свои именины, — когда мы обошли с дюжину различных кабачков, то обнаружили, что начальник-то у нас пропал, хотя мы его загодя привязали на верёвочку и водили за собой, как собачонку. Тогда мы отправились его разыскивать и под конец растеряли друг друга. Я очутился в одном из ночных кабачков на Виноградах, в очень приличном заведении, где пил ликёр прямо из бутылки. Что я делал потом — не помню… Знаю только, что уже здесь, в комиссариате, когда меня сюда привезли, оба полицейских рапортовали, будто я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму, разрезал перочинным ножом чужую шляпу, которую снял с вешалки, разогнал дамскую капеллу, публично обвинил обер-кельнера в краже двенадцати крон, разбил мраморную доску у столика, за которым сидел, и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Больше я ничего не делал… по крайней мере не помню, чтобы я ещё что-нибудь натворил… Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек и ни о чём другом не думаю, как только о своей семье. Что вы на это скажете? Ведь я не скандалист какой-

нибудь!

— А много вам пришлось потрудиться, пока вы разбили эту мраморную доску, или вы её раскололи с одного маху? — вместо ответа поинтересовался Швейк.

— Сразу, — ответил интеллигентный господин.

— Тогда вы пропали, — задумчиво произнёс Швейк. — Вам докажут, что вы подготовлялись к этому путём долгой тренировки. А кофе этого незнакомого господина, в который вы плюнули, был без рома или с ромом? — И, не ожидая ответа, пояснил: — Если с ромом, то хуже, потому что дороже. На суде все подсчитывают и подводят итоги, чтобы как-нибудь подогнать под серьёзное преступление.

— На суде?.. — малодушно пролепетал почтенный отец семейства и повесив голову впал в то неприятное состояние духа, когда человека пожирают упрёки совести.[3]

— А дома знают, что вы арестованы, или они узнают только из газет? — спросил Швейк.

— Вы думаете, что это появится… в газетах? — наивно спросила жертва именин своего начальника.

— Вернее верного, — последовал искренний ответ, ибо Швейк никогда не имел привычки скрывать что-нибудь от собеседника. — Читателям газет это очень понравится. Я сам всегда с удовольствием читаю рубрику о пьяных и об их бесчинствах. Вот недавно в трактире «У чаши» один посетитель выкинул такой номер: разбил сам себе голову пивной кружкой. Подбросил её кверху, а голову подставил. Его увезли, а утром мы уже читали в газетах об этом. Или, например, в «Бендловке» съездил я раз одному факельщику из похоронного бюро по роже, а он дал мне сдачи. Для того чтобы нас помирить, пришлось обоих посадить в каталажку, и это сейчас же появилось в «Вечёрке»… Или ещё случай: в кафе «У мертвеца» один советник разбил два блюда. Так, думаете, его пощадили? На другой же день попал в газеты… Вам остаётся одно: послать из тюрьмы в газету опровержение, что опубликованная заметка вас-де не касается и что с этим однофамильцем вы не находитесь ни в родственных, ни в каких-либо иных отношениях. А домой пошлите записку, попросите это опровержение вырезать и спрятать, чтобы вы могли его прочесть, когда отсидите свой срок… Вам не холодно? — участливо спросил Швейк, заметив, что интеллигентный господин дрожит, как в лихорадке. — В этом году конец лета что-то холодноват.

— Погибший я человек! — зарыдал сосед Швейка. — Не видать мне повышения…

— Что и говорить, — участливо подхватил Швейк. — Если вас после отсидки обратно на службу не примут, — не знаю, скоро ли вы найдёте другое место, потому что повсюду, даже если бы вы захотели служить у живодёра, от вас потребуют свидетельство о благонравном поведении. Да, это удовольствие вам дорого обойдётся… А у вашей супруги с детками есть на что жить, пока вы будете сидеть? Или же ей придётся побираться Христа ради, а деток научить разным мошенничествам?

В ответ послышались рыдания:

— Бедные мои детки! Бедная моя жена!

Кающийся грешник встал и заговорил о своих детях:

— У меня их пятеро, самому старшему двенадцать лет, он в скаутах, пьёт только воду и мог бы служить примером своему отцу, с которым, право же, подобный казус случился в первый раз в жизни.

— Он скаут? — воскликнул Швейк. — Люблю слушать про скаутов! Однажды в Мыловарах под Зливой, в районе Глубокой, округ Чешских Будейовиц, как раз когда наш Девяносто первый полк был там на учении, окрестные крестьяне устроили облаву на скаутов, которых очень много развелось в крестьянском лесу. Поймали они трёх. И представьте себе, самый маленький из них, когда его взяли, так отчаянно визжал и плакал, что мы, бывалые солдаты, не могли без жалости на него смотреть, не выдержали… и отошли в сторону. Пока их связывали, эти три скаута искусали восемь крестьян. Потом под розгами старосты они признались, что во всей округе нет ни одного луга, которого бы они не измяли, греясь на солнце. Да, кстати, они признались ещё и в том, что у Ражиц перед самой жатвой сгорела совершенно случайно полоса ржи, когда они жарили там на вертеле серну, к которой с ножом подкрались в крестьянском лесу. Потом в их логовище в лесу нашли больше пятидесяти кило обглоданных костей от всякой домашней птицы и лесных зверей, огромное количество вишнёвых косточек, пропасть огрызков незрелых яблок и много всякого другого добра.

Но несчастный отец скаута всё-таки не мог успокоиться.

— Что я наделал! — причитал он. — Погубил свою репутацию!

— Это уж как пить дать, — подтвердил Швейк со свойственной ему откровенностью. — После того, что случилось, ваша репутация погублена на всю жизнь. Ведь если об этой истории напечатают в газетах, то кое-что к ней прибавят и ваши знакомые. Это уже в порядке вещей, лучше не обращайте внимания. Людей с подмоченной репутацией на свете, пожалуй, раз в десять больше, чем с незапятнанной. Это сущая ерунда.

В коридоре раздались грузные шаги, в замке загремел ключ, дверь

отворилась, и полицейский вызвал Швейка.

— Простите, — рыцарски напомнил Швейк. — Я здесь только с двенадцати часов дня, а этот господин с шести утра. Я особенно не тороплюсь.

Вместо ответа сильная рука выволокла его в коридор, и дежурный молча повёл Швейка по лестницам на второй этаж.

В комнате за столом сидел бравый толстый полицейский комиссар. Он обратился к Швейку:

— Так вы, значит, и есть Швейк? Как вы сюда попали?

— Самым простым манером, — ответил Швейк. — Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.

— Знаете что, Швейк, — примирительно сказал комиссар, — зачем нам с вами ссориться здесь, на Сальмовой улице? Не лучше ли будет, если мы вас направим в полицейское управление?

— Вы, как говорится, являетесь господином положения, — с удовлетворением ответил Швейк. — А пройтись вечерком в полицейское управление — совсем не дурно — это будет небольшая, но очень приятная прогулка.

— Очень рад, что мы с вами так легко договорились, — весело заключил полицейский комиссар. — Договориться — самое разлюбезное дело. Не правда ли, Швейк?

— Я тоже всегда очень охотно советуюсь с другими, — ответил Швейк. — Поверьте, господин комиссар, я никогда не забуду вашей доброты.

Учтиво поклонившись, Швейк спустился с полицейским вниз, в караульное помещение, и через четверть часа его уже можно было видеть на углу Ечной улицы и Карловой площади в сопровождении полицейского, который нёс под мышкой объёмистую книгу с немецкой надписью: «Arestantenbuch».[4]

На углу Спаленой улицы Швейк и его конвоир натолкнулись на толпу людей, теснившихся перед объявлением.

— Это манифест государя императора об объявлении войны, — сказал Швейку конвоир.

— Я это предсказывал, — бросил Швейк. — А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил полицейский.

— Ведь там много господ офицеров, — объяснил Швейк.

Когда они подошли к другой кучке, тоже толпившейся перед манифестом, Швейк крикнул:

— Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!

Кто-то в этой восторженной толпе одним ударом нахлобучил ему на уши котелок, и в таком виде на глазах у сбежавшегося народа бравый солдат Швейк вторично проследовал в ворота полицейского управления.

— Эту войну мы безусловно выиграем, ещё раз повторяю, господа! — С этими словами Швейк расстался с провожавшей его толпой.

В далёкие, далёкие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что завтрашний день разрушит даже планы нынешнего дня.

Глава VI
ПРОРВАВ ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ, ШВЕЙК ОПЯТЬ ОЧУТИЛСЯ ДОМА

От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрёкшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждые ему, за исключением этих нескольких человек полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое своё слово.

— Мне очень, очень жаль, — сказал один из этих чёрно-жёлтых хищников, когда к нему привели Швейка, — что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь… но, увы, мы обманулись.

Швейк молча кивал головой в знак согласия, сделав при этом такое невинное лицо, что чёрно-жёлтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил:

— Не стройте из себя дурака! — Однако тотчас же опять перешёл на ласковый тон: — Нам, право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости?

Швейк откашлялся.

— Я, извиняюсь, ничего о глупостях не знаю.

— Ну, разве это не глупость, пан Швейк, — увещевал хищник слащаво-отеческим тоном, — когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привёл, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали её выкриками: «Да здравствует император Франц-Иосиф! Мы победим!»

— Я не мог оставаться в бездействии, — объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитора. — Я пришёл в волнение, увидев, что все

читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости. Ни победных кликов, ни «ура»… вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Тут уж я, старый солдат Девяносто первого полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моём месте, вы, наверно, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь, — мы должны довести её до победного конца, должны постоянно провозглашать славу государю императору. Никто меня в этом не разубедит.

Прижатый к стене чёрно-жёлтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал:

— Я вполне понял бы ваше воодушевление, если б оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вёл полицейский и ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на неё серьёзное впечатление.

— Идти под конвоем полицейского — это тяжёлый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох.

Чёрно-жёлтый хищник заворчал и ещё раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил ему своим невинным, мягким, скромным, нежным и тёплым взглядом.

С минуту они пристально смотрели друг на друга.

— Идите к чёрту — пробормотало наконец чиновничье рыло. — Но если вы ещё раз сюда попадёте, то я вас вообще ни о чём не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд на Градчаны. Понятно?

И не успел он договорить, как нежданно-негаданно Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал:

— Да вознаградит вас бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками.

Так Швейк опять очутился на свободе.

По дороге домой он размышлял о том, а не зайти ли ему сперва в пивную «У чаши», и в конце концов отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера.

В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей и среди них — церковный сторож из церкви св. Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена Паливца, тупо глядя на пивные краны.

— Вот я и вернулся! — весело сказал Швейк. — Дайте-ка мне

кружечку пива. А где же наш пан Паливец? Небось уже дома?

Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала:

— Дали ему… десять лет… неделю тому назад…

— Ну, вот видите! — сказал Швейк. — Значит, семь дней уже отсидел.

— Он был такой… осторожный! — рыдала хозяйка. — Он сам это всегда о себе говорил…

Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Паливца, призывая к ещё большей осторожности.

— Осторожность — мать мудрости, — сказал Швейк усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пивной пене которого образовалось несколько дырочек — туда капнули слёзы жены Паливца, когда она несла пиво на стол. — Нынче время такое, приходится быть осторожным.

— Вчера у нас было двое похорон, — попытался перевести разговор на другое церковный сторож от св. Аполлинария.

— Видать, помер кто-нибудь! — заметил другой посетитель.

Третий спросил:

— Покойного-то на катафалке везли?

— Интересно, — сказал Швейк, — как будут происходить военные похороны во время войны?

Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Паливцовой.

— Не представляю себе, — произнёс Швейк, — чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам — такое я слышал, но на десять — это уж, пожалуй, многовато!

— Что же поделаешь, ведь мой-то признался, — плакала жена Паливца. — Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении суда повторил. Вызвали меня свидетельницей, да что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем… Я перепугалась этих родственных отношений — как бы из этого ещё чего-нибудь не вышло — и отказалась давать показания. Старик, бедняга, так на меня посмотрел… до самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума спятил: «Да здравствует свободная мысль!»

— А пан Бретшнейдер сюда больше не заходит? — спросил Швейк.

— Заходил несколько раз, — ответила трактирщица. — Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает и слушает, как посетители

рассказывают про футбол. Они всегда, как увидят пана Бретшнейдера, говорят только про футбол, а его от этого передёргивает — того и гляди судороги сделаются и он взбесится. За всё это время к нему на удочку попался только один обойщик с Поперечной улицы.

— Это дело навыка, — заметил Швейк. — Обойщик-то был глуповат, что ли?

— Ну, как мой муж, — ответила с плачем хозяйка. — Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там корону. Тут мы все услышали, как пан Бретшнейдер произнёс, вынув свою записную книжку: «Ага! Ещё одна хорошенькая государственная измена!» — и вышел с этим обойщиком с Поперечной улицы, и тот уже больше не вернулся.

— Много их не возвращается, — сказал Швейк. — Дайте-ка мне рому.

Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошёл тайный агент Бретшнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего.

Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, заметил:

— Смотрите-ка, некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Рачиневес, продаёт усадьбу с семью десятинами пашни. Имеется школа и проходит железная дорога.

Бретшнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку:

— Удивляюсь, почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?

— Ах, это вы? — воскликнул Швейк, подавая ему руку. — А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приёмной канцелярии полицейского управления. Ну, что поделываете? Часто заглядываете сюда?

— Сегодня я пришёл, чтобы повидать вас, — сказал Бретшнейдер. — В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер, или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде…

— Это всё мы вам можем предоставить, — ответил Швейк. — Желаете чистокровного или так… с улицы?

— Я думаю приобрести чистокровного пса, — ответил Бретшнейдер.

— А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку? — спросил Швейк. — Она бы вам сразу всё выследила, навела бы вас на след преступления. У одного мясника в Вршовицах есть такой пёс; он возит ему

тележку. Этот пёс, можно сказать, работает не по специальности.

— Мне бы хотелось шпица, — сдержанно повторил Бретшнейдер, — шпица, который бы не кусался.

— Желаете беззубого шпица? — осведомился Швейк. — Есть такой на примете: в Дейвицах, у одного трактирщика.

— Пожалуй, лучше уж пинчера… — нерешительно произнёс Бретшнейдер, собаковедческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда бы не приобрёл о собаках никаких сведений.

Но приказ был точный, ясный и определённый: во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. Для достижения этой цели Бретшнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак.

— Пинчеры бывают покрупнее и помельче, — сказал Швейк. — Есть у меня на примете два маленьких и три побольше. Всех пятерых можно держать на коленях. Могу их вам от всей души порекомендовать.

— Это бы мне подошло, — заявил Бретшнейдер. — А сколько стоит пинчер?

— Смотря по величине, — ответил Швейк. — Всё зависит от величины. Пинчер не телёнок, с пинчерами дело обстоит как раз наоборот: чем меньше, тем дороже.

— Я взял бы покрупнее, дом сторожить, — сказал Бретшнейдер, боясь перерасходовать секретный фонд полиции.

— Отлично! — подхватил Швейк. — Крупного могу продать по пятидесяти крон, самого крупного — по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь: вам щенят или постарше, и потом: кобельков или сучек?

— Мне всё равно, — ответил Бретшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. — Так достаньте их, а я завтра в семь часов вечера к вам зайду. Договорились?

— Договорились, приходите, — неохотно согласился Швейк. — В таком случае я бы попросил у вас задаток — тридцать крон.

— Какие могут быть разговоры! — сказал Бретшнейдер, отсчитывая деньги. — Ну, а теперь мы с вами разопьём по четвертинке на мой счёт…

Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счёт четвертинку вина. Потом заказал Бретшнейдер, он убеждал Швейка не бояться его. Он заявил, что сегодня он не на службе и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике.

Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит, да вообще вся политика — занятие для детей младшего возраста.

Бретшнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи.

Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении хилый щенок сенбернар, которого он подкармливал солдатскими сухарями, но щенок всё равно издох.

Когда выпили по пятой, Бретшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться.

Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса.

За шестой четвертинкой Бретшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо:

— Только что вошёл какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет.

Жена Паливца действительно плакала на стуле за стойкой.

— Чего вы плачете, хозяюшка? — спросил Бретшнейдер. — Через три месяца мы победим, будет амнистия — и ваш муж вернётся. Вот тогда уж мы закатим пирушку!.. Или вы не верите, что мы победим? — обратился он к Швейку.

— Зачем пережёвывать одно и то же? — сказал Швейк. — Должны победить — и баста! Ну, мне пора домой.

Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке, пани Мюллеровой, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, не кто иной, как сам Швейк.

— А я, сударь, думала, что вы вернётесь только через несколько лет, — сказала она с присущей ей откровенностью, — и я тут… из жалости… на время… взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что… у нас тут три раза был обыск, и, после того как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо и по всему видать — вы опытный преступник.

Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами: он спал на его постели и даже был настолько благороден, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из «ночного кафе» вернулся вчера со своей дамой навеселе.

— Сударь, — сказал Швейк, тряся незваного гостя, — сударь, как бы вам не опоздать к обеду. Мне будет очень неприятно, если вы начнёте всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не

достанешь обеда.

Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из «ночного кафе» раскусил наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на неё свои права.

По свойственной всем швейцарам «ночных кафе» привычке, господин этот выразился в том духе, что пересчитает рёбра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше.

Швейк между тем собрал части его туалета, принёс их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал:

— Если вы не оденетесь, то придётся вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым.

— Я хотел спать до восьми часов вечера, — проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны. — Я плачу хозяйке за постель по две кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе… Маржена, вставай!

Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришёл в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» безусловно одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых жёлтый билет в полном порядке, и любезно приглашал Швейка заглянуть туда.

Однако его партнёрша осталась весьма недовольна Швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было: «Олух царя небесного!»

После ухода непрошеных жильцов Швейк пошёл позвать пани Мюллерову, чтобы вместе с нею навести порядок, но её и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей напрокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано:

«Простите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна».

— Врёт! — сказал Швейк и стал ждать.

Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удручённому выражению её лица было видно, что она ждёт от Швейка слов утешения.

— Если хотите броситься из окна, — сказал Швейк, — так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадёте в сад прямо на розы, поломаете все кусты, и за это вам же придётся платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар и, если повезёт, сломаете себе шею. Если же не повезёт, то вы переломаете себе

только рёбра, руки и ноги и вам придётся платить за лечение в больнице.

Пани Мюллерова заплакала, тихо пошла в комнату Швейка… закрыла окно и, вернувшись, сказала:

— Дует, а при вашем ревматизме это нехорошо, сударь.

Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя всё в порядок, она, всё ещё заплаканная, вошла в кухню и доложила Швейку:

— Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подохли, а сенбернар сбежал во время обыска.

— Чёрт возьми! — воскликнул Швейк. — Он может влипнуть в историю! Теперь, наверное, его будет выслеживать полиция.

— Он укусил одного из господ полицейских комиссаров, — продолжала пани Мюллерова, — когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью кто-то есть, и сенбернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сенбернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка, последний раз от господина управляющего из Брно — помните, шестьдесят крон задатка за ангорскую кошку, вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика», а вместо неё послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в жильцы, чтобы мне одной боязно не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили.

— Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерова! — вздохнул Швейк. — Вот скоро увидите, сколько их сюда придёт за собаками.

Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось: СБ — 40 к.; ФТ — 50 к.; Л — 80 к. и так далее, но они, безусловно, ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л — это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и т. д. крон продавали чешский народ чёрно-жёлтому орлу.

В действительности же СБ означает сенбернара, ФТ — фокстерьера, а Л — леонберга. Всех этих собак Бретшнейдер привёл от Швейка в полицейское управление.

Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Бретшнейдеру. Сенбернар был помесь нечистокровного пуделя с

дворняжкой; фокстерьер, с ушами таксы, был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом; леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана.

Сам сыщик Калоус заходил к Швейку купить собаку… и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка: Д — 90 к. Этот урод должен был изображать дога. Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Бретшнейдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Бретшнейдер увозил с собой от Швейка ещё одно чудовище, самого невероятного ублюдка.

Этим кончил знаменитый сыщик Бретшнейдер. Когда у него в квартире появилось семь подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам.

В полицейском управлении в его послужной список, в графу «Повышения по службе», были занесены следующие полные трагизма слова: «Сожран собственными псами».

Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал:

— Трудно сказать, удастся ли собрать его кости, когда ему придётся предстать на Страшном суде.

Глава VII
ШВЕЙК ИДЁТ НА ВОИНУ

В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Раб, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге, в Сербии, австрийским дивизиям, одной за другой, всыпали по первое число (что они уже давно заслужили), австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлёбывать кашу.

Швейк, когда ему принесли повестку о том, что через неделю он должен явиться на Стршелецкий остров для медицинского освидетельствования, лежал в постели: у него опять начался приступ ревматизма. Пани Мюллерова варила ему на кухне кофе.

— Пани Мюллерова, — послышался из соседней комнаты тихий голос Швейка, — пани Мюллерова, подойдите ко мне на минуточку.

Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнёс:

— Присядьте, пани Мюллерова.

Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллерова села, Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил:

— Я иду на войну.

— Матерь божья! — воскликнула пани Мюллерова. — Что вы там будете делать?

— Сражаться, — гробовым голосом ответил Швейк. — У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу — на Венгрию. Всыпали нам и в хвост и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Ещё вчера я читал вам в газете, что «дорогую родину заволокли тучи».

— Но ведь вы не можете пошевельнуться!

— Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего хромого хрыча-дедушку. Вы, пани Мюллерова, отвезёте меня в этой коляске на военную службу.

Пани Мюллерова заплакала.

— Не сбегать ли мне, сударь, за доктором?

— Никуда не ходите, пани Мюллерова. Я вполне пригоден для пушечного мяса, вот только ноги… Но когда с Австрией дело дрянь,

каждый калека должен быть на своём посту. Продолжайте спокойно варить кофе.

И в то время как пани Мюллерова, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лёжа в кровати:

Виндишгрец и прочие паны генералы
Утром спозаранку войну начинали.
Гоп, гоп, гоп!
Войну начинали, к господу взывали:
«Помоги, Христос, нам с матерью пречистой!»
Гоп, гоп, гоп!

Испуганная пани Мюллерова под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк продолжал петь на своей кровати:

С матерью пречистой. Вон — четыре моста.
Выставляй, Пьемонт, посильней форпосты.
Гоп, гоп, гоп!
Закипел тут славный бой у Сольферино,
Кровь лилась потоком, как из бочки винной.
Гол, гоп, гоп!
Кровь из бочки винной, а мяса — фургоны!
Нет, не зря носили ребята погоны.
Гоп, гоп, гоп!
Не робей, ребята! По пятам за вами
Едет целый воз, гружённый деньгами.
Гоп, гоп, гоп!

— Ради бога, сударь, прошу вас! — раздался жалобный голос из кухни, но Швейк допел славную боевую песню до конца:

Целый воз с деньгами, кухня с пшённой кашей.
Ну, в каком полку веселей, чем в нашем?
Гоп, гоп, гоп!

Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда Швейк уже дремал.

Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб, и сказал:

— Не бойтесь, я — доктор Павек из Виноград. Дайте вашу руку. Термометр суньте себе под мышку. Так. Покажите язык. Ещё. Высуньте язык. Отчего умерли ваши родители?

Итак, в то время как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павек прописал Швейку бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне.

— Лежите смирно и не вздумайте волноваться. Завтра я навещу вас.

На другой день доктор пришёл опять и осведомился на кухне у пани Мюллеровой. Как себя чувствует пациент.

— Хуже ему, пан доктор, — с искренней грустью ответила пани Мюллерова. — Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел, с позволения сказать, австрийский гимн.

На это новое проявление лояльности пациента доктор Павек счёл необходимым реагировать повышенной дозой брома. На третий день пани Мюллерова доложила доктору, что Швейку ещё хуже.

— После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит.

— А порошки принимает точно по предписанию?

— Он за ними ещё и не посылал, пан доктор.

Излив на Швейка целый поток упрёков и заверив его, что никогда больше не придёт лечить невежду, который отвергает его лечение бромом, доктор Павек ушёл.

Оставалось ещё два дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащие приготовления: во-первых, послал пани Мюллерову купить форменную фуражку, а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча-дедушку. Потом Швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку недоставало ещё только букетика цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерова раздобыла ему и букет. Она сильно похудела за эти дни и, где только ни появлялась, всюду плакала.

Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей

кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пёстрый букетик цветов. Человек этот, ни на минуту не переставая, кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!»

За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрёстках, отдали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурш в корпорантской шапочке, закричавший Швейку:

— Heil! Nieder mit den Serben![5]

На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Стршелецкий остров.

Обо всём происшедшем в «Пражской официальной газете» была помещена следующая статья:

ПАТРИОТИЗМ КАЛЕКИ

Вчера днём на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующей о том, что в этот великий и серьёзный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда Муций Сцевола шёл в бой, невзирая на свою сожжённую руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв «На Белград!» встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являют высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому.

В том же духе писал и «Прагер Тагблатт», где статья заканчивалась такими словами: «Калеку-добровольца провожала толпа немцев, своим

телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты».

«Богемия», тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы калека-патриот был награждён, и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя.

Итак, эти три газеты считали, что чешская страна не могла дать более благородного гражданина. Однако господа в призывной комиссии не разделяли их взгляда. Особенно старший военный врач Баутце. Это был неумолимый человек, видевший во всём жульнические попытки уклониться от военной службы — от фронта, от пули и шрапнелей. Известно его выражение: «Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande».[6] За десять недель своей деятельности он из II 000 граждан выловил 10999 симулянтов и поймал бы на удочку одиннадцатитысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал: «Kehrt euch!».[7]

— Уберите этого симулянта, — приказал Баутце, когда удостоверился, что тот умер.

И вот в этот памятный день перед Баутце предстал Швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою наготу костылями, на которые опирался.

— Das ist wirklich ein beson-deres Feigenblatt,[8] — сказал Баутце, — таких фиговых листков в раю не было.

— Освобождён по идиотизму, — огласил фельдфебель, просматривая его документы.

— А ещё чем больны? — спросил Баутце.

— Осмелюсь доложить, у меня ревматизм. Но служить буду государю императору до последней капли крови, — скромно сказал Швейк. — У меня отекли колени.

Баутце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал:

— Sie sind ein Simulant![9] — И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал: — Den Kerl sogleich einsperren[10]

Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шёл на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Мюллерова, с коляской ожидавшая Швейка у моста, увидела его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться…

А бравый солдат Швейк скромно шёл в сопровождении вооружённых защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на Малой Стране, перед памятником Радецкому, Швейк крикнул провожавшей его толпе:

— На Белград!

А маршал Радецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед ковылявшему на старых костылях бравому солдату Швейку с рекрутским букетиком на пиджаке.

Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира.

Глава VIII
ШВЕЙК — СИМУЛЯНТ

В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно — чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением лёгких и прочими болезнями.

Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды:

> 1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трёх дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.
> 2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба — мёд. Это называлось: «Лизнуть хины».
> 3. Промывание желудка литром тёплой воды два раза в день.
> 4. Клистир из мыльной воды и глицерина.
> 5. Обёртывание в мокрую холодную простыню.

Были герои, которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые, лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чём другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы.

Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.

— Больше не выдержу, — сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.

— Завтра же еду в полк, — объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев.

На койке у двери умирал чахоточный, обёрнутый в мокрую холодную простыню.

— Это уже третий на этой неделе, — заметил сосед справа.

— А ты чем болен? — спросили Швейка.

— У меня ревматизм, — ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, «симулирующий» туберкулёз.

— С ревматизмом ты сюда лучше не лезь, — серьёзно предупредил Швейка толстый господин. — С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, недостаёт половины желудка и пяти рёбер, и никто этому не верит. А недавно был здесь глухонемой. Четырнадцать дней его обёртывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клистир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой, а доктор возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку. И тут он смалодушничал. «Не могу, говорит, больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь и слух». Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своём: он, мол, всё слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе.

— Да, долго держался, — заметил один, симулирующий, будто у него одна нога короче другой на целых десять сантиметров. — Не чета тому, с параличом. Тому достаточно было только трёх порошков хинина, одного клистира и денька без жратвы. Признался ещё даже до выкачивания желудка. Весь паралич как рукой сняло.

— Дольше всех держался тут искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно всё замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Помогали мы ему как могли, сколько, бывало, щекотали его перед обходом, иногда по целому часу, доводили его до судорог, до синевы — и всё-таки пена у рта не выступала: нет да и только. Это было ужасно! И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко! Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, пёс, который меня укусил, оказался не бешеным». Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала. Я сам себя укусил в руку». После этого признания его обвинили в членовредительстве, дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт.

— Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать, — сказал толстый симулянт. — Вот, к примеру, падучая. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что ему лишний припадок устроить ничего не стоит. Падал он этак раз десять в день, извивался в корчах, сжимал кулаки, выкатывал глаза под самый лоб, бился о землю,

высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия, эпилепсия — первый сорт, самая что ни на есть настоящая. Но неожиданно вскочили у него два чирья на шее и два на спине, и тут пришёл конец его корчам и битью об пол. Головы даже не мог повернуть. Ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всём. Да и нам всем от этих чирьев солоно пришлось. Из-за них он пролежал с нами ещё три дня, и ему была назначена другая диета: утром кофе с булочкой, к обеду — суп, кнедлик с соусом, вечером — каша или суп, и нам, с голодными выкачанными желудка да на строгой диете, пришлось глядеть, как этот парень жрёт, чавкает и, пережравши, отдувается и рыгает. Этим он подвёл трёх других, с пороком сердца. Те тоже признались.

— Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер два есть двое учителей. Один без устали кричит днём и ночью: «Костёр Джордано Бруно ещё дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает: сначала три раза медленно «гав, гав, гав», потом пять раз быстро «гав-гав-гав-гав-гав», а потом опять медленно, — и так без передышки. Оба уже выдержали больше трёх недель… Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но в конце концов у одного парикмахера на Малой Стране приобрёл себе за пятнадцать крон рак желудка.

— Я знаю одного трубочиста из Бржевнова, — заметил другой больной, — он вам за десять крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.

— Это всё пустяки, — сказал третий. — В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за двадцать крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь.

— Мне вывихнули ногу за пятёрку, — раздался голос с постели у окна. — За пять крон наличными и за три кружки пива в придачу.

— Мне моя болезнь стоит уже больше двухсот крон, — заявил его сосед, высохший, как жердь. — Назовите мне хоть один яд, которого бы я не испробовал, — не найдёте. Я живой склад всяких ядов. Я пил сулему, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, лёгкие, почки, жёлчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен.

— Лучше всего, — заметил кто-то около дверей, — впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло: ему отрезали

руку по локоть, и теперь ему никакая военная служба не страшна.

— Вот видите, — сказал Швейк. — Всё это каждый должен претерпеть ради государя императора. И выкачивание желудка и клистир. Когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось ещё хуже. Больного связывали «в козлы» и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрацем, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в чёрной оспе. Оба были связаны «в козлы», а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и всё это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А мне ведь никогда не везёт. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Ну, повели к командиру полка. А наш полковник был такой осёл, — царствие ему небесное! — заорал на меня, чтобы я стоял смирно и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит в тюрьме. Потом пришёл полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал: «Sie verfluchter Hund, Sie schabiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh![11] Социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырёк, а левую — по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я ни гугу, молчу и всё тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревёт: «Идиот ты или не идиот?» — «Точно так, господин полковник, идиот». — «На двадцать один день под строгий арест за идиотизм! По два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов в козлы! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно. Мы тебе, сукину сыну, выбьем из башки газеты!» На этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме прямо-таки чудеса творились. Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже «Пражскую официальную газету». В солдатской лавке запрещено было даже завёртывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали всё подряд, в каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того: писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом, известно ли, мол, правительству, что наш полковник — зверь, и тому

подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий Франта Генчл из Глубокой был посажен на два года, — это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? — сказал полковник. — Ни хрена она вам не помогла! Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал». И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо, на полковника, рука на ремне ружья, и орали что есть мочи: «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла!» Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать одиннадцатая рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гугу! Молчит, ни звука. Полковник покраснел как варёный рак и вернул её назад, чтобы повторила всё сначала. Одиннадцатая опять шагает и… молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «Ruht!»[12] — командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюётся, а потом вдруг остановился да как заорёт: «Abtreten!»[13] Сел на свою клячу и вон. Ждали мы ждали, что с одиннадцатой ротой будет, а ничего не было. Ждём мы день, другой, неделю — ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты рады-радешеньки, да и не только солдаты: и унтеры и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю императору, что одиннадцатая рота взбунтовалась.

Приближался час послеобеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним — фельдшер с книгой.

— Мацуна!

— Здесь.

— Клистир и аспирин.

— Покорный!

— Здесь.

— Промывание желудка и хинин.

— Коваржик!

— Здесь.

— Клистир и аспирин.

— Котятко!
— Здесь.
— Промывание желудка и хинин.
И так всех подряд — механически, грубо и безжалостно.
— Швейк! — Здесь.
Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего.
— Чем больны?
— Осмелюсь доложить, у меня ревматизм.
Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика.
— Ах вот что, ревматизм… — сказал он Швейку. — Это действительно тяжёлая болезнь. Ведь и приключится этакая штука — заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны, как раз когда человек должен идти на фронт! Я полагаю, это вас страшно огорчает?
— Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает.
— А-а, вот как, его это огорчает? Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает, бедняга, как козлёнок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?
— Осмелюсь доложить, болят.
— И всю ночь напролёт не можете заснуть? Не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжёлая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт: строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в Пештянах, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется. — И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал: — Пишите: «Швейк, строгая диета, два раза в день промывание желудка и раз в день клистир». А там — увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клистир, но, знаете, настоящий клистир, чтобы всех святых вспомнил и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился.
Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнёс речь, полную прекрасных и мудрых сентенций.
— Не думайте, что перед вами осёл, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем

другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут валяться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты! И вы ошибётесь, сукины дети! Через двадцать лет будете криком кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали.

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, — послышался тихий голос с койки у окна, — я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка.

— Ваша фамилия?

— Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клистир.

— Хорошо, клистир вам ещё поставят на дорогу, — распорядился доктор Грюнштейн, — чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. Ну-с, а теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите кому что полагается.

Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами: дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски.

— Не щади меня, — подбадривал он палача, ставившего ему клистир. — Помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клистир — и никаких. Помни, на этих клистирах держится Австрия. Мы победим!

На другой день во время обхода доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера, и в придачу ещё аспирин и три порошка хинина, всё это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить.

Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как Швейк пил хинин, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток.

Когда Швейка в присутствии врача завёртывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал:

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне на морском курорте.

— Ревматизм ещё не прошёл?

— Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит.

Швейк был подвергнут новым пыткам.

В это время вдова генерала-от-инфантерии, баронесса фон Боценгейм, прилагала неимоверные усилия для того, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя везти в военную комиссию в коляске для больных и кричал: «На Белград!» Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя-калеки.

Наконец, после справок, наведённых баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боценгейм взяла с собою свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Градчаны.

Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Её визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через пять минут она уже знала, что «der brave Soldat»[14] Швейк, о котором она справлялась, лежит в третьем бараке, койка номер семнадцать. Сопровождать её вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита.

Швейк только что вернулся после обычного, ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окружённый толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна.

Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов.

— Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они тёплые, — заявил тот, которого лечили здесь от застарелого катара желудка. — Когда сало начнёт трещать и брызгать, отожми их, посоли, поперчи, и тогда скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся.

— Полегче насчёт гусиных шкварок, — сказал больной «раком желудка», — нет ничего лучше гусиных шкварок! Ну, куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала! Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев. Они берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают.

— По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок, — заметил сосед Швейка. — Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного

сала. Так они и называются, — домашние шкварки. Они ни коричневые, ни жёлтые, цвет у них какой-то средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твёрдыми. Они не должны хрустеть. Хрустят — значит, пережарены. Они должны таять на языке… но при этом вам не должно казаться, что сало течёт по подбородку.

— А кто из вас ел шкварки из конского сала? — раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.

— По койкам! Сюда идёт великая княгиня. Грязных ног из-под одеяла не высовывать!

Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Боценгейм. За ней следовала целая процессия, тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнелям, к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен. Но ещё бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «вдова генерала» и всё, что связывалось с этим титулом: знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи.

— Вот Швейк, — произнёс доктор с деланным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка. — Переносит всё очень терпеливо.

Баронесса фон Боценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала:

— Ческий зольдат, кароший зольдат, калека зольдат, храбрый зольдат. Я очень любиль ческий австриец. — При этом она гладила Швейка по его небритому лицу. — Я читаль всё в газете, я вам принесля кушать: «ам-ам»; курить, сосать… Ческий зольдат, бравый зольдат!.. Johann, kommen sie her! [15]

Камердинер, своими взъерошенными бакенбардами напоминавший Бабинского, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твёрдой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев.

Баронесса между тем вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завёрнутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных чёрно-жёлтой шёлковой ленточкой, две бутылки какого-то ликёра военного производства с этикеткой: «Gott strafe England»;[16] на

этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц-Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу — не могу, засмейся — не хочу»; потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Всё это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплёте — «Картинки из жизни нашего монарха», которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика»; редактор тонко разбирался в жизни старого Франца-Иосифа.

Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Gott strafe England» и опять с изображением австрийского и германского императоров. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щётку с надписью «Viribus unitis»,[17] сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло: «Fur Gott, Kaiser und Vaterland!»[18]

Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение:

Osterreich, du edies Haus,
steck deine Fahne aus,
lass sie im Winde weh,
Osterreich muss ewig stehen!

На другой стороне был помещён чешский перевод:

О Австро-Венгрия! Могучая держава!
Пусть развевается твой благородный флаг!
Пусть развевается он величаво,
Неколебима Австрия в веках!

Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Боценгейм увидела всё это на постели Швейка, она не могла сдержать

слёз умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов также потекли… слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк, он сложил руки, как на молитве, и заговорил:

— «Отче наш. Иже еси на небеси, да святится имя твоё, да приидет царствие твоё…» Пардон, мадам, наврал! Я хотел сказать: «Господи боже, отец небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради твоей вкусим. Аминь».

После этих слов он взял с постели курицу и набросился на неё, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна.

— Ах, как ему вкусно, зольдатику! — восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса. — Он уже здоров и может поехать на поле битвы. Отшень, отшень рада, что всё это ей на пользу.

Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к Швейку, погладила его по голове со словами «Behut euch Gott»[19] и покинула палату, сопровождаемая всей свитой.

Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с молниеносной быстротой. Возвратясь, доктор нашёл только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живьём попали в гнездо коршунов и их кости несколько месяцев палило солнце.

Исчезли и военный ликёр и три бутылки вина. Исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то даже выпил флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щётке зубную пасту.

Почувствовав, что гроза миновала, доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнёс длинную речь. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты неисправимые симулянты.

— Солдаты, — сказал он, — если бы у вас голова была на плечах, то вы бы до всего этого не дотронулись, а подумали: «Если мы это слопаем, старший врач не поверит, будто мы тяжело больны». А теперь вы как нельзя лучше доказали, что ни в грош не ставите мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клистиры, стараюсь держать на полной диете, а вы так перегружаете желудок! Хотите нажить себе катар желудка, что ли? Нет, ребята, ошибаетесь! Прежде чем ваши желудки успеют, это переварить, я прочищу их так основательно, что вы будете помнить об этом до самой смерти и детям своим расскажете, как однажды вы нажрались цыплят и других вкусных вещей и как это не удержалось у вас в желудке и четверти часа, потому что вам всё своевременно выкачали. Ну-ка, марш за

мной! Не думайте, что я такой же осёл, как вы. Я немножко поумней, чем вы все, вместе взятые. Кроме того, объявляю во всеуслышание, что завтра пошлю к вам комиссию. Слишком долго вы здесь валяетесь, и никто из вас не болен, раз вы можете в пять минут так засорить желудок, как это вам только что удалось сделать… Шагом марш!

Когда дошла очередь до Швейка, доктор Грюнштейн посмотрел на него и, вспомнив сегодняшний загадочный визит, спросил:

— Вы знакомы с баронессой?

— Я её незаконнорождённый сын, — спокойно ответил Швейк. — Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла.

Доктор Грюнштейн сказал лаконично:

— Поставьте Швейку добавочный клистир.

Мрачно было вечером на койках. Всего несколько часов тому назад в желудках у всех были разные хорошие, вкусные вещи, а теперь там переливался жиденький чай с коркой хлеба.

Номер двадцать один у окна робко произнёс:

— Хотите верьте, ребята, хотите нет, а жареных цыплят я люблю больше, чем печёных.

Кто-то проворчал:

— Сделайте ему тёмную!

Но все так ослабели после неудачного угощения, что никто не тронулся с места. Доктор Грюнштейн сдержал слово. Днём явилось несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек, слышны были только два слова: «Покажи язык!» Швейк высунул язык как только мог далеко; его лицо от натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза.

— Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовывается.

Тут между Швейком и комиссией разгорелись интересные дебаты. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык.

Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк — «ein bloder Kerl»,[20] в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой.

— Чёрт побери! — закричал на Швейка председатель комиссии. — Мы вас выведем на чистую воду!

Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребёнка.

Старший штабной врач вплотную подступил к нему.

— Хотел бы я знать, о чём вы, морская свинья, думаете сейчас?

— Осмелюсь доложить, не думаю ни о чём.

— Himmeldonnerwetter![21] — заорал один из членов комиссии, бряцая саблей. — Он таки вообще ни о чём не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?

— Осмелюсь доложить, потому, что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в Девяносто первом полку, наш капитан всегда нам говорил: «Солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так, вшивая дрянь, шляпа. Размышления никогда не доводят…»

— Молчать! — злобно прервал Швейка председатель комиссии.

— У нас уже имеются о вас сведения. Der Keri meint: man wird glauben, er sei ein wirklicher Idiot…[22] Вы вовсе не идиот, Швейк, вы хитрая бестия и пройдоха, вы жулик, хулиган, сволочь! Понимаете?

— Так точно, понимаю.

— Сказано вам молчать? Слышали? — Так точно, слышал, «молчать».

— Himmelhergott! Ну так и молчите, если вам приказано! Ведь вы отлично знаете, что не смеете болтать.

— Так точно, знаю, что не смею болтать.

Господа военные переглянулись и вызвали фельдфебеля.

— Отведите этого субъекта вниз, в канцелярию, — указывая на Швейка, приказал старший штабной врач, — и ждите нашего распоряжения. В гарнизонной тюрьме ему выбьют из головы эту болтливость. Парень здоров как бык, симулирует да к тому же болтает и издевается над своим начальством. Он думает, что мы здесь только для потехи, что военная служба — шутка, комедия… В гарнизонной тюрьме вам покажут, Швейк, что военная служба — не балаган.

Швейк пошёл с фельдфебелем в канцелярию, по дороге мурлыча себе под нос:

> Я-то вздумал в самом деле
> Баловать с войной, —
> Дескать, через две недели
> Попаду домой.

В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо-де расстреливать, наверху, в больничных палатах,

комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один — у которого нога была оторвана гранатой, а другой — с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова «tauglich». Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не преминул произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно лаконична. Все скоты, дерьмо, и только в том случае, если будут храбро сражаться за государя императора, снова станут равноправными членами общества. Тогда после войны им даже простят то, что они пытались уклониться от военной службы и симулировали. Однако он лично в это не верит и убеждён, что всех их рано или поздно ждёт петля.

Молодой военный врач, чистая и пока ещё не испорченная душа, попросил у старшего штабного врача слова. Его речь отличалась от речи начальника оптимизмом и наивностью. Говорил он по-немецки.

Он долго рассусоливал о том, что, дескать, каждый из тех, кто покидает лагерь и вернётся в свой полк, должен быть победителем и рыцарем. Он убеждён, что они сумеют владеть оружием на поле брани и быть честными людьми всюду: и на войне и в частной жизни; что они будут непобедимыми воинами и никогда не забудут о славе Радецкого и принца Евгения Савойского, что кровью своей они польют необозримые поля славы австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. В отважном порыве, не щадя своей жизни, под простреленными знамёнами своих полков, они ринутся вперёд к новой славе, к новым победам…

В коридоре старший штабной врач сказал этому наивному молодому человеку:

— Послушайте, коллега, смею вас уверить, что старались вы зря. Ни Радецкий, ни этот ваш принц Евгений Савойский не сделали бы из этих негодяев солдат. Как с ними ни говори, их ничем не проймёшь. Это — шайка!

Глава IX
ШВЕЙК В ГАРНИЗОННОЙ ТЮРЬМЕ

Последним убежищем для нежелавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя математики, который должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, «стрельнул» часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно. Перспектива участвовать в войне ему не улыбалась. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами находящихся по ту сторону фронта таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики он считал глупым. «Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», — сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму.

В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты. Люди, считавшие военную службу источником личных доходов: различные бухгалтеры интендантства, тыловые и фронтовые, совершившие всевозможные мошенничества с провиантом и солдатским жалованием, и затем мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели солдаты за преступления чисто воинского характера, как-то: нарушение дисциплины, попытки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых восемьдесят процентов были совершенно невинны; девяносто девять процентов этих невинных были осуждены.

Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков.

В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних парах и в походе делили кусок хлеба.

Для гарнизонной тюрьмы поставляла свежий материал также гражданская полиция: господа Клима, Славичек и К°. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденций между фронтом и теми, кто

остался в отчаянном положении дома; жандармы приводили сюда старых неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по двенадцати лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царила у них дома.

Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вёл через Бржевнов на Мотольский плац. Впереди в сопровождении солдат шёл человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотольском плацу раздавалась отрывистая команда: «An! Feuer!»[23] По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного призывного за «бунт», поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем.

А в гарнизонной тюрьме троица — штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингардт и фельдфебель Ржепа, по прозванию «Палач», — оправдывала своё назначение. Сколько людей они до смерти избили в одиночках! Возможно, капитан Лингардт и в республике продолжает оставаться капитаном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены. Славичку и Климе государственная полиция уже зачла их стаж. Ржепа стал штатским и вернулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике.

Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором и теперь сидит в тюрьме. Бедняге не удалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные.

Само собой разумеется, что, принимая Швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд, полный немого укора.

— Раз ты сюда попал, значит за тобой водятся грешки, брат, а? Мы тебе, паренёк, жизнь здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки. А наши руки — это, брат, тебе не дамские ручки.

И чтобы прибавить вес своим словам, он ткнул свой жилистый кулак Швейку под нос и произнёс:

— Понюхай-ка, подлец, чем пахнет!

Швейк понюхал.

— Не хотел бы я получить по носу таким кулаком. Пахнет могилой, — заметил он.

Спокойная, рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю.

— А ну-ка ты! — крикнул он, ткнув Швейка кулаком в живот. — Стоять смирно! Что у тебя в карманах? Сигареты можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. Больше нет? Взаправду нет? Только не

врать! Враньё наказывается.

— Куда его денем? — спросил фельдфебель Ржепа.

— Сунем в шестнадцатую, — решил смотритель, — к голоштанникам. Не видите разве, что написал на препроводительной капитан Лингардт: «Streng behuten, beobachten».[24]

— Да, брат, — обратился он торжественно к Швейку, — со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнём в одиночку, а там переломаем ему рёбра, — пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем полное право. Здорово тогда мы расправились с тем мясником! Помните, Ржепа?

— Ну и задал он нам работы, господин смотритель! — произнёс фельдфебель Ржепа, с наслаждением вспоминая былое. — Вот был здоровяк! Топтал я его больше пяти минут, пока у него рёбра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он ещё потом дней десять жил. Живучий был, сукин сын!

— Видишь, подлец, как у нас расправляются с тем, кому придёт в голову взбунтоваться или удрать, — закончил своё педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик. — Это всё равно что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или, не дай бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придёт инспекция! К примеру, придёт инспекция и спросит: «Есть жалобы?» Так ты, сукин сын, должен стать во фронт, взять под козырёк и отрапортовать: «Никак нет, всем доволен». Ну, как ты это скажешь? Повтори-ка, мерзавец!

— Никак нет, всем доволен, — повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность.

— Так снимай штаны и отправляйся в шестнадцатую, — сказал он мягко, не добавив, против обыкновения, ни «сволочь», ни «сукин сын», ни «мерзавец».

В шестнадцатой Швейк застал двадцать мужчин в одних подштанниках. Тут сидели те, у кого в бумагах была пометка «Streng behuten, beobachten». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они, чего доброго, не удрали.

Если бы подштанники были чистые, а на окнах не было решёток, то с первого взгляда могло бы показаться, что вы попали в предбанник.

Швейка принял староста, давно не бритый детина в расстёгнутой рубахе. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал:

— Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь. Мы все там будем стоять в одних подштанниках. Вот будет потеха.

Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня, — излюбленное место развлечения арестантов. Не оттого вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к богу или приобщало их к добродетели. О такой глупости не могло быть и речи. Просто богослужение и проповедь спасали от тюремной скуки. Дело заключалось вовсе не в том, стал ты ближе к богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге — на лестнице или во дворе — брошенный окурок сигареты или сигары. Маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли, на земле, совсем оттеснил бога в сторону. Этот маленький пахучий предмет одержал победу и над богом и над спасением души.

Да и, кроме того, сама проповедь забавляла всех. Фельдкурат Отто Кац в общем был милейший человек. Его проповеди были необыкновенно увлекательны, остроумны и вносили оживление в гарнизонную скуку. Он так занятно трепал языком о бесконечном милосердии божьем, чтобы поддержать «падших духом» и нечестивых арестантов, так смачно ругался с кафедры, так самозабвенно распевал у алтаря своё «Ite, missa est».[25] Богослужение он вёл весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы, новую обедню, свой собственный ритуал, — словом, такое, чего до сих пор никто не видывал.

Вот смеху бывало, когда он, к примеру, поскользнётся и брякнется вместе с чашей и со святыми дарами или требником, громко обвиняя министранта из заключённых, что тот умышленно подставил ему ножку, а потом тут же, перед самой дарохранительницей, вкатит этому министранту одиночку и «шпангле». Наказанный очень доволен: всё это входит в программу и делает ещё забавнее комедию в тюремной часовне. Ему поручена в этой комедии большая роль, и он хорошо её играет.

Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель Махара.

У фельдкурата Отто Каца прошлое было ещё пестрее чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и был призван в своё время на военную службу как вольноопределяющийся. Он так прекрасно разбирался в вексельном праве и в векселях, что за один год привёл фирму «Кац и K°» к полному банкротству; крах был такой, что старому Кацу пришлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без

ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину.

Таким образом, молодой Отто Кац, бескорыстно поделив фирму «Кац и К°» между Северной и Южной Америкой, очутился в положении человека, который ниоткуда не ждёт наследства, не знает, где приклонить голову, и которому остаётся только устроиться на действительную военную службу.

Однако вольноопределяющийся Отто Кац придумал ещё одну блестящую штуку. Он крестился. Обратился к Христу, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. Обратился доверчиво, рассматривая этот шаг как коммерческую сделку между собой и сыном божьим.

Его торжественно крестили в Эмаузском монастыре. Сам патер Альбан совершал обряд крещения. Это было великолепное зрелище. Присутствовали при сём набожный майор из того же полка, где служил Отто Кац, старая дева из института благородных девиц на Градчанах и мордастый представитель консистории, который был у него за крёстного.

Экзамен на офицера сошёл благополучно, и новообращённый христианин Отто Кац остался на военной службе. Сначала ему казалось, что дело пойдёт хорошо, и он метил уже в военную академию, но в один прекрасный день напился, пошёл в монастырь и променял саблю на монашескую рясу. Он был на аудиенции у архиепископа в Градчанах и в результате попал в семинарию. Перед своим посвящением он напился вдребезги в одном весьма порядочном доме с женской прислугой на Вейводовой улице и прямо с кутежа отправился на рукоположение. После посвящения он пошёл в свой полк искать протекции и, когда его назначили фельдкуратом, купил себе лошадь, гарцевал на ней по улицам Праги и принимал живейшее участие во всех попойках офицеров своего полка.

На лестнице дома, где помещалась его квартира, очень часто раздавались проклятия неудовлетворённых кредиторов. Отто Кац водил к себе девок с улицы или посылал за ними своего денщика. Он увлекался игрой в «железку», и ходили не лишённые основания слухи, что играет он нечисто, но никому не удавалось уличить фельдкурата в том, что в широком рукаве его военной сутаны припрятан туз. В офицерских кругах его величали «святым отцом». К проповеди он никогда не готовился, чем отличался от своего предшественника, раньше навещавшего гарнизонную тюрьму. У того в голове твёрдо засело представление, что солдат, посажённых в гарнизонную тюрьму, можно исправить проповедями. Этот достойный пастырь набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках, а также реформы касательно незамужних матерей и распространялся о воспитании

внебрачных детей. Его проповеди носили чисто абстрактный характер и никак не были связаны с текущим моментом, то есть, попросту сказать, были нудными.

Проповеди фельдкурата Отто Каца, напротив, радовали всех.

Шестнадцатую камеру водили в часовню в одних подштанниках, так как им нельзя было позволить надеть брюки, — это было связано с риском, что кто-нибудь удерёт. Настал торжественный момент. Двадцать ангелочков в белых подштанниках поставили у самого подножия кафедры проповедника. Некоторые из них, которым улыбнулась фортуна, жевали подобранные по дороге окурки, так как, за неимением карманов, им некуда было их спрятать. Вокруг стояли остальные арестанты гарнизонной тюрьмы и любовались видом двадцати пар подштанников.

На кафедру, звеня шпорами, взобрался фельдкурат.

— Habacht![26] — скомандовал он. — На молитву! Повторять всё за мной! Эй ты там, сзади, не сморкайся, подлец, в кулак, ты находишься в храме божьем, а не то велю посадить тебя в карцер! Небось уже забыли, обормоты, «Отче наш»? Ну-ка, попробуем… Так и знал, что дело не пойдёт. Какой уж там «Отче наш»! Вам бы только слопать две порции мяса с бобами, нажраться, лечь на брюхо, ковырять в носу и не думать о господе боге. Что, не правду я говорю?

Он посмотрел с кафедры вниз на двадцать белых ангелов в подштанниках, которые, как и остальные, вовсю развлекались. В задних рядах играли в «мясо».

— Ничего, интересно, — шепнул Швейк своему соседу, над которым тяготело подозрение, что он за три кроны отрубил своему товарищу все пальцы на руке, чтобы тот освободился от военной службы.

— То ли ещё будет! — ответил тот. — Он сегодня опять здорово налакался, значит опять станет рассказывать о тернистом пути греха.

Действительно, фельдкурат сегодня был в ударе. Сам не зная зачем, он всё время перегибался через перила кафедры и чуть было не потерял равновесие и не свалился вниз.

— Ну-ка, ребята, спойте что-нибудь! — закричал он сверху. — Или хотите, я научу вас новой песенке? Подтягивайте за мной.

Есть ли в мире кто милей
Моей милки дорогой?
Не один хожу я к ней —
Прут к ней тысячи гурьбой!
К моей милке на поклон

Люди прут со всех сторон.
Прут и справа, прут и слева,
Звать её Мария-дева.

— Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь, — продолжал фельдкурат. — Я за то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю с этого святого места, негодяи, ибо бог есть бытие… которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете! Ибо вы не хотите обратиться ко Христу и предпочитаете идти тернистым путём греха…

— Во-во, начинается. Здорово надрался! — радостно зашептал Швейку сосед.

— …Тернистый путь греха — это, болваны вы этакие, путь борьбы с пороками. Вы, блудные сыны, предпочитающие валяться в одиночках, вместо того чтобы вернуться к отцу нашему, обратите взоры ваши к небесам и победите. Мир снизойдёт в ваши души, хулиганы… Я просил бы там, сзади, не фыркать! Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме божьем. Обращаю на это ваше внимание, голубчики… Так где бишь я остановился? Ja, liber den Seelenfrieden, sehr gut![27] Помните, скоты, что вы люди и должны сквозь тёмный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что всё здесь тленно и недолговечно и что только один бог вечен. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren?[28] А если вы воображаете, что я буду денно и нощно за вас молиться, чтобы милосердный бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своею милостью уничтожил беззакония ваши, принял бы вас в лоно своё навеки и во веки веков не оставлял своею милостью вас, подлецов, то вы жестоко ошибаетесь! Я вас в обитель рая вводить не намерен…

Фельдкурат икнул.

— Не намерен… — упрямо повторил он. — Ничего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодяи. Бесконечное милосердие всевышнего не поведёт вас по жизненному пути и не коснётся вас дыханием божественной любви, ибо господу богу и в голову не придёт возиться с такими мерзавцами… Слышите, что я говорю? Эй вы там, в подштанниках!

Двадцать подштанников посмотрели вверх и в один голос сказали:

— Точно так, слышим.

— Мало только слышать, — продолжал свою проповедь

фельдкурат. — В окружающем вас мраке, болваны, не снизойдёт к вам сострадание всевышнего, ибо и милосердие божье имеет свои пределы. А ты, осёл, там, сзади, не смей ржать, не то сгною тебя в карцере; и вы, внизу, не думайте, что вы в кабаке! Милосердие божье бесконечно, но только для порядочных людей, а не для всякого отребья, не соблюдающего ни его законов, ни воинского устава. Вот что я хотел вам сказать. Молиться вы не умеете и думаете, что ходить в церковь — одна потеха, словно здесь театр или кинематограф. Я вам это из башки выбью, чтобы вы не воображали, будто я пришёл сюда забавлять вас и увеселять. Рассажу вас, сукиных детей, по одиночкам — вот что я сделаю. Только время с вами теряю, совершенно зря теряю. Если бы вместо меня был здесь сам фельдмаршал или сам архиепископ, вы бы всё равно не исправились и не обратили души ваши к господу. И всё-таки когда-нибудь вы меня вспомните и скажете: «Добра он нам желал…»

Из рядов подштанников послышалось всхлипывание. Это рыдал Швейк.

Фельдкурат посмотрел вниз. Швейк тёр глаза кулаком. Вокруг царило всеобщее ликование.

— Пусть каждый из вас берёт пример с этого человека, — продолжал фельдкурат, указывая на Швейка. — Что он делает? Плачет. Не плачь, говорю тебе! Не плачь! Ты хочешь исправиться? Это тебе, голубчик, легко не удастся. Сейчас вот плачешь, а вернёшься в свою камеру и опять станешь таким же негодяем, как и раньше. Тебе ещё придётся поразмыслить о бесконечном милосердии божьем, долго придётся совершенствоваться, пока твоя грешная душа не выйдет наконец на тот путь истинный, по коему надлежит идти… Днесь на наших глазах заплакал один из вас, захотевший обратиться на путь истины, а что делают все остальные? Ни черта. Вот, смотрите: один что-то жуёт, словно родители у него были жвачные животные, а другой в храме божьем ищет вшей в своей рубашке. Не можете дома чесаться, что ли? Обязательно во время богослужения надо. Смотритель, вы совсем не следите за порядком! Ведь вы же солдаты, а не какие-нибудь балбесы штатские, и вести себя должны, как полагается солдатам, хотя бы и в церкви. Займитесь, чёрт побери, поисками бога, а вшей будете искать дома! На этом, хулиганьё, я кончил и требую, чтобы во время обедни вы вели себя прилично, а не как прошлый раз, когда в задних рядах казённое бельё обменивали на хлеб и лопали этот хлеб при возношении святых даров.

Фельдкурат сошёл с кафедры и проследовал в ризницу, куда направился за ним и смотритель. Через минуту смотритель вышел,

подошёл прямо к Швейку, вытащил его из кучи двадцати подштанников и отвёл в ризницу.

Фельдкурат сидел, развалясь, на столе и свёртывал себе сигарету. Когда Швейк вошёл, фельдкурат сказал:

— Ну, вот и вы. Я тут поразмыслил и считаю, что раскусил вас как следует. Понимаешь? Это первый случай, чтобы у меня в церкви кто-нибудь разревелся.

Он соскочил со стола и, тряхнув Швейка за плечо, крикнул, стоя под большим мрачным образом Франциска Салеского:

— Признайся, подлец, что ревел ты только так, для смеха!

Франциск Салеский вопросительно глядел на Швейка. А с другой стороны на Швейка с изумлением взирал какой-то великомученик. В зад ему кто-то вонзил зубья пилы, и какие-то неизвестные римские солдаты усердно распиливали его. На лице мученика не отражалось ни страдания, ни удовольствия, ни сияния мученичества. Его лицо выражало только удивление, как будто он хотел сказать: «Как это я, собственно, дошёл до жизни такой и что вы, господа, со мною делаете?»

— Так точно, господин фельдкурат, — сказал Швейк серьёзно, всё ставя на карту, — исповедуюсь всемогущему богу и вам, достойный отец, я должен признаться, что ревел, правда, только так, для смеху. Я видел, что вам недостаёт только кающегося грешника, к которому вы тщетно взывали. Ей-богу, я хотел доставить вам радость, чтобы вы не разуверились в людях. Да и сам я хотел поразвлечься, чтобы повеселело на душе.

Фельдкурат пытливо посмотрел на простодушную физиономию Швейка. Солнечный луч заиграл на мрачной иконе Франциска Салеского и согрел удивлённого мученика на противоположной стене.

— Вы мне начинаете нравиться, — сказал фельдкурат, снова садясь на стол. — Какого полка? — спросил он, икая.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, что принадлежу и не принадлежу к Девяносто первому полку и вообще не знаю, что со мною происходит.

— А за что вы здесь сидите? — спросил фельдкурат, не переставая икать.

Из часовни доносились звуки фисгармонии, заменявшей орган. Музыкант-учитель, которого посадили за дезертирство, изливал свою душу в самых тоскливых церковных мелодиях. Звуки эти сливались с икотой фельдкурата в какой-то неведомой доселе дорической гамме.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я, по правде сказать, не знаю, за что тут сижу. Но я не жалуюсь. Мне просто не везёт. Я стараюсь

как получше, а выходит так, что хуже не придумаешь, вроде как у того мученика на иконе.

Фельдкурат посмотрел на икону, улыбнулся и сказал:

— Ей-богу, вы мне нравитесь! Придётся порасспросить о вас у следователя. Ну, а больше болтать с вами я не буду. Скорее бы отделаться от этой святой мессы. Kehrt euch! Abtreten![29]

Вернувшись в родную семью голоштанников, стоявших у амвона, Швейк на вопросы, чего, мол, фельдкурат от него хотел, ответил очень сухо и коротко:

— В стельку пьян.

За следующим номером программы — святой мессой — публика следила с напряжённым вниманием и нескрываемой симпатией. Один из арестантов даже побился об заклад, что фельдкурат уронит чашу с дарами. Он поставил весь свой паёк хлеба против двух оплеух — и выиграл.

Нельзя сказать, чтобы чувство, которое наполняло в часовне души тех, кто созерцал исполняемые фельдкуратом обряды, было мистицизмом верующих или набожностью рьяных католиков. Скорее оно напоминало то чувство, какое рождается в театре, когда мы не знаем содержания пьесы, а действие всё больше запутывается и мы с нетерпением ждём развязки. Все были захвачены представлением, которое давал фельдкурат у алтаря. Арестанты не спускали глаз с ризы, надетой наизнанку: все с воодушевлением следили за спектаклем, разыгрываемым у алтаря, испытывая при этом эстетическое наслаждение.

Рыжий министрант, дезертир из духовных, специалист по мелким кражам в Двадцать восьмом полку, честно старался восстановить по памяти весь ход действия, технику и текст святой мессы. Он был для фельдкурата одновременно и министрантом и суфлёром, что не мешало святому отцу с необыкновенной лёгкостью переставлять целые фразы. Вместо обычной мессы фельдкурат раскрыл в требнике рождественскую мессу и начал служить её к вящему удовольствию публики. Он не обладал ни голосом, ни слухом, и под сводами церкви раздавались визг и рёв, словно в свином хлеву.

— Ну и нализался сегодня, нечего сказать, — с огромным удовлетворением отметили перед алтарём. — Здорово его развезло! Наверное, опять где-нибудь у девок напился.

Пожалуй, уже в третий раз у алтаря звучало пение фельдкурата «Ite, missa est», напоминавшее воинственный клич индейцев, от которого дребезжали стёкла. Затем фельдкурат ещё раз заглянул в чашу, проверить, не осталось ли там ещё хоть капли вина, поморщился и обратился к

слушателям:

— Ну, а теперь, подлецы, можете идти домой. Конец. Я заметил, что вы не проявляете той набожности, которую подобало бы проявить в церкви перед святым алтарём. Хулиганы! Перед лицом всевышнего вы не стыдитесь громко смеяться и кашлять, харкать и шаркать ногами… даже при мне, хотя я здесь вместо девы Марии, Иисуса Христа и бога отца, болваны! Если это повторится впредь, то я с вами расправлюсь как следует. Вы будете знать, что существует не только тот ад, о котором я вам позапрошлый раз говорил в проповеди, но и ад земной! Может быть, от первого вы и спасётесь, но от второго вы у меня не отвертитесь. Abtreten!

Фельдкурат, так хорошо и оригинально проводивший в жизнь старый избитый обычай посещения узников, прошёл в ризницу, переоделся, велел себе налить церковного вина из громадной оплетённой бутыли, выпил и с помощью рыжего министранта сел на свою верховую лошадь, которая была привязана во дворе. Но тут он вспомнил о Швейке, слез с лошади и пошёл в канцелярию к следователю Бернису.

Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, который невероятно скучал на службе и писал немецкие стихи в свою записную книжку, чтобы всегда иметь наготове запасец. Он представлял собой важнейшее звено аппарата военного суда, так как в его руках было сосредоточено такое количество протоколов и совершенно запутанных актов, что он внушал уважение всему военно-полевому суду на Градчанах. Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову; он судил дезертиров за воровство, а воров — за дезертирство; устраивал политические процессы, высасывая материал из пальца; он прибегал к разнообразнейшим фокусам, чтобы уличить обвиняемых в преступлениях, которые тем никогда и не снились, выдумывал оскорбления его величества и эти им самим сочинённые выражения инкриминировал тем обвиняемым, материалы против которых терялись у него в постоянном хаосе служебных актов и других официальных бумаг.

— Servus![30] — сказал фельдкурат, подавая ему руку. — Как дела?

— Неважно, — ответил военный следователь Бернис. — Перепутали мне материалы, теперь в них сам чёрт не разберётся. Вчера я послал начальству уже отработанный материал об одном молодчике, которого обвиняют в мятеже, а мне всё вернули назад, дескать, потому, что дело идёт не о мятеже, а о краже консервов. Кроме того, я поставил не тот номер. Как они и до этого добрались, ума не приложу!

Военный следователь плюнул.

— Играешь ещё в карты? — спросил фельдкурат.

— Продулся я в карты. Последний раз играли мы с полковником, с тем плешивым, в макао, так я всё ему просадил. Зато у меня на примете есть одна девочка… А ты что поделываешь, святой отец?

— Мне нужен денщик, — сказал фельдкурат, — Последний мой денщик был старик бухгалтер, без высшего образования, но скотина первоклассная. Вечно молился и хныкал, чтобы бог сохранил его от беды и напасти, ну, я его и послал с маршевым батальоном на фронт. Говорят, этот батальон расколошматили в пух и прах. Потом мне прислали одного молодчика, который ничего не делал, только сидел в трактире и пил на мой счёт. Этого бы ещё можно было вытерпеть, да уж очень у него ноги потели. Пришлось и его послать с маршевым батальоном. А сегодня нашёл я одного типа, который во время проповеди, смеху ради, разревелся. Вот такого-то мне и нужно. Фамилия его Швейк, а сидит в шестнадцатой. Интересно бы знать, за что его посадили и нельзя ли мне его как-нибудь вытащить оттуда?

Следователь стал рыться в ящиках стола, отыскивая дело Швейка, но, как всегда, не мог ничего найти.

— Наверно, у капитана Лингардта, — сказал он после долгих бесплодных поисков. — Чёрт их знает, куда у меня пропадают все дела! Видно, я их послал Лингардту. Позвоню-ка ему… Алло! У телефона следователь поручик Бернис. Господин капитан, будьте добры, нет ли там у вас бумаг относительно некоего Швейка? Должны быть у меня?.. Странно… Сам от вас принимал? Действительно странно. Сидит в шестнадцатой… Да, я знаю, господин капитан, что шестнадцатая у меня. Но я думал, что бумаги о Швейке где-нибудь там у вас валяются… Вы просите с вами так не говорить? У вас ничего не валяется? Алло! Алло!

Огорчённый Бернис присел к столу и принялся осуждать беспорядок в ведении следствия. Между ним и капитаном Лингардтом давно уже существовала неприязнь, причём ни один не хотел уступать. Если бумага, относившаяся к делам Лингардта, попадала в руки к Бернису, то Бернис засовывал её так далеко, что потом уже никто не мог её найти. Лингардт то же самое делал с бумагами, относящимися к делам Берниса. Точно так же пропадали и приложения к делам.[31]

(Дело Швейка было найдено в архиве военно-полевого суда только после переворота со следующей пометкой: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства». Дело Швейка было засунуто среди бумаг какого-то Йозефа

Куделя. На обложке дела был поставлен крестик, а под ним: «Приведено в исполнение» и дата.)

— Итак, пропал у меня Швейк, — сказал Бернис. — Велю вызвать его сюда и, если он ни в чём не признается, отпущу. Я прикажу отвести его к тебе, а остальное ты уж сам устроишь в полку.

После ухода фельдкурата следователь Бернис велел привести к себе Швейка. Но он заставил его ждать за дверьми, так как в этот момент получил телефонограмму из полицейского управления о том, что затребованный материал к обвинительному акту № 7267, касающийся рядового пехоты Мейкснера, был принят канцелярией № 1 за подписью капитана Лингардта.

Швейк между тем разглядывал канцелярию военного следователя.

Нельзя сказать, чтобы обстановка здесь оставляла чересчур благоприятное впечатление, особенно фотографии различных экзекуций, произведённых армией в Галиции и в Сербии. Это были художественные снимки спалённых хат и сожжённых деревьев, ветви которых пригнулись к земле под тяжестью повешенных. Особенно хорош был снимок из Сербии, где была сфотографирована повешенная семья: маленький мальчик, отец и мать. Двое вооружённых солдат охраняют дерево, на котором висит несколько человек, а на переднем плане с видом победителя стоит офицер, курящий сигарету. Вдали видна действующая полевая кухня.

— Ну, так как же с вами быть, Швейк? — спросил следователь Бернис, приобщая телефонограмму к делу. — Что вы там натворили? Признаётесь или же будете ждать, пока составим на вас обвинительный акт? Этак не годится! Не воображайте, что вы находитесь перед каким-нибудь судом, где ведут следствие штатские балбесы. У нас суд военный, K. und K. Militargericht.[32] Единственным вашим спасением от строгой и справедливой кары может быть только полное признание.

У следователя Берниса был «свой собственный метод» на случай утери материала против обвиняемого. Но, как видите, в этом методе не было ничего особенного, поэтому не приходится удивляться, что результаты такого рода расследования и допроса всегда равнялись нулю.

Следователь Бернис считал себя настолько проницательным, что, не имея материала против обвиняемого, не зная, в чём его обвиняют и за что он вообще сидит в гарнизонной тюрьме, из одних только наблюдений за поведением и выражением лица допрашиваемого выводил заключение, за что этого человека держат в тюрьме. Его проницательность и знание людей были так глубоки, что одного цыгана, который попал в гарнизонную тюрьму из своего полка за кражу нескольких дюжин белья (он был

подручным у каптенармуса), Бернис обвинил в политическом преступлении: дескать, тот в каком-то трактире агитировал среди солдат за создание самостоятельного государства, в составе Чехии и Словакии, во главе с королём-славянином.

— У нас на руках документы, — сказал он несчастному цыгану. — Вам остаётся только признаться, в каком трактире вы это говорили, какого полка были те солдаты, что вас слушали, и когда это произошло.

Несчастный цыган выдумал и дату, и трактир, и полк, к которому принадлежали его мнимые слушатели, а когда возвращался с допроса, просто сбежал из гарнизонной тюрьмы.

— Вы ни в чём не желаете признаваться? — спросил Бернис, видя, что Швейк хранит гробовое молчание. — Вы не хотите рассказать, как вы сюда попали, за что вас посадили? Мне-то по крайней мере вы могли бы это сказать, пока я сам вам не напомнил. Предупреждаю ещё раз, признайтесь. Вам же лучше будет, ибо это облегчит расследование и смягчит наказание. В этом отношении у нас то же, что и в гражданских судах.

— Осмелюсь доложить, — прозвучал наконец добродушный голос Швейка, — я здесь, в гарнизонной тюрьме, вроде как найдёныш.

— Что вы имеете в виду?

— Осмелюсь доложить, я могу объяснить это очень просто… На нашей улице живёт угольщик, у него был совершенно невинный двухлетний мальчик. Забрёл раз этот мальчик с Виноград в Либень, уселся на тротуаре, — тут его и нашёл полицейский. Отвёл он его в участок, а там его заперли, двухлетнего-то ребёнка! Видите, мальчик был совершенно невинный, а его всё-таки посадили. Если бы его спросили, за что он сидит, то — умей он говорить — всё равно не знал бы, что ответить. Вот и со мной приблизительно то же самое. Я тоже найдёныш.

Быстрый взгляд следователя скользнул по фигуре и лицу Швейка и разбился о них. От всего существа Швейка веяло таким равнодушием и такой невинностью, что Бернис в раздражении зашагал по канцелярии, и если бы не обещание фельдкурату послать ему Швейка, то чёрт знает чем бы кончилось это дело.

Наконец следователь остановился у своего стола.

— Послушайте-ка, — сказал он Швейку, равнодушно глазевшему по сторонам, — если вы ещё хоть раз попадётесь мне на глаза, то долго будете помнить… Уведите его!

Пока Швейка вели назад, в шестнадцатую, Бернис вызвал к себе смотрителя Славика.

— Впредь до дальнейших указаний Швейк передаётся в распоряжение

господина фельдкурата Каца, — коротко приказал он. — Заготовить пропуск. Отвести Швейка с двумя конвойными к господину фельдкурату.

— Прикажете отвести его в кандалах, господин поручик?

Следователь ударил кулаком по столу:

— Осёл! Я же ясно сказал: заготовить пропуск!

И всё, что накопилось за день в душе следователя — капитан Лингардт, Швейк, — всё это бурным потоком устремилось на смотрителя и кончилось словами:

— Поняли наконец, что вы коронованный осёл!

Так полагается величать только королей и императоров, но даже простой смотритель, особа отнюдь не коронованная, всё же не остался доволен подобным обхождением и, выходя от военного следователя, пнул ногой арестанта, мывшего коридор. Что же касается Швейка, то смотритель решил оставить его хотя бы ещё на одну ночь в гарнизонной тюрьме, дабы предоставить ему возможность вкусить всех её прелестей.

Ночь, проведённая в гарнизонной тюрьме, навсегда остаётся приятным воспоминанием для каждого, побывавшего там.

Возле шестнадцатой находилась одиночка, жуткая дыра, откуда и в описываемую нами ночь доносился вой арестованного солдата, которому за какой-то проступок по приказанию смотрителя Славика фельдфебель Ржепа сокрушал рёбра.

Когда вой затих, в шестнадцатой слышно было только щёлканье вшей, попавших под ногти арестантов.

Над дверью в углублении, сделанном в стене, керосиновая лампа, снабжённая предохранительной решёткой, бросала на стены тусклый свет и коптила. Запах керосина смешивался с испарением немытых человеческих тел и с вонью параши, которая после каждого употребления разверзала свои пучины и пускала в шестнадцатую новую волну смрада.

Плохая пища затрудняла процесс пищеварения, и большинство арестантов страдало скоплением газов; газы выпускались в ночную тишину, их встречали ответные сигналы, сопровождаемые остротами.

Из коридора доносились размеренные шаги часовых, время от времени открывался «глазок» в двери и «архангел» заглядывал внутрь.

На средней койке кто-то тихим голосом рассказывал:

— Меня перевели сюда после того, как я попробовал удрать. Раньше-то я сидел в двенадцатой. Там вроде сидят по более лёгким делам. Привели к нам раз одного деревенского мужика. Его посадили на две недели за то, что пускал к себе ночевать солдат. Сперва думали — политический заговор, а потом выяснилось, что он это делал за деньги. Он должен был сидеть с

самыми мелкими преступниками, а там было полно, вот он и попал к нам. Чего только он не принёс из дому, чего только ему не присылали! Каким-то образом ему разрешили пользоваться своими харчами сверх тюремного пайка. И курить разрешили. Приволок он с собой два окорока, этакий здоровенный каравай хлеба, яйца, масло, сигареты, табак… Ну, словом, всё, о чём только может человек мечтать. Хранил он своё добро в двух мешках. Да, и вбил он себе в башку, что всё это должен сожрать один. Стали мы у него просить по-хорошему, раз он сам не догадывается, поделиться с нами, как делали все другие, когда что-нибудь получали. А он, скупердяй этакий, нет и нет: дескать, ему тут две недели сидеть и он может испортить себе желудок капустой да гнилой картошкой, которую нам дают на обед. Он, мол, отдаёт нам свой казённый обед и хлебный паёк, ничего, дескать, против этого не имеет, можем разделить всё поровну или же есть по очереди… Тонкого, скажу вам, понятия был человек: на парашу и садиться не желал, откладывал на другой день, чтобы во время прогулки проделать это в отхожем месте на дворе. Такой уж был избалованный, что даже клозетную бумагу с собой принёс. Мы ему сказали, что нам начхать на его порцию, и терпели день, другой, третий… Парень жрал ветчину, мазал хлеб маслом, лупил яйца, словом — жил как надо. Курил сигареты и даже затянуться никому не хотел дать: дескать, нам курить не разрешается и если «архангел» увидит, что он даёт нам курить, то его посадят в одиночку. Словом, три дня мы терпели. На четвёртый, ночью, настал час расплаты. Парень утром проснулся… Да, забыл вам сказать, что он каждый день утром, в обед и вечером перед жратвой всегда молился, подолгу молился. Помолился он, значит, и полез за своими мешками под нары. Мешки-то там лежали, но тощие, сморщенные, как сушёная слива. Он — в крик: меня, мол, обокрали, оставили только клозетную бумагу, но потом замолчал, минут пять подумал, решил, что мы пошутили и просто всё куда-нибудь припрятали. Вот и говорит, да так весело: «Эх вы, мошенники, всё равно вы мне всё вернёте. Ну и здорово это у вас получилось!» Был у нас там один из Либени, тот ему и говорит: «Знаете что, накройтесь с головой одеялом и считайте до десяти, а потом загляните в свои мешки». Наш парень, как послушный мальчик, накрылся с головой и считает: «Раз, два, три…» А либенский говорит: «Не так быстро, считайте медленно!» Тот снова давай считать, медленно, с расстановкой: «Раз… два… три…» Когда сосчитал до десяти, слез со своей койки, посмотрел в мешки, да как начал кричать: «Иисус Мария! Люди добрые! Мешки пустые, как и раньше!» Посмотрели бы вы на его глупую рожу! Мы чуть не лопнули со смеху. А либенский ему снова: «Попробуйте, говорит, ещё раз!» Так, верите ли,

парень до того обалдел, что попробовал ещё раз, а когда увидал, что в мешках опять нет ничего, кроме клозетной бумаги, начал колотить в дверь и кричать: «Меня обокрали! Меня обокрали! Караул! Отоприте! Ради бога, отоприте!» Само собой, моментально прибежали надзиратели, позвали смотрителя и фельдфебеля Ржепу. Мы все как один заявляем, что он помешался: дескать, вчера жрал до самой поздней ночи и всё съел один. А он только плачет и твердит своё: «Ведь крошки-то должны остаться». Стали искать крошки и, конечно, не нашли. Не на таковских напали! Что сами не могли слопать, послали почтой по верёвке во второй этаж. Ничего у нас не обнаружили, хотя этот дурак и ныл своё: «Но ведь крошечки-то должны где-нибудь остаться!» Целый день он ничего не жрал, только смотрел, не ест ли кто-нибудь чего, не курит ли. На другой день он даже к обеду не притронулся, однако вечером и гнилая картошка с капустой пришлись ему по вкусу. Только с той поры он уже больше не молился, когда напускался на ветчину и яйца. Потом один из нас каким-то чудом разжился махоркой, и тут впервые он с нами заговорил, — дескать, дайте и мне затянуться. Чёрта с два мы ему дали!

— А я боялся, что вы дадите, — заметил Швейк. — Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью.

— А тёмную вы ему не делали? — спросил кто-то.

— Нет, забыли.

В шестнадцатой открылась неторопливая дискуссия, следовало сделать скупердяю тёмную или нет. Большинство высказалось «за».

Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где вшей в бельё водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы.

В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.

— Налево у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки, — поучал Швейка один из арестантов. — А на втором этаже стоит ещё одна. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь отыщется.

Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады.

Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира и его нынче повели на Мотольский плац на расстрел.

Глава X
ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ У ФЕЛЬДКУРАТА

I

Швейковская одиссея снова развёртывается под почётным эскортом двух солдат, вооружённых винтовками с примкнутыми штыками. Они должны были доставить его к фельдкурату. Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга: один был худой и долговязый, другой, наоборот, маленький и толстый; верзила прихрамывал на правую ногу, маленький — на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были вчистую освобождены от военной службы. Оба с серьёзным видом топали по мостовой, изредка поглядывая на Швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цейхгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которой он явился на призыв, и ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В его штаны влезло бы ещё три Швейка. Бесконечные складки, от ног и чуть ли не до шеи, — а штаны доходили до самой шеи, — поневоле привлекали внимание зевак. Громадная грязная и засаленная гимнастёрка с заплатами на локтях болталась на Швейке, как кафтан на огородном пугале. Штаны висели, как у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже подменили в гарнизонной тюрьме, сползала на уши.

На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым, тёплым взглядом своих добрых глаз.

Так подвигались они к Карлину, где жил фельдкурат. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по Малой Стране под галереей.

— Откуда будешь?

— Из Праги.

— Не удерёшь от нас?

В разговор вмешался верзила. Поразительное явление: если маленькие толстяки по большей части бывают добродушными оптимистами, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики. Следуя этому закону, верзила возразил маленькому:

— Кабы мог, удрал бы!

— А на кой ему удирать? — отозвался маленький толстяк. — Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот пакет у меня.

— А что там, в этом пакете? — спросил верзила.

— Не знаю.

— Видишь, не знаешь, а говоришь…

Карлов мост они миновали в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком:

— Ты не знаешь, зачем мы ведём тебя к фельдкурату?

— На исповедь, — небрежно ответил Швейк. — Завтра меня повесят. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души.

— А за что тебя будут… того? — осторожно спросил верзила, между тем как толстяк с соболезнованием посмотрел на Швейка.

Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.

— Не знаю, — ответил Швейк, добродушно улыбаясь. — Я ничего не знаю. Видно, судьба.

— Стало быть, ты родился под несчастливой звездой, — тоном знатока с сочувствием заметил маленький. — У нас в селе Ясенной, около Йозефова, ещё во время прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали и в Йозефе повесили.

— Я думаю, — скептически заметил долговязый, — что так, ни за что ни про что, человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.

— В мирное время, — заметил Швейк, — может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома! Что в лоб, что по лбу.

— Послушай, а ты не политический? — спросил верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.

— Политический, даже очень, — улыбнулся Швейк.

— Может, ты национальный социалист?

Но тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.

— Нам-то что, — сказал он. — Смотри-ка, кругом пропасть народу, и все на нас глазеют. Если бы мы могли где-нибудь в воротах снять штыки, чтобы это… не так бросалось в глаза. Ты не удерёшь? А то, знаешь, нам влетит. Верно, Тоник? — обратился он к верзиле.

Тот тихо отозвался:

— Штыки-то мы могли бы снять. Всё-таки это наш человек. — Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку.

Они вместе высмотрели подходящее место за воротами, сняли там

штыки, и толстяк разрешил Швейку пойти рядом.

— Небось курить хочется? Да? — спросил он. — Кто знает…

Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить, перед тем как повесят», — но не докончил фразы, поняв, что это было бы бестактно.

Все закурили, и конвоиры стали рассказывать Швейку о своих семьях, живущих в районе Краловеградца, о жёнах, о детях, о клочке землицы, о единственной корове…

— Пить хочется, — заметил Швейк.

Долговязый и маленький переглянулись.

— По одной кружке и мы бы пропустили, — сказал маленький, почувствовав, что верзила тоже согласен, — но там, где бы на нас не очень глазели.

— Идёмте в «Куклик», — предложил Швейк, — ружья вы оставите там на кухне. Хозяин в «Куклике» — Серабона, сокол, его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике, бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в «репрезентяк».

Верзила и толстяк снова переглянулись, и верзила решил:

— Ну что ж, зайдём, до Карлина ещё далеко.

По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в «Куклик» и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли всё помещение звуками излюбленной песни «На Панкраце, на холме, есть чудесная аллея».

Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида, с безукоризненным пробором, и пела сиплым голосом:

Обзавёлся я девчонкой,
А гуляет с ней другой.

За одним столом спал пьяный сардинщик. Время от времени он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал: «Не выйдет!» — и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и хором кричали железнодорожному кондуктору:

— Молодой человек, угостите нас вермутом!

Неподалёку от музыкантов двое спорили о какой-то Марженке, которую вчера во время облавы «сцапал» патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто вчера она с одним солдатом пошла спать в гостиницу «Вальшум».

У самых дверей, в компании штатских, сидел солдат и рассказывал о том, как его ранили в Сербии. Одна рука у него была на перевязи, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он то и дело повторял, что больше уже не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, без устали его угощал.

— Да выпейте уж, солдатик! Кто знает, свидимся ли когда ещё? Велеть, чтоб вам сыграли? Попросить «Сиротку»?

Это была любимая песня лысого старика. И действительно, минуту спустя скрипка с гармошкой завыли «Сиротку». У старика выступили слёзы на глазах, и он затянул дребезжащим голосом:

Чуть понятливее стала,
Всё о маме вопрошала,
Всё о маме вопрошала.

Из-за другого стола послышалось:

— Хватит! Ну их к чёрту! Катитесь вы с вашей «Сироткой»!

И, прибегнув к последнему средству убеждения, вражеский стол грянул:

Разлука, ах, разлука —
Для сердца злая мука.

— Франта, — позвали они раненого солдата, когда, заглушив «Сиротку», допели «Разлуку» до конца. — Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и гони сюда сигареты. Брось забавлять этих чудаков!

Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк, — он часто сиживал тут ещё до войны, — пустился в воспоминания о том, как здесь, бывало, внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку. Раз они даже запели её хором:

Как от Драшнера от пана
Паника поднялась.
Лишь одна Марженка спьяна
Его не боялась…

В этот момент вошёл Драшнер со своей свитой, грозный и неумолимый. Последовавшая затем сцена напоминала охоту на куропаток: полицейские согнали всех в кучу. Швейк тоже очутился в этой куче и, на свою беду, когда комиссар Драшкер потребовал у него удостоверение личности, спросил: «А у вас есть на это разрешение полицейского управления?» Потом Швейк вспомнил об одном поэте, который сиживал вон там под зеркалом и среди шума и гама, под звуки гармошки, сочинял стихи и тут же читал их проституткам.

У конвоиров Швейка никаких воспоминаний подобного рода не было. Для них всё было внове. Им тут начинало нравиться. Маленький толстяк первым почувствовал себя здесь как рыба в воде. Ведь толстяки, кроме своего оптимизма, отличаются ещё большой склонностью к эпикурейству. Верзила с минуту колебался, но, отбросив свой скептицизм, мало-помалу стал терять и сдержанность и последние остатки рассудительности.

— Пойду станцую, — сказал он после пятой кружки пива, увидав, как пары пляшут «шляпака».

Маленький полностью отдался радостям жизни. Возле него уже сидела какая-то барышня и несла похабщину. Глаза у него так и блестели.

Швейк пил.

Верзила, кончив танцевать, вернулся к столу с партнёршей. Потом конвойные пели, снова танцевали, не переставая пили и похлопывали своих компаньонок. В атмосфере продажной любви, никотина и алкоголя незримо витал старый девиз: «После нас — хоть потоп».

После обеда к ним подсел какой-то солдат и предложил сделать за пять крон флегмону и заражение крови. Шприц для подкожного впрыскивания у него при себе, и он может впрыснуть им в ногу или в руку керосин.[33] После этого они пролежат не менее двух месяцев, а если будут смачивать рану слюнями, то и все полгода, и их вынуждены будут совсем освободить от военной службы.

Верзила, потерявший всякое душевное равновесие, пошёл с солдатом в уборную впрыскивать себе под кожу керосин.

Когда время подошло к вечеру, Швейк внёс предложение отправиться в путь к фельдкурату. Но маленький толстяк, у которого язык уже начал заплетаться, упрашивал Швейка остаться ещё. Верзила тоже придерживался того мнения, что фельдкурат может подождать.

Однако Швейку в «Куклике» уже надоело, и он пригрозил, что пойдёт один.

Тронулись в путь, однако Швейку пришлось пообещать, что они сделают ещё один привал.

Остановились они за «Флоренцией», в маленьком кафе, где толстяк продал свои серебряные часы, чтобы они могли ещё поразвлечься.

Оттуда конвоиров под руки вёл уже Швейк. Это стоило ему большого труда. Ноги у них всё время подкашивались, солдат беспрестанно тянуло ещё куда-нибудь зайти. Маленький толстяк чуть было не потерял пакет, предназначенный для фельдкурата, и Швейку пришлось нести пакет самому. Всякий раз, когда навстречу им попадался офицер или унтер, Швейк должен был предупреждать своих стражей. Сверхчеловеческими усилиями ему удалось наконец дотащить их до Краловской площади, где жил фельдкурат. Швейк собственноручно примкнул к винтовкам штыки и, подталкивая конвоиров под рёбра, добился, чтобы они вели его, а не он их.

Во втором этаже, где на дверях висела визитная карточка «Отто Кац — фельдкурат», им вышел отворить какой-то солдат. Из соседней комнаты доносились голоса, звон бутылок и бокалов.

— Wir… rneldem… gehorsam… Herr… Feldkurat, — с трудом выговорил верзила, отдавая честь солдату, — ein… Paket… und ein Mann gebracht.[34]

— Влезайте, — сказал солдат. — Где это вы так нализались? Господин фельдкурат тоже… — И солдат сплюнул.

Солдат ушёл с пакетом. Пришедшие долго ждали его в передней, пока наконец не открылась дверь и в переднюю не вошёл, а как бомба влетел фельдкурат. Он был в одной жилетке и в руке держал сигару.

— Так вы уже здесь, — сказал он, обращаясь к Швейку. — А, это вас привели. Э… нет ли у вас спичек?

— Никак нет, господин фельдкурат, — ответил Швейк.

— А… а почему у вас нет спичек? Каждый солдат должен иметь спички, чтобы закурить. Солдат, не имеющий спичек, является… является… Ну?

— Осмелюсь доложить, является без спичек, — подсказал Швейк.

— Совершенно верно, является без спичек и не может дать никому закурить. Это во-первых. А теперь, во-вторых. У вас ноги не воняют, Швейк?

— Никак нет, не воняют.

— Так. Это во-вторых. А теперь, в-третьих. Водку пьёте?

— Никак нет, водки не пью, только ром.

— Отлично! Вот посмотрите на этого солдата. Я одолжил его на денёк у поручика Фельдгубера, это его денщик. Он ни черта не пьёт, такой рр… тр… трезвенник, а потому отправится с маршевой ротой. По… потому что такой человек мне не нужен. Это не денщик, а корова. Та тоже пьёт одну

воду и мычит как бык.

— Ты т… т… резвенник! — обратился он к солдату. — Не… не стыдно тебе! Дурррак! Достукаешься — получишь в морду.

Тут фельдкурат обратил своё внимание на солдат, которые привели Швейка и, несмотря на то что изо всех сил старались стоять ровно, качались из стороны в сторону, тщетно пытаясь опереться на свои ружья.

— Вы п… пьяны!.. — сказал фельдкурат. — Вы напились при исполнении служебных обязанностей! За это я поса… садить велю вас! Швейк, отберите у них ружья, отведите на кухню и сторожите, пока не придёт патруль. Я сейчас п… позвоню в казармы.

Итак, слова Наполеона: «На войне ситуация меняется каждое мгновение», — нашли здесь своё полное подтверждение — утром конвоиры вели под штыками Швейка и боялись, как бы он не сбежал, а под вечер оказалось, что Швейк привёл их к месту назначения и ему пришлось их караулить. Они не сразу сообразили, как обернулось дело, но когда, сидя на кухне, увидели в дверях Швейка с ружьём и примкнутым штыком, то поняли всё.

— Я бы чего-нибудь выпил, — вздохнул маленький оптимист.

Но верзилу опять одолел приступ скептицизма. Он заявил, что всё это — низкое предательство, и громко принялся обвинять Швейка за то, что по его вине они попали в такое положение. Он укорял его, вспоминая, как Швейк им обещал, что завтра его повесят, а теперь выходит, что исповедь, как и виселица, одно надувательство.

Швейк молча расхаживал около двери.

— Ослы мы были! — вопил верзила.

Выслушав все обвинения, Швейк сказал:

— Теперь вы по крайней мере видите, что военная служба — не фунт изюма. Я только исполняю свой долг. Влип я в это дело случайно, как и вы, но мне, как говорится, «улыбнулась фортуна».

— Я бы чего-нибудь выпил! — в отчаянии повторял оптимист.

Верзила встал и, пошатываясь, подошёл к двери.

— Пусти нас домой, — сказал он Швейку, — брось дурачиться, голубчик!

— Отойди! — ответил Швейк. — Я должен вас караулить. Отныне мы незнакомы.

В дверях появился фельдкурат.

— Я… я никак не могу дозвониться в эти самые казармы. А потому ступайте домой да по… помните у меня, что на службе пьянствовать не… нельзя! Марш отсюда!

К чести господина фельдкурата будь сказано, что в казармы он не звонил, так как телефона у него не было, а просто говорил в настольную электрическую лампу.

II

Уже третий день Швейк служил в денщиках у фельдкурата Отто Каца и за это время видел его только один раз. На третий день пришёл денщик поручика Гельмиха и сказал Швейку, чтобы тот шёл к ним за фельдкуратом.

По дороге денщик рассказал Швейку, что фельдкурат поссорился с поручиком Гельмихом и разбил пианино. Фельдкурат в доску пьян и не хочет идти домой, а поручик Гельмих, тоже пьяный, всё-таки выкинул его на лестницу, и тот сидит у двери на полу и дремлет.

Прибыв на место, Швейк как следует встряхнул фельдкурата. Тот замычал и открыл глаза. Швейк взял под козырёк и отрапортовал:

— Честь имею явиться, господин фельдкурат!

— А что… вам… здесь надо?

— Осмелюсь доложить, я пришёл за вами, господа фельдкурат. Я должен был прийти.

— Должны были прийти за мной? А куда мы пойдём?

— Домой, господин фельдкурат.

— А зачем мне идти домой? Разве я не дома?

— Никак нет, господин фельдкурат, вы — на лестнице в чужом доме.

— А как… как я… сюда попал?

— Осмелюсь доложить, вы были в гостях.

— В… гостях… в го… гостях я не… не был. Вы… о… ошибаетесь…

Швейк приподнял фельдкурата и прислонил его к стене. Фельдкурат шатался из стороны в сторону, наваливался на Швейка и всё время повторял, глупо улыбаясь:

— Я у вас сейчас упаду…

Наконец Швейку удалось прислонить его к стене, но в этом новом положении фельдкурат опять задремал.

Швейк разбудил его.

— Что вам угодно? — спросил фельдкурат, делая тщетную попытку съехать по стене и сесть на пол.

— Кто вы такой?

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — ответил Швейк, снова прислоняя фельдкурата к стене, — я ваш денщик.

— Нет у меня никаких денщиков, — с трудом выговаривал фельдкурат, пытаясь упасть на Швейка, — и я не фельдкурат. Я свинья!.. — прибавил он с пьяной откровенностью. — Пустите меня, сударь, я с вами не знаком!

Короткая борьба окончилась решительной победой Швейка, который воспользовался этим для того, чтобы стащить фельдкурата с лестницы в парадное, где тот, однако, оказал серьёзное сопротивление, не желая, чтобы его вытащили на улицу.

— Я с вами, сударь, не знаком, — уверял он, сопротивляясь Швейку. — Знаете Отто Каца? Это — я.

— Я у архиепископа был! — орал он немного погодя за дверью. — Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне. Понимаете?!

Швейк отбросил «осмелюсь доложить» и заговорил с фельдкуратом в интимном тоне.

— Отпусти руку, говорят, — сказал он, — а не то дам раза! Идём домой — и баста! Не разговаривать!

Фельдкурат отпустил дверь и навалился на Швейка.

— Тогда пойдём куда-нибудь. Только к «Шугам» я не пойду, я там остался должен.

Швейк вытолкал фельдкурата из парадного и поволок его по тротуару к дому.

— Это что за фигура? — полюбопытствовал один из прохожих.

— Это мой брат, — пояснил Швейк. — Получил отпуск и приехал меня навестить да на радостях выпил: не думал, что застанет меня в живых.

Услыхав последнюю фразу, фельдкурат промычал мотив из какой-то оперетки, перевирая его до невозможности. Потом выпрямился и обратился к прохожим:

— Кто из вас умер, пусть явится в течение трёх дней в штаб корпуса, чтобы труп его был окроплён святой водой… — и замолк, норовя упасть носом на тротуар.

Швейк, подхватив фельдкурата под мышки, поволок его дальше. Вытянув вперёд голову и волоча ноги, как кошка с перешибленным хребтом, фельдкурат бормотал себе под нос:

— Dominus vobisclim, et cum spiritu tuo. Dominus vobiscurn.[35]

У стоянки извозчиков Швейк посадил фельдкурата на тротуар, прислонив его к стене, а сам пошёл договариваться с извозчиками. Один из них заявил, что знает этого пана очень хорошо, он уже один раз его возил и больше не повезёт.

— Заблевал мне всё, — пояснил извозчик, — да ещё не заплатил за проезд. Я его больше двух часов возил, пока нашёл, где он живёт. Три раза

я к нему ходил, а он только через неделю дал мне за всё пять крон.

Наконец после долгих переговоров какой-то извозчик взялся отвезти.

Швейк вернулся за фельдкуратом. Тот спал. Кто-то снял у него с головы чёрный котелок (он обыкновенно ходил в штатском) и унёс.

Швейк разбудил фельдкурата и с помощью извозчика погрузил его в закрытый экипаж. Там фельдкурат впал в полное отупение. Он принял Швейка за полковника Семьдесят пятого пехотного полка Юста и несколько раз повторил:

— Не сердись, дружище, что я тебе тыкаю. Я свинья!

С минуту казалось, что от тряски пролётки по мостовой к нему возвращается сознание. Он сел прямо и запел какой-то отрывок из неизвестной песенки. Вероятно, это была его собственная импровизация.

Помню золотое время,
Как все улыбались мне,
Проживали мы в то время
У Домажлиц в Мерклине.

Однако минуту спустя он потерял всякую способность соображать и, обращаясь к Швейку, спросил, прищурив один глаз:

— Как поживаете, мадам?.. Едете куда-нибудь на дачу? — после краткой паузы продолжал он.

В глазах у него двоилось, и он осведомился:

— Изволите иметь уже взрослого сына? — И указал пальцем на Швейка.

— Будешь ты сидеть или нет?! — прикрикнул на него Швейк, когда фельдкурат хотел встать на сиденье. — Я тебя приучу к порядку!

Фельдкурат затих и только молча смотрел вокруг своими маленькими поросячьими глазками, совершенно не понимая, что, собственно, с ним происходит.

Потом, опять забыв обо всём на свете, он повернулся к Швейку и сказал тоскливым тоном:

— Пани, дайте мне первый класс, — и сделал попытку спустить брюки.

— Застегнись сейчас же, свинья! — заорал на него Швейк. — Тебя и так все извозчики знают. Один раз уже облевал всё, а теперь ещё и это хочешь. Не воображай, что опять не заплатишь, как в прошлый раз.

Фельдкурат меланхолически подпёр голову рукой и стал напевать:

Меня уже никто не любит…

Но внезапно прервал пение и заметил:

— Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel! Ich kann singen, was ich will![36]

Тут он, как видно, хотел просвистать какую-то мелодию, но вместо свиста из глотки у него вырвалось такое мощное «тпрру», что экипаж остановился.

Когда спустя некоторое время они, по распоряжению Швейка, снова тронулись в путь, фельдкурат стал раскуривать пустой мундштук.

— Не закуривается, — сказал он, понапрасну исчиркав всю коробку спичек. — Вы мне дуете на спички.

Но внезапно он потерял нить размышлений и засмеялся.

— Вот смешно! Мы одни в трамвае. Не правда ли, коллега?

И он стал шарить по карманам.

— Я потерял билет! — закричал он. — Остановите вагон, билет должен найтись!

Потом покорно махнул рукой и крикнул:

— Трогай дальше!

И вдруг забормотал:

— В большинстве случаев… Да, всё в порядке… Во всех случаях… Вы находитесь в заблуждении… На третьем этаже?.. Это — отговорка… Разговор идёт не обо мне, а о вас, милостивая государыня… Счёт!.. Одна чашка чёрного кофе…

Засыпая, он начал спорить с каким-то воображаемым неприятелем, который лишал его права сидеть в ресторане у окна. Потом принял пролётку за поезд и, высовываясь наружу, орал на всю улицу по-чешски и по-немецки:

— Нимбурк, пересадка!

Швейк с силой притянул его к себе, и фельдкурат, забыв про поезд, принялся подражать крику разных животных и птиц. Дольше всего он подражал петуху, и его «кукареку» победно разносилось по улицам.

На некоторое время он стал вообще необычайно деятельным, неусидчивым и попытался даже выскочить из пролётки, ругая всех прохожих хулиганами. Затем он выбросил в окно носовой платок и закричал, чтобы пролётку остановили, так как он потерял багаж. Потом стал рассказывать:

— Жил в Будейовицах один барабанщик. Вот женился он и через год

умер. — Он вдруг расхохотался. — Что, нехорош разве анекдотец?

Всё это время Швейк обращался с фельдкуратом с беспощадной строгостью. При малейших попытках фельдкурата отколоть очередной номер, выскочить, например, из пролётки или отломать сиденье, Швейк давал ему под рёбра, на что тот реагировал необычайно тупо. Только один раз он сделал попытку взбунтоваться и выскочить из пролётки, заорав, что дальше не поедет, так как, вместо того чтобы ехать в Будейовицы, они едут в Подмокли. Но Швейк за одну минуту ликвидировал мятеж и заставил фельдкурата вернуться к первоначальному положению, следя за тем, чтобы он не уснул. Самым деликатным из того, что Швейк при этом произнёс, было:

— Не дрыхни, дохлятина! На фельдкурата внезапно нашёл припадок меланхолии, и он залился слезами, выпытывая у Швейка, была ли у него мать.

— Одинок я на этом свете, братцы, — голосил он, — заступитесь, приласкайте меня!

— Не срами ты меня, — вразумлял его Швейк, — перестань, а то каждый скажет, что ты нализался.

— Я ничего не пил, друг, — ответил фельдкурат. — Я совершенно трезв! Он вдруг приподнялся и отдал честь.

— Ich melde gehorsam, Herr Oberst, ich bin besoffen.[37] Я свинья! — повторил он раз десять с пьяной откровенностью, полной отчаяния. И, обращаясь к Швейку, стал клянчить:

— Вышвырните меня из автомобиля. Зачем вы меня с собой везёте?

Потом опустился на сиденье и забормотал:

— «В сиянье месяца златого…» Вы верите в бессмертие души, господин капитан? Может ли лошадь попасть на небо?

Фельдкурат громко засмеялся, но через минуту загрустил и, апатично глядя на Швейка, произнёс:

— Позвольте, сударь, я вас уже где-то видел. Не были ли вы в Вене? Я помню вас по семинарии.

С минуту он развлекался декламацией латинских стихов:

— Aurea prima satast, aetas, quae vindice nullo. Дальше у меня не получается, — сказал он. — Выкиньте меня вон. Почему вы не хотите меня выкинуть? Со мной ничего не случится. Я хочу упасть носом, — заявил он решительно. — Сударь! Дорогой друг, — продолжал он умоляющим тоном, — дайте мне подзатыльник!

— Один или несколько? — осведомился Швейк.

— Два.

— На!

Фельдкурат вслух считал подзатыльники, блаженно улыбаясь.

— Это отлично помогает пищеварению, — сказал он. — Теперь дайте мне по морде… Покорно благодарю! — воскликнул он, когда Швейк немедленно исполнил его желание. — Я вполне доволен. Теперь разорвите, пожалуйста, мою жилетку.

Он выражал самые разнообразные желания. Хотел, чтобы Швейк вывихнул ему ногу, чтобы немного придушил, чтобы остриг ему ногти, вырвал передние зубы. Он обнаружил стремление к мученичеству, требуя, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву.

— Мне бы очень пошли звёздочки вокруг головы. Хорошо бы штук десять, — восторженно произнёс он.

Потом он завёл разговор о скачках, но скоро перешёл на балет, однако и тут недолго задержался.

— Чардаш танцуете? — спросил он Швейка. — Знаете «Танец медведя»? Этак вот…

Он хотел подпрыгнуть и упал на Швейка. Тот надавал ему тумаков и уложил на сиденье.

— Мне чего-то хочется, — кричал фельдкурат, — но я сам не знаю, чего. Вы не знаете ли, чего мне хочется?

И он повесил голову, словно бы полностью покоряясь судьбе.

— Что мне до того, чего мне хочется! — сказал он вдруг серьёзно. — И вам, сударь, до этого никакого дела нет! Я с вами не знаком. Как вы осмеливаетесь так пристально на меня смотреть?.. Умеете фехтовать?

Он перешёл в наступление и сделал попытку спихнуть Швейка с сиденья. Потом, когда Швейк успокоил его, без стеснения дав почувствовать своё физическое превосходство, фельдкурат осведомился:

— Сегодня у нас понедельник или пятница?

Он полюбопытствовал также, что теперь — декабрь или июнь, и вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные вопросы.

— Вы женаты? Любите горгонзолу? Водятся ли у вас в доме клопы? Как поживаете? Была ли у вашей собаки чумка?

Потом фельдкурат пустился в откровенность: рассказал, что он должен за верховые сапоги, за хлыст и седло, что несколько лет тому назад у него был триппер и он лечил его марганцовкой.

— Я ни о чём другом не мог думать, да и некогда было, — продолжал он икая. — Может быть, вам это кажется слишком тяжёлым, но скажите — ик! Что делать! — ик! Уж вы простите меня!

— …Термосом, — начал он, забыв, о чём говорил минуту назад, —

называется сосуд, который сохраняет первоначальную температуру еды или напитка… Как по-вашему, коллега, которая из игр честнее: «железка» или «двадцать одно»?.. Ей-богу, мы с тобой где-то уже встречались! — воскликнул он, покушаясь обнять Швейка и облобызать его своими слюнявыми губами. — Мы ведь вместе ходили в школу… Ты славный парень! — говорил он, нежно гладя свою собственную ногу. — Как ты, однако, вырос за то время, что я тебя не видел! С тобой я забываю о всех пережитых страданиях.

Тут им овладело поэтическое настроение, и он заговорил о возвращении к солнечному свету счастливых созданий и пламенных сердец. Затем он упал на колени и начал молиться: «Богородица дево, радуйся», причём хохотал во всё горло.

Когда они остановились, его никак не удавалось вытащить из экипажа.

— Мы ещё не приехали! — кричал он. — Помогите! Меня похищают! Желаю ехать дальше!

Его пришлось в буквальном смысле слова выковырнуть из дрожек, как варёную улитку из раковины. Одно мгновение казалось, что его вот-вот разорвут пополам, потому что он уцепился ногами за сиденье.

При этом фельдкурат громко хохотал, очень довольный, что надул Швейка и извозчика.

— Вы меня разорвёте, господа!

Еле-еле его втащили по лестнице в квартиру и, как мешок, свалили на диван. Фельдкурат заявил, что за автомобиль, которого он не заказывал, он платить не намерен. Понадобилось более четверти часа, чтобы втолковать ему, что он ехал в крытом экипаже. Но и тогда он не согласился платить, возражая, что ездит только в карете.

— Вы меня хотите надуть, — заявил фельдкурат, многозначительно подмигивая Швейку и извозчику, — мы шли пешком.

И вдруг под наплывом щедрости он кинул извозчику кошелёк:

— Возьми всё! Ich kann bezahlen![38] Для меня лишний крейцер ничего не значит!

Правильнее было бы сказать, что для него ничего не значат тридцать шесть крейцеров, так как в кошельке больше и не было. К счастью, извозчик подверг фельдкурата тщательному обыску, ведя при этом разговор об оплеухах.

— Ну, ударь! — посоветовал фельдкурат. — Думаешь, не выдержу? Пяток оплеух выдержу.

В жилете у фельдкурата извозчик нашёл пятёрку и ушёл, проклиная свою судьбу и фельдкурата, из-за которого он даром потратил столько

времени и к тому же лишился заработка.

Фельдкурат медленно засыпал, не переставая строить различные планы. Чего только не приходило ему в голову: сыграть на рояле, пойти на урок танцев и, наконец, поджарить себе рыбки.

Потом он обещал выдать за Швейка свою сестру, которой у него не было. Наконец он пожелал, чтобы его отнесли на кровать, и уснул, заявив, что ему хотелось бы, чтобы в нём признали человека — существо, равноценное свинье.

III

Войдя утром в комнату фельдкурата, Швейк застал его лежащим на диване и напряжённо размышляющим о том, как могло случиться, что его кто-то облил, да так, что он приклеился брюками к кожаному дивану.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — сказал Швейк, — вы ночью…

В немногих словах он разъяснил фельдкурату, как жестоко тот ошибается, думая, что его облили.

Проснувшись с чрезвычайно тяжёлой головой, фельдкурат пребывал в угнетённом состоянии духа.

— Не могу вспомнить, — сказал он, — каким образом я попал с кровати на диван?

— А вы и не были на кровати. Как только мы приехали, вас уложили на диван — до постели дотащить не могли.

— А что я натворил? Не натворил ли я чего? Я же не был пьян!

— До положения риз, — отвечал Швейк, — вдребезги, господин фельдкурат, до зелёного змия. Я думаю, вам станет легче, если вы переоденетесь и умоетесь…

— У меня такое ощущение, будто меня избили, — жаловался фельдкурат, — и потом жажда. Я вчера не дрался?

— До этого не доходило, господин фельдкурат. А жажда — это из-за жажды вчерашней. От неё не так-то легко отделаться. Я знал одного столяра, так тот в первый раз напился под новый тысяча девятьсот десятый год, а первого января с утра его начала мучить жажда, и чувствовал он себя отвратительно, так что пришлось купить селёдку и напиться снова. С тех пор он делает это каждый день вот уже четыре года подряд. И никто не может ему помочь, потому что по субботам он покупает себе селёдок на целую неделю. Такая вот карусель, как говаривал наш старый фельдфебель

в Девяносто первом полку.

Фельдкурат был подавлен, на него напала хандра. Тот, кто услышал бы его рассуждения в этот момент, ни на минуту не усомнился бы в том, что попал на лекцию доктора Александра Батека на тему «Объявим войну не на живот, а на смерть демону алкоголя, который убивает наших лучших людей» или что читает его книгу «Сто искр этики», — правда, с некоторыми изменениями.

— Я понимаю, — изливался фельдкурат, — если человек пьёт благородные напитки, допустим, арак, мараскин или коньяк, а ведь я вчера пил можжевёловку. Удивляюсь, как я мог её пить? Вкус отвратительный! Хоть бы это вишнёвка была. Выдумывают люди всякую мерзость и пьют, как воду. У этой можжевёловки ни вкуса, ни цвета, только горло дерёт. Была бы хоть настоящая можжевёловая настойка, какую я однажды пил в Моравии. А ведь вчерашнюю сделали на каком-то древесном спирту или деревянном масле… Посмотрите, что за отрыжка! Водка — яд, — решительно заявил он. — Водка должна быть натуральной, настоящей, а ни в коем случае не состряпанной евреями холодным способом на фабрике. В этом отношении с водкой дело обстоит, как с ромом, а хороший ром — редкость… Была бы под рукой настоящая ореховая настойка, — вздохнул он, — она бы мне наладила желудок. Такая ореховая настойка, как у капитана Шнабеля в Бруске.

Он принялся рыться в кошельке.

— У меня всего-навсего тридцать шесть крейцеров. Что, если продать диван… — рассуждал он. — Как вы думаете, Швейк? Купят его? Домохозяину я скажу, что я его одолжил или что его украли. Нет, диван я оставлю. Пошлю-ка я вас к капитану Шнабелю, пусть он мне одолжит сто крон. Он позавчера выиграл в карты. Если вам не повезёт, ступайте в Вршовице в казармы к поручику Малеру. Если и там не выйдет, то отправляйтесь на Градчаны к капитану Фишеру. Скажите ему, что мне необходимо платить за фураж для лошади, так как те деньги я пропил. А если и там у вас не выгорит, заложим рояль. Будь что будет! Я вам напишу пару строк для каждого. Постарайтесь убедить. Говорите всем, что очень нужно, что я сижу без гроша. Вообще выдумывайте что хотите, но с пустыми руками не возвращайтесь, не то пошлю на фронт. Да спросите у капитана Шнабеля, где он покупает эту ореховую настойку, и купите две бутылки.

Швейк выполнил это задание блестяще. Его простодушие и честная физиономия вызывали полное доверие ко всему, что бы он ни говорил. Швейк счёл более удобным не рассказывать капитану Шнабелю, капитану

Фишеру и поручику Малеру, что фельдкурат должен платить за фураж для лошади, а подкрепить свою просьбу заявлением, что фельдкурату, дескать, необходимо платить алименты.

Деньги он получил всюду.

Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, уже умытому и одетому, триста крон, тот был поражён.

— Я взял всё сразу, — сказал Швейк, — чтобы нам не пришлось завтра или послезавтра снова заботиться о деньгах. Всё сошло довольно гладко, но капитана Шнабеля пришлось умолять на коленях. Такая каналья! Но когда я ему сказал, что нам необходимо платить алименты…

— Алименты?! — в ужасе переспросил фельдкурат.

— Ну да, алименты, господин фельдкурат, отступные девочкам. Вы же мне сказали, чтобы я что-нибудь выдумал, а ничего другого мне в голову не пришло. У нас один портной платил алименты пяти девочкам сразу. Он был просто в отчаянии и тоже часто одалживал на это деньги. И представьте, каждый входил в его тяжёлое положение. Они спрашивали, что за девочка, а я сказал, что очень хорошенькая, ей нет ещё пятнадцати. Хотели узнать адрес.

— Недурно вы провели это дело! — вздохнул фельдкурат и зашагал по комнате. — Какой позор! — сказал он, хватаясь за голову. — А тут ещё голова трещит!

— Я им дал адрес одной глухой старушки на нашей улице, — разъяснял Швейк. — Я хотел провести дело основательно: приказ есть приказ. Не мог я уйти ни с чем, пришлось кое-что выдумать. Да, вот ещё: там пришли за роялем. Я их привёл, чтобы они отвезли его в ломбард, господин фельдкурат. Будет неплохо, если рояль заберут. И место очистится, и денег у нас с вами прибавится — по крайней мере на некоторое время будем обеспечены. А если хозяин станет спрашивать, что мы собираемся делать с роялем, я скажу, что в нём лопнули струны и мы его отправляем на фабрику в ремонт. Привратнице я так и сказал, чтобы она не удивлялась, когда рояль будут выносить и грузить на подводу… И на диван у меня уже покупатель есть. Это мой знакомый торговец старой мебелью. Зайдёт после обеда. Нынче кожаные диваны в цене.

— А больше вы ничего не обстряпали, Швейк? — в отчаянии спросил фельдкурат, всё время держась обеими руками за голову.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, я принёс вместо двух бутылок ореховой настойки, той самой, которую покупает капитан Шнабель, пять, чтобы у нас был кое-какой запас и всегда нашлось что выпить… За роялем могут зайти. А то ещё ломбард закроют…

Фельдкурат махнул безнадёжно рукой, и спустя несколько минут рояль уже грузили на подводу. Когда Швейк вернулся из ломбарда, фельдкурат сидел перед раскупоренной бутылкой ореховой настойки, ругаясь, что на обед ему дали непрожаренный шницель. Фельдкурат был опять навеселе. Он объявил Швейку, что с завтрашнего дня начинает новую жизнь, так как употреблять алкоголь — низменный материализм, а жить следует жизнью духовной.

Он философствовал приблизительно с полчаса. Когда была откупорена третья бутылка, пришёл торговец старой мебелью, и фельдкурат за бесценок продал ему диван и при этом уговаривал покупателя побеседовать с ним. Он остался весьма недоволен, когда тот отговорился тем, что идёт покупать ночной столик.

— Жаль, что у меня нет такого! — сокрушённо развёл руками фельдкурат. — Трудно обо всём позаботиться заранее.

После ухода торговца старой мебелью фельдкурат завёл приятельскую беседу со Швейком, с которым и распил следующую бутылку. Часть разговора была посвящена отношению фельдкурата к женщинам и к картам. Сидели долго. Вечер застал Швейка за приятельской беседой с фельдкуратом.

К ночи отношения, однако, изменились. Фельдкурат вернулся к своему вчерашнему состоянию, перепутал Швейка с кем-то другим и говорил ему:

— Только не уходите. Помните того рыжего юнкера из интендантства?

Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока Швейк не сказал фельдкурату:

— Хватит! Теперь в постель и дрыхни! Понял?

— Лезу, милый, лезу… Как не полезть? — бормотал фельдкурат. — Помнишь, как мы вместе учились в пятом классе и я за тебя писал работы по-греческому?.. У вас ведь вилла в Збраславе. Туда можно проехать пароходом по Влтаве. Знаете, что такое Влтава?

Швейк заставил его снять ботинки и раздеться. Фельдкурат подчинился, обратившись со словом протеста к невидимым слушателям.

— Видите, господа, — жаловался он шкафу и фикусу, — как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! — вдруг решительно заявил он, укладываясь в постель. — Восстань против меня земля и небо, я и тогда отрекусь от них!..

И в комнате раздался храп фельдкурата.

IV

К этому же периоду относится и визит Швейка на свою квартиру к своей старой служанке пани Мюллеровой. Швейк застал дома двоюродную сестру пани Мюллеровой, которая с плачем сообщила ему, что пани Мюллерова была арестована в тот же вечер, когда отвезла Швейка на призыв. Старушку судил военный суд, и в виду того, что ничего не было доказано, её отвезли в концентрационный лагерь в Штейнгоф. От неё уже получено письмо. Швейк взял эту семейную реликвию и прочёл:

«Милая Аннушка! Нам здесь очень хорошо, и все мы здоровы. У соседки по койке сыпной есть и чёрная. В остальном всё в порядке. Еды у нас достаточно, и мы собираем на суп картофельную. Слышала я, что пан Швейк уже так ты как-нибудь разузнай, где он лежит, чтобы после войны мы могли украсить его могилу. Забыла тебе сказать, что на чердаке в тёмном углу в ящике остался щеночек фокстерьер. Вот уже сколько недель, как он ничего не ел, — с той поры как пришли меня. Я думаю, что уже поздно и пёсик уже отдал душу».

Весь лист пересекал розовый штемпель:

Zensuriert K… и k. Konzentrationslager Steinhof.[39]

— И в самом деле, пёсик был уже мёртв! — всхлипнула двоюродная сестра пани Мюллеровой. — А комнату свою вы бы и не узнали. Там теперь живут портнихи. Они устроили у вас дамский салон. На стенах повсюду моды, и цветы на окнах.

Двоюродная сестра пани Мюллеровой никак не могла успокоиться. Всхлипывая и причитая, она наконец высказала опасение, что Швейк удрал с военной службы, а теперь хочет и на неё навлечь беду и погубить. И она заговорила с ним, как с прожжённым авантюристом.

— Забавно! — сказал Швейк. — Это мне ужасно нравится! Вот что, пани Кейржова, вы совершенно правы, я удрал. Но для этого мне пришлось убить пятнадцать вахмистров и фельдфебелей. Только вы никому об этом не говорите.

И Швейк покинул свой очаг, оказавшийся таким негостеприимным, предварительно отдав распоряжения:

— Пани Кейржова, у меня в прачечной воротнички и манишки, так вы их заберите, чтобы, когда я вернусь с военной службы, у меня было что надеть из штатского. И ещё последите, чтобы в платяном шкафу в моих костюмах не завелась моль. А тем барышням, что спят на моей постели, прошу кланяться.

Заглянул Швейк и в трактир «У чаши». Увидав его, жена Паливца заявила, что не нальёт ему пива, так как он, наверное, дезертир.

— Мой муж, — начала она мусолить старую историю, — был такой

осторожный и сидит теперь, бедняга, ни за что ни про что, а такие вот разгуливают на свободе, удирают с военной службы. Вас на прошлой неделе опять искали… Мы поосторожнее вас, — закончила она свою речь, — а нажили-таки беду. Не всем такое счастье, как вам.

Свидетелем этого разговора был пожилой человек, слесарь со Смихова. Он подошёл к Швейку и сказал:

— Будьте добры, сударь, подождите меня на улице, мне нужно с вами побеседовать.

На улице он разговорился со Швейком, так как, согласно рекомендации трактирщицы, принял его за дезертира. Он сообщил Швейку, что у него есть сын, который тоже убежал с военной службы и теперь находится у бабушки, в Ясенной, около Йозефова. Не обращая внимания на уверения Швейка, что он вовсе не дезертир, слесарь втиснул ему в руку десять крон.

— Это вам пригодится на первое время, — сказал он, увлекая Швейка за собой в винный погребок на углу. — Я вам вполне сочувствую, меня вам нечего бояться.

Швейк вернулся домой поздно ночью. Фельдкурата ещё не было дома. Он пришёл только под утро, разбудил Швейка и сказал:

— Завтра едем служить полевую обедню. Сварите чёрный кофе с ромом… Или нет, лучше сварите грог.

Глава XI
ШВЕЙК С ФЕЛЬДКУРАТОМ ЕДУТ СЛУЖИТЬ ПОЛЕВУЮ ОБЕДНЮ

I

Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией.

Древние финикияне, прежде чем перерезать пленнику горло, также совершали торжественное богослужение, как проделывали это несколько тысячелетий спустя новые поколения, отправляясь на войну, чтобы огнём и мечом уничтожить противника.

Людоеды на Гвинейских островах и в Полинезии перед торжественным съедением пленных или же людей никчёмных, как-то: миссионеров, путешественников, коммивояжёров различных фирм и просто любопытных, приносят жертвы своим богам, выполняя при этом самые разнообразные религиозные обряды. Но, поскольку к ним ещё не проникла культура церковных облачений, в торжественных случаях они украшают свои зады венками из ярких перьев лесных птиц.

Святая инквизиция, прежде чем сжечь свою несчастную жертву, служила торжественную мессу с песнопениями.

В казни преступника всегда участвует священник, своим присутствием обременяя осуждённого.

В Пруссии пастор подводил несчастного осуждённого под топор, в Австрии католический священник — к виселице, а во Франции — под гильотину, в Америке священник подводил к электрическому стулу, в Испании — к креслу с замысловатым приспособлением для удушения, а в России бородатый поп сопровождал революционеров на казнь и т. д. И всегда при этом манипулировали распятым, словно желая сказать: «Тебе всего-навсего отрубят голову, или только повесят, удавят, или пропустят через тебя пятнадцать тысяч вольт, — но это сущая чепуха в сравнении с тем, что пришлось испытать ему!»

Великая бойня — мировая война — также не обошлась без благословения священников. Полковые священники всех армий молились и служили обедни за победу тех, у кого стояли на содержании. Священник

появлялся во время казни взбунтовавшихся солдат; священника можно было видеть и на казнях чешских легионеров.

Ничего не изменилось с той поры, как разбойник Войтех, прозванный «святым», истреблял прибалтийских славян с мечом в одной руке и с крестом — в другой.

Во всей Европе люди, будто скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками — императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге: «На суше, в воздухе, на море…» и т. д.

Полевую обедню служили дважды: когда часть отправлялась на фронт и потом на передовой, накануне кровавой бойни, перед тем как вели на смерть.

Помню, однажды во время полевой обедни на позициях неприятельский аэроплан сбросил бомбу. Бомба угодила прямёхонько в походный алтарь, и от нашего фельдкурата остались окровавленные клочья. Газеты писали о нём, как о мученике, а тем временем наши аэропланы старались таким же способом прославить неприятельских священников.

Мы зло над этим шутили. На кресте, под которым было погребено то, что осталось от фельдкурата, на следующее утро появилась такая эпитафия:

Что нас постичь могло, с тобой, увы, случилось:
Судил ты небо нам, но было суждено,
Чтоб благодать небес тебе на плешь свалилась,
Оставив от тебя лишь мокрое пятно.

II

Швейк сварил замечательный грог, превосходивший гроги старых моряков. Такой грог с удовольствием отведали бы даже пираты восемнадцатого столетия. Фельдкурат Отто Кац был в восторге.

— Где это вы научились варить такую чудесную штуку? — спросил он.

— Ещё в те годы, когда я бродил по свету, — ответил Швейк. — Меня научил этому в Бремене один спившийся матрос. Он говаривал, что грог должен быть таким крепким, что если кто, напившись, свалится в море, то

переплывёт Ла-Манш. А после слабого грога утонет, как щенок.

— После такого грога, Швейк, хорошо служить полевую обедню, — рассуждал фельдкурат. — Я думаю перед обедней произнести несколько напутственных слов. Полевая обедня — это не шутка. Это вам не то, что служить обедню в гарнизонной тюрьме или прочесть проповедь этим негодяям. Тут нужно иметь голову на плечах! Складной, карманный так сказать, алтарь у нас есть… Иисус Мария! — схватился он за голову. — Ну и ослы же мы! Знаете, куда я спрятал этот складной алтарь? В диван, который мы продали!

— Беда, господин фельдкурат! — сказал Швейк. — Правда, я с этим торговцем старой мебелью знаком, но позавчера я встретил его жену. Оказывается, её супруга посадили за краденую шифоньерку, а диван наш у одного учителя в Вршовицах. Да, с алтарём получается скандал. Лучше всего давайте допьём грог и пойдём искать этот алтарь, потому что без него, думается, служить обедню нельзя.

— В самом деле, только походного алтаря недостаёт, — озабоченно сказал фельдкурат. — Всё остальное на учебном плацу уже приготовлено. Помост плотники сколотили. Дароносицу нам одолжат в Бржевнове. Чаша у меня должна быть своя, но где она может быть?

Он задумался.

— Допустим, я её потерял… В таком случае одолжим призовой кубок у поручика Семьдесят пятого полка Витингера. Несколько лет назад он участвовал от клуба «Спорт-Фаворит» в состязаниях в беге и выиграл этот кубок. Отличный был бегун! Расстояние в сорок километров Вена — Медлинг покрыл за один час сорок восемь минут. Он всегда этим хвастается. Я с ним, на всякий случай, ещё вчера об этом договорился… Вечно я откладываю всё на последнюю минуту! Вот скотина! И как это я, балда, не посмотрел в диван!

И под влиянием выпитого грога, изготовленного по рецепту спившегося матроса, фельдкурат принялся ругать себя последними словами, в самых отборных выражениях давая понять, что, собственно, он собой представляет.

— Да идёмте же искать этот походный алтарь! — взывал Швейк. — Уже утро. Надо только надеть форму и выпить на дорогу ещё по стаканчику.

Наконец они вышли. По дороге к жене торговца старой мебелью фельдкурат рассказал Швейку, что он вчера выиграл в «божье благословение» много денег и если ему и дальше так повезёт, то он выкупит рояль из ломбарда.

Это походило на обещание язычников принести жертву.

От заспанной жены торговца старой мебелью фельдкурат и Швейк узнали адрес нового владельца дивана — учителя из Вршовиц. Фельдкурат проявил необыкновенную галантность: ущипнул чужую супругу за щеку и пощекотал под подбородком.

До самых Вршовиц фельдкурат и Швейк шли пешком, так как фельдкурат заявил, что ему надо подышать свежим воздухом, чтобы рассеяться.

В Вршовицах в квартире учителя, набожного старика, их ожидал неприятный сюрприз. Найдя в диване походный алтарь, старик вообразил, что это божье провидение, и подарил алтарь вршовицкому костёлу в ризницу, выговорив себе право сделать на оборотной стороне алтаря надпись:

«Даровано во хвалу и славу божью учителем в отставке Коларжиком в лето от рождества Христова 1914».

Учитель, застигнутый в одном нижнем бельё, очень растерялся. Из разговора с ним выяснилось, что он считал свою находку чудом и видел в ней перст божий. Когда он купил диван, какой-то внутренний голос рек ему: «Посмотри, нет ли чего в ящике дивана?» А во сне к нему якобы явился ангел и повелел: «Открой ящик в диване!» Учитель повиновался. И когда он увидел там миниатюрный складной алтарь с нишей для дарохранительницы, он пал на колени перед диваном и долго горячо молился, воздавая хвалу богу. Учитель видел в этом указание свыше украсить сим алтарём вршовицкий костёл.

— Это нас мало интересует, — заявил фельдкурат. — Эта вещь вам не принадлежала, и вы обязаны были отдать её в полицию, а не в какую-то проклятую ризницу!

— Как бы у вас с этим чудом не вышло неприятности, — добавил Швейк. — Вы купили диван, а не алтарь. Алтарь — военное имущество. Этот перст божий может вам дорого обойтись! Нечего было обращать внимание на ангелов. Один человек из Згоржа тоже вот пахал и нашёл в земле чашу для причастия, которую кто-то, совершив святотатство, украл и закопал до поры до времени в землю, пока дело не забудется. Пахарь тоже увидел в этом перст божий и, вместо того чтобы чашу переплавить, понёс её священнику, — хочу, дескать, пожертвовать её в костёл. А священник подумал, что крестьянина привели к нему угрызения совести, и послал за старостой, а староста — за жандармами, и крестьянина невинно осудили за святотатство, так как на суде он всё время болтал что-то насчёт чуда. Он-то хотел оправдаться и рассказывал про какого-то ангела, да ещё приплёл

божью матерь, а в результате получил десять лет. Самое благоразумное для вас пойти с нами к здешнему священнику и помочь получить от него обратно казённое имущество. Полевой алтарь — это вам не кошка или носок, который кому хочешь, тому и даришь.

Старик, одеваясь, трясся всем телом. У него зуб на зуб не попадал.

— Даю вам слово, у меня и в мыслях не было ничего плохого! Я думал, что этим божьим даром помогу украшению нашего бедного храма господня во Вршовицах.

— Разумеется, за счёт воинской казны? — оборвал его Швейк сурово и дерзко. — Покорно благодарю за такой божий дар! Некий Пивонька из Хотеборжи, когда ему в руки попала верёвка вместе с чужой коровой, тоже принял это за дар божий.

От таких разговоров несчастный старик совсем растерялся и перестал защищаться, торопясь одеться и поскорей покончить с этим делом.

Вршовицкий фарар ещё спал и, когда его разбудили, начал браниться, решив спросонок, что его зовут с требой.

— Покоя не дадут с этим соборованием! — ворчал он, неохотно одеваясь. — И придёт же в голову умирать как раз в тот момент, когда человек только разоспался! А потом торгуйся с ними о плате.

Итак, они встретились в прихожей — представитель господа бога у вршовицких штатских мирян католиков, с одной стороны, и представитель бога на земле при военном ведомстве — с другой. Собственно говоря, это был спор между штатским и военным. Если приходский священник утверждал, что походному алтарю не место в диване, то военный священник указывал, что тем менее его следовало переносить из дивана в ризницу костёла, который посещается исключительно штатскими.

Швейк вставлял в разговор, разные замечания, вроде того, что легко, мол, обогащать бедный костёл за счёт казённого военного имущества, причём слово «бедный» он произносил как бы в кавычках.

Наконец они прошли в ризницу, и фарар выдал фельдкурату походный алтарь под расписку следующего содержания:

«Получил походный алтарь, который случайно попал в Вршовицкий храм. Фельдкурат Отто Кац».

Пресловутый походный алтарь был изделием венской еврейской фирмы Мориц Малер, изготовлявшей всевозможные предметы, необходимые для богослужения и религиозного обихода, как-то: чётки, образки святых. Алтарь состоял из трёх растворов и был покрыт фальшивой позолотой, как и вся слава святой церкви. Не было никакой возможности, не обладая фантазией, установить, что, собственно,

нарисовано на этих трёх растворах. Ясно было только, что алтарь этот могли с таким же успехом использовать язычники из Замбези или бурятские и монгольские шаманы. Намалёванный кричащими красками, этот алтарь издали казался цветной таблицей для проверки зрения железнодорожников.

Выделялась только одна фигура какого-то голого человека с сиянием вокруг головы и с позеленевшим телом, словно огузок протухшего и разлагающегося гуся. Хотя этому святому никто ничего плохого не делал, а, наоборот, по обеим сторонам от него находились два крылатых существа, которые должны были изображать ангелов, — на зрителя картина производила такое впечатление, будто голый святой орёт от ужаса при виде окружающей компании: дело в том, что ангелы выглядели сказочными чудовищами, чем-то средним между крылатой дикой кошкой и апокалипсическим чудовищем.

На противоположной створке алтаря намалевали образ, который должен был изображать троицу. Голубя художнику в общем не особенно удалось испортить. Художник нарисовал какую-то птицу, которая так же походила на голубя, как и на белую курицу породы виандот.

Зато бог-отец был похож на разбойника с дикого Запада, каких преподносят публике захватывающие кровавые американские фильмы.

Бог-сын, наоборот, был изображён в виде весёлого молодого человека с порядочным брюшком, прикрытым чем-то вроде плавок. В общем бог-сын походил на спортсмена: крест он держал в руке так элегантно, точно это была теннисная ракетка. Издали вся троица расплывалась, и создавалось впечатление, будто в крытый вокзал въезжает поезд.

Что представляла собой третья икона — совсем нельзя было разобрать.

Солдаты во время обедни всегда спорили, разгадывая этот ребус. Кто-то даже признал на образе пейзаж Присазавского края. Тем не менее под этой иконой стояло: «Святая Мария, матерь божья, помилуй нас!» Швейк благополучно погрузил походный алтарь на дрожки, а сам сел к извозчику на козлы. Фельдкурат расположился поудобнее и положил ноги на пресвятую троицу.

Швейк болтал с извозчиком о войне. Извозчик оказался бунтарём — делал разные замечания по части непобедимости австрийского оружия, вроде: «Так в Сербии, значит, наложили вам по первое число?» — и так далее.

Когда они проезжали продовольственную заставу, Швейк на вопрос сторожа, что везут, ответил:

— Пресвятую троицу и деву Марию с фельдкуратом.

Тем временем на учебном плацу их с нетерпением ждали маршевые роты. Ждать пришлось долго. Швейк и фельдкурат поехали сначала за призовым кубком к поручику Витингеру, а потом — в Бржевновский монастырь за дароносицей и другими необходимыми для мессы предметами, в том числе и за бутылкой церковного вина.

Понятное дело — не так-то просто служить полевую обедню.

— Шатаемся по всему городу! — сказал Швейк извозчику, и это была правда.

Когда они приехали на учебный плац и подошли к помосту с деревянным барьером и столом, на котором должен был стоять походный алтарь, выяснилось, что фельдкурат забыл про министранта.

Во время обедни фельдкурату всегда прислуживал один пехотинец, который теперь как раз предпочёл сделаться телефонистом и уехал на фронт.

— Не беда, господин фельдкурат, — заявил Швейк. — Я могу его заменить.

— А вы умеете министровать?

— Никогда этим не занимался, — ответил Швейк, — но попробовать можно. Теперь ведь война, а в войну люди берутся за такие дела, которые раньше им и не снились. Уж как-нибудь приклею это дурацкое «et cum spiritu tuo»[40] к вашему «dominus vobiscum».[41] В конце концов не так уж, я думаю, трудно ходить около вас, как кот вокруг горячей каши, умывать вам руки и наливать из кувшинчика вина…

— Ладно! — сказал фельдкурат. — Только воды мне в чашу не наливайте. Вот что: вы лучше сейчас же и в другой кувшинчик налейте вина. А впрочем, я сам буду вам подсказывать, когда идти направо, когда налево. Свистну один раз — значит, «направо», два — «налево». Требник особенно часто ко мне не таскайте. В общем это всё пустяки. Не боитесь?

— Я ничего не боюсь, господин фельдкурат, даже не боюсь быть министрантом.

Фельдкурат был прав, что в общем всё это — пустяки. Всё шло как по маслу.

Речь фельдкурата была весьма лаконична:

— Солдаты! Мы собрались здесь для того, чтобы перед отъездом на поле брани обратить свои сердца к богу; да дарует он нам победу и сохранит нас невредимыми. Не буду вас долго задерживать, желаю всего наилучшего.

— Ruht![42] — скомандовал старый полковник на левом фланге.

Полевая обедня зовётся полевой потому, что подчиняется тем же законам, каким подчиняется и военная тактика на поле сражения. В Тридцатилетнюю войну при длительных манёврах войск полевые обедни тоже продолжались необычайно долго.

При современной тактике, когда передвижения войск стали быстрыми, и полевую обедню следует служить быстро.

Сегодня обедня продолжалась ровно десять минут. Тем, кто стоял близко, казалось очень странным, отчего это во время мессы фельдкурат посвистывает.

Швейк на лету ловил сигналы, появляясь то по правую, то по левую сторону престола, и произносил только «Et cum spiritu tuo». Это несколько напоминало индийский танец вокруг жертвенника. Но в общем богослужение произвело очень хорошее впечатление и рассеяло скуку пыльного, угрюмого учебного плаца с аллеей сливовых деревьев и отхожими местами на заднем плане. Аромат отхожих мест заменял мистическое благовоние ладана в готических храмах. У всех было прекрасное настроение. Офицеры, окружавшие полковника, рассказывали друг другу анекдоты. Так что всё сошло благополучно. То там, то здесь среди солдат слышалось: «Дай разок затянуться». И как фимиам, к небу поднимались синеватые облачка табачного дыма. Закурили даже унтер-офицеры, увидев, что полковник тоже курит.

Наконец раздалось: «Zum Gebet!»,[43] поднялась пыль, и серый квадрат военных мундиров преклонил колени перед спортивным кубком поручика Витингера, который он выиграл в состязании в беге на дистанции Вена — Медлинг.

Чаша была полна, и каждая манипуляция фельдкурата сопровождалась сочувственными возгласами солдат.

— Вот это глоток! — прокатывалось по рядам.

Обряд был повторён дважды. Затем снова раздалась команда: «На молитву!», хор грянул «Храни нам, боже, государя». Потом последовало «Стройся!» и «Шагом марш!»

— Собирайте манатки, — сказал Швейку фельдкурат, кивнув на походный алтарь. — Нам нужно всё развезти владельцам.

Они поехали на том же извозчике и честно вернули всё, кроме бутылки церковного вина.

Когда они вернулись домой и в наказание за медленную езду отправили несчастного извозчика рассчитываться в комендантское управление, Швейк обратился к фельдкурату:

— Осмелюсь спросить, господин фельдкурат, должен ли министрант

быть того же вероисповедания, что и священник, которому он прислуживает?

— Конечно, — ответил фельдкурат, — Иначе обедня будет недействительна.

— Господин фельдкурат! Произошла крупная ошибка, — заявил Швейк. — Ведь я — вне вероисповедания. Не везёт мне, да и только!

Фельдкурат взглянул на Швейка, с минуту молчал, потом похлопал его по плечу и сказал:

— Выпейте церковного вина, которое там от меня осталось в бутылке, и считайте себя вновь вступившим в лоно церкви.

Глава XII
РЕЛИГИОЗНЫЙ ДИСПУТ

Случалось, Швейк по целым дням не видал пастыря солдатских душ. Свои духовные обязанности фельдкурат перемежал с кутежами и лишь изредка заходил домой, весь перемазанный и грязный, словно кот после прогулок по крышам. Возвращаясь домой, если он ещё вообще в состоянии был говорить, фельдкурат перед сном беседовал со Швейком о высоких материях, о духовном экстазе и о радости мышления, а иногда даже пытался декламировать Гейне. Швейк отслужил с фельдкуратом ещё одну полевую обедню, у сапёров, куда по ошибке был приглашён и другой фельдкурат, бывший школьный законоучитель, чрезвычайно набожный человек. Он очень удивлённо взглянул на своего коллегу Каца, когда тот предложил ему глоток коньяку из швейковской фляжки — Швейк всегда носил её с собой во время исполнения религиозных церемоний.

— Недурной коньяк, — сказал Отто Кац. — Выпейте и поезжайте домой. Я сам всё сделаю. Сегодня мне нужно побыть на свежем воздухе, а то что-то голова болит.

Набожный фельдкурат покачал головой и уехал, а Кац, как всегда, блестяще справился со своей ролью. На этот раз он претворил в кровь господню вино с содовой водой, и проповедь затянулась несколько дольше обыкновенного, причём каждое третье слово её составляли «и так далее» и «несомненно».

— Солдаты! Сегодня вы уезжаете на фронт и так далее. Обратите же сердца ваши к богу и так далее. Несомненно. Никто не знает, что с вами будет. Несомненно. И так далее.

«Так далее» и «несомненно» гремело у алтаря вперемежку с богом и со всеми святыми.

В экстазе и ораторском пылу фельдкурат произвёл принца Евгения Савойского в святого, который будет охранять сапёров при постройке понтонных мостов.

Тем не менее полевая обедня окончилась без всяких неприятностей — мило и весело. Сапёры позабавились на славу.

На обратном пути Швейка с фельдкуратом не хотели пустить со складным алтарём в трамвай. Но Швейк пригрозил кондуктору:

— Смотри, тресну тебя этим святым алтарём по башке!

Добравшись наконец домой, они обнаружили, что по дороге потеряли

дароносицу.

— Неважно, — махнул рукой Швейк. — Первые христиане служили обедни и без дароносицы. А если мы дадим объявление, то нашедший потребует от нас вознаграждения. Будь это деньги, вряд ли бы кто их вернул. Впрочем, встречаются и такие чудаки, У нас в полку в Будейовицах служил один солдат, хороший парень, но дурак. Нашёл он как-то на улице шестьсот крон и сдал их в полицию. О нём даже в газетах писали: вот, дескать, какой честный человек. Ну и нажил он себе сраму! Никто с ним и разговаривать не хотел. Все как один повторяли: «Балда, что за глупость ты выкинул? За это тебе всю жизнь краснеть придётся, если в тебе хоть капля совести осталась». Была у него девочка, так и та с ним разговаривать перестала. А когда он приехал домой в отпуск, то приятели из-за этой истории выкинули его во время танцульки из трактира. Парень высох весь, стал задумываться и, наконец, бросился под поезд… А вот ещё случай. Портной с нашей улицы нашёл золотое кольцо. Его предупреждали — не отдавай в полицию, а он ладит своё. В полиции его приняли очень ласково, дескать, заявление об утере золотого кольца с бриллиантом к ним уже поступило. Но потом посмотрели на камень и говорят: «Послушайте, милый человек, да ведь это стекло, а не бриллиант. Сколько вам за тот бриллиант дали. Знаем мы таких честных заявителей!» В конце концов выяснилось, что ещё один человек потерял кольцо с поддельным бриллиантом (какая-то там семейная реликвия). Но портному пришлось всё-таки отсидеть три дня, потому что в расстройстве он нанёс оскорбление полиции. Законное вознаграждение он всё-таки получил, десять процентов, то есть одну крону двадцать геллеров, — цена-то этому хламу была двенадцать крон. Так это законное вознаграждение он запустил в лицо владельцу кольца, тот подал на него в суд за оскорбление личности, и с портного взяли десять крон штрафу. После этого портной всюду говорил, что с каждого честного заявителя надо брать двадцать пять крон штрафу; таких, мол, нужно избивать до полусмерти и всенародно сечь для примера, чтобы все знали, как поступать в таких случаях… По-моему, нашу дарохранительницу никто нам не вернёт, хотя на ней и есть сзади полковая печать. С воинскими вещами никто связываться не захочет. Уж лучше бросить их в воду, чтобы не было канители… Вчера в трактире «У золотого венка» разговорился я с одним человеком из провинции, ему уже пятьдесят шесть лет. Он приехал в Новую Паку узнать в управлении округа, почему у него реквизировали бричку. На обратном пути, когда его уже выкинули из управления округа, он остановился посмотреть на военный обоз, который только что приехал и стоял на площади. Какой-то парень — он вёз

консервы для армии — попросил его минутку постеречь лошадей, да больше и не вернулся. Когда обоз тронулся, моему знакомому пришлось вместе со всеми ехать до самой Венгрии, а в Венгрии он сам попросил одного постеречь воз и только этим и спасся, а то бы его и в Сербию затащили. Вернулся он сам не свой и теперь с военными делами не желает больше связываться.

Вечером их навестил набожный фельдкурат, который утром тоже собирался служить полевую обедню у сапёров. Это был фанатик, стремившийся каждого человека приблизить к богу. Ещё будучи учителем закона божьего, он развивал в детях религиозные чувства с помощью подзатыльников, и газеты иногда помещали о нём заметки под разными заголовками, вроде «Жестокий законоучитель» или «Законоучитель, раздающий подзатыльники». Но законоучитель был убеждён, что ребёнок усвоит катехизис лучше всего по системе розог.

Набожный фельдкурат прихрамывал на одну ногу — результат встречи в тёмном переулке с отцом одного из учеников. Законоучитель надавал подзатыльников сыну за то, что тот усомнился в существовании святой троицы; мальчик получил три тумака: один за бога-отца, другой за бога-сына и третий за святого духа. Сегодня бывший законоучитель пришёл наставить своего коллегу Каца на путь истинный и заронить в его душу искру божью. Он начал с того, что заметил ему:

— Удивляюсь, что это у вас не висит распятие. Где вы молитесь и где ваш молитвенник? Ни один святой образ не украшает стен вашей комнаты. Что это у вас над постелью?

Кац улыбнулся.

— Это «Купающаяся Сусанна», а голая женщина под ней — моя бывшая любовница. Направо — японская акварель, изображающая сексуальный акт между старым японским самураем и гейшей. Не правда ли, очень оригинально? А молитвенник у меня на кухне. Швейк! Принесите его сюда и откройте на третьей странице.

Швейк ушёл на кухню, и оттуда послышалось троекратное хлопанье раскупориваемых бутылок.

Набожный фельдкурат был потрясён, когда на столе появились три бутылки.

— Это лёгкое церковное вино, коллега, — сказал Кац. — Очень хороший рислинг. По вкусу напоминает мозельское.

— Я пить не буду, — упрямо заявил набожный фельдкурат. — Я пришёл заронить в вашу душу искру божью.

— Но у вас, коллега, пересохнет в горле, — сказал Кац. — Выпейте, а

я послушаю. Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения.

Набожный фельдкурат немного отпил и вытаращил глаза:

— Чертовски доброе винцо, коллега! Не правда ли? — спросил Кац.

Фанатик сурово заметил:

— Я замечаю, что вы сквернословите.

— Что поделаешь, привычка, — ответил Кац. — Иногда я даже ловлю себя на богохульстве. Швейк, налейте господину фельдкурату. Поверьте, я ругаюсь так же богом, крестом, небом и причастием. Послужите-ка на военной службе с моё — и вы до этого дойдёте. Это совсем нетрудно, а нам, духовным, всё это очень близко: небо, бог, крест, причастие, и звучит красиво, и вполне профессионально. Не правда ли? Пейте, коллега!

Бывший законоучитель машинально выпил. Видно было, что он хотел бы возразить, но не может. Он собирался с мыслями.

— Выше голову, уважаемый коллега, — продолжал Кац, — не сидите с таким мрачным видом, словно через пять минут вас должны повесить. Слыхал я, что однажды в пятницу, думая, что это четверг, вы по ошибке съели в одном ресторане свиную котлету и после этого побежали в уборную и сунули себе два пальца в рот, чтобы вас вырвало, боясь, что бог вас строго покарает. Лично я не боюсь есть в пост мясо, не боюсь никакого ада. Пардон! Выпейте! Вам уже лучше?.. А может быть, у вас более прогрессивный взгляд на пекло, может быть, вы идёте в ногу с духом времени и с реформистами? Иначе говоря, вы признаёте, что в аду вместо простых котлов с серой для несчастных грешников используются папиновы котлы, то есть котлы высокого давления? Считаете ли вы, что грешников поджаривают на маргарине, а вертела вращаются при помощи электрических двигателей? Что в течение миллионов лет их, несчастных, мнут паровыми трамбовками для шоссейных дорог; скрежет зубовный дантисты вызывают при помощи особых машин, вопли грешников записываются на граммофонных пластинках, а затем эти пластинки отсылаются наверх, в рай, для увеселения праведников? А в раю действуют распылители одеколона и симфонические оркестры играют Брамса так долго, что скорее предпочтёшь ад и чистилище? У ангелочков в задницах по пропеллеру, чтобы не натрудили себе крылышки?.. Пейте, коллега! Швейк, налейте господину фельдкурату коньяку — ему, кажется, не по себе.

Придя в чувство, набожный фельдкурат произнёс шёпотом:

— Религия есть умственное воззрение… Кто не верит в существование святой троицы…

— Швейк, — перебил его Кац, — налейте господину фельдкурату ещё

рюмку коньяку, пусть он опомнится. Расскажите ему что-нибудь, Швейк.

— Во Влашиме, осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — начал Швейк, — был один настоятель. Когда его прежняя экономка вместе с ребёнком и деньгами от него сбежала, он нанял себе новую служанку. Настоятель этот на старости лет принялся изучать святого Августина, которого причисляют к лику святых отцов церкви. Вычитал он там, что каждый, кто верит в антиподов, подлежит проклятию. Позвал он свою служанку и говорит: «Послушайте, вы мне как-то говорили, что у вас есть сын, слесарь-механик, и что он уехал в Австралию. Если это так, то он, значит, стал антиподом, а святой Августин повелевает проклясть каждого, кто верит в существование антиподов». — «Батюшка, — отвечает ему баба, — ведь сын-то мой посылает мне и письма и деньги». — «Это дьявольское наваждение, — говорит ей настоятель. — Согласно учению святого Августина, никакой Австралии не существует. Это вас антихрист соблазняет». В воскресенье он всенародно проклял её в костёле и кричал, что никакой Австралии не существует. Ну, прямо из костёла его отвезли в сумасшедший дом. Да и многим бы туда не мешало. В монастыре урсулинок хранится бутылочка с молоком девы Марии, которым-де она поила Христа, а в сиротский дом под Бенешозом привезли лурдскую воду, так этих сироток от неё прохватил такой понос, какого свет не видал.

У набожного фельдкурата зарябило в глазах. Он отошёл только после новой рюмки коньяку, который ударил ему в голову. Прищурив глаза, он спросил Каца:

— Вы не верите в непорочное зачатие девы Марии, не верите, что палец святого Ионна Крестителя, хранящийся у пиаристов, подлинный? Да вы вообще-то верите в бога? А если не верите, то почему вы фельдкурат?

— Дорогой коллега, — ответил Кац, снисходительно похлопав его по спине, — пока государство признаёт, что солдаты, идущие умирать, нуждаются в благословении божьем, должность фельдкурата является прилично оплачиваемым и не слишком утомительным занятием. Мне это больше по душе, чем бегать по плацу и ходить на манёвры. Раньше я получал приказы от начальства, а теперь делаю что хочу. Я являюсь представителем того, кто не существует, и сам играю роль бога. Не захочу кому-нибудь отпустить грехи — и не отпущу, хотя бы меня на коленях просили. Впрочем, таких нашлось бы чертовски мало.

— А я люблю господа бога, — промолвил набожный фельдкурат, начиная икать, — очень люблю!.. Дайте мне немного вина. Я господа бога уважаю, — продолжал он. — Очень, очень уважаю и чту. Никого так не уважаю, как его!

Он стукнул кулаком по столу, так что бутылки подскочили.

— Бог — возвышенное, неземное существо, совершенное во всех своих деяниях, существо, подобное солнцу, и никто меня в этом не разубедит! И святого Иосифа почитаю, и всех святых почитаю, и даже святого Серапиона… У него такое отвратительное имя!

— Да, ему бы не мешало похлопотать о перемене имени, — заметил Швейк.

— Святую Людмилу люблю и святого Бернарда, — продолжал бывший законоучитель. — Он спас много путников на Сен-Готарде. На шее у него бутылка с коньяком, и он разыскивает занесённых снегом…

Беседа приняла другое направление. Набожный фельдкурат понёс околесицу.

— Младенцев я почитаю, их день двадцать восьмого декабря. Ирода ненавижу… Когда курица спит, нельзя достать свежих яиц.

Он засмеялся и запел:

Святый боже, святый крепкий…

Но вдруг прервал пение и, обращаясь к Кацу, резко спросил:

— Вы не верите, что пятнадцатого августа праздник успения богородицы?

Веселье было в полном разгаре. Появились новые бутылки, и время от времени слышался голос Каца:

— Скажи, что не веришь в бога, а то не налью.

Казалось, что возвращаются времена преследований первых христиан. Бывший законоучитель пел какую-то песнь мучеников римской арены и вопил:

— Верую в господа бога своего и не отрекусь от него! Не надо мне твоего вина. Могу и сам за ним послать!

Наконец его уложили в постель. Но, прежде чем заснуть, он провозгласил, подняв руку, как на присяге:

— Верую в бога отца, сына и святого духа! Дайте мне молитвенник.

Швейк сунул ему первую попавшуюся под руку книжку с ночного столика Отто Каца, и набожный фельдкурат заснул с «Декамероном» Боккаччо в руках.

Глава XIII
ШВЕЙК ЕДЕТ СОБОРОВАТЬ

Фельдкурат Отто Кац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесённым из казарм. Это было предписание военного министерства:

«Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все имевшие до сих пор силу предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила:

§ 1. Соборование на фронте отменяется.

§ 2. Тяжелобольным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно передавать в соответствующие военные учреждения на предмет дальнейшего наказания.

§ 3. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключения военных врачей, поскольку указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений.

§ 4. В исключительных случаях Управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование.

§ 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову Управления военных госпиталей совершать соборование тем, кому Управление предлагает принять соборование».

Фельдкурат ещё раз перечитал отношение военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карлову площадь соборовать тяжелораненых.

— Послушайте, Швейк, — позвал фельдкурат, — ну, не свинство ли это? Как будто на всю Прагу только один фельдкурат — это я! Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придётся нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается.

— Что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть, — сказал Швейк. — Катехизис для духовных пастырей — всё равно, что путеводитель для иностранцев… Вот, к примеру, в Эмаузском монастыре работал один помощником садовника. Решил он заделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать своей одежды. Для этого ему пришлось

купить катехизис и выучить, как полагается осенять себя крёстным знамением, кто единственный уберёгся от первородного греха, что значит иметь чистую совесть и прочие подобные мелочи. А потом он продал тайком половину урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. При встрече он мне сказал: «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса».

Когда Швейк купил и принёс фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал:

— Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освящённым епископом. Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Прочтите-ка мне, как совершается соборование.

Швейк прочёл:

— «…совершается так: священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву: «Чрез это святое помазание и по своему всеблагому милосердию да простит тебе господь согрешения слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей».

— Хотел бы я знать, — прервал его фельдкурат, — как может человек согрешить осязанием? Не можете ли вы мне это объяснить?

— По-всякому, господин фельдкурат, — сказал Швейк. — Пошарит, например, в чужом кармане или на танцульках. Сами понимаете, какие там выкидывают номера.

— А ходьбой, Швейк?

— Если, скажем, начнёшь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели.

— А обонянием?

— Если кто нос от смрада воротит.

— Ну, а вкусом?

— Когда на девочек облизывается.

— А речью?

— Ну, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат: когда один болтает, а другой слушает…

После этих философских размышлений фельдкурат умолк. Потом опять обратился к Швейку:

— Значит, нам нужен освящённый епископом елей. Вот вам десять крон, купите бутылочку. В интендантстве такого елея, наверно, нет.

Швейк отправился в путь за елеем, освящённым епископом. Отыскать его труднее, чем живую воду в сказках Божены Немцовой. Швейк побывал в нескольких лавочках, но стоило ему произнести: «Будьте любезны, бутылочку елея, освящённого епископом», — всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Но Швейк неизменно сохранял

серьёзный вид.

Он решил попытать счастья в аптеках. Из первой велели его вывести. В другой хотели вызвать по телефону карету скорой помощи, а в третьей провизор ему сказал, что у фирмы Полак на Длоугой улице — торговля маслами и лаками — там на складе наверняка найдётся нужный елей.

Фирма Полак на Длоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворённым.

Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и все оставались довольны друг другом.

Когда Швейк попросил елея, освящённого епископом, на десять крон, хозяин сказал приказчику:

— Пан Таухен, налейте ему сто граммов конопляного масла номер три.

А пан Таухен, завёртывая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается приказчику:

— Товарец высшего качества-с. В случае, если потребуются кисти, лак, олифа — благоволите обратиться к нам-с. Будете довольны. Фирма солидная.

Тем временем фельдкурат повторял по катехизису то, чего не запомнил в семинарии.

Ему очень понравились некоторые чрезвычайно остроумные выражения, над которыми он от всей души хохотал.

«Соборование называется иначе последним помазанием. Наименование „последнее помазание“ происходит оттого, что обыкновенно является последним из всех помазаний, совершаемых церковью над человеком».

«Соборование может принять каждый опасно заболевший христианин-католик, достигший сознательного возраста».

«Болящий принимает соборование, по возможности будучи ещё в полном сознании и твёрдой памяти».

Пришёл вестовой и принёс фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать «Союз дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов».

Этот союз состоял из истеричек, раздававших по госпиталям образки святых и «Сказание о католическом воине, умирающем за государя императора». На брошюрке была картинка в красках, изображающая поле сражения. Всюду валяются трупы людей, и лошади, опрокинутые повозки с амуницией, торчат орудия лафетами вверх. На горизонте горит деревня и рвётся шрапнель. На переднем плане лежит умирающий солдат с оторванной ногой. Над ним склоняется ангел, приносящий ему венок с

надписью на ленте: «Ныне же будешь со мною в раю». При этом умирающий блаженно улыбается, словно ему поднесли мороженое.

Прочитав содержание пакета, Отто Кац плюнул и подумал: «Ну и денёк будет завтра!»

Он знал этот «сброд», как он называл союз, ещё по храму св. Игнатия, где несколько лет назад читал проповеди солдатам. В те времена он делал крупную ставку на проповедь, а этот союз обычно сидел позади полковника. Две длинные тощие женщины в чёрных платьях и с чётками пристали к нему как-то раз после проповеди и битых два часа болтали о религиозном воспитании солдат, пока наконец его не допекли и он сказал: «Извините mesdames, меня ждёт капитан на партию в „железку“».

— Ну, елей у нас есть, — торжественно объявил Швейк, возвратясь из магазина Полак, — конопляное масло номер три, первый сорт. Хватит на целый батальон. Фирма солидная. Продаёт также олифу, лаки и кисти. Ещё нам нужен колокольчик.

— А колокольчик на что?

— Звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с господом богом и с конопляным маслом номер три. Так полагается. Было много случаев, когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. Однажды в Жижкове фарар избил слепого, он тоже не снял шапки. Этого слепого ещё посадили, потому как на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой и, значит, звон колокольчика слышал и других вводил в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это всё полагается соблюдать, как и в праздник тела господня. В другой раз люди бы на нас и внимания не обратили, а теперь начнут перед нами шапки ломать. Так если вы, господин фельдкурат, ничего против не имеете, я достану колокольчик. Я мигом.

Получив разрешение, Швейк уже через полчаса принёс колокольчик.

— Это от ворот постоялого двора «У Кржижков», — сообщил он. — Обошёлся в пять минут страху, но долго пришлось ждать, — всё время народ мимо ходил.

— Я пойду в кафе, Швейк. Если кто придёт, пусть подождёт меня.

Приблизительно через час после ухода фельдкурата к нему пришёл строгий пожилой человек, седой и прямой как палка.

Весь его вид выражал решимость и злобу. Смотрел он так, словно был послан судьбою уничтожить нашу бедную планету и стереть её следы во вселенной. Говорил он резко, сухо и строго:

— Дома? Пошёл в кафе? Просил подождать? Хорошо, буду ждать хоть до утра. На кафе у него есть, а платить долги — нету? А ещё священник!

Тьфу!

И он плюнул в кухне на пол.

— Сударь, не плюйте здесь, — попросил Швейк, с интересом разглядывая незнакомца.

— А я ещё плюну, видите — вот! — вызывающе ответил строгий господин и снова плюнул на пол. — Как ему не стыдно! А ещё военный священник! Срам!

— Если вы воспитанный человек, — заметил ему Швейк, — то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны себя вести деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как последний хулиган, вы, штатский оболтус.

Строгий господин вскочил с кресла и, трясясь от злости, закричал:

— Да как вы смеете! Я невоспитанный человек?! Что же я по-вашему? Ну?

— Нужник! Вот кто вы, — ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза. — Плюёт на пол, будто он в трамвае, в поезде или в другом каком общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.

Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств по адресу Швейка и фельдкурата.

— Вы закончили? — спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение: «Оба вы негодяи, каков поп, таков и приход». — Или, может быть, хотите что-нибудь добавить, перед тем как полетите с лестницы?

Так как строгий господин настолько исчерпал весь свой запас брани, что ему не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла.

Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице и… такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта.

Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка:

— В следующий раз, когда придёте с визитом к порядочным людям, будете вести себя прилично.

Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним.

Наконец гость дождался, фельдкурат провёл его в комнату и посадил на стул против себя.

Швейк молча принёс плевательницу и поставил её перед гостем.

— Что вы делаете, Швейк?

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, с этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевков.

— Оставьте нас одних, Швейк. У нас есть кое-какие дела.

Швейк по-военному вытянулся.

— Так точно, господин фельдкурат, оставлю вас одних.

И ушёл на кухню. В комнате между тем происходил очень интересный разговор.

— Вы пришли получить деньги по векселю, если не ошибаюсь? — спросил фельдкурат своего гостя.

— Да, и надеюсь…

Фельдкурат вздохнул.

— Человек часто попадает в такое положение когда ему остаётся только надеяться. О, как красиво звучит слово «надейся» из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни: вера, надежда; любовь…

— Я надеюсь, господин фельдкурат, что сумма…

— Безусловно, многоуважаемый, — перебил его фельдкурат. Могу ещё раз повторить, что слово «надеюсь» придаёт человеку силы в его житейской борьбе. Не теряйте надежды и вы. Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, который даёт деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно. Надеяться, постоянно надеяться, что я заплачу вам тысячу двести крон, когда у меня в кармане нет даже сотни…

— В таком случае, вы… — заикаясь, пролепетал гость.

— Да, в таком случае я, — ответил фельдкурат.

Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение.

— Сударь, это мошенничество, — сказал он, вставая.

— Успокойтесь, уважаемый!

— Это мошенничество! — закричал упрямый гость. — Вы злоупотребили моим доверием!

— Сударь, — сказал фальдкурат, — вам безусловно будет полезна перемена воздуха. Здесь слишком душно… Швейк! — крикнул он. — Этому господину необходимо подышать свежим воздухом.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — донеслось из кухни, — один раз я его уже выставлял.

— Повторить! — скомандовал фельдкурат, и команда была исполнена быстро, стремительно и чётко.

Вернувшись с лестницы, Швейк сказал:

— Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он начал буянить… В Малешицах жил один шинкарь, большой начётчик. У него на все случаи жизни были готовы изречения из священного писания. Когда ему приходилось стегать кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал: «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, то вовремя наказует его. Я тебе покажу, как драться у меня в шинке!»

— Вот видите, Швейк, что постигает тех, кто не чтит священника, — улыбнулся фельдкурат. — Святой Иоанн Златоуст сказал: «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своём. Кто обижает пастыря, тот обижает господа, его же представителем пастырь есть…» К завтрашнему дню нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной, сварите пунш-бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям, ибо, как сказано в вечерней молитве, «милостью божьей предотвращены все козни врагов против дома сего».

На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дважды выброшенный из квартиры фельдкурата. Как только приготовили ужин, кто-то позвонил. Швейк пошёл открыть, вскоре вернулся и доложил.

— Опять он тут, господин фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать.

— Нехорошо вы поступаете, Швейк, — сказал фельдкурат. — Гость в дом — бог в дом. В старые времена на пирах шутов-уродов заставляли увеселять пирующих. Приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит.

Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно.

— Присаживайтесь, — ласково предложил фельдкурат. — Мы как раз кончаем ужинать. Только что ели омара и лососину, а теперь перешли к яичнице с ветчиной. Почему не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги?

— Надеюсь, я здесь не для шуток, — сказал мрачный господин. — Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь всё выяснится.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат, — заметил Швейк, вот ведь гидра! Совсем как Боушек из Либени. Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной «Экснер», и каждый раз он возвращался — дескать, «забыл трубку». Он лез в окна, двери, через кухню, через забор в трактир, через погреб к стойке, где отпускают пиво, и, наверно, спустился бы по дымовой трубе, если б его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом! Вложили ему как следует!

Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чём говорят, упрямо повторил:

— Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать.

— Это вам разрешается, — сказал фельдкурат. — Говорите, уважаемый. Говорите, сколько вам угодно, а мы пока продолжим пиршество. Надеюсь, это не помешает вам рассказывать? Швейк, подавайте на стол!

— Как вам известно, — начал настойчивый господин, — в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны, и если бы не война, то не стал бы настаивать на уплате. Но я приобрёл печальный опыт.

Он вынул из кармана записную книжку и продолжал:

— У меня всё записано. Поручик Яната был мне должен семьсот крон и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен две тысячи крон. Капитан Вихтерле, будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами под Равой Русской. Поручик Махек попал в Сербии в плен, а он остался мне должен полторы тысячи крон. И таких у меня в книжке много. Один погибает на Карпатах с моим неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий как назло тонет в Сербии, а четвёртый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете мои опасения. Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым. Вы возразите мне, мол, фельдкурату никакая опасность не грозит. Так посмотрите!

Он сунул Кацу под нос свою записную книжку.

— Видите: фельдкурат Матиаш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брио. Хоть волосы на себе рви! Не заплатил мне тысячу восемьсот крон и идёт в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела!

— Это его долг, милый человек, — сказал фельдкурат. — Я тоже завтра пойду соборовать.

— И тоже в холерный барак, — заметил Швейк. — Вы можете пойти с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой.

— Господин фельдкурат, — продолжал настойчивый господин, — поверьте, я в отчаянном положении! Разве война существует для того, чтобы спровадить на тот свет всех моих должников?

— Вот когда вас призовут на военную службу и вы попадёте на фронт, — заметил Швейк, — мы с господином фельдкуратом отслужим мессу, чтобы, по божьему соизволению, вас разорвало первым же

снарядом.

— Сударь, у меня к вам серьёзное дело, — настаивала гидра, обращаясь к фельдкурату. — Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить.

— Простите, господин фельдкурат, — отозвался Швейк, — извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату. Этот господин совершенно прав — ему хочется уйти отсюда самому, без посторонней помощи. Да и я не любитель скандалов, я человек светский.

— Мне уже это начинает надоедать, Швейк, — сказал фельдкурат, как бы не замечая присутствия гостя. — Я думал, что этот человек нас позабавит, расскажет какие-нибудь анекдоты, а он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то, что вы два раза уже имели с ним дело. В такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к богу, он пристаёт ко мне с какой-то глупой историей о несчастных тысяче двухстах кронах, отвлекает меня от испытания своей совести, от бога и добивается, чтобы я ему ещё раз сказал, что теперь ничего не дам ему. Я не хочу больше с ним разговаривать, чтобы не осквернять этот священный вечер! Скажите ему сами, Швейк: «Господин фельдкурат вам ничего не даст».

Швейк исполнил приказ, рявкнув в самое ухо гостю.

Однако настойчивый гость остался сидеть.

— Швейк, — сказал фельдкурат, — спросите его, долго ли он ещё намерен здесь торчать?

— Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите, — упрямо заявила гидра.

Фельдкурат встал, подошёл к окну и сказал:

— В таком случае передаю его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите.

— Пойдёмте, сударь, — пригласил Швейк, схватив незваного гостя за плечо. — Бог троицу любит.

И проделал своё упражнение быстро и изящно под похоронный марш, который фельдкурат выстукивал пальцами на оконном стекле.

Вечер, посвящённый благочестивым размышлениям, имел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к богу, что ещё в двенадцать часов ночи из его квартиры доносилось пение:

Когда в поход мы собирались,
Слезами девки заливались.

С ним вместе пел и бравый солдат Швейк.

*

В военном госпитале жаждали соборования двое: старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба получили в Карпатах по пуле в живот и теперь лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал собороваться, а он, подчинённый, считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать.

Благочестивый майор делал это с расчётом, полагая, что молитва исцелит его от болезней. Однако в ночь перед соборованием они оба умерли, и когда утром в госпиталь явился фельдкурат со Швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья.

— Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат, а нам всё дело испортили! — досадовал Швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чём не нуждаются.

И верно, прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках, Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завёрнутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьёзным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Правда, их было немного, хотя Швейк и старался наделать как можно больше шуму своим колокольчиком. За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали хором:

— Сзади-то, сзади!

Швейк звонил, извозчик стегал кнутом сидевшего сзади мальчишку. На Водичковой улице дрожки догнала привратница, член конгрегации святой Марии, и на полном ходу приняла благословение от фельдкурата, перекрестилась, потом плюнула:

— Скачут с этим господом богом, словно черти! Так и чахотку недолго получить! — и, запыхавшись, вернулась на своё старое место.

Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчичью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой.

В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил Швейк.

Фельдкурат прошёл в канцелярию, уладил финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счёт, по которому военное

ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около ста пятидесяти крон за освящённый елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом завязался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил:

— Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ему платят командировочные. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования, это обошлось бы вам ещё на пятьдесят крон дороже.

Швейк ждал фельдкурата внизу в караульном помещении с бутылочкой освящённого елея, возбуждавшей в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с Чехо-Моравской возвышенности, который ещё верил в бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах: дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды.

Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал:

— Хороша надежда, что шрапнель оторвёт тебе голову! Дурачили нас только! До войны приезжал к нам депутат клерикал и говорил о царстве божьем на земле. Мол, господь бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только вспыхнула война, во всех костёлах стали молиться за успех нашего оружия, а о боге начали говорить будто о начальнике Генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом госпитале! Отрезанные руки и ноги прямо возами вывозят!

— Солдат хоронят нагишом, — сказал другой, — а форму с мёртвого надевают на живого. Так и идёт по очереди.

— Пока не выиграем войну, — заметил Швейк.

— Такой денщик-холуй выиграет! — отозвался из угла отделённый. — На фронт бы таких, в окопы погнать вас на штыки, к чёртовой матери, на проволочные заграждения, в волчьи ямы, против миномётов. Прохлаждаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому неохота.

— А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком! — сказал Швейк. — Неплохо ещё получить пулю в брюхо, а ещё лучше, когда человека разрывает снаряд и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются на некотором расстоянии от него. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить.

Молоденький солдат сочувственно вздохнул. Ему стало жалко своей

молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век? Чтобы его зарезали, как корову на бойне? И к чему всё это?

Один из солдат, по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил:

— Некоторые учёные объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена…

— Оставьте свою учёность при себе, — перебил его отделённый командир. — Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце! Хоть бы их там двадцать было, из них себе шубы не сошьёшь!

— Пятна на солнце действительно имеют большое значение, — вмешался Швейк. — Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире «У Банзетов», в Пуслях. С той поры, перед тем как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Стоит появиться пятну — «прощаюсь, ангел мой, с тобою», я никуда не хожу и пережидаю. Когда вулкан Монпеле уничтожил целый остров Мартинику, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели!

Между тем фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из «Союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов», старую, противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и направо и налево раздавала образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы.

Она раздражала всех своей глупой болтовнёй о том, что нужно-де искренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с фельдкуратом:

— Эта война, вместо того чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей.

Внизу больные показали ей язык и сказали, что она «харя» и «валаамова ослица».

— Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat. Das Volk ist verdorben.[44]

И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя императора, когда верит в бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждёт рай.

Болтунья наговорила ещё кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать фельдкурата. Однако фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней.

— Мы едем домой, Швейк! — крикнул он в караульное помещение.

Обратно они ехали без всякой торжественности.

— В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет, — сказал фельдкурат. — Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти. Только и занимаются бухгалтерией! Сволочи!

Увидев в руках Швейка бутылочку с «освящённым елеем», он нахмурился:

— Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги.

— Я ещё попробую смазать этим дверной замок, — прибавил Швейк, — а то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой.

Так, не начавшись, закончилось соборование.

Глава XIV
ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ У ПОРУЧИКА ЛУКАША

I

Недолго длилось счастье Швейка. Жестокая судьба прервала его приятельские отношения с фельдкуратом. Если до сих пор фельдкурат был личностью симпатичной, то последний его поступок сорвал с него эту маску.

Фельдкурат продал Швейка поручику Лукашу, или, точнее говоря, проиграл его в карты: так некогда продавали в России крепостных.

Произошло всё это совершенно случайно. У поручика Лукаша собралась однажды тёплая компания. Играли в «двадцать одно». Фельдкурат всё проиграл и заявил:

— Сколько дадите мне в долг под моего денщика? Страшный болван, но фигура презанятная, нечто non plus ultra.[45] Ручаюсь, что такого денщика ни у кого из вас ещё не было.

— Даю сто крон, — предложил поручик Лукаш. — Если до послезавтра их не вернёшь, то пошлёшь мне этот редкостный экземпляр. Мой денщик отвратительный тип — вечно вздыхает, пишет домой письма и при этом ворует всё, что попало. Бил я его — не действует. Каждый раз при встрече получает от меня подзатыльники, но и это не помогает. Я вышиб ему два передних зуба — и это его не исправило.

— Идёт, — легкомысленно согласился фельдкурат. — Послезавтра получишь или сто крон, или Швейка.

Он проиграл и эти сто крон и, опечаленный, побрёл домой. Отто Кац прекрасно знал и нисколько не сомневался, что до послезавтра ему нигде денег не раздобыть и что, собственно говоря, он гнусно и вместе с тем дёшево продал Швейка.

«Нужно было взять двести крон», — упрекал он себя. Садясь же в трамвай, который через несколько минут должен был довезти его до дому, он ощутил угрызения совести и почувствовал приступ сентиментальности.

«Это некрасиво с моей стороны, — думал он, звоня к себе в квартиру. — Как я теперь посмотрю в его глупые добрые глаза…»

— Милый Швейк, — сказал он, входя в комнату, — со мной нынче

произошёл необыкновенный случай. Мне чертовски не везло в игре. Понимаете, пошёл ва-банк, на руках у меня туз, прикупаю десятку. У банкомёта на руках был всего валет, и всё-таки он тоже набрал до двадцати одного. Потом я несколько раз ставил на туза или на десятку, и каждый раз у банкомёта было столько же. Просадил все деньги… Он замялся.

— …и наконец проиграл вас. Взял под вас сто крон в долг, и если до послезавтра их не верну, то вы будете принадлежать уже не мне, а поручику Лукашу. Мне, право, очень жаль…

— Сто крон у меня найдётся, — сказал Швейк. — Могу вам одолжить.

— Давайте их сюда, — оживился фельдкурат. — Я их сейчас же отнесу Лукашу. Мне, право, не хотелось бы с вами расстаться.

Лукаш был немало удивлён, снова увидев фельдкурата у себя.

— Пришёл заплатить тебе долг, — заявил фельдкурат с победоносным видом. — Дайте-ка и мне карту.

— А ну-ка… — сказал он, когда пришла его очередь. — Всего очко перебрал, — добавил он. — Ну, значит, играю, — сказал он, когда подошёл следующий круг. — Покупаю! Стоп!

— Двадцать, — объявил банкомёт.

— А у меня девятнадцать, — произнёс фельдкурат тихо, внося в банк последние сорок крон из сотни, которую одолжил ему Швейк, чтобы откупиться от нового рабства.

Возвращаясь домой, фельдкурат пришёл к убеждению, что всему конец, что Швейка ничто не может спасти и что ему предопределено служить у поручика Лукаша.

И когда Швейк отворил ему дверь, фельдкурат сказал:

— Всё напрасно, Швейк. От судьбы не уйдёшь! Я проиграл и вас и ваши сто крон. Я сделал всё, что только было в моих силах, но судьба сильнее меня. Она бросила вас в когти поручика Лукаша… Пришла пора нам расстаться.

— А что, сорвали банк у вас или же вы на понте продули? — спокойно спросил Швейк. — Плохо дело, когда карта не идёт, но ещё хуже, когда везёт чересчур… Жил в Здеразе жестяник, по фамилии Вейвода, частенько игрывал в «марьяж» в трактире позади «Столетнего кафе». Однажды чёрт его дёрнул предложить: «Не перекинуться ли нам в „двадцать одно“ по пяти крейцеров?» Ну, сели играть. Метал банк он. Все проиграли, банк вырос до десятки. Старик Вейвода хотел и другим дать разок выиграть и всё время приговаривал: «Ну-ка, маленькая, плохонькая, сюда». Вы не можете себе представить, как ему не везло: маленькая, плохонькая не шла, да и только. Банк рос, собралась там уже сотня. Из игроков ни у кого

столько не было, чтобы идти ва-банк, а Вейвода даже весь вспотел. Только и было слышна: «Маленькая, плохонькая, сюда». Игроки ставили по пятёрке и всё время проигрывали. Один трубочист так разошёлся, что сбегал домой за деньгами, и, когда в банке было больше чем полторы сотни, пошёл ва-банк. Вейвода хотел избавиться от банка и, как позже рассказывал, решил прикупать хоть до тридцати, чтобы только не выиграть, а вместо этого сразу купил два туза. Он сделал вид, будто у него ничего нет, и нарочно говорит: «Шестнадцать». А у трубочиста всего-навсего оказалось пятнадцать. Ну, разве это не невезение! Несчастный старик Вейвода побледнел, вид у него был жалкий, а вокруг уже стали поругиваться и перешёптываться, что, дескать, передёргивает и что его как-то раз уже били за нечистую игру, хотя на самом деле это был самый честный игрок. В банк сыпались крона за кроной. Там уже скопилось пятьсот крон. Тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл два раза по сто крон, а потоп зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил что идёт ва-банк. «Играем в открытую!» — сказал он. Старик Вейвода, кажется, всё на свете отдал бы за то чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семёрка и он оставил её себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду — у него было двадцать одно. Старику Вейводе пришла вторая семёрка, и опять он её себе оставил «Теперь придёт туз или десятка, — заметил со злорадством трактирщик. — Готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришёл капут». Все затаили дыхание. Вейвода тянет, и появляется… третья семёрка. Трактирщик побледнел как полотно (это были его последние деньги) и ушёл на кухню. Через минуту прибегает мальчонка, — он был у него в ученье, — кричит, чтобы мы скорей сняли трактирщика: хозяин-де весит на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было — все деньги лежали в банке у Вейводы. А Вейвода знай своё «маленькая, плохонькая, сюда», и счастлив бы всё спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились: если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в банк уже больше полутора миллионов, угольщик из Здераза — около миллиона, швейцар из «Столетнего кафе» — восемьсот тысяч крон, а фельдшер — больше двух миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более трёхсот тысяч. Старик

Вейвода пускался на всякие штуки: то и дело бегал в уборную и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а когда возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришло двадцать одно. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на пятнадцати, у партнёра было четырнадцать. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостовщик, который всего-то-навсего выложил наличными восемь крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете и что такому нужно наподдать коленкой, выкинуть и утопить, как щепка. Вы не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место, — сказал он трубочисту. — Сыграйте-ка за меня». И так, без шапки, выбежал прямо на Мыслиховую улицу за полицией, нашёл патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше двух миллионов, а швейцар — свыше трёх. А в тарелку для трактирщика положили расписку на пятьсот тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мостовщик крикнул: «Спасайся, кто может!» Но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Здеразский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в «корзинке». В банке было больше чем на полмиллиарда долговых расписок и полторы тысячи крон наличными. «Ничего подобного я до сих пор не видывал, — сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. — Это почище, чем в Монте-Карло». Все, кроме старика Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную треть конфискованного банка, свыше ста шестидесяти миллионов крон. Старик от всего этого рехнулся и утром ходил по Праге и дюжинами заказывал себе несгораемые шкафы… Вот это называется — повезло в карты!

Тут Швейк пошёл варить грог. К ночи фельдкурат, которого Швейк с трудом отправил в постель, прослезился и завопил.

— Продал я тебя, дружище, — всхлипывал он, — позорно продал. Прокляни меня, ударь — стою того! Отдал я тебя на растерзание. В глаза тебе не смею взглянуть. Бей меня, кусай, уничтожь! Лучшего я не заслужил. Знаешь, кто я?

И, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим, нежным голосом протянул:

— Я последний подлец… — и уснул, словно ко дну пошёл.

На другой день фельдкурат не смел поднять глаз на Швейка, рано ушёл из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем.

— Швейк, — сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка, — покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу.

Швейк со своим преемником приятно провёл ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен: «Около Ходова течёт водичка, наливает нам моя милая красное пиво. Гора, гора высокая, шли девушки по дорожке, на Белой горе мужичок пашет…»

— За тебя я не боюсь, — сказал Швейк. — С такими способностями ты у фельдкурата удержишься.

Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал:

— Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я — тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты.

II

Институт денщиков очень древнего происхождения. Говорят, ещё у Александра Македонского был денщик. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в эпоху феодализма в этой роли выступали оруженосцы рыцарей. Кем, скажем, был Санчо Панса у Дон-Кихота? Удивительно, что история денщиков до сих пор никем не написана. А то мы прочли бы там, как альмавирский герцог во время осады Толедо с голода съел без соли своего денщика; об этом герцог сам пишет в своих воспоминаниях и сообщает, что мясо его слуги было нежным, мягким и сочным и по вкусу напоминало нечто среднее между курятиной и ослятиной.

В одной старой швабской книге о военном искусстве мы находим, между прочим, наставление денщикам. В старину денщик должен был быть благочестивым, добродетельным, правдивым, скромным, доблестным, отважным, честным, трудолюбивым, — словом, идеалом человека. Наша эпоха многое изменила в характере этого типа. Современный денщик обыкновенно не благочестив, не добродетелен, не правдив. Он врёт, обманывает своего господина и очень часто обращает жизнь своего начальника в настоящий ад. Это — льстивый раб, придумывающий самые коварные трюки, чтобы отравить жизнь своему хозяину. Среди нового поколения денщиков уже не найдётся самоотверженных существ вроде

благородного Фернандо, денщика альмавирского герцога, которые позволили бы своим господам съесть себя без соли. С другой стороны, мы видим, что в борьбе за свой авторитет — в борьбе не на жизнь, а на смерть со своими денщиками — начальники прибегают к самым решительным мерам. Иногда дело доходит до настоящего террора. Так, в 1912 году в Граце происходил процесс, на котором выдающуюся роль играл некий капитан, избивший своего денщика до смерти. Тогда капитан был оправдан, потому что проделал этот эксперимент всего лишь во второй раз. По мнению таких господ, жизнь денщика не имеет никакой цены. Денщик — вещь, часто только чучело для оплеух, раб, прислуга с неограниченным числом обязанностей. Не удивительно, если такое положение принуждает раба быть изворотливым и льстивым. Его муки на нашей планете можно сравнить только со страданием слуг — мальчишек в ресторанах в старое время; у них чувство порядочности развивали подзатыльниками и колотушками.

Бывают, впрочем, и такие случаи, когда денщик возвышается до положения любимчика у своего офицера и становится грозой роты и даже батальона. Все унтеры стараются его подкупить. От него зависит отпуск. Он может походатайствовать, чтобы при рапорте всё сошло хорошо.

Во время войны эти фавориты часто награждались большими и малыми серебряными медалями за доблесть и отвагу.

В Девяносто первом полку я знал несколько таких. Один денщик получил большую серебряную за то, что умел восхитительно жарить украденных им гусей. Другой был награждён малой серебряной за то, что получал из дому чудесные продовольственные посылки и его начальник во время самого отчаянного голода обжирался так, что не мог ходить.

Подавая рапорт о представлении своего денщика к награждению медалями, этот начальник выразился так:

«В награду за то, что в боях проявлял необычайную доблесть и отвагу, пренебрегал своей жизнью и не отходил ни на шаг от своего командира под сильным огнём наступающего противника».

А тот в это время обчищал курятники в тылу. Война изменила отношения между офицером и денщиком, и денщик стал самым ненавистным существом среди солдат. У денщика была целая банка консервов, в то время как в команде одна банка выдавалась на пять человек. Его фляжка всегда была полна рому или коньяку. Целый день эта тварь жевала шоколад, жрала сладкие офицерские сухари, курила сигареты своего начальника, стряпала и жарила целыми часами и носила гимнастёрку, сшитую лично ей по мерке.

Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумвирату присоединялся обыкновенно и старший писарь. Эта тройка, живя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и стратегических планах.

Отделение, начальник которого дружил с денщиком командира роты, было лучше других информировано обо всём. Если денщик говорил: «В два часа тридцать пять минут улепетнём», то действительно ровно в два часа тридцать пять минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля.

Денщик находился в самых интимных отношениях с полевой кухней и с удовольствием околачивался у котла, заказывая себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню.

— Я люблю грудинку, — говорил он повару, — а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печёнки, знаешь ведь, что я селезёнку не жру.

Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим и офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашла артиллерийская граната. В эти минуты он желал только одного: чтобы его командир был ранен и он вместе с ним попал бы в тыл, как можно подальше.

Своими «секретами» он увеличивал панику. «Кажется, уже собирают телефон», — сообщал он конфиденциально по отделениям и был счастлив, если мог потом сказать: «Уже собрали».

Никто не отступал с таким удовольствием, как он. В эти минуты он забывал, что над его головой свистят снаряды и шрапнель; не чувствуя усталости, он пробирался с багажом к штабу, где стоял обоз. Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека, совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только своё собственное имущество.

Если случалось, что офицер, чтобы не попасть в плен, спасался бегством, а денщик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берёг как зеницу ока.

Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошёл

пешком от Дубно до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка офицера, избежавшего плена, он тащил ещё пять различных ручных чемоданов, да два одеяла и подушку, не считая узла, который он тащил на голове. Он жаловался мне, что два чемодана у него отняли казаки.

Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая экспедиторская подвода. Я до сих пор никак не могу понять, как смог он всё это унести, тащить несколько сот километров на себе, потом доехать с этим до самого Ташкента, зорко охранять каждую вещь… и умереть на своих чемоданах от сыпного тифа в лагере для военнопленных.

В настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах. Они-де штурмовали Сокаль, Дубно, Ниш, Пиаву. Каждый из них — Наполеон. «Вот я и говорю нашему полковнику: пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать».

В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата вязали.

Они развились в особую касту. Их эгоизм не знал границ.

III

Поручик Лукаш был типичным кадровым офицером сильно обветшавшей австрийской монархии. Кадетский корпус выработал из него хамелеона: в обществе он говорил по-немецки, писал по-немецки, но читал чешские книги, а когда преподавал в школе для вольноопределяющихся, состоящей сплошь из чехов, то говорил им конфиденциально: «Останемся чехами, но никто не должен об этом знать. Я — тоже чех…»

Он считал чешский народ своего рода тайной организацией, от которой лучше всего держаться подальше.

Но в остальном он был человек славный: не боялся начальства и на манёврах, как это и полагается, заботился о своей роте, поудобнее расквартировывая её по сараям, и, часто платя из своего скромного жалованья, выставлял солдатам бочку пива.

Лукаш любил, когда солдаты на марше пели песни. Они должны были петь, идя на учение и с учения. Шагая рядом со своей ротой, он подтягивал:

А как ноченька пришла,
Овёс вылез из мешка,

Тумтария бум!

Он пользовался расположением солдат, так как был на редкость справедлив и не имел обыкновения придираться.

Унтеры дрожали перед ним. Из самого свирепого фельдфебеля он в течение месяца делал агнца.

Накричать он мог, но никогда не ругался. Выбирал слова и выражения.

— Видите ли, голубчик, право же мне не хотелось бы вас наказывать, но ничего не могу поделать, потому что от дисциплины зависит боеспособность армии. Армия без дисциплины — «трость, ветром колеблемая». Если ваш мундир не в порядке, а пуговицы плохо пришиты или их не хватает, то это значит, что вы забываете свои обязанности по отношению к армии. Может быть, вам кажется непонятным, почему вас сажают за то, что вчера при осмотре у вас не хватало пуговицы на гимнастёрке, за такую мелочь, за такой пустяк, на который, не будь вы на военной службе, никто бы и внимания не обратил? Но на военной службе подобная небрежность по отношению к своей внешности влечёт за собой взыскание. А почему? Дело не в том, что у вас не хватает пуговицы, а в том, чтобы приучить вас к порядку. Сегодня вы не пришьёте пуговицу и, значит, начнёте лодырничать. Завтра вам уже покажется трудным разобрать и вычистить винтовку, послезавтра вы забудете в каком-нибудь трактире свой штык и, наконец, заснёте на посту — и всё из-за того, что с той несчастной пуговицы вы начали вести жизнь лодыря. Так-то, голубчик! Я наказываю вас для того, чтобы уберечь от наказания более тяжёлого за те провинности, которые вы могли бы совершить в будущем, медленно, но верно забывая свои обязанности. Я вас сажаю на пять дней и искренне желаю, чтобы на хлебе и воде вы пораздумали над тем, что взыскание не есть месть, а только средство воспитания, преследующее определённую цель — исправление наказуемого солдата.

Лукашу уже давно следовало бы быть капитаном, но ему не помогла даже осторожность в национальном вопросе, так как он отличался слишком большой прямотой по отношению к своему начальству и ни к кому не подлизывался.

Он родился в деревне среди тёмных лесов и озёр южной Чехии и сохранил черты характера крестьян этой местности.

Но если к солдатам Лукаш был справедлив и никогда к ним не придирался, то по отношению к денщикам он был совсем иным: он ненавидел своих денщиков, потому что денщики ему попадались всегда

самые негодные и подлые.

Он не считал их за солдат, бил их по морде, давал подзатыльники, пытался воспитывать их и словом и делом. Он безрезультатно боролся с ними много лет, то и дело менял и всегда приходил к заключению: «Опять попалась подлая скотина!» Своих денщиков он считал существами низшего порядка.

Животных Лукаш любил чрезвычайно. У него была гарцкая канарейка, ангорская кошка и пинчер. Денщики, которых он часто менял, обращались с этими животными не лучше, чем поручик с ними самими, когда они учиняли ему какую-нибудь пакость.

Они морили голодом канарейку, один из денщиков выбил ангорской кошке глаз, пинчера стегали, как только он попадался под руку, и, наконец, один из предшественников Швейка отвёл бедного пса к живодёру на Панкрац, чтобы его там уничтожили, не пожалев на это дело из своего кармана десять крон. А поручику он доложил, что пёс сбежал на прогулке. На следующий день этот денщик уже маршировал с ротой на плацу.

Когда Швейк явился к Лукашу и заявил, что приступает к своим обязанностям, поручик провёл его к себе в комнату и сказал:

— Вас рекомендовал мне господин фельдкурат Кац. Надеюсь, вы не осрамите его рекомендацию. У меня была уже дюжина денщиков, и ни один из них не удержался. Предупреждаю, я строг и беспощадно наказываю за каждую подлость и ложь. Я требую, чтобы вы всегда говорили только правду и беспрекословно исполняли все мои приказания. Если я скажу: «Прыгайте в огонь», то вы должны прыгнуть в огонь, даже если бы вам этого не хотелось. Куда вы смотрите?

Швейк с интересом смотрел в сторону, на стену, где висела клетка с канарейкой. Услышав вопрос поручика, он устремил на него свои добрые глаза и ответил милым, добродушным тоном:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — это гарцкая канарейка.

Прервав таким образом речь поручика, Швейк вытянулся во фронт и не моргнув глазом уставился на поручика.

Поручик хотел было сказать резкость, но, видя невинное выражение лица Швейка, произнёс только:

— Господин фельдкурат аттестовал вас как редкого болвана. Думаю, он не ошибся.

— Осмелюсь доложить, господин фельдкурат взаправду не ошибся. Когда я был на действительной, меня освободили от военной службы из-за идиотизма, общепризнанного идиотизма. По этой причине отпустили из

полка двоих: меня и ещё одного, капитана фон Кауница. Тот, господин поручик, идя по улице, одновременно, извините за выражение, ковырял пальцем левой руки в левой ноздре, а пальцем правой руки — в правой. На учении он каждый раз строил нас, как для церемониального марша, и говорил: «Солдаты… э-э… имейте в виду… э-э… что сегодня… среда, потому что… завтра будет четверг… э-э…»

Поручик Лукаш пожал плечами, не находя слов, и зашагал от двери к окну мимо Швейка и обратно. При этом Швейк делал «равнение направо» и «равнение налево», — смотря по тому, где находился поручик, — с таким невинным видом, что поручик потупил глаза и, глядя на ковёр, сказал без всякой связи со швейковскими замечаниями о глупом капитане:

— Да-с! Чтобы всегда у меня был порядок и чистота и не сметь лгать. Я люблю честность. Ненавижу ложь и наказываю за неё немилосердно. Вы меня поняли?

— Так точно, господин обер-лейтенант, понял. Нет ничего хуже, когда человек лжёт. Если уж начал кто завираться — знай, что он погиб. В деревне около Пелгржимова был учитель по фамилии Марек. Этот учитель бегал за дочерью лесника Шперы. Лесник велел ему передать, что если он будет встречаться с его дочкой, то он, лесник, как, значит, застанет их, всадит ему из ружья в задницу заряд нарезанной щетины с солью. А учитель велел передать леснику, что всё это враки. Но однажды, когда он поджидал свою барышню, лесник его застал и уже хотел было проделать с ним эту самую операцию, да учитель отговорился: он, дескать, только цветочки собирает. В другой раз учитель сказал леснику, что ловит жуков для коллекции. Так он и врал — чем дальше, тем больше. Наконец со страху он присягнул, что хотел только силки для зайцев расставить. Тут наш лесник его сгрёб и доставил жандармам, а оттуда дело перешло в суд, и учитель чуть было не попал в тюрьму. А скажи он голую правду, получил бы порцию щетины с солью всего-навсего; я держусь того мнения, что лучше признаться, а если уж что натворил, — прийти и сказать: дескать, осмелюсь доложить, натворил то-то и то-то. А если говорить насчёт честности, то это, конечно, вещь прекрасная, с нею человек далеко пойдёт. Ну, всё равно как при состязании в ходьбе: как только начнёшь мошенничать и бежать, так моментально сходишь с дистанции. Вот, к примеру, мой двоюродный брат. Честный человек, всюду его уважают, сам собой доволен и чувствует себя как новорождённый, когда, ложась спать, может сказать: «Сегодня я опять был честным».

В течение всей этой пространной речи поручик сидел в кресле и, уставившись на сапоги Швейка, думал: «Боже мой, ведь я сам часто несу

такую же дичь. Разница только в форме, в какой я это преподношу».

Тем не менее, не желая ронять своего авторитета, он сказал, когда Швейк закончил:

— Вы должны ходить в чищеных сапогах, держать мундир в порядке и чтобы все пуговицы были пришиты. Вы должны производить впечатление солдата, а не штатского босяка. Это поразительно, до чего никто из вас не умеет держаться по-военному. Из всех моих денщиков только у одного был бравый вид, да и тот в конце концов украл у меня парадный мундир и продал его в еврейском квартале.

Поручик умолк, но вскоре заговорил снова и перечислил Швейку все его обязанности, особенно напирая на то, что Швейк должен быть верным слугой и нигде не болтать о том, что делается дома.

— У меня бывают дамы, — подчеркнул он. — Иногда дама останется ночевать, если мне не нужно на другой день идти на службу. В таких случаях вы будете приносить нам кофе в постель, но только когда я позвоню, поняли?

— Так точно, понял, господин обер-лейтенант. Если я неожиданно влезу в комнату, то, возможно, иной даме это покажется неприятным. Я сам однажды привёл к себе домой барышню, и мы с ней очень мило развлекались, когда моя служанка принесла нам кофе в постель. Служанка с перепугу обварила мне кофеём всю спину, да ещё сказала: «С добрым утром!» Нет, я прекрасно знаю, как вести себя, когда ночует дама.

— Отлично, Швейк! С дамами мы должны вести себя исключительно тактично, — сказал поручик, приходя в хорошее настроение, так как разговор коснулся предмета, заполнявшего всё его свободное от казарм, плаца и карт время.

Женщины были душой квартиры поручика. Они создавали ему домашний очаг. Их было несколько дюжин, и многие за время своего пребывания старались приукрасить квартиру всевозможными безделушками.

Жена владельца кафе прожила у поручика целых две недели, пока за ней не приехал муж, и вышила поручику премиленькую дорожку на стол, на всём его бельё монограммы и, наверное, докончила бы коврик на стене, если бы её муж не прекратил эту идиллию.

Другая, за которой через три недели приехали родители, хотела превратить спальню поручика в дамский будуар и расставила повсюду разные безделушки и вазочки, а над постелью повесила ангела хранителя.

Заботливая женская рука ощущалась во всех уголках спальни и столовой, она проникла и на кухню, где можно было видеть самые

разнообразные кухонные принадлежности — великолепный подарок одной влюблённой фабрикантши, которая, кроме своей страсти, привезла с собой в дом машинку для рубки овощей и капусты, прибор для нарезывания булочек, тёрку для печёнки, кастрюли, противни, сковороды, шумовки и бог весть что ещё.

Однако через неделю она ушла, так как не могла примириться с мыслью, что, кроме неё, у Лукаша есть ещё около двадцати других любовниц: последнее обстоятельство отразилось на исполнительности этого породистого самца в мундире.

Поручик Лукаш вёл обширную корреспонденцию, завёл альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние два года стал проявлять наклонность к фетишизму. У него сохранилось несколько разных дамских подвязок, четыре пары изящных панталончиков с вышивкой, три прозрачные, тончайшие дамские рубашечки, батистовые платья и, наконец, один корсет и несколько чулок.

— Сегодня у меня дежурство, — сказал поручик Швейку, — я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт.

Отдав приказания, касающиеся канарейки и ангорской кошки, он ушёл, не преминув ещё раз в дверях проронить несколько слов о честности и порядке.

После его ухода Швейк привёл всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш возвратился ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, всё в порядке. Только вот кошка набезобразничала: сожрала вашу канарейку.

— Как?! — загремел поручик.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вот как. Я давно знал, что кошки не любят канареек и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе и в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать её так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Я очень люблю животных! Наш шляпный мастер выучил-таки свою кошку. Сначала она сожрала у него трёх канареек, а теперь уже ни одной больше не жрёт, и канарейка может на неё хоть садиться. Я тоже хотел попробовать, вытащил канарейку из клетки и дал её кошке понюхать, а эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, я не ожидал от неё такого хамства! Если бы это был, скажем, воробей, так я бы ничего не сказал, а то ведь замечательная канареечка, гарцкая! Да с какой ещё жадностью жрала,

вместе с перьями, и ворчала при этом от удовольствия. У них, у кошек, как говорится, нет никакого музыкального образования, они бестии не переваривают, когда поёт канарейка, потому что в этом ничего не смыслят… Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем её не тронул, а ждал вас, как вы это дело решите, что с ней, с этой паршивой уродиной, делать.

Рассказывая об этом, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определённым суровым намерением, отошёл, сел в кресло и спросил:

— Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного?

— Так точно, господин обер-лейтенант, — торжественно ответил Швейк. — Мне с малых лет не везёт. Я всегда хочу поправить дело, чтобы всё вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня и для других. Я только хотел их обеих познакомить, чтобы привыкли друг к другу. Разве я виноват, что она сожрала канарейку и всё знакомство на этом оборвалось! Несколько лет назад в гостинице «У Штупартов» кошка сожрала даже попугая за то, что тот её передразнивал и мяукал по-кошачьи… И живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я её прикончил, так придётся прихлопнуть её дверью, иначе ничего не получится.

И Швейк с самым невинным видом и милой, добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довёл бы до сумасшедшего дома всё общество покровительства животных.

Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его:

— Вы умеете обращаться с животными? Любите их?

— Больше всего я люблю собак, — сказал Швейк, — потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя всё равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки. Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми! Так нет же, каждому подавай родословную, вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь коширжской дворняжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Но покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить вршовицкого шпица вместо таксы, а они только удивлялись, почему у такого редкого пса, из самой Германии, шерсть

мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать: «Я, дескать, чистокровная тварь», — говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или, наконец, папаш у него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал: от одного — уши, от другого — хвост, ещё от одного — шерсть на морде, от третьего — морду, от четвёртого — кривые ноги, а в пятого пошёл ростом. Если же у него таких папаш было штук двенадцать, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пёс выглядит. Вот купил я однажды этакого кобеля, звали его Балабан, так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки от него шарахались. Купил я его из жалости; был он такой покинутый и всё время сидел у меня дома в углу, всё грустил, так что я вынужден был продать его за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он со своим хозяином попал в Моравию, и с тех пор я его не видел.

Поручика начал занимать этот доклад по собаковедению. И Швейк мог без помехи продолжать.

— Собаки не могут краситься сами, как дамы, об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пёс старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка или выдаёте такого дедушку за девятимесячного, то лучше всего купите ляпису, разведите и выкрасьте пса в чёрный цвет — будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нём силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем, как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пёс был немного навеселе. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное вот что: с людьми, господин обер-лейтенант, нужно говорить, и говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить болонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки, нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увёл с собой, вместо болонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет и вместо того, чтобы увести дога, унесёт в кармане вашего карликового фокстерьера… Когда я в своё время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У неё, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчики играли в

индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался бесхвостый, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот, эта дама сказала, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет что ругаться. Что мне было делать, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного. А был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с четырёх часов дня до семи вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей: «Пусть теперь мальчишки только попробуют и ему вырвать хвост», — и больше мне с этой дамой не довелось разговаривать: из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он перекусал весь дом… Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно…

— Я сам люблю собак, — сказал поручик. — Кое-кто из моих друзей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. Вы, я вижу, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что если б у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать. Какая порода, по-вашему, лучше всех; то есть я имею в виду собаку-друга? Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю…

— По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер — очень милый пёс. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что щетинист, и волосы на морде такие жёсткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть, а умные. Куда до них болванам сенбернарам! Пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного…

Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка:

— Уже поздно, мне нужно выспаться. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера.

Он пошёл спать, а Швейк лёг в кухне на диван и почитал ещё газету, которую поручик принёс из казарм.

— Скажите, пожалуйста, — заметил про себя Швейк, с интересом следя за событиями дня. — Султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет.

Швейк задумался и вдруг вскочил:

— Чуть было не забыл! — И пошёл в комнату к поручику.

Поручик крепко спал. Швейк разбудил его:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не получил приказания насчёт кошки.

Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал: «Три дня ареста!» — и заснул опять.

Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей:

— Три дня ареста!

И ангорская кошка полезла обратно под диван.

IV

Швейк только было собрался отправиться на поиски какого-нибудь пинчера, как у двери позвонила молодая дама. Она заявила, что хочет поговорить с поручиком Лукашом. Около дамы стояли два больших чемодана, и Швейк успел заметить фуражку спускающегося по лестнице посыльного.

— Нету дома, — твёрдо сказал Швейк, но молодая дама была уже в передней и категорическим тоном приказала Швейку: — Отнесите чемоданы в комнату.

— Без разрешения господина поручика нельзя, — сказал Швейк. — Господин поручик приказал мне без него ничего не делать.

— Вы с ума сошли! — вскричала молодая дама. — Я приехала к господину поручику в гости.

— Об этом мне ничего не известно, — ответил Швейк. — Господин поручик на службе и вернётся только ночью, а я получил приказание найти пинчера. Ни о каких чемоданах и ни о каких дамах ничего не знаю. Я запираю квартиру и покорнейше прошу вас уйти. Мне не давали никаких распоряжений на этот счёт, и я не могу чужую, неизвестную мне особу оставлять одну в квартире. У нас на улице, у кондитера Бильчицкого, оставили так вот постороннего человека в доме, а он вскрыл гардероб и удрал… Конечно, я этим не хочу о вас сказать ничего дурного, — продолжал Швейк, увидев, что дама делает отчаянное лицо и плачет, — но оставаться вам здесь решительно нельзя. Согласитесь сами: раз мне доверена квартира, то я отвечаю за каждую мелочь. Поэтому ещё раз покорнейше прошу понапрасну себя не затруднять. Пока я не получил приказания от господина поручика, для меня родного брата не существует. Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на

военной службе прежде всего должен быть порядок.

Молодая дама между тем несколько пришла в себя, вынула из сумочки визитную карточку, написала карандашом несколько строк, вложила это в прелестный маленький конвертик и удручённо сказала:

— Отнесите это господину поручику, а я подожду здесь ответа. Вот вам пять крон на дорогу.

— Ничего не выйдет, — ответил Швейк, задетый навязчивостью нежданной гостьи. — Оставьте себе эти пять крон, вот они здесь, на стуле, а если хотите, пойдёмте вместе к казармам, подождите меня там, я передам ваше письмецо и принесу ответ. Но ждать здесь вам ни в коем случае нельзя! — После этого он втащил чемоданы в переднюю и, гремя ключами как дворцовый ключник, стоя в дверях, многозначительно сказал:

— Запираем…

Молодая дама с беспомощным видом вышла на лестницу. Швейк запер дверь и пошёл вперёд. Посетительница семенила за ним, как собачонка, и догнала его только когда он зашёл в лавочку за сигаретами. Теперь она шла с ним рядом и пыталась завязать разговор.

— А вы передадите наверное?

— Передам, раз обещал.

— А вы найдёте господина поручика?

— Не знаю.

Они молча шагали рядом, пока наконец спутница Швейка не заговорила опять:

— Так вы думаете, что господина поручика не найти?

— Нет, не думаю.

— А где он может быть, как вы думаете?

— Не знаю.

На этом разговор на долгое время прервался, пока молодая дама опять не возобновила его вопросом:

— Вы не потеряли письмо?

— Пока что нет.

— Так вы наверное передадите его господину поручику?

— Да.

— А найдёте вы поручика?

— Я уже сказал, что не знаю, — ответил Швейк. — Удивляюсь, как люди могут быть такими любопытными и всё время спрашивать об одном и том же! Это всё равно, как если бы я останавливал на улице каждого встречного и спрашивал, какое сегодня число.

Так были закончены всякие попытки договориться, и дальнейший путь

к казармам совершался в полном молчании. Только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор с солдатами, стоявшими в воротах. Легко представить, что это доставило даме чрезвычайное удовольствие. Она с несчастным видом расхаживала по тротуару и нервничала, видя, что Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно было увидеть разве только на фотографии, опубликованной в то время в «Хронике мировой войны». Под фотографией стояла надпись: «Наследник австрийского престола беседует с двумя лётчиками, сбившими русский аэроплан».

Швейк уселся на лавочке около ворот и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось, но, с другой стороны, комендант Перемышля, генерал Кусманек, прибыл в Киев, а также, что у нас осталось в Сербии одиннадцать опорных пунктов и сербы не смогут долго бежать за нашими солдатами.

Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окружённое со всех сторон, непременно должно сдаться.

Наговорившись вдоволь, он счёл нужным подойти к отчаявшейся даме и сказать ей, что сию минуту вернётся — пусть она никуда не уходит, а сам пошёл наверх в канцелярию, где отыскал поручика Лукаша. Поручик Лукаш в это время растолковывал некоему подпоручику одну из схем окопов и ставил ему на вид, что тот не знает, как чертить, и не имеет ни малейшего понятия о геометрии.

— Видите, вот как это нужно сделать. Если к данной прямой нам надо провести перпендикуляр, то мы должны начертить такую прямую, которая образует с первой прямой угол. Понимаете? Тогда вы проложите окопы правильно, не заедете с ними к противнику, а останетесь на расстоянии шестисот метров от него. Но если следовать тому, как вы начертили, то нашими позициями мы заехали бы за линию противника и стали бы своими окопами перпендикулярно к неприятелю. А вам ведь нужен тупой угол. Это же очень просто, не правда ли?

Подпоручик запаса, который в мирное время служил кассиром в банке, стоял над чертежами в полном отчаянии и ничего не понимал. Он облегчённо вздохнул, когда Швейк подошёл к поручику и отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин поручик, какая-то дама просит передать вам это письмо и ждёт ответа. — При этом он многозначительно и фамильярно подмигнул.

То, что прочёл поручик, не произвело на него благоприятного

впечатления.

«Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei Dir ein paar Tage gastieren. Dein Bursch ist ein grosses Mistvieh. Ich bin unglucklich. Deine Katy»[46]

Поручик Лукаш вздохнул, повёл Швейка в соседнюю пустую канцелярию, закрыл дверь и зашагал между столами. Наконец он остановился перед Швейком.

— Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали?

— Осмелюсь доложить, я ничего ей не сделал, господин обер-лейтенант. Я вёл себя как полагается, но вот она хотела сейчас же расположиться в квартире. А раз я не получил от вас никаких указаний, то я её там не оставил. Ко всему прочему она приехала с двумя чемоданами, как к себе домой.

Поручик ещё раз громко вздохнул, Швейк тоже вздохнул.

— Что?! — угрожающе крикнул поручик.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — это тяжёлый случай. Года два тому назад на Войтешской улице к одному обойщику въехала барышня, и он никак её не мог выжить из квартиры. В конце концов ему пришлось отравить и себя и её светильным газом, и шутке был конец. Беда с бабьём! Я их насквозь вижу!

— Тяжёлый случай! — повторил поручик за Швейком; и никогда ещё он не изрекал такой истины.

«Дорогой Генрих» был действительно в скверном положении. Жена, преследуемая мужем, приезжает к нему гостить на несколько дней, как раз когда должна приехать из Тршебони пани Мицкова, чтобы в течение трёх дней повторить то, что она регулярно делает раз в три месяца, когда приезжает в Прагу за покупками. Кроме того, послезавтра должна прийти одна барышня. После целой недели размышлений она определённо обещала ему позволить соблазнить себя, так как всё равно через месяц выходит замуж за инженера.

Поручик сидел на столе повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке нижеследующее:

> «Дорогая Кати!
>
> До 9 часов вечера я буду на службе. Приду в 10. Прошу, чувствуй себя как дома. Что касается Швейка, моего денщика, то я уже отдал ему приказ, чтобы все твои желания были исполнены. Твой Индржих».

— Отдайте письмо даме, — сказал поручик. — Приказываю вам обращаться с ней вежливо и тактично, исполнять все её желания, которые для вас должны быть законом. Вы должны держать себя с нею галантно. Служите ей не за страх, а за совесть. Вот вам сто крон, потом дадите мне отчёт. Наверно, она пошлёт вас за чем-нибудь; закажите для неё обед, ужин и так далее. Кроме того, купите три бутылки вина и коробочку «Мемфис». Так. Больше пока ничего. Можете идти. Ещё раз напоминаю, что вы должны исполнять каждое желание барыни, которое только прочтёте в её глазах.

Молодая дама уже потеряла всякую надежду увидеть Швейка и была очень удивлена, когда он вышел из казарм и направился к ней с письмом в руке.

Швейк взял под козырёк, подал ей письмо и доложил:

— Согласно приказанию господина обер-лейтенанта, я обязан вести себя с вами, сударыня, учтиво и тактично, служить не за страх, а за совесть и исполнять все ваши желания, которые только прочту в ваших глазах. Приказано вас накормить и купить для вас всё, что вы только пожелаете. На это получено от господина обер-лейтенанта сто крон, но из этих денег я должен ещё купить три бутылки вина и коробку сигарет «Мемфис».

Когда дама прочла письмо, к ней вернулась решительность, выразившаяся в том, что она велела Швейку нанять извозчика. Когда это было исполнено, она приказала Швейку сесть к кучеру на козлы.

Они поехали домой. Войдя в квартиру, дама превосходно разыграла роль хозяйки. Швейку пришлось перенести чемоданы в спальню и выколотить на дворе ковры. Чуть заметная паутинка за зеркалом привела её в сильнейшее негодование.

Всё это свидетельствовало о том, что она намеревалась надолго занять свои боевые позиции.

Швейк потел. Когда он выколотил ковры, даме пришло в голову снять и вытрясти занавески. Затем Швейк получил приказание вымыть окна в комнате и на кухне. После этого дама начала переставлять мебель. Делала она это с большой нервозностью, и когда Швейк перетащил всё из угла в угол, ей опять не понравилось, и она стала снова комбинировать и придумывать новые перестановки.

Она перевернула вверх дном всю квартиру, но понемногу её энергия в устройстве гнёздышка начала иссякать, и разгром постепенно прекратился.

Дама вынула из комода чистое постельное бельё и сама переменила наволочки на подушках и перинах.

Было видно, что она делает это с любовью к постели. Этот предмет

заставлял чувственно трепетать её ноздри.

Затем она послала Швейка за обедом и вином, а сама между тем переоделась в прозрачный утренний капот, в котором выглядела необычайно соблазнительно.

За обедом она выпила бутылку вина, выкурила массу «мемфисок» и легла в постель. А Швейк лакомился на кухне солдатским хлебом, макая его в стакан сладкой водки.

— Швейк! — раздалось вдруг из спальни. — Швейк!

Швейк открыл дверь и увидел молодую даму в грациозной позе на подушках.

— Войдите.

Швейк подошёл к постели. Как-то особенно улыбаясь, она смерила взглядом его коренастую фигуру и мясистые ляжки. Затем, приподнимая нежную материю, которая покрывала и скрывала всё, приказала строго:

— Снимите башмаки и брюки. Покажите…

Когда поручик вернулся из казарм, бравый солдат Швейк мог с чистой совестью отрапортовать:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все желания барыни я исполнил и работал не за страх, а за совесть, согласно вашему приказанию.

— Спасибо, Швейк, — сказал поручик. — Много у неё было желаний?

— Так, примерно, шесть, — отрапортовал Швейк. — Теперь она спит как убитая от этой езды. Я исполнил всё её желания, какие только смог прочесть в её глазах.

V

В то время как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах на реках Дунаец и Рабе, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землёю целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнём пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк переживали не совсем приятную идиллию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывавшей теперь роль хозяйки дома.

Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держал со Швейком военный совет, как бы от неё избавиться.

— Лучше всего, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — если б её муж узнал, где она находится, и приехал за ней. Вы говорили, что он её

разыскивает, об этом она писала в том письме, что я вам принёс. Пошлите ему телеграмму, что, мол, она у вас и он может её забрать, — и дело с концом. Во Вшенорах на одной вилле в прошлом году был подобный же случай. Но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей и её любовнику. Но тот был штатский, а с офицером муж так не посмеет… Да в конце концов вы совершенно не виноваты, никого вы к себе не звали, и если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу. Если даже муж и влепит раза два…

— Он весьма интеллигентный человек, — прервал Швейка поручик Лукаш, — я его знаю. Он ведёт оптовую торговлю хмелем. С ним действительно необходимо поговорить. Я пошлю ему телеграмму.

Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы:

«Адрес вашей супруги в настоящее время…» Далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша.

В один прекрасный день пани Кати была весьма неприятно поражена, когда в квартиру ввалился оптовый торговец хмелем. Он выглядел весьма корректным и заботливым супругом, когда пани Кати, не потеряв в этот момент присутствия духа, представила друг другу обоих мужчин.

— Мой муж… Господин поручик Лукаш.

Ничего другого ей не пришло в голову.

— Присаживайтесь, пожалуйста, пан Вендлер, — приветливо предложил поручик гостю и, вынув портсигар, протянул его торговцу хмелем: — Не угодно ли?

Интеллигентный торговец хмелем вежливо взял сигарету и, выпуская дым, осторожно спросил:

— Скоро едете на фронт, господин поручик?

— Я подал рапорт о переводе меня в Девяносто первый полк в Будейовицах. Вероятно, поеду, как только закончу дела в школе вольноопределяющихся. Нам нужно громадное количество офицеров, но, к сожалению, в настоящее время наблюдается печальное явление: молодые люди, имеющие право поступать в вольноопределяющиеся, не стремятся воспользоваться этим правом. Предпочитают оставаться простыми рядовыми, вместо того чтобы стремиться стать юнкерами.

— Война сильно повредила торговле хмелем, однако я думаю, она долго не продлится, — заметил торговец, поглядывая поочерёдно то на свою жену, то на поручика.

— Наше положение весьма благоприятно, — сказал поручик

Лукаш. — Теперь никто уже не сомневается, что победит оружие центральных держав. Франция, Англия и Россия слишком слабы против австро-турецко-германской твердыни. Правда, на некоторых фронтах мы потерпели незначительные неудачи. Однако нет никакого сомнения, что, как только мы прорвём фронт между Карпатским хребтом и Средним Дунайцем, войне наступит конец. Точно так же и французам в ближайшее время грозит потеря всей восточной Франции и, кроме того, вторжение германских войск в Париж. Это совершенно ясно. А ещё надо учесть, что в Сербии наши манёвры проходят весьма успешно. Отступление наших войск, представляющее собой фактически лишь перегруппировку; многие объясняют совершенно иначе, чем того требует простое хладнокровие во время войны. В самом скором времени мы увидим, что наши строго рассчитанные манёвры на южном театре военных действий принесут свои плоды. Извольте взглянуть…

Поручик Лукаш деликатно взял торговца хмелем за плечо, подвёл к висящей на стене карте военных действий и, указывая на отдельные пункты, продолжал объяснять:

— Восточные Бескиды — это наш самый надёжный опорный пункт. На карпатских участках у нас, как видите, тоже сильная опора. Мощный удар по этой линии, и мы не остановимся до самой Москвы: война кончится скорее, чем мы предполагаем.

— А что Турция? — спросил оптовый торговец хмелем, думая, с чего бы начать, чтобы добраться до сути дела, ради которого он приехал.

— Турки держатся прекрасно, — ответил поручик, опять подводя его к столу. — Председатель турецкого парламента Гали-бей и Али-бей приехали в Вену. Командующим турецкой Дарданелльской армией назначен маршал Лиман фон Зандере. Гольц-паша приехал из Константинополя в Берлин. Нашим императором были награждены орденами Энвер-паша, вице-адмирал Уседон-паша и генерал Джевад-паша. Довольно много наград за такой короткий срок.

Некоторое время все сидели молча друг против друга, пока поручик не счёл удобным прервать тягостное молчание словами:

— Когда изволили приехать, пан Вендлер?

— Сегодня утром.

— Я очень рад, что вы меня нашли и застали дома: я всегда после обеда ухожу в казармы и провожу там всю ночь. У меня ночная служба. А так как квартира, собственно говоря, целыми днями пустует, я имел возможность предложить вашей супруге гостеприимство. Пока она находится в Праге, её здесь никто не побеспокоит. Ради старого

знакомства…

Торговец хмелем кашлянул.

— Кати — странная женщина, господин поручик. Примите мою сердечную благодарность за всё, что вы для неё сделали. Ни с того ни с сего вздумалось ей ехать в Прагу лечиться от нервов. Я в разъездах, приезжаю домой — никого. Кати нет…

Притворясь искренним, он погрозил ей пальцем и, криво улыбнувшись, спросил:

— Ты, наверно, решила, что если я уехал по делам, то ты тоже можешь уехать из дома. Ты, конечно, и не подумала…

Видя, что разговор начинает принимать нежелательный оборот, поручик Лукаш опять отвёл интеллигентного торговца хмелем к карте военных действий и, указывая на подчёркнутые места, сказал:

— Я забыл обратить ваше внимание на одно очень интересное обстоятельство. Посмотрите на эту большую, обращённую к юго-западу дугу, где группа гор образует естественное укрепление. Здесь наступают союзники. Отрезав дорогу, которая связывает укрепление с главной линией защиты у противника, мы перерезаем сообщение между его правым крылом и Северной армией на Висле. Теперь вам это понятно?

Торговец хмелем ответил, что теперь ему всё совершенно понятно, но потом, с присущей ему тактичностью, спохватился, что это могут принять за намёк, и, садясь на прежнее место, заметил:

— Из-за войны наш хмель лишился сбыта за границей. Франция, Англия, Россия и Балканы для нашего хмеля сегодня потеряны. Мы пока ещё отправляем его в Италию, но опасаюсь, что и Италия вмешается в это дело. Однако после нашей победы диктовать цены на товары будем мы!

— Италия сохранит строгий нейтралитет, — утешал его поручик. — Это совершенно…

— Но почему Италия не желает признавать, что он связана тройственным союзом с Австро-Венгрией и Германией? — внезапно рассвирепел торговец хмелем, которому всё сразу ударило в голову: и хмель, и жена, и война. — Я ждал, что Италия выступит против Франции и Сербии. Тогда бы война уже подходила к концу. У меня гниёт на складах хмель. Сделки о поставках внутри страны плохие, экспорт равен нулю, а Италия сохраняет нейтралитет. Для чего же в таком случае она ещё в тысяча девятьсот двенадцатом году возобновила с нами тройственный союз? О чём думает итальянский министр иностранных дел, маркиз ди Сан Джульяно? Что этот господин делает? Спит он, что ли? Знаете ли вы, какой годовой оборот был у меня до войны и какой теперь?..

— Пожалуйста, не думайте, что я не в курсе событий, — продолжал он, бросив яростный взгляд на поручика, который спокойно пускал изо рта кольца табачного дыма.

Пани Кати с большим интересом наблюдала за тем, как одно кольцо догоняло другое и разбивало его.

— Почему германцы отошли назад к своим границам, когда они уже были у самого Парижа? Почему между Маасом и Мозелем опять ведутся оживлённые артиллерийские бои? Известно ли вам, что в Комбр-а-Вевр у Марша сгорело три пивоваренных завода, куда я ежегодно отправлял свыше пятисот мешков хмеля? Гарт-мансвейлерский пивоваренный завод в Вогезах тоже сгорел. Громадный пивоваренный завод в Нидерсбахе у Мильгауза сравнён с землёй. Вот вам уже убыток тысячу двести мешков хмеля в год для моей фирмы. Шесть раз сражались немцы с бельгийцами за обладание пивоваренным заводом Клостергек — вот вам ещё убыток в триста пятьдесят мешков хмеля в год!

От волнения он не мог связно говорить, встал, поде шёл к своей жене и сказал:

— Кати, ты немедленно поедешь со мною домой. Одевайся!

— Меня все эти события совершенно выводят из равновесия, — сказал он через минуту, словно оправдываясь. — А раньше я был вполне уравновешенным человеком.

Когда его жена вышла одеваться, он тихо сказал поручику:

— Это она проделывает не в первый раз: в прошлом году уехала с одним преподавателем, и я нашёл её только в Загребе. Воспользовавшись случаем, я тогда заключил договор с загребским пивоваренным заводом на поставку шестисот мешков хмеля. Да что и говорить, юг вообще был золотым дном. Наш хмель шёл до самого Константинополя. Нынче мы наполовину уничтожены. Если правительство ограничит производство пива внутри страны, то нанесёт нам последний удар.

И, закуривая предложенную поручиком сигарету, он с отчаянием в голосе сказал:

— Одна только Варшава покупала у нас две тысячи триста семьдесят мешков хмеля. Самый большой пивоваренный завод там Августинский. Их представитель каждый год приезжал ко мне в гости. Есть от чего прийти в отчаяние! Хорошо ещё, что у меня нет детей!

Это логическое заключение по поводу ежегодного приезда представителя Августинского завода из Варшавы вызвало у поручика лёгкую улыбку, которая не ускользнула от внимания торговца хмелем, и поэтому он счёл нужным продолжить свою речь:

— Венгерские пивоваренные заводы в Шопрони и в Большой Каниже покупали у меня хмель для своего экспортного пива, которое они вывозили в самую Александрию, приблизительно тысячу мешков в год. Теперь из-за блокады они не хотят делать никаких заказов. Я предлагаю им хмель на тридцать процентов дешевле, а они всё-таки не заказывают ни одного мешка… Застой, упадок, нищета, да ко всему этому ещё семейные неприятности!

Торговец хмелем замолчал. Молчание нарушила пани Кати, приготовившаяся к отъезду.

— Как быть с моими чемоданами?

— За ними заедут, Кати, — сказал торговец хмелем, довольный тем, что дело обошлось без неожиданных выходок и неприятных сцен. — Если хочешь сделать покупки, то нам пора идти. Поезд отходит в два двадцать.

Супруги дружески распрощались с поручиком. Торговец хмелем был страшно рад, что со всем этим покончено, и, прощаясь, сказал в передней поручику:

— В случае если, не дай бог, вас ранят, приезжайте к нам поправляться. Будем за вами ухаживать как самые заботливые няньки.

Вернувшись в спальню, где пани Кати одевалась на дорогу, поручик нашёл на умывальнике четыреста крон и записку:

«Господин поручик, вы не могли защитить меня от этой обезьяны, моего мужа, идиота высшей марки. Вы позволили ему утащить меня, как какую-то забытую в вашей квартире вещь. Кроме того, вы позволили себе заметить, будто предложили мне своё гостеприимство. Надеюсь, я ввела вас в расходы не более чем на прилагаемые здесь четыреста крон, которые прошу разделить с вашим денщиком».

Поручик Лукаш с минуту стоял с запиской в руках, потом медленно разорвал её, с улыбкой взглянул на деньги на умывальнике и, заметив, что пани Кати, причёсываясь перед зеркалом, в волнении забыла на столе расчёску, приобщил эту расчёску к коллекции своих фетишей-реликвий.

После обеда вернулся Швейк. Он ходил искать пинчера для поручика.

— Швейк, — сказал поручик, — вам повезло. Дама, которая у меня жила, уехала. Её увёз муж. А за все услуги, которые вы ей оказали, она оставила вам на умывальнике четыреста крон. Вы должны как следует поблагодарить её, а также её супруга, потому что это, собственно, его деньги, которые она забрала с собой на дорогу. Я вам продиктую письмо.

И он продиктовал:

— «Милостивый государь! Соблаговолите передать сердечную благодарность вашей супруге за четыреста крон, подаренные мне ею за

услуги, которые я ей оказал во время пребывания в Праге. Всё, что я для неё сделал, я делал с удовольствием и посему не могу принять эти деньги и посылаю их…» Ну, пишите же дальше, Швейк! Чего вы там вертитесь! На чём я остановился?

— «…и посылаю их…» — срывающимся, трагическим голосом прошептал Швейк.

— Так, отлично! «…посылаю их обратно с уверениями в совершенном уважении. Шлю почтительный привет и целую ручку вашей супруге. Иозеф Швейк, денщик поручика Лукаша…» Готово?

— Никак нет, господин обер-лейтенант, числа ещё не хватает.

— «Двадцатого декабря тысяча девятьсот четырнадцатого года». Так. А теперь надпишите конверт, возьмите эти четыреста крон, отнесите их на почту и пошлите по тому же адресу.

И поручик Лукаш начал весело насвистывать арию из оперетки «Разведённая жена».

— Да, вот ещё что, Швейк, — сказал поручик, когда Швейк уходил на почту. — Как там насчёт собаки, которую вы ходили искать?

— Есть одна подходящая, господин обер-лейтенант. Замечательно красивый пёс. Но достать его будет трудновато. Завтра авось всё-таки приведу. Кусается!

VI

Последнего слова поручик Лукаш недослышал, а между тем оно было очень важным. «Хватает, сволочь, за что попало, — хотел ещё раз повторить Швейк, но в конце концов решил: — Какое, собственно говоря, поручику до этого дело? Он хочет иметь собаку и получит её».

Легко, конечно, сказать: «Приведите мне собаку». Но ведь каждый хозяин зорко следит за своей собакой, даже и за нечистокровной. Даже Жучку, которая ни на что другое не способна, как только согревать своей старушке хозяйке ноги, хозяйка любит и в обиду не даст.

Сама собака, особенно породистая, инстинктом чувствует, что в один прекрасный день её у хозяина утащат. Она живёт в постоянном страхе, что её украдут, непременно украдут на прогулке. Например, пёс отбегает от хозяина, сначала веселится, резвится, играет с другими собаками, лезет на них, не признавая никакой морали, а они на него, обнюхивает тумбы, закидывает ножку на каждом углу (кстати, и около торговки на корзинку с картошкой) — словом, наслаждается жизнью вовсю. Мир кажется ему

поистине прекрасным, как юноше, удачно сдавшему экзамены на аттестат зрелости.

Но вдруг вы замечаете, что вся резвость его исчезает: пёс начинает чувствовать, что погиб. Тут на него находит отчаяние. В испуге он носится взад и вперёд по улице, тянет носом, скулит и в полном отчаянии, поджав хвост, заложив уши назад, начинает метаться посреди улицы, сам не зная куда.

Обладай он даром речи, он непременно закричал бы: «Иисус Мария, меня украдут!»

Были ли вы когда-нибудь на собачьем рынке, видели ли там очень испуганных собак? Это все краденые. Большой город воспитал особый вид воров, живущих исключительно кражей собак. Существуют породы маленьких салонных собачек — карликовые терьеры величиной с перчатку, которые легко поместятся в кармане пальто или в дамской муфте, где их и носят. Даже и оттуда воры стянут у вас бедняжку! Злого немецкого пятнистого дога, свирепо стерегущего загородный особняк, крадут посреди ночи. Полицейскую собаку стибрят из-под носа у сыщика. Если вы ведёте собаку на шнурке, у вас перережут шнурок и скроются с собакой, а вы будете стоять и с глупым видом разглядывать обрывок. Пятьдесят процентов собак, которых вы встречаете на улице, несколько раз меняли своих хозяев. И можете купить свою собственную собаку, которую у вас несколько лет назад ещё щенком украли во время прогулки.

Но самая большая опасность быть украденной грозит собаке, когда её выводят для отправления малой и большой физиологической надобности. Особенно много пропадает их при последнем акте. Вот почему каждая собака осторожно оглядывается при этом по сторонам.

Есть несколько методов кражи собак. Собаку крадут или прямо, непосредственно — на манер карманного воровства, или же несчастное создание коварным образом подманивают. Собака — верное животное… но только в хрестоматиях и учебниках естествознания. Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и, в предвкушении сардельки, он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле.

На Малой Стране у дворцовой лестницы приютилась маленькая пивная. Однажды в этой пивной в заднем углу в полутьме сидели двое: солдат и штатский. Наклонившись друг к Другу, они таинственно шептались. У обоих был вид заговорщиков времён венецианской республики.

— Каждый день в восемь часов утра, — шептал штатский солдату, — прислуга водит его в сквер, на углу Гавличковой площади. Но кусается, сволочь, зверски. Погладить не даётся.

И, наклонившись ещё ближе к солдату, штатский зашептал ему на ухо:

— Даже сардельки не жрёт.

— А жареную?

— И жареную не жрёт.

Оба сплюнули.

— Так что же эта сволочь жрёт?

— А чёрт её знает что! Бывают такие изнеженные да избалованные псы, что твой архиепископ.

Солдат и штатский чокнулись, и штатский опять зашептал:

— Один шпиц, который был мне до зарезу нужен для псарни у Кламовки, тоже никак не хотел брать у меня сардельку. Ходил я за ним три дня, наконец не выдержал и прямо спросил хозяйку, которая ходила с ним на прогулку, что, собственно, этот шпиц жрёт. Уж больно он красивый. Хозяйке это польстило, и она сказала, что шпиц больше всего любит отбивные котлеты. Купил я ему шницель. Думаю, это будет ещё лучше. А шпиц-то, стерва, понимаешь, на шницель даже и не взглянул, потому что это была телятина, а он, оказывается, ничего, кроме свинины, не признавал. Пришлось купить свиную отбивную. Дал я ему её понюхать, а сам бегу. Собака за мной. Хозяйка как завопит: «Пунтик! Пунтик!» Куда там твой Пунтик! Пунтик побежал за котлетой за угол, а там я нацепил ему цепочку на шею, и на следующий же день собака была на псарне у Кламовки. На груди у неё было несколько белых пятен, так я их закрасил чёрным, никто её и не узнал… Но другие собаки (а их было порядком) все хорошо шли на жареную сардельку из конины… Всё-таки лучше всего, Швейк, спросить прислугу, что эта собака больше всего любит. Ты солдат, фигурой ты вышел, — тебе она скорее скажет. Я уж один раз её спрашивал, а она на меня так посмотрела, словно колом проткнула: «А вам какое дело?» Собой-то она не больно хороша, попросту сказать — обезьяна, но с солдатом говорить станет.

— А это действительно чистокровный пинчер? Мой обер-лейтенант о другом и слышать не хочет.

— Красавец пинчер! Пальчики оближешь — самый чистокровный! Это так же верно, как то, что ты Швейк, а я Благник. Мне главное — узнать, что он жрёт. Тогда я ему дам это и приведу к тебе.

Приятели опять чокнулись. Когда ещё до войны Швейк промышлял продажей собак, их поставлял ему Благник. Это был специалист своего

дела. Говорили, что он покупал из-под полы у живодёра подозрительных по бешенству собак и сплавлял их дальше. У него самого случилось раз бешенство, и в Венском пастеровском институте он чувствовал себя как дома. Теперь он считал своим долгом бескорыстно помочь Швейку-солдату. Он знал всех собак в Праге и её окрестностях, а в пивной говорил шёпотом, чтобы не выдать себя трактирщику, у которого он полгода назад унёс из трактира под полой щенка таксу, дав этому щенку пососать молока из детской бутылочки с соской. Глупый щенок, видно, принял его за свою маму и даже ни разу не пискнул из-под пальто.

Благник принципиально воровал только породистых собак и мог бы стать судебным экспертом в этом деле. Он поставлял собак и на псарни и частным лицам, как придётся. Когда он шёл по улице, на него рычали собаки, которых он когда-то украл. А стоило ему остановиться где-нибудь перед витриной, как мстительный пёс закидывал лапу и опрыскивал у него брюки.

*****

На следующий день в восемь часов утра можно было видеть, как бравый солдат Швейк прохаживался около сквера на углу Гавличковой площади. Он поджидал служанку с пинчером. Наконец Швейк дождался. Мимо него пробежал взъерошенный, шершавый, с умными чёрными глазами пёс, весёлый, как все собаки после того, как справили свою нужду. Пёс гонялся за воробьями, завтракавшими конским навозом.

Потом мимо Швейка прошла та, чьим заботам была вверена собака. Это была старая дева с благопристойно заплетёнными косичками в виде венчика вокруг головы. Она посвистывала на собаку и помахивала цепочкой и изящным арапником.

Швейк заговорил с ней.

— Простите, барышня, как пройти на Жижков?

Она остановилась, посмотрела на него — нет ли тут подвоха, — но добродушное лицо Швейка говорило ей, что этому солдату действительно нужно пройти на Жижков. Выражение её лица смягчилось, и она вежливо объяснила, как туда попасть.

— Я недавно переведён в Прагу, — сказал Швейк, — нездешний, из провинции. Вы тоже не пражанка?

— Я из Воднян.

— Так мы почти земляки: я из Противина.

Знание географии Южной Чехии, приобретённое Швейком во время манёвров в том округе, наполнило сердце девы теплом родного края.

— Так вы, должно быть, знаете в Противине на площади мясника Пейхара?

— Как не знать! Это мой брат. Его там у нас все любят. Человек хороший, услужливый, отпускает хорошее мясо и никогда не обвесит.

— Уж не Ярешов ли вы сын? — спросила дева, почувствовав симпатию к незнакомому солдатику.

— Совершенно верно.

— А чей вы, какого Яреша, того, что из Корча под Протавином или из Ражиц?

— Из Ражиц.

— Ну, как он там? Всё ещё развозит пиво?

— Развозит, как же.

— Но ведь ему уже небось за шестьдесят?

— Весной стукнуло шестьдесят восемь, — спокойно ответил Швейк. — Недавно он завёл себе собаку, и теперь ему веселей разъезжать. Собака сидит на возу. Аккурат такая собачка, как вон та, что воробьёв гоняет… Какая красивая собачка, прямо красавица!

— Это наша, — объяснила Швейку его новая знакомая. — Я здесь служу у господина полковника. Знаете нашего полковника?

— Знаю. Очень образованный господин, — сказал Швейк. — У нас в Будейовицах тоже был один полковник.

— Наш хозяин строгий. Когда недавно пошли слухи, будто нас в Сербии потрепали, он пришёл домой словно бешеный, раскидал на кухне все тарелки и меня хотел рассчитать.

— Так это, значит, ваш пёсик? — перебил её Швейк. — Жаль, что мой обер-лейтенант терпеть не может собак. Я их очень люблю. Он сделал паузу и вдруг выпалил: — Собака тоже не всё жрёт.

— Наш Фокс страсть как разборчив. Одно время и видеть не хотел мяса, но теперь опять стал его есть.

— А что он больше всего любит?

— Печёнку, варёную печёнку.

— Телячью или свиную?

— Это ему всё равно, — улыбнулась «землячка» Швейка, приняв его вопрос за неудачную попытку сострить.

Они прогуливались ещё некоторое время. Потом к ним присоединился пинчер, которого служанка взяла на цепочку. Пинчер обращался со Швейком очень фамильярно, прыгал на него и пытался хотя бы

намордником разорвать ему брюки. Но внезапно, как бы учуяв намерение Швейка, перестал прыгать и поплёлся с грустным, пришибленным видом, искоса поглядывая на него, словно хотел сказать: «Значит, и меня это ждёт?»

Старая дева рассказала Швейку, что она гуляет здесь с собакой каждый день в шесть часов вечера и что она в Праге ни одному мужчине не верит. Однажды она дала в газету объявление, что хочет выйти замуж. Ну, явился один слесарь, вытянул у неё восемьсот крон на какое-то изобретение и исчез. В провинции люди куда честнее. Если уж выходить замуж, то только за деревенского, и то лишь после войны. А выходить во время войны она считает глупым: останешься вдовой, как другие, — больше ничего.

Швейк вселил в её сердце бездну надежд, сказав, что придёт в шесть часов, и пошёл сообщить своему приятелю Благнику, что пёс жрёт печёнку всех сортов.

— Угощу его говяжьей, — решил Благник. — На говяжью у меня клюнул сенбернар фабриканта Выдры, очень верный пёс. Завтра приведу тебе собаку в полной исправности.

Благник сдержал слово. Утром, когда Швейк кончил уборку комнат, за дверью раздался лай, и Благник втащил в квартиру упирающегося пинчера, ещё более взъерошенного, чем его взъерошила природа. Пёс дико вращал глазами и смотрел мрачно, словно голодный тигр в клетке, перед которой стоит упитанный посетитель зоологического сада. Пёс щёлкал зубами и рычал, как бы говоря: «Разорву, сожру!»

Собаку привязали к кухонному столу, и Благник рассказал по порядку весь ход отчуждения.

— Прошёлся я нарочно мимо него, а в руке держу варёную печёнку в бумаге. Пёс стал принюхиваться и прыгать вокруг меня. Я не даю, иду дальше. Пёс — за мной. Тогда я свернул со сквера на Бредовскую улицу и там дал ему первый кусок. Он жрал на ходу, чтобы не терять меня из виду. Я завернул на Индржишскую улицу и кинул ему вторую порцию. Когда он нажрался, я взял его на цепочку и потащил через Вацлавскую площадь на Винограды до самых Вршовиц. По дороге пёс выкидывал прямо чудеса. Когда я переходил трамвайную линию, он лёг на рельсы и не желал сдвинуться с места: должно быть, хотел, чтобы его переехали… Вот, кстати, я принёс чистый бланк для аттестата, купил в писчебумажном магазине Фукса. Ты ведь, Швейк, знаток по части подделывания собачьих аттестатов!

— Это должно быть написано твоей рукой. Напиши, что собака происходит из Лейпцига, с псарни фон Бюлова. Отец — Арнгейм фон

Кальсберг, мать — Эмма фон Траутенсдорф, происходящая от Зигфрида фон Бузенталь. Отец получил первый приз на берлинской выставке конюшенных пинчеров тысяча девятьсот двенадцатого года. Мать награждена золотой медалью нюрнбергского общества разведения породистых собак. Как думаешь, сколько ему лет?

— По зубам — два года.

— Пиши — полтора.

— Он плохо обрублен, Швейк. Посмотри на уши.

— Это можно поправить. Подстрижём позднее, когда обживётся. А сейчас пёс ещё больше озлится.

Похищенный грозно рычал, сопел, метался и наконец лёг, усталый, с высунутым языком, и стал ждать, что с ним будет дальше. Понемногу он успокоился и только изредка жалобно скулил.

Швейк предложил собаке остатки печёнки, которые дал ему Благник. Но пёс даже не дотронулся до неё. Он лишь посмотрел на печёнку и окинул обоих таким взглядом, будто хотел сказать: «Я уже на этом обжёгся один раз — жрите сами!»

Пёс лежал с покорным видом и притворялся, что дремлет, но внезапно ему пришло что-то в голову, и, встав на задние лапы, он передними стал просить. Пёс сдавался.

Но на Швейка эта трогательная сцена ничуть не подействовала.

— Ложись! — крикнул он псу. Бедняга лёг, жалобно скуля.

— Какую кличку вписать ему в аттестат? — спросил Благник. — Раньше его звали Фокс. Нужно подобрать что-нибудь похожее, чтобы сразу понял.

— Ну, назовём его хотя бы Максом. Посмотри-ка, Благник, как ушами зашевелил. Встань, Максик!

Несчастный пинчер, у которого отняли и родной кров и родное имя, встал в ожидании дальнейших приказаний.

— Я думаю, его можно отвязать, — решил Швейк. — Посмотрим, что он будет делать.

Когда собаку отвязали, она сразу подошла к двери и три раза отрывисто гавкнула на крючок, рассчитывая, очевидно, на великодушие этих злых людей. Однако, видя, что люди не понимают её желания выйти отсюда, она сделала у двери лужу, уверенная, что за это её вышвырнут, как это случалось во времена её юности, когда полковник строго, по-военному учил её соблюдать чистоту. Вместо этого Швейк заметил:

— Э, да он хитрый, это прямо иезуитский номер!

Швейк вытянул Макса ремнём и ткнул его мордой в лужу, так что тот

долго не мог дочиста облизаться.

Пёс заскулил от позора и начал бегать по кухне, в отчаянии обнюхивая свой собственный след. Потом ни с того ни с сего подошёл к столу, сожрал положенные на полу остатки печёнки, лёг к печке и после всех своих злоключений уснул.

— Сколько я тебе должен? — спросил Швейк Благника при прощании.

— Не будем об этом говорить, Швейк! — мягко сказал Благник. — Для старого товарища я на всё готов, особенно если он на военной службе. Будь здоров, голубчик, и никогда не води его через Гавличкову площадь, чтобы не стряслось беды. Если тебе ещё понадобится какая-нибудь собака, ты знаешь, где я живу.

Швейк дал Максу как следует выспаться, а сам тем временем купил у мясника четверть кило печёнки, сварил её и, положив собаке под нос, стал ждать, когда она проснётся. Макс ещё спросонья начал облизываться, потянулся, обнюхал печёнку и проглотил её. Потом подошёл к двери и повторил свой опыт, залаяв на крючок.

— Максик, — позвал его Швейк, — поди сюда!

Макс недоверчиво подошёл. Швейк взял его на колени и стал гладить. Тут Макс в первый раз приятельски завилял своим обрубком и осторожно стал хватать Швейка за руку. Потом нежно подержал её в своей пасти, глядя на Швейка умным взглядом, будто говорил: «Ничего, брат, не поделаешь, вижу, что дело проиграно».

Продолжая гладить собаку, Швейк стал нежным голосом рассказывать сказку:

— Жил-был на свете один пёсик, звали его Фокс, а жил он у одного полковника, и водила его служанка гулять. Но вот пришёл однажды один человек да Фокса-то и украл. Попал Фокс на военную службу к одному обер-лейтенанту, и прозвали его Макс… Максик, дай лапку! Значит, будем с тобой, сукин сын, приятели, если только будешь хорошим и будешь слушаться. А не то тебе на военной службе солоно придётся!

Макс соскочил с колен и начал в шутку нападать на Швейка. Вечером, когда поручик вернулся из казармы, Швейк и Макс были уже закадычными друзьями.

Глядя на Макса, Швейк философствовал:

— Если вот посмотреть со стороны, так, собственно говоря, каждый солдат тоже украден из своего дома.

Поручик Лукаш был приятно поражён, увидев Макса, который тоже обрадовался, опять увидев человека с саблей.

На вопрос поручика, где Швейк достал собаку и сколько за неё

заплатил, Швейк совершенно спокойно сообщил, что собаку подарил ему один приятель, которого только что призвали в армию.

— Отлично, Швейк, — сказал поручик, играя с собакой. — Первого числа получите от меня за пса пятьдесят крон.

— Не могу принять, господин обер-лейтенант.

— Швейк, — строго сказал поручик, — когда вы поступили ко мне на службу, я вам сказал, что вы должны повиноваться каждому моему слову. Если я вам говорю, что вы получите от меня пятьдесят крон, то вы должны их взять и пропить. Что вы сделаете, Швейк, с этими пятьюдесятью кронами?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пропью согласно приказанию.

— А если я забуду об этом, то приказываю вам, Швейк, доложить мне, что я должен вам дать за пса пятьдесят крон. Понятно? Нет ли у него блох? Лучше всего выкупайте и вычешите его. Завтра я на службе, а послезавтра пойду с ним гулять.

В то время как Швейк купал собаку, полковник, её бывший владелец, ругался на чём свет стоит и угрожал неведомому вору, что предаст его военно-полевому суду и велит расстрелять, повесить, засадить на двадцать лет в тюрьму и изрубить его на мелкие куски.

— Der Teufel soll den Kerl buserieren![47] — разносилось по квартире полковника, так что стёкла дрожали.

— Mit solchen Meuchelmordern werde ich bald fertig.[48]

Над Швейком и поручиком Лукашом нависла катастрофа.

Глава XV
КАТАСТРОФА

Полковник Фридрих Краус фон Циллергут (Циллергут — название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили ещё в восемнадцатом столетии) был редкостный болван. Рассказывая о самых обыденных вещах, он всегда спрашивал, все ли его хорошо поняли, хотя дело шло о примитивнейших понятиях, например: «Вот это, господа, окно. Да вы знаете, что такое окно?» Или: «Дорога, по обеим сторонам которой тянутся канавы, называется шоссе. Да-с, господа. Знаете ли вы, что такое канава? Канава — это выкопанное значительным числом рабочих углубление. Да-с. Копают канавы при помощи кирок. Известно ли вам, что такое кирка?»

Он страдал манией всё объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своём изобретении.

«Книга, господа, это множество нарезанных в четвёртку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетённых и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер — это клей».

Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чём мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую.

Как-то раз он даже пытался продемонстрировать этот интересный опыт, но, к счастью, попал под колёса. С той поры он поглупел ещё больше. Он останавливал офицеров и пускался в бесконечные разглагольствования об омлетах, о солнце, о термометрах, о сдобных пышках, об окнах и о почтовых марках.

Действительно, было странно, как мог этот идиот сравнительно быстро продвигаться по службе и пользоваться покровительством очень влиятельных лиц, корпусного генерала, например, который благоволил к полковнику, несмотря на полную бездарность последнего. На манёврах полковник творил прямо чудеса: никуда он не поспевал вовремя и водил полк колоннами против пулемётов. Несколько лет назад на манёврах в

Южной Чехии, где присутствовал император, он исчез вместе со своим полком, попал с ним в Моравию и проблуждал там ещё несколько дней после того, как манёвры закончились и солдаты уже валялись в казармах. Но ему и это сошло.

Благодаря приятельским отношениям с корпусным генералом и другими не менее тупыми военными сановниками старой Австрии он получал разные награды и ордена, которыми гордился чрезвычайно; он считал себя лучшим солдатом под луной, лучшим теоретиком стратегии и знатоком всех военных наук. На полковых смотрах он любил поговорить с солдатами и всегда задавал им один и тот же вопрос: почему введённые в армии винтовки называются «манлихеровки»?

В полку о нём говорили с насмешкой: «Ну вот, развёл свою манлихеровину!»

Он был необыкновенно мстителен и губил тех из подчинённых офицеров, которые ему почему-либо не нравились. Если, например, кто-нибудь из них хотел жениться, он пересылал их прошения в высшую инстанцию, не забывая приложить от себя самые скверные рекомендации.

У полковника недоставало половины левого уха, которое ему отсекли в дни его молодости на дуэли, возникшей из-за простой констатации факта, что Фридрих Краус фон Циллергут — большой дурак.

Если мы рассмотрим его умственные способности, то придём к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми мордастый Франц-Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота: то же безудержное словоизлияние, то же изобилие крайней наивности.

Однажды на банкете, в офицерском собрании, когда речь зашла о Шиллере, полковник Краус фон Циллергут ни с того ни с сего провозгласил:

— А я, господа, видел вчера паровой плуг, который приводился в движение локомотивом. Представьте, господа, локомотивом, да не одним, а двумя! Вижу дым, подхожу ближе — оказывается, локомотив, и с другой стороны — тоже локомотив. Скажите, господа, разве это не смешно? Два локомотива, как будто не хватало одного!

И, выдержав паузу, добавил:

— Когда кончился бензин, автомобиль вынужден был остановиться. Это я тоже сам вчера видел. А после этого ещё болтают об инерции, господа! Не едет, стоит, с места не трогается! Нет бензина. Ну, не смешно ли?

При всей своей тупости полковник был чрезвычайно набожен. У него в квартире стоял домашний алтарь. Полковник часто ходил на исповедь и к

причастию в костёл св. Игнатия и с самого начала войны усердно молился за победу австрийского и германского оружия. Он смешивал христианство и мечты о германской гегемонии. Бог должен был помочь отнять имущество и землю у побеждённых.

Его бесило, когда он читал в газетах, что опять привезли пленных.

— К чему возить сюда пленных? — говорил он. — Перестрелять их всех! Никакой пощады! Плясать среди трупов! А гражданское население Сербии сжечь, всё до последнего человека. Детей прикончить штыками.

Он был ничем не хуже немецкого поэта Фирордта, опубликовавшего во время войны стихи, в которых призывал Германию воспылать ненавистью к миллионам французских дьяволов и хладнокровно убивать их:

Пусть выше гор, до самых облаков
Людские кости и дымящееся мясо громоздятся…

*

Закончив занятия в школе вольноопределяющихся, поручик Лукаш вышел прогуляться с Максом.

— Позволю себе предупредить вас, господин обер-лейтенант, — заботливо сказал Швейк, — будьте с собакой осторожны, как бы она у вас не сбежала. Она может заскучать по своему старому дому и удрать, если вы её отвяжете. Я бы не советовал вам также водить её через Гавличкову площадь. Там бродит злющий пёс из мясной лавки, что в доме «Образ Марии». Страшный кусака. Как увидит в своём районе чужую собаку — готов её разорвать, боится, как бы она у него чего не сожрала, совсем как нищий у церкви святого Гаштала.

Макс весело прыгал и путался под ногами у поручика, наматывая цепочку на саблю — в общем, всячески проявляя свою радость по поводу предстоящей прогулки.

Они вышли на улицу, и поручик Лукаш направился на Пршикопы, где у него было назначено свидание с одной дамой на углу Панской улицы. Поручик погрузился в размышления о служебных делах. О чём завтра читать лекцию в школе вольноопределяющихся? Как мы обозначаем высоту какой-нибудь горы? Почему мы всегда указываем высоту над уровнем моря? Каким образом по высоте над уровнем моря мы

устанавливаем высоту самой горы от её основания?.. На кой чёрт военное министерство включает такие вещи в школьную программу?! Это нужно только артиллеристам. Существуют же наконец карты Генерального штаба. Когда противник окажется на высоте 312, тут некогда будет размышлять о том, почему высота этого холма указана от уровня моря, или же вычислять его высоту. Достаточно взглянуть на карту — и всё ясно.

Неподалёку от Панской улицы размышления поручика Лукаша были прерваны строгим «Halt!».[49]

Услышав этот окрик, пёс стал рваться у поручика из рук и с радостным лаем бросился к человеку, произнёсшему это строгое «Halt».

Перед поручиком стоял полковник Краус фон Циллергут. Лукаш взял под козырёк, остановился и стал оправдываться тем, что не видел его.

Полковник Краус был известен среди офицеров своей страстью останавливать, если ему не отдавали честь.

Он считал это тем главным, от чего зависит победа и на чём зиждется вся военная мощь Австрии.

«Отдавая честь, солдат должен вкладывать в это всю свою душу», — говаривал он. В этих словах заключался глубокий фельдфебельский мистицизм.

Он очень следил за тем, чтобы честь отдавали по всем правилам, со всеми тонкостями, абсолютно точно и с серьёзным видом. Он подстерегал каждого проходившего мимо, от рядового до подполковника. Рядовых, которые на лету притрагивались рукой к козырьку, как бы говоря: «Моё почтеньице!» — он сам отводил в казармы для наложения взыскания. Для него не существовало оправдания: «Я не видел».

«Солдат, — говаривал он, — должен и в толпе искать своего начальника и думать только о том, чтобы исполнять обязанности, предписанные ему уставом. Падая на поле сражения, он и перед смертью должен отдать честь. Кто не умеет отдавать честь или делает вид, что не видит начальства, или же отдаёт честь небрежно, тот в моих глазах не человек, а животное».

— Господин поручик, — грозно сказал полковник Краус, — младшие офицеры обязаны отдавать честь старшим. Это не отменено. А во-вторых, с каких это пор вошло у господ офицеров в моду ходить на прогулку с краденными собаками? Да, с краденными! Собака, которая принадлежит другому, — краденая собака.

— Эта собака, господин полковник… — возразил было поручик Лукаш.

— …принадлежит мне, господин поручик! — грубо оборвал его

полковник. — Это мой Фокс.

А Фокс, или Макс, вспомнив своего старого хозяина, совершенно выкинул из сердца нового и, вырвавшись, прыгал на полковника, проявляя такую радость, на которую способен разве только гимназист-шестиклассник, обнаруживший взаимность у предмета своей любви…

— Гулять с крадеными собаками, господин поручик, никак не сочетается с честью офицера. Вы не знали? Офицер не имеет права покупать собаку, не убедившись предварительно, что покупка эта не будет иметь дурных последствий! — гремел полковник Краус, гладя Фокса-Макса, который из подлости начал рычать на поручика и скалить зубы, словно полковник науськивал его: «Возьми, возьми его!»

— Господин поручик, — продолжал полковник, — считаете ли вы приемлемым для себя ездить на краденом коне? Прочли ли вы моё объявление в «Богемии» и «Тагеблатте» о том, что у меня пропал пинчер?.. Или вы не читаете объявлений, которые ваш начальник даёт в газеты?

Полковник всплеснул руками.

— Ну и офицеры пошли! Где дисциплина? Полковник даёт объявления, а поручик их не читает!

«Хорошо бы съездить тебе раза два по роже, старый хрыч!» — подумал поручик, глядя на полковничьи бакенбарды, придававшие ему сходство с орангутангом.

— Пройдёмте со мною, — сказал полковник, и они пошли, продолжая милую беседу.

— На фронте, господин поручик, с вами такая вещь во второй раз не случится. Прохаживаться в тылу с крадеными собаками, безусловно, очень некрасиво. Да-с. Прогуливаться с собакой своего начальника! В то время как мы ежедневно теряем на полях сражений сотни офицеров… А между тем объявления не читаются. Я мог бы давать объявления о пропаже собаки сто лет подряд. Двести лет! Триста лет!!

Полковник громко высморкался, что всегда было у него признаком сильного раздражения, и, сказав: «Можете продолжать прогулку!» — повернулся и пошёл, злобно стегая хлыстом по полам своей офицерской шинели. Поручик Лукаш перешёл на противоположную сторону и снова услыхал: «Halt!» Это полковник задержал какого-то несчастного пехотинца-запасного, который думал об оставшейся дома матери и не заметил его.

Суля солдату всех чертей, полковник собственноручно поволок его в казармы для наложения взыскания.

«Что сделать со Швейком? — раздумывал поручик. — Всю морду ему

разобью. Нет, этого недостаточно. Нарезать из спины ремней, и то этому негодяю мало!»

Не думая больше о предстоящем свидании с дамой, разъярённый поручик направился домой.

«Убью его, мерзавца!» — сказал он про себя, садясь в трамвай.

*

Между тем бравый солдат Швейк всецело погружён в разговор с вестовым из казарм. Вестовой принёс поручику бумаги на подпись и поджидал его.

Швейк угощал вестового кофеём. Разговор шёл о том, что Австрия вылетит в трубу.

Говорилось об этом как о чём-то, не подлежащем сомнению. Один за другим сыпались афоризмы. Каждое слово из этих афоризмов суд, безусловно, определил бы как доказательство государственной измены, и их обоих повесили бы.

— Государь император небось одурел от всего этого, — заявил Швейк. — Умным-то он вообще никогда не был, но эта война его наверняка доконает.

— Балда он! — веско поддержал солдат из казармы. — Глуп, как полено. Видно, и не знает, что война идёт. Ему, наверно, постеснялись бы об этом доложить. А его подпись на манифесте к своим народам — одно жульничество. Напечатали без его ведома — он вообще уже ничего не соображает.

— Он того… — тоном эксперта дополнил Швейк. — Ходит под себя, и кормить его приходится, как малого ребёнка. Намедни в пивной один господин рассказывал, что у него две кормилицы, и три раза в день государя императора подносят к груди.

— Эх! — вздохнул солдат из казармы. — Поскорей бы уж нам наложили как следует, чтобы Австрия наконец успокоилась.

Разговор продолжался в том же духе. Швейк сказал в пользу Австрии несколько тёплых слов, а именно, что такой идиотской монархии не место на белом свете, а солдат, делая из этого изречения практический вывод, прибавил:

— Как только попаду на фронт, тут же смоюсь.

Так высказывались солдаты о мировой войне. Вестовой из казармы сказал, что сегодня в Праге ходят слухи, будто у Находа уже слышна

орудийная пальба и будто русский царь очень скоро будет в Кракове.

Далее речь зашла о том, что чешский хлеб вывозится в Германию и что германские солдаты получают сигареты и шоколад.

Потом они вспомнили о войнах былых времён, и Швейк серьёзно доказывал, что когда в старое время в осаждённый город неприятеля кидали зловонные горшки, то тоже не сладко было воевать в такой вони, Он-де читал, что один город осаждали целые три года и неприятель только и делал, что развлекался с осаждёнными на такой манер.

Швейк рассказал бы ещё что-нибудь не менее интересное и поучительное, если б разговор не был прерван приходом поручика Лукаша.

Бросив на Швейка страшный, уничтожающий взгляд, он подписал бумаги и, отпустив солдата, кивнул Швейку, чтобы тот шёл за ним в комнату.

Глаза поручика метали молнии. Сев на стул и глядя на Швейка, он размышлял о том, когда начать избиение.

«Сначала дам ему раза два по морде, — решил поручик, — потом расквашу нос и оборву уши, а дальше видно будет».

На него открыто и простосердечно глядели добрые, невинные глаза Швейка, который отважился нарушить предгрозовую тишину словами:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть. Я её бросил в подвал, но не в наш, а в соседний. Такую хорошую ангорскую кошечку вам уже не найти!

«Что мне с ним делать! — мелькнуло в голове поручика. — Боже, какой у него глупый вид!»

А добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, свидетельствовавшей о полном душевном равновесии: «Всё, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что и случилось, то и это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается».

Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахал кулаком перед самым его носом и закричал:

— Швейк! Вы украли собаку!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что за последнее время я не запомню ни одного такого случая. Позволю себе заметить, господин обер-лейтенант, что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки. Это, как говорится, ситуация. На Спаленой улице живёт мастер, который делает кожаные сумки, по фамилии Кунеш. Так стоило ему выйти с собакой на прогулку, он тут же её терял.

Обычно он оставлял собаку в пивной, а иногда у него её крали, а то даже одалживали и не возвращали.

— Молчать, скотина, чёрт бы вас подрал! Вы или отъявленный негодяй или же верблюд, болван! Ходячий анекдот! Со мною шутки бросьте! Откуда вы привели собаку? Откуда вы её достали? Знаете ли вы, что она принадлежит нашему командиру полка? Он её только что отнял у меня на улице. Это позор на весь мир! Говорите правду: украли или нет?

— Никак нет, господин обер-лейтенант, я её не крал.

— А знали, что пёс краденый?

— Так точно, господин обер-лейтенант. Знал, что пёс краденый.

— Иисус Мария! Швейк! Hirnmelherrgott! Я вас застрелю! Скотина! Тварь! Осёл! Дерьмо! Неужели вы такой идиот?

— Так точно, господин обер-лейтенант, такой.

— Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем вы эту бестию взяли в дом?

— Чтобы доставить вам удовольствие, господин обер-лейтенант.

И швейковские глаза добродушно и приветливо глянули в лицо поручику. Поручик опустился в кресло и застонал:

— За что бог наказал меня такой скотиной?!

В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить Швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная зачем, он послал Швейка за газетами «Богемия» и «Тагеблатт» и велел ему прочесть объявления полковника о пропаже собаки.

Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил:

— Есть, господин обер-лейтенант! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера, прямо одно удовольствие читать, и ещё сулит награду в сто крон тому, кто его приведёт. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях даётся пять — десять крон. Некий Божетех из Коширже только этим и кормился. Украдёт, бывало, собаку, а потом ищет в газетах объявления о том, где какая собака потерялась, и тут же идёт по адресу. Однажды он украл замечательного чёрного шпица и из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявление в газеты. Истратил на объявления целых пять крон. Наконец хозяин нашёлся и сказал, что это действительно его собака, она у него пропала, но он считал безнадёжным искать её, так как уже не верит в честность людей. Однако теперь он, мол, воочию убедился, что есть ещё на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он

дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божетех взял чёрного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове и с той поры зарёкся помещать в газеты объявления. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не даёт объявления в газеты…

— Идите-ка спать, Швейк, — приказал поручик. — Вы способны нести околесицу хоть до утра.

Сам поручик тоже отправился спать: в эту ночь приснилось ему, что Швейк украл коня у наследника престола и привёл ему, Лукашу, а на смотру наследник престола узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, гарцевал на нём перед своей ротой.

На рассвете поручик чувствовал себя как после разгула, словно его всю ночь колотили по голове. Его преследовали кошмары. Обессиленный страшными видениями, он уснул только к утру, но его разбудил стук в дверь, где появилась добродушная физиономия Швейка спрашивавшего, в котором часу господин поручик прикажет разбудить себя.

Поручик тихо простонал в постели:

— Вон, скотина! Это ужасно!..

Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак поразил его новым вопросом:

— Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку?

— Знаете что, Швейк? У меня большое желание предать вас полевому суду, — сказал поручик со вздохом. — Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не встречали. Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения вашего лица? Вы — глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Ну, скажите откровенно, Швейк: нравитесь ли вы самому себе?

— Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. В этом зеркале я вроде как еловая шишка. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станека было выставлено выпуклое зеркало. Кто ни поглядится — с души воротит. Рот этак, голова — будто помойная лоханка, брюхо — как у налившегося пивом каноника, словом — фигура. Как-то шёл мимо генерал-губернатор, поглядел на себя. Ну, моментально это зеркало пришлось снять.

Поручик отвернулся, вздохнул и счёл за лучшее заняться кофе со сливками.

Швейк уже хлопотал на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение:

Марширует Греневиль к Прашной бране на шпацир

Сабельки сверкают, а девушки рыдают.

И потом:

Мы — солдаты-молодцы,
Любят нас красавицы,
У нас денег сколько хошь,
Нам везде приём хорош.

«Тебе-то уж, наверно, везде хорошо, прохвост!» — подумал поручик и сплюнул. В дверях показалась голова Швейка.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы, вы должны немедленно явиться к господину полковнику. Здесь ординарец! — И фамильярно прибавил: — Это, должно быть, насчёт той самой собачки.

Когда ординарец в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик сдавленным голосом сказал:

— Слышал уже.

И ушёл, бросив на Швейка уничтожающий взгляд. Это был не рапорт, а кое-что похуже. Когда поручик вошёл в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле.

— Два года тому назад, поручик, — сказал он, — вы просили о переводе в Девяносто первый полк в Будейовицы. Знаете ли вы, где находятся Будейовицы? На Влтаве. Да. На Влтаве, и впадает в неё там Огрже или что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал: гостеприимный, и, если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная — это каменная стена, построенная над водой. Да. Впрочем, это к делу не относится. Мы производили там манёвры.

Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешёл на другую тему:

— Пёс мой у вас испортился. Ничего не хочет жрать… Ну вот! Муха попала в чернильницу. Это удивительно — зимой мухи попадают в чернильницу. Непорядок!

«Да говори уж наконец, старый хрыч!» — подумал поручик.

Полковник встал и прошёлся несколько раз по кабинету.

— Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись, и тут я вспомнил, что вы выражали

желание перевестись в Девяносто первый полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в Девяносто первом полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что офицеров перебили сербы. Даю вам честное слово, что в течение трёх дней вы будете в Девяносто первом полку в Будейовицах, где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые…

И, не зная, что прибавить, он взглянул на сказал:

— Уже половина одиннадцатого, пора принимать полковой рапорт.

На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни он отправляется на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Неказанке. Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка:

— Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон — это «маршбатяк», а маршевая рота — «маршка». Мы это всегда сокращаем.

— Итак, объявляю вам, Швейк, — торжественно провозгласил поручик, — что мы вместе отправимся в «маршбатяк», если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Вы довольны?

— Так точно, господин обер-лейтенант, страшно доволен, — ответил бравый солдат Швейк. — Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба падём на поле брани за государя императора и всю августейшую семью!

Послесловие к первой части «В тылу»

Заканчивая первую часть «Похождений бравого солдата Швейка» («В тылу»), сообщаю читателям, что вскоре появятся две следующие части — «На фронте» и «В плену». В этих частях и солдаты и штатские тоже будут говорить и поступать так, как они говорят и поступают в действительности.

Жизнь — не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит как умеет. Церемониймейстер доктор Гут говорит иначе, чем хозяин трактира «У чаши» Паливец. А наш роман не пособие о том, как держать себя в свете, и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Это — историческая картина определённой эпохи.

Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его здесь. Смягчать выражения или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте.

Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать всё. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощрённые похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова.

Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал: «Он высморкался и вытер нос». Это, мол, идёт вразрез с тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература.

Это только один, притом не самый яркий пример того, какие ослы рождаются под луной.

Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Они хотели бы превратить весь народ в сентиментальных людишек, онанистов псевдокультуры типа св. Алоиса. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда св. Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слёзы, и только молитва его успокоила.

Такие типы на людях страшно негодуют, но с огромным удовольствием ходят по общественным уборным и читают непристойные надписи на стенках.

Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности.

Нельзя требовать от трактирщика Паливца, чтобы он выражался так же изысканно, как госпожа Лаудова, доктор Гут, госпожа Ольга Фастрова и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую республику в большой салон, по паркету которого расхаживают люди во фраках и белых перчатках; разговаривают они на изысканном языке и культивируют утончённую салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.

*****

Пользуюсь случаем сообщить здесь, что трактирщик Паливец жив. Он переждал войну в тюрьме и остался таким же, каким был во время приключения с портретом императора Франца-Иосифа.

Прочитав о себе в моей книжке, он навестил меня и потом купил больше двадцати экземпляров первого выпуска, роздал их своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги.

Ему доставило громадное удовольствие всё, что я о нём написал, выставив его как всем известного грубияна. «Меня уже никто не переделает, — сказал он мне. — Я всю жизнь выражался грубо и говорил то, что думал, и впредь так буду говорить. Я и не подумаю затыкать себе глотку из-за какой-то ослицы. Нынче я стал знаменитым».

Его уважение к себе возросло. Его слава зиждется на нескольких сильных выражениях. Это его вполне удовлетворяет. Если бы, предположим, точно и верно воспроизведя его манеру говорить, я захотел бы тем самым поставить ему на вид, так, мол, выражаться не следует (что, конечно, в мои намерения не входило), я безусловно оскорбил бы этого порядочного человека.

Употребляя первые попавшиеся выражения, он, сам того не зная, просто и честно выразил протест чеха против всякого рода низкопоклонства. Неуважение к императору и к приличным выражениям было у него в крови.

*****

Отто Кац тоже жив. Это подлинный портрет фельдкурата. После переворота он забросил своё занятие, выступил из церкви и теперь служит доверенным на фабрике бронзы и красок в Северной Чехии. Он написал мне длинное письмо, в котором угрожал, что разделается со мной. Дело в том, что одна немецкая газета поместила перевод главы, в которой он изображён таким, каким выглядел в действительности. Я зашёл к нему, и всё кончилось прекрасно. К двум часам ночи он не мог уже стоять на ногах, но без устали проповедовал и в конце концов заявил: «Эй вы, гипсовые головы! Я — Отто Кац, фельдкурат!»

Много людей типа покойного Бретшнейдера, государственного сыщика старой Австрии, и нынче рыскает по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит.

*****

Не знаю, удастся ли мне этой книгой достичь того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого: «Ты глуп, как Швейк». Это свидетельствует о противоположном. Однако если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка.

ЯРОСЛАВ ГАШЕК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НА ФРОНТЕ

Глава I
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙКА В ПОЕЗДЕ

В одном из купе второго класса скорого поезда Прага — Чешские Будейовицы ехало трое пассажиров: поручик Лукаш, напротив которого сидел пожилой, совершенно лысый господин, и, наконец, Швейк. Последний скромно стоял у двери и почтительно готовился выслушать очередной поток ругательств поручика, который, не обращая внимания на присутствие лысого штатского, всю дорогу орал, что Швейк — скотина и тому подобное.

Дело было пустяковое: речь шла о количестве чемоданов, за которыми должен был присматривать Швейк.

— У нас украли чемодан! — ругал Швейка поручик. — Как только у тебя язык поворачивается, негодяй, докладывать мне об этом!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — тихо ответил Швейк, — его взаправду украли. На вокзале всегда болтается много жуликов, и, видать, кому-то из них наш чемодан, несомненно, понравился, и этот человек, несомненно, воспользовался моментом, когда я отошёл от чемоданов доложить вам, что с нашим багажом всё в порядке. Этот субъект мог украсть наш чемодан именно в этот подходящий для него момент. Они только и подстерегают такие моменты. Два года тому назад на Северо-Западном вокзале у одной дамочки украли детскую колясочку вместе с девочкой, закутанной в одеяльце, но воры были настолько благородны, что сдали девочку в полицию на нашей улице, заявив, что её, мол, подкинули и они нашли её в воротах. Потом газеты превратили бедную дамочку в мать-злодейку. — И Швейк с твёрдой убеждённостью заключил: — На вокзалах всегда крали и будут красть — без этого не обойтись.

— Я глубоко убеждён, Швейк, — сказал поручик, — что вы плохо кончите. До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так уж и родились ослом. Что было в этом чемодане?

— Почти ничего, господин обер-лейтенант, — ответил Швейк, не спуская глаз с голого черепа штатского, сидевшего напротив поручика с «Нейе Фрейе Прессе» в руках и, казалось, не проявлявшего никакого интереса ко всему происшествию. — Только зеркало из вашей комнаты и железная вешалка из передней, так что мы, собственно, не потерпели никаких убытков, потому как и зеркало и вешалка принадлежали домохозяину… — Увидев угрожающий жест поручика, Швейк продолжал

ласково: — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о том, что чемодан украдут, я не знал заранее, а что касается зеркала и вешалки, то я хозяину обещал отдать всё, когда вернёмся с фронта. Во вражеских землях зеркал и вешалок сколько угодно, так что всё равно ни мы, ни хозяин в убытке не останемся. Как только займём какой-нибудь город…

— Цыц! — не своим голосом взвизгнул поручик. — Я вас под полевой суд отдам! Думайте, что говорите, если у вас в башке есть хоть капля разума! Другой за тысячу лет не смог бы натворить столько глупостей, сколько вы за эти несколько недель. Надеюсь, вы и это заметили?

— Так точно, господин обер-лейтенант, заметил. У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везёт, всё равно как некоему Нехлебе с Неказанки, что ходил в трактир «Сучий лесок». Тот вечно мечтал стать добродетельным и каждую субботу начинал новую жизнь, а на другой день рассказывал: «А утром-то я заметил, братцы, что лежу на нарах!» И всегда, бывало, беда стрясётся с ним, именно когда он решит, что пойдёт себе тихо-мирно домой; а под конец всё-таки оказывалось, что он где-то сломал забор, или выпряг лошадь у извозчика, или попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского. Нехлеба от всего этого приходил в отчаянье, но особенно его угнетало то, что весь его род такой невезучий. Однажды дедушка его отправился бродить по свету…

— Оставьте меня в покое, Швейк, с вашими россказнями!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, всё, что я сейчас говорю, — сущая правда. Отправился, значит, его дед бродить по белу свету…

— Швейк, — разозлился поручик, — ещё раз приказываю вам прекратить болтовню. Я ничего не хочу от вас слышать. Как только приедем в Будейовицы, я найду на вас управу. Посажу под арест. Вы знаете это?

— Никак нет, господин поручик, не знаю, — мягко ответствовал Швейк. — Вы об этом даже не заикались.

Поручик невольно заскрежетал зубами, вздохнул, вынул из кармана шинели «Богемию» и принялся читать сообщения о колоссальных победах германской подводной лодки «Е» и её действиях на Средиземном море. Когда он дошёл до сообщения о новом германском изобретении — разрушении городов при помощи специальных бомб, которые сбрасываются с аэропланов и взрываются три раза подряд, его чтение прервал Швейк, заговоривший с лысым господином:

— Простите, сударь, не изволите ли вы быть господином Пуркрабеком, агентом из банка «Славия»?

Не получив ответа, Швейк обратился к поручику:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я однажды читал в газетах, что у нормального человека должно быть в среднем от шестидесяти до семидесяти тысяч волос и что у брюнетов обыкновенно волосы бывают более редкими, есть много тому примеров… А один фельдшер, — продолжал он неумолимо, — говорил в кафе «Шпирков», что волосы выпадают из-за сильного душевного потрясения в первые шесть недель после рождения…

Тут произошло нечто ужасное. Лысый господин вскочил и заорал на Швейка:

— Marsch heraus, Sie Schweinkerl![50] — и поддал его ногой. Потом лысый господин вернулся в купе и преподнёс поручику небольшой сюрприз, представившись ему.

Швейк слегка ошибся: лысый субъект не был паном Пуркрабеком, агентом из банка «Славия», а всего-навсего генерал-майором фон Шварцбург. Генерал-майор в гражданском платье совершал инспекционную поездку по гарнизонам и в данный момент готовился нагрянуть в Будейовицы.

Это был самый страшный из всех генерал-инспекторов, когда-либо рождавшихся под луной. Обнаружив где-нибудь непорядок, он заводил с начальником гарнизона такой разговор:

— Револьвер у вас есть?

— Есть.

— Прекрасно. На вашем месте я бы знал, что с ним делать. Это не гарнизон, а стадо свиней!

И действительно, после каждой его инспекционной поездки то тут, то там кто-нибудь стрелялся.

В таких случаях генерал фон Шварцбург констатировал с удовлетворением:

— Правильно! Это настоящий солдат!

Казалось, его огорчало, если после его ревизии хоть кто-нибудь оставался в живых. Кроме того, он страдал манией переводить офицеров на самые скверные места. Достаточно было пустяка, чтобы офицер распрощался со своей частью и отправился на черногорскую границу или в безнадёжно спившийся гарнизон в грязной галицийской дыре.

— Господин поручик, — спросил генерал, — в каком военном училище вы обучались?

— В пражском.

— Итак, вы обучались в военном училище и не знаете даже, что офицер является ответственным за своего подчинённого? Недурно. Во-вторых, вы болтаете со своим денщиком, словно с близким приятелем. Вы допускаете, чтобы он говорил, не будучи спрошен. Ещё лучше! В-третьих, вы разрешаете ему оскорблять ваше начальство. Это лучше всего! Из всего этого я делаю определённые выводы… Как ваша фамилия, господин поручик?

— Лукаш.

— Какого полка?

— Я служил…

— Благодарю вас. Речь идёт не о том, где вы служили. Я желаю знать, где вы служите теперь?

— В Девяносто первом пехотном полку, господин генерал-майор. Меня перевели…

— Вас перевели? И отлично сделали. Вам будет очень невредно вместе с Девяносто первым полком в ближайшее время увидеть театр военных действий.

— Об этом уже есть решение, господин генерал-майор.

Тут генерал-майор прочитал лекцию о том, что в последнее время, по его наблюдениям, офицеры стали разговаривать с подчинёнными в товарищеском тоне, что он видит в этом опасный уклон в сторону развития разного рода демократических принципов. Солдата следует держать в страхе, он должен дрожать перед своим начальником, бояться его; офицеры должны держать солдат на расстоянии десяти шагов от себя и не позволять им иметь собственные суждения и вообще думать. В этом-то и заключается трагическая ошибка последних лет. Раньше нижние чины боялись офицеров как огня, а теперь… — Генерал-майор безнадёжно махнул рукой. — Теперь большинство офицеров нянчатся со своими солдатами, вот что.

Генерал-майор опять взял газету и углубился в чтение.

Поручик Лукаш, бледный, вышел в коридор, чтобы рассчитаться со Швейком. Тот стоял у окна с таким блаженным и довольным выражением лица, какое бывает только у четырёхнедельного младенца, который досыта насосался и сладко спит.

Поручик остановился и кивком головы указал Швейку на пустое купе. Затем сам вошёл вслед за Швейком и запер за собою дверь.

— Швейк, — сказал он торжественно, — наконец-то пришёл момент, когда вы получите от меня пару оплеух, каких ещё свет не видывал! Как вы

смели приставать к этому плешивому господину! Знаете, кто он? Это генерал-майор фон Шварцбург!

Швейк принял вид мученика.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у меня никогда и в мыслях не было кого-нибудь обидеть, ни о каком генерал-майоре я и понятия не имел. А он и вправду — вылитый пан Пуркрабек, агент из банка «Славия»! Тот ходил в наш трактир, и однажды, когда он уснул за столом, какой-то доброжелатель написал на его плеши чернильным карандашом: «Настоящим позволяем себе предложить вам, согласно прилагаемому тарифу № 111 с, свои услуги по накоплению средств на приданое и по страхованию жизни на предмет обеспечения ваших детей». Ну все, понятно, ушли, а я с ним остался один на один. Известное дело, мне всегда не везёт. Когда он проснулся и посмотрел в зеркало, то разозлился и подумал, что это я написал, и тоже хотел мне дать пару оплеух.

Слово «тоже» слетело с уст Швейка так трогательно и с таким мягким укором, что у поручика опустилась рука.

Швейк продолжал:

— Из-за такой пустяковой ошибки этому господину не стоило волноваться. Ему действительно полагается иметь от шестидесяти до семидесяти тысяч волос — так было сказано в статье «Что должно быть у нормального человека». Мне никогда не приходило в голову, что на свете существует плешивый генерал-майор. Произошла, как говорится, роковая ошибка, это с каждым может случиться, если один человек что-нибудь выскажет, а другой к этому придерётся. Несколько лет тому назад портной Гивл рассказал нам такой случай. Однажды ехал он из Штирии, где портняжил, в Прагу через Леобен и вёз с собой окорок, который купил в Мариборе. Едет в поезде и думает, что он единственный чех среди всех пассажиров. Когда проезжали Святой Мориц и портной начал отрезать себе ломтики от окорока, у пассажира, что сидел напротив, потекли слюнки. Он не спускал с ветчины влюблённых глаз. Портной Гивл это заметил, да и говорит себе вслух: «Ты, паршивец, тоже небось с удовольствием пожрал бы!» Тут господин отвечает ему по-чешски: «Ясно, я бы пожрал, если б ты дал». Ну и слопали вдвоём весь окорок, ещё не доезжая Чешских Будейовиц. А звали того господина Войтех Роус.

Поручик Лукаш посмотрел на Швейка и вышел из купе; не успел он усесться на своё место, как в дверях появилась открытая физиономия Швейка.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через пять минут мы в Таборе. Поезд стоит пять минут. Прикажете заказать что-нибудь к

завтраку? Когда-то здесь можно было получить недурные…

Поручик вскочил как ужаленный и в коридоре сказал Швейку:

— Ещё раз предупреждаю: чем реже вы будете попадаться мне на глаза, тем лучше. Я был бы счастлив вовсе не видеть вас, и, будьте уверены, я об этом похлопочу. Не показывайтесь мне на глаза, исчезните, скотина, идиот!

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант!

Швейк отдал честь, повернулся по всем правилам на каблуке и пошёл в конец вагона. Там он уселся в углу на место проводника и завёл разговор с каким-то железнодорожником:

— Разрешите обратиться к вам с вопросом…

Железнодорожник, не проявляя никакой охоты вступать в разговор, апатично кивнул головой.

— Бывал у меня в гостях один знакомый, — начал Швейк, — славный парень, по фамилии Гофман. Этот самый Гофман утверждал, что вот эти тормоза в случае тревоги не действуют; короче говоря, если потянуть за рукоятку, ничего не получится. Я такими вещами, правду сказать, никогда не интересовался, но раз уж я сегодня обратил внимание на этот тормоз, то интересно было бы знать, в чём тут суть, а то вдруг понадобится.

Швейк встал и вместе с железнодорожником подошёл к тормозу с надписью: «В случае опасности».

Железнодорожник счёл своим долгом объяснить Швейку устройство всего механизма аварийного аппарата:

— Это он верно сказал, что нужно потянуть за рукоятку, но он соврал, что тормоз не действует. Поезд безусловно остановится, так как тормоз через все вагоны соединён с паровозом. Аварийный тормоз должен действовать.

Во время разговора оба держали руки на рукоятке, и поистине остаётся загадкой, как случилось, что рукоять оттянулась назад и поезд остановился.

Оба никак не могли прийти к соглашению, кто, собственно, подал сигнал тревоги. Швейк утверждал, что он не мог этого сделать, — дескать, он не уличный мальчишка.

— Я сам удивляюсь, — добродушно говорил он подоспевшему кондуктору, — почему это поезд вдруг остановился. Ехал, ехал, и вдруг на тебе — стоп! Мне это ещё неприятнее, чем вам.

Какой-то солидный господин стал на защиту железнодорожника и утверждал, что сам слышал, как солдат первый начал разговор об аварийных тормозах.

Но Швейк всё время повторял, что он абсолютно честен и в задержке

поезда совершенно не заинтересован, так как едет на фронт.

— Начальник станции вам всё разъяснит, — решил кондуктор. — Это обойдётся вам в двадцать крон.

Пассажиры тем временем вылезли из вагонов, раздался свисток обер-кондуктора, и какая-то дама в панике побежала с чемоданом через линию в поле.

— И стоит, — рассуждал Швейк, сохраняя полнейшее спокойствие, — двадцать крон — это ещё дёшево. Однажды, когда государь император посетил Жижков, некий Франта Шнор остановил его карету, бросившись перед государем императором на колени прямо посреди мостовой. Потом полицейский комиссар этого района, плача, упрекал Шнора, что ему не следовало падать на колени в его районе, надо было на соседней улице, которая относится уже к району комиссара Краузе, — и там выражать свои верноподданнические чувства. Потом Шнора посадили.

Швейк посмотрел вокруг как раз в тот момент, когда к окружившей его группе слушателей подошёл обер-кондуктор.

— Ну ладно, едем дальше, — сказал Швейк. — Хорошего мало, когда поезд опаздывает. Если бы это произошло в мирное время, тогда, пожалуйста, бог с ним, но раз война, то нужно знать, что в каждом поезде едут военные чины: генерал-майоры, обер-лейтенанты, денщики. Каждое такое опоздание — паршивая вещь. Наполеон при Ватерлоо опоздал на пять минут и очутился в нужнике со всей своей славой.

В этот момент через группу слушателей протиснулся поручик Лукаш. Бледный как смерть, он мог выговорить только:

— Швейк!

Швейк взял под козырёк и отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, на меня свалили, что я остановил поезд. Чудные пломбы у железнодорожного ведомства на аварийных тормозах! К ним лучше не приближаться, а то наживёшь беду и с тебя захотят содрать двадцать крон, как теперь с меня.

Обер-кондуктор вышел, дал свисток, и поезд тронулся.

Пассажиры разошлись по своим купе, Лукаш не промолвил больше ни слова и тоже пошёл на своё место. Швейк, железнодорожный служащий и кондуктор остались одни.

Кондуктор вынул записную книжку и стал составлять протокол о происшествии. Железнодорожник враждебно глядел на Швейка. Швейк спросил:

— Давно служите на железной дороге?

Так как железнодорожник не ответил, Швейк рассказал случай с одним

из своих знакомых, неким Франтишеком Мличеком из Угржиневси под Прагой, который тоже как-то раз потянул за рукоятку аварийного тормоза и с перепугу лишился языка. Дар речи вернулся к нему только через две недели, когда он пришёл в Гостивар в гости к огороднику Ванеку, подрался там и об него измочалили арапник.

— Это случилось, — прибавил Швейк, — в тысяча девятьсот двенадцатом году в мае месяце.

Железнодорожный служащий открыл дверь клозета и заперся там.

Со Швейком остался кондуктор, который стал вымогать у него двадцать крон штрафу, угрожая, что в противном случае сдаст его в Таборе начальнику станции.

— Ну что ж, отлично, — сказал Швейк, — я не прочь побеседовать с образованным человеком. Буду очень рад познакомиться с таборским начальником станции.

Швейк вынул из кармана гимнастёрки трубку, закурил и, выпуская едкий дым солдатского табака, продолжал:

— Несколько лет тому назад начальником станции Свитава был пан Вагнер. Вот был живодёр! Придирался к подчинённым и прижимал их где мог, но больше всего наседал на стрелочника Юнгвирта, пока несчастный с отчаяния не побежал топиться. Но перед тем как покончить с собою, Юнгвирт написал начальнику станции письмо о том, что будет пугать его по ночам. Ей-богу, не вру! Так и сделал. Сидит вот начальник станции ночью у телеграфного аппарата, как вдруг раздаётся звонок, и начальник станции принимает телеграмму: «Как поживаешь, сволочь? Юнгвирт». Это продолжалось целую неделю, и начальник станции в ответ этому призраку разослал по всем направлениям следующую служебную депешу: «Прости меня, Юнгвирт!» А ночью аппарат настукал ему такой ответ: «Повесься на семафоре у моста. Юнгвирт». И начальник станции ему повиновался. Потом за это арестовали телеграфиста соседней станции. Видите, между небом и землёй происходят такие вещи, о которых мы и понятия не имеем.

Поезд подошёл к станции Табор, и Швейк, прежде чем в сопровождении кондуктора сойти с поезда, доложил, как полагается, поручику Лукашу:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, меня ведут к господину начальнику станции.

Поручик Лукаш не ответил. Им овладела полная апатия.

«Плевать мне на всё, — блеснуло у него в голове, — и на Швейка и на лысого генерал-майора. Сидеть спокойно, в Будейовицах сойти с поезда, явиться в казармы и отправиться на фронт с первой же маршевой ротой. На

фронте подставить лоб под вражескую пулю и уйти из этого жалкого мира, по которому шляется такая сволочь, как Швейк».

Когда поезд тронулся, поручик Лукаш выглянул в окно и увидел на перроне Швейка, увлечённого серьёзным разговором с начальником станции. Швейк был окружён толпой, в которой можно было заметить формы железнодорожников.

Поручик Лукаш вздохнул. Но это не был вздох сожаления. Когда он увидел, что Швейк остался на перроне, у него стало легко на душе. Даже лысый генерал-майор уже не казался ему таким противным чудовищем.

*

Поезд давно уже пыхтел по направлению к Чешским Будейовицам, а на перроне таборского вокзала толпа вокруг Швейка всё не убывала.

Швейк доказывал свою невиновность и настолько убедил толпу, что какая-то пани даже сказала:

— Опять к солдатику придираются.

Публика согласилась с этим мнением, а один господин обратился к начальнику станции, заявив, что заплатит за Швейка двадцать крон штрафу. Он убеждён, что этот солдат невиновен.

— Вы только посмотрите на него, — показывал он на невинное выражение лица Швейка, казалось, говорившее: «Люди добрые, я не виноват!»

Затем появился жандарм, вывел из толпы какого-то гражданина, арестовал его и увёл со словами: «Вы за это ответите! Я вам покажу, как народ подстрекать! Я покажу, как нельзя требовать от солдат победы Австрии, когда с ними так обращаются».

Несчастный гражданин не нашёл других оправданий, кроме откровенного признания, что он мясник у Старой башни и вовсе «не то хотел сказать».

Между тем добрый господин, который верил в невиновность Швейка, заплатил за него в канцелярии станции штраф, повёл Швейка в буфет третьего класса, угостил его там пивом и, выяснив, что все удостоверения и воинский железнодорожный билет Швейка находятся у поручика Лукаша, великодушно одолжил ему пять крон на билет и на другие расходы. При расставании он доверительно сказал Швейку:

— Если попадёте, солдатик, к русским в плен, кланяйтесь от меня пивовару Земану в Здолбунове. Вот вам моя фамилия. Будьте благоразумны

и долго на фронте не задерживайтесь.

— Будьте покойны, — ответил Швейк, — всякому занятно посмотреть чужие края, да ещё задаром.

Швейк остался один за столиком и помаленьку пропивал пятёрку, полученную от благодетеля.

А в это время на перроне те, кто не присутствовал при разговоре Швейка с начальником станции, а только издали видели толпу, рассказывали, что поймали шпиона, который фотографировал вокзал. Однако это опровергала одна дама, утверждавшая, что никакого шпиона не было, а просто, как она слышала, один драгун у дамской уборной зарубил офицера за то, что тот ломился туда за возлюбленной драгуна, провожавшей своего милого.

Этим фантастическим версиям, характеризующим нервозность военного времени, положили конец жандармы, которые очистили перрон от посторонних.

А Швейк продолжал пить, с нежностью думая о своём поручике: «Что-то он будет делать, когда приедет в Чешские Будейовицы и во всём поезде не найдёт своего денщика?»

Перед приходом пассажирского поезда ресторан третьего класса наполнился солдатами и штатскими. Преобладали солдаты различных полков, родов оружия и национальностей. Всех их занесло ураганом войны в таборские лазареты, и теперь они снова уезжали на фронт. Ехали за новыми ранениями, увечьями и болезнями, ехали, чтобы заработать себе где-нибудь на тоскливых равнинах Восточной Галиции простой деревянный намогильный крест, на котором ещё много лет спустя на ветру и дожде будет трепетать вылинявшая военная австрийская фуражка с заржавевшей кокардой. Изредка на фуражку сядет печальный старый ворон и вспомнит о сытых пиршествах минувших дней, когда здесь для него всегда был накрыт стол с аппетитными человеческими трупами и конской падалью; вспомнит, что под фуражкой, как та, на которой он сидит, были самые лакомые кусочки — человеческие глаза…

Один из кандидатов на крёстные муки, выписанный после операции из лазарета, в грязном мундире со следами ила и крови, подсел к Швейку. Это был хилый, исхудавший грустный солдат. Положив на стол маленький узелок, он вынул истрёпанный кошелёк и стал пересчитывать деньги. Потом взглянул на Швейка и спросил:

— Magyarul?[51]

— Я чех, товарищ, — ответил Швейк. — Не хочешь ли выпить?

— Nem tudom, baratom.[52]

— Это, товарищ, не беда, — потчевал Швейк, придвинув свою полную кружку к грустному солдатику, — пей на здоровье.

Тот понял, выпил и поблагодарил:

— Koszonom szivesen.[53]

Затем он снова стал просматривать содержимое своего кошелька и под конец вздохнул. Швейк понял, что мадьяр с удовольствием заказал бы себе пива, но у него не хватает денег. Швейк заказал ему кружку пива. Мадьяр опять поблагодарил и с помощью жестов стал рассказывать что-то, показывая свою простреленную руку, и прибавил на международном языке:

— Пиф-паф! Бац!

Швейк сочувственно покачал головой, а хилый солдат из команды выздоравливающих показал левой рукой на полметра от земли и, подняв три пальца, сообщил Швейку, что у него трое малых ребят.

— Nincs ам-ам, nincs ам-ам,[54] — продолжал он, желая сказать, что дома нечего есть. Слёзы брызнули у него из глаз, и он вытер их грязным рукавом шинели. В рукаве была дырка от пули, которая ранила его во славу венгерского короля.

Нет ничего удивительного в том, что за этим развлечением пятёрка понемногу таяла и Швейк медленно, но верно отрезал себе путь в Чешские Будейовицы. С каждой кружкой, выпитой им и выписавшимся из лазарета солдатом-мадьяром, всё менее вероятной становилась возможность купить себе билет.

Через станцию прошёл ещё один поезд на Будейовицы, а Швейк всё сидел у стола и слушал, как венгр повторял своё:

— Пиф-паф… Бац! Harom gyermek, nincs ам-ам, eljen![55]

Последнее слово он произнёс, чокаясь со Швейком.

— Валяй пей, мадьярское отродье, не стесняйся! — уговаривал его Швейк. — Нашего брата вы небось так бы не угощали!

Сидевший за соседним столом солдат рассказал, что, когда их Двадцать восьмой полк проездом на фронт вступил в Сегедин, мадьяры на улицах, насмехаясь над ними, поднимали руки вверх.

Это была святая правда. Но солдат, по-видимому, был оскорблён. Позднее это у солдат-чехов стало явлением обыкновенным; да и сами мадьяры впоследствии, когда им уже перестала нравиться резня в интересах венгерского короля, поступали так же.

Затем солдат пересел к Швейку и рассказал, что в Сегедине они всыпали венграм по первое число и повыкидывали их из нескольких

трактиров. При этом он признал, что венгры умеют драться и даже сам он получил такой удар ножом в спину, что его пришлось отправить в тыл лечиться.

Теперь он возвращается в свою часть, и батальонный командир, наверно, посадит его за то, что он не успел подобающим образом отплатить мадьяру за удар ножом, чтобы и тому кое-что осталось «на память», — этим он поддержал бы честь своего полка.

— Ihre Dokumenten,[56] фаши документ? — обратился к Швейку начальник патруля, фельдфебель, сопровождаемый четырьмя солдатами со штыками.

— Я видит фас всё фремя сидеть, пить, не ехать, только пить, зольдат!

— Нет у меня документов, миляга, — ответил Швейк. — Господин поручик Лукаш из Девяносто первого полка взял их с собой, а я остался тут, на вокзале.

— Was ist das Wort «миляга»?[57] — спросил по-немецки фельдфебель у одного из своей свиты, старого ополченца. Тот, видно, нарочно всё перевирал своему фельдфебелю и спокойно ответил:

— «Миляга» — das ist wie «Herr Feldwebl».[58]

Фельдфебель возобновил разговор со Швейком:

— Документ долшен каждый зольдат. Пез документ посадить auf Bahnhofs-Militarkommando der lausigen Bursch, wie einen tollen Hund.[59]

Швейка отвели в комендатуру при станции. В караульном помещении он нашёл команду, состоявшую из солдат вроде старого ополченца, который так ловко перевёл слово «миляга» на немецкий язык своему прирождённому врагу — начальнику-фельдфебелю.

Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам.

Первое, что бросилось бравому солдату Швейку в глаза, была картина, изображающая, согласно надписи на ней, как командующий взводом Франтишек Гаммель и отделённые командиры Паульгарт и Бахмайер Двадцать первого стрелкового его величества полка призывают солдат к стойкости. На другой стене висел лубок с надписью:

«УНТЕР-ОФИЦЕР 5-ГО ГОНВЕДСКОГО ГУСАРСКОГО ПОЛКА ЯН ДАНКО РАЗВЕДЫВАЕТ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕПРИЯТЕЛЬСКИХ БАТАРЕЙ».

Ниже, направо, висел плакат:

«ПРИМЕРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДОБЛЕСТИ».

Текст к этим плакатам с вымышленными примерами исключительной доблести сочиняли призванные на войну немецкие журналисты. Такими плакатами старая, выжившая из ума Австрия хотела воодушевить солдат. Но солдаты ничего не читали: когда им на фронт присылали подобные образцы храбрости в виде брошюр, они свёртывали из них козьи ножки или же находили им ещё более достойное применение, соответствующее художественной ценности и самому духу этих «образцов доблести».

Пока фельдфебель ходил искать какого-нибудь офицера, Швейк прочёл на плакате:

«ОБОЗНИК РЯДОВОЙ ИОСИФ БОНГ».

Санитары относили тяжелораненых к санитарным повозкам, стоявшим в готовности в неприметной ложбине. По мере того как повозки наполнялись, тяжелораненых отправляли к перевязочному пункту. Русские, обнаружив местонахождение санитарного отряда, начали обстреливать его гранатами. Конь обозного возчика Иосифа Бонга, состоявшего при императорском третьем санитарном обозном эскадроне, был убит разрывным снарядом. «Бедный мой Сивка, пришёл тебе конец!» — горько причитал Иосиф Бонг. В этот момент он сам был ранен осколком гранаты. Но, несмотря на это, Иосиф Бонг выпряг павшего коня и оттащил тяжёлую большую повозку в укрытие. Потом он вернулся за упряжью убитого коня. Русские продолжали обстрел. «Стреляйте, стреляйте, проклятые злодеи, я всё равно не оставлю здесь упряжки!» И, ворча, он продолжал снимать с коня упряжь. Наконец он дотащился с упряжью обратно к повозкам. Санитары набросились на него с ругательствами за длительное отсутствие. «Я не хотел бросать упряжи — ведь она почти новая. Жаль, думаю, пригодится», — оправдывался доблестный солдат, отправляясь на перевязочный пункт; только там он заявил о своём

ранении. Немного времени спустя ротмистр украсил его грудь серебряной медалью «За храбрость»!

Прочтя плакат и видя, что фельдфебель ещё не возвращается, Швейк обратился к ополченцам, находившимся в караульном помещении:

— Прекрасный пример доблести! Если так пойдёт дальше, у нас в армии будет только новая упряжь. В Праге, в «Пражской официальной газете» я тоже читал об одной обозной истории, ещё получше этой. Там говорилось о вольноопределяющемся докторе Йозефе Вояне. Он служил в Галиции, в Седьмом егерском полку. Когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорёт, что не даст себя перевязывать из-за какой-то царапины, и полез опять со своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми да и прилети новая граната, и оторвало ему руку, аккурат ту, в которой он держал палку! Тогда он перебросил эту палку в другую руку и заорал, что это им даром не пройдёт! Бог знает чем бы всё это кончилось, если б шрапнель не уложила его наповал. Возможно, он тоже получил бы серебряную медаль за доблесть, не отделай его шрапнель. Когда ему снесло голову, она ещё некоторое время катилась и кричала: «Долг спеши, солдат, скорей исполнить свой, даже если смерть витает над тобой!»

— Чего только в газетах не напишут, — заметил один из караульной команды. — Небось сам сочинитель и часу не вынес, отупел бы от всего этого.

Ополченец сплюнул.

— Был у нас в Чаславе один редактор из Вены, немец. Служил прапорщиком. По-чешски с нами не хотел разговаривать, а когда прикомандировали его к «маршке», в которой были сплошь одни чехи, сразу по-чешски заговорил.

В дверях появилась сердитая физиономия фельдфебеля:

— Wenn man иду drei Minuten weg, da hort man nichts anderes als: «По-цешски, цехи».[60]

И, уходя (очевидно, в буфет), приказал унтер-офицеру из ополченцев отвести этого вшивого негодяя (он указал на Швейка) к подпоручику, как только тот придёт.

— Господин подпоручик, должно быть, опять с телеграфисткой со станции развлекается, — сказал унтер-офицер после ухода фельдфебеля. — Пристаёт к ней вот уже две недели и каждый день приходит с телеграфа

злой как бес и говорит:

— Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir schlafen.[61]

Подпоручик и на этот раз пришёл злой как бес. Слышно было, как он хлопает по столу книгами.

— Ничего не поделаешь, брат, придётся тебе пойти к нему, — посочувствовал Швейку унтер. — Через его руки немало уже солдат прошло и старых и молодых. — И он ввёл Швейка в канцелярию, где за столом, на котором были разбросаны бумаги, сидел молодой подпоручик свирепого вида.

Увидев Швейка в сопровождении унтера, он протянул многообещающе:

— Ага!..

Унтер-офицер отрапортовал:

— Честь имею доложить, господин лейтенант, этот человек был задержан на вокзале без документов.

Подпоручик кивнул головой с таким видом, словно уже несколько лет назад предвидел, что в этот день и в этот час на вокзале Швейка задержат без документов.

Впрочем, всякий, кто в эту минуту взглянул бы на Швейка, должен был прийти к заключению, что предполагать у человека с такой наружностью существование каких бы то ни было документов — вещь невозможная. У Швейка был такой вид, словно он упал с неба или с какой-нибудь другой планеты и с наивным удивлением оглядывает новый, незнакомый ему мир, где от него требуют какие-то неизвестные ему дурацкие документы.

Подпоручик, глядя на Швейка, минуту размышлял, что сказать и о чём спрашивать.

— Что вы делали на вокзале? — наконец придумал он.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я ждал поезда на Чешские Будейовицы, чтобы попасть в свой Девяносто первый полк к поручику Лукашу, у которого я состою в денщиках и которого мне пришлось покинуть, так как меня отправили к начальнику станции насчёт штрафа, потому что подозревали, что я остановил скорый поезд с помощью аварийного тормоза.

— Не морочьте мне голову! — не выдержал подпоручик. — Говорите связно и коротко и не болтайте ерунды.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, уже с той самой минуты, когда мы с господином поручиком Лукашем садились в скорый поезд, который должен был отвезти нас как можно скорее в наш Девяносто

первый пехотный полк, нам не повезло: сначала у нас пропал чемодан, затем, чтобы не спутать, какой-то господин генерал-майор, совершенно лысый…

— Himmelherrgott! — шумно вздохнув, выругался подпоручик.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, необходимо, чтобы из меня всё лезло постепенно, как из старого матраца, а то вы не сможете себе представить весь ход событий, как говаривал покойный сапожник Петрлик, когда приказывал своему мальчишке скинуть штаны, перед тем как выдрать его ремнём.

Подпоручик пыхтел от злости, а Швейк продолжал:

— Господину лысому генерал-майору я почему-то не понравился, и поэтому господин поручик Лукаш, у которого я состою в денщиках, выслал меня в коридор. А в коридоре меня потом обвинили в том, о чём я вам уже докладывал. Пока дело выяснилось, я оказался покинутым на перроне. Поезд ушёл, господин поручик с чемоданами и со всеми — и своими и моими — документами тоже уехал, а я остался без документов и болтался, как сирота.

Швейк взглянул на подпоручика так доверчиво и нежно, что тот уверовал: всё, что он слышит от этого парня, который производит впечатление прирождённого идиота, — всё это абсолютная правда.

Тогда подпоручик перечислил Швейку все поезда, которые прошли на Будейовицы после скорого поезда, и спросил, почему Швейк прозевал эти поезда.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк с добродушной улыбкой, — пока я ждал следующего поезда, со мной вышел казус: сел я пить пиво — и пошло: кружка за кружкой, кружка за кружкой…

«Такого осла я ещё не видывал, — подумал подпоручик. — Во всём признаётся. Сколько их прошло через мои руки, и все, как могли, врали и не сознавались, а этот преспокойно заявляет: „Прозевал все поезда, потому что пил пиво, кружку за кружкой“».

Все свои соображения он суммировал в одной фразе, с которой и обратился к Швейку:

— Вы, голубчик, дегенерат. Знаете, что такое «дегенерат»?

— У нас на углу Боиште и Катержинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать — повивальная бабка. Днём он подметал улицы, а в кабаке не позволял себя звать иначе, как граф.

Подпоручик счёл за лучшее как-нибудь покончить с этим делом и

отчеканил:

— Вот что, вы, балбес, балбес до мозга костей, немедленно отправляйтесь в кассу, купите себе билет и поезжайте в Будейовицы. Если я ещё раз увижу вас здесь, то поступлю с вами, как с дезертиром.

Но так как Швейк не трогался с места, продолжая делать под козырёк, подпоручик закричал:

— Marsch hinaus, слышали, abtreten. Паланек, отведите этого идиота к кассе и купите ему билет в Чешские Будейовицы.

Через минуту унтер-офицер Паланек опять явился в канцелярию. Сквозь приотворённую дверь из-за его плеча выглядывала добродушная физиономия Швейка.

— Что ещё там?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — таинственно зашептал унтер Паланек, — у него нет денег на дорогу, и у меня тоже нет. А даром его везти не хотят, потому что у него нет удостоверения в том, что он едет в полк.

Подпоручик не полез в карман за Соломоновым решением трудного вопроса.

— Пусть идёт пешком, — решил он, — пусть его посадят в полку за опоздание. Нечего тут с ним вожжаться.

— Ничего, брат, не поделаешь, — сказал Паланек Швейку, выйдя из канцелярии. — Хочешь не хочешь, а придётся, братишка, тебе в Будейовицы пешком переть. Там у нас в караульном помещении лежит краюха хлеба. Мы её дадим тебе на дорогу.

Через полчаса, после того как Швейка напоили чёрным кофе и дали на дорогу, кроме краюхи хлеба, ещё и осьмушку табаку, он вышел тёмной ночью из Табора, напевая старую солдатскую песню:

Шли мы прямо в Яромерь,
Коль не хочешь, так не верь.

Чёрт его знает как это случилось, но бравый солдат Швейк, вместо того чтобы идти на юг, к Будейовицам, шёл прямёхонько на запад.

Он шёл по занесённому снегом шоссе, по морозцу, закутавшись в шинель, словно последний наполеоновский гренадер, возвращающийся из похода на Москву. Разница была только в том, что Швейк весело пел:

Я пойду пройтиться

В зелёную рощу…

И в занесённых снегом тёмных лесах далеко разносилось эхо так, что в деревнях лаяли собаки.

Когда Швейку надоело петь, он сел на кучу щебня у дороги, закурил трубку и, отдохнув, пошёл дальше, навстречу новым приключениям будейовицкого анабасиса.

Глава II
БУДЕЙОВИЦКИЙ АНАБАСИС ШВЕЙКА

Ксенофонт, античный полководец, прошёл всю Малую Азию, побывал бог весть в каких ещё местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги, также не зная топографии. Без устали продвигаться вперёд, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окружённым неприятелями, которые ждут первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею, — вот что называется анабасисом.

У кого голова на плечах, как у Ксенофонта или как у разбойников различных племён, которые пришли в Европу бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, — тот совершает в походе прямо чудеса.

Римские легионы Цезаря, забравшись (опять-таки без всяких географических карт) далеко на север, к Галльскому морю, решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы ещё попытать счастья, и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим.

Точно так же все дороги ведут и в Чешские Будейовицы. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убеждён, когда вместо будейовицких краёв увидел милевскую деревушку. И, не меняя направления, он зашагал дальше, ибо никакое Милевско не может помешать бравому солдату добраться до Чешских Будейовиц.

Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова, на западе от Милевска. Он исчерпал уже весь свой запас солдатских походных песен и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала:

Когда в поход мы отправлялись,
Слезами девки заливались…

По дороге из Кветова во Враж, которая идёт всё время на запад, со Швейком заговорила старушка, возвращавшаяся из костёла домой:

— Добрый день, служивый. Куда путь держите?

— Иду я, матушка, в полк, в Будейовицы, на войну эту самую.

— Батюшки, да вы не туда идёте, солдатик! — испугалась бабушка. —

Вам этак туда ни в жисть не попасть. Дорога-то ведёт через Враж прямёхонько на Клатовы.

— Я полагаю — человек с головой и из Клатов попадёт в Будейовицы, — почтительно ответил Швейк. — Правда, прогулка не маленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышло неприятности.

— Был у нас тоже один такой озорной, — вздохнула бабушка. — Звали его Тоничек Машек. Вышло ему ехать в Пльзень в ополчение. Племяннице он моей сродни. Да… Ну, поехал, значит. А через неделю уже его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А ещё через неделю объявился у нас. В простой одежде, невоенной. «В отпуск, дескать, приехал». Староста за жандармами, а те его из отпуска-то потянули… Уж и письмецо от него с фронта получили, что раненый, одной ноги нет.

Старуха соболезнующе посмотрела на Швейка.

— В том вон лесочке пока, служивый, посидите, я картофельную похлёбку принесу, погреешься. Избу-то нашу отсюда видать, аккурат за лесочком, направо. Через нашу деревню лучше не ходите, жандармы у нас всё равно как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на Мальчин. Чижово, солдатик, обойдите стороной — жандармы там живодёры: дезертиров ловят. Идите прямо лесом на Седлец у Гораждевиц. Там жандарм хороший, пропустит через деревню любого. Бумаги-то есть?

— Нету, матушка.

— Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру, жандармы в трактире сидеть будут. Там на улице за Флорианом домик, снизу выкрашен в синий цвет. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти Будейовицы.

Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грелся похлёбкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыла. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула всё это Швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у неё в Будейовицах два внука. Потом она ещё раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть; наконец вынула из кармана кофты крону и дала её Швейку, чтобы он купил себе в Мальчине водки на дорогу, потому что оттуда до Радомышля кусок изрядный.

По совету старухи Швейк пошёл, минуя Чижово, в Радомышль, на восток, решив, что должен попасть в Будейовицы с какой угодно стороны света.

Из Мальчина попутчиком у него оказался старик гармонист, Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку, перед тем как отправиться в далёкий путь на Радомышль.

Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в Гораждевице: там у него живёт дочка, у которой муж тоже дезертир.

Гармонист, по всей видимости, в Мальчине хватил лишнего.

— Мужа она вот уже два месяца в хлеву прячет и тебя спрячет тоже, — уговаривал он Швейка. — Просидите там до конца войны. Вдвоём не скучно будет.

Когда Швейк вежливо отклонил предложение гармониста, тот разозлился и пошёл налево, полями, пригрозив Швейку, что идёт в Чижово доносить на него жандармам.

Вечером Швейк пришёл в Радомышль. На Нижней улице за Флорианом он нашёл хозяина Мелихарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелихарка ни малейшего впечатления. Он всё время требовал, чтобы Швейк предъявил документы. Это был явно предубеждённый человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писецкому краю.

— Удирают с военной службы. Воевать-то им не хочется, вот и носятся по всему свету. Где что плохо лежит — стащат, — выразительно говорил он, смотря Швейку в глаза. — И каждый строит из себя такого невинного, словно до пяти считать не умеет… Правда глаза колет, — прибавил он, видя, что Швейк встаёт с лавки. — Будь у человека совесть чиста, он остался бы сидеть и показал бы свои документы. А если у него их нет…

— Будь здоров, дедушка…

— Будь здоров! Ищите кого поглупее…

И Швейк уже шагал где-то во тьме, а дед всё не переставал ворчать:

— Идёт, дескать, в Будейовицы, в полк. Это из Табора-то! А сам, шаромыжник, сперва в Гораждевице, а оттуда только в Писек. Да ведь это кругосветное путешествие!

Швейк шёл всю ночь напролёт и только возле Путима нашёл в поле стог. Он отгрёб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос:

— Какого полка? Куда бог несёт?

— Девяносто первого, иду в Будейовицы.

— А чего ты там не видал?

— У меня там обер-лейтенант.

Было слышно, что рядом засмеялись, и не один человек, а трое.

Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое Тридцать пятого, а один, артиллерист, тоже из Будейовиц. Ребята из Тридцать пятого удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт, около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизации. Сам он был крестьянин из Путима, и стог принадлежал ему. Он всегда ночевал здесь, а вчера нашёл в лесу тех двоих и взял их к себе.

Все трое рассчитывали, что война через месяц-два кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром перед рассветом мать артиллериста принесёт поесть, а потом ребята из Тридцать пятого тронутся в путь на Страконице, у одного из них там тётка, а у тётки есть в горах за Сушицей знакомый, а у знакомого — лесопилка, где можно спрятаться.

— Эй ты, из Девяносто первого, если хочешь, идём с нами, — предложили они Швейку. — На… ты на своего обер-лейтенанта.

— Нет, это так просто не делается, — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому.

Когда он проснулся, никого уже не было. Кто-то (очевидно, артиллерист) положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу.

Швейк пошёл лесами. Недалеко от Штекна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его как старого приятеля глотком водки.

— В этой одёже не ходи. Как бы тебя твоя обмундировка не подвела, — поучал бродяга Швейка. — Нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится. Нас теперь жандармы не ловят, теперь взялись за вашего брата. Вас только и ищут, — повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о Девяносто первом полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разрушать иллюзию славному старику?

— Куда теперь метишь? — спросил бродяга немного погодя, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню.

— В Будейовицы.

— Царица небесная! — испугался нищий. — Да тебя там в один момент сгребут. И дыхнуть не успеешь. Штатскую одёжу тебе надо, да порванее. Придётся тебе сделаться хромым… Ну да не бойся: пойдём через Страконице, Волынь и Дуб, и никакой чёрт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В Страконицах много ещё честных дураков, которые, случается, не запирают на ночь дверей, а днём там вообще никто не запирает. Пойдёшь к мужичку поболтать — вот тебе и штатская одёжа. Да

много ли тебе нужно? Сапоги есть… Так, что-нибудь только на себя накинуть. Шинель старая?

— Старая.

— Ну, её можно оставить. В деревнях ходят в шинелях. Нужно ещё штаны да пиджачишко. Когда раздобудем штатскую одёжу, твои штаны и гимнастёрку можно будет продать еврею Герману в Воднянах. Он скупает казённые вещи, а потом продаёт их по деревням… Сегодня пойдём в Страконице. Отсюда часа четыре ходу до старой шварценбергской овчарни, — развивал он свой план. — Там у меня пастух знакомый — старик один. Переночуем у него, а утром тронемся в Страконице и свистнем где-нибудь штатское.

В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил ещё рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на двадцать лет старше старого бродяги и поэтому называл его, как и Швейка, «паренёк».

— Так-то, ребята, — стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире. — В те поры дед мой, как вот твой солдат, тоже дезертировал. Но в Воднянах его поймали да так высекли, что с задницы только клочья летели. Ему ещё повезло. А вот сын Яреша, дед старого Яреша, сторожа рыбного садка из Ражиц, что около Противина, был расстрелян в Писеке за побег, а перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили шестьсот ударов палками, так что смерть была ему только облегчением и искуплением. А ты когда удрал? — обратился он со слезами на глазах к Швейку.

— После мобилизации, когда нас отвели в казармы, — ответил Швейк, поняв, что честь мундира перед старым пастухом ронять нельзя.

— Перелез через стену, что ли? — с любопытством спросил пастух, очевидно вспоминая рассказ своего деда, как тог лазил через казарменные стены.

— Иначе нельзя было, дедушка.

— Стража была сильная? И стреляла небось?

— Стреляла, дедушка.

— А куда теперь направляешься?

— Вот с ума спятил! Тянет его в Будейовицы, и всё тут, — ответил за Швейка бродяга. — Ясно, человек молодой, без ума, без разума, так и лезет на рожон. Придётся мне его взять в учение. Свистнем какую ни на есть одежонку, а там всё пойдёт как по маслу! До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймёмся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут. Голод. Говорят, всех бродяг сгонят на полевые работы. Я

думаю, лучше пойти добровольно. Людей, говорят, теперь мало будет. Перебьют всех.

— Думаешь, в этом году не кончится? — спросил пастух. — Твоя правда, парень. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская, потом, как нам рассказывали, шведские войны, семилетние войны. И люди сами эти войны заслужили. И поделом: господь бог не мог больше видеть того, как все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж и её, вишь ли, не хотели жрать! Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтобы я им из-под полы продал барашка, а последние годы подавай им только свинину да птицу, да всё на масле да на сале. Вот бог-то и прогневался на гордыню ихнюю непомерную. А вот когда опять будуть варить лебеду, как в наполеоновскую войну, они придут в разум. А наши бары — так те прямо с жиру бесятся. Старый князь Шварценберг ездил только в шарабане, а молодой князь, сопляк, всё кругом своим автомобилем провонял. Погоди, господь бог ужо намажет тебе харю бензином.

В горшке с картошкой булькала вода. Старый пастух, помолчав, пророчески изрёк:

— А войну эту не выиграет наш государь император. Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался, как говорит учитель из Страконицы. Пусть теперь втирает очки кому хочет. Уж если ты, старая каналья, обещал короноваться, то держи слово!

— Может быть, он это теперь как-нибудь обстряпает? — заметил бродяга.

— Теперь, паренёк, всем и каждому на это начхать, — разгорячился пастух, — посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу, в Скочицах. У любого кто-нибудь да на войне. Ты бы послушал, как они говорят! После войны, дескать, наступит свобода, не будет ни императорских дворов, ни самих императоров, и у князей отберут имения. Тамошнего Коржинку за такие речи уже сгребли жандармы: не подстрекай, дескать. Да что там! Нынче жандармы что хотят, то и делают.

— Да и раньше так было, — сказал бродяга. — Помню, в Кладно служил жандармский ротмистр Роттер. Загорелось ему разводить этих, как их там, полицейских собак, волчьей породы, которые всё вам могут выследить, когда их обучат. И развёл он этих самых собачьих воспитанников полну задницу. Специально для собак выстроил домик; жили они там, что графские дети. Да, и придумал ротмистр обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладненской округе, чтобы жандармы сгоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из Лан наутёк, забираю поглубже лесом, да куда там! До рощи,

куда метил, не дошёл, как уж меня сграбастали и повели к господину ротмистру. Родненькие мои! Вы себе представить не можете, что я вытерпел с этими собаками! Сначала дали меня этим собакам обнюхать, потом велели мне влезть по лесенке и, когда я уже был почти наверху, пустили следом одну зверюгу, а она — бестия! — доставила меня с лестницы наземь, а потом влезла на меня и начала рычать и скалить зубы над самым моим носом. Потом эту гадину отвели, а мне сказали, чтобы я спрятался, куда хочу. Направился я к долине Качака в лес и спрятался в овраге. И полчаса не прошло, как прибежали два волкодава и повалили меня на землю, а пока один держал меня за горло, другой побежал в Кладно. Через час пришёл сам пан ротмистр с жандармами, отозвал собаку, а мне дал пятёрку и позволил целых два дня собирать милостыню в Кладненской округе. Чёрта с два! Я пустился прямо к Бероунковскому району, словно у меня под ногами горело, и больше в Кладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что ротмистр над всеми производил свои опыты… Чертовски любил он этих собак! По жандармским отделениям рассказывали, что если ротмистр делает ревизию и увидит где волкодава, — то уж не инспектирует, а на радостях весь день хлещет с вахмистром водку.

И пока пастух сливал с картошки воду и наливал в общую миску кислого овечьего молока, бродяга продолжал вспоминать, как жандармы свою власть показывали.

— В Липнице жандармский вахмистр жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении. А я, старый дурак, думал, что жандармское отделение всегда должно стоять на видном месте, на площади или где-нибудь в этом роде, а никак, не в глухом переулке. Обхожу я раз дома на окраине. На вывески-то не смотришь. Дом за домом, так идёшь. Наконец в одном доме отворяю я дверь на втором этаже и докладываю о себе: «Подайте Христа ради убогому страннику…» Светы мои! Ноги у меня отнялись: гляжу — жандармский участок! Вдоль стены винтовки, на столе распятие, на шкафу реестры, государь император над столом прямо на меня уставился. Я и пикнуть не успел, а вахмистр подскочил ко мне да ка-ак даст по морде! Полетел я со всех лестниц, так и не останавливался до самых Кейжлиц. Вот, брат, какие у жандармов права!

Все занялись едой и скоро разлеглись в натопленной избушке на лавках спать.

Среди ночи Швейк встал, тихо оделся и вышел. На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя: «Не может этого быть, чтобы я не попал в Будейовицы!»

Выйдя из леса, Швейк увидел справа какой-то город и поэтому повернул на север, потом опять на юг и опять вышел к какому-то городу. Это были Водняны. Швейк ловко обошёл его стороной, лугами, и первые лучи солнца приветствовали его на покрытых снегом склонах гор неподалёку от Противина.

— Вперёд! — скомандовал сам себе бравый солдат Швейк. — Долг зовёт. Я должен попасть в Будейозице.

Но по несчастней случайности, вместо того чтобы идти от Противина на юг — к Будейовицам, стопы Швейка направились на север — к Писеку.

К полудню перед ним открылась деревушка. Спускаясь с холма, Швейк подумал: «Так дальше дело не пойдёт. Спрошу-ка я, как пройти к Будейовицам».

Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись: «Село Путим».

— Вот-те на! — вздохнул Швейк. — Опять Путим! Ведь я здесь в стогу ночевал.

Дальше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из окрашенного в белый цвет домика, на котором красовалась «курица» (так называли кое-где государственного орла), вышел жандарм — словно паук, проверяющий свою паутину.

Жандарм вплотную подошёл к Швейку и спросил только:

— Куда?

— В Будейовицы, в свой полк.

Жандарм саркастически усмехнулся.

— Ведь вы идёте из Будейовиц! Будейовицы-то ваши позади вас остались.

И потащил Швейка в жандармское отделение.

Путимский жандармский вахмистр был известен по всей округе тем, что действовал быстро и тактично. Он никогда не ругал задержанных или арестованных, но подвергал их такому искусному перекрёстному допросу, что и невинный бы сознался. Для этой цели он приспособил двух жандармов, и перекрёстный допрос сопровождался всегда усмешками всего жандармского персонала.

— Криминалистика состоит в искусстве быть хитрым и вместе с тем ласковым, — говаривал своим подчинённым вахмистр. — Орать на кого бы то ни было — дело пустое. С обвиняемыми и подозреваемыми нужно обращаться деликатно и тонко, но вместе с тем стараться утопить их в потоке вопросов.

— Добро пожаловать, солдатик, — приветствовал жандармский

вахмистр Швейка. — Присаживайтесь, с дороги-то устали небось. Расскажите, куда путь держите?

Швейк повторил, что идёт в Чешские Будейовицы, в свой полк.

— Вы, очевидно, сбились с пути, — улыбаясь, заметил вахмистр. — Дело в том, что вы идёте из Чешских Будейовиц, и я легко могу вам это доказать. Над вами висит карта Чехии. Взгляните: на юг от нас лежит Противин, южнее Противина — Глубокое, а ещё южнее — Чешские Будейовицы. Стало быть, вы идёте не в Будейовицы, а из Будейовиц.

Вахмистр приветливо посмотрел на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил:

— А всё-таки я иду в Будейовицы.

Это прозвучало сильнее, чем «а всё-таки она вертится!», потому что Галилей, без сомнения, произнёс свою фразу в состоянии сильной запальчивости.

— Знаете что, солдатик! — всё так же ласково сказал Швейку вахмистр. — Должен вас предупредить — да вы и сами в конце концов придёте к этому заключению, — что всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание.

— Вы безусловно правы, — сказал Швейк. — Всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание — и наоборот.

— Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мною соглашаться. Расскажите откровенно, откуда вы вышли, когда направились в ваши Будейовицы. Говорю «ваши», потому что, по-видимому, существуют ещё какие-то Будейовицы, которые лежат где-то к северу от Путима и до сих пор не занесены ни на одну карту.

— Я вышел из Табора.

— А что вы делали в Таборе?

— Ждал поезда на Будейовицы.

— Почему вы не поехали в Будейовицы поездом?

— Потому что у меня не было билета.

— А почему вам как солдату не выдали бесплатный воинский проездной билет?

— Потому что при мне не было никаких документов.

— Ага, вот оно что! — победоносно обратился вахмистр к одному из жандармов. — Парень не так глуп, как прикидывается. Пытается замести следы.

Вахмистр начал снова, как бы не расслышав последних слов относительно документов:

— Итак, вы вышли из Табора. Куда же вы шли?

— В Чешские Будейовицы.

Выражение лица вахмистра стало несколько строже, и взгляд упал на карту.

— Можете показать нам на карте, как вышли в Будейовицы?

— Я всех мест не помню. Помню только, что в Путиме я уже был один раз.

Жандармы выразительно переглянулись.

Вахмистр продолжал допрос:

— Значит, вы были на вокзале в Таборе? Что у вас в карманах? Выньте всё.

После того как Швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, вахмистр спросил: — Скажите, почему у вас ничего, решительно ничего нет?

— Потому что мне ничего и не нужно.

— Ах ты господи! — вздохнул вахмистр. — Ну и мука с вами!.. Так вы сказали, что один раз уже были в Путиме. Что вы здесь делали тогда?

— Я шёл мимо Путима в Будейовицы.

— Видите, как вы путаете. Сами говорите, что шли в Будейовицы, между тем как мы вам доказали, что вы идёте из Будейовиц.

— Наверно, я сделал круг.

Вахмистр и все жандармы обменялись многозначительными взглядами.

— Это кружение наводит на мысль, что вы просто рыщете по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе?

— До отхода последнего поезда на Будейовицы.

— А что вы там делали?

— Разговаривал с солдатами.

Вахмистр снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих.

— А о чём вы с ними разговаривали? О чём их спрашивали? Так, к примеру…

— Спрашивал, какого полка и куда едут.

— Отлично. А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется?

— Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю.

— Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск?

— Конечно, господин вахмистр.

Тут вахмистр пустил в ход последний козырь, с победоносным видом

оглядываясь на своих жандармов.

— Вы говорите по-русски?

— Не говорю.

Вахмистр кивнул головой ефрейтору, и, когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбуждённый сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки:

— Ну, слышали? Он не говорит по-русски! Парень, видно, прошёл огонь и воду и медные трубы. Во всём сознался, но самое важное отрицает. Завтра же отправим его в окружное, в Писек. Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать! На вид дурак дураком. С такими-то типами и нужна тонкая работа. Пусть посидит пока что, а я пойду составлю протокол.

И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистр до самого вечера строчил протокол, в каждой фразе которого красовалось словечко «spionageverdachtig».[62]

Чем дальше жандармский вахмистр Фландерка писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке, словами: «So melde ich gehorsarn wird den feindlichen Offizier heutigen Tages, nach Bezirksgendarmeriekommando Pisek, uberliefert»[63] — он улыбнулся своему произведению и вызвал жандарма-ефрейтора.

— Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть?

— Согласно вашему приказанию, господин вахмистр, питанием мы обеспечиваем только тех, кто был приведён и допрошен до двенадцати часов дня.

— Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением, — веско сказал вахмистр. — Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир «У кота» за обедом для него. А если обедов уже нет, пусть что-нибудь сварят. Потом пусть приготовят чай с ромом и всё пошлют сюда. И не говорить, для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна. А что он теперь делает?

— Просил табаку, сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно дома. У вас, говорит, очень тепло. А печка у вас не дымит? Мне, говорит, здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, говорит, позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, говорит, он прочистит её под вечер, — упаси бог, если солнышко стоит над трубой.

— Тонкая штучка! — в полном восторге воскликнул вахмистр. — Делает вид, будто его это и не касается. А ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг. Ведь человек идёт на верную смерть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же? Небось каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости. А он сидит себе спокойно: «У вас тут тепло, и печка не дымит…» Вот это, господин ефрейтор, характер! Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твёрдости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами!.. Но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиасты. Вы читали в «Национальной политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт? Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен, вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых две недели, пока не дождался. Целых две недели сидел на дереве и, чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей, всю верхушку у ели обглодал. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награждён золотой медалью «За храбрость». — И вахмистр с серьёзным видом прибавил: — Да, это я понимаю! Вот это, господин ефрейтор, самопожертвование, вот это геройство! Ну, заговорились мы тут с вами, бегите закажите ему обед, а его самого пока пошлите ко мне.

Ефрейтор привёл Швейка, и вахмистр, по-приятельски кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители.

— Нету.

«Тем лучше, — подумал вахмистр, — по крайней мере некому будет беднягу оплакивать». Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию и вдруг под наплывом тёплых чувств похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном:

— Ну, а как вам нравится у нас в Чехии?

— Мне в Чехии всюду нравится, — ответил Швейк, — мне всюду попадались славные люди.

Вахмистр кивал головой в знак согласия.

— Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или воровство в счёт не идут. Я здесь уже пятнадцать лет, и по моему расчёту тут приходится по три четверти убийства на год.

— Что же, не совсем убивают? Не приканчивают? — спросил Швейк.

— Нет, не то. За пятнадцать лет мы расследовали всего одиннадцать убийств: пять с целью грабежа, а остальные шесть просто так… ерунда.

Вахмистр помолчал, а затем опять перешёл к своей системе допроса.

— А что вы намерены были делать в Будейовицах?

— Приступить к исполнению своих обязанностей в Девяносто первом полку.

Вахмистр отослал Швейка назад в дежурную, а сам, чтобы не забыть, приписал к своему рапорту в Писецкое окружное жандармское управление: «Владеет чешским языком в совершенстве. Намеревался в Будейовицах проникнуть в Девяносто первый пехотный полк».

Он радостно потёр руки. Вахмистр был доволен этим богатым материалом и вообще результатами, какие давал его метод ведения следствия. Он вспомнил своего предшественника, вахмистра Бюргера, который даже не разговаривал с задержанным, ни о чём его не спрашивал, а немедленно отправлял в окружной суд с кратким рапортом: «Согласно донесению жандармского унтер-офицера, такой-то арестован за бродяжничество и нищенство». И это называется допрос?

Вахмистр самодовольно улыбнулся, глядя на исписанные страницы своего рапорта, вынул из письменного стола секретный циркуляр Главного пражского жандармского управления с обычной надписью «совершенно секретно» и перечёл его ещё раз:

«Строжайше предписывается всем жандармским отделениям с особой бдительностью следить за проходящими через их районы лицами. Перегруппировка наших войск в Восточной Галиции дала возможность некоторым русским воинским частям, перевалив через Карпаты, занять позиции в австрийских землях, следствием чего было изменение линии фронта, передвинувшегося далеко на запад от государственной границы. Эта новая ситуация позволила русским разведчикам проникнуть глубоко в тыл страны, особенно в Силезию и Моравию, откуда, согласно секретным данным, большое количество русских разведчиков проникло в Чехию. Установлено, что среди них есть много русских чехов, воспитанников русской академии Генерального штаба, которые, в совершенстве владея чешским языком, являются наиболее опасными разведчиками, ибо могут и, несомненно, будут вести изменническую пропаганду и среди чешского населения. Ввиду этого Главное жандармское управление предписывает задерживать всех подозрительных лиц и повысить бдительность особенно в тех местах, где поблизости находятся гарнизоны, военные пункты и железнодорожные станции, через которые проходят воинские поезда. Задержанных подвергать немедленному обыску и отправлять по инстанции».

Жандармский вахмистр Фландерка опять самодовольно улыбнулся и уложил секретный циркуляр в папку с надписью «Секретные

распоряжения».

Таких распоряжений было много. Их составляло министерство внутренних дел совместно с министерством обороны, в ведении которого находилась жандармерия. В главном жандармском управлении в Праге их не успевали размножать и рассылать.

В папке были:

приказ о наблюдении за настроениями местных жителей;

наставление о том, как из разговора с местными жителями установить, какое влияние на образ мыслей оказывают вести с театра военных действий;

анкета: как относится местное население к военным займам и сборам пожертвований;

анкета о настроении среди призванных и имеющих быть призванными;

анкета о настроениях среди членов местного самоуправления и интеллигенции;

распоряжение: безотлагательно установить, к каким политическим партиям примыкает местное население; насколько сильны отдельные политические партии;

приказ о наблюдении за деятельностью лидеров местных политических партий и определение степени лояльности некоторых политических партий, к которым примыкает местное население;

анкета: какие газеты, журналы и брошюры получаются в районе данного жандармского отделения;

инструкция: как установить, с кем поддерживают связь лица, подозреваемые в нелояльности, и в чём их нелояльность проявляется;

инструкция: как вербовать из местного населения платных доносчиков и осведомителей;

инструкция для платных осведомителей из местного населения, зачисленных на службу при жандармском отделении.

Каждый день приносил новые инструкции, наставления, анкеты и распоряжения.

Утопая в массе этих изобретений австрийского министерства внутренних дел, вахмистр Фландерка имел огромное количество «хвостов» и на анкеты посылал стереотипные ответы: у него всё в порядке, и лояльность местного населения отвечает степени 1а.

Для оценки лояльности населения по отношению к монархии австрийское министерство внутренних дел изобрело следующую лестницу категорий:

Ia Iв Ic
IIa IIв IIc
IIIa IIIв IIIc
IVa IVв IVc

Римская четвёрка в соединении с «а» обозначала государственного изменника и петлю, в соединении с «в» — концентрационный лагерь, а с «с» — необходимость выследить и посадить.

В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своём правительстве каждый гражданин.

Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой писанины, неумолимо прибывавшей с каждой почтой. Как только завидит, бывало, знакомый пакет со штемпелем «свободно от оплаты», «служебное», у него начинается сердцебиение. Ночью после долгих размышлений он приходил к убеждению, что ему не дождаться конца войны, что краевое жандармское управление отнимет у него последние крохи разума и ему не придётся порадоваться победе австрийского оружия, ибо к тому времени в его голове не будет хватать многих винтиков.

А окружное жандармское управление ежедневно бомбардировало его запросами: почему до сих пор не отвечено на анкету за № 72345/721a/f, как выполняется 88992/822gfeh z, каковы практические результаты наставления за № 123456/1292b/r v и т. д.

Больше всего хлопот доставила ему инструкция о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей. Придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, где начинается Блата, потому что там весь народ меднолобый, он наконец решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозванию Пепка-Прыгни. Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услыхав свою кличку, несчастное, обиженное природой и людьми существо, калека, за несколько золотых в год и за жалкие харчи пасший деревенское стадо.

Вахмистр велел его призвать и сказал ему: — Знаешь, Пепка, кто такой «старик Прогулкин»?

— Ме-ме…

— Не мычи. Запомни: так называют государя императора. Знаешь, кто такой государь император?

— Это — гоцудаль импелатол…

— Молодец, Пепка. Так запомни: если услышишь, когда ходишь по

избам обедать, кто-нибудь скажет, что государь император скотина или что-нибудь в этом роде, то моментально приди ко мне и сообщи. За это получишь от меня двадцать геллеров. А если услышишь, как кто-нибудь скажет, будто мы проиграем войну, опять приходи ко мне, понимаешь? Скажешь, кто это говорил, и снова получишь двадцать геллеров. Но если я узнаю, что ты что-нибудь скрыл, — плохо тебе придётся. Заберу и отправлю в Писек. А теперь, ну-ка, прыгни!

Пепка подпрыгнул, а вахмистр дал ему сорок геллеров и, довольный собой, написал рапорт в окружное жандармское управление, что завербовал осведомителя.

На следующий день к вахмистру пришёл священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку-Прыгни и тот ему сказал: «Батьюска, вчела пан вахмистл говолил, что гоцудаль импелатол скотина, а войну мы плоиглаем. Ме-е… Гоп!» После дальнейшего разговора со священником вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее градчанский суд приговорил его к двенадцати годам за государственную измену. Он был обвинён в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и в целом ряде других преступлений и проступков.

Пепка-Прыгни на суде держал себя, как на пастбище или среди мужиков, на все вопросы блеял козой, а после вынесения приговора крикнул: «Ме-е!.. Гоп!» — и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке: жёсткая постель, одиночка и три дня в неделю на хлеб и воду.

С тех пор у вахмистра не было осведомителя, и ему пришлось ограничиться тем, что он сам выдумывал себе осведомителя, сообщил по инстанции вымышленное имя и таким образом повысил свой ежемесячный заработок на пятьдесят крон, которые он пропивал в трактире «У кота». После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу: «Что-то нынче наш вахмистр невесёлый, словно как не в своей тарелке». Тогда он уходил домой, а после его ухода кто-нибудь всегда говорил: «Видать, наши в Сербии опять обделались — вахмистр сегодня больно молчаливый».

А вахмистр дома заполнял одну из бесчисленных анкет:

«Настроение среди населения — 1а…»

Часто в ожидании ревизии и расследований вахмистр проводил долгие бессонные ночи. Ему чудилась петля, вот подводят его к виселице, и в последний момент сам министр обороны кричит ему снизу, стоя у

виселицы: «Wachmeister, wo ist die Antwort des Zirkulars[64] за № 1789678/23792 x. y. z.?»

Но всё это осталось позади, теперь совсем другое дело! Теперь ему казалось, будто из всех углов жандармского отделения к нему несётся старое охотничье поздравление «ни пуха ни пера». И жандармский вахмистр Фландерка не сомневался в том, что начальник окружного жандармского управления похлопает его по плечу и скажет: «Ich gratuliere lhnen, Herr Wachmeister»[65]

Жандармский вахмистр рисовал в своём воображении картины одну пленительней другой. В извилинах его чиновничьего мозга вырастали и проносились отличия, повышения и долгожданная оценка его криминалистических способностей, открывающих широкую карьеру.

Вахмистр вызвал ефрейтора и спросил его:

— Обед раздобыли?

— Принесли ему копчёной свинины с капустой и кнедликом. Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет ещё.

— Дать! — великодушно разрешил вахмистр. — Когда напьётся чаю, приведите его ко мне.

Через полчаса ефрейтор привёл Швейка, сытого и, как всегда, довольного.

— Ну как? Понравился вам обед? — спросил вахмистр.

— Обед сносный, господин вахмистр. Только вот капусты не мешало бы побольше. Да что делать, я знаю, на меня ведь не рассчитывали. Свинина хорошая, должно быть, домашнего копчения, от домашней свиньи. И чай с ромом неплохой.

Вахмистр посмотрел на Швейка и начал:

— Правда ли, что в России пьют много чаю? А ром там тоже есть?

— Ром во всём мире есть, господин вахмистр.

«Начинает выкручиваться, — подумал вахмистр. — Раньше нужно было думать, что говоришь!» И, интимно наклонясь к Швейку, спросил:

— А девочки хорошенькие в России есть?

— Хорошенькие девочки во всём мире имеются, господин вахмистр.

«Ишь ты какой, — снова подумал вахмистр. — Небось решил вывернуться!» — и выпалил, как из сорокадвухсантиметровки:

— Что вы намеревались делать в Девяносто первом полку?

— Идти с полком на фронт.

Вахмистр с удовлетворением посмотрел на Швейка и подумал: «Правильно! Самый лучший способ попасть в Россию».

— Задумано великолепно! — с восхищением сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на Швейка, но не прочёл в его глазах ничего, кроме полнейшего спокойствия.

«И глазом не моргнёт, — ужаснулся в глубине души вахмистр. — Ну и выдержка у них! Будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги ходуном заходили».

— Утром мы отвезём вас в Писек, — проронил он как бы невзначай. — Вы были когда-нибудь в Писеке?

— В тысяча девятьсот десятом году на императорских манёврах.

На лице вахмистра заиграла приятная торжествующая улыбка. Он чувствовал, что в умении допрашивать превзошёл самого себя.

— Вы оставались там до конца манёвров?

— Ясное дело, господин вахмистр. Я был в пехоте.

Швейк продолжал смотреть на вахмистра, который вертелся на стуле от радости и не мог больше сдерживаться, чтобы не вписать всё в рапорт. Он вызвал ефрейтора и приказал отвести Швейка, а сам приписал в своём рапорте:

«План его был таков: проникнув в ряды Девяносто первого пехотного полка, просить немедленно отправить его на фронт; там он при первой возможности перебежал бы в Россию, ибо видел, что возвращение туда иным путём благодаря бдительности наших органов невозможно. Вполне вероятно, что он мог бы с успехом провести в жизнь свои намерения, так как, согласно его показаниям, полученным путём продолжительного перекрёстного допроса, он ещё в 1910 году участвовал в качестве рядового в императорских манёврах в окрестностях Писека, из чего видно, что у него большой опыт в этой области. Позволю себе подчеркнуть, что собранный мною обвинительный материал является результатом моей системы перекрёстного допроса».

В дверях появился ефрейтор.

— Господин вахмистр! Он просится в нужник.

— Bajonett auf![66] — скомандовал вахмистр. — Или нет, приведите его сюда.

— Вам нужно в уборную? — любезно спросил Швейка вахмистр. — Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?

— Совершенно верно. Мне нужно «по-большому», господин вахмистр, — ответил Швейк.

— Смотрите, чтобы не случилось чего другого, — многозначительно сказал вахмистр, пристёгивая кобуру с револьвером. — Я пойду с вами.

— У меня хороший револьвер, — сообщил он Швейку по дороге, —

семизарядный, абсолютно точно бьёт в цель.

Однако, раньше чем выйти во двор, вахмистр позвал ефрейтора и тихо сказал ему:

— Примкните штык и, когда он войдёт внутрь, станьте позади уборной. Как бы он не сделал подкопа через выгребную яму.

Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, которая уныло торчала посреди двора неподалёку от навозной кучи. Это был старый ветеран, там отправляли естественные потребности целые поколения. Теперь тут сидел Швейк и придерживал одной рукой верёвочку от двери, между тем как через заднее окошечко ефрейтор смотрел ему в задницу, следя, как бы он не сделал подкопа.

Ястребиные очи жандармского вахмистра впились в дверь; вахмистр обдумывал, в какую ногу ему стрелять, если Швейк предпримет попытку к бегству.

Но дверь тихонько отворилась, и из уборной вышел удовлетворённый Швейк. Он осведомился у вахмистра:

— Не слишком ли долго я там пробыл? Не задержал ли я вас?

— О, нисколько, нисколько, — ответил вахмистр и подумал: «Как они всё-таки деликатны, вежливы. Знает ведь, что его ждёт, но остаётся любезным. Надо отдать справедливость — вежлив до последней минуты. Кто из наших мог бы так себя держать?!»

Вахмистр остался в караульном помещении и сел рядом со Швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестные сёла. В настоящее время он уже сидел в Противине, в трактире «У вороного коня» и играл с сапожником в «марьяж», в перерывах доказывая, что Австрия должна победить.

Вахмистр закурил, дал набить трубку и Швейку, ефрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в тёплое гнёздышко. Спустились зимние сумерки. Наступила ночь, время дружных задушевных бесед.

Все молчали. Вахмистр долго что-то обдумывал и наконец обратился к помощнику:

— По-моему, вешать шпионов неправильно. Человек, который жертвует собой во имя долга, за свою, так сказать, родину, заслуживает почётной смерти от пули. Как по-вашему, господин ефрейтор?

— Конечно, лучше расстрелять его, а не вешать, — согласился ефрейтор. — Послали бы, скажем, нас и сказали бы: «Вы должны выяснить, сколько у русских пулемётов в их пулемётном отделении». Что же, мы переоделись бы и пошли. И за это меня вешать, как бандита?

Ефрейтор так разошёлся, что встал и провозгласил:

— Я требую, чтобы меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями!

— Вот тут-то и заковыка, — сказал Швейк. — Если парень не дурак — попробуй-ка уличи его. Никогда ничего не докажут.

— Нет, докажут! — загорячился вахмистр. — Ведь они тоже не дураки, и у них есть своя особая система. Вы сами в этом убедитесь. Убедитесь, — повторил он уже более спокойно, сопровождая свои слова приветливой улыбкой. — Сколько ни вертись — у нас никакие увёртки не помогут. Верно я говорю, господин ефрейтор?

Ефрейтор кивнул головой в знак согласия и сказал, что есть некоторые, у которых дело уже давным-давно проиграно и они могут прикидываться вполне спокойными, сколько им влезет, но это им не поможет: чем спокойнее человек выглядит, тем больше это его выдаёт.

— У вас моя школа, ефрейтор! — с гордостью провозгласил вахмистр. — Спокойствие — мыльный пузырь, но деланное спокойствие — это corpus delicti.[67] — И, прервав изложение своей теории, он обратился к ефрейтору: — Что бы такое придумать на ужин?

— А в трактир вы нынче не пойдёте, господин вахмистр?

Тут перед вахмистром встала во весь рост новая сложная проблема, требующая немедленного разрешения.

Что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит? Ефрейтор, правда, человек надёжный и осторожный, но однажды у него сбежали двое бродяг. (Фактически дело обстояло так: ефрейтору не хотелось тащиться с ними до Писека по морозу, и он отпустил их в поле около Ражиц, для проформы выпалив разок в воздух из винтовки.)

— Пошлём нашу бабку за ужином. А пиво она нам будет таскать в жбане, — разрешил наконец вахмистр эту сложную проблему. — Пусть бабка побегает — разомнёт кости.

И бабка Пейзлерка, которая им прислуживала, действительно порядочно набегалась за этот вечер. После ужина сообщение на линии жандармское отделение — трактир «У кота» не прерывалось. Бесчисленные следы больших тяжёлых сапог бабки свидетельствовали о том, что вахмистр решил в полной мере вознаградить себя за отсутствие в трактире «У кота».

Когда же — в несчётный раз — бабка Пейзлерка появилась в трактире и передала, что господин вахмистр кланяется и просит прислать ему бутылку контушовки, терпение любопытного трактирщика лопнуло.

— Кто там у них?

— Да подозрительный какой-то, — ответила на его вопрос бабка. — Я сейчас оттуда — сидят с ним оба в обнимку, а господин вахмистр гладит его по голове и приговаривает: «Золотце ты моё, головушка ты моя славянская, шпиончик ты мой ненаглядный!..»

Глубокой ночью жандармское отделение являло собой такую картину: ефрейтор спал, громко храпя; он растянулся поперёк постели, как был — в полной форме; напротив сидел вахмистр с остатками контушовки на дне бутылки и обнимал Швейка за шею, слёзы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от контушовки. Он бормотал:

— Ну, признайся — в России такой хорошей контушовки не найти. Скажи, чтобы я мог спокойно заснуть. Признайся, будь мужчиной!

— Не найти.

Вахмистр навалился на Швейка:

— Утешил ты меня, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если виновен, зачем отрицать?

Он поднялся и, качаясь из стороны в сторону, с пустой бутылкой в руке направился в свою комнату, бормоча:

— Если б-бы я сразу не поп-пал на п-правильный п-путь, могло бы совсем другое п-получиться.

Прежде чем свалиться в мундире на постель, он вытащил из письменного стола свой рапорт и попытался дополнить его следующим материалом: «Ich muss noch dazu beizufugen, das die russische Kontuszowka[68] на основании § 56…»

Он сделал кляксу, слизнул её языком и, глупо улыбаясь, свалился на постель и заснул мёртвым сном.

К утру жандармский ефрейтор, спавший на кровати у противоположной стены, поднял такой храп с присвистом, что Швейк проснулся. Он встал, хорошенько потряс ефрейтора и улёгся опять. Пропели петухи, а когда взошло солнце, бабка Пейзлерка, выспавшись после ночной беготни, пришла растопить печку. Двери она нашла открытыми, все спали глубоким сном. Керосиновая лампа в караульном помещении ещё коптила. Бабка подняла тревогу и стащила ефрейтора и Швейка с кроватей. Ефрейтору она сказала:

— Хоть бы постыдились спать одетым, нешто вы скотина. — А Швейку сделала замечание, чтобы он застёгивал штаны, когда перед ним женщина.

Наконец она заставила заспанного ефрейтора пойти разбудить вахмистра и сказать ему, что не дело дрыхнуть так долго.

— Ну и в компанию вы попали; — ворчала бабка, обращаясь к

Швейку, пока ефрейтор будил вахмистра. — Пропойцы один хуже другого. Самих себя готовы пропить. Мне уже третий год должны за услуги, а стоит только заикнуться, вахмистр грозит: «Молчите, бабушка, а не то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын — браконьер и господские дрова ворует». Вот и маюсь с ними уже четвёртый год. — Бабка глубоко вздохнула и продолжала ворчать: — Вахмистра берегитесь пуще всего. Лиса и гадина, каких мало. Так и ищет, кого бы сцапать и посадить.

Вахмистра еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро.

Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком и с трудом начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил, мутным взглядом смотря на ефрейтора:

— Сбежал?!

— Боже сохрани, парень честный.

Ефрейтор зашагал по комнате, выглянул в окно, вернулся, оторвал кусок от лежавшей на столе газеты и скатал из него шарик. Было видно, что он хочет что-то сказать.

Вахмистр неуверенно взглянул на него и наконец, точно желая уяснить, что тот о нём думает, сказал:

— Ладно уж, я вам помогу, господин ефрейтор; вчера небось я опять здорово набуянил?

Ефрейтор укоризненно посмотрел на своего начальника:

— Если бы вы только знали, господин вахмистр, что за речи вы вчера вели! Чего-чего вы только ему не наговорили! — И, наклонясь к самому уху вахмистра, зашептал: — Что все мы — чехи и русские — одной славянской крови, что Николай Николаевич на будущей неделе будет в Пршерове, что Австрии не удержаться, и советовали ему при дальнейшем расследовании всё отрицать и плести с пятое на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Ещё вы сказали, что очень скоро всё лопнет, повторятся гуситские войны, крестьяне пойдут с цепами на Вену, из государя императора песок сыплется, и он скоро ноги протянет, а император Вильгельм — зверь. Потом вы ему обещали посылать в тюрьму деньги, чтобы подкормиться, и много ещё такого.

Ефрейтор отошёл от вахмистра.

— Я всё это отлично помню, — прибавил он, — потому что спервоначалу я клюкнул совсем немного, а потом уж, верно, нализался и дальше не помню ничего.

Вахмистр поглядел на ефрейтора.

— А я помню, — сказал он, — как вы говорили, что мы против

русских — сопляки, и даже при бабке орали: «Да здравствует Россия!»

Ефрейтор нервно зашагал по комнате.

— Вы орали всё это, словно вас режут, — сказал вахмистр. — А потом повалились поперёк кровати и захрапели.

Ефрейтор остановился у окна и, барабаня пальцем по стеклу, заявил:

— Да и вы тоже, господин вахмистр, при бабке язык за зубами не держали. Вы ей, помню, сказали: «Бабушка, зарубите себе на носу: любой император или король заботится только о своём кармане, потому и война идёт. То же самое и эта развалина, „старик Прогулкин“, которого нельзя выпустить из сортира без того, чтобы он не загадил весь Шенбрунн».

— Я это говорил?!

— Да, господин вахмистр, именно это вы говорили, перед тем как идти на двор блевать, а ещё кричали: «Бабушка, суньте мне палец в глотку!»

— А вы тоже прекрасно выразились, — прервал его вахмистр. — Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королём?

— Этого я что-то-не помню, — нерешительно отозвался ефрейтор.

— Ещё бы вы помнили! Пьян был в стельку, и глаза словно у поросёнка, а когда вам понадобилось «на двор», вы, вместо того чтобы выйти в дверь, полезли на печку.

Оба замолкли, пока наконец продолжительное молчание не нарушил вахмистр:

— Я всегда вам говорил, что алкоголь — погибель. Пить не умеете, а пьёте. Что, если бы он у нас сбежал?. Чем бы мы с вами оправдались? Ах ты господи, как башка трещит! Говорю вам, господин ефрейтор, — продолжал вахмистр, — именно потому, что он не сбежал, мне совершенно ясно, что это за тонкая и опасная штучка. Когда его там станут допрашивать, он заявит, что двери у нас были не заперты всю ночь, что мы были пьяны и он мог бы тысячу раз убежать, если б чувствовал себя виновным. Счастье ещё, что такому человеку не поверят, и если мы под присягой скажем, что это выдумка и наглая ложь, те ему сам бог не поможет, а ещё пришьют лишний параграф — и всё. В его положении лишний параграф никакой роли не играет… Ох, хоть бы голова так не болела!

Наступила тишина. Через минуту вахмистр приказал позвать бабку.

— Послушайте, бабушка, — сказал вахмистр Пейзлерке, строго глядя ей в лицо. — Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке и принесите сюда. — И на вопросительный взгляд бабки крикнул: — Живо! Чтобы через минуту было здесь!

Затем вахмистр вынул из стола две свечки со следами сургуча, оставшимися после запечатывания официальных бумаг, и, когда бабка приковыляла с распятием, поставил крест на край стола между двумя свечками, зажёг свечки и торжественно произнёс:

— Сядьте, бабушка.

Бабка Пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван и испуганно посмотрела на вахмистра, свечи и распятие. Бабку охватил страх, и было видно, как дрожат у неё ноги и сложенные на коленях руки.

Вахмистр прошёлся раза два мимо неё, потом остановился и торжественно изрёк:

— Вчера вечером вы были свидетельницей великого события, бабушка. Возможно, что ваш глупый ум этого не понимает. Солдат тот — разведчик, шпион, бабушка!

— Иисус Мария! — воскликнула Пейзлерка. — Пресвятая богородица! Мария Скочицкая!

— Тихо! Так вот: для того чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести всяческие, быть может странные, разговоры, которые вы вчера слышали. Небось слышали вы, какие странные разговоры мы вели?

— Слышала, — дрожащим голосом пролепетала бабка.

— Эти речи, бабушка, мы вели только к тому, чтобы он нам доверился и признался. И нам это удалось. Мы вытянули из него всё. Сцапали голубчика.

Вахмистр прервал свою речь, чтобы поправить фитили на свечках, и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабку Пейзлерку:

— Вы, бабушка, присутствовали при сём, таким образом, посвящены в эту тайну. Эта тайна государственная, вы о ней и заикнуться никому не смеете. Даже на смертном одре не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить.

— Иисус Мария, Иосиф! — заголосила Пейзлерка. — Занесла меня сюда нелёгкая!

— Не реветь! Встаньте, подойдите к святому распятию, сложите два пальца и подымите руку. Будете сей час присягать мне. Повторяйте за мной…

Бабка Пейзлерка заковыляла к столу, причитая:

— Пресвятая богородица! Мария Скочицкая! И за чем только я этот порог переступила!

С креста глядело на неё измученное лицо Христа, свечки коптили, а бабке всё это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, коленки у неё дрожали, руки тряслись. Она подняла руку со сложенными

пальцами, и жандармский вахмистр торжественно, с выражением, произнёс слова присяги, которые бабка повторяла за ним.

— Клянусь богу всемогущему и вам, господин вахмистр, что ничего о том, что здесь видела и слышала, никому до смерти своей не скажу ни слова, даже если меня будут спрашивать. Да поможет мне в этом господь бог!

— Теперь поцелуйте крест, — приказал вахмистр после того, как бабка Пейзлерка, громко всхлипывая, повторила присягу и набожно перекрестилась. — Так, а теперь отнесите распятие туда, где его взяли, и скажите там, что оно понадобилось мне для допроса.

Ошеломлённая Пейзлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно видно было, как она шла по дороге, поминутно оглядываясь на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.

Вахмистр между тем переписывал свой рапорт, который он ночью дополнил кляксами, размазав их по тексту, словно мармелад.

Он всё переделал заново и вспомнил, что позабыл допросить Швейка ещё об одной вещи. Он велел привести Швейка и спросил его:

— Умеете фотографировать?

— Умею.

— А почему не носите с собой аппарата?

— Потому что его у меня нет, — чистосердечно признался Швейк.

— А если бы аппарат у вас был, вы бы фотографировали? — спросил вахмистр.

— Если бы да кабы, то во рту росли бобы, — простодушно ответил Швейк, встречая спокойным взглядом испытующий взгляд вахмистра.

У вахмистра в этот момент опять так разболелась голова, что он не мог придумать другого вопроса, кроме как:

— Трудно ли фотографировать вокзалы?

— Легче, чем что другое, — ответил Швейк. — Во-первых, вокзал не двигается, а стоит на одном месте, а во-вторых, ему не нужно говорить: «Сделайте приятную улыбку».

Теперь вахмистр мог дополнить свой рапорт. «Zu dem Bericht № 2172 melde ich…»[69] В этом дополнении вахмистр дал волю своему вдохновению:

«При перекрёстном допросе арестованный, между прочим, показал, что умеет фотографировать и охотнее всего делает снимки вокзалов. Хотя при обыске фотографического аппарата у него не было обнаружено, но

имеется подозрение, что таковой у него где-нибудь спрятан и не носит он его с собой, чтоб не возбуждать подозрений; это подтверждается и его собственным признанием о том, что он делал бы снимки, если б имел при себе аппарат…»

С похмелья вахмистр в своём донесении о фотографировании всё больше и больше запутывался. Он писал:

«Из показаний арестованного совершенно ясно вытекает, что только неимение при себе аппарата помешало ему сфотографировать железнодорожные строения и вообще места, имеющие стратегическое значение. Не подлежит сомнению, что свои намерения он привёл бы в исполнение, если б вышеупомянутый фотографический аппарат, который он спрятал, был у него под рукой. Только благодаря тому обстоятельству, что аппарата при нём не оказалось, никаких снимков обнаружено у него не было».

Вахмистр был очень доволен своим произведением и с гордостью прочёл его ефрейтору.

— Недурно получилось, — сказал он. — Видите, вот как составляются доклады. Здесь всё должно быть. Следствие, милейший, не такая уж простая штука, и главное — умело изложить всё в докладе, чтобы в высшей инстанции только рот разинули. Приведите-ка его ко мне. Пора с этим делом покончить.

— Итак, господин ефрейтор отведёт вас в окружное жандармское управление в Писек, — важно сказал вахмистр Швейку. — Согласно предписанию, полагается отправить вас в ручных кандалах, но, ввиду того что вы, по моему мнению, человек порядочный, кандалов мы на вас не наденем. Я уверен, что и по дороге вы не предпримете попытки к бегству. — Вахмистр, видно, тронутый добродушием, написанным на швейковской физиономии, прибавил: — И не поминайте меня лихом. Отведите его, господин ефрейтор, вот вам моё донесение.

— Счастливо оставаться, — мягко сказал Швейк. — Спасибо вам, господин вахмистр, за всё, что вы для меня сделали. При случае черкну вам письмецо. Если попаду в ваши края, обязательно зайду к вам в гости.

Швейк с ефрейтором вышли на шоссе, и каждый встречный, видя, как они увлечены дружеской беседой, решил бы, что это старые знакомые, которых свёл случай, и теперь они вместе идут в город, скажем, в костёл.

— Никогда не думал, — говорил Швейк, — что дорога в Будейовицы окажется такой трудной. Это напоминает мне случай с мясником Хаурой из Кобылис. Очутился он раз у памятника Палацкому на Морани и ходил вокруг него до самого утра, думая, что идёт вдоль стены, а стене этой ни

конца ни краю. Он пришёл в отчаянье. К утру он совершенно выбился из сил и закричал «караул!», а когда прибежали полицейские, он их спросил, как ему пройти домой в Кобылисы, потому что, говорит, иду я вдоль какой-то стены уже пять часов, а ей конца не видать. Полицейские его забрали, а он там в участке всё расколотил.

Ефрейтор не сказал ни слова и подумал: «На кой ты мне всё это рассказываешь? Опять начал заправлять арапа насчёт Будейовиц». Они проходили мимо пруда, и Швейк поинтересовался, много ли в их районе рыболовов, которые без разрешения ловят рыбу.

— Здесь одни браконьеры, — ответил ефрейтор. — Прежнего вахмистра утопить хотели. Сторож у пруда стреляет им в задницу нарезанной щетиной, но ничего не помогает — у них в штанах жесть.

И ефрейтор слегка коснулся темы о прогрессе, о том, до чего люди дошли и как один другого обставляет, и затем развил новую теорию о том, что война — великое благо для всего человечества, потому что заодно с порядочными людьми перестреляют многих негодяев и мошенников.

— И так на свете слишком много народу, — произнёс он глубокомысленно. — Всем стало тесно, людей развелось до чёрта!

Они подходили к постоялому двору.

— Сегодня чертовски метёт, — сказал ефрейтор. — Я думаю, не мешало бы пропустить по рюмочке. Не говорите там никому, что я вас веду в Писек. Это государственная тайна.

Перед глазами ефрейтора запрыгала инструкция из центра о подозрительных лицах и об обязанностях каждого жандармского отделения «изолировать этих лиц от местного населения и строго следить, чтобы отправка их в следующую инстанцию не давала повода к распространению излишних толков и пересудов среди населения».

— Не вздумайте проговориться, что вы за птица, — сказал он. — Никому нет дела до того, что вы натворили. Не давайте повода для паники. Паника в военное время — ужасная вещь. Кто-нибудь сболтнёт — и пойдёт по всей округе! Понимаете?.

— Я панику устраивать не буду, — сказал Швейк и действительно держал себя соответственно с этим заявлением.

Когда хозяин постоялого двора разговорился с ними, Швейк проронил:

— Вот брат говорит, что за час мы дойдём до Писека.

— Так, значит, ваш брат в отпуску? — спросил любопытный хозяин у ефрейтора.

Тот, не сморгнув, ответил:

— Сегодня у него отпуск кончается.

Когда трактирщик отошёл в сторону, ефрейтор, подмигнув Швейку, сказал:

— Ловко мы его обработали! Главное, не поднимать паники — время военное.

Перед входом на постоялый двор ефрейтор сказал, что рюмочка повредить не может, но он поддался излишнему оптимизму, так как не учёл, сколько их будет, этих рюмочек. После двенадцатой он громко и решительно провозгласил, что до трёх часов начальник окружного жандармского управления обедает и бесполезно приходить туда раньше, тем более что поднимается метель. Если они придут в Писек в четыре часа вечера, времени останется хоть отбавляй. До шести времени хватит. Придётся идти в темноте, по погоде видно. Разницы никакой: сейчас ли идти или попозже — Писек никуда от них не убежит.

— Хорошо, что сидим в тепле, — заключил он. — Там, в окопах, в такую погоду куда хуже, чем нам здесь, у печки.

От большой кафельной печи несло теплом, и ефрейтор констатировал, что внешнее тепло следует дополнить внутренним с помощью различных настоек, сладких и крепких, как говорится в Галиции. У хозяина их было восемь сортов, и он скрашивал ими скуку постоялого двора, распивая все по очереди под звуки метели, гудевшей за каждым углом его домика.

Ефрейтор всё время громко подгонял хозяина, чтобы тот от него не отставал, и пил, не переставая обвинять его в том, что он мало пьёт. Это была явная клевета, так как хозяин постоялого двора уже едва держался на ногах, настойчиво предлагая сыграть в «железку», и даже стал утверждать, что прошлой ночью он слышал на востоке канонаду. Ефрейтор икнул в ответ:

— Э-это ты брось! Без паники! На этот счёт у нас есть инструкция. — И пустился объяснять, что инструкция — это свод последних распоряжений.

При этом он разболтал несколько секретных циркуляров. Хозяин постоялого двора уже абсолютно ничего не понимал. Единственно, что он мог промямлить, это, что инструкциями войны не выиграешь.

Уже стемнело, когда ефрейтор вместе со Швейком решил отправиться в Писек. Из-за метели в двух шагах ничего не было видно. Ефрейтор беспрестанно повторял:

— Жми всё время прямо до самого Писека.

Когда он произнёс это в третий раз, голос его донёсся уже не с шоссе, а откуда-то снизу, куда он скатился по снегу. Помогая себе винтовкой, он с трудом вылез на дорогу. Швейк услышал его приглушённый смех: «Как с

ледяной горы». Через минуту его снова не было слышно: он опять съехал по откосу, заорав так, что заглушил свист ветра:

— Упаду, паника!

Ефрейтор превратился в трудолюбивого муравья, который, свалившись откуда-нибудь, снова упорно лезет наверх. Он пять раз подряд повторял это упражнение и, выбравшись наконец к Швейку, уныло произнёс:

— Я бы мог вас легко потерять.

— Не извольте беспокоиться, господин ефрейтор, успокоил его Швейк. — Самое лучшее, что мы можем сделать, — это привязать себя один к другому, тогда мы не потеряем друг друга. Ручные кандалы при вас?

— Каждому жандарму полагается носить с собой ручные кандалы, — веско ответил ефрейтор, ковыляя около Швейка. — Это хлеб наш насущный.

— Так давайте пристегнёмся, — предложил Швейк, — попытка не пытка.

Мастерским движением ефрейтор замкнул одно кольцо ручных кандалов на руке Швейка, а другое — на своей. Теперь оба соединились воедино, как сиамские близнецы. Оба спотыкались, и ефрейтор тащил за собой Швейка через кучи камней, а когда падал, то увлекал его за собой. Кандалы при этом врезались им в руки. Наконец ефрейтор сказал, что так дальше не пойдёт и нужно отцепиться. После долгих тщетных усилий освободить себя и Швейка от кандалов ефрейтор вздохнул:

— Мы связаны друг с другом на веки веков.

— Аминь, — прибавил Швейк, и оба продолжали трудный путь.

Ефрейтором овладело безнадёжное отчаяние. После долгих мучений поздним вечером они дотащились до Писека. На лестнице в жандармском управлении ефрейтор удручённо сказал Швейку:

— Плохо дело — нам друг от друга не избавиться.

И действительно, дело обстояло плохо. Дежурный вахмистр послал за начальником управления ротмистром Кёнигом. Первое, что сказал ротмистр, было:

— Дыхните. Теперь понятно.

Испытанный нюх его быстро и безошибочно определил ситуацию.

— Ага! Ром, контушовка, «чёрт», рябиновка, ореховка, вишнёвка и ванильная. Господин вахмистр, — обратился он к своему подчинённому, — вот вам пример, как не должен выглядеть жандарм. Выкидывать такие штуки — преступление, которое будет разбираться военным судом. Приковать себя кандалами к арестованному и прийти вдребезги пьяным! Влезть сюда в этаком скотском виде! Снимите с них кандалы!

Ефрейтор свободной левой рукой взял под козырёк.

— Что ещё? — спросил его ротмистр.

— Осмелюсь доложить, господин ротмистр, принёс донесение.

— О вас пойдёт донесение в суд, — коротко бросил ротмистр. — Господин вахмистр, посадить обоих! Завтра утром приведите их ко мне на допрос, а донесение из Путима просмотрите и пришлите ко мне на квартиру.

Писецкий ротмистр Кёниг был типичным чиновником: строг к подчинённым и бюрократ до мозга костей.

В подвластных ему жандармских отделениях никогда не могли сказать: «Ну, слава богу, пронесло тучу!» Туча возвращалась с каждым новым посланием, подписанным рукою ротмистра Кёнига. С утра до вечера ротмистр строчил выговоры, напоминания и предупреждения и рассылал их по всей округе.

С самого начала войны над всеми жандармскими отделениями Писецкой округи нависли тяжёлые тучи. Настроение было ужасное. Бюрократические громы гремели над жандармскими головами, то и дело обрушиваясь на вахмистров, ефрейторов, рядовых жандармов или канцелярских служащих. За каждый пустяк накладывалось дисциплинарное взыскание.

— Если мы хотим победить, — говорил ротмистр Кёниг во время своих инспекционных поездок по жандармским отделениям, — «а» должно быть «а», «б» — «б», всегда нужно ставить точку над «и».

Всюду вокруг себя он подозревал заговоры и измены. У него была твёрдая уверенность, что за каждым жандармом его округи водятся грешки, порождённые военным временем, и что у каждого из них в это серьёзное время было не одно упущение по службе.

А сверху, из министерства обороны, его самого бомбардировали приказами и ставили ему на вид, что, по сведениям военного министерства, солдаты, призванные из Писецкой округи, перебегают к неприятелю.

Кёнига подстёгивали, чтобы он зорче следил за лояльностью населения. Выглядело всё это ужасно. Жёны призванных солдат шли провожать своих мужей на фронт, — и он наперёд знал, что солдаты обещают своим жёнам не позволить укокошить себя за славу государя императора.

Чёрно-жёлтые горизонты подёрнулись тучами революции. В Сербии и на Карпатах солдаты целыми батальонами переходили к неприятелю. Сдались Двадцать восьмой и Одиннадцатый полки. Последний состоял из уроженцев Писецкой округи. В этой грозовой предреволюционной

атмосфере приехали рекруты из Воднян с искусственными чёрными гвоздиками. Через писецкий вокзал проезжали солдаты из Праги и швыряли обратно сигареты и шоколад, которые им подавали в телячьи вагоны писецкие дамы.

В другой раз, когда через Писек проезжал маршевый батальон, несколько евреев из Писека закричали в виде приветствия: «Heil! Nieder mit den Serben!»[70] Им так смазали по морде, что они целую неделю потом не показывались на улице.

А в то время как происходили эти эпизоды, ясно показывающие, что обычное исполнение на органе в церквах австрийского гимна «Храни нам, боже, государя!» является ветхой позолотой и всеобщим лицемерием, из жандармских отделений приходили уже известные ответы A La Путим о том, что всё в полном порядке, никакой агитации против войны не ведётся, настроение населения 1а, а воодушевление — 1а, 1в.

— Не жандармы, а городовые! — ругался ротмистр во время своих объездов. — Вместо того чтобы повысить бдительность на тысячу процентов, вы постепенно превращаетесь в скотов. — Сделав это зоологическое открытие, он прибавлял: — Валяетесь дома на печке и думаете: «Mit ganzern Krieg kann man uns Arsch lecken!»[71]

Далее следовало перечисление обязанностей несчастных жандармов и лекция о современном политическом положении и о том, что необходимо подтянуться, чтобы всё было в порядке. После смелого и яркого наброска сверкающего идеала жандармского совершенства, направленного к усилению австрийской монархии, следовали угрозы, дисциплинарные взыскания, переводы и разносы.

Ротмистр был твёрдо убеждён, что он стоит на страже государственных интересов, что он что-то спасает и что все жандармы подвластных ему отделений лентяи, сволочи, эгоисты, подлецы, мошенники, которые ни в чём, кроме водки, пива и вина, ничего не понимают и, не имея достаточных средств на пьянство, берут взятки, медленно, но верно расшатывая Австрию.

Единственный человек, которому он доверял, был его собственный вахмистр из окружного жандармского управления, да и тот всегда в трактире делал замечания вроде: «Нынче я опять разыграл нашего старого болвана».

Ротмистр изучал донесение жандармского путимского вахмистра о Швейке. Перед ним стоял его вахмистр Матейка и в глубине души посылал ротмистра вместе с его донесениями ко всем чертям, так как внизу, в

пивной, его ждала партия в «шнопс».

— На днях я вам говорил, Матейка, — сказал ротмистр, — что самый большой болван, которого мне пришлось в жизни встречать, это вахмистр из Противина. Но, судя по этому донесению, путимский вахмистр перещеголял того. Солдат, которого привёл этот сукин сын пропойца-ефрейтор, — помните, они были привязаны друг к другу, как собаки, — вовсе не шпион. Это вне всякого сомнения, просто он самый что ни на есть обыкновенный дезертир. Вахмистр в своём донесении порет несусветную чушь; ребёнку с одного взгляда станет ясно, что он надрызгался, подлец, как папский прелат. Немедленно приведите этого солдата, — приказал он, просматривая донесение из Путима. — Никогда в жизни не случалось мне видеть более идиотского набора слов. Мало того: он посылает сюда этого подозрительного типа под конвоем такого осла, как его ефрейтор. Плохо меня эта публика знает! А я могу быть жестоким. До тех пор, пока они со страху раза три в штаны не наложат, до тех пор все думают, что я из себя верёвки вить позволю!

Ротмистр начал разглагольствовать о том, что жандармы не обращают внимания на приказы, и по тому, как составляются донесения, видно, что каждый вахмистр превращает всё в шутку и старается только запутать дело.

Когда сверху обращают внимание вахмистров на то, что не исключена возможность появления в их районе разведчиков, жандармские вахмистры начинают вырабатывать этих разведчиков оптом. Если война продлится, то все жандармские отделения превратятся в сумасшедшие дома. Пусть канцелярия отправит телеграмму в Путим, чтобы вахмистр явился завтра в Писек. Он выбьет ему из башки это «событие, огромной важности», о котором тот пишет в своём донесении.

— Из какого полка вы дезертировали? — встретил ротмистр Швейка.

— Ни из какого полка.

Ротмистр посмотрел на Швейка и увидел на его лице выражение полнейшей беззаботности.

— Где вы достали обмундирование? — спросил ротмистр.

— Каждому солдату, когда он поступает на военную службу, выдаётся обмундирование, — спокойно улыбаясь, ответил Швейк. — Я служу в Девяносто первом полку и не только не дезертировал из своего полка, а наоборот.

Это слово «наоборот» он произнёс с таким ударением, что ротмистр, изобразив на своём лице ироническое сострадание, спросил:

— Как это «наоборот»?

— Дело очень простое, — объяснил Швейк. — Я иду к своему полку, разыскиваю его, направляюсь в полк, а не убегаю от него. Я думаю только о том, как бы побыстрее попасть в свой полк. Меня страшно нервирует, что я, как замечаю, удаляюсь от Чешских Будейовиц. Только подумать, целый полк меня ждёт! Путимский вахмистр показал на карте, что Будейовицы лежат на юге, а вместо этого отправил меня на север.

Ротмистр только махнул рукой, как бы говоря: «Он и почище ещё номера выкидывает, а не только отправляет людей на север».

— Значит, вы не можете найти свой полк? — сказал он. — Вы его искали?

Швейк разъяснил ему всю ситуацию. Назвал Табор и все места, через которые он шёл до Будейовиц: Милевско — Кветов — Враж — Мальчин — Чижова — Седлец — Гораждевице — Радомышль — Путим — Штекно — Страконице — Волынь — Дуб — Водняны — Противин и опять Путим. С большим воодушевлением описал он свою борьбу с судьбою, поведал ротмистру о том, как он всеми силами, несмотря ни на какие препятствия и преграды, старался пробиться к своему Девяносто первому полку в Будейовицы и как все его усилия оказались тщетными.

Швейк говорил с жаром, а ротмистр машинально чертил карандашом на бумаге изображение заколдованного круга, из которого бравый солдат Швейк не мог вырваться в поисках своего полка.

— Что и говорить, геркулесова работа, — сказал наконец ротмистр, с удовольствием выслушав признание Швейка о том, что его угнетает такая долгая задержка и невозможность попасть вовремя в полк. — Несомненно, это было удивительное зрелище, когда вы кружили около Путима!

— Всё бы уже было ясно, — заметил Швейк, — не будь этого господина вахмистра в несчастном Путиме. Он не спросил у меня ни имени, ни номера полка, и всё представлялось ему как-то шиворот-навыворот. Ему бы нужно отправить меня в Будейовицы, а там бы в казармах ему сказали, тот ли я Швейк, который ищет свой полк, или же я какой-нибудь подозрительный субъект. Сегодня я мог бы уже второй день находиться в своём полку и исполнять воинские обязанности.

— Почему же вы в Путиме не сказали, что произошло недоразумение?

— Потому как я видел, что с ним говорить напрасно. Бывает, знаете, найдёт на человека такой столбняк. Старый Рампа-трактирщик на Виноградах говаривал, когда у него просили взаймы, что порой человек становится глух, как чурбан.

После недолгого размышления ротмистр пришёл к заключению, что человек, стремящийся попасть в свой полк и предпринявший для этого

целое кругосветное путешествие, — ярко выраженный дегенерат. Соблюдая все красоты канцелярского стиля, он продиктовал машинистке нижеследующее:

> *В штаб Девяносто первого его величества полка в Чешских Будейовицах*
>
> Сим препровождается к вам в качестве приложения Швейк Йозеф, состоящий, по его утверждению, рядовым вышеупомянутого полка и задержанный, согласно его показаниям, жандармами в Путиме Писецкого округа по подозрению в дезертирстве. Вышеупомянутый Швейк Йозеф утверждает, что направлялся к вышеозначенному полку. Препровождаемый обладает ростом ниже среднего, черты лица обыкновенные, нос обыкновенный, глаза голубые, особых примет нет. В приложении препровождается вам счёт за довольствование вышеназванного, который соблаговолите перевести на счёт министерства обороны, с покорнейшей просьбой подтвердить принятие препровождаемого. В приложении С. I посылается также список казённых вещей, бывших на задержанном в момент его задержания, принятие коих при сём также следует подтвердить.

Время путешествия от Писека до Будейовиц пролетело для Швейка быстро и незаметно. Его попутчиком на сей раз оказался молодой жандарм-новичок, который не спускал с Швейка глаз и отчаянно боялся, как бы тот не сбежал. Страшный вопрос мучил всё время жандарма: «Что делать, если мне вдруг захочется в уборную по большому или по малому делу?»

Вопрос был разрешён так: в случае нужды взять Швейка с собой.

Всю дорогу от вокзала до Мариинских казарм в Будейовицах жандарм не спускал с Швейка глаз и всякий раз, приближаясь к углу или перекрёстку, как бы между прочим заводил разговор о количестве выдаваемых конвойному боевых патронов; в ответ на это Швейк высказывал своё глубокое убеждение в том, что ни один жандарм не позволит себе стрелять посреди улицы, во избежание всевозможных несчастий.

Жандарм с ним спорил, и оба не заметили, как добрались до казарм.

Дежурство по казармам уже второй день нёс поручик Лукаш. Ничего

не подозревая, он сидел в канцелярии за столом, когда к нему привели Швейка и вручили сопроводительные документы.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут, — торжественно произнёс Швейк, взяв под козырёк.

Свидетелем всей этой сцены был прапорщик Котятко, который потом рассказывал, что, услышав голос Швейка, поручик Лукаш вскочил, схватился за голову и упал на руки Котятко. Когда его привели в чувство, Швейк, стоявший всё время во фронт, руку под козырёк, повторил ещё раз:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять тут.

Бледный как мел поручик Лукаш дрожащей рукой принял сопроводительные бумаги, подписал их, велел всем выйти и, сказав жандарму, что всё в порядке, заперся со Швейком в канцелярии.

Так кончился будейовицкий анабасис Швейка. Нет сомнения, что, если б Швейка не лишили свободы передвижения, он сам дошёл бы до Будейовиц. Если доставку Швейка по месту службы поставили себе в заслугу казённые учреждения, то это просто ошибка. При швейковской энергии и неистощимом желании воевать вмешательство властей в этом случае было только палкой в колёсах.

Швейк и поручик Лукаш смотрели друг на друга. В глазах поручика сверкали ярость, угроза и отчаяние. Швейк же глядел на поручика нежно и восторженно, как на потерянную и вновь найденную возлюбленную.

В канцелярии было тихо, как в церкви. Слышно было только, как кто-то ходит взад и вперёд по коридору. Какой-то добросовестный вольноопределяющийся, оставшийся дома из-за насморка, — это чувствовалось по его голосу, — гнусавя, зубрил «Как должно принимать членов августейшей семьи при посещении ими крепостей». Чётко доносились слова: «Sobald die hochste Herrschaft in der Nahe der Festung aniangt, ist das Geschiitz auf allen Bastionen und Werken abzufeuern, der Platzmajor empfangt dieselbe mit dem Degen in der Hand zu Pferde, und reitet sodann vor».[72]

— Заткнитесь вы там! — крикнул в коридор поручик. — Убирайтесь ко всем чертям! Если у вас бред, так лежите в постели.

Было слышно, как усердный вольноопределяющийся удаляется и как с конца коридора, словно эхо, раздаётся его гнусавый голос: «In dem Augenblicke, als der Kommandant salutiert, ist das Abfeuern des Geschutzes zu wiederholen, welches bei dem Absteigen der hochsten Herrschaft zum drittenmale zu geschehen hat»[73]

А поручик и Швейк молча продолжали смотреть друг на друга, пока

наконец первый не сказал тоном, полным злой иронии:

— Добро пожаловать в Чешские Будейовицы, Швейк! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ордер на ваш арест уже выписан, и завтра вы явитесь на рапорт в полк. Я из-за вас страдать не буду. Довольно я с вами намучился. Моё терпение лопнуло. Как только подумаю, что я мог так долго жить рядом с таким идиотом… — Поручик зашагал по канцелярии. — Нет, это просто ужасно! Теперь мне просто удивительно, почему я вас до сих пор не застрелил. Что бы мне за это сделали? Ничего — Меня бы оправдали, понимаете?

— Так точно, господин поручик, вполне понимаю.

— Бросьте ваши идиотские шутки, а то и в самом деле случится что-нибудь нехорошее! Вас наконец-то проучат как следует. В своей глупости вы зашли так далеко, что вызвали катастрофу. — Поручик Лукаш потёр руки: — Теперь вам каюк!

Он вернулся к столу, написал на листке бумаги несколько строк, вызвал дежурного и велел ему отвести Швейка к профосу и передать последнему записку.

Швейка провели по двору, и поручик с нескрываемой радостью увидел, как отпирается дверь с чёрно-жёлтой дощечкой и надписью «Regimentsarrest»,[74] как Швейк исчезает за этой дверью и как профос через минуту выходит оттуда один.

— Слава богу, — подумал поручик вслух. — Наконец то он там!

В тёмной тюрьме Мариинских казарм Швейка сердечно встретил валявшийся на соломенном матраце толстый вольноопределяющийся. Он сидел там уже второй день и ужасно скучал. На вопрос Швейка, за что он сидит, вольноопределяющийся ответил, что за сущую ерунду. Ночью на площади под галереей он в пьяном виде случайно съездил по шее одному артиллерийскому поручику, собственно говоря, даже не съездил, а только сбил у него с головы фуражку. Вышло это так: артиллерийский поручик стоял ночью под галереей и, по всей видимости, охотился за проституткой. Вольноопределяющийся, к которому поручик стоял спиной, принял его за своего знакомого, вольноопределяющегося Франтишека Матерну.

— Точь-в-точь такой же заморыш, — рассказывал он Швейку. — Ну, я это потихоньку подкрался сзади, сшиб с него фуражку и говорю: «Здорово, Франта!» А этот идиотина как начал свистеть! Ну, патруль и отвёл меня. Возможно, — предположил вольноопределяющийся, — ему при этом раза два и попало по шее, но, по-моему, это дела не меняет, потому что тут ошибка явная. Он сам признаёт, что я сказал: «Здорово, Франта!» — а его зовут Антоном. Дело ясное, но мне может повредить то, что я сбежал из

госпиталя, а если вскроется дело с «книгой больных»…

— Когда меня призывали, — продолжал он, — я заранее снял комнату здесь, в Будейовицах, и старался обзавестись ревматизмом. Три раза подряд напивался, а потом шёл за город, ложился в канаву под дождём и снимал сапоги. Но ничего не помогало. Потом я целую неделю зимой по ночам ходил купаться в Мальше, но добился совсем другого: так, брат, закалился, что потом целую ночь спал у себя во дворе на снегу и, когда меня утром будили домашние, ноги у меня были тёплые, словно я лежал в тёплых туфлях. Хоть бы ангину схватить! Нет, ни черта не получалось! Да что там: ерундовый триппер и то не мог поймать! Каждый божий день я ходил в «Порт-Артур», кое-кто из моих коллег уже успел подцепить там воспаление семенных желез, их оперировали, а у меня иммунитет. Чертовски, брат, не везёт! Наконец познакомился я «У розы» с одним инвалидом из Глубокой, и он мне сказал, чтобы я заглянул к нему в воскресенье в гости на квартиру, и ручался, что на следующий же день ноги у меня будут, что твои вёдра. У него были дома шприц и игла для подкожного впрыскивания. И действительно, я из Глубокого еле-еле домой дошёл. Не подвёл, золотая душа! Наконец-то я добился мышечного ревматизма. Моментально в госпиталь — и дело было в шляпе! Потом счастье ещё раз улыбнулось мне: в Будейовицы, в госпиталь, был переведён мой родственник, доктор Масак из Жижкова. Только ему я обязан, что так долго продержался в госпитале. Я, пожалуй, дотянул бы там и до освобождения от службы, да сам испортил себе всю музыку этим несчастным «Krankenbuch`ом».[75] Штуку я придумал знаменитую: раздобыл себе большую конторскую книгу, налепил на неё наклейку и вывел: «Krankenbuch des 91, Reg.», рубрики и всё прочее, как полагается. В эту книгу я заносил вымышленные имена, род болезни, температуру. Каждый день после обхода врача я нахально выходил с книгой под мышкой в город. У ворот госпиталя всегда дежурили ополченцы, так что и в этом отношении я был застрахован: покажу им книгу, а они мне под козырёк. Обыкновенно я шёл к одному знакомому чиновнику из податного управления, переодевался у него в штатское и отправлялся в пивную. Там, в своей компании, мы вели различные предательские разговорчики. Скоро я так обнаглел, что и переодеваться в штатское не стал, а ходил по городу и по трактирам в полной форме. В госпиталь, на свою койку, я возвращался только под утро, а если меня останавливал ночью патруль, я, бывало, покажу только «Krankenbuch» Девяносто первого полка, больше меня ни о чём не спрашивают. У ворот госпиталя опять, ни слова не говоря, показывал книгу и всегда благополучно добирался до своей койки… Обнаглел, брат, я так, что мне казалось, никто ничего мне сделать не может,

пока не произошла роковая ошибка ночью, на площади, под арками. Эта ошибка ясно мне доказала, что не все деревья, товарищ, растут до неба. Гордость предшествует падению. Что слава? Дым. Даже Икар обжёг себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат! В другой раз будет мне наукой, чтобы не верил случайности, а бил самого себя по морде два раза в день, утром и вечером, приговаривая: осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. После вакханалий и оргий всегда приходит моральное похмелье. Это, брат, закон природы. Подумать только, что я всё дело себе испортил! Глядишь, я бы уже был feiddienstungfahig.[76] Такая протекция! Околачивался бы где-нибудь в канцелярии штаба по пополнению воинских частей… Но моя собственная неосторожность подставила мне ножку.

Свою исповедь вольноопределяющийся закончил торжественно:

— И Карфаген пал, от Ниневии остались одни развалины, дорогой друг, но всё же — выше голову! Пусть не думают, что если меня пошлют на фронт, то я сделаю хоть один выстрел. Regimentsraport![77] Исключение из школы! Да здравствует его императорского и королевского величества кретинизм! Буду я ещё корпеть в школе и сдавать экзамены! Кадет, юнкер, подпоручик, поручик… Начхать мне на них! Offiziersschule! Behandlung jener Schuler derselben, welche einen Jahrgang repetiren mussen![78] Вся армия разбита параличом! На каком плече носят винтовку: на левом или на правом? Сколько звёздочек у капрала? Evidenzhaltung Militarreservemanner! Himmelherrgott,[79] курить нечего, братец! Хотите, я научу вас плевать в потолок? Посмотрите, вот как это делается. Задумайте перед этим что-нибудь, и ваше желание исполнится. Пиво любите? Могу рекомендовать вам отличную воду, вон там, в кувшине. Если хотите вкусно поесть, рекомендую пойти в «Мещанскую беседу». Кроме того, со скуки рекомендую вам заняться сочинением стихов. Я уже создал здесь целую эпопею:

Профос дома? Крепко спит,
Пока враг не налетит.
Тут он встанет ото сна,
Мысль его, как день, ясна;
Против вражьей канонады
Он воздвигнет баррикады,
Пустит в ход скамейку, нару
И затянет, полон жару,

В честь австрийского двора:
«Мы врагу готовим кару,
Императору ура!»

— Видите, товарищ, — продолжал толстяк вольноопределяющийся, — а вы говорите, что в народе уже нет прежнего уважения к нашей обожаемой монархии. Арестант, которому и покурить-то нечего и которого ожидает полковой рапорт, являет нам прекраснейший пример приверженности к трону и сочиняет оды единой и неделимой родине, которую лупят и в хвост и в гриву. Его лишили свободы, но с уст его льются слова безграничной преданности императору. «Morituri te salutant, caesar!» — Идущие на смерть, тебя приветствуют, цезарь. А профос — дрянь. Нечего сказать, хорош у нас слуга! Позавчера я ему дал пять крон, чтобы он сбегал за сигаретами, а он, сукин сын, сегодня утром мне заявляет, что здесь курить нельзя, ему, мол, из-за этого будут неприятности. А эти пять крон, говорит, вернёт мне, когда будет получка. Да, дружок, нынче никому нельзя верить. Лучшие принципы морали извращены. Обворовать арестанта, а? И этот тип ещё распевает себе целый день: «Wo man singt, da leg'dich sicher nieder, bose Leute haben keine Lider!»[80] Вот негодяй, хулиган, подлец, предатель!

После этого вольноопределяющийся расспросил Швейка, в чём тот провинился.

— Искал свой полк? — посочувствовал вольноопределяющийся. — Недурное турне. Табор — Милевско — Кветов — Враж — Мальчин — Чижова — Седлец — Гораждевице — Радомышль — Путим — Штекно — Страконице — Волынь — Дуб — Водняны — Противин — Путим — Писек — Будейовицы… Тернистый путь! И вы завтра на рапорт к полковнику? О милый брат! Мы свидимся на месте казни. Завтра наш полковник Шрёдер опять получит большое удовольствие. Вы себе даже представить не можете, как на него действуют полковые происшествия. Носится по двору, как потерявший хозяина барбос, с высунутым, как у дохлой кобылы, языком. А эти его речи, предупреждения! И плюётся при этом, словно слюнявый верблюд. И речь его бесконечна, и вам кажется, что раньше, чем он кончит, рухнут стены Мариинских казарм. Я-то его хорошо знаю, был у него с рапортом. Я пришёл на призыв в высоких сапогах и с цилиндром на голове, а из-за того, что портной не успел мне сшить военной формы, я и на учебный плац явился в таком же виде. Встал на левый фланг и маршировал вместе со всеми. Полковник Шрёдер подъехал на лошади ко мне, чуть меня не сшиб. «Was machen Sie hier, Sie

Zivilist?!»[81] — заорал он на меня так, что, должно быть, на Шумаве было слышно. Я ему вполне корректно отвечаю, что я вольноопределяющийся и пришёл на учение. Посмотрели бы вы на него! Ораторствовал целых полчаса и потом только заметил, что я отдаю ему честь в цилиндре. Тут он завопил, что завтра я должен явиться к нему на полковой рапорт, и поскакал бог знает куда, словно дикий всадник, а потом прискакал галопом обратно, снова начал орать, бесноваться и бить себя в грудь: меня велел немедленно убрать с плаца и посадить на гауптвахту. На полковом рапорте он лишил меня отпуска на четырнадцать дней, велел нарядить в какие-то немыслимые тряпки из цейхгауза и грозил, что спорет мне нашивки.

«Вольноопределяющийся — это нечто возвышенное, эмбрион славы, воинской чести, герой! — орал этот идиот полковник. — Вольноопределяющийся Вольтат, произведённый после экзамена в капралы, добровольно отправился на фронт и взял в плен пятнадцать человек. В тот момент, когда он их привёл, его разорвало гранатой. И что же? Через пять минут вышел приказ произвести Вольтата в младшие офицеры! Вас также ожидала блестящая будущность: повышения и отличия. Ваше имя было бы записано в золотую книгу нашего полка!» — Вольноопределяющийся сплюнул. — Вот, брат, какие ослы родятся под луной. Плевать мне на ихние нашивки и привилегии, вроде той, что ко мне каждый день обращаются: вольноопределяющийся, вы — скотина. Заметьте, как красиво звучит «вы — скотина», вместо грубого «ты — скотина», а после смерти вас украсят Signum laudis или большой серебряной медалью. Его императорского и королевского величества поставщики человеческих трупов со звёздочками и без звёздочек! Любой бык счастливее нас с вами. Его убьют на бойне сразу и не таскают перед этим на полевое ученье и на стрельбище.

Толстый вольноопределяющийся перевалился на другой тюфяк и продолжал:

— Факт, что когда-нибудь всё это лопнет. Такое не может вечно продолжаться. Попробуйте надуть славой поросёнка — обязательно лопнет. Если поеду на фронт, я на нашей теплушке напишу:

> Три тонны удобренья для вражеских полей;
> Сорок человечков иль восемь лошадей.

Дверь отворилась, и появился профос, принёсший четверть пайка солдатского хлеба на обоих и свежей воды.

Даже не приподнявшись с соломенного тюфяка, вольноопределяющийся приветствовал профоса следующими словами:

— Как это возвышенно, как великодушно с твоей стороны посещать заточённых, о святая Агнесса Девяносто первого полка! Добро пожаловать, ангел добродетели, чьё сердце исполнено сострадания! Ты отягощён корзинами яств и напитков, которые должны утешить нас в нашем несчастье. Никогда не забудем мы твоего великодушия. Ты — луч солнца, упавший к нам в темницу!

— На рапорте у полковника у вас пропадёт охота шутить, — заворчал профос.

— Ишь как ощетинился, хомяк, — ответил с нар вольноопределяющийся. — Скажи-ка лучше, как бы ты поступил, если б тебе нужно было запереть десять вольнопёров? Да не смотри, как балбес, ключарь Мариинских казарм! Запер бы двадцать, а десять бы выпустил, суслик ты этакий! Если бы я был военным министром, я бы тебе показал, что значит военная служба! Известно ли тебе, что угол падения равен углу отражения? Об одном тебя только прошу: дай мне точку опоры, и я подниму весь земной шар вместе с тобою! Фанфарон ты этакий!

Профос вытаращил глаза, затрясся от злобы и вышел, хлопнув дверью.

— Общество взаимопомощи по удалению профосов, — сказал вольноопределяющийся, справедливо деля хлеб на две половины. — Согласно параграфу шестнадцатому дисциплинарного устава, арестованные до вынесения приговора должны довольствоваться солдатским пайком, но здесь, как видно, владычествует закон прерий: кто первый сожрёт у арестантов паёк.

Усевшись на нарах, они грызли солдатский хлеб.

— На профосе лучше всего видно, как ожесточает людей военная служба, — возобновил свои рассуждения вольноопределяющийся. — Несомненно, до поступления на военную службу наш профос был молодым человеком с идеалами. Этакий светловолосый херувим, нежный и чувствительный ко всем, защитник несчастных, за которых он заступался во время драки из-за девочки где-нибудь в родном краю в престольный праздник. Без сомнения, все его уважали, но теперь… боже мой! С каким удовольствием я съездил бы ему по роже, колотил бы головой об нару и всунул бы его по шею в сортирную яму! И это, брат, тоже доказывает огрубение нравов, вызванное военным ремеслом.

Он запел:

Она и чёрта не боялась,

Но тут попался ей солдат…

— Дорогой друг, — продолжал он, — наблюдая всё это в масштабах нашей обожаемой монархии, мы неизбежно приходим к заключению, что дело с ней обстоит так же, как с дядей Пушкина. Пушкин писал, что его дядя — такая дохлятина, что ничего другого не остаётся, как только

Вздыхать и думать про себя:
Когда же чёрт возьмёт тебя?

Опять послышалось щёлканье ключа в замке, и профос зажёг керосиновую лампочку в коридоре.

— Луч света в тёмном царстве! — крикнул вольноопределяющийся. — Просвещение проникает в ряды армии! Спокойной ночи, господин профос! Кланяйтесь там всем унтерам, желаю вам приятных сновидений. Пусть, например, вам приснится, что вы уже вернули мне пять крон, те самые, которые я вам дал на покупку сигарет и которые вы пропили за моё здоровье. Спите сладко, чудище!

Вслед за этим послышалось бормотание профоса насчёт завтрашнего полкового рапорта.

— Опять мы одни, — сказал вольноопределяющийся. — На сон грядущий я посвящу несколько минут лекции о том, как с каждым днём расширяются зоологические познания унтер-офицеров и офицеров. Чтобы достать новый живой материал для войны и мыслящее пушечное мясо, необходимо основательное знакомство с природоведением или с книгой «Источники экономического благосостояния», вышедшей у Кочия, в которой на каждой странице встречаются слова, вроде: скот, поросята, свиньи. За последнее время, однако, мы можем наблюдать, как в наших наиболее прогрессивных военных кругах вводятся новые наименования для новобранцев. В одиннадцатой роте капрал Альтгоф употребляет выражение «энгадинская коза», ефрейтор Мюллер, немец-учитель с Кашперских гор, называет новобранцев «чешскими вонючками», фельдфебель Зондернуммер — «ослиными лягушками» и «йоркширскими боровами» и сулит каждому новобранцу набить из него чучело, причём проявляет такие специальные знания, точно сам происходит из рода чучельников. Военное начальство старается привить солдатам любовь к отечеству своеобразными средствами, как-то: диким рёвом, пляской вокруг

рекрутов, воинственным рыком, который напоминает рык африканских дикарей, собирающихся содрать шкуру с невинной антилопы или готовящихся зажарить окорока из какого-нибудь припасённого на обед миссионера. Немцев это, конечно, не касается. Когда фельдфебель Зондернуммер заводит речь о «свинской банде», он поспешно прибавляет «die tschechische»,[82] чтобы немцы не обиделись и не приняли это на свой счёт. При этом все унтера одиннадцатой роты дико вращают глазами, словно несчастная собака, которая из жадности проглотила намоченную в прованском масле губку и подавилась. Я однажды слышал разговор ефрейтора Мюллера с капралом Альтгофом относительно плана обучения ополченцев. В этом разговоре преобладали «ein Paar Ohrfeigen».[83] Сначала я подумал, что они поругались между собой и что распадается немецкое военное единство, но здорово ошибся. Разговор шёл всего-навсего о солдатах. «Если, скажем, этакая чешская свинья, — авторитетно поучал капрал Альтгоф ефрейтора Мюллера, — даже после тридцати раз „nieder!“[84] не может научиться стоять прямо, как свечка, то дать ему раза два в рыло — толку мало. Надо ткнуть ему кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить фуражку на уши, скомандовать „Kehrt euch!“,[85] а когда повернётся, наподдать ему ногой в задницу. Увидишь, как он после этого начнёт вытягиваться во фронт и как будет смеяться прапорщик Дауэрлинг». Теперь я расскажу вам, дружище, о прапорщике Дауэрлинге. О нём рекруты одиннадцатой роты рассказывают такие чудеса, какие умеет рассказывать разве только покинутая всеми бабушка на ферме неподалёку от мексиканских границ о прославленном мексиканском бандите. Дауэрлинг пользуется репутацией людоеда, антропофага из австралийских племён, поедающих людей другого племени, попавших им в руки. У него блестящий жизненный путь. Вскоре после рождения его уронила нянька, и маленький Конрад Дауэрлинг ушиб голову. Так что и до сих пор виден след, словно комета налетела на Северный полюс. Все сомневались, что из него выйдет что-нибудь путное, если он перенёс сотрясение мозга. Только отец его, полковник, не терял надежды и, даже наоборот, утверждал, что такой пустяк ему повредить не может, так как, само собой разумеется, молодой Дауэрлинг, когда подрастёт, посвятит себя военной службе. После суровой борьбы с четырьмя классами реального училища, которые он прошёл экстерном, причём первый его домашний учитель преждевременно поседел и рехнулся, а другой с отчаяния пытался броситься с башни святого Стефана в Вене, молодой Дауэрлинг поступил в Гейнбургское юнкерское училище. В юнкерских училищах никогда не обращали

внимания на степень образования поступающих туда молодых людей, так как образование большей частью не считалось нужным для австрийского кадрового офицера. Идеалом военного образования было умение играть в солдатики. Образование облагораживает душу, а этого на военной службе не требуется. Чем офицерство грубее, тем лучше.

Ученик юнкерского училища Дауэрлинг не успевал даже в тех предметах, которые каждый из учеников юнкерского училища так или иначе усваивал. И в юнкерском училище давали себя знать последствия того, что в детстве Дауэрлинг ушиб себе голову. Об этом несчастье ясно говорили ответы на экзаменах, которые по своей непроходимой глупости считались классическими. Преподаватели не называли его иначе, как «unser braver Trottel».[86] Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться — через, несколько десятилетий он попадёт в Терезианскую военную академию или в военное министерство. Когда вспыхнула война, всех молодых юнкеров произвели в прапорщики. В список новопроизведённых гейнбургских юнкеров попал и Конрад Дауэрлинг. Так он очутился в Девяносто первом полку.

Вольноопределяющийся перевёл дух и продолжал:

— В издании военного министерства вышла книга «Drill oder Erziehung»[87] из которой Дауэрлинг вычитал, что на солдат нужно воздействовать террором. Степень успеха зависит от степени террора. И в этом Дауэрлинг достиг колоссальных результатов. Солдаты, чтобы не слышать его криков, целыми отделениями подавали рапорты о болезни, но это не увенчалось успехом. Тот, кто подавал рапорт о болезни, попадал на три дня под «verscharft».[88] Кстати, известно ли вам, что такое строгий арест? Целый день вас гоняют по плацу, а на ночь — в карцер. Таким образом, в роте Дауэрлинга больные перевелись. Все больные из его роты сидели в карцере. На ученье Дауэрлинг всегда сохраняет непринуждённый казарменный тон; он начинает со слова «свинья» и кончает загадочным зоологическим термином «свинская собака». Впрочем, он либерален и предоставляет солдатам свободу выбора. Например, он говорит: «Выбирай, слон: в рыло или три дня строгого ареста?» Если солдат выбирает три дня строгого ареста, Дауэрлинг даёт ему сверх того два раза в морду и прибавляет в виде объяснения: «Боишься, трус, за свой хобот, а что будешь делать, когда заговорит тяжёлая артиллерия?» Однажды, выбив рекруту глаз, он выразился так: «Pah, was fur Geschichten mit einern Kerl, muss so wie so krepieren».[89] То же самое говорил и фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф: «Die Soldaten mussen so wie so krepieren».[90]

Излюбленным и наиболее действенным средством у Дауэрлинга служат лекции, на которые он вызывает всех солдат-чехов; он рассказывает им о военных задачах Австрии, останавливаясь преимущественно на общих принципах военного обучения, то есть от шпанглей до расстрела или повешения. В начале зимы, ещё до того, как я попал в госпиталь, нас водили на ученье на плац около одиннадцатой роты. После команды: «Вольно!» — Дауэрлинг держал речь к рекрутам-чехам.

«Я знаю, — начал он, — что все вы негодяи и надо выбить вам дурь из башки. С вашим чешским языком вам и до виселицы не добраться. Наш верховный главнокомандующий — тоже немец. Слышите? Чёрт побери, nieder!»

Все легли, а Дауэрлинг стал прохаживаться перед ними и продолжал свои разглагольствования: Сказано «ложись» — ну и лежи. Хоть лопни в этой грязи, а лежи. «Ложись» — такая команда существовала уже у древних римлян. В те времена призывались все от семнадцати до шестидесяти лет и целых тридцать лет военной службы проводили в поле. Не валялись в казармах, как свиньи. И язык команды был тогда тоже единый для всего войска. Попробовал бы кто заговорить у них по-этрусски! Господа римские офицеры показали бы ему кузькину мать! Я тоже требую, чтобы все вы отвечали мне по-немецки, а не на вашем шалтай-болтай. Видите, как хорошо вам в грязи. Теперь представьте себе, что кому-нибудь из вас не захотелось больше лежать и он встал. Что бы я тогда сделал? Свернул бы сукину сыну челюсть, так как это является нарушением чинопочитания, бунтом, неподчинением, неисполнением обязанностей солдата, нарушением устава и дисциплины, вообще пренебрежением к служебным предписаниям, из чего следует, что такого негодяя тоже ждёт верёвка и «Ve-wirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen». [91]

Вольноопределяющийся замолк и, видно, найдя во время паузы новую тему из казарменной жизни, продолжал:

— Случилось это при капитане Адамичке. Адамичек был человек чрезвычайно апатичный. В канцелярии он сидел с видом тихо помешанного и глядел в пространство, словно говорил: «Ешьте меня, мухи с комарами». На батальонном рапорте бог весть о чём думал. Однажды к нему явился на батальонный рапорт солдат из одиннадцатой роты с жалобой, что прапорщик Дауэрлинг назвал его вечером на улице «чешской свиньёй» Солдат этот до войны был переплётчиком, рабочим, сохранившим чувство национального достоинства.

«Н-да-с, такие-то дела… — тихо проговорил капитан Адамичек (он

всегда говорил очень тихо). — Он сказал это вечером на улице? Следует справиться, было ли вам разрешено уйти из казармы? Abtreten!»[92]

Через некоторое время капитан Адамичек вызвал к себе подателя жалобы. «Выяснено, — сказал он тихо, — что в этот день вам было разрешено уйти из казармы до десяти часов вечера. Следовательно, наказания вы не понесёте… Abtreten!»

С тех пор, дорогой мой, за капитаном Адамичком установилась репутация справедливого человека. Так вот, послали его на фронт, а на его место к нам назначили майора Венцеля. Это был просто дьявол, что касается национальной травли, и он наконец прищемил хвост прапорщику Дауэрлингу.

Майор был женат на чешке и страшно боялся всяких трений, связанных с национальным вопросом. Несколько лет назад, будучи ещё капитаном в Кутной горе, он в пьяном виде обругал кельнера в ресторане чешской сволочью. (Необходимо заметить, что майор в обществе и дома говорил исключительно по-чешски и сыновья его учились в чешских гимназиях.) «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», — эпизод этот попал в газеты, а какой-то депутат подал запрос в венский парламент о поведении майора Венцеля в ресторане. Венцель попал в неприятную историю, потому что как раз в это время парламент должен был утвердить законопроект о воинской повинности, а тут — пожалуйте! — эта история с пьяным капитаном Венцелем из Кутной горы.

Позднее капитан узнал, что вся история — дело рук некоего зауряд-прапорщика из вольноопределяющихся Зитко. Это Зитко послал заметку в газету. У него с капитаном Венцелем были свои счёты ещё с той поры когда Зитко в присутствии самого капитана Венцеля пустился в рассуждение о том, что «достаточно взглянуть на божий свет, увидеть тучки на горизонте и громоздящиеся вдали горы, услышать рёв лесного водопада и пение птиц, как невольно на ум приходит мысль: что представляет собой капитан по сравнению с великолепием природы? Такой же нуль, как и любой зауряд-прапорщик».

Так как офицеры в это время порядочно нализались, капитан Венцель хотел избить бедного философа Зитко, как собаку. Неприязнь их росла, и капитан Венцель мстил Зитко где только мог, тем более что изречение прапорщика стало притчей во языцех.

«Что представляет собой капитан Венцель по сравнению с великолепием природы», — это знала вся Кутная гора.

«Я его, подлеца, доведу до самоубийства», — говаривал капитан Венцель. Но Зитко вышел в отставку и продолжал заниматься философией.

С той поры майор Венцель вымещает зло на всех младших офицерах. Даже подпоручик не застрахован от его неистовства. О юнкерах и прапорщиках и говорить нечего.

«Раздавлю его, как клопа!» — любит повторять майор Венцель, и беда тому прапорщику, который из-за какого-нибудь пустяка шлёт солдата на батальонный рапорт. Только крупные и тяжёлые проступки подлежат его рассмотрению, например, если часовой уснёт на посту у порохового склада или совершит ещё более страшное преступление, — скажем, попробует ночью перелезть через стену Мариинских казарм и уснёт наверху, на стене, попадёт в лапы артиллеристов, патруля ополченцев, — словом, осрамит честь полка.

Я слышал однажды, как он орал в коридоре: «О господи! В третий раз его ловит патруль ополченцев. Немедленно посадить сукина сына в карцер; таких нужно выкидывать из полка, пусть отправляется в обоз навоз возить. Даже не подрался с ними! Разве это солдат? Улицы ему подметать, а не в солдатах служить. Два дня не носите ему жрать. Тюфяка не стлать. Суньте его в одиночку, и никакого одеяла растяпе этому».

Теперь представьте себе, дружище, что сразу после перевода к нам майора Венцеля этот болван прапорщик Дауэрлинг погнал к нему на батальонный рапорт одного солдата за то, что тот якобы умышленно не отдал ему, прапорщику Дауэрлингу, честь, когда он в воскресенье после обеда ехал в пролётке с какой-то барышней по площади. В канцелярии поднялся несусветный скандал — унтера рассказывали потом. Старший писарь удрал с бумагами в коридор, а майор орал на Дауэрлинга:

«Чтобы этого больше не было! Himmeldonnerwetter! Известно ли вам, что такое батальонный рапорт, господин прапорщик? Батальонный рапорт — это не Schweinfest.[93] Как мог он вас видеть, когда вы ехали по площади? Не помните, что ли, чему вас учили? Честь отдаётся офицерам, которые попадутся навстречу, а это не значит, что солдат должен вертеть головой, как ворона, и ловить прапорщика, который проезжает по площади. Молчать, прошу вас! Батальонный рапорт — дело серьёзное. Если он вам заявил, что не мог вас видеть, так как в этот момент отдавал честь мне, повернувшись ко мне, понимаете, к майору Венцелю, а значит, не мог одновременно смотреть назад на извозчика, на котором вы ехали, то нужно было ему поверить. В будущем прошу не приставать ко мне с такими пустяками!»

С тех пор Дауэрлинг изменился.

Вольноопределяющийся зевнул.

— Надо выспаться перед завтрашним полковым рапортом. Я думал

хоть бы частично информировать вас, как обстоят дела в полку. Полковник Шрёдер не любит майора Венцеля и вообще большой чудак. Капитан Сагнер, начальник учебной команды вольноопределяющихся, считает Шрёдера настоящим солдатом, хотя полковник Шрёдер ничего так не боится, как попасть на фронт. Сагнер — стреляный воробей, так же как и Шрёдер, он недолюбливает офицеров запаса и называет их штатскими вонючками. Вольноопределяющихся он считает дикими животными: их, дескать, нужно превратить в военные машины, пришить к ним звёздочки и послать на фронт, чтобы их перестреляли вместо благородных кадровых офицеров, которых нужно оставить на племя.

Вообще всё в армии уже воняет гнилью, — сказал вольноопределяющийся, укрываясь одеялом. — Массы пока ещё не проспались. Выпучив глаза они идут на фронт, чтобы из них сделали там лапшу; а попадёт в кого-нибудь пуля, он только шепнёт: «Мамочка», — и всё. Ныне героев нет, а есть убойный скот и мясники в генеральных штабах. Погодите, дождутся они бунта. Ну и будет же потасовка! Да здравствует армия! Спокойной ночи!

Вольноопределяющийся затих, потом начал вертеться под одеялом и наконец спросил:

— Вы спите, товарищ?

— Не спится, — ответил Швейк со своей койки, — размышляю…

— О чём же вы размышляете, товарищ?

— О большой серебряной медали «За храбрость» которую получил столяр с Вавровой улицы на Краловских Виноградах по фамилии Мличко; ему первому из полка в самом начале войны оторвало снарядом ногу. Он бесплатно получил искусственную ногу и начал повсюду хвалиться своей медалью: хвастал, что он самый что ни на есть первый инвалид в полку. Однажды пришёл он в трактир «Аполлон» на Виноградах и затеял там ссору с мясниками с боен. В драке ему оторвали искусственную ногу и трахнули этой ногой по башке, а тот, который оторвал её, не знал, что она искусственная… и с перепугу упал в обморок. В участке столяру ногу опять приделали, но с той поры он разозлился на свою большую серебряную медаль «За храбрость» и понёс её закладывать в ломбард. Там его сцапали, и пошли неприятности. Существует какой-то там суд чести для инвалидов войны, и этот суд постановил отобрать у него эту серебряную медаль и, кроме того, присудил отобрать и ногу…

— Как так?

— Очень просто. В один прекрасный день пришла к нему комиссия, заявила, что он недостоин носить искусственную ногу, отстегнула у него её

и унесла…

— Вот ещё тоже большая потеха, — продолжал Швейк, — когда родные павшего на войне в один прекрасный день получают медаль с припиской, что вот, дескать, пожалована вам медаль, повесьте её на видном месте. На Божетеховой улице на Вышеграде один рассвирепевший отец, который подумал, что военное ведомство над ним издевается, повесил такую медаль в сортир. А этот сортир у него был общий с одним полицейским, и тот донёс на него, как на государственного изменника. Плохо пришлось бедняге.

— Отсюда вытекает, — заметил вольноопределяющийся, — что слава выеденного яйца не стоит. Недавно в Вене издали «Памятку вольноопределяющегося», и там в чешском переводе помещено такое захватывающее стихотворение:

В сраженье доброволец пал…
За короля, страну родную
Он отдал душу молодую
И всем другим пример подал.
Везут на пушке труп героя,
Венки и ленты впереди,
И капитанскою рукою
Приколот орден на груди.

— Так как мне кажется, что боевой дух у нас падает, — сказал после небольшой паузы вольноопределяющийся, — я предлагаю, дорогой друг, спеть в эту тёмную ночь в нашей тихой тюрьме песню о канонире Ябурке. Это подымет боевой дух. Но надо петь как следует, чтобы нас слышали во всей Мариинской казарме. Поэтому предлагаю подойти к двери.

И через минуту из помещения для арестованных раздался такой рёв, что в коридоре задрожали стёкла:

Он пушку заряжал,
Ой, ладо, гей люди!
И песню распевал,
Ой, ладо, гей люди!

Снаряд вдруг пронесло,

Ой, ладо, гей люди!
Башку оторвало,
Ой, ладо, гей люди!

А он всё заряжал,
Ой, ладо, гей люди!
И песню распевал,
Ой, ладо, гей люди!

Во дворе раздались шаги и голоса.

— Это профос, — сказал вольноопределяющийся. — А с ним подпоручик Пеликан, он сегодня дежурный. Я с ним знаком по «Чешской беседе». Он офицер запаса, а раньше был статистиком в одном страховом обществе. У него мы получим сигареты. А ну-ка, дёрнем ещё раз.

И Швейк с вольноопределяющимся грянули опять:

Он пушку заряжал…

Открылась дверь, и профос, видимо, подогретый присутствием дежурного офицера, грубо крикнул:

— Здесь вам не зверинец!

— Пардон, — ответил вольноопределяющийся, — здесь филиал Рудольфинума. Концерт в пользу арестантов. Только что был закончен первый номер программы «Симфония войны».

— Прекратить, — приказал подпоручик Пеликан с напускной строгостью. — Надеюсь, вы знаете, что в девять часов вы должны спать, а не учинять дебош. Ваш концертный номер на площади слышно.

— Осмелюсь доложить, господин подпоручик, — ответил вольноопределяющийся, — мы не срепетировались как следует, быть может, получается некоторая дисгармония…

— Это он проделывает каждый вечер. — Профос старался подзудить подпоручика против своего врага. — И вообще ведёт себя очень некультурно.

— Господин подпоручик, — обратился к Пеликану вольноопределяющийся, — разрешите переговорить с вами с глазу на глаз. Пусть профос подождёт за дверью.

Когда профос вышел, вольноопределяющийся по-свойски попросил:

— Ну, гони сигареты, Франта… «Спорт»? И у тебя, у лейтенанта, не нашлось ничего получше? Ладно, и на том спасибо. Да! И спички тоже.

— «Спорт», — сказал он пренебрежительно после ухода подпоручика. — И в нужде человек не должен опускаться. Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает Страшный суд.

Перед сном вольноопределяющийся не забыл спеть:

Горы, и долы, и скалы высокие — наши друзья,
Ах, дорогая моя…
Нам не вернуть того, что любили мы…

Рекомендуя Швейку полковника Шрёдера как изверга, вольноопределяющийся в известной мере ошибался, ибо полковник Шрёдер не был совершенно лишён чувства справедливости, что становилось особенно заметно, когда он оставался доволен вечером, проведённым в обществе офицеров в одном из ресторанов. Но если не оставался доволен…

В то время как вольноопределяющийся разражался уничтожающей критикой полковых дел, полковник Шрёдер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции; он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован.

— Ну вот, выскочили из окопов… По всей линии в два километра перелезают через проволочные заграждения и бросаются на врага. Ручные гранаты за поясом, противогазы, винтовки наперевес, готовы и к стрельбе и к штыковому бою. Пули свистят. Вот падает один солдат — как раз в тот момент, когда вылезает из окопа, другой падает на бруствере, третий — сделав несколько шагов, но лавина тел продолжает катиться вперёд с громовым «ура» в туче дыма и пыли! А неприятель стреляет со всех сторон, из окопов, из воронок от снарядов и строчит из пулемётов. И опять падают солдаты. Наш взвод пытается захватить неприятельские пулемёты. Одни падают, но другие уже впереди. Ура!! Падает офицер… Ружейная стрельба замолкла, готовится что-то ужасное… Снова падает целый взвод. Трещат неприятельские пулемёты: «Тра-тата-тата-та!» Падает… Простите, я дальше не могу, я пьян…

Офицер с больной ногой умолк и, тупо глядя перед собой, остался сидеть в кресле. Полковник Шрёдер с благосклонной улыбкой стал слушать, как капитан Спиро, ударяя кулаком по столу, словно с кем-то споря, нёс околесицу:

— Рассудите сами: у нас под знамёнами австрийские уланы-

ополченцы, австрийские ополченцы, боснийские егеря, австрийская пехота, венгерские пешие гонведы, венгерские гусары, гусары-ополченцы, конные егеря, драгуны, уланы, артиллерия, обоз, сапёры, санитары, флот. Понимаете? А у Бельгии? Первый и второй призыв составляют оперативную часть армии, третий призыв несёт службу в тылу… — Капитан Спиро стукнул по столу кулаком: — В мирное время ополчение несёт службу в стране!

Один из молодых громко, чтобы полковник услышал и удостоверился в непоколебимости его воинского духа, твердил своему соседу:

— Туберкулёзных я посылал бы на фронт, это им пойдёт на пользу, да и, кроме того, — лучше терять убитыми больных, чем здоровых.

Полковник улыбался. Но вдруг он нахмурился и, обращаясь к майору Венцелю, спросил:

— Удивляюсь, почему поручик Лукаш избегает нашего общества? С тех пор как приехал, он ни разу не был среди нас.

— Стихи пишет, — насмешливо отозвался капитан Сангер. — Не успел приехать, как уже влюбился в жену инженера Шрейтера, увидав её в театре.

Полковник поморщился:

— Говорят, он хорошо поёт куплеты.

— Ещё в кадетском корпусе всех нас забавлял куплетами, — ответил капитан Сагнер. — А анекдоты рассказывает — одно удовольствие! Не знаю, почему он сюда не ходит.

Полковник сокрушённо покачал головой:

— Нету нынче среди офицеров былого товарищества. Раньше, я помню, каждый офицер старался что-нибудь привнести в общее веселье. Поручик Данкель — служил такой, — так тот, бывало, разденется донага, ляжет на пол, воткнёт себе в задницу хвост селёдки и изображает русалку. Другой, подпоручик Шлейснер, умел шевелить ушами, ржать, как жеребец, подражать мяуканью кошки и жужжанию шмеля. Помню ещё капитана Скодай. Тот, стоило нам захотеть, приводил с собой трёх девочек-сестёр. Он их выдрессировал, словно собак. Поставит их на стол, и они начинают в такт раздеваться. Для этого он носил с собой дирижёрскую палочку, и — следует отдать ему должное — дирижёр он был прекрасный! Чего только он с ними на кушетке не проделывал. А однажды велел поставить посреди комнаты ванну с тёплой водой, и мы один за другим должны были с этими тремя девочками купаться, а он нас фотографировал.

При одном воспоминании об этом полковник Шрёдер блаженно улыбнулся.

— Какие пари мы в этой ванне заключали!.. — продолжал полковник, гнусно причмокивая и ёрзая в кресле. — А нынче? Разве это развлечение? Куплетист — и тот не появляется. Даже пить теперешние младшие офицеры не умеют! Двенадцати часов ещё нет, а за столом уже, как видите, пять пьяных. А в прежние-то времена мы по двое суток сиживали и, чем больше пили, тем трезвее становились. И лили в себя беспрерывно пиво, вино, ликёры… Нынче уж нет настоящего боевого духа. Чёрт его знает, почему это так! Ни одного остроумного слова, всё какая-то бесконечная жвачка. Послушайте только, как там, в конце стола, говорят об Америке.

На другом конце стола кто-то серьёзным тоном говорил:

— Америка в войну вмешаться не может. Американцы с англичанами на ножах. Америка к войне не подготовлена.

Полковник Шрёдер вздохнул.

— Вот она, болтовня офицеров запаса. Нелёгкая их принесла! Небось вчера ещё этакий господин строчил бумаги в каком-нибудь банке или служил в лавочке, завёртывал товар и торговал кореньями, корицей и гуталином или учил детей в школе, что волка из лесу гонит голод, а нынче он хочет быть ровней кадровым офицерам, во всём лезет разбираться и всюду суёт свой нос. А кадровые офицеры, как, например, поручик Лукаш, не изволят появляться в нашей компании.

Полковник пошёл домой в отвратительном настроении. На следующее утро настроение у него стало ещё хуже, потому что в газетах, которые он читал, лёжа в постели, в сводке с театра военных действий несколько раз наталкивался на фразу: «Наши войска отошли на заранее подготовленные позиции». Наступил славный для австрийской армии период, как две капли воды похожий на дни у Шабаца.

Под впечатлением прочитанного полковник к десяти часам утра приступил к выполнению функции, которую вольноопределяющийся, по-видимому, правильно назвал Страшным судом.

Швейк и вольноопределяющийся стояли на дворе и поджидали полковника. Все были в полном сборе: фельдфебель, дежурный офицер, полковой адъютант и писарь полковой канцелярии с делами о провинившихся, которых ожидал меч Немезиды — полковой рапорт.

Наконец в сопровождении начальника команды вольноопределяющихся капитана Сагнера показался мрачный полковник. Он нервно стегал хлыстом по голенищам своих высоких сапог.

Приняв рапорт, полковник среди гробового молчания несколько раз прошёлся мимо Швейка и вольноопределяющегося, которые делали «равнение направо» и «равнение налево», смотря по тому, на каком фланге

находился полковник. Он прохаживался так долго, а они делали равнение так старательно, что могли свернуть себе шею. Наконец полковник остановился перед вольноопределяющимся.

Тот отрапортовал:

— Вольноопределяющийся…

— Знаю, — сухо сказал полковник, — выродок из вольноопределяющихся… Кем были до войны? Студентом классической философии? Стало быть, спившийся интеллигент… Господин капитан, — сказал он Сагнеру, — приведите сюда всю учебную команду вольноопределяющихся… — Да-с, — продолжал полковник, снова обращаясь к вольноопределяющемуся, — и с таким вот господином студентом классической философии приходится мараться нашему брату. Kehrt euch![94] Так и знал. Складки на шинели не заправлены. Словно только что от девки или валялся в борделе. Погодите, голубчик, я вам покажу.

Команда вольноопределяющихся вступила во двор.

— В каре! — скомандовал полковник, и команда обступила его и провинившихся тесным квадратом.

— Посмотрите на этого человека, — начал свою речь полковник, указывая хлыстом на вольноопределяющегося. — Он пропил нашу честь, честь вольноопределяющихся, которые готовятся стать офицерами, командирами, ведущими своих солдат в бой, навстречу славе на поле брани. А куда повёл бы своих солдат этот пьяница? Из кабака в кабак! Он один вылакал бы весь солдатский ром… Что вы можете сказать в своё оправдание? — обратился он к вольноопределяющемуся. — Ничего? Полюбуйтесь на него! Он не может сказать в своё оправдание ни слова. А ещё изучал классическую философию! Вот действительно классический случай! — Полковник произнёс последние слова нарочито медленно и плюнул.

— Классический философ, который в пьяном виде по ночам сбивает с офицеров фуражки! Тип! Счастье ещё, что это был какой-то офицер из артиллерии.

В этих словах выразилась вражда Девяносто первого полка к будейовицкой артиллерии. Горе тому артиллеристу, который попадался ночью в руки патруля пехотинцев, и наоборот. Вражда была глубокая и непримиримая, вендетта, кровная месть, она передавалась по наследству от одного призыва к другому. Вражда выражалась с той и другой стороны в традиционных происшествиях: то где-то пехотинцы спихивали артиллеристов в Влтаву, то наоборот. Драки происходили в «Порт-Артуре»,

«У розы» и в многочисленных других увеселительных местах столицы Южной Чехии.

— Тем не менее, — продолжал полковник, — подобный поступок заслуживает сурового наказания, этот тип должен быть исключён из школы вольноопределяющихся, он должен быть морально уничтожен. Такие интеллигенты армии не нужны. Regimentskanziei![95]

Полковой писарь подошёл со строгим видом, держа наготове дела и карандаш.

Воцарилась тишина, как бывает в зале суда, когда судят убийцу и председатель провозглашает: «Объявляется приговор…»

Именно таким тоном полковник провозгласил:

— Вольноопределяющийся Марек присуждается к двадцати одному дню строгого ареста и по отбытии наказания отчисляется на кухню чистить картошку!

И, повернувшись к команде вольноопределяющихся полковник скомандовал:

— Построиться в колонну!

Слышно было, как команда быстро перестраивалась по четыре в ряд и уходила. Полковник сделал капитану Сагнеру замечание, что команда недостаточно чётко отбивает шаг, и сказал, чтобы после обеда он занялся с ними маршировкой.

— Шаги должны греметь, господин капитан. Да вот ещё что, чуть было не забыл, — прибавил полковник. — Объявите, что вся команда вольноопределяющихся лишается отпуска на пять дней — пусть они помнят своего бывшего коллегу, этого негодяя Марека.

А негодяй Марек стоял около Швейка с чрезвычайно довольным видом. Лучшего он не мог и желать. Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнём противника, наложив полные подштанники, орать: «Einzelnabfallen! Bajonett auf!»[96]

Отойдя от капитана Сагнера, полковник Шрёдер остановился перед Швейком и пристально посмотрел на него. В этот момент швейковскую внешность лучше всего характеризовало его круглое улыбающееся лицо и большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Его вид свидетельствовал о полнейшей безмятежности и об отсутствии какого бы то ни было чувства вины за собой. Глаза его вопрошали: «Разве я натворил что-нибудь?» и «Чем же я виноват?»

Полковник суммировал свои наблюдения в вопросе, обращённом к

полковому писарю:

— Идиот? — и увидел, как открывается широкий, добродушно улыбающийся рот Швейка.

— Так точно, господин полковник, идиот, — ответил за писаря Швейк.

Полковник кивнул адъютанту и отошёл с ним в сторону. Затем он позвал полкового писаря, и они просмотрели материал о Швейке.

— А! — сказал полковник Шрёдер. — Это, стало быть, денщик поручика Лукаша, который пропал в Таборе согласно рапорту поручика. По-моему, господа офицеры должны сами воспитывать своих денщиков. Уж если господин поручик Лукаш выбрал себе денщиком такого идиота, пусть сам с ним и мучается. Времени свободного у него достаточно, раз он никуда не ходит. Вы ведь тоже ни разу не видели его в нашем обществе? Ну вот. Значит, времени у него хватит, чтобы выбить дурь из головы своего денщика.

Полковник Шрёдер подошёл к Швейку и, рассматривая его добродушное лицо, сказал:

— На три дня под строгий арест, глупая скотина! По отбытии наказания явиться к поручику Лукашу.

Таким образом, Швейк опять встретился с вольноопределяющимся на полковой гауптвахте, а поручик Лукаш, наверное, испытал большое удовольствие, когда полковник вызвал его к себе и сказал:

— Господин поручик, около недели тому назад, прибыв в полк, вы подали мне рапорт об откомандировании в ваше распоряжение денщика, так как прежний ваш денщик пропал на Таборском вокзале. Но ввиду того, что денщик ваш возвратился…

— Господин полковник… — с мольбою произнёс поручик.

— …я решил посадить его на три дня, после чего по шлю к вам, — твёрдо сказал полковник.

Потрясённый Лукаш, шатаясь, вышел из кабинет полковника.

*

Швейк с большим удовольствием провёл три дня в обществе вольноопределяющегося Марека. Каждый вечер они организовывали патриотические выступления. Вечером из гауптвахты доносилось «Храни нам, боже, государя» потом «Prinz Eugen, der edle Ritter».[97]

Затем следовал целый ряд солдатских песен, а когда приходил профос, его встречали кантатой:

Ты не бойся, профос, смерти,
Не придёт тебе капут.
За тобой прискачут черти
И живьём тебя возьмут.

Над нарами вольноопределяющийся нарисовал профоса и под ним написал текст старинной песенки:

За колбасой я в Прагу мчался,
Навстречу дурень мне попался.
Тот злобный дурень был профос —
Чуть-чуть не откусил мне нос.

И пока оба дразнили профоса, как дразнят в Севилье алым плащом андалузского быка, поручик Лукаш с тоскливым чувством ждал, когда к нему явится Швейк и доложит о том, что приступает к выполнению своих обязанностей.

Глава III
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙКА В КИРАЛЬ-ХИДЕ

Девяносто первый полк переводили в город Мост-на-Литаве — в Кираль-Хиду.

Швейк просидел под арестом три дня. За три часа до освобождения его вместе с вольноопределяющимся отвели на главную гауптвахту, а оттуда под конвоем отправили на вокзал.

— Давно было ясно, что нас переведут в Венгрию, — сказал Швейку вольноопределяющийся. — Там будут формировать маршевые батальоны, а наши солдаты тем временем наловчатся в стрельбе и передерутся с мадьярами, и потом мы весело отправимся на Карпаты. А в Будейовицах разместят мадьярский гарнизон, и начнётся смешение племён. Существует такая теория, что изнасилование девушек другой национальности — лучшее средство против вырождения. Во время Тридцатилетней войны это делали шведы и испанцы, при Наполеоне — французы, а теперь в Будейовицком крае то же самое повторят мадьяры, и это не будет носить характера грубого изнасилования. Всё получится само собой. Произойдёт простой обмен: чешский солдат переспит с венгерской девушкой, а бедная чешская батрачка примет к себе венгерского гонведа. Через несколько столетий антропологи будут немало удивлены тем, что у обитателей берегов Мальши появились выдающиеся скулы.

— Перекрёстное спаривание, — заметил Швейк, — это вообще очень интересная вещь. В Праге живёт кельнер-негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королём. Этого короля показывали в Праге в цирке на Штванице. В него влюбилась одна учительница, которая писала в «Ладе» стишки о пастушках и ручейках в лесу. Учительница пошла с ним в гостиницу и «предалась блуду», как говорится в священном писании. Каково же было её удивление, когда у неё потом родился совершенно белый мальчик! Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневеть. Коричневел, коричневел, а месяц спустя начал чернеть. Через полгода мальчишка был чёрен, как его отец — абиссинский король. Мать пошла с ним в клинику накожных болезней просить, нельзя ли как-нибудь с него краску вывести, но ей сказали, что у мальчика настоящая арапская чёрная кожа и тут ничего не поделаешь. Учительница после этого рехнулась и начала посылать во все журналы, в отдел «Советы читателям», вопросы, какое есть средство против арапов. Её отвезли в

Катержинки, а арапчонка поместили в сиротский дом. Вот была с ним потеха, пока он воспитывался! Потом он стал кельнером и танцевал в ночных кафе. Теперь от него успешно родятся чехи-мулаты, но уже не такие чёрные, как он сам. Однако, как объяснил нам фельдшер в трактире «У чаши», дело с цветом кожи обстоит не так просто: от такого мулата опять рождаются мулаты, которых уж трудно отличить от белых, но через несколько поколений может вдруг появиться негр. Представьте себе такой скандал: вы женитесь на какой-нибудь барышне. Белая, мерзавка, абсолютно, и в один прекрасный день — нате! — рожает вам негра. А если за девять месяцев до этого она была разок без вас в варьете и смотрела французскую борьбу с участием негра, то ясно, что вы призадумаетесь.

— Ваш случай с негром Христианом необходимо обсудить также с военной точки зрения, — предложил вольноопределяющийся. — Предположим, что этого негра призвали, а он пражанин и, следовательно, попадает в Двадцать восьмой полк. Как вы слышали, Двадцать восьмой полк перешёл к русским. Представьте, как удивились бы русские, взяв в плен негра Христиана. В русских газетах, наверное, написали бы, что Австрия гонит на войну свои колониальные войска, которых у неё нет, и что Австрией уже пущены в ход чернокожие резервы.

— Помнится, поговаривали, что у Австрии есть колонии, — проронил Швейк, — где-то на севере. Какая-то там Земля императора Франца-Иосифа.

— Бросьте это, ребята, — вмешался один из конвойных. — Нынче вести разговор о какой-то Земле императора Франца-Иосифа опасно. Самое лучшее — не называйте имён.

— А вы взгляните на карту, — перебил его вольноопределяющийся. — На самом деле существует Земля нашего всемилостивейшего монарха, императора Франца-Иосифа. По данным статистики, там одни льды, которые и вывозятся на ледоколах, принадлежащих пражским холодильникам. Наша ледяная промышленность заслужила и за границей высокую оценку и уважение, так как предприятие это весьма доходное, хотя и опасное. Наибольшую опасность при экспортировании льда с Земли Франца-Иосифа представляет переправа льда через Полярный круг. Можете себе это представить?

Конвойный пробормотал что-то невнятное, а начальник конвоя, капрал, подошёл ближе и стал слушать объяснения вольноопределяющегося. Тот с глубокомысленным видом продолжал:

— Эта единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно,

колонизация подвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы министерства торговли и иностранных дел, появляется надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. После постройки нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, для удобства проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и накрасить на ледниках туристские знаки. Единственным затруднением остаются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов…

Капрал слушал с интересом. Это был солдат сверхсрочной службы, в прошлом батрак, человек крутой и недалёкий, старавшийся нахвататься всего, о чём не имел никакого понятия. Идеалом его было дослужиться до фельдфебеля.

— …не хотят подлецы эскимосы учиться немецкому языку, — продолжал вольноопределяющийся, — хотя министерство просвещения, господин капрал, не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы. Тогда замёрзло пять архитекторов-строителей и…

— Каменщики спаслись, — перебил его Швейк. — Они отогревались тем, что курили трубки.

— Не все, — возразил вольноопределяющийся, — с двумя случилось несчастье. Они забыли, что надо затягиваться, трубки у них потухли, пришлось бедняг закопать в лёд. Но школу в конце концов всё-таки выстроили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Очень прочно получается! Тогда эскимосы развели вокруг всей школы костры из обломков затёртых льдами торговых судов и осуществили свой план. Лёд, на котором стояла школа, растаял, и вся школа провалилась в море вместе с директором и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освящении школы. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул: «Gott, strafe England!»[98] Теперь туда, наверно, пошлют войска, чтобы навести у эскимосов порядок. Само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи.

— Этого ещё не хватало, — глубокомысленно заметил капрал. — И без того военных изобретений хоть пруд пруди. Возьмём, например, маски от отравления газом. Натянешь её себе на голову — и моментально отравлен, как нас в унтер-офицерской школе учили.

— Это только так пугают, — отозвался Швейк. — Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше в бой. А ядовитые газы для нашего брата — дело привычное ещё с казарм — после солдатского хлеба да гороха с крупой. Но вот, говорят, русские изобрели какую-то штуку специально против унтер-офицеров.

— Какие-то особые электрические токи, — дополнил вольноопределяющийся. — Путём соединения с целлулоидными звёздочками на воротнике унтер-офицера происходит взрыв. Что ни день, то новые ужасы!

Хотя капрал и до военной службы был настоящий осёл, но и он наконец понял, что над ним смеются. Он отошёл от арестованных и пошёл во главе конвоя.

Они уже приближались к вокзалу, куда собрались целые толпы будейовичан, пришедших проститься со своим полком.

Несмотря на то что прощание не носило характера официальной демонстрации, вся площадь перед вокзалом была полна народу, ожидавшего прихода войска.

Всё внимание Швейка сосредоточилось на стоявшей шпалерами толпе зрителей. И как бывает всегда, так случилось и теперь: конвоируемые намного опередили примерных солдат, которые шли далеко позади. Примерными солдатами набьют телячьи вагоны, а Швейка и вольноопределяющегося посадят в особый арестантский вагон, который всегда прицепляют в воинских поездах сразу же за штабными вагонами. Места в арестантском вагоне всегда хоть отбавляй.

Швейк не мог удержаться, чтобы, замахав фуражкой, не крикнуть в толпу:

— Наздар!

Это подействовало очень сильно, приветствие было громко подхвачено всей толпой.

— Наздар! — прокатилось по всей площади и забушевало перед вокзалом.

Далеко впереди по рядам пробежало:

— Идут!

Начальник конвоя совершенно растерялся и закричал на Швейка, чтобы тот заткнул глотку. Но гул приветствий рос, как лавина. Жандармы напирали на толпу и пробивали дорогу конвою. А толпа продолжала реветь: «Наздар!» — и махала шапками и шляпами.

Это была настоящая манифестация. Из окон гостиницы против вокзала

какие-то дамы махали платочками и кричали:

— Heil!

Из толпы к возгласам «наздар!» примешивалось «heil». Какому-то энтузиасту, который воспользовался этим обстоятельством и крикнул: «Nieder mit den Serben!»[99] — подставили ножку и слегка прошлись по нему ногами в искусственно устроенной давке.

— Идут! — всё дальше и дальше, как электрический ток, передавалось в толпе.

Шествие приближалось. Швейк из-за штыков конвойных приветливо махал толпе рукой. Вольноопределяющийся с серьёзным лицом отдавал честь.

Они вступили на вокзал и прошли к поданному уже воинскому поезду. Оркестр стрелкового полка чуть было не грянул им навстречу «Храни нам, боже, государя!», так как капельмейстер был сбит с толку неожиданной манифестацией. К счастью, как раз вовремя подоспел обер-фельдкурат из Седьмой кавалерийской дивизии, патер Лацина, в чёрном котелке, и стал наводить порядок.

История того, как он сюда попал, совсем обыкновенная.

Патер Лацина, гроза всех офицерских столовок, ненасытный обжора и пьяница, приехал накануне в Будейовицы и как бы случайно попал на небольшой банкет офицеров отъезжающего полка. Напившись и наевшись за десятерых, он в более или менее нетрезвом виде пошёл в офицерскую кухню клянчить у поваров остатки. Там он проглотил целые блюда соусов и кнедликов и обглодал, словно кот, все кости. Дорвавшись наконец в кладовой до рому, он налакался до рвоты и затем вернулся на прощальный вечерок, где снова напился вдрызг.

Он обладал богатым опытом в этом отношении, и офицерам Седьмой кавалерийской дивизии приходилось всегда за него доплачивать.

На следующее утро ему пришло в голову навести порядок при отправке первых эшелонов полка. С этой целью он носился взад и вперёд вдоль шпалер и проявил на вокзале такую кипучую энергию, что офицеры, руководившие отправкой эшелонов, заперлись от него в канцелярии начальника станции.

Он появился перед самым вокзалом как раз в тот момент, когда капельмейстер уже взмахнул рукой, чтобы начать «Храни нам, боже, государя!»

— Halt! — крикнул обер-фельдкурат, вырвав у него дирижёрскую палочку. — Рано. Я дам знак. А теперь rut![100] Я сейчас приду.

После того он пошёл на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком: «Halt!»

— Куда? — строго спросил он капрала, который совсем растерялся и не знал, что теперь делать.

Вместо него приветливо ответил Швейк:

— Нас везут в Брук, господин обер-фельдкурат. Если хотите, можете ехать с нами. — И поеду! — заявил патер Лацина и, обернувшись к конвойным, крикнул: — Кто говорит, что я не могу ехать? Vorwarts! Marsch! [101]

Очутившись в арестантском вагоне, обер-фельдкурат лёг на лавку, а добряк Швейк снял свою шинель и подложил её патеру Лацине под голову.

Вольноопределяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, заметил вполголоса:

— За обер-фельдкуратами следует ухаживать!

Патер Лацина, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять:

— Рагу с грибами, господа, выходит тем вкуснее, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком и только потом уже положить туда лаврового листа и лука.

— Лук вы уже изволили положить раньше, — заметил вольноопределяющийся.

Капрал бросил на него полный отчаяния взгляд — для него патер Лацина хоть и пьяный, но всё же был начальством. Положение капрала было действительно отчаянным.

— Господин обер-фельдкурат безусловно прав, — поддержал Швейк священника: — Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар в Пакомержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще лук очень полезная вещь. Печёный лук прикладывают также на чирьи.

Патер Лацина продолжал бормотать как сквозь сон.

— Всё зависит от кореньев, от того, сколько и каких кореньев положить. Но чтобы не переперчить, не… — Он говорил всё тише и тише: — …не перегвоздичить, не перелимонить, перекоренить, перемуска…

Он не договорил и захрапел вперемежку с присвистом.

Капрал уставился на него с остолбенелым видом.

Конвойные смеялись втихомолку.

— Проснётся не скоро, — проронил Швейк. — Здорово нализался!

Капрал испуганно замахал на него рукой, чтобы замолчал.

— Чего там, — продолжал Швейк, — пьян вдрызг — и всё тут. А ещё в чине капитана! У них, у фельдкуратов, в каком бы чине они ни были, у

всех, должно быть, так самим богом установлено: по каждому поводу напиваются до положения риз. Я служил у фельдкурата Каца, так тот мог свой собственный нос пропить. Тот ещё не такие штуки проделывал. Мы с ним пропили дароносицу и пропили бы, наверно, самого господа бога, если б нам под него сколько-нибудь одолжили.

Швейк подошёл к патеру Лацине, повернул его к стене и с видом знатока произнёс:

— Будет дрыхнуть до самого Брука… — и вернулся на своё место, провожаемый страдальческим взглядом несчастного капрала, пробормотавшего:

— Надо бы пойти заявить.

— Это придётся отставить, — сказал вольноопределяющийся. — Вы начальник конвоя и не имеете права покидать нас. Кроме того, по инструкции вы не имеете права отсылать, никого из сопровождающей стражи с донесением, раз у вас нет замены. Как видите, положение очень трудное. Выстрелить в воздух, чтобы кто-нибудь прибежал, тоже не годится — тут ничего не случилось. Кроме того, существует предписание, что в арестантском вагоне не должно быть никого, кроме арестантов и конвоя; сюда вход посторонним строго воспрещается. А если б вы захотели замести следы своего проступка и незаметным образом попытались бы сбросить обер-фельдкурата на ходу с поезда, то это тоже не выгорит, так как здесь есть свидетели, которые видели, что вы впустили его в вагон, где ему быть не полагается. Да-с, господин капрал, это пахнет не чем иным, как разжалованием.

Капрал нерешительно запротестовал, что не он-де впустил в вагон старшего полевого священника, а тот сам к ним присоединился, как-никак фельдкурат — всё же начальство.

— Здесь только один начальник — вы, — неумолимо возразил вольноопределяющийся, а Швейк прибавил:

— Даже если бы к нам захотел присоединиться сам государь император, вы не имели бы права этого разрешить. Это всё равно, как если к стоящему на часах рекруту подходит инспектирующий офицер и просит его сбегать за сигаретами, а тот ещё начнёт расспрашивать, какого сорта сигареты принести. За такие штуки сажают в крепость.

Капрал робко заметил, что Швейк первый предложил обер-фельдкурату ехать вместе с ними.

— А я могу себе это позволить, господин капрал, — ответил Швейк, — потому что я идиот, но от вас этого никто не ожидал.

— Давно ли вы на сверхсрочной? — как бы между прочим спросил

капрала вольноопределяющийся.

— Третий год. Теперь меня должны произвести во взводные.

— Можете на этом поставить крест, — цинично заявил вольноопределяющийся. — Я уже сказал, тут пахнет разжалованием.

— В конце концов какая разница, — отозвался Швейк, — убьют тебя взводным или простым рядовым. Правда, разжалованных, говорят, суют в самые первые ряды.

Обер-фельдкурат зашевелился.

— Дрыхнет, — объявил Швейк, удостоверившись, что с ним всё в порядке. — Ему, должно быть, жратва приснилась. Одного боюсь, как бы с ним тут чего не приключилось. Мой фельдкурат Кац, так тот, бывало, налакается и ничего не чувствует во сне. Однажды, представьте…

И Швейк начал рассказывать случаи из своей практики у фельдкурата Отто Каца с такими увлекательными подробностями, что никто не заметил, как поезд тронулся.

Рассказ Швейка был прерван только рёвом, доносившимся из задних вагонов. Двенадцатая рота, состоявшая сплошь из крумловских и кашперских немцев, галдела:

Warm ich kumm, wann ich kumm,
Warm ich wieda, wieda, kumm.[102]

Из другого вагона кто-то отчаянно вопил, обращая свои вопли к удаляющимся Будейовицам:

Und du, mein Schatz,
Bleibst hier.
Holario, holario, holo![103]

Вопил он так ужасно, что товарищи не выдержали и оттащили его от открытой дверки телячьего вагона.

— Удивительно, что сюда ещё не пришли с проверкой, — сказал капралу вольноопределяющийся. — Согласно предписанию, вы должны были доложить о нас коменданту поезда ещё на вокзале, а не вожжаться со всякими пьяными обер-фельдкуратами.

Несчастный капрал упорно молчал, тупо глядя на убегающие телеграфные столбы.

— Как только подумаю, что о нас никому не доложено, — продолжал ехидный вольноопределяющийся, — и что на первой же станции к нам как пить дать влезет комендант поезда, во мне закипает солдатская кровь! Словно мы какие-нибудь…

— Цыгане, — подхватил Швейк, — или бродяги. Похоже, будто мы боимся света божьего и нигде не появляемся, чтобы нас не арестовали.

— Помимо того, — не унимался вольноопределяющийся, — на основании распоряжения от двадцать первого ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года при перевозке военных арестантов по железной дороге должны быть соблюдены следующие правила: во-первых, арестантский вагон должен быть снабжён решётками, — это яснее ясного, и в данном случае первое правило соблюдено: мы находимся за безукоризненно прочными решётками. Это, значит, в порядке. Во-вторых, в дополнение к императорскому и королевскому распоряжению от двадцать первого ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года в каждом арестантском вагоне должно быть отхожее место. Если же такового не имеется, то вагон следует снабдить судном с крышкой для отправления арестантами и сопровождающим конвоем большой и малой нужды. В данном случае об арестантском вагоне с отхожим местом и говорить не приходится: мы находимся просто в отгороженном купе, изолированном от всего света. И, кроме всего прочего, здесь нет упомянутого судна.

— Можете делать в окно, — в полном отчаянии пролепетал капрал.

— Вы забываете, — возразил Швейк, — что арестантам подходить к окну воспрещается.

— В-третьих, — продолжал вольноопределяющийся, — в вагоне должен быть сосуд с питьевой водой. Об этом вы тоже не позаботились. A propos![104] На какой станции будут раздавать обед? Не знаете? Ну, так я и знал: вы и об этом не спрашивали.

— Вот видите, господин капрал, — заметил Швейк, — возить арестантов — это вам не шутка. О нас нужно заботиться. Мы не простые солдаты, которые обязаны сами о себе заботиться. Нам всё подай под самый нос, на то существуют распоряжения и параграфы, они должны исполняться, иначе какой же это порядок? «Арестованный человек всё равно как ребёнок в пелёнках, — говаривал один мой знакомый бродяга, — за ним необходимо присматривать, чтобы не простудился, чтобы не волновался, был доволен своей судьбой и чтобы никто бедняжку не обидел…» Впрочем, — прибавил Швейк, дружелюбно глядя на капрала, — когда пробьёт одиннадцать часов, вы мне дайте об этом знать. Капрал вопросительно посмотрел на Швейка. — Вы, видно, хотите спросить,

господин капрал, зачем вам нужно меня предупредить, когда будет одиннадцать часов? Дело в том, господин капрал, что с одиннадцати часов моё место — в телячьем вагоне, — торжественно объявил Швейк. — На полковом рапорте я был осуждён на три дня. В одиннадцать часов я приступил к отбытию наказания и сегодня в одиннадцать часов должен быть освобождён. С одиннадцати часов мне здесь делать нечего. Ни один солдат не может оставаться под арестом дольше, чем ему полагается, потому что на военной службе дисциплина и порядок прежде всего, господин капрал.

После этого удара несчастный капрал долго не мог прийти в себя. Наконец он возразил, что не получил никаких официальных бумаг.

— Милейший господин капрал, — отозвался вольноопределяющийся, — письменные распоряжения сами к начальнику конвоя не прибегут. Если гора не идёт к Магомету, то начальник конвоя должен идти за ними сам. Вы в настоящий момент попали в необычную ситуацию: вы не имеете решительно никакого права задерживать кого-либо, кому полагается выйти на волю. С другой стороны, согласно действующим предписаниям, никто не имеет права покинуть арестантский вагон. По правде сказать, я не знаю, как вы выберетесь из этого отвратительного положения. Положение чем дальше, тем хуже. Сейчас половина одиннадцатого. — Вольноопределяющийся спрятал часы в карман. — Очень любопытно, как вы поведёте себя через полчасика, господин капрал.

— Через полчаса я должен занять моё место в телячьем вагоне, — мечтательно повторил Швейк.

Уничтоженный и сбитый с толку капрал обратился к нему:

— Если это не играет для вас большой роли… мне кажется, здесь для вас гораздо удобнее, чем в телячьем вагоне. Я думаю…

Его прервал обер-фельдкурат, крикнувший спросонья:

— Побольше соуса!

— Спи, спи, — ласково сказал Швейк, подкладывая ему под голову свалившуюся с лавки полу шинели. — Желаю тебе приятных снов о жратве.

Вольноопределяющийся запел:

Спи, моя детка, спи…
Глазки закрой свои,
Бог с тобой будет спать,
Люлечку ангел качать.

Спи, моя детка, спи…

Несчастный капрал уже ни на что не реагировал. Он тупо глядел в окно и дал полную свободу дезорганизации в арестантском купе.

Конвойные у перегородки играли в «мясо», и на ягодицы падали добросовестные и увесистые удары остальных солдат. Когда капрал обернулся к ним, прямо на него вызывающе уставилась солдатская задница. Капрал вздохнул и опять повернулся к окну.

Вольноопределяющийся на минуту задумался и затем обратился к измученному капралу:

— Вы когда-нибудь читали журнал «Мир животных»?

— Этот журнал у нас в деревне выписывал трактирщик, — ответил капрал, явно довольный, что разговор принял другое направление. — Большой был любитель санских коз, а они у него все дохли, так он спрашивал совета в этом журнале.

— Дорогой друг, — сказал вольноопределяющийся, — история, которую я вам сейчас изложу, со всею очевидностью вам докажет, что человеку свойственно ошибаться. Господа, там, сзади! Уверен, что вы перестанете играть в «мясо», ибо то, что я вам сейчас расскажу, покажется вам очень интересным, хотя бы потому, что многих специальных терминов вы не поймёте. Я расскажу вам повесть о «Мире животных», чтобы вы позабыли о наших нынешних военных невзгодах.

Каким образом я стал редактором «Мира животных», этого весьма интересного журнала, — долгое время было неразрешимой загадкой для меня самого. Потом я пришёл к убеждению, что мог пуститься на такую штуку только в состоянии полной невменяемости. Так далеко завели меня дружеские чувства к одному моему старому приятелю — Гаеку, Гаек добросовестно редактировал этот журнал, пока не влюбился в дочку его издателя, Фукса. Фукс прогнал Гаека в два счёта со службы и велел ему подыскать для журнала какого-нибудь порядочного редактора.

Как видите, тогдашние условия найма и увольнения были довольно странные.

Когда мой друг Гаек представил меня издателю, тот очень ласково меня принял и осведомился, имею ли я какое-нибудь понятие о животных. Моим ответом он остался очень доволен. Я высказался в том смысле, что всегда очень уважал животных и видел в них только ступень перехода к человеку и что, с точки зрения покровительства животным, я особенно прислушивался к их нуждам и стремлениям. Каждое животное хочет

только одного, а именно: чтобы перед съедением его умертвили по возможности безболезненно.

Карп, например, с самого своего рождения сохраняет укоренившееся представление, что очень некрасиво со стороны кухарки вспарывать ему брюхо заживо. С другой стороны, возьмём обычай рубить петухам головы. Общество покровительства животных борется как только может за то, чтобы птицу не резали неопытной рукой. Скрюченные позы жареных гольцов как нельзя лучше свидетельствуют о том, что, умирая, они протестуют против того, чтобы их заживо жарили на маргарине. Что касается индюков…

Тут издатель прервал меня и спросил, знаком ли я с птицеводством, разведением собак, с кролиководством, пчеловодством, вообще с жизнью животных во всём её многообразии, сумею ли я вырезать из других журналов картинки для воспроизведения, переводить из иностранных журналов специальные статьи о животных, умею ли я пользоваться Бремом и смогу ли писать передовицы из жизни животных применительно к католическому календарю, к переменам погоды, к периодам охоты, к скачкам, дрессировке полицейских собак, национальным и церковным праздникам, короче, обладаю ли я журналистским кругозором и способностью обрисовать момент в короткой, но содержательной передовице.

Я заявил, что план правильного ведения такого рода журнала, как «Мир животных», мною уже давно обдуман и разработан и что все намеченные отделы и рубрики я вполне могу взять на себя, так как обладаю всеми необходимыми данными и знаниями в упомянутых областях.

Моим стремлением будет поднять журнал на небывалую высоту. Реорганизовать его как в смысле формы, так и содержания. Далее я сказал, что намерен завести новые разделы, например, «Уголок юмора зверей», «Животные о животных» (применяясь, конечно, к политическому моменту), и преподносить читателям сюрприз за сюрпризом, чтобы они опомниться не смогли, когда будут читать описание различных животных. Раздел «Звериная хроника» будет чередоваться с новой программой решения проблемы о домашних животных и «Движением среди скота».

Издатель опять прервал меня и сказал, что этого вполне достаточно и что если мне удастся выполнить хотя бы половину, то он мне подарит парочку карликовых виандоток, получивших первый приз на последней берлинской выставке домашней птицы: их владелец тогда же был удостоен золотой медали за отличное спаривание.

Могу сказать: старался я по мере сил и возможностей и свою

«правительственную» программу выполнял, насколько только хватало моих способностей; более того: я даже пришёл к открытию, что в своих статьях превзошёл самого себя.

Желая преподнести читателю что-нибудь новое и неожиданное, я сам выдумывал животных. Я исходил из того принципа, что, например, слон, тигр, лев, обезьяна, крот, лошадь, свинья и так далее — давным-давно известны каждому читателю «Мира животных» и теперь его необходимо расшевелить чем-нибудь новым, какими-нибудь открытиями. В виде пробы я пустил «сернистого кита». Этот новый вид кита был величиной с треску и снабжён пузырём, наполненным муравьиной кислотой, и особенного устройства клоакой; из неё сернистый кит со взрывом выпускал особую кислоту, которая одурманивающе действовала на мелкую рыбёшку, пожираемую этим китом. Позднее один английский учёный, не помню, какую я ему придумал тогда фамилию, назвал эту кислоту «китовой кислотой». Китовый жир был всем известен, но новая китовая кислота возбудила интерес, и несколько читателей запросили редакцию, какой фирмой вырабатывается эта кислота в чистом виде.

Смею вас уверить, что читатели «Мира животных» вообще очень любопытны.

Вслед за сернистым китом я открыл целый ряд других диковинных зверей. Назову хотя бы «благуна продувного» — млекопитающее из семейства кенгуру, «быка съедобного» — прототип нашей коровы и «инфузорию сепиевую», которую я причислил к семейству грызунов.

С каждым днём у меня прибавлялись новые животные. Я сам был потрясён своими успехами в этой области. Мне никогда раньше в голову не приходило, что возникнет необходимость столь основательно дополнить фауну. Никогда бы не подумал, что у Брема в его «Жизни животных» могло быть пропущено такое множество животных. Знал ли Брем и его последователи о моём нетопыре с острова Исландия, о так называемом «нетопыре заморском», или о моей домашней кошке с вершины горы Килиманджаро под названием «Пачуха оленья раздражительная»?

Разве кто-нибудь из естествоиспытателей имел до тех пор хоть малейшее представление о «блохе инженера Куна», которую я нашёл в янтаре и которая была совершенно слепа, так как жила на доисторическом кроте, который также был слеп, потому что его прабабушка спаривалась, как я писал в статье, со слепым «мацаратом пещерным» из Постоенской пещеры, которая в ту эпоху простиралась до самого теперешнего Балтийского океана.

По этому, незначительному в сущности, поводу возникла крупная

полемика между газетами «Время» и «Чех». «Чех», цитируя в своём фельетоне — рубрика «Разное» — статью об открытой мною блохе, сделал заключение: «Что бог ни делает, всё к лучшему». «Время», естественно, чисто «реалистически» разбило мою блоху по всем пунктам, прихватив кстати и преподобного «Чеха». С той поры, по-видимому, моя счастливая звезда изобретателя-естествоиспытателя, открывшего целый ряд новых творений, закатилась. Подписчики «Мира животных» начали высказывать недовольство.

Поводом к недовольству послужили мои мелкие заметки о пчеловодстве и птицеводстве. В этих заметках я развил несколько новых своих собственных теорий, которые буквально вызвали панику, так как после нескольких моих весьма простых советов читателям известного пчеловода Пазоурека хватил удар, а на Шумаве и в Подкрконошах все пчёлы погибли. Домашнюю птицу постиг мор — словом, всё и везде дохло. Подписчики присылали угрожающие письма. Отказывались от подписки.

Я набросился на диких птиц. До сих пор отлично помню свой конфликт с редактором «Сельского обозрения», депутатом клерикалом Иозефом М. Кадлачаком. Началось с того, что я вырезал из английского журнала «Country Life»[105] картинку, изображающую птичку, сидящую на ореховом дереве. Я назвал её «ореховкой», точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, «рябиновкой».

Заварилась каша. Кадлачак послал мне открытку, где напал на меня, утверждая, что это сойка, а вовсе не «ореховка» и что-де «ореховка» — это рабский перевод с немецкого Eichelhaher.[106]

Я ответил ему письмом, в котором изложил всю свою теорию относительно «ореховки», пересыпав изложение многочисленными ругательствами и цитатами из Брема, мною самим придуманными.

Депутат Кадлачак ответил мне передовицей в «Сельском обозрении».

Мой шеф, пан Фукс, сидел, как всегда, в кафе и читал местные газеты, так как в последнее время зорко следил за заметками и рецензиями на мои увлекательные статьи в «Мире животных». Когда я пришёл в кафе, он показал головой на лежащее на столе «Сельское обозрение» и что-то прошептал, посмотрев на меня грустными глазами, — печальное выражение теперь не исчезало из его глаз.

Я прочёл вслух перед всей публикой:

— «Многоуважаемая редакция! Мною замечено, что ваш журнал вводит непривычную и необоснованную зоологическую терминологию, пренебрегая чистотою чешского языка и придумывая всевозможных

животных. Я уже указывал, что вместо общепринятого и с незапамятных времён употребляемого названия „сойка“ ваш редактор вводит название „желудничка“, что является дословным переводом немецкого термина „Eichelhaher“— сойка».

— Сойка, — безнадёжно повторил за мною издатель.

Я спокойно продолжал читать:

— «В ответ на это я получил от редактора вашего журнала «Мир животных» письмо, написанное в крайне грубом, вызывающем тоне и носящее личный характер. В этом письме я был назван невежественной скотиной — оскорбление, как известно, наказуемое. Так порядочные люди не отвечают на замечания научного характера. Это ещё вопрос, кто из нас большая скотина. Возможно, что мне не следовало делать свои возражения в открытом письме, а нужно было написать закрытое письмо. Но ввиду перегруженности работой я не обратил внимания на такие пустяки. Теперь же, после хамских выпадов вашего редактора «Мира животных», я считаю своим долгом пригвоздить его к позорному столбу. Ваш редактор сильно ошибается, считая меня недоучкой и невежественной скотиной, не имеющей понятия о том, как называется та или иная птица. Я занимаюсь орнитологией в течение долгих лет и черпаю свои знания не из мёртвых книг, но в самой природе, у меня в клетках птиц больше, чем за всю свою жизнь видел ваш редактор, не выходящий за пределы пражских кабаков и трактиров.

Но всё это вещи второстепенные, хотя, конечно, вашему редактору «Мира животных» не мешало бы убедиться, что представляет собой тот, кого он обзывает скотиной, прежде чем нападки эти выйдут в свет и попадутся на глаза читателям в Моравии, в Фридланде под Мистеком, где до этой статьи у вашего журнала также были подписчики.

В конце концов дело не в полемике личного характера с каким-то сумасшедшим, а в том, чтобы восстановить истину. Поэтому повторяю ещё раз, что недопустимо выдумывать новые названия, исходя из дословного перевода, когда у нас есть всем известное отечественное — сойка».

— Да, сойка, — с ещё большим отчаянием в голосе произнёс мой шеф.

Я спокойно читаю дальше, не давая себя прервать:

— «Когда неспециалист и хулиган берётся не за своё дело, то это наглость с его стороны. Кто и когда называл сойку ореховкой? В труде «Наши птицы» на странице сто сорок восемь есть латинское название — «Ganulus glandarius B. A.». Это и есть сойка.

Редактор вашего журнала безусловно должен будет признать, что я знаю птиц лучше, чем их может знать неспециалист. Ореховка, по

терминологии профессора Баера, является не чем иным, как mucifraga carycatectes B., и это латинское «Б» не обозначает, как написал мне ваш редактор, начальную букву слова «болван». Чешские птицеводы знают только сойку обыкновенную, и им не известна ваша «желудничка», придуманная господином, к которому именно и подходит начальная буква «Б», согласно его же теории.

Наглые выходки, направленные против личности, сути дела не меняют. Сойка останется сойкой, хотя бы ваш редактор даже наклал в штаны. Последнее явится только лишним доказательством того, что автор письма пишет легкомысленно, не по существу дела, даже если он при этом в возмутительно грубой форме ссылался на Брема. Так, например, этот грубиян пишет, что сойка, согласно Брему, страница четыреста пятьдесят два, относится к отряду крокодиловидных, в то время как на этой странице говорится о жулане или сорокопуде обыкновенном (Lanius minorl.) Мало того, этот, мягко выражаясь, невежда ссылается опять на Брема, заявляя, что сойка относится к отряду пятнадцатому, между тем как Брем относит вороновых к отряду семнадцатому, к которому принадлежат и вороны, семейства галок, причём автор письма настолько нагл, что и меня назвал галкой (colaeus) из семейства сорок, ворон синих, из подотряда болванов неотёсанных, хотя на той же странице говорится о сойках лесных и сороках пёстрых».

— Лесные сойки, — вздохнул мой издатель, схватившись за голову. — Дайте-ка сюда, я дочитаю.

Я испугался, услышав, что издатель во время чтения начал хрипеть.

— Груздяк, или дрозд чёрный, турецкий, — прохрипел он, — всё равно останется в чешском переводе чёрным дроздом, а серый дрозд — серым.

— Серого дрозда следует называть рябинником, или рябиновкой, господин шеф, — подтвердил я, — потому что он питается рябиной.

Пан Фукс отшвырнул газету и залез под бильярд, хрипя последние слова статьи: «Turdus»,[107] груздяк!

— К чёрту сойку! — орал он из-под бильярда. — Ореховка! Укушу!

Еле-еле его вытащили. Через три дня он скончался в узком семейном кругу от воспаления мозга.

Последние его слова перед кончиной в минуту просветления разума были:

— Для меня важны не личные интересы, а общее благо. С этой точки зрения и примите моё последнее суждение как по существу, так и… — и икнул.

Вольноопределяющийся замолк на минуту, а затем не без ехидства сказал капралу:

— Этим я хочу сказать, что каждый может попасть в щекотливое положение и что человеку свойственно ошибаться.

Из всего этого капрал понял только, что ему ставятся на вид его собственные ошибки. Он отвернулся опять к окну и стал мрачно глядеть, как убегает дорога.

Конвойные с глупым видом переглядывались между собой. Швейка рассказ заинтересовал больше других.

— Нет ничего тайного, что не стало бы явным, — начал он. — Всё рано или поздно вылезает наружу, даже то, что какая-то дурацкая сойка не ореховка. Но очень интересно, что есть люди, которые на такую штуку попадаются. Выдумать животное — вещь нелёгкая, но показать выдуманное животное публике — ещё труднее. Несколько лет тому назад в Праге некий Местек обнаружил сирену и показывал её на улице Гавличка, на Виноградах, за ширмой. В ширме была дырка, и каждый мог видеть в полутьме самое что ни на есть обыкновенное канапе, на котором валялась девка с Жижкова. Ноги у неё были завёрнуты в зелёный газ, что должно было изображать хвост, волосы были выкрашены в зелёный цвет, на руках были рукавицы на манер плавников, из картона, тоже зелёные, а вдоль спины верёвочкой привязано что-то вроде руля. Детям до шестнадцати лет вход был воспрещён, а кому было больше шестнадцати, те платили за вход, и всем очень нравилось, что у сирены большая задница, а на ней написано: «До свидания!» Зато насчёт грудей было слабо: висели у ней до самого пупка, словно у старой шлюхи. В семь часов вечера Местек закрывал панораму и говорил: «Сирена, можете идти домой». Она переодевалась и в десять часов вечера её уже можно было видеть на Таборской улице. Она прогуливалась и будто случайно говорила каждому встречному мужчине: «Красавчик, пойдём со мной побалуемся». Ввиду того что у неё не было жёлтого билета, её вместе с другими «мышками» арестовал во время облавы пан Драшнер, и Местеку пришлось прикрыть свою лавочку.

В этот момент обер-фельдкурат скатился со скамьи и продолжал спать на полу. Капрал бросил на него растерянный взгляд, а потом, при общем молчании, стал втаскивать его обратно. Никто не пошевелился, чтобы ему помочь. Видно было, что капрал потерял всякий авторитет, и когда он безнадёжным голосом сказал: «Хоть бы помог кто…» — конвойные только посмотрели на него, но и пальцем не пошевельнули.

— Вам бы нужно было оставить его дрыхнуть на полу. Я со своим фельдкуратом иначе не поступал. Однажды я оставил его спать в сортире, в

другой раз он у меня выспался на шкафу. Бывало, спал и в чужой квартире, в корыте. И где он только не дрых!..

Капрал почувствовал вдруг прилив решительности. Желая показать, что он здесь начальник, он грубо крикнул на Швейка:

— Заткнитесь и не трепитесь больше! Всякий денщик туда же, лезет со своей болтовнёй. Тля!

— Верно. А вы, господин капрал, бог, — ответил Швейк со спокойствием философа, стремящегося водворить мир на земле и во имя этого пускающегося в ярую полемику. — Вы матерь скорбящая.

— Господи боже! — сложив руки, как на молитву, воскликнул вольноопределяющийся. — Наполни сердце наше любовью ко всем унтер-офицерам, чтобы не глядели мы на них с отвращением! Благослови собор наш в этой арестантской яме на колёсах!

Капрал побагровел и вскочил с места:

— Я запрещаю всякого рода замечания, вольноопределяющийся!

— Вы ни в чём не виноваты, — успокаивал его вольноопределяющийся. — При всём разнообразии родов и видов животных природа отказала им в каком бы то ни было интеллекте; небось вы сами слышали о человеческой глупости. Разве не было бы гораздо лучше, если б вы родились каким-нибудь другим млекопитающим и не носили бы глупого имени человека и капрала? Это большая ошибка, если вы считаете себя самым совершенным и развитым существом. Стоит отпороть вам звёздочки, и вы станете нулём, таким же нулём, как все те, которых на всех фронтах и во всех окопах убивают неизвестно во имя чего. Если же вам прибавят ещё одну звёздочку и сделают из вас новый вид животного, по названию старший унтер, то и тогда у вас не всё будет в порядке. Ваш умственный кругозор ещё более сузится, и когда вы наконец сложите свою культурно недоразвитую голову на поле сражения, то никто во всей Европе о вас не заплачет.

— Я вас посажу! — с отчаянием крикнул капрал. Вольноопределяющийся улыбнулся.

— Очевидно, вы хотели бы посадить меня за то, что я вас оскорбил? В таком случае вы солгали бы, потому что при вашем умственном багаже вам никак не постичь оскорбления, заключающегося в моих словах, тем более что вы — готов держать пари на что угодно! — не помните ничего из нашего разговора. Если я назову вас эмбрионом, то вы забудете это слово, не скажу раньше, чем мы доедем до ближайшей станции, но раньше, чем мимо промелькнёт ближайший телеграфный столб. Вы — отмершая мозговая извилина. При всём желании я не могу себе даже представить, что

вы когда-нибудь сможете связно изложить, о чём я вам говорил. Кроме того, спросите кого угодно из присутствующих, задел ли я чем-нибудь ваш умственный кругозор и было ли в моих словах хоть малейшее оскорбление.

— Безусловно, — подтвердил Швейк. — Никто вам ни словечка не сказал, которое вы могли бы плохо истолковать. Всегда получается скверно, когда кто-нибудь почувствует себя оскорблённым. Сидел я как-то в ночной кофейне «Туннель». Разговор шёл об орангутангах. Был с нами один моряк, он рассказывал, что орангутанга часто не отличишь от какого-нибудь бородатого гражданина, потому что у орангутанга вся морда заросла лохмами, как… «Ну, говорит, как у того вон, скажем, господина за соседним столом». Мы все оглянулись, а бородатый господин встал, подошёл к моряку да как треснет его по морде. Моряк взял бутылку из-под пива и разбил ему голову. Бородатый господин остался лежать без памяти, и мы с моряком распростились, потому что он сразу ушёл, когда увидел, что укокошил этого господина. Потом мы его воскресили и безусловно глупо сделали, потому что он, воскреснув, немедленно позвал полицию. Хотя мы-то были совсем тут ни при чём, полиция отвела нас всех в участок. Там он твердил, что мы приняли его за орангутанга и всё время только о нём и говорили. И — представьте — настаивал на своём. Мы говорили, что ничего подобного и что он не орангутанг. А он всё — орангутанг да орангутанг, я сам, мол, слышал. Я попросил комиссара, чтобы он сам всё объяснил этому господину. Комиссар по-хорошему стал объяснять, но тот не дал ему говорить и заявил, что комиссар с нами заодно. Тогда комиссар велел его посадить за решётку, чтобы тот протрезвился, а мы собрались вернуться в «Туннель», но не пришлось, — нас тоже посадили за решётку… Вот видите, господин капрал, во что может вылиться маленькое, пустяковое недоразумение, на которое слов-то не стоит тратить. Или, например, в Немецком Броде один гражданин из Округлиц обиделся, когда его назвали тигровой змеёй. Да мало ли слов, за которые никого нельзя наказывать? Если, к примеру, мы бы вам сказали, что вы — выхухоль, могли бы вы за это на нас рассердиться?

Капрал зарычал. Это нельзя было назвать рёвом. То был рык, выражавший гнев, бешенство и отчаяние, слившиеся воедино. Этот концертный номер сопровождался тонким свистом, который выводил носом храпевши обер-фельдкурат.

После этого рыка у капрала наступила полнейшая депрессия. Он сел на лавку, и его водянистые, невыразительные глаза уставились вдаль, на леса и горы.

— Господин капрал, — сказал вольноопределяющийся, — сейчас,

когда вы следите за высокими горами и благоухающими лесами, вы напоминаете мне фигуру Данте. Те же благородные черты поэта, человека, чуткого сердцем и душой, отзывчивого ко всему возвышенному. Прошу вас, останьтесь так сидеть, это вам очень идёт! Как проникновенно, без тени деланности, жеманства таращите вы глаза на расстилающийся пейзаж. Несомненно, вы думаете о том, как будет красиво здесь весною, когда по этим пустым местам расстелется ковёр пёстрых полевых цветов…

— Орошаемый ручейком, — подхватил Швейк. — А на пне сидит господин капрал, слюнявит карандаш и пишет стишки в журнал «Маленький читатель».

Капрал впал в полнейшую апатию. Вольноопределяющийся стал уверять его, что он видел изваяние его капральской головы на выставке скульпторов.

— Простите, господин капрал, а вы не служили ли моделью скульптору Штурсе?

Капрал взглянул на вольноопределяющегося и ответил сокрушённо:

— Не служил.

Вольноопределяющийся замолк и растянулся на лавке.

Конвойные начали играть со Швейком в карты. Капрал с отчаяния стал заглядывать в карты через плечи играющих и даже позволил себе сделать замечание, что Швейк пошёл с туза, а ему не следовало козырять: тогда бы у него для последнего хода осталась семёрка.

— В прежние времена, — отозвался Швейк, — в трактирах были очень хорошие надписи на стенах, специально насчёт советчиков. Помню одну надпись: «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам».

Воинский поезд подходил к станции, где инспекция должна была обходить вагоны. Поезд остановился.

— Так и знал, — сказал беспощадный вольноопределяющийся, бросив многозначительный взгляд на капрала, — инспекция уже тут…

В вагон вошла инспекция.

Начальником воинского поезда по назначению штаба был офицер запаса — доктор Мраз.

Для исполнения столь бестолковых дел всегда назначали офицеров запаса. Мраз совсем потерял голову. Он вечно не мог досчитаться одного вагона, хотя до войны был преподавателем математики в реальном училище. Кроме того, подсчёт команды по отдельным вагонам, произведённый на последней станции, расходился с итогом, подведённым после посадки на будейовицком вокзале. Когда он просматривал опись инвентаря, оказывалось, что неизвестно откуда взялись две лишние

полевые кухни. Мурашки пробегали у него по спине, когда он констатировал, что неизвестным путём размножились лошади. В списке офицерского состава у него не хватало двух младших офицеров. В переднем вагоне, где помещалась полковая канцелярия, никак не могли отыскать пишущую машинку. От этого хаоса и суеты у него разболелась голова, он принял уже три порошка аспирина и теперь инспектировал поезд с болезненным выражением на лице.

Войдя вместе со своим сопровождающим в арестантское купе и просмотрев бумаги, он принял рапорт от несчастного капрала, что тот везёт двух арестантов и что у него столько-то и столько-то человек команды. Затем начальник поезда сравнил правильность рапорта с данными в документах и осмотрел купе.

— А кого ещё везёте? — строго спросил он, указывая на обер-фельдкурата, который спал на животе, вызывающе выставив заднюю часть прямо на инспекторов.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — заикаясь, пролепетал капрал. — Этот, эт…

— Какой ещё там «этотэт?» — недовольно заворчал Мраз. — Выражайтесь яснее.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил за капрала Швейк, — человек, который спит на животе, какой-то пьяный господин обер-фельдкурат. Он к нам пристал и влез в вагон, а мы не могли его выкинуть, потому что как-никак — начальство, и это было бы нарушением субординации. Вероятно, он перепутал штабной вагон с арестантским.

Мраз вздохнул и заглянул в свои бумаги. В бумагах не было даже намёка на обер-фельдкурата, который должен был ехать этим поездом в Брук. У инспектора задёргался глаз. На предыдущей остановке у него вдруг прибавились лошади, а теперь — пожалуйте! — в арестантском купе ни с того ни с сего родился обер-фельдкурат.

Начальник поезда не придумал ничего лучшего, как приказать капралу, чтобы тот перевернул спящего на животе обер-фельдкурата на спину, так как в настоящем положении было невозможно установить его личность.

Капрал после долгих усилий перевернул обер-фельдкурата на спину, причём последний проснулся и, увидев перед собой офицера, сказал:

— Eh, servus, Fredy, was gibt's neues? Abendessen schon fertig?[108]

После этого он опять закрыл глаза и повернулся к стене.

Мраз моментально узнал в нём вчерашнего обжору из Офицерского собрания, известного объедалу на всех офицерских банкетах, и тихо вздохнул.

— Пойдёте за это на рапорт, — сказал он капралу и направился к выходу.

Швейк задержал его:

— Осмелюсь доложить, господин поручик, мне здесь не полагается находиться. Я должен был быть под арестом до одиннадцати, потому что срок мой вышел сегодня. Я посажен под арест на три дня и теперь уже должен ехать с остальными в телячьем вагоне. Ввиду того, что одиннадцать часов уже давно прошли, покорнейше прошу, господин лейтенант, высадить меня или перевести в телячий вагон, где мне надлежит быть, или же направить к господину обер-лейтенанту Лукашу.

— Фамилия? — спросил Мраз, снова заглядывая в свои бумаги.

— Швейк Йозеф, господин лейтенант.

— Мгм… вы, значит, тот самый Швейк, — буркнул Мраз. — Действительно, вы должны были выйти из-под ареста в одиннадцать, но поручик Лукаш просил меня безопасности ради не выпускать вас до самого Брука, чтобы вы в дороге опять чего-нибудь не натворили.

После ухода инспекции капрал не мог удержаться от язвительного замечания:

— Вот видите, Швейк, ни чёрта вам не помогло обращение к высшей инстанции! Ни чёрта оно не стоило! Дерьмо цена ему! Захочу, могу вами обоими печку растопить.

— Господин капрал, — прервал его вольноопределяющийся. — Бросаться направо и налево дерьмом — аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям. Что же касается смешных угроз, будто вы могли нами обоими печку растопить, та почему же, чёрт возьми, вы до сих пор этого не сделали, имея к тому полную возможность? Вероятно, в этом сказалась ваша духовная зрелость и необыкновенная деликатность.

— Довольно с меня! — вскочил капрал. — Я вас обоих в тюрьму могу упрятать.

— За что же, голубчик? — невинно спросил вольноопределяющийся.

— Это уж моё дело, за что, — храбрился капрал.

— Ваше дело? — переспросил с улыбкой вольноопределяющийся. — Так же, как и наше. Это как в картах: «Деньги ваши будут наши». Скорее всего, сказал бы я, на вас повлияло упоминание о том, что вам придётся явиться на рапорт, а вы начинаете кричать на нас, явно злоупотребляя служебным положением.

— Грубияны вы, вот что! — закричал капрал, набравшись храбрости и

делая страшное лицо.

— Знаете, что я вам скажу, господин капрал, — сказал Швейк. — Я старый солдат, и до войны служил, и не знаю случая, чтобы ругань приводила к чему-нибудь хорошему. Несколько лет тому назад, помню, был у нас в роте взводный по фамилии Шрейтер. Служил он сверхсрочно. Его бы уж давно отпустили домой в чине капрала, но, как говорится, нянька его в детстве уронила. Придирался он к нам, приставал как банный лист; то это не так, то то не по предписанию — словом, придирался, как только мог, и всегда нас ругал: «Не солдаты вы, а ночные сторожа». В один прекрасный день меня это допекло, и я пошёл с рапортом к командиру роты. «Чего тебе?» — спрашивает капитан. «Осмелюсь доложить, господин капитан, с жалобой на нашего фельдфебеля Шрейтера. Мы как-никак солдаты его величества, а не ночные сторожа. Мы служим верой и правдой государю императору, а не баклуши бьём». — «Смотри у меня, насекомое, — ответил мне капитан. — Вон! И чтобы больше мне на глаза не попадаться!» А я на это: «Покорнейше прошу направить меня на батальонный рапорт». Когда я на батальонном рапорте объяснил обер-лейтенанту, что мы не сторожа, а солдаты его императорского величества, он посадил меня на два дня, но я просил направить меня на полковой рапорт. На полковом рапорте господин полковник после моих объяснений заорал на меня, что я идиот, и послал ко всем чертям. А я опять: «Осмелюсь доложить, господин полковник, прошу направить меня на рапорт в бригаду». Этого он испугался и моментально велел позвать в канцелярию нашего фельдфебеля Шрейтера, и тому пришлось перед всеми офицерами просить у меня прощения за «ночных сторожей». Потом он нагнал меня во дворе и заявил, что с сегодняшнего дня ругаться не будет, но доведёт меня до гарнизонной тюрьмы. С той поры я всегда был начеку, но всё-таки не уберёгся. Стоял я однажды на часах у цейхгауза. На стенке, как водится, каждый часовой что-нибудь оставлял на память: нарисует, скажем, женские части или стишок какой напишет. А я ничего не мог придумать и от скуки подписался как раз под последней надписью «Фельдфебель Шрейтер — сволочь», фельдфебель, подлец, моментально на меня донёс, так как ходил за мной по пятам и выслеживал, словно полицейский пёс. По несчастной случайности, над этой надписью была другая: «На войну мы не пойдём, на неё мы все на…ём». А дело происходило в тысяча девятьсот двенадцатом году, когда нас собирались посылать против Сербии из-за консула Прохазки. Меня моментально отправили в Терезин, в военный суд. Раз пятнадцать господа из военного суда фотографировали стену цейхгауза со всеми надписями и моей подписью в том числе. Чтобы после исследовать мой почерк, меня раз

десять заставляли писать «На войну мы не пойдём, на неё мы все на…ём», пятнадцать раз мне пришлось в их присутствии писать: «Фельдфебель Шрейтер — сволочь». Наконец приехал эксперт-графолог и велел мне написать: «Двадцать девятого июня тысяча восемьсот девяносто седьмого года Кралов Двур изведал ужасы стихийного разлива Лабы». «Этого мало, — сказал судебный следователь. — Нам важно это «на…ём». Продиктуйте ему что-нибудь такое, где много «с» и «р». Эксперт продиктовал мне: «серб, сруб, свербёж, херувим, рубин, шваль». Судебный эксперт, видно, совсем зарапортовался и всё время оглядывался назад, на солдата с винтовкой. Наконец он сказал, что необходимо, чтобы я три раза подряд написал: «Солнышко уже начинает припекать: наступают жаркие дни», — это, мол, пойдёт в Вену. Затем весь материал отправили в Вену, и наконец выяснилось, что надписи сделаны не моей рукой, а подпись действительно моя, но в этом-то я и раньше признавался. Мне присудили шесть недель за то, что я расписался, стоя на часах, и по той причине, что я не мог охранять вверенный мне пост в тот момент, когда расписывался на стене.

— Видите, вас всё-таки наказали, — не без удовлетворения отметил капрал, — вот и выходит, что вы настоящий уголовник. Будь я на месте военного суда, я бы вкатил вам не шесть недель, а шесть лет.

— Не будьте таким грозным, — взял слово вольноопределяющийся. — Поразмыслите-ка лучше о своём конце. Только что инспекция вам сказала, что вы должны явиться на рапорт. Не мешало бы вам приготовиться к этому серьёзному моменту и взвесить всю бренность вашего капральского существования. Что, собственно, представляете вы собою по сравнению со вселенной, если принять во внимание, что самая близкая неподвижная звезда находится от этого воинского поезда на расстоянии в двести семьдесят пять тысяч раз большем, чем солнце, и её параллакс равен одной дуговой секунде. Если представить себе вас во вселенной в виде неподвижной звезды, вы безусловно были бы слишком ничтожны, чтобы вас можно было увидеть даже в самый сильный телескоп. Для вашей ничтожности во вселенной не существует понятия. За полгода вы описали бы на небосводе такую крохотную дугу, а за год эллипс настолько малых размеров, что их нельзя было бы выразить цифрой, настолько они незначительны. Ваш параллакс был бы величиной неизмеримо малой.

— В таком случае, — заметил Швейк, — господин капрал может гордиться тем, что его никто не в состоянии измерить. Что бы с ним ни случилось на рапорте, господин капрал должен оставаться спокойным и не горячиться, так как всякое волнение вредит здоровью, а в военное время

каждый должен беречься. Невзгоды, связанные с войной, требуют, чтобы каждая отдельная личность была не дохлятиной, а чем-нибудь получше. Если вас, господин капрал, посадят, — продолжал Швейк с милой улыбкой, — в случае, если над вами учинят подобного рода несправедливость, вы не должны терять бодрости духа, и пусть они остаются при своём мнении, а вы при своём. Знавал я одного угольщика, звали его Франтишек Шквор. В начале войны мы с ним сидели в полиции в Праге за государственную измену. Потом его казнили за какую-то там прагматическую санкцию. Когда его на допросе спросили, нет ли у него возражений против протокола, он сказал:

Пусть было, как было, — ведь как-нибудь да было!

Никогда так не было, чтобы никак не было.

За это его посадили в тёмную одиночку и не давали ему два дня ни есть, ни пить, а потом опять повели на допрос. Но он стоял на своём:

Пусть было, как было, — ведь как-нибудь да было!
Никогда так не было, чтобы никак не было.

Его отправили в военный суд, и возможно, что и на виселицу он шёл с теми же словами.

— Нынче, говорят, многих вешают и расстреливают, — сказал один из конвойных. — Недавно читали нам на плацу приказ, что в Мотоле расстреляли одного запасного, Кудрну, за то, что он вспылил, прощаясь с женою в Бенешове, когда капитан рубанул шашкой его мальчонку, сидевшего на руках у матери. Всех политических вообще арестовывают. Одного редактора из Моравии расстреляли. Ротный нам говорил, что и остальных это ждёт.

— Всему есть границы, — двусмысленно сказал вольноопределяющийся.

— Ваша правда, — отозвался капрал. — Так им, редакторам, и надо. Только народ подстрекают. Это как в позапрошлом году, когда я ещё был ефрейтором, под моей командой был один редактор. Он меня иначе не называл, как паршивой овцой, которая всю армию портит. А когда я учил его делать вольные упражнения до седьмого поту, он всегда говорил: «Прошу уважать во мне человека». Я ему тогда и показал, что такое «человек». Как-то раз — на казарменном дворе тогда повсюду была грязь — подвёл я его к большой луже и скомандовал: «Nieder!»; пришлось парню падать в грязь, только брызги полетели, как в купальне. А после обеда на

нём опять всё должно было блестеть, а мундир сиять, как стёклышко. Ну и чистил, кряхтел, а чистил; да ещё всякие замечания при этом делал. На следующий день он снова валялся в грязи, как свинья, а я стоял над ним и приговаривал: «Ну-с, господин редактор, так кто же выше: паршивая овца или ваш „человек“?» Настоящий был интеллигент.

Капрал с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося и продолжал:

— Ему спороли нашивки вольноопределяющегося именно за его образованность, за то, что он писал в газеты об издевательстве над солдатами. Но как его не шпынять, если такой учёный человек, а не может затвора разобрать у винтовки, хоть десять раз ему показывай. Скажешь ему «равнение налево», а он, словно нарочно, воротит свою башку направо и глядит на тебя, точно ворона. Приёмов с винтовкой не знает, не понимает, за что раньше браться: за ремень или за патронташ. Вывалит на тебя буркалы, как баран на новые ворота, когда ему покажешь, что рука должна соскользнуть по ремню вниз. Не знал даже, на каком плече носят винтовку; честь отдавал, как обезьяна. А повороты при маршировке, господи боже! При команде «кругом марш!» ему было всё равно, с какой ноги делать: шлёп, шлёп, шлёп — уже после команды пёр ещё шагов шесть вперёд, топ, топ, топ… и только тогда поворачивался, как петух на вертеле, а шаг держал, словно подагрик, или приплясывал, точно старая дева на престольном празднике.

Капрал плюнул.

— Я нарочно выдал ему сильно заржавевшую винтовку, чтобы научился чистить, он тёр её, как кобель сучку, но если бы даже купил себе на два кило пакли больше, всё равно ничего не мог бы вычистить. Чем больше чистил, тем хуже, винтовка ещё больше ржавела, а потом на рапорте винтовка ходила по рукам, и все удивлялись, как это можно довести винтовку до такого состояния, — одна ржавчина. Наш капитан всегда ему говаривал, что солдата из него не выйдет, лучше всего ему пойти повеситься, чтобы не жрал задаром солдатский хлеб. А он только из-под очков глазами хлопал. Он редко когда не попадал в наряд или в карцер, и это было для него большим праздником. В такие дни он обыкновенно писал свои статейки о том, как тиранят солдат, пока у него в сундуке не сделали обыск. Ну и книг у него было! Все только о разоружении и о мире между народами. За это его отправили в гарнизонную тюрьму, и мы от него избавились, до тех пор, пока он опять у нас не появился, но уже в канцелярии, где он выписывал пайки; его туда поместили, чтобы не общался с солдатами. Вот как печально кончил этот интеллигент. А мог бы

стать большим человеком, если б по своей глупости не потерял права вольноопределяющегося. Мог бы стать лейтенантом.

Капрал вздохнул.

— Складок на шинели не умел заправить. Только и знал, что выписывал себе из Праги всякие жидкости и мази для чистки пуговиц. И всё-таки его пуговицы были рыжие, как Исав. Но языком трепать умел, а когда стал служить в канцелярии, так только и делал, что пускался в философствования. Он и раньше был на это падок. Одно слово — «человек», как я вам уже говорил. Однажды, когда он пустился в рассуждения перед лужей, куда ему предстояло бухнуться по команде «nieder», я ему сказал: «Когда начинают распространяться насчёт человека да насчёт грязи, мне, говорю, вспоминается, что человек был сотворён из грязи, — и там ему и место».

Высказавшись, капрал остался очень собою доволен и стал ждать, что скажет на это вольноопределяющийся. Однако отозвался Швейк:

— За такие вот штуки, за придирки, несколько лет тому назад в Тридцать шестом полку некий Коничек заколол капрала, а потом себя. В «Курьере» это было. У капрала на теле было этак с тридцать колотых ран, из которых больше дюжины было смертельных. А солдат после этого уселся на мёртвого капрала и, на нём сидя, заколол и себя. Другой случай произошёл несколько лет тому назад в Далмации. Там зарезали капрала, и до сих пор неизвестно, кто это сделал. Это осталось погружённым во мрак неизвестности. Выяснили только, что фамилия зарезанного капрала Фиала, а сам он из Драбовны под Труновом. Затем известен мне ещё один случай с капралом Рейманеком из Семьдесят пятого полка…

Не лишённое приятности повествование было прервано громким кряхтением, доносившимся с лавки, где спал обер-фельдкурат Лацина.

Патер просыпался во всей своей красе и великолепии. Его пробуждение сопровождалось теми же явлениями, что утреннее пробуждение молодого великана Гаргантюа, описанное старым весёлым Рабле.

Обер-фельдкурат пускал ветры, рыгал и зевал во весь рот. Наконец он сел и удивлённо спросил:

— Что за чёрт, где это я?

Капрал, увидев, что начальство пробуждается, подобострастно ответил:

— Осмелюсь доложить, господин обер-фельдкурат, вы изволите находиться в арестантском вагоне.

На лице патера мелькнуло удивление. С минуту он сидел молча и

напряжённо соображал, но безрезультатно. Между событиями минувшей ночи и пробуждением его в вагоне с решётками на окнах простиралось море забвения. Наконец он спросил капрала, всё ещё стоявшего перед ним в подобострастной позе:

— А по чьему приказанию меня, как какого-нибудь….

— Осмелюсь доложить, безо всякого приказания, господин обер-фельдкурат.

Патер встал и зашагал между лавками, бормоча, что он ничего не понимает. Потом он опять сел и спросил:

— А куда мы, собственно, едем?

— Осмелюсь доложить, в Брук.

— А зачем мы едем в Брук?

— Осмелюсь доложить, туда переведён весь наш Девяносто первый полк.

Патер снова принялся усиленно размышлять о том, что с ним произошло, как он попал в вагон и зачем он, собственно, едет в Брук именно с Девяносто первым полком и под конвоем. Наконец он протрезвился настолько, что разобрал, что перед ним сидит вольноопределяющийся. Он обратился к нему:

— Вы человек интеллигентный; может быть, вы объясните мне попросту, ничего не утаивая, каким образом я попал к вам?

— С удовольствием, — охотно согласился вольноопределяющийся. — Вы просто-напросто примазались к нам утром при посадке в поезд, так как были под мухой.

Капрал строго взглянул на вольноопределяющегося.

— Вы влезли к нам в вагон, — продолжал вольноопределяющийся, — таковы факты. Вы легли на лавку, а Швейк подложил вам под голову свою шинель. На предыдущей станции при проверке поезда вас занесли в список офицерских чинов, находящихся в поезде. Вы были, так сказать, официально обнаружены, и из-за этого наш капрал должен будет явиться на рапорт.

— Так, так, — вздохнул патер. — Значит, на ближайшей станции мне нужно будет пересесть в штабной вагон. А что, обед уже разносили?

— Обед будет только в Вене, господин обер-фельдкурат, — вставил капрал.

— Так, значит, это вы подложили мне под голову шинель? — обратился патер к Швейку. — Большое вам спасибо.

— Не за что, — ответил Швейк. — Я поступил так, как должен поступать каждый солдат, когда видит, что у начальства нет ничего под

головой и что оно… того. Солдат должен уважать своё начальство, даже если оно немного и не того. У меня с фельдкуратами большой опыт, потому как я был в денщиках у фельдкурата Отто Каца. Народ они весёлый и сердечный.

Обер-фельдкурат в припадке демократизма, вызванного похмельем, вынул сигарету и протянул её Швейку.

— Кури! Ты, говорят, из-за меня должен явиться на рапорт? — обратился он к капралу. — Ничего, брат, не бойся. Я тебя выручу. Ничего тебе не сделают. А тебя, — сказал он Швейку, — я возьму с собой; будешь у меня жить, как у Христа за пазухой.

На него нашёл новый припадок великодушия, и он насулил всем всяческих благ: вольноопределяющемуся обещал купить шоколаду, конвойным — ром, капрала обещал перевести в фотографическое отделение при штабе Седьмой кавалерийской дивизии и уверял всех, что он их освободит и всегда их будет помнить. И тут же стал угощать сигаретами из своего портсигара не только Швейка, но и остальных, заявив, что разрешает всем арестантам курить, и обещает позаботиться о том, чтобы наказание им всем было сокращено и чтобы они вернулись к нормальной военной жизни.

— Не хочу, чтобы вы меня поминали лихом, — сказал он. — Знакомств у меня много, и со мной вы не пропадёте. Вообще вы производите на меня впечатление людей порядочных, угодных господу богу. Если вы и согрешили, то за свои грехи расплачиваетесь и, как я вижу, с готовностью и безропотно сносите испытания, ниспосланные на вас богом. На основании чего вы подверглись наказанию? — обратился он к Швейку.

— Бог меня покарал, — смиренно ответил Швейк, — избрав своим орудием полковой рапорт, господин обер-фельдкурат, по случаю не зависящего от меня опоздания в полк.

— Бог бесконечно милостив и справедлив, — торжественно возгласил обер-фельдкурат. — Он знает, кого наказывает, ибо являет нам тем самым своё провидение и всемогущество. А вы за что сидите, вольноопределяющийся?

— Всемилостивому создателю благоугодно было ниспослать на меня ревматизм, и я возгордился, — ответил вольноопределяющийся. — По отбытии наказания буду прикомандирован к полковой кухне.

— Что бог ни делает, всё к лучшему, — с пафосом провозгласил патер, заслышав о кухне. — Порядочный человек и на кухне может сделать себе карьеру. Интеллигентных людей нужно назначать именно на кухню для

большего богатства комбинаций, ибо дело не в том, как варить, а в том, чтобы с любовью всё это комбинировать, приправу, например, и тому подобное. Возьмите, например, подливки. Человек интеллигентный, приготовляя подливку из лука, возьмёт сначала всякой зелени понемногу, потушит её в масле, затем прибавит кореньев, перцу, английского перцу, немного мускату, имбирю. Заурядный же, простой повар разварит луковицу, а потом бухнет туда муки, поджаренной на говяжьем сале, — и готово. Я хотел бы видеть вас в офицерской кухне. Человек некультурный терпим в быту, в любом обыкновенном роде занятий, но в поваренном деле без интеллигентности — пропадёшь. Вчера вечером в Будейовицах, в Офицерском собрании, подали нам, между прочим, почки в мадере. Тот, кто смог их так приготовить, — да отпустит ему за это господь бог все прегрешения! — был интеллигент в полном смысле этого слова. Кстати, в тамошней офицерской кухне действительно служит какой-то учитель из Скутчи. А те же почки в мадере ел я однажды в офицерской столовой Шестьдесят четвёртого запасного полка. Навалили туда тмину, — ну, словом, так, как готовят почки с перцем в простом трактире. А кто готовил? Кем, спрашивается, был ихний повар до войны? Скотником в имении!

Фельдкурат выдержал паузу и перешёл к разбору поваренной проблемы в Ветхом и Новом Завете, упомянув, что в те времена особое внимание обращали на приготовление вкусных яств после богослужений и церковных празднеств. Затем он предложил что-нибудь спеть, и Швейк с охотой, но, как всегда, не к месту затянул:

Идёт Марина
Из Годонина.
За ней вприпрыжку
С вином под мышкой
Несётся поп —
Чугунный лоб.

Но обер-фельдкурат нисколько не рассердился.

— Если бы было под рукой хоть немножко рому, то и вина не нужно, — сказал он, дружелюбно улыбаясь, — а что касается Марины, то и без неё обойдёмся. С ними только грех один.

Капрал полез в карман шинели и осторожно вытащил плоскую фляжку с ромом.

— Осмелюсь предложить, господин обер-фельдкурат, — по голосу

было ясно, как тяжела ему эта жертва, — не сочтите за обиду-с…

— Не сочту, голубчик, — ответил тот, и в голосе его зазвучали радостные нотки. — Пью за наше благополучное путешествие.

— Иисус Мария! — вздохнул капрал, видя, как после солидного глотка обер-фельдкурата исчезла половина содержимого фляжки.

— Ах вы, такой-сякой, — пригрозил ему обер-фельдкурат, улыбаясь и многозначительно подмигивая вольноопределяющемуся. — Ко всему прочему вы ещё упоминаете имя божье всуе! За это он вас должен покарать. — Патер снова хватил из фляжки и, передавая её Швейку, скомандовал: — Прикончить!

— Приказ есть приказ, — добродушно сказал Швейк капралу, возвращая ему пустую фляжку. В глазах унтера появился тот особый блеск, который можно наблюдать только у душевнобольных.

— А теперь я чуточку вздремну до Вены, — объявил обер-фельдкурат. — Разбудите меня, как только приедем в Вену. А вы, — обратился он к Швейку, — сходите на кухню офицерской столовой, возьмите прибор и принесите мне обед. Скажите там, что для господина обер-фельдкурата Лацины. Попытайтесь получить двойную порцию. Если будут кнедлики, не берите с горбушки — невыгодно. Потом принесите мне бутылку вина и не забудьте взять с собой котелок: пусть нальют рому.

Патер Лацина стал шарить по карманам.

— Послушайте, — сказал он капралу, — у меня нет мелочи, дайте-ка мне взаймы золотой… Так, вот вам. Как фамилия?

— Швейк.

— Вот вам, Швейк, на дорогу. Капрал, одолжите мне ещё один золотой. Вот, Швейк, этот второй золотой вы получите, если исполните всё как следует. Кроме того, достаньте мне сигарет и сигар. Если будут выдавать шоколад, то стрельните двойную порцию, а если консервы, то следите, чтобы вам дали копчёный язык или гусиную печёнку. Если будут давать швейцарский сыр, то смотрите — не берите с краю, а если венгерскую колбасу, не берите кончик, лучше из серёдки, кусок посочнее.

Обер-фельдкурат растянулся на лавке и через минуту уснул.

— Надеюсь, вы вполне довольны нашим найдёнышем, — сказал вольноопределяющийся унтеру под храп патера. — Малыш хоть куда.

— Отлучённый от груди, как говорится, — вставил Швейк, — уже из бутылочки сосёт, господин капрал…

Капрал с минуту боролся сам с собой и, вдруг забыв всякое подобострастие, сухо сказал:

— Мягко стелет…

— Мелочи, дескать, у него нет, — проронил Швейк. — Это мне напоминает одного каменщика из Дейвиц по фамилии Мличко. У того никогда не было мелочи, пока он не влип в историю и не попал в тюрьму за мошенничество. Крупные-то пропил, а мелочи у него не было.

— В Семьдесят пятом полку, — ввязался в разговор один из конвойных, — капитан ещё до войны пропил всю полковую казну, за что его и выперли с военной службы. Нынче он опять капитан. Один фельдфебель украл казённое сукно на петлицы, больше двадцати штук, а теперь подпрапорщик. А вот одного простого солдата недавно в Сербии расстреляли за то, что он съел в один присест целую банку консервов, которую ему выдали на три дня.

— Это к делу не относится, — заявил капрал. — Но что правда, то правда: взять в долг у бедного капрала два золотых, чтобы дать на чай, — это уж…

— Вот вам ваш золотой, — сказал Швейк. — Я не хочу наживаться за ваш счёт. А если получу от обер-фельдкурата второй, тоже верну вам, чтобы вы не плакали. Вам бы должно льстить, что начальство берёт у вас в долг на расходы. Очень уж вы большой эгоист. Дело идёт всего-навсего о каких-то несчастных двух золотых. Посмотрел бы я, как бы вы запели, если б вам пришлось пожертвовать жизнью за своего начальника. Скажем, если б он лежал раненый на неприятельской линии, а вам нужно было бы спасти его и вынести на руках из огня под шрапнелью и пулями…

— Вы-то уж, наверно, наделали бы в штаны, — защищался капрал. — Лодырь несчастный!

— Во время боя не один в штаны наложит, — заметил кто-то из конвоя. — Недавно в Будейовицах нам один раненый рассказывал, что он сам во время наступления наделал в штаны три раза подряд. В первый раз, когда вылезли из укрытия на площадку перед проволочными заграждениями, во второй раз, когда начали резать проволоку, и в третий раз, когда русские ударили по ним в штыки и заорали «ура». Тут они прыгнули назад в укрытие, и во всей роте не было ни одного, кто бы не наложил в штаны. А один убитый остался лежать на бруствере, ногами вниз; при наступлении ему снесло полчерепа, словно ножом отрезало. Этот в последний момент так обделался, что у него текло из штанов по башмакам и вместе с кровью стекало в траншею, аккурат на его же собственную половинку черепа с мозгами. Тут, брат, никто не знает, что с тобой случится.

— А иногда, — подхватил Швейк, — человека в бою вдруг так затошнит, что сил нет. В Праге — в Погоржельце, в трактире «Панорама»

— один из команды выздоравливающих, раненный под Перемышлем, рассказывал, как они где-то под какой-то крепостью пошли в штыки. Откуда ни возьмись, полез на него русский солдат, парень-гора, штык наперевес, а из носу у него катилась здоровенная сопля. Бедняга только взглянул на его носище с соплёй, и так ему сделалось тошно, что пришлось бежать в полевой лазарет. Его там признали за холерного и послали в холерный барак в Будапешт, а там уж он действительно заразился холерой.

— Кем он был: рядовым или капралом? — осведомился вольноопределяющийся.

— Капралом, — спокойно ответил Швейк.

— То же самое могло случиться и с каждым вольнопёром, — глупо заметил капрал и при этом с победоносным видом посмотрел на вольноопределяющегося, словно говоря: «Что, выкусил? И крыть нечем».

Но вольноопределяющийся не ответил и улёгся на скамейку.

Поезд подходил к Вене. Кто не спал, смотрел из окна на проволочные заграждения и укрепления под Веной. Это производило на всех гнетущее впечатление, даже немолчный галдёж, доносившийся из вагонов, где ехали овчары с Кашперских гор, —

Warm ich kumm, wann ich kumm,
Wann ich wieda, wieda kumm! —

затих под влиянием тяжёлого чувства, вызванного видом колючей проволоки, которой была обнесена Вена.

— Всё в порядке, — заметил Швейк, глядя на окопы. — Всё в полном порядке. Одно только неудобно: венцы могут разодрать себе штаны, когда поедут на прогулку за город. Придётся быть очень осторожным.

Вена вообще замечательный город, — продолжал он. — Одних диких зверей в шенбруннском зверинце сколько! Когда я несколько лет назад был в Вене, я больше всего любил ходить смотреть на обезьян, но туда никого не пускают, когда проезжает какая-нибудь особа из императорского дворца. Со мною был один портной из десятого района, так его арестовали потому, что ему загорелось во что бы то ни стало посмотреть на этих обезьян.

— А во дворце вы были? — спросил капрал.

— Там прекрасно, — ответил Швейк. — Я там не был, но мне рассказывал один, который там был. Самое красивое там — это дворцовый конвой. Каждый стражник, говорят, должен быть в два метра ростом, а выйдя в отставку, он получает трафику. А принцесс там как собак

нерезаных.

Поезд проехал мимо какой-то станции, и оттуда, постепенно замирая, доносились звуки австрийского гимна. Оркестр был выслан на станцию, вероятно, по ошибке, так как поезд через порядочный промежуток времени остановился на другом вокзале, где эшелон ожидали обед и торжественная встреча.

Торжественные встречи теперь уже были не те, что в начале войны, когда отправляющиеся на фронт солдаты объедались на каждой станции и когда их повсюду встречали одетые в идиотские белые платья девочки с ещё более идиотскими лицами и такими же идиотскими букетами в руках. Но глупее всего, конечно, были приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчат из себя ура-патриотов и республиканцев.

Торжественная делегация состояла из трёх дам — членов австрийского общества Красного Креста, двух дам — членов какого-то военного кружка, венских дам и девиц, одного официального представителя венского магистрата и одного военного.

На лицах всех была написана усталость. Военные эшелоны проезжали днём и ночью, санитарные поезда с ранеными прибывали каждый час, на станциях всё время перебрасывались с одного пути на другой поезда с пленными, и при всём этом должны были присутствовать члены различных обществ и корпораций. Изо дня в день повторялось одно и то же, и первоначальный энтузиазм сменился зевотой. На смену одним приходили другие, и на любом из венских вокзалов у каждого встречающего был такой же усталый вид, как и у тех, кто встречал будейовицкий полк.

Из телячьих вагонов выглядывали солдаты, на лицах у них была написана полная безнадёжность, как у идущих на виселицу.

К вагонам подходили дамы и раздавали солдатам пряники с сахарными надписями: «Sieg und Rache», «Gott, strafe England», «Der Oesterreicher hat ein Vaterland. Er liebt's und hat auch Ursach fur's Vaterland zu kampfen».[109]

Видно было, как кашперские горцы жрут пряники, но на их лицах по-прежнему застыла безнадёжность.

Затем был отдан приказ по ротам идти за обедом к полевым кухням, стоявшим за вокзалом. Там же находилась и офицерская кухня, куда отправился Швейк исполнять приказание обер-фельдкурата. Вольноопределяющийся остался в поезде и ждал, пока его покормят: двое конвойных пошли за обедом на весь арестантский вагон.

Швейк в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел поручика Лукаша, прохаживавшегося взад и вперёд по полотну в ожидании, что в офицерской кухне и на его долю что-нибудь останется.

Поручик Лукаш попал в весьма неприятную ситуацию, так как временно у него и у поручика Киршнера был один общий денщик. Этот парень заботился только о своём хозяине и проводил полнейший саботаж, когда дело касалось поручика Лукаша.

— Кому вы это несёте, Швейк? — спросил бедняга поручик, когда Швейк положил наземь целую кучу вещей, завёрнутых в шинель, — добычу, взятую с боем из офицерской кухни.

Швейк замялся было на мгновение, но быстро нашёлся и с открытым и ясным лицом спокойно ответил:

— Осмелюсь доложить, это для вас, господин обер-лейтенант. Не могу вот только найти, где ваше купе, и, кроме того, не знаю, не будет ли комендант поезда возражать против того, чтобы я ехал с вами, — это такая свинья.

Поручик Лукаш вопросительно взглянул на Швейка. Тот продолжал интимно и добродушно:

— Настоящая свинья, господин обер-лейтенант. Когда он обходил поезд, я ему немедленно доложил, что уже одиннадцать часов, время своё я отсидел, и моё место в телячьем вагоне либо с вами. А он меня страшно грубо оборвал: дескать, не рыпайся и оставайся там, где сидишь. Сказал, что по крайней мере я опять не осрамлю вас в пути. Господин обер-лейтенант! — Швейк страдальчески скривил рот. — Точно я вас, господин обер лейтенант, когда-нибудь срамил!

Поручик Лукаш вздохнул.

— Ни разу этого не было, чтобы я вас осрамил, — продолжал Швейк. — Если что и произошло, то это лишь чистая случайность и «промысел божий», как сказал старик Ваничек из Пельгржимова, когда его в тридцать шестой раз сажали в тюрьму. Я никогда ничего не делал нарочно, господин обер-лейтенант. Я всегда старался, как бы всё сделать половчее да получше. Разве я виноват, что вместо пользы для нас обоих получались лишь горе да мука?

— Только не плачьте, Швейк, — мягко сказал поручик Лукаш, когда оба подходили к штабному вагону. — Я всё устрою, чтобы вы опять были со мной.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу. Только очень уж мне обидно: мы с вами самые разнесчастные люди на этой войне и во всём мире, и оба в этом не виноваты. Как жестока судьба, когда подумаешь, что я, отроду такой старательный…

— Успокойтесь, Швейк.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант: если бы не

субординация, я бы сказал, что нипочём не могу успокоиться, но, согласно вашему приказанию, я уже совсем успокоился.

— Так залезайте в вагон, Швейк.

— Так точно, уже лезу, господин обер-лейтенант.

В военном лагере в Мосте царила ночная тишина. Солдаты в бараках тряслись от холода, в то время как в натопленных офицерских квартирах окна были раскрыты настежь из-за невыносимой жары.

Около отдельных объектов раздавались шаги часовых, ходьбой разгонявших сон.

Внизу над рекой сиял огнями завод мясных консервов его императорского величества. Там шла работа днём и ночью: перерабатывались на консервы всякие отбросы. В лагерь ветром доносило вонь от гниющих сухожилий, копыт и костей, из которых варились суповые консервы.

Из покинутого павильона фотографа, делавшего в мирное время снимки солдат, проводивших молодые годы здесь, на военном стрельбище, внизу, в долине Литавы, был виден красный электрический фонарь борделя «У кукурузного початка», который в 1903 году во время больших манёвров у Шопрони почтил своим посещением эрцгерцог Стефан и где ежедневно собиралось офицерское общество.

Это был самый фешенебельный публичный дом, куда не имели доступа нижние чины и вольноопределяющиеся. Они посещали «Розовый дом». Его зелёные фонари также были видны из заброшенного павильона фотографа.

Такого рода разграничение по чинам сохранилось и на фронте, когда монархия не могла уже помочь своему войску ничем иным, кроме походных борделей при штабах бригад, называвшихся «пуфами». Таким образом, существовали императорско-королевские офицерские пуфы, императорско-королевские унтер-офицерские пуфы и императорско-королевские пуфы для рядовых.

Мост-на-Литаве сиял огнями. С другой стороны Литавы сияла огнями Кираль-Хида, Цислейтания и Транслейтания. В обоих городах, в венгерском и австрийском, играли цыганские капеллы, пели, пили. Кафе и рестораны были ярко освещены. Местная буржуазия и чиновничество водили с собой в кафе и рестораны своих жён и взрослых дочерей, и весь Мост-на-Литаве, Bruck an der Leite[110] равно как и Кираль-Хида, представлял собой не что иное, как один сплошной огромный бордель.

В одном из офицерских бараков Швейк поджидал своего поручика Лукаша, который пошёл вечером в городской театр и до сих пор ещё не

возвращался. Швейк сидел на постланной постели поручика, а напротив, на столе, сидел денщик майора Венцеля.

Майор Венцель вернулся с фронта в полк, после того как в Сербии, на Дрине, блестяще доказал свою бездарность. Ходили слухи, что он приказал разобрать и уничтожить понтонный мост, прежде чем половина его батальона перебралась на другую сторону реки. В настоящее время он был назначен начальником военного стрельбища в Кираль-Хиде и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. Среди офицеров поговаривали, что теперь майор Венцель поправит свои дела. Комнаты Лукаша и Венцеля находились в одном коридоре.

Денщик майора Венцеля, Микулашек, невзрачный, изрытый оспой паренёк, болтал ногами и ругался:

— Чтобы это могло означать — старый чёрт не идёт и не идёт?.. Интересно бы знать, где этот старый хрыч целую ночь шатается? Мог бы по крайней мере оставить мне ключ от комнаты. Я бы завалился на постель и такого бы веселья задал! У нас там вина уйма.

— Он, говорят, ворует, — проронил Швейк, беспечно покуривая сигареты своего поручика, так как тот запретил ему курить в комнате трубку. — Ты-то небось должен знать, откуда у вас вино.

— Куда прикажет, туда и хожу, — тонким голоском сказал Микулашек. — Напишет требование на вино для лазарета, а я получу и принесу домой.

— А если бы он приказал обокрасть полковую кассу, ты бы тоже это сделал? — спросил Швейк. — За глаза-то ты ругаешься, а перед ним дрожишь как осиновый лист.

Микулашек заморгал своими маленькими глазками.

— Я бы ещё подумал.

— Нечего тут думать, молокосос ты этакий! — прикрикнул на него Швейк, но мигом осёкся.

Открылась дверь, и вошёл поручик Лукаш. Поручик находился в прекрасном расположении духа, что нетрудно было заметить по надетой задом наперёд фуражке.

Микулашек так перепугался, что позабыл соскочить со стола, и, сидя, отдавал честь, к тому же ещё запамятовал, что на нём нет фуражки.

— Имею честь доложить, всё в полном порядке, — отрапортовал Швейк, вытянувшись во фронт по всем правилам, хотя изо рта у него торчала сигарета.

Однако поручик Лукаш не обратил на Швейка ни малейшего внимания и направился прямо к Микулашеку, который, вытаращив глаза, следил за

каждым его движением и по-прежнему отдавал честь, сидя на столе.

— Поручик Лукаш, — представился поручик, подходя к Микулашеку не совсем твёрдым шагом. — А как ваша фамилия?

Микулашек молчал. Лукаш пододвинул себе стул, уселся против Микулашека и, глядя на него снизу вверх, сказал:

— Швейк, принесите-ка мне из чемодана служебный револьвер.

Всё время, пока Швейк рылся в чемодане, Микулашек молчал и только с ужасом смотрел на поручика. Если б он в состоянии был осознать, что сидит на столе, то ужаснулся бы ещё больше, так как его ноги касались колен сидящего напротив поручика.

— Как зовут, я спрашиваю?! — заорал поручик, глядя снизу вверх на Микулашека.

Но тот молчал. Как он объяснил позднее, при внезапном появлении Лукаша на него нашёл какой-то столбняк. Он хотел соскочить со стола, но не мог, хотел ответить — и не мог, хотел опустить руку, но рука не опускалась.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — раздался голос Швейка. — Револьвер не заряжён.

— Так зарядите его.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, патронов нет, и его будет трудновато снять со стола. С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, этот Микулашек — денщик господина майора Венцеля. У него всегда, как только увидит кого-нибудь из господ офицеров, язык отнимается. Он вообще стесняется говорить. Совсем забитый ребёнок. Одним словом — молокосос. Господин майор Венцель оставляет его в коридоре, когда сам уходит в город. Вот он, бедняга, и шатается по денщикам. Главное — было бы чего пугаться, а ведь он ничего такого не натворил.

Швейк плюнул; в его тоне чувствовалось крайнее презрение к трусости Микулашека и к его неумению держаться по-военному.

— С вашего разрешения, — продолжал Швейк, — я его понюхаю.

Швейк стащил со стола Микулашека, не перестававшего таращить глаза на поручика, поставил его на пол и обнюхал ему штаны.

— Пока ещё нет, — доложил он, — но уже начинает. Прикажете его выбросить?

— Выбросьте его, Швейк.

Швейк вывел трясущегося Микулашека в коридор, закрыл за собой дверь и сказал ему:

— Я тебя спас от смерти, дурачина. Когда вернётся господин майор

Венцель, принеси мне за это потихоньку бутылочку вина. Кроме шуток, я спас тебе жизнь. Когда мой поручик надерётся, с ним того и жди беды. В таких случаях один только я могу с ним сладить и никто другой.

— Я… — начал было Микулашек.

— Вонючка ты, — презрительно оборвал его Швейк. — Сядь на пороге и жди, пока придёт твой майор Венцель.

— Наконец-то! — встретил Швейка поручик Лукаш. — Ну, идите, идите, мне нужно с вами поговорить. Да не вытягивайтесь так по-дурацки во фронт. Садитесь-ка, Швейк, и бросьте ваше «слушаюсь». Молчите и слушайте внимательно. Знаете, где в Кираль-Хиде Sopronyi utcza?[111] Да бросьте вы ваше «осмелюсь доложить, не знаю, господин поручик». Не знаете, так скажите «не знаю» — и баста! Запишите-ка себе на бумажке: Sopronyi utcza, номер шестнадцать. В том доме внизу скобяная торговля. Знаете, что такое скобяная торговля?.. Чёрт возьми, не говорите «осмелюсь доложить»! Скажите «знаю» или «не знаю». Итак, знаете, что такое скобяная торговля? Знаете — отлично. Этот магазин принадлежит одному мадьяру по фамилии Каконь. Знаете, что такое мадьяр? Так hirnmelherrgott[112] — знаете или не знаете? Знаете — отлично. Над магазином находится квартира, и он там живёт, слыхали? Не слыхали, чёрт побери, так я вам говорю, что он там живёт! Поняли? Поняли — отлично. А если бы не поняли, я бы вас посадил на гауптвахту. Записали, что фамилия этого субъекта Каконь? Хорошо. Итак, завтра утром, часов этак в десять, вы отправитесь в город, разыщете этот дом, подыметесь на второй этаж и передадите госпоже Каконь вот это письмо.

Поручик Лукаш развернул бумажник и протянул Швейку, зевая, белый запечатанный конверт, на котором не было никакого адреса.

— Дело чрезвычайно важное, Швейк, — наставлял поручик. — Осторожность никогда не бывает излишней, а потому, как видите, на конверте нет адреса. Всецело полагаюсь на вас и уверен, что вы доставите письмо в полном порядке. Да, запишите ещё, что эту даму зовут Этелька. Запишите: «Госпожа Этелька Каконь». Имейте в виду, что письмо это вы должны вручить ей секретно и при любых обстоятельствах. И ждать ответа. Там в письме написано, что вы подождёте ответа. Что вы хотели сказать?

— А если мне ответа не дадут, господин обер-лейтенант, что тогда?

— Скажите, что вы во что бы то ни стало должны получить ответ, — сказал поручик, снова зевнув во весь рот. — Ну, я пойду спать, я здорово устал. Сколько было выпито! После такого вечера и такой ночи, думаю, каждый устанет.

Поручик Лукаш сначала не имел намерения где-либо задерживаться. К вечеру он пошёл из лагеря в город, собираясь попасть лишь в венгерский театр в Кираль-Хиде, где давали какую-то венгерскую оперетку. Первые роли там играли толстые артистки-еврейки, обладавшие тем громадным достоинством, что во время танца они подкидывали ноги выше головы и не носили ни трико, ни панталон, а для вящей приманки господ офицеров выбривали себе волосы, как татарки. Галёрка этого удовольствия, понятно, была лишена, но тем большее удовольствие получали сидящие в партере артиллерийские офицеры, которые, чтобы не упустить ни одной детали этого захватывающего зрелища, брали в театр артиллерийские призматические бинокли.

Поручика Лукаша, однако, это интересное свинство не увлекало, так как взятый им напрокат в театре бинокль не был ахроматическим, и вместо бёдер он видел лишь какие-то движущиеся фиолетовые пятна.

В антракте его внимание больше привлекла дама, сопровождаемая господином средних лет, которого она тащила к гардеробу, с жаром настаивая на том, чтобы немедленно идти домой, так как смотреть на такие вещи она больше не в силах. Женщина достаточно громко говорила по-немецки, а её спутник отвечал по-венгерски:

— Да, мой ангел, идём, ты права. Это действительно неаппетитное зрелище. — Es ist ekelhaft![113] — возмущалась дама, в то время как её кавалер подавал ей манто.

В её глазах, в больших тёмных глазах, которые так гармонировали с её прекрасной фигурой, горело возмущение этим бесстыдством. При этом она взглянула на поручика Лукаша и ещё раз решительно сказала:

— Ekelhaft, wirklich ekelhafti[114]

Этот момент решил завязку короткого романа.

От гардеробщицы поручик Лукаш узнал, что это супруги Каконь и что у Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать, скобяная торговля.

— А живёт он с пани Этелькой во втором этаже, — сообщила гардеробщица с подробностями старой сводницы. — Она немка из города Шопрони, а он мадьяр. Здесь все перемешались.

Поручик Лукаш взял из гардероба шинель и пошёл в город. Там в ресторане «У эрцгерцога Альбрехта» он встретился с офицерами Девяносто первого полка. Говорил он мало, но зато много пил, молча раздумывая, что бы ему такое написать этой строгой, высоконравственной и красивой даме, к которой его влекло гораздо сильнее, чем ко всем этим обезьянам, как называли опереточных артисток другие офицеры.

В весьма приподнятом настроении он пошёл в маленькое кафе «У креста св. Стефана», занял отдельный кабинет, выгнав оттуда какую-то румынку, которая сказала, что разденется донага и позволит ему делать с ней, что он только захочет, велел принести чернила, перо, почтовую бумагу и бутылку коньяка и после тщательного обдумывания написал следующее письмо, которое, по его мнению, было самым удачным из когда-либо им написанных:

> «Милостивая государыня!
>
> Я присутствовал вчера в городском театре на представлении, которое вас так глубоко возмутило, В течение всего первого действия я следил за вами и за вашим супругом. Как я заметил…»

«Надо как следует напасть на него. По какому праву у этого субъекта такая очаровательная жена? — сказал сам себе поручик Лукаш. — Ведь он выглядит, словно бритый павиан…»

И он написал:

> «Ваш супруг не без удовольствия и с полной благосклонностью смотрел на все те гнусности, которыми была полна пьеса, вызвавшая в вас, милостивая государыня, чувство справедливого негодования и отвращения, ибо это было не искусство, но гнусное посягательство на сокровеннейшие чувства человека…»

«Бюст у неё изумительный, — подумал поручик Лукаш. — Эх, была не была!»

> «Простите меня, милостивая государыня, за то, что, будучи вам неизвестен, я тем не менее откровенен с вами. В своей жизни я видел много женщин, но ни одна из них не произвела на меня такого впечатления, как вы, ибо ваше мировоззрение и ваше суждение совершенно совпадают с моими. Я глубоко убеждён, что ваш супруг — чистейшей воды эгоист, который таскает вас с собой…»

«Не годится», — сказал про себя поручик Лукаш, зачеркнул «Schleppt mit»[115] и написал:

> «…который в своих личных интересах водит вас, сударыня, на театральные представления, отвечающие исключительно его собственному вкусу. Я люблю прямоту и искренность, отнюдь не вмешиваюсь в вашу личную жизнь и хотел бы поговорить с вами интимно о чистом искусстве…»

«Здесь в отелях это будет неудобно. Придётся везти её в Вену, — подумал поручик. — Возьму командировку».

> «Поэтому я осмеливаюсь, сударыня, просить вас указать, где и когда мы могли бы встретиться, чтобы иметь возможность познакомиться ближе. Вы не откажете в этом тому, кому в самом недалёком будущем предстоят трудные военные походы и кто в случае вашего великодушного согласия сохранит в пылу сражений прекрасное воспоминание о душе, которая понимала его так же глубоко, как и он понимал её. Ваше решение будет для меня приказанием. Ваш ответ — решающим моментом в моей жизни».

Он подписался, допил коньяк, потребовал себе ещё бутылку и, потягивая рюмку за рюмкой, перечитал письмо, прослезившись над последними строками.

Было уже девять часов утра, когда Швейк разбудил поручика Лукаша.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — вы проспали службу, а мне пора идти с вашим письмом в Кираль-Хиду. Я вас будил уже в семь часов, потом в половине восьмого, потом в восемь, когда все ушли на занятия, а вы только на другой бок повернулись. Господин обер-лейтенант, а, господин обер-лейтенант!..

Пробурчав что-то, поручик Лукаш хотел было опять повернуться на другой бок, но ему это не удалось: Швейк тряс его немилосердно и орал над самым ухом:

— Господин обер-лейтенант, так я пойду отнесу это письмо в Кираль-Хиду!

Поручик зевнул.

— Письмо?.. Ах да! Но это секрет, понимаете? Наша тайна… Abtreten…[116]

Поручик завернулся в одеяло, которое с него стащил Швейк, и снова заснул. А Швейк отправился в Кираль-Хиду.

Найти Шопроньскую улицу и дом номер шестнадцать было бы не так

трудно, если бы навстречу не попался старый сапёр Водичка, который был прикомандирован к пулемётчикам, размещённым в казармах у реки. Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге, на Боиште, и по случаю такой встречи не оставалось ничего иного, как зайти в трактир «У чёрного барашка» в Бруке, где работала знакомая кельнерша, чешка Руженка, которой были должны все чехи-вольноопределяющиеся, когда-либо жившие в лагере.

Сапёр Водичка, старый пройдоха, в последнее время состоял при ней кавалером и держал на учёте все маршевые роты, которым предстояло сняться с лагеря. Он вовремя обходил всех чехов-вольноопределяющихся и напоминал, чтобы они не исчезли в прифронтовой суматохе, не уплатив долга.

— Тебя куда, собственно, несёт? — спросил Водичка после первого стакана доброго винца.

— Это секрет, — ответил Швейк. — но тебе, как старому приятелю, могу сказать…

Он разъяснил ему всё до подробностей, и Водичка заявил, что он, как старый сапёр, Швейка покинуть не может и пойдёт вместе с ним вручать письмо.

Оба увлеклись беседой о былом, и, когда вышли от «Чёрного барашка» (был уже первый час дня), всё казалось им простым и легко достижимым.

По дороге к Шопроньской улице, дом номер шестнадцать, Водичка всё время выражал крайнюю ненависть к мадьярам и без устали рассказывал о том, как, где и когда он с ними дрался или что, когда и где помешало ему подраться с ними.

— Держим это мы раз одну этакую мадьярскую рожу за горло. Было это в Паусдорфе, когда мы, сапёры, пришли выпить. Хочу это я ему дать ремнём по черепу в темноте; ведь мы, как только началось дело, запустили бутылкой в лампу, а он вдруг как закричит: «Тонда, да ведь это я, Пуркрабек из Шестнадцатого запасного!» Чуть было не произошла ошибка. Но зато у Незидерского озера мы с ними, шутами мадьярскими, как следует расквитались! Туда мы заглянули недели три тому назад. В соседней деревушке квартирует пулемётная команда какого-то гонведского полка, а мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали ихний чардаш, словно бесноватые, и орали во всю глотку своё: «Uram, uram, biro uram», либо: «Lanok, lanok, lahoka faluba»[117] Садимся мы против них. Положили на стол только свои солдатские кушаки и говорим промеж себя: «Подождите, сукины дети! Мы вам покажем «ланьок». А один из наших, Мейстршик, у него кулачище, что твоя Белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и

отбить у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо — икрястые, задастые, ляжкастые да глазастые. По тому, как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твёрдые и налитые, что твои мячи, и это им по вкусу: любят, чтобы их потискали. Выскочил, значит, наш Мейстршик в круг и давай отнимать у одного гонведа самую хорошенькую девчонку. Тот залопотал что-то, а Мейстршик как даст ему раза — тот и с катушек долой. Мы недолго думая схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, бросились в самую гущу, а я крикнул ребятам: «Виноватый, невиноватый — крой всех подряд!» И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна, мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово влетело. Вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. После этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке — у мужика одного на конце села. Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего Мейстршика по уши и пошла с ним по направлению к Кираль-Хиде. Там по дороге сеновалы. Затащила его на сеновал, а потом потребовала с него пять крон, а он ей дал по морде. Мейстршик догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные, а эта свинья лежала, как бревно, и только лопотала без умолку.

— Короче говоря, мадьяры — шваль, — закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:

— Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

— Как это не виноват? — загорячился Водичка. — Каждый из них виноват, — сказанул тоже! Попробовал бы ты попасть в такую переделку, в какую попал я, когда в первый день пришёл на курсы. Ещё в тот же день после обеда согнали нас, словно стадо какое-нибудь, в школу, и какой-то балда начал нам на доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как делают основания и как производятся измерения. «А завтра утром, говорит, у кого не будет всё это начерчено, как я объяснял, того я велю связать и посадить». — «Чёрт побери, думаю, для чего я, собственно говоря, на фронте записался на эти курсы: для того, чтобы удрать с фронта или чтобы вечерами чертить в тетрадочке карандашиком, чисто школьник?» Еле-еле я там высидел — такая, брат, ярость на меня напала, сил моих нет. Глаза бы мои не глядели на этого болвана, что нам объяснял. Так бы всё со злости на куски разнёс. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Кираль-Хиду и со злости только о том и думал, как бы найти

тихий кабачок, надраться там, устроить дебош, съездить кому-нибудь по рылу и с облегчённым сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а бог располагает. Нашёл я у реки среди садов действительно подходящий кабачок: тихо, что в твоей часовне, всё словно создано для скандала. Там сидели только двое, говорили между собой по-мадьярски. Это меня ещё больше раззадорило, и я надрался скорее и основательнее, чем сам предполагал, и спьяна даже не заметил, что рядом находится ещё такая же комната, где собрались, пока я заряжался, человек восемь гусар. Они на меня и насели, как только я съездил двум первым посетителям по морде. Мерзавцы гусары так, брат, меня отделали и так гоняли меня по всем садам, что, я до самого утра не мог попасть домой, а когда наконец добрался, меня тотчас же отправили в лазарет. Наврал им, что свалился в кирпичную яму, и меня целую неделю заворачивали в мокрую простыню, пока спина не отошла. Не пожелал бы я тебе, брат, попасть в компанию таких подлецов. Разве это люди? Скоты!

— Как аукнется, так и откликнется, — определил Швейк. — Нечего удивляться, что они разозлились, раз им пришлось оставить всё вино на столе и гоняться за тобой в темноте по садам. Они должны были разделаться с тобой тут же в кабаке, на месте, а потом тебя выбросить. Если б они свели с тобой счёты у стола, это и для них было бы лучше и для тебя. Знавал я одного кабатчика Пароубека в Либени. У него в кабаке перепился раз можжевёловкой бродячий жестяник-словак и стал ругаться, что можжевёловка очень слабая, дескать, кабатчик разбавляет её водой. «Если бы, говорит, я сто лет чинил проволокой старую посуду и на весь свой заработок купил бы можжевёловку и сразу бы всё выпил, то и после этого мог бы ещё ходить по канату, а тебя, Пароубек, носить на руках». И прибавил, что Пароубек — продувная шельма и бестия. Тут Пароубек этого жестяника схватил, измочалил об его башку все его мышеловки, всю проволоку, потом выбросил голубчика, а на улице лупил ещё шестом, которым железные шторы опускают. Лупил до самой площади Инвалидов и так озверел, что погнался за ним через площадь Инвалидов в Карлине до самого Жижкова, а оттуда через Еврейские Печи в Малешице, где наконец сломал об него шест, а потом уж вернулся обратно в Либень. Хорошо. Но в горячке он забыл, что публика-то осталась в кабаке и что, по всей вероятности, эти мерзавцы начнут сами там хозяйничать. В этом ему и пришлось убедиться, когда он наконец добрался до своего кабака. Железная штора в кабаке наполовину была спущена, и около неё стояли двое полицейских, которые тоже основательно хватили, когда наводили порядок внутри кабака. Всё, что имелось в кабаке, было наполовину выпито, на

улице валялся пустой бочонок из-под рому, а под стойкой Пароубек нашёл двух перепившихся субъектов, которых полицейские не заметили. После того как Пароубек их вытащил, они хотели заплатить ему по два крейцера: больше, мол, водки не выпили… Так-то наказуется горячность. Это всё равно как на войне, брат, сперва противника разобьём, потом всё за ним да за ним, а потом сами не успеваем улепётывать…

— Я этих сволочей хорошо запомнил, — проронил Водичка. — Попадись мне на узенькой дорожке кто-нибудь из этих гусаров, — я с ними живо расправлюсь. Если уж нам, сапёрам, что-нибудь взбредёт в голову, то мы на этот счёт звери. Мы, брат, не то, что какие-нибудь там ополченцы. На фронте под Перемышлем был у нас капитан Етцбахер, сволочь, другой такой на свете не сыщешь. И он, брат, над нами так измывался, что один из нашей роты, Биттерлих, — немец, но хороший парень, — из-за него застрелился. Ну, мы решили, как только начнут русские палить, то нашему капитану Етцбахеру капут, И действительно, как только русские начали стрелять, мы всадили в него этак с пяток пуль. Живучий был, гадина, как кошка, — пришлось его добить двумя выстрелами, чтобы потом чего не вышло. Только пробормотал что-то, да так, брат, смешно — прямо умора! — Водичка засмеялся. — На фронте такие вещи каждый день случаются. Один мой товарищ — теперь он тоже у нас в сапёрах — рассказывал, что, когда он был в пехоте под Белградом, ихняя рота во время атаки пристрелила своего обер-лейтенанта, — тоже собаку порядочную, — который сам застрелил двух солдат во время похода за то, что те выбились из сил и не могли идти дальше. Так этот обер-лейтенант, когда увидел, что пришла ему крышка, начал вдруг свистеть сигнал к отступлению. Ребята будто бы чуть не померли со смеху.

Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли наконец скобяную торговлю пана Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать.

— Ты бы лучше подождал здесь, — сказал Швейк Водичке у подъезда дома, — я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.

— Оставить тебя одного? — удивился Водичка. — Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…

— Послушай, Водичка, — серьёзно сказал Швейк, — дело не в мадьяре, а в его жене. Ведь когда мы с чешкой-кельнершей сидели за столом, я же тебе объяснил, что несу письмо от своего обер-лейтенанта и что это строгая тайна. Мой обер-лейтенант заклинал меня, чтобы ни одна

живая душа об этом не узнала. Ведь твоя кельнерша сама согласилась, что это очень секретное дело. Никто не должен знать о том, что господин обер-лейтенант переписывается с замужней женщиной. Ты же сам соглашался с этим и поддакивал. Я там объяснил всё как полагается, что должен точно выполнить приказ своего обер-лейтенанта, а теперь тебе вдруг захотелось во что бы то ни стало идти со мной наверх.

— Плохо, Швейк, ты меня знаешь, — также весьма серьёзно ответил старый сапёр Водичка. — Раз я тебе сказал, что провожу тебя, то не забывай, что моё слово свято. Идти вдвоём всегда безопаснее.

— А вот и нет, Водичка, сейчас сам убедишься, что это не так. Знаешь Некланову улицу на Вышеграде? У слесаря Воборника там была мастерская. Он был редкой души человек и в один прекрасный день, вернувшись с попойки домой, привёл к себе ночевать ещё одного гуляку. После этого он долго лежал, а жена перевязывала ему каждый день рану на голове и приговаривала: «Вот видишь, Тоничек, если бы ты пришёл один, я бы с тобой только слегка повозилась и не запустила бы тебе в голову десятичные весы». А он потом, когда уже мог говорить, отвечал: «Твоя правда, мать, в другой раз, когда пойду куда-нибудь, с собой никого не приведу».

— Только этого ещё не хватало, — рассердился Водичка, — чтобы мадьяр попробовал запустить нам чем-нибудь в голову. Схвачу его за горло и спущу со второго этажа, полетит у меня, что твоя шрапнель. С мадьярской шпаной нужно поступать решительно. Нечего с ними нянчиться.

— Водичка, да ведь ты немного выпил. Я выпил на две четвертинки больше, чем ты. Пойми, что нам подымать скандал нельзя. Я за это отвечаю. Ведь дело касается женщины.

— И ей заеду, мне всё равно. Плохо, брат, ты старого Водичку знаешь. Раз в Забеглицах, на «Розовом острове», одна этакая харя не хотела со мной танцевать, — у меня, дескать, рожа опухла. И вправду, рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришёл с танцульки из Гостивара, но посуди сам, такое оскорбление от этакой шлюхи! «Извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было». Как я дал ей разок, она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами, — только кружки полетели. Но мне, брат, весь «Розовый остров» был нипочём. Были там знакомые ребята из Вршовиц, они мне н помогли. Излупили мы этак пять семейств с ребятами вместе. Небось и в Михле было слыхать. Потом в газетах напечатали: «В таком-то саду, во время загородного гулянья, устроенного таким-то

благотворительным кружком таких-то уроженцев такого-то города…» А потому, как мне помогли, и я всегда своему товарищу помогу, коли уж дело до этого доходит. Не отойду от тебя ни на шаг, что бы ни случилось. Плохо, брат, ты мадьяров знаешь. Не ожидал, брат, я, что ты от меня захочешь отделаться; свиделись мы с тобой после стольких лет, да ещё при таких обстоятельствах…

— Ладно уж, пойдём вместе, — решил Швейк. — Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды.

— Не беспокойся, товарищ, — тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. — Я его ка-ак хрясну… — и ещё тише прибавил: — Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.

И если бы в подъезде был кто-нибудь понимающий по-чешски, тот ещё на лестнице услышал бы довольно громко произнесённый Водичкой девиз: «Плохо, брат, ты мадьяров знаешь!» — девиз, который зародился в тихом кабачке над рекой Литавой, среди садов прославленной Кираль-Хиды, окружённой холмами. Солдаты всегда будут проклинать Кираль-Хиду, вспоминая все эти упражнения перед мировой войной и во время неё, на которых их теоретически подготавливали к практическим избиениям и резне.

Швейк с Водичкой стояли у дверей квартиры господина Каконя. Раньше чем нажать кнопку звонка, Швейк заметил:

— Ты когда-нибудь слышал пословицу, Водичка, что осторожность — мать мудрости?

— Это меня не касается, — ответил Водичка. — Не давай ему рот разинуть…

— Да и мне тоже не с кем особенно разговаривать-то, Водичка.

Швейк позвонил, и Водичка громко сказал:

— Айн, цвай — и полетит с лестницы.

Открылась дверь, и появившаяся в дверях прислуга спросила по-венгерски:

— Что вам угодно?

— Нem tudom,[118] — презрительно ответил Водичка. — Научись, девка, говорить по-чешски.

— Verstehen Sie deutsch?[119] — спросил Швейк.

— A pischen.[120]

— Also, sagen Sie dep Frau, ich will die Frau sprchen, sagen Sie, dass ein Brief ist von einern Herr, draussen in Kong.[121]

— Я тебе удивляюсь, — сказал Водичка, входя вслед за Швейком в

переднюю. — Как это ты можешь со всяким дерьмом разговаривать?

Закрыв за собой дверь, они остановились в передней. Швейк заметил:

— Хорошая обстановка. У вешалки даже два зонтика, а вон тот образ Иисуса Христа тоже неплох.

Из комнаты, откуда доносился звон ложек и тарелок, опять вышла прислуга и сказала Швейку:

— Frau ist gesagt, dass Sie hat ka Zeit, wenn was ist, dass mir geben und sagen.[122]

— Also, — торжественно сказал Швейк, — der Frau ein Brief, aber halten Kuschen.[123] — Он вынул письмо поручика Лукаша. — Ich, — сказал он, указывая на себя пальцем, — Antwort warten hier in die Vorzimmer.[124]

— Что же ты не сядешь? — сказал Водичка, уже сидевший на стуле у стены. — Вон стул. Стоит, точно нищий. Не унижайся перед этим мадьяром. Будет ещё с ним канитель, вот увидишь, но я, брат, его ка-ак хрясну…

— Послушай-ка, — спросил он после небольшой паузы, — где это ты по-немецки научился?

— Самоучка, — ответил Швейк. Опять наступила тишина. Внезапно из комнаты, куда прислуга отнесла письмо, послышался ужасный крик и шум. Что-то тяжёлое с силой полетело на пол, потом можно было ясно различить звон разбиваемых тарелок и стаканов, сквозь который слышался рёв: «Baszom az anyat, baszom az istenet, baszom a Kristus Mariat, baszom az atyadot, baszom a vilagot!»[125]

Двери распахнулись, и в переднюю влетел господин во цвете лет с подвязанной салфеткой, размахивая письмом.

Старый сапёр сидел ближе, и взбешённый господин накинулся сперва на него:

— Was soll das heissen, wo ist der verfluchter Keri, welcher dieses Brief gebracht hat?[126]

— Полегче, — остановил его Водичка, подымаясь со стула. — Особенно-то не разоряйся, а то вылетишь. Если хочешь знать, кто принёс письмо, так спроси у товарища. Да говори с ним неаккуратнее, а то очутишься за дверью в два счёта.

Теперь пришла очередь Швейка убедиться в красноречии взбешённого господина с салфеткой на шее, который, путая от ярости слова, начал кричать, что они только что сели обедать.

— Мы слышали, что вы обедаете, — на ломаном немецком языке согласился с ним Швейк и прибавил по-чешски: — Мы тоже было

подумали, что напрасно отрываем вас от обеда.

— Не унижайся, — сказал Водичка.

Разъярённый господин, который так оживлённо жестикулировал, что его салфетка держалась уже только одним концом, продолжал: он сначала подумал, что в письме речь идёт о предоставлении воинским частям помещения в этом доме, принадлежащем его супруге.

— Здесь бы поместилось порядочно войск, — сказал Швейк. — Но в письме об этом не говорилось, как вы, вероятно, уже успели убедиться.

Господин схватился за голову и разразился потоком упрёков. Он сказал, что тоже был лейтенантом запаса и что он охотно служил бы и теперь, но у него больные почки. В его время офицерство не было до такой степени распущенно, чтобы нарушать покой чужой семьи. Он пошлёт это письмо в штаб полка, в военное министерство, он опубликует его в газетах…

— Сударь, — с достоинством сказал Швейк, — это письмо написал я. Ich geschrieben, kein Oberleutnant.[127] Подпись подделана. Unterschrift, Name, falsch.[128] Мне ваша супруга очень нравится. Ich liebe lhre Frau.[129] Я влюблён в вашу жену по уши, как говорил Врхлицкий — Kapitales Frau.[130]

Разъярённый господин хотел броситься на стоявшего со спокойным и довольным видом Швейка, но старый сапёр Водичка, следивший за каждым движением Каконя, подставил ему ножку, вырвал у него из рук письмо, которым тот всё время размахивал, сунул в свой карман, и не успел господин Каконь опомниться, как Водичка его сгрёб, отнёс к двери, открыл её одной рукой, и в следующий момент уже было слышно, как… что-то загремело вниз по лестнице.

Случилось всё это быстро, как в сказке, когда чёрт приходит за человеком.

От разъярённого господина осталась лишь салфетка. Швейк её поднял и вежливо постучался в дверь комнаты, откуда пять минут тому назад вышел господин Каконь и откуда теперь доносился женский плач.

— Принёс вам салфеточку, — деликатно сказал Швейк даме, рыдавшей на софе. — Как бы на неё не наступили… Моё почтение!

Щёлкнув каблуками и взяв под козырёк, он вышел. На лестнице не было видно сколько-нибудь заметных следов борьбы. По-видимому, всё сошло, как и предполагал Водичка, совершенно гладко. Только дальше, у ворот, Швейк нашёл разорванный крахмальный воротничок. Очевидно, когда господин Каконь в отчаянии уцепился за ворота, чтобы его не

вытащили на улицу, здесь разыгрался последний акт этой трагедии.

Зато на улице было оживлённо. Господина Каконя оттащили в ворота напротив и отливали водой. А посреди улицы бился, как лев, старый сапёр Водичка с несколькими гонведами и гонведскими гусарами, заступившимися за своего земляка. Он мастерски отмахивался штыком на ремне, как цепом. Водичка был не один. Плечом к плечу с ним дрались несколько солдат-чехов из различных полков, — солдаты как раз проходили мимо.

Швейк, как он позже утверждал, сам не знал, как очутился в самой гуще и как в руках у него появилась трость какого-то оторопевшего зеваки (тесака у Швейка не было).

Продолжалось это довольно долго, но всему прекрасному приходит конец. Прибыл патруль полицейских и забрал всех.

Рядом с Водичкой шагал Швейк, неся палку, которую начальник патруля признал corpus delicti.[131]

Швейк шёл с довольным видом, держа палку, как ружьё, на плече.

Старый сапёр Водичка всю дорогу упрямо молчал. Только входя на гауптвахту, он задумчиво сказал Швейку:

— Говорил я, что ты мадьяров плохо знаешь!

Глава IV
НОВЫЕ МУКИ

Полковник Шрёдер не без удовольствия разглядывал бледное лицо и большие круги под глазами поручика Лукаша, который в смущении не глядел на полковника и украдкой, как бы изучая что-то, рассматривал план расположения воинских частей в лагере. План этот был единственным украшением в кабинете полковника. На столе перед полковником лежало несколько газет с отчёркнутыми синим карандашом статьями, которые он ещё раз пробежал глазами. Пристально глядя на поручика Лукаша, полковник произнёс:

— Итак, вам уже известно, что ваш денщик Швейк арестован и дело его, вероятно, будет передано дивизионному суду?

— Так точно, господин полковник.

— Но и этим, разумеется, — многозначительно сказал полковник, с удовольствием разглядывая побледневшее лицо поручика Лукаша, — вопрос не исчерпан. Здешняя общественность взбудоражена инцидентом с вашим денщиком Швейком, и вся эта история связывается с вашим именем, господин поручик. Из штаба дивизии к нам поступил материал по этому делу. Вот газеты, которые пишут об этом инциденте. Прочтите мне вслух.

Полковник передал Лукашу газеты с отчёркнутыми статьями, и поручик принялся монотонно читать, как будто читал фразу из детской книги для чтения: «Мёд значительно более питателен и легче переваривается, чем сахар».

— «В чём гарантия нашей будущности?»

— Это «Пестер-Ллойд»? — спросил полковник.

— Так точно, господин полковник, — ответил поручик Лукаш и продолжал читать: — «Ведение войны требует совместных усилий всех слоёв населения Австро-Венгерской монархии. Если мы хотим обеспечить безопасность нашего государства, то все нации должны поддерживать друг друга. Гарантия нашей будущности лежит в добровольном уважении одним народом другого народа. Громадные жертвы наших доблестных воинов на фронтах, где они неустанно продвигаются вперёд, не были бы возможны, если бы тыл — эта хозяйственная и политическая артерия наших прославленных армий — не был сплочённым, если бы в тылу наших армий подняли голову элементы, разбивающие единство государства, своей злонамеренной агитацией подрывающие авторитет государственного

целого и вносящие смуту в солидарность народов нашей монархии. В эти исторические минуты мы не можем молча смотреть на горстку людей, из соображений местного национализма пытающихся помешать дружной работе и борьбе всех народов нашей империи за справедливое возмездие тем негодяям, которые без всякого повода напали на нашу родину, чтобы отнять у неё все культурные ценности и достижения цивилизации. Мы не можем молча пройти мимо гнусных деяний лиц с нездоровой психологией, единственная цель которых разбить единодушие наших народов. Мы уже неоднократно обращали внимание наших читателей на то обстоятельство, что военные власти вынуждены принимать самые строгие меры против отдельных личностей в чешских полках, которые, пренебрегая славными полковыми традициями, сеют своими нелепыми бесчинствами в наших мадьярских городах озлобление против всего чешского народа, который, как целое, ни в чём не повинен и который всегда твёрдо стоял на страже интересов нашей империи, свидетельством чего является целый ряд выдающихся полководцев, вышедших из среды чехов. Достаточно вспомнить славного фельдмаршала Радецкого и других защитников Австро-Венгерской державы! Этим светлым личностям противостоит кучка негодяев, вышедших из подонков чешского народа, которые воспользовались мировой войной для того, чтобы вступить добровольцами в армию, — с целью вызвать раздор среди народов монархии, удовлетворяя при этом свои низкие инстинкты. Мы уже обращали внимание читателей на дебоширство N-ского полка в Дебрецене, бесчинства которого были обсуждены и осуждены будапештским парламентом, полка, знамя которого позднее было на фронте… (Выпущено цензурой.) На чьей совести лежит этот позор?.. (Выпущено цензурой.) Кто втянул чешских солдат?.. (Выпущено цензурой.) До чего доходит дерзость пришлого элемента на нашей родной венгерской земле, лучше всего свидетельствует инцидент, имевший место в городе Кираль-Хиде на венгерском „островке“ на Литаве. К какой национальности принадлежали солдаты из близлежащего военного лагеря в Мосте-на-Литаве, которые напали на тамошнего торговца, господина Дюлу Каконя, и избили его? Долг властей расследовать это преступление и выяснить в командовании дивизии, которое, несомненно, уже занимается этим делом, какую роль в этой неслыханной травле подданных венгерского королевства играет поручик Лукаш, имя которого в городе связывается с событиями последних дней, как сообщил нам наш местный корреспондент, уже собравший богатый материал по этому делу, в нынешний ответственный момент являющемуся просто вопиющим. Читатели „Пестер-Ллойд“, несомненно, будут с интересом следить за

ходом следствия, и мы не преминем познакомить их ближе с этими событиями исключительной важности. Вместе с тем мы ждём официальных сообщений о киральхидском преступлении, совершённом против венгерского населения. Мы не сомневаемся, что будапештский парламент сам займётся этим делом, чтобы наконец всем стало ясно, что чешские солдаты, следующие на фронт через венгерское королевство, не смеют рассматривать землю короны святого Стефана как землю, взятую ими в аренду. Если же некоторые лица этой национальности, так ярко продемонстрировавшие в Кираль-Хиде „солидарность“ всех народов Австро-Венгерской монархии, ещё и теперь не учитывают ситуации, мы рекомендовали бы им угомониться, ибо в условиях военного времени пуля, петля, суд и штык заставят их повиноваться высшим интересам нашей общей родины».

— Чья подпись под статьёй, господин поручик?

— Редактора, депутата Белы Барабаша, господин полковник.

— Старая бестия! Но прежде чем эта статья попала в «Пестер-Ллойд», она была напечатана в «Пешти-Хирлап». Теперь прочитайте мне официальный перевод венгерской статьи, помещённой в шопроньской газете «Шопрони-Напло».

Поручик Лукаш стал читать статью, которую автор с большим усердием разукрасил фразами вроде: «веление государственной мудрости», «государственный порядок», «человеческая извращённость», «втоптанное в грязь человеческое достоинство и чувство», «пиршество каннибалов», «избиение лучших представителей общества», «свора мамелюков», «закулисные махинации». Далее всё было изображено в таком духе, точно мадьяры на родной земле преследуются больше всех других национальностей. Словно дело обстояло так: пришли чешские солдаты, повалили редактора, били его своими солдатскими башмаками в живот, он, несчастный, кричал от боли, а кто-то всё застенографировал.

«О целом ряде серьёзнейших фактов, — хныкала шопроньская газета „Шопрони-Напло“, — у нас благоразумно умалчивают и ничего не пишут. Всякий знает, что такое чешский солдат в Венгрии и каков он на фронте. Всем нам известно, что вытворяют чехи, каковы настроения среди чехов и чья рука видна здесь. Правда, бдительность властей отвлечена другими делами первостепенной важности, и, однако же, она должна надлежащим образом сочетаться с общим надзором, чтобы не повторилось то, чему мы на днях были свидетелями в Кираль-Хиде. Во вчерашней нашей статье пятнадцать мест было вычеркнуто цензурой. Нам не остаётся ничего другого, как только заявить, что и сегодня по техническим соображениям

мы не имеем возможности широко осветить события в Кираль-Хиде. Посланный нами корреспондент убедился на месте, что власти энергично взялись за это дело и быстрым темпом ведут расследование. Удивляет нас только одно, а именно: некоторые участники этого истязания находятся до сих пор на свободе. Это касается особенно того господина, который, по слухам, безнаказанно обретается в лагере и до сих пор носит петлицы своего „попугайского полка“. Фамилия его была названа третьего дня в „Пестер-Ллойд“ и в „Пешти-Напло“. Это пресловутый чешский шовинист Лукаш, о бесчинствах которого будет внесена интерпелляция депутатом от Кираль-Хидского округа Гезой Шавань».

— В таком же любезном тоне, господин поручик, — сказал полковник Шрёдер, — пишут о вас «Еженедельник», выходящий в Кираль-Хиде, и прессбургские газеты. Но, я думаю, это вас уже не интересует, так как тут все на один лад. Политически это легко объяснимо, потому что мы, австрийцы, — будь то немцы или чехи, — всё же ещё здорово против венгров… Вы меня понимаете, господин поручик. В этом видна определённая тенденция. Скорее вас может заинтересовать статья в «Комарненской вечерней газете», в которой утверждается, что вы пытались изнасиловать госпожу Каконь прямо в столовой во время обеда в присутствии её супруга, которого вы, угрожая саблей, принуждали заткнуть полотенцем рот своей жене, чтобы она не кричала. Это самое последнее известие о вас, господин поручик. — Полковник усмехнулся и продолжал: — Власти не исполнили своего долга. Предварительная цензура здешних газет тоже в руках венгров. Они делают с нами что хотят. Наш офицер беззащитен против оскорблений венгерского штатского хама-журналиста. И только после нашего резкого демарша, а может быть, телеграммы нашего дивизионного суда, государственная прокуратура в Будапеште предприняла шаги к тому, чтобы произвести аресты отдельных лиц во всех упомянутых редакциях. Больше всех поплатился редактор «Комарненской вечерней газеты», он до самой смерти будет помнить свою «Вечёрку». Дивизионный суд поручил мне, как вашему начальнику, допросить вас и одновременно посылает мне материалы следствия. Всё сошло бы гладко, если бы не этот ваш злополучный Швейк. С ним находится какой-то сапёр Водичка; когда того привели на гауптвахту после драки, при нём нашли письмо, посланное вами госпоже Каконь. Так этот ваш Швейк утверждал на допросе, что письмо не ваше, что это писал он сам, — когда же ему было приказано переписать письмо, чтобы сравнить почерки, он ваше письмо сожрал. Тогда из полковой канцелярии были пересланы в дивизионный суд ваши рапорты для сравнения с почерком Швейка, — и вот вам результаты.

Полковник перелистал бумаги и указал поручику Лукашу на следующее место:

«Обвиняемый Швейк отказался написать продиктованные ему фразы, утверждая, что за ночь разучился писать».

— Я, господин поручик, вообще не придаю никакого значения тому, что говорил в дивизионном суде ваш Швейк или этот сапёр. И Швейк и сапёр утверждают, что всё произошло из-за какой-то пустяшной шутки, которая была не понята, что на них самих напали штатские, а они отбивались, чтобы защитить честь мундира. На следствии выяснилось, что ваш Швейк вообще фрукт. Так, например, на вопрос, почему он не сознаётся, он, согласно протоколу, ответил: «Я нахожусь сейчас в таком же положении, в каком очутился однажды из-за икон девы Марии слуга художника Панушки. Тому тоже, когда дело коснулось икон, которые он собирался присвоить, ничего другого не оставалось ответить, кроме как: «Что же, мне кровью блевать, что ли?» Разумеется, я, как командир полка, позаботился о том, чтобы во все газеты от имени дивизионного суда было послано опровержение подлых статей, напечатанных в здешних газетах. Сегодня это будет разослано, и полагаю, что я с своей стороны сделал всё, чтобы загладить шумиху, поднятую этими штатскими мерзавцами, этими подлыми мадьярскими газетчиками. Кажется, я недурно отредактировал:

«Настоящим дивизионный суд N-ской дивизии и штаб N-ского полка заявляют, что статья, напечатанная в здешней газете о якобы совершённых солдатами N-ского полка бесчинствах, ни в какой степени не соответствует действительности и от первой до последней строки вымышлена. Следствие, начатое против вышеназванных газет, поведёт к строгому наказанию виновных».

— Дивизионный суд в своём отношении, посланном в штаб нашего полка, — продолжал полковник, — приходит к тому заключению, что дело, собственно, идёт о систематической травле, направленной против воинских частей, прибывающих из Цислейтании в Транслейтанию. Притом сравните, какое количество войск отправлено на фронт с нашей стороны и какое с их стороны. Скажу вам откровенно: мне чешский солдат более по душе, чем этот венгерский сброд. Стоит только вспомнить, как под Белградом венгры стреляли по нашему второму маршевому батальону, который, не зная, что по нему стреляют венгры, начал палить в дёйчмейстеров, стоявших на правом фланге, а дёйчмейстеры тоже спутали и открыли огонь по стоящему рядом с ними боснийскому полку. Вот, скажу я вам, положеньице! Я был как раз на обеде в штабе бригады. Накануне мы должны были пробавляться ветчиной и супом из консервов, а в этот день нам приготовили хороший

куриный бульон, филе с рисом и ромовые бабки. Как раз накануне вечером мы повесили в местечке сербского трактирщика, и наши повара нашли у него в погребе старое тридцатилетнее вино. Можете себе представить, как мы все ждали этого обеда. Покончили мы с бульоном и только принялись за курицу, как вдруг перестрелка, потом пальба, и наша артиллерия, понятия не имевшая, что это наши части стреляют по своим, начала палить по нашей линии, и один снаряд упал у самого штаба бригады. Сербы, вероятно, решили, что у нас вспыхнуло восстание, и давай крыть нас со всех сторон, а потом начали форсировать реку. Бригадного генерала зовут к телефону, и начальник дивизии поднимает страшный скандал, что это там за безобразие происходит на боевом участке бригады. Ведь он только что получил приказ из штаба армии начать наступление на сербские позиции на левом фланге в два часа тридцать пять минут ночи. Мы же являемся резервом и должны немедленно прекратить огонь. Ну, где там при такой ситуации «Feuer einstellen!».[132] Бригадная телефонная станция сообщает, что никуда не может дозвониться, кроме как в штаб Семьдесят пятого полка, который передаёт, что он получил от ближайшей дивизии приказ «ausharren!»,[133] что он не может связаться с нашей дивизией, что сербы заняли высоты 212, 226 и 327, требуется переброска одного батальона для связи, и необходимо наладить телефонную связь с нашей дивизией. Пытаемся связаться с дивизией, но связи нет, так как сербы пока что зашли с обоих флангов нам в тыл и сжали наш центр в треугольник, в котором оказались и пехота и артиллерия, обоз со всей автоколонной, продовольственный магазин и полевой лазарет. Два дня я не слезал с седла, а начальник дивизии попал в плен и наш бригадный тоже. А всему виной мадьяры, открывшие огонь по нашему второму маршевому батальону. Но, разумеется, всю вину свалили на наш полк. — Полковник сплюнул. — Вы теперь сами, господин поручик, убедились, как они ловко использовали ваши похождения в Кираль-Хиде.

Поручик Лукаш смущённо кашлянул.

— Господин поручик, — обратился к нему интимно полковник, — положа руку на сердце, сколько раз вы спали с мадам Каконь?

Полковник Шрёдер был сегодня в очень хорошем настроении.

— Бросьте рассказывать, что вы лишь завязали с ней переписку. В ваши годы я, будучи на трёхнедельных топографических курсах в Эгере, все эти три недели ничего другого не делал, как только спал с венгерками. Каждый день с другой: с молодыми, незамужними, с дамами более солидного возраста, замужними, — какие подвернутся. Работал так

добросовестно, что, когда вернулся в полк, еле ноги волочил. Больше всех измочалила меня жена одного адвоката. Она мне показала, на что способны венгерки, укусила меня при этом за нос и за всю ночь не дала мне глаз сомкнуть…

«Начал переписываться», — полковник ласково потрепал поручика по плечу. — Знаем мы это! Не говорите мне ничего, у меня своё мнение об этой истории. Завертелись вы с ней, муж узнал, а тут ваш глупый Швейк… Знаете, господин поручик, этот Швейк всё же верный парень. Здорово это он с вашим письмом проделал. Такого человека, по правде сказать, жалко. Вот это называется воспитание! Это мне в парне нравится. Ввиду всего этого следствие непременно должно быть приостановлено. Вас, господин поручик, скомпрометировала пресса. Вам здесь оставаться совершенно ни к чему. На этой неделе на русский фронт будет отправлена маршевая рота. Вы — самый старший офицер в одиннадцатой роте. Эта рота отправится под вашей командой. В бригаде всё уже подготовлено. Скажите старшему писарю, пусть он вам подыщет другого денщика вместо Швейка.

Поручик Лукаш с благодарностью взглянул на полковника, а тот продолжал:

— Швейка я прикомандировываю к вам в качестве ротного ординарца.

Полковник встал и, подавая побледневшему поручику руку, сказал:

— Итак, дело ликвидируется. Желаю удачи! Желаю вам отличиться на Восточном фронте. Если ещё когда-нибудь увидимся, заходите, не избегайте нас, как в Будейовицах…

По дороге домой поручик Лукаш всё время повторял про себя: «Ротный командир, ротный ординарец». И перед ним вставал образ Швейка. Когда поручик Лукаш велел старшему писарю Ванеку подыскать ему вместо Швейка нового денщика, тот сказал:

— А я думал, что вы, господин обер-лейтенант, довольны Швейком, — и, услыхав, что полковник назначил Швейка ординарцем одиннадцатой роты, воскликнул: — Господи помилуй!

В арестантском бараке при дивизионном суде окна были забраны железными решётками. Вставали там, согласно предписанию, в семь часов утра и принимались за уборку матрацев, валявшихся прямо на грязном полу: нар не было. В отгороженном углу длинного коридора, согласно предписанию, раскладывали соломенные тюфяки и на них стелили одеяла; те, кто кончил уборку, сидели на лавках вдоль стены и либо искали вшей (те, что пришли с фронта), либо коротали время рассказами о всяких приключениях. Швейк вместе со старшим сапёром Водичкой и ещё несколькими солдатами разных полков и разного рода оружия сидели на

лавке у двери.

— Посмотрите-ка, ребята, — сказал Водичка, — на венгерского молодчика у окна, как он, сукин сын, молится, чтобы у него всё сошло благополучно. У вас не чешутся руки раскроить ему харю?

— За что? Он хороший парень, — сказал Швейк. — Попал сюда потому, что не захотел явиться на призыв. Он против войны. Сектант какой-то, а посадили его за то, что не хочет никого убивать и строго держится божьей заповеди. Ну, так ему эту божью заповедь покажут! Перед войной жил в Моравии один по фамилии Немрава. Так тот, когда его забрали, отказался даже взять на плечо ружьё: носить ружьё — это-де против его убеждений. Ну, замучили его в тюрьме чуть не до смерти, а потом опять повели к присяге. А он — нет, дескать, присягать не буду, это против моих убеждений. И настоял-таки на своём.

— Вот дурак, — сказал старый сапёр Водичка, — мог бы и присягнуть, а потом начхал бы на всё. И на присягу тоже.

— Я уже три раза присягал, — отозвался один пехотинец, — и в третий раз сижу за дезертирство. Не будь у меня медицинского свидетельства, что я пятнадцать лет назад в приступе помешательства укокошил свою тётку, меня бы уж раза три расстреляли на фронте. А покойная тётушка всякий раз выручает меня из беды, и в конце концов я, пожалуй, выйду из этой войны целым и невредимым.

— А на кой ты укокошил свою тётеньку? — спросил Швейк.

— На кой люди убивают, — ответил тот, — каждому ясно: из-за денег. У этой старухи было пять сберегательных книжек, ей как раз прислали проценты, когда я, ободранный и оборванный, пришёл в гости. Кроме неё, у меня на белом свете не было ни души. Вот и пришёл я её просить, чтобы она меня приняла, а она — стерва! — иди, говорит, работать, ты, дескать, молодой, сильный, здоровый парень. Ну, слово за слово, я её стукнул несколько раз кочергой по голове и так разделал физию, что уж и сам не мог узнать: тётенька это или не тётенька? Сижу я у неё там на полу и всё приговариваю: «Тётенька или не тётенька?» Так меня на другой день и застали соседи. Потом попал я в сумасшедший дом на Слупах, а когда нас перед войной вызвали в Богнице на комиссию, признали меня излеченным, и пришлось идти дослуживать военную службу за пропущенные годы.

Мимо них прошёл худой долговязый солдат измученного вида с веником в руке.

— Это учитель из нашей маршевой роты, — представил его егерь, сидевший рядом со Швейком. — Идёт подметать. Исключительно порядочный человек. Сюда попал за стишок, который сам сочинил.

— Эй, учитель! Поди-ка сюда, — окликнул он солдата с веником.

Тот с серьёзным видом подошёл к скамейке.

— Расскажи-ка нам про вшей.

Солдат с веником откашлялся и начал:

Весь фронт во вшах.
И с яростью скребётся
То нижний чин, то ротный командир.
Сам генерал, как лев, со вшами бьётся
И, что ни миг, снимает свой мундир.
Вшам в армии квартира даровая,
На унтеров им трижды наплевать.
Вошь прусскую, от страсти изнывая,
Австрийский вшивец валит на кровать.

Измученный солдат из учителей присел на скамейку и вздохнул:

— Вот и всё. И из-за этого я уже четыре раза был на допросе у господина аудитора.

— Собственно, дело ваше выеденного яйца не стоит, — веско заметил Швейк. — Всё дело в том, кого они там в суде будут считать старым австрийским вшивцем. Хорошо, что вы прибавили насчёт кровати. Этим вы так их запутаете, что они совсем обалдеют. Вы только им обязательно разъясните, что вшивец — это вошь-самец и что на самку-вошь может лезть только самец-вшивец. Иначе вам не выпутаться. Написали вы это, конечно, не для того, чтобы кого-нибудь обидеть, — это ясно. Господину аудитору скажите, что вы писали для собственного развлечения, и так же как свинья-самец называется боров, так самца вши называют вшивцем. Учитель тяжело вздохнул. — Что ж делать, если этот самый господин аудитор не знает как следует чешского языка. Я ему приблизительно так и объяснял, но он на меня набросился. «Замец фжи по-чешски зовёт фожак, завсем не фшивец», — заявил господин аудитор. — Femininum, Sie gebildeter Kerl, ist «он фож». Also Maskulinum ist «она фожак». Wir kennen uns're Pappenheimer.[134]

— Короче говоря, — сказал Швейк, — ваше дело дрянь, но терять надежды не следует, — как говорил цыган Янечек в Пльзени, когда в тысяча восемьсот семьдесят девятом году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа; всё может повернуться к лучшему! И он угадал: в последнюю минуту его увели из-под виселицы, потому что

его нельзя было повесить по случаю дня рождения государя императора, который пришёлся как раз на тот самый день, когда он должен был висеть. Тогда его повесили на другой день после дня рождения императора. А потом этому парню привалило ещё большее счастье: на третий день он был помилован, и пришлось возобновить его судебный процесс, так как всё говорило за то, что бед натворил другой Янечек. Ну, пришлось его выкопать из арестантского кладбища, реабилитировать и похоронить на пльзенском католическом кладбище. А потом выяснилось, что он евангелического вероисповедания, его перевезли на евангелическое кладбище, а потом…

— Потом я тебе заеду в морду, — отозвался старый сапёр Водичка. — Чего только этот парень не выдумает! У человека на шее висит дивизионный суд, а он, мерзавец, вчера, когда нас вели на допрос, морочил мне голову насчёт какой-то иерихонской розы.

— Да это я не сам придумал. Это говорил слуга художника Панушки Матей старой бабе, когда та спросила, как выглядит иерихонская роза. Он ей говорил: «Возьмите сухое коровье дерьмо, положите на тарелку, полейте водой, оно у вас зазеленеет, — это и есть иерихонская роза!» Я этой ерунды не придумывал, — защищался Швейк, — но нужно же было о чем-нибудь поговорить, раз мы вместе идём на допрос. Я только хотел развлечь тебя, Водичка.

— Уж ты развлечёшь! — презрительно сплюнул Водичка. — Тут ума не приложишь, как бы выбраться из этой заварухи, да как следует рассчитаться с этими мадьярскими негодяями, а он утешает каким-то коровьим дерьмом.

А как я расквитаюсь с теми мадьярскими сопляками, сидя тут взаперти? Да ко всему ещё приходится притворяться и рассказывать, будто я никакой ненависти к мадьярам не питаю. Эх, скажу я вам, собачья жизнь! Ну, да ещё попадётся ко мне в лапы какой-нибудь мадьяр! Я его раздавлю, как кутёнка! Я ему покажу «istem aid meg a rnagyart»,[135] я с ним рассчитаюсь, будет он меня помнить!

— Нечего нам беспокоиться, — сказал Швейк, — всё уладится. Главное — никогда на суде не говорить правды. Кто даёт себя околпачить и признается — тому крышка. Из признания никогда ничего хорошего не выходит. Когда я работал в Моравской Остраве, там произошёл такой случай. Один шахтёр с глазу на глаз, без свидетелей, избил инженера. Адвокат, который его защищал, всё время говорил, чтобы он отпирался, ему ничего за это не будет, а председатель суда по-отечески внушал, что признание является смягчающим вину обстоятельством. Но шахтёр гнул свою линию: не сознается — и баста! Его освободили, потому что он

доказал своё алиби: в этот самый день он был в Брно…

— Иисус Мария! — крикнул взбешённый Водичка. — Я больше не выдержу! На кой чёрт ты всё это рассказываешь, никак не пойму! Вчера с нами на допросе был один точь-в-точь такой же. Аудитор спрашивает, кем он был до военной службы, а он отвечает: «Поддувал у Креста». И это целых полчаса, пока не выяснилось, что он раздувал мехами горн у кузнеца по фамилии Крест. А когда его спросили: «Так что же, вы у него в ученье?» — он понёс: «Так точно… одно мученье…»

В коридоре послышались шаги и возглас караульного:

— Zuwachs.[136]

— Опять нашего полку прибыло! — радостно воскликнул Швейк. — Авось он припрятал окурок.

Дверь открылась, и в барак втолкнули вольноопределяющегося, того самого, что сидел со Швейком под арестом в Будейовицах, а потом был прикомандирован к кухне одной из маршевых рот.

— Слава Иисусу Христу, — сказал он, входя, на что Швейк за всех ответил:

— Во веки веков, аминь!

Вольноопределяющийся с довольным видом взглянул на Швейка, положил наземь одеяло, которое принёс с собой, и присел на лавку к чешской колонии. Затем, развернув обмотки, вынул искусно спрятанные в них сигареты и роздал их. Потом вытащил из башмака покрытый фосфором кусок от спичечной коробки и несколько спичек, аккуратно разрезанных пополам посреди спичечной головки, чиркнул, осторожно закурил сигарету, дал каждому прикурить и равнодушно заявил:

— Я обвиняюсь в том, что поднял восстание. — Пустяки, — успокоил его Швейк, — ерунда.

— Разумеется, — сказал вольноопределяющийся, — если мы подобным способом намереваемся выиграть войну с помощью разных судов. Если они во что бы то ни стало желают со мной судиться, пускай судятся. В конечном счёте лишний процесс ничего не меняет в общей ситуации.

— А как же ты поднял восстание?! — спросил сапёр Водичка, с симпатией глядя на вольноопределяющегося.

— Отказался чистить нужники на гауптвахте, — ответил вольноопределяющийся. — Повели меня к самому полковнику. Ну, а тот — отменная свинья. Стал на меня орать, что я арестован на основании полкового рапорта, а потому являюсь обыкновенным арестантом, что он вообще удивляется, как это меня земля носит и от такого позора ещё не

перестала вертеться, что, мол, в рядах армии оказался человек, носящий нашивки вольноопределяющегося, имеющий право на офицерское звание и который тем не менее своими поступками может вызвать только омерзение у начальства. Я ответил ему, что вращение земного шара не может быть нарушено появлением на нём такого вольноопределяющегося, каковым являюсь я, и что законы природы сильнее нашивок вольноопределяющегося. Хотел бы я знать, говорю, кто может заставить меня чистить нужники, которые не я загадил, хотя и на это я имел право при нашем свинском питании из полковой кухни, где дают одну гнилую капусту и тухлую баранину. Я сказал полковнику, что его вопрос, как меня земля носит, мне кажется несколько странным, из-за меня, конечно, землетрясения не будет. Полковник во время моей речи только скрежетал зубами, будто кобыла, когда ей на язык попадётся мёрзлая свёкла. А потом как заорёт на меня: «Так будете чистить нужники или не будете?!» — «Никак нет, никаких нужников чистить не буду». — «Нет, будете, несчастный вольнопёр!» — «Никак нет, не буду!» — «Чёрт вас подери, вы у меня вычистите не один, а сто нужников!» — «Никак нет. Не вычищу ни ста, ни одного нужника.» И пошло, и пошло! «Будете чистить?» — «Не буду чистить!» Мы перебрасывались нужниками, как будто это была детская прибаутка из книги Павлы Моудрой для детей младшего возраста. Полковник метался по канцелярии как угорелый, наконец сел и сказал: «Подумайте как следует, иначе я передам вас за мятеж дивизионному суду. Не воображайте, что вы будете первым вольноопределяющимся, расстрелянным за эту войну. В Сербии мы повесили двух вольноопределяющихся десятой роты, а одного из девятой пристрелили, как ягнёнка. А за что? За упрямство! Те двое, которых мы повесили, отказались приколоть жену и мальчика шабацкого „чужака“, а вольноопределяющийся девятой роты был расстрелян за то, что отказался идти в наступление, отговариваясь тем, будто у него отекли ноги и он страдает плоскостопием. Так будете чистить нужники или не будете?» — «Никак нет, не буду!» Полковник посмотрел на меня и спросил: «Послушайте, вы не славянофил?» — «Никак нет!»

После этого меня увели и объявили, что я обвиняюсь в мятеже.

— Самое лучшее, — сказал Швейк, — выдавать себя за идиота. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, с нами там был очень умный, образованный человек, преподаватель торговой школы. Он дезертировал с поля сражения, из-за этого даже хотели устроить громкий процесс и на страх другим осудить его и повесить. А он вывернулся очень просто: начал корчить душевнобольного с тяжёлой наследственностью и на освидетельствовании

заявил штабному врачу, что он вовсе не дезертировал, а просто с юных лет любит странствовать, его всегда тянет куда-то далеко; раз как-то он проснулся в Гамбурге, а другой раз в Лондоне, сам не зная, как туда попал. Отец его был алкоголик и кончил жизнь самоубийством незадолго до его рождения; мать была проституткой, вечно пьяная, и умерла от белой горячки, младшая сестра утопилась, старшая бросилась под поезд, брат бросился с вышеградского железнодорожного моста. Дедушка убил свою жену, облил себя керосином и сгорел; другая бабушка шаталась с цыганами и отравилась в тюрьме спичками; двоюродный брат несколько раз судился за поджог и в Картоузах перерезал себе куском стекла сонную артерию; двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с шестого этажа. За его воспитанием никто не следил, и до десяти лет он не умел говорить, так как однажды, когда ему было шесть месяцев и его пеленали на столе, все из комнаты куда-то отлучились, а кошка стащила его со стола, и он, падая, ударился головой. Периодически у него бывают сильные головные боли, в эти моменты он не сознаёт, что делает, именно в таком-то состоянии он и ушёл с фронта в Прагу, и только позднее, когда его арестовала «У Флеков» военная полиция, пришёл в себя. Надо было видеть, как живо его освободили от военной службы; и человек пять солдат, сидевших с ним в одной камере, на всякий случай записали на бумажке:

Отец — алкоголик. Мать — проститутка.
I. Сестра (утопилась).
II. Сестра (поезд).
III. Брат (с моста).
IV. Дедушка — жену, керосин, поджог.
V. Бабушка (цыгане, спички) + и т. д.

Один из них начал болтать всё это штабному врачу и не успел ещё перевалить через двоюродного брата, штабной врач (это был уже третий случай!) прервал его: «А твоя двоюродная сестра с отцовской стороны бросилась в Вене с шестого этажа, за твоим воспитанием — лодырь ты этакий! — никто не следил, но тебя перевоспитают в арестантских ротах». Ну, отвели в тюрьму, связали в козлы — и с него как рукой сняло и плохое воспитание, и отца-алкоголика, и мать-проститутку, и он предпочёл добровольно пойти на фронт.

— Нынче, — сказал вольноопределяющийся, — на военной службе уже никто не верит в тяжёлую наследственность, а то все генеральные штабы пришлось бы запереть в сумасшедший дом.

В окованной железом двери лязгнул ключ, и вошёл профос.

— Пехотинец Швейк и сапёр Водичка — к господину аудитору!

Оба поднялись, Водичка обратился к Швейку:

— Вот мерзавцы, каждый божий день допрос, а толку никакого! Уж лучше бы, чёрт побери, осудили нас и не приставали больше. Валяемся тут без дела целыми днями, а эта мадьярская шантрапа кругом бегает…

По дороге на допрос в канцелярию дивизионного суда, которая находилась на другой стороне, тоже в бараке, сапёр Водичка обсуждал со Швейком, когда же наконец они предстанут перед настоящим судом.

— Допрос за допросом, — выходил из себя Водичка, — и хоть бы какой-нибудь толк вышел. Изведут уйму бумаги, сгниёшь за решёткой, а настоящего суда и в глаза не увидишь. Ну, скажи по правде, можно ихний суп жрать? А ихнюю капусту с мёрзлой картошкой? Чёрт побери, такой идиотской мировой войны я никогда ещё не видывал! Я представлял себе всё это совсем иначе.

— А я доволен, — сказал Швейк. — Ещё несколько лет назад, когда я служил на действительной, наш фельдфебель Солпера говаривал нам: «На военной службе каждый должен знать свои обязанности!» И, бывало, съездит так тебе при этом по морде, что долго не забудешь! А покойный обер-лейтенант Квайзер, когда приходил осматривать винтовки, всегда читал нам наставление о том, что солдату не полагается давать волю чувствам: солдаты только скот, государство их кормит, поит кофеём, отпускает табак, — и за это они должны тянуть лямку, как волы.

Сапёр Водичка задумался и немного погодя сказал:

— Швейк, когда придёшь к аудитору, лучше не завирайся, а повторяй то, что говорил на прошлом допросе, чтобы мне не попасть впросак. Главное, ты сам видел, как на меня напали мадьяры. Ведь как теперь ни крути, а мы всё это делали с тобой сообща.

— Не бойся. Водичка, — успокаивал его Швейк. — Главное — спокойствие и никаких волнений. Что тут особенного, — подумаешь, какой-то там дивизионный суд! Ты бы посмотрел, как в былые времена действовал военный суд. Служил у нас на действительной учитель Герал, так тот, когда всему нашему взводу в наказание была запрещена отлучка в город, лёжа на койке, рассказывал, что в Пражском музее есть книга записей военного суда времён Марии-Терезии. В каждом полку был свой палач, который казнил солдат поштучно, по одному терезианскому талеру за голову. По этим записям выходит, что такой палач в иной день зарабатывал по пяти талеров. Само собой, — прибавил Швейк солидно, — полки тогда были больше и их постоянно пополняли в деревнях.

— Когда я был в Сербии, — сказал Водичка, — то в нашей бригаде любому, кто вызовется вешать «чужаков», платили сигаретами: повесит солдат мужчину — получает десяток сигарет «Спорт», женщину или ребёнка — пять. Потом интендантство стало наводить экономию: расстреливали всех гуртом. Со мною служил цыган, мы долго не знали, что он этим промышляет. Только удивлялись, отчего это его всегда на ночь вызывают в канцелярию. Стояли мы тогда на Дрине. И как-то ночью, когда его не было, кто-то вздумал порыться в его вещах, а у этого хама в вещевом мешке — целых три коробки сигарет «Спорт» по сто штук в каждой. К утру он вернулся в наш сарай, и мы учинили над ним короткую расправу: повалили его, и Белоун удавил его ремнём. Живуч был, негодяй, как кошка. — Старый сапёр Водичка сплюнул. — Никак не могли его удавить. Уж он обделался, глаза у него вылезли, а всё ещё был жив, как недорезанный петух. Так мы давай разрывать его, совсем как кошку: двое за голову, двое за ноги, и перекрутили ему шею. Потом надели на него его же собственный вещевой мешок вместе с сигаретами и бросили его, где поглубже, в Дрину. Кто их станет курить, такие сигареты! А утром начали его разыскивать…

— Вам следовало бы отрапортовать, что он дезертировал, — авторитетно присовокупил Швейк, — мол, давно к этому готовился: каждый день говорил, что удерёт.

— Охота нам была об этом думать, — ответил Водичка. — Мы своё дело сделали, а дальше не наша забота. Там это было очень легко и просто; каждый день кто-нибудь пропадал, а уж из Дрины не вылавли. Премило плыли по Дрине в Дунай раздутый «чужак» рядом с нашим изуродованным запасным. Кто увидит в первый раз, — в дрожь бросает, чисто в лихорадке.

— Им надо было хины давать, — сказал Швейк.

С этими словами они вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные отвели их в канцелярию № 8, где за длинным столом, заваленным бумагами, сидел аудитор Руллер.

Перед ним лежал том Свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На столе возвышалось распятие из поддельной слоновой кости с запылённым Христом, безнадёжно глядевшим на подставку своего креста, покрытую пеплом и окурками.

Аудитор Руллер одной рукой стряхивал пепел с сигареты н постукивал ею о подставку распятия, к новой скорби распятого бога, а другою отдирал стакан с чаем, приклеившийся к Своду законов.

Высвободив стакан из объятий Свода законов, он продолжал перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании.

Это была книга Фр. С. Краузе с многообещающим заглавием: «Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral».[137]

Аудитор загляделся на репродукции с наивных рисунков мужских и женских половых органов с соответствующими стихами, которые открыл учёный Фр. С. Краузе в уборных берлинского Западного вокзала, и не заметил вошедших.

Он оторвался от репродукций только после того, как Водичка кашлянул.

— Was geht los?[138] — спросил он, продолжая перелистывать книгу в поисках новых примитивных рисунков, набросков и зарисовок.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — ответил Швейк, — коллега Водичка простудился и кашляет.

Аудитор Руллер только теперь взглянул на Швейка и Водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение.

— Наконец-то притащились, — проворчал аудитор, роясь в куче дел на столе. — Я приказал вас позвать на девять часов, а теперь без малого одиннадцать. Как ты стоишь, осёл? — обратился он к Водичке, осмелившемуся стать «вольно». — Когда скажу «вольно», можешь делать со своими ножищами, что хочешь.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — отозвался Швейк, — он страдает ревматизмом.

— Держи язык за зубами! — разозлился аудитор Руллер. — Ответишь, когда тебя спросят. Ты уже три раза был у меня на допросе и всегда болтаешь больше, чем надо. Найду я это дело наконец или не найду? Досталось мне с вами, негодяями, хлопот! Ну, да это вам даром не пройдёт, попусту заваливать суд работой!

Так слушайте, байстрюки, — прибавил он, вытаскивая из груды бумаг большое дело, озаглавленное:

«Schwejk und Woditschka»[139]

— Не думайте, что из-за какой-то дурацкой драки вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной тюрьме и отделаетесь на время от фронта. Из-за вас, олухов, мне пришлось телефонировать в суд при штабе армии. — Аудитор вздохнул. — Что ты строишь такую серьёзную рожу, Швейк? — продолжал он. — На фронте у тебя пропадёт охота драться с гонведами. Дело ваше прекращается, каждый пойдёт в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном порядке, а потом отправитесь со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь мне ещё раз, негодяи! Я вас так проучу, не обрадуетесь! Вот вам ордер на освобождение и ведите себя прилично. Отведите их во

второй номер.

— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — сказал Швейк, — мы ваши слова запечатлеем в сердцах, премного благодарны за вашу доброту. Случись это в гражданской жизни, я позволил бы себе сказать, что вы золотой человек. Одновременно мы оба должны ещё и ещё раз извиниться за то, что доставили вам столько хлопот. По правде сказать, мы этого не заслужили.

— Убирайтесь ко всем чертям! — заорал на Швейка аудитор. — Не вступись за вас полковник Шрёдер, так не знаю, чем бы всё это дело кончилось.

Водичка почувствовал себя старым Водичкой только в коридоре, когда они вместе с конвоем направлялись в канцелярию № 2. Солдат, сопровождавший их, боялся опоздать к обеду.

— Ну-ка, ребята, прибавьте маленько шагу. Тащитесь, словно вши, — сказал он.

В ответ на это Водичка заявил конвоиру, чтобы он не особенно разорялся, пусть скажет спасибо, что он чех, а будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селёдку.

Так как военные писари ушли из канцелярии на обед, конвоиру пришлось покамест отвести Швейка и Водичку обратно в арестантское помещение при дивизионном суде. Это не обошлось без проклятий с его стороны в адрес ненавистной расы военных писарей.

— Друзья-приятели опять снимут весь жир с моего супа, — вопил он трагически, — а вместо мяса оставят одни жилы. Вчера вот я тоже конвоировал двоих в лагерь, а кто-то тем временем сожрал полпайка, который получили за меня.

— Вы тут, в дивизионном суде, кроме жратвы, ни о чём не думаете, — сказал совсем воспрявший духом Водичка.

Когда Швейк и Водичка рассказали вольноопределяющемуся, чем кончилось дело, он воскликнул:

— Так, значит, в маршевую роту, друзья! «Попутного ветра», — как пишут в журнале чешских туристов. Подготовка к экскурсии уже закончена. Наше славное предусмотрительное начальство обо всём позаботилось. Вы записаны как участники экскурсии в Галицию. Отправляйтесь в путь-дорогу в весёлом настроении и с лёгким сердцем. Лелейте в душе великую любовь к тому краю, где вас познакомят с окопами. Прекрасные и в высшей степени интересные места. Вы почувствуете себя на далёкой чужбине, как дома, как в родном краю, почти как у домашнего очага. С чувствами возвышенными отправляйтесь в те

края, о которых ещё старый Гумбольдт сказал: «Во всём мире я не видел ничего более великолепного, чем эта дурацкая Галиция!» Богатый и ценный опыт, приобретённый нашей победоносной армией при отступлении из Галиции в дни первого похода, несомненно явится путеводной звездой при составлении программы второго похода. Только вперёд, прямёхонько в Россию, и на радостях выпустите в воздух все патроны!

После обеда, перед уходом Швейка и Водички, в канцелярии к ним подошёл злополучный учитель, сложивший стихотворение о вшах, и, отведя обоих в сторону, таинственно сказал:

— Не забудьте, когда будете на русской стороне, сразу же сказать русским: «Здравствуйте, русские братья, мы братья-чехи, мы нет австрийцы».

При выходе из барака Водичка, желая демонстративно выразить свою ненависть к мадьярам и показать, что даже арест не мог поколебать и сломить его убеждений, наступил мадьяру, принципиально отвергающему военную службу, на ногу и заорал на него:

— Обуйся, прохвост!

— Жалко, — с неудовольствием вздохнул сапёр Водичка Швейку, — что он ничего не ответил. Зря не ответил. Я бы его мадьярскую харю разорвал от уха до уха. А он, дурачина, молчит и позволяет наступать себе на ногу. Чёрт возьми, Швейк, злость берёт, что меня не осудили! Этак выходит, что над нами вроде как насмехаются, что это дело с мадьярами гроша ломаного не стоит. А ведь мы дрались, как львы. Это ты виноват, что нас не осудили, а дали такое удостоверение, будто мы и драться по-настоящему не умеем. Собственно, за кого они нас принимают? Что ни говори, это был вполне приличный конфликт.

— Милый мой, — добродушно сказал Швейк, — я что-то не понимаю, отчего тебя не радует, что дивизионный суд официально признал нас абсолютно приличными людьми, против которых он ничего не имеет. Правда, я при допросе всячески вывёртывался, но ведь «так полагается», как говорит адвокат Басё своим клиентам. Когда меня аудитор спросил, зачем мы ворвались в квартиру господина Каконя, я ему на это ответил просто: «Я полагал, что мы ближе всего познакомимся с господином Каконем, если будем ходить к нему в гости». После этого аудитор больше ни о чём меня не спрашивал, этого ему оказалось вполне достаточно.

— Запомни раз навсегда, — продолжал Швейк свои рассуждения, — перед военными судьями признаваться нельзя. Когда я сидел в гарнизонной тюрьме, один солдат из соседней камеры признался, а когда остальные

арестанты об этом узнали, они устроили ему тёмную и заставили отречься от своего признания.

— Если бы я совершил что-нибудь бесчестное, я бы ни за что не признался, — сказал сапёр Водичка. — Ну, а если меня этот тип аудитор прямо спросил: «Дрались?» — так я ему и ответил: «Да, дрался». — «Избили кого-нибудь?» — «Так точно, господин аудитор». — «Ранили кого-нибудь?» — «Ясно, господин аудитор». Пусть знает, с кем имеет дело. Просто стыд и срам, что нас освободили! Выходит — он не поверил, что я об этих мадьярских хулиганов измочалил свой ремень, что я их в лапшу превратил, наставил им шишек и фонарей. Ты ведь был при этом, помнишь, как на меня разом навалились три мадьярских холуя, а через минуту все валялись на земле, и я топтал их ногами. И после этого какой-то сморкач аудитор прекращает следствие. Всё равно как если бы он сказал мне: «Дерьмо всякое, а лезет ещё драться!» Вот только кончится война, буду штатским, я его, растяпу, разыщу и покажу, как я не умею драться! Потом приеду сюда, в Кираль-Хиду, и устрою такой мордобой, какого свет не видал: люди будут прятаться в погреба, заслышав, что я пришёл посмотреть на этих кираль-хидских бродяг, на этих босяков, на этих мерзавцев!

В канцелярии с делом покончили в два счёта. Фельдфебель с ещё жирными после обеда губами, подавая Швейку и Водичке бумаги, сделался необычайно серьёзным и не преминул произнести перед ними речь, в которой апеллировал к их воинскому духу. Речь свою (он был силезский поляк) фельдфебель уснастил перлами своего диалекта, как-то: «marekvium», «glupi rolmopsie», «krajcova sedmina», «svina porypana» и «dum vam bane na mjesjnuckovy vasi gzichty».[140]

Каждого отправляли в свою часть, и Швейк, прощаясь с Водичкой, сказал:

— Как кончится война, зайди проведать. С шести вечера я всегда «У чаши» на Боиште.

— Известно, приду, — ответил Водичка. — Там скандал какой-нибудь будет?

— Там каждый день что-нибудь бывает, — пообещал Швейк, — а уж если выдастся очень тихий день, мы сами что-нибудь устроим.

Друзья разошлись, и, когда уже были на порядочном расстоянии друг от друга, старый сапёр Водичка крикнул Швейку:

— Так ты позаботься о каком-нибудь развлечении, когда я приду!

В ответ Швейк закричал:

— Непременно приходи после войны!

Они отошли ещё дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донёсся голос Водички:

— Швейк! Швейк! Какое «У чаши» пиво?

Как эхо, отозвался ответ Швейка:

— Великопоповицкое!

— А я думал, смиховское! — кричал издали сапёр Водичка.

— Там и девочки есть! — вопил Швейк.

— Так, значит, после войны в шесть часов вечера! — орал Водичка.

— Приходи лучше в половине седьмого, на случай если запоздаю! — ответил Швейк.

И ещё раз донёсся издалека голос Водички:

— А в шесть часов прийти не сможешь?!

— Ладно, приду в шесть! — услышал Водичка голос удаляющегося товарища.

Так разлучились бравый солдат Швейк и старый сапёр Водичка.

Wenn die Leute auseinander gehen,
Da sagen sie auf Wiedersehen.[141]

Глава V
ИЗ МОСТА-НА-ЛИТАВЕ В СОКАЛЬ

Поручик Лукаш в бешенстве ходил по канцелярии одиннадцатой маршевой роты. Это была тёмная дыра в ротном сарае, отгороженная от коридора только досками. В канцелярии стояли стол, два стула, бутыль с керосином и койка.

Перед Лукашем стоял старший писарь Ванек, который составлял в этом помещении ведомости на солдатское жалованье, вёл отчётность по солдатской кухне, — одним словом, был министром финансов всей роты. Он проводил тут целый божий день, здесь же и спал. У двери стоял толстый пехотинец, обросший бородой, как Крконош. Это был Балоун, новый денщик поручика, до военной службы мельник из-под Чешского Крумлова.

— Нечего сказать, нашли вы мне денщика, — обратился поручик Лукаш к старшему писарю, — большое вам спасибо за такой сюрприз! В первый день послал его за обедом в офицерскую кухню, а он по дороге сожрал половину.

— Виноват, я разлил, — сказал толстенный великан.

— Допустим, что так. Разлить можно суп или соус, но не франкфуртское жаркое. Ведь ты от жаркого принёс такой кусочек, что его за ноготь засунуть можно. Ну, а куда ты дел яблочный рулет?

— Я…

— Нечего врать. Ты его сожрал! Последнее слово поручик произнёс так строго и таким устрашающим тоном, что Балоун невольно отступил на два шага.

— Я справлялся в кухне, что у нас сегодня было на обед. Был суп с фрикадельками из печёнки. Куда ты девал фрикадельки? Повытаскивал их по дороге? Ясно как день. Затем была варёная говядина с огурцом. А с ней что ты сделал? Тоже сожрал. Два куска франкфуртского жаркого, а ты принёс только полкусочка! Ну? Два куска яблочного рулета. Куда они делись? Нажрался, паршивая, грязная свинья! Отвечай, куда дел яблочный рулет? Может, в грязь уронил? Ну, мерзавец! Покажи мне, где эта грязь. Ах, туда, как будто её звали, прибежала собака, нашла этот кусок и унесла?! Боже ты мой, Иисусе Христе! Я так набью тебе морду, что её разнесёт, как бочку! Эта грязная свинья осмеливается ещё врать! Знаешь, кто тебя видел? Старший писарь Ванек. Он сам пришёл ко мне и говорит:

«Осмелюсь доложить, господин поручик, этот сукин сын, Балоун, жрёт ваш обед. Смотрю я в окно, а он напихивает за обе щеки, будто целую неделю ничего не ел». Послушайте, старший писарь, неужто вы не могли найти для меня большей скотины, чем этот молодчик?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, из всей нашей маршевой роты Балоун показался мне самым порядочным солдатом. Это такая дубина, что до сих пор не может запомнить ни одного ружейного приёма, и дай ему винтовку, так он ещё бед натворит. На последней учебной стрельбе холостыми патронами он чуть-чуть не попал в глаз своему соседу. Я полагал, что по крайней мере эту службу он сможет исполнять.

— Каждый день сжирать обед своего офицера! — воскликнул Лукаш. — Как будто ему не хватает своей порции. Ну, теперь ты сыт, я полагаю?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я всегда голоден. Если у кого остаётся хлеб — я тут же выменяваю его на сигареты, и всё мне мало, такой уж я уродился. Ну, думаю, теперь уж я сыт — ан нет! Минуту спустя у меня в животе снова начинает урчать, будто и не ел вовсе, и, глядь, он, стерва, желудок то есть, опять даёт о себе знать. Иногда думаю, что уж взаправду хватит, больше в меня уж не влезет, так нет тебе! Как увижу, что кто-то ест, или почую соблазнительный запах, сразу в животе, точно его помелом вымели, опять он начинает заявлять о своих правах. Я тут готов хоть гвозди глотать! Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уж просил: нельзя ли мне получать двойную порцию. По этой причине я был в Будейовицах у полкового врача, а тот вместо двойной порции засадил меня на два дня в лазарет и прописал на целый день лишь чашку чистого бульона. «Я, говорит, покажу тебе, каналье, как быть голодным. Попробуй приди сюда ещё раз, так уйдёшь отсюда, как щепка». Я, господин обер-лейтенант, не только вкусных вещей равнодушно не могу видеть, но и простые до того раздражают мой аппетит, что слюнки текут. Осмелюсь почтительно просить вас, господин обер-лейтенант, распорядитесь, чтобы мне выдавали двойную порцию. Если мяса не будет, то хотя бы гарнир давали: картошку, кнедлики, немножко соуса, это ведь всегда остаётся.

— Довольно с меня твоих наглых выходок! — ответил поручик Лукаш. — Видали вы когда-нибудь, старший писарь, более нахального солдата, чем этот балбес: сожрал обед, да ещё хочет, чтобы ему выдавали двойную порцию. Этот обед ты запомнишь! Старший писарь, — обратился он к Ванеку, — отведите его к капралу Вейденгоферу, пусть тот покрепче

привяжет его на дворе около кухни на два часа, когда будут раздавать гуляш. Пусть привяжет повыше, чтобы он держался только на самых цыпочках и видел, как в котле варится гуляш. Да устройте так, чтобы подлец этот был привязан, когда будут раздавать гуляш, чтобы у него слюнки потекли, как у голодной суки, когда та околачивается у колбасной. Скажите повару, пусть раздаст его порцию.

— Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Идёмте, Балоун.

Когда они уже уходили, поручик задержал их в дверях и, глядя прямо в испуганное лицо Балоуна, победоносно провозгласил:

— Ну что? Добился своего? Приятного аппетита! А если ещё раз проделаешь со мной такую штуку, я тебя без всяких передам в военно-полевой суд!

Когда Ванек вернулся и объявил, что Балоун уже привязан, поручик Лукаш сказал:

— Вы меня, Ванек, знаете, я не люблю делать таких вещей, но я не могу поступить иначе. Во-первых, вы знаете, что когда у собаки отнимают кость, она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что Балоун привязан, имеет крупное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевый батальон и узнают, что их завтра или послезавтра отправят на позиции, делают что им вздумается. — Измученный поручик тихо продолжал: — Позавчера во время ночных манёвров мы должны были действовать против учебной команды вольноопределяющихся за сахарным заводом. Первый взвод, авангард, более или менее соблюдал тишину на шоссе, потому что я сам его вёл, но второй, который должен был свернуть налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вёл себя так, будто возвращался с загородной прогулки. Пели, стучали ногами так, что в лагере слышно было. Кроме того, на правом фланге на рекогносцировку местности около леса шёл третий взвод. От нас по крайней мере десять минут ходьбы а всё же ясно было видно, как эти мерзавцы курят: повсюду огненные точки. А четвёртый взвод, тот, который должен был быть арьергардом, чёрт знает каким образом вдруг появился перед нашим авангардом, так что его приняли за неприятеля, и мне пришлось отступать перед собственным арьергардом, наступавшим на меня. Вот какой досталась мне в наследство одиннадцатая маршевая рота. Что я из этой команды могу сделать! Как они будут вести себя во время настоящего боя?

При этих словах Лукаш молитвенно сложил руки и сделал мученическое лицо, а нос у него вытянулся.

— Вы на это, господин поручик, не обращайте внимания, — старался успокоить его старший писарь Ванек, — не ломайте себе голову. Я был уже в трёх маршевых ротах, и каждую из них вместе со всем батальоном расколотили, а нас отправляли на переформирование. Все эти маршевые роты были друг на друга похожи, и ни одна из них ни на волосок не была лучше вашей, господин обер-лейтенант. Хуже всех была девятая. Та потянула с собой в плен всех унтеров и ротного командира. Меня спасло только то, что я отправился в полковой обоз за ромом и вином и они проделали всё это без меня. А знаете ли вы, господин обер-лейтенант, что во время последних ночных манёвров, о которых вы изволили рассказывать, учебная команда вольноопределяющихся, которая должна была обойти нашу роту, заблудилась и попала к Нейзидлерскому озеру? Марширует себе до самого утра, а разведочные патрули — так те прямо влезли в болото. А вёл её сам господин капитан Сагнер. Они дошли бы до самого Шопроня, если б не рассвело! — сообщил конфиденциально старший писарь: ему нравилось смаковать подобные происшествия; ни одно из них не ускользнуло от его внимания. — Знаете ли вы, господин обер-лейтенант, — сказал он, доверительно подмигивая Лукашу, — что господин капитан Сагнер будет назначен командиром нашего маршевого батальона? По словам штабного фельдфебеля Гегнера, первоначально предполагалось, что командиром будете назначены вы, как самый старший из наших офицеров, а потом будто бы пришёл в бригаду приказ из дивизии о назначении капитана Сагнера…

Поручик Лукаш закусил губу и закурил сигарету.

Обо всём этом он уже знал и был убеждён, что с ним поступают несправедливо. Капитан Сагнер уже два раза обошёл его по службе. Однако Лукаш только проронил:

— Не в капитане Сагнере дело…

— Не очень-то мне это по душе, — интимно заметил старший писарь. — Рассказывал мне фельдфебель Гегнер, что в начале войны господин капитан Сагнер вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну роту за другой на сербские позиции под обстрел пулемётов, несмотря на то что это было совершенно гиблое дело и пехота там вообще ни черта не сделала бы, так как сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось только восемьдесят человек; сам капитан Сагнер был ранен в руку, потом в больнице заразился ещё дизентерией и только после этого появился у нас в полку в Будейовицах. А вчера он будто бы распространялся в собрании, что мечтает о фронте, готов потерять там весь маршевый батальон, но себя покажет и получит signum laudis.[142] За свою

деятельность на сербском фронте он получил фигу с маслом, но теперь или ляжет костьми со всем маршевым батальоном, или будет произведён в подполковники, а маршевому батальону придётся туго. Я так полагаю, господин обер-лейтенант, что этот риск и нас касается. Недавно фельдфебель Гегнер говорил, что вы очень не ладите с капитаном Сагнером и что он в первую очередь пошлёт в бой нашу одиннадцатую роту, в самые опасные места.

Старший писарь вздохнул.

— Мне думается, что в такой войне, как эта, когда столько войск и так растянута линия фронта, можно достичь успеха скорее хорошим маневрированием, чем отчаянными атаками. Я наблюдал это под Дуклою, когда был в десятой маршевой роте. Тогда всё сошло гладко, пришёл приказ «nicht schiessen!»,[143] мы и не стреляли, а ждали, пока русские к нам приблизятся. Мы бы их забрали в плен без единого выстрела, только тогда около нас на левом фланге стояли идиоты ополченцы, и они так испугались русских, что начали удирать под гору по снегу — прямо как по льду. Ну, мы получили приказ, где сообщалось, что русские прорвали левый фланг и что мы должны отойти к штабу бригады. Я тогда как раз находился в штабе бригады, куда принёс на подпись ротную продовольственную книгу, так как не мог разыскать наш полковой обоз. В это время в штаб стали прибегать поодиночке ребята из десятой маршевой роты. К вечеру их прибыло сто двадцать человек, а остальные, как говорили, заблудились во время отступления и съехали по снегу прямо к русским, вроде как на тобогане. Натерпелись мы там страху, господин обер-лейтенант! У русских в Карпатах были позиции и внизу и наверху… А потом, господин обер-лейтенант, капитан Сагнер…

— Оставьте вы меня в покое с капитаном Сагнером! — сказал поручик Лукаш. — Я сам всё это отлично знаю. Только не воображайте, пожалуйста, что, когда начнётся бой, вы опять случайно очутитесь где-нибудь в обозе и будете получать ром и вино. Меня предупредили, что вы пьёте горькую и стоит посмотреть на ваш красный нос, сразу видно, с кем имеешь дело.

— Это всё с Карпат, господин обер-лейтенант. Там поневоле приходилось пить: обед нам приносили на гору холодный, в окопах — снег, огонь разводить нельзя, нас только ром и поддерживал. И если б не я, с нами случилось бы, что и с другими маршевыми ротами, где не было рому и люди замерзали. Но зато у нас от рому покраснели носы, и это имело плохую сторону, так как из батальона пришёл приказ, чтобы на разведки посылать тех солдат, у которых носы красные.

— Теперь зима уже прошла, — многозначительно проронил

поручик. — Ром, как и вино, господин обер-лейтенант, на фронте незаменимы во всякое время года. Они, так сказать, поддерживают хорошее настроение. За полкотелка вина и четверть литра рому солдат сам пойдёт драться с кем угодно. И какая это скотина опять стучит в дверь, на дверях же написано «Nicht klopfen!»[144] — Herein![145]

Поручик Лукаш повернулся в кресле и увидел, что дверь медленно и тихо открывается. И так же тихо, приложив руку к козырьку, в канцелярию одиннадцатой маршевой роты вступил бравый солдат Швейк. Вероятно, он отдавал честь, ещё когда стучал в дверь и разглядывал надпись «Nicht klopfen!»

Швейк держал руку у козырька, и это очень шло к его бесконечно довольной, беспечной физиономии. Он выглядел, как греческий бог воровства, облачённый в скромную форму австрийского пехотинца.

Поручик Лукаш на мгновенье зажмурил глаза под ласковым взглядом бравого солдата Швейка. Наверно, с таким обожанием и нежностью глядел блудный, потерянный и вновь обретённый сын на своего отца, когда тот в его честь жарил на вертеле барана.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я опять здесь, — заговорил Швейк так просто и непринуждённо, что поручик Лукаш сразу пришёл в себя.

С того самого момента, когда полковник Шрёдер заявил, что опять посадит ему на шею Швейка, поручик Лукаш каждый день в мыслях отдалял момент свидания.

Каждое утро поручик убеждал себя: «Сегодня он не появится. Наверно, опять чего-нибудь натворил, его ещё там подержат».

Но все эти расчёты Швейк мило и просто разрушил одним своим появлением.

Швейк сначала бросил взгляд на старшего писаря Ванека и, обратившись к нему с приятной улыбкой, подал бумаги, которые вынул из кармана шинели.

— Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, выданные мне в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчёт моего жалованья и зачисления на довольствие.

В канцелярии одиннадцатой маршевой роты Швейк держался так естественно и свободно, как будто он с Ванеком был в самых приятельских отношениях. На его обращение старший писарь реагировал кратко:

— Положите их на стол.

— Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас одних, — сказал со вздохом поручик Лукаш.

Ванек ушёл и остался за дверью подслушивать, о чём они будут говорить.

Сначала он не слышал ничего. Швейк и поручик Лукаш молчали и долго глядели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, как петушок, стоящий перед курочкой и готовящийся на неё прыгнуть; он словно хотел его загипнотизировать.

Швейк, как всегда, отвечал поручику своим тёплым, приветливым и спокойным взглядом, как будто хотел ему сказать: «Опять мы вместе, душенька. Теперь нас ничто не разлучит, голубчик ты мой». Так как поручик долго не прерывал молчания, глаза Швейка говорили ему с трогательной нежностью: «Так скажи что-нибудь, золотой мой, вымолви хоть словечко!»

Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, в которые старался вложить изрядную долю иронии:

— Добро пожаловать, Швейк! Благодарю за визит. Наконец-то вы у нас, долгожданный гость.

Но он не сдержался, и вся злость, накопившаяся за последние дни, вылилась в страшном ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалованье. Одновременно с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, приблизившись вплотную к Швейку, заорал:

— Скотина!

Он метался взад и вперёд по узкой канцелярии и, оказываясь около Швейка, плевался.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, между тем как поручик Лукаш всё бегал по канцелярии и в исступлении бросал в угол скомканные листы бумаги, за которыми он то и дело подходил к столу, — письмо, стало быть, я отдал, как договорились. К счастью, мне удалось застать дома саму пани Каконь, и могу сказать, что это весьма интересная женщина, правда, я видел её в слезах…

Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом крикнул:

— Когда же этому придёт конец, Швейк?

Швейк, сделав вид, что недослышал, ответил:

— Потом со мной вышла маленькая неприятность, но я взял всё на себя. Правда, мне не поверили, что я переписываюсь с этой пани, и, для того чтобы замести следы, я во время допроса проглотил письмо. Потом по чистой случайности — иначе это никак не объяснить! — я вмешался в небольшую потасовку, но благополучно вывернулся. Невинность моя была признана, меня послали на полковой рапорт, но в дивизионном суде

следствие прекратили. В полковой канцелярии я ждал всего несколько минут, пока не пришёл полковник, который выругал меня слегка и сказал, что я должен немедленно, господин обер-лейтенант, явиться к вам с рапортом о вступлении в должность ординарца. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить вам, чтобы вы немедленно пришли к нему по делам маршевой роты. С тех пор прошло больше получаса. Но ведь господин полковник не знал, что меня ещё потянут в полковую канцелярию и что я там просижу больше пятнадцати минут. А сидел я там потому, что мне задержали жалованье, которое должны были выдать не в роте, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там всё так перемешали и перепутали, что прямо обалдеть можно.

Услышав, что ещё полчаса тому назад он должен был быть у полковника Шрёдера, поручик стал быстро одеваться.

— Опять удружили вы мне, Швейк! — произнёс он голосом, полным такого безнадёжного отчаяния, что Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед вихрем вылетевшему поручику:

— Ничего, господин полковник подождёт, ему всё равно нечего делать.

Минуту спустя после ухода поручика в канцелярию вошёл старший писарь Ванек.

Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку уголь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал развлекаться, не обращая внимания на Ванека, который остановился и несколько минут наблюдал за ним, но наконец не выдержал, захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтобы тот убирался отсюда.

— Господин старший писарь, — с достоинством произнёс Швейк, — позвольте вам заявить, что ваш приказ убраться отсюда и вообще из лагеря при всём моём желании исполнить не могу, так как подчиняюсь приказанию высшей инстанции. Ведь я здесь ординарец, — гордо добавил Швейк. — Господин полковник Шрёдер прикомандировал меня к одиннадцатой маршевой роте, к господину обер-лейтенанту, у которого я был прежде денщиком, но благодаря моей врождённой интеллигентности я получил повышение и стал ординарцем. Мы с господином обер-лейтенантом старые знакомые. А кем вы, господин старший писарь, были в мирное время?

Полковой писарь Ванек был настолько обескуражен фамильярным, панибратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своём чине, которым очень любил козырнуть перед солдатами своей роты, ответил так, будто был подчинённым Швейка:

— У меня аптекарский магазин в Кралупах. Фамилия моя Ванек.

— Я тоже учился аптекарскому делу, — ответил Швейк, — в Праге, у папа Кокошки на Петршине. Он был ужасный чудак, и когда я как-то нечаянно запалил бочку с бензином и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали, так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться. А вы тоже готовили целебные травы для коров?

Ванек отрицательно покачал головой.

— Мы приготовляли целебные травы для коров вместе с освящёнными образочками. Наш хозяин Кокошка был исключительно набожным человеком и вычитал как-то, что святой Пилигрим исцелял скот от раздутия брюха. Так, по его заказу на Смихове напечатали образки святого Пилигрима, и он отнёс их в Эмаузский монастырь, где их освятили за двести золотых, а потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Эти целебные травы размешивали в тёплой воде и давали корове пить из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому Пилигриму, которую сочинил наш приказчик Таухен. Дело было так. Когда эти образки святого Пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот вечером наш старик Кокошка позвал Таухена и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образкам и целебным травам, чтобы завтра в десять часов, когда он придёт в лавку, всё было готово к отправке в типографию: коровы уже ждут этой молитвы. Одно из двух: если сочинит хорошую — он ему гульден на бочку выложит, нет — через две недели получит расчёт. Пан Таухен целую ночь потел, утром, не выспавшись, пришёл открывать лавку, а у него ничего ещё не было написано. Мало того: он даже забыл, как зовут святого по этим целебным травам. Выручил его из беды слуга Фердинанд. Тот на все руки был мастер. Когда мы на чердаке сушили на чай ромашку, так он, бывало, разуется и влезет в эту самую ромашку ногами. Он говорил нам, что от этого ноги перестают потеть. Умел он ловить голубей на чердаке, умел открывать конторку с деньгами и ещё обучал нас другим способам подрабатывать. И у меня, мальчишки, дома была такая аптека, — я её из лавки в дом к себе натаскал, — какой не было и «У милосердных». Так вот, тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. «Позвольте, говорит, взглянуть». Пан Таухен немедленно послал меня за пивом для него. Не успел я ещё принести пива, а уж у Фердинанда половина дела была сделана, и он прочёл нам:

Голос с неба раздаётся,
Утихает суета:

У Кокотки продаётся
Чудо-корень для скота!
Исцелит сей корешочек
(Только гульден за мешочек!)
И теляток и коров
Безо всяких докторов.

Потом, когда Фердинанд выпил пива и основательно нализался желудочных капель на спирту, дело пошло быстро, и он в одно мгновение прекрасно закончил:

Этот корень нашёл сам святой Пилигрим.
И за это ему мы хвалу воздадим:
Ты крестьянам — утеха, коровам — отрада,
Сохрани и спаси наше бедное стадо!

Затем, когда пришёл пан Кокошка, пан Таухен пошёл с ним в контору, а выйдя оттуда, показал нам два золотых, а не один, как ему было обещано. Он хотел разделить их пополам с паном Фердинандом, но слугу Фердинанда, когда тот увидел эти два золотых, сразу обуял бес корыстолюбия: «Или всё, или ничего!» Ну, тогда пан Таухен ему ничего не дал, а оставил эти два золотых себе.

Потом привёл меня в магазин, дал мне подзатыльник и сказал, что я получу сто таких подзатыльников, если когда-нибудь осмелюсь сказать, что сочинил не он. А если Фердинанд пойдёт жаловаться к нашему хозяину, то я должен сказать, что слуга Фердинанд лгун. Мне пришлось в этом присягнуть перед бутылкой с эстрагоновым уксусом. Ну, а наш слуга принялся вымещать свою злобу на целебной траве для коров. Смешивали мы эти травы в больших ящиках на чердаке, а он отовсюду, где только находил, сметал мышиное дерьмо, приносил его и примешивал к этой целебной траве. Потом собирал на улице конские катышки, сушил их дома, толок в ступке для кореньев и тоже подбрасывал в коровьи целебные травы с образом святого Пилигрима. Но и на этом он не успокоился. Он мочился в эти ящики, испражнялся в них, а потом всё это размешивал. Выходило вроде каши с отрубями…

Раздался телефонный звонок. Старший писарь подбежал к телефонному аппарату и с отвращением отбросил трубку.

— Надо идти в полковую канцелярию. Так внезапно… Это что-то мне не нравится.

Швейк опять остался один.

Через минуту снова раздался звонок.

Швейк начал телефонный разговор:

— Ванек?.. Он ушёл в полковую канцелярию. Кто у телефона?.. Ординарец одиннадцатой маршевой роты. А кто там у телефона?.. Ординарец двенадцатой роты? Моё почтение, коллега. Моя фамилия?.. Швейк. А твоя? Браун! Это не твой ли родственник Браун на Набережной улице в Карлине, шляпочник? Нет? Не знаешь такого… Я тоже с ним незнаком. Я как-то проезжал на трамвае мимо, и его вывеска мне бросилась в глаза. Что новенького?.. Я ничего не знаю. Когда едем? Я ещё ни с кем об отъезде не говорил. А куда мы должны ехать?

— Вот олух! С ротой на фронт.

— Об этом я ещё ничего не слышал.

— Нечего сказать — хорош ординарец! А что твой лейтенант?

— Не лейтенант, а обер-лейтенант.

— Это одно и то же. Твой обер-лейтенант пошёл на совещание к полковнику?

— Он его туда позвал.

— Ну вот видишь: и наш туда пошёл и командир тринадцатой роты тоже. Я только что говорил с ихним ординарцем по телефону. Не нравится мне что-то эта спешка.

— А не знаешь, музыкантская команда укладывается?

— Ничего не знаю.

— Не валяй дурака! Говорят, ваш старший писарь уже получил накладную на вагоны. Правда ведь? Сколько у вас солдат?

— Не знаю.

— Эх ты, глупая башка, что, я съем тебя, что ли? (Было слышно, как говоривший у телефона обратился к кому-то поблизости: «Франта, возьми вторую трубку, услышишь, какой в одиннадцатой роте дурак ординарец».) Алло! Спишь ты там, что ли? Так отвечай, когда тебя коллега спрашивает. Значит, ты ещё ничего не знаешь? Не скрытничай. Разве старший писарь не говорил, что вам будут выдавать консервы? Ты с ним о таких вещах не говоришь? Вот дубина! Тебя это не касается? (Слышен смех.) Тебя словно мешком по голове ударили. Ну, как только что-нибудь узнаешь, ты нам сейчас же позвони в двенадцатую маршевую роту, дурачок родимый! Откуда ты?

— Из Праги.

— Ты бы должен быть чуточку поумнее. Да вот ещё. Когда ушёл из канцелярии ваш старший писарь?

— Только что.

— Вот оно как. А раньше-то не мог мне об этом сказать! Наш тоже только что ушёл. Там что-то заваривается. С обозом не говорил ещё?

— Нет.

— Господи Иисусе Христе! А говоришь — из Праги! Ни о чём не заботишься! И где только ты шляешься целый день?

— Я только с час тому назад пришёл из дивизионного суда.

— Это другой коленкор, товарищ. Нынче же забегу на тебя посмотреть! Давай отбой два раза.

Швейк собрался было закурить трубку, как опять раздался телефонный звонок. «Ну вас к чёрту с вашим телефоном, — подумал Швейк, — стану я с вами трепаться».

Но телефон продолжал звонить неумолимо. У Швейка наконец лопнуло терпение, он взял телефонную трубку и заорал:

— Алло! Кто у телефона? Здесь ординарец одиннадцатой маршевой роты Швейк.

Швейк узнал голос поручика Лукаша.

— Что вы все там делаете? Где Ванек? Немедленно позовите к телефону Ванека!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, телефон только что зазвонил.

— Послушайте, Швейк, мне некогда с вами дурака валять! Телефонные разговоры на военной службе — это вам не телефонная болтовня, когда кого-нибудь зовут на обед. Телефонный разговор должен быть ясен и краток. При телефонных разговорах отбрасывается «осмелюсь доложить», «обер-лейтенант». Итак, я вас спрашиваю, Швейк, Ванек там? Пусть немедленно подойдёт к телефону.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, под рукой его нет. Его только что, может, и четверти часа не будет, из нашей канцелярии вызвали в полковую канцелярию.

— Вот я с вами расправлюсь! Не можете вы выражаться кратко? Слушайте внимательно, что я сейчас буду говорить! Всё ясно? Чтобы вы потом не отговаривались, будто в телефоне что-то хрипело. Немедленно, как только повесите трубку…

Пауза.

Снова звонок.

Швейк берёт телефонную трубку, и его осыпают градом ругательств.

— Скотина, хулиган, мерзавец! Что вы делаете? Почему прервали разговор?

— Вы изволили сказать, чтобы я повесил трубку.

— Через час я вернусь домой. Не обрадуетесь вы у меня! Немедленно собирайтесь и отправляйтесь в барак, найдите там какого-нибудь взводного, хотя бы Фукса, и скажите ему, чтобы он сейчас же взял десять солдат и шёл с ними на склад получать консервы. Повторите, что он должен сделать.

— Идти с десятью солдатами на склад получать консервы для роты.

— Наконец-то вы не валяете дурака. Я пока что позвоню Ванеку в полковую канцелярию, чтобы он тоже шёл на склад принять консервы. Если же он тем временем вернётся в барак, пусть бросает всё и бежит на склад. А теперь повесьте трубку.

Швейк довольно долго и тщетно искал взводного Фукса и других унтеров. Они все торчали около кухни, обгладывали мясо с костей и потешались над привязанным Балоуном, который, правда, всей ступнёй стоял на земле: его пожалели. Зрелище было презанятное. Один из поваров принёс Балоуну ребро и сунул ему прямо в рот. Привязанный бородатый великан Балоун не имел возможности действовать руками, осторожно переворачивал кость во рту, удерживая её с помощью зубов и дёсен. Словно леший.

— Кто здесь из вас взводный Фукс? — спросил Швейк, найдя наконец унтеров.

Взводный Фукс не счёл нужным отозваться, увидев, что его спрашивает какой-то рядовой пехотинец.

— Ясно говорят вам, — крикнул Швейк, — долго я ещё буду вас спрашивать?! Где здесь взводный Фукс?

Взводный Фукс выступил вперёд и с достоинством начал всячески изводить Швейка: он-де не взводный, а господин взводный, и нельзя орать: «Где взводный?», а следует обращаться: «Осмелюсь доложить, здесь ли находится господин взводный?» В его взводе, если кто забудет сказать: «Ich melde gehorsam»[146] — немедленно получает в морду.

— Осторожней на повороте! — рассудительно предостерёг Швейк. — Немедленно собирайтесь, идите в барак, возьмите там десять человек и бегом марш вместе с ними на склад получать консервы.

Взводный был так ошеломлён, что смог выговорить только:

— Чего?..

— Без всяких там «чего», — ответил Швейк. — Я ординарец одиннадцатой маршевой роты и только что разговаривал по телефону с

господином обер-лейтенантом Лукашем, и тот приказал: «Бегом марш с десятью рядовыми на склад». Если вы не пойдёте, господин взводный Фукс, так я немедленно вернусь обратно к телефону. Господин обер-лейтенант требует во что бы то ни стало, чтобы вы шли. Не может быть никаких разговоров! «Телефонный разговор, — говорит поручик Лукаш, — должен быть ясен и краток». Если сказано идти взводному Фуксу, то взводный Фукс должен идти! Такой приказ — вам не какая-то там болтовня, когда кого-нибудь к обеду зовут. На военной службе, особенно во время войны, каждое промедление — преступление. «Если этот самый взводный Фукс сию же минуту не пойдёт, как только вы ему об этом объявите, так вы мне немедленно телефонируйте, и я с ним разделаюсь! От взводного Фукса останется только мокрое место!» Плохо вы, милейший, знаете господина обер-лейтенанта!

Швейк победоносно оглядел унтер-офицеров, которые были поражены и уничтожены его выступлением.

Взводный Фукс пробурчал что-то невразумительнее и быстро ушёл. Швейк закричал ему вдогонку:

— Так можно позвонить господину обер-лейтенанту, что всё в порядке?

— Немедленно буду с десятью солдатами на складе, — ответил взводный Фукс, уже подойдя к бараку.

А Швейк, не произнеся ни слова, ушёл, оставив унтер-офицеров, ошеломлённых не меньше, чем взводный Фукс.

— Начинается! — сказал низенький капрал Блажек. — Начнём паковаться.

*

Швейк вернулся в канцелярию одиннадцатой маршевой роты. Не успел он раскурить трубку, как раздался телефонный звонок. Со Швейком снова заговорил поручик Лукаш.

— Где вы шляетесь, Швейк? Звоню уже третий раз, и никто не отзывается.

— Разыскивал, господин обер-лейтенант.

— Что, уже пошли?

— Конечно, пошли, но ещё не знаю, пришли ли они туда. Может быть, ещё раз сбегать?

— Вы нашли взводного Фукса?

— Нашёл, господин обер-лейтенант. Вначале он мне сказал «чего?», и только когда я ему объяснил, что телефонный разговор должен быть краток и ясен…

— Не дурачьтесь, Швейк!.. Ванек ещё не вернулся?

— Не вернулся, господин обер-лейтенант.

— Да не орите вы так в трубку! Не знаете, где теперь может быть этот проклятый Ванек?

— Не знаю, господин обер-лейтенант, где может быть этот проклятый Ванек.

— Он был в полковой канцелярии, но куда-то ушёл. Может, в кантине?.. Отправляйтесь к нему, Швейк, и передайте, чтобы он немедленно шёл на склад. Да вот ещё что; найдите немедленно капрала Блажека и скажите, чтобы он тотчас же отвязал Балоуна, и пошлите Балоуна ко мне. Повесьте трубку.

Швейк действительно принялся хлопотать, нашёл капрала Блажека и передал ему приказание поручика отвязать Балоуна. Капрал Блажек заворчал:

— Когда туго приходится, робеть начинают!

Швейк пошёл посмотреть, как будут отвязывать Балоуна, а потом проводил его, так как это было по дороге к кантине, где Швейк должен был разыскать старшего писаря Ванека.

Балоун смотрел на Швейка, как на своего спасителя, и обещал ему, что будет делиться с ним всеми посылками, которые получит из дому.

— У нас скоро будут резать свинью, — меланхолически сказал Балоун. — Ты какую свиную колбасу любишь: с кровью или без крови? Скажи, не стесняйся, я сегодня вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно сто пятьдесят кило. Голова у ней, как у бульдога, а такие свиньи — самые лучшие. С такими свиньями в убытке не останешься. Такая порода, брат, не подведёт! Сала на ней — пальцев на восемь. Дома я сам делал ливерную колбасу. Так, бывало, налопаешься фаршу, что чуть не лопнешь. Прошлогодняя свинья была на сто шестьдесят кило. Вот это свинья так свинья! — с восторгом сказал он на прощанье, крепко пожимая руку Швейку. — А выкормил я её на одной картошке и сам диву давался, как она у меня быстро жирела. Кусок поджаренной ветчинки, полежавшей в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой!.. Пальчики оближешь! После этого и пивко пьётся с удовольствием!.. Что ещё нужно человеку? И всё это у нас отняла война.

Бородатый Балоун тяжело вздохнул и пошёл в полковую канцелярию, а Швейк отправился по старой липовой аллее к кантине.

Старший писарь Ванек с блаженным видом сидел в кантине и разъяснял знакомому штабному писарю, сколько можно было заработать перед войной на эмалевых и клеевых красках.

Штабной писарь был вдребезги пьян. Днём приехал один богатый помещик из Пардубиц, сын которого был в лагерях, дал ему хорошую взятку и всё утро до обеда угощал его в городе.

Теперь штабной писарь сидел в полном отчаянии оттого, что у него пропал аппетит, не соображал, о чём идёт речь, а на трактат об эмалевых красках и вовсе не реагировал.

Он был занят собственными размышлениями и ворчал себе под нос, что железнодорожная ветка должна была бы идти из Тршебони в Пельгржимов, а потом обратно.

Когда вошёл Швейк, Ванек попытался ещё раз в цифрах объяснить штабному писарю, сколько зарабатывали на одном килограмме строительной краски, на что штабной писарь ни с того ни с сего ответил:

— На обратном пути он умер, оставив после себя только письма.

Швейка он, очевидно, принял за какого-то неприятного ему человека и начал обзывать его чревовещателем.

Швейк подошёл к Ванеку, который тоже хватил изрядно, но при этом был приветлив и мил.

— Господин старший писарь, — отрапортовал ему Швейк, — немедленно идите на склад, там вас уже ждёт взводный Фукс с десятью рядовыми, и получайте консервы. Ноги в руки, бегом — марш! Господин обер-лейтенант телефонировал уже дважды.

Ванек рассмеялся:

— Деточка моя, что я, идиот? Ведь за это мне пришлось бы самого себя изругать, ангел ты мой! Времени на всё хватит. Над нами ведь не каплет, золотце моё! Пусть сперва обер-лейтенант Лукаш отправит маршевых рот столько же, сколько я, а тогда и разговаривает; небось тогда он ни к кому не будет зря приставать со своим «бегом марш!». Я уже получил приказ в полковой канцелярии, что завтра поедем, надо укладываться и немедленно получать на дорогу провиант. А ты думаешь, что сделал я? Я самым спокойным манером зашёл сюда выпить четвертинку вина. Сидится мне здесь спокойно, и пусть всё идёт своим чередом. Консервы останутся консервами, выдача — выдачей. Я знаю склад лучше, чем господин обер-лейтенант. Я разбираюсь в том, что говорится на совещаниях господ офицеров у господина полковника. Ведь это только господину полковнику чудится, будто на складе имеются консервы. Склад нашего полка никогда никаких запасов консервов не имел,

и доставали мы их от случая к случаю в бригаде или одалживали в других полках, с которыми оказывались поблизости. Одному только Бенешовскому полку мы должны больше трёхсот банок консервов. Хе, хе! Пусть на совещаниях они говорят что им вздумается. Куда спешить? Ведь всё равно, когда наши придут туда, каптенармус скажет им, что они с ума спятили. Ни одна маршевая рота не получила на дорогу консервов. Так, что ли, старая картошка? — обратился он к штабному писарю.

Тот, очевидно, засыпал, или с ним случился небольшой припадок белой горячки, только он ответил:

— Она шла, держа над собой раскрытый зонт.

— Самое лучшее, — продолжал старший писарь Ванек, — махнуть на всё рукой. Если сегодня в полковой канцелярии сказали, что завтра трогаемся, — этому и малый ребёнок не поверит. Разве мы можем уехать без вагонов? При мне ещё звонили на вокзал. Там нет ни одного свободного вагона, точь-в-точь как с последней маршевой ротой. Сидели мы тогда два дня на вокзале и ждали, пока над нами кто-нибудь смилуется и пошлёт за нами поезд. А потом мы не знали, куда поедем. Даже сам полковник ничего не знал. Мы уж всю Венгрию проехали, всё ещё никто не знал: поедем мы на Сербию или на Россию. На каждой станции говорили по прямому проводу со штабом дивизии. А были мы просто какой-то заплатой. Пришили нас наконец где-то у Дуклы. Там нас разбили наголову, и мы снова поехали формироваться. Только не торопиться! Со временем всё выяснится, а пока нечего спешить. Jawohl, noch einmal![147] Вино у них здесь замечательное, — продолжал Ванек, не слушая, как бормочет про себя штабной писарь:

— Glauben Sie mir, ichhabe bisher wenig von memem Leben gehabt. Ich wundere mich liber diese Frage.[148]

— Чего же попусту беспокоиться об отъезде маршевого батальона? У первой маршевой роты, с которой я ехал, всё было готово за два часа, и всё оказалось в полном порядке. Другие роты тогдашнего нашего маршевого батальона готовились в дорогу целых два дня, а наш ротный командир, лейтенант Пршеносил (франт такой был), нам прямо сказал: «Ребята, не спешите!» — и всё шло как по маслу. Только за два часа перед отходом поезда мы начали укладываться. Самое лучшее — подсаживайтесь…

— Не могу, — с геройской самоотверженностью ответил бравый солдат Швейк. — Я должен идти в канцелярию. Что, если кто-нибудь позвонит?

— Ну, так идите, моё золотце. Но только запомните раз навсегда, что

это некрасиво с вашей стороны и что настоящий ординарец никогда не должен быть там, где он нужен. Никогда не относитесь столь рьяно к своим обязанностям. Поверьте, душка, нет ничего хуже суетливого ординарца, который хотел бы всю войну взвалить на себя. Так-то, душенька.

Но Швейк был уже за дверью, он спешил в канцелярию своей маршевой роты.

Ванек остался в одиночестве — никак нельзя было сказать, чтобы штабной писарь составлял ему компанию. Последний совершенно ушёл в себя и бормотал, умилённо гладя четвертинку вина, самые удивительные вещи без всякой связи между собой, то по-чешски, то по-немецки.

— Я много раз проходил по этой деревне, но и понятия не имел о том, что она существует на свете. In einern halben Jahre habe ich meine Staatsprufung hinter mir und meinen Doktor gemacht.[149] Я стал старым калекой. Благодарю вас, Люси. Erscheinen sie in schon ausgestatteten Banden[150] — может быть, найдётся среди вас кто-нибудь, кто помнит это?

Старший писарь от скуки стал выстукивать какой-то марш, но долго скучать ему не пришлось: дверь отворилась, вошёл повар Юрайда с офицерской кухни и плюхнулся на стул.

— Нам сегодня дали приказ, — залопотал он, — получить на дорогу коньяк. Но в нашей бутыли ещё оставался ром, и нам пришлось её опорожнить. Здорово пришлось-таки приналечь! Вся кухонная прислуга — в лёжку! Я обсчитался на несколько порций. Полковник опоздал, и ему не хватило. Поэтому ему теперь делают омлет. Вот, я вам скажу, комедия!

— Занятная авантюра, — заметил Ванек, который за вином всегда любил вставить красивенькое словцо.

Повар Юрайда принялся философствовать, что отвечало его бывшей профессии. Перед войной он издавал оккультный журнал и серию книг под названием «Загадки жизни и смерти». На военной службе он примазался к полковой офицерской кухне, и, когда, бывало, увлечётся чтением древнеиндийских сутр Прагна Парамита («Откровения мудрости»), у него частенько подгорало жаркое.

Полковник Шрёдер ценил его как полковую достопримечательность. Действительно, какая офицерская кухня могла бы похвалиться поваром-оккультистом, который, заглядывая в тайны жизни и смерти, удивлял всех таким филе в сметане или рагу, что смертельно раненный под Комаровом подпоручик Дуфек всё время звал Юрайду.

— Да, — сказал ни с того ни с сего еле державшийся на стуле Юрайда: от него на десять шагов разило ромом. — Когда сегодня не хватило на

господина полковника и когда он увидел, что осталась только тушёная картошка, он впал в состояние гаки. Знаете, что такое «гаки»? Это состояние голодных духов. И вот тогда я ему сказал: «Обладаете ли вы достаточной силой, господин полковник, чтобы устоять перед роковым предначертанием судьбы, а именно: выдержать то, что на вашу долю не хватило телячьей почки? В карме предопределено, чтобы вы, господин полковник, сегодня на ужин получили божественный омлет с рубленой тушёной телячьей печёнкой».

— Милый друг, — после небольшой паузы обратился он вполголоса к старшему писарю, сделав при этом непроизвольный жест рукой и опрокинув все стоявшие перед ним на столе стаканы, — существует небытие всех явлений, форм и вещей, — мрачно произнёс после всего содеянного повар-оккультист. — Форма есть небытие, а небытие есть форма. Небытие неотделимо от формы, форма неотделима от небытия. То, что является небытием, является и формой, то, что есть форма, есть небытие.

Повар-оккультист погрузился в молчание, подпёр рукой голову и стал созерцать мокрый, облитый вином стол.

Штабной писарь продолжал мычать что-то, не имевшее ни начала, ни конца:

— Хлеб исчез с полей, исчез — in dieser Stimmung erhielt erEinladungund ging zu ihr,[151] праздник троицы бывает весной.

Старший писарь Ванек продолжал барабанить по столу, пил и время от времени вспоминал, что у продовольственного склада его ждут десять солдат во главе со взводным.

При этом воспоминании он улыбался и махал рукой.

Вернувшись поздно в канцелярию одиннадцатой маршевой роты, он нашёл Швейка у телефона.

— Форма есть небытие, а небытие есть форма, — произнёс он с трудом, завалился одетый на койку и сразу уснул.

Швейк неотлучно сидел у телефона, так как два часа назад поручик Лукаш по телефону сообщил ему, что он всё ещё на совещании у господина полковника, но сказать, что Швейк может отойти от телефона, забыл.

Потом со Швейком по телефону говорил взводный Фукс, который вместе с десятью рядовыми напрасно всё это время ждал старшего писаря. И только теперь разглядел, что склад заперт.

Наконец Фукс ушёл куда-то, и десять рядовых один за другим вернулись в свой барак.

Время от времени Швейк развлекался тем, что снимал телефонную

трубку и слушал. Телефон был новейшей системы, недавно введённой в армии, и обладал тем преимуществом, что можно было вполне отчётливо слышать чужие телефонные разговоры по всей линии.

Обоз переругивался с артиллерийскими казармами, сапёры угрожали военной почте, полигон ругал пулемётную команду.

А Швейк, не вставая, всё сидел да сидел у телефона…

Совещание у полковника продолжалось. Полковник Шрёдер развивал новейшую теорию полевой службы и особенно подчёркивал значение гранатомётчиков.

Перескакивая с пятого на десятое, он говорил о расположении фронта два месяца тому назад на юге и на востоке, о важности тесной связи между отдельными частями, об удушливых газах, о стрельбе по неприятельским аэропланам, о снабжении солдат на фронте и потом перешёл к внутренним взаимоотношениям в армии.

Он разговорился об отношении офицеров к нижним чинам, нижних чинов к унтер-офицерам, о перебежчиках во вражеский стан, о политических событиях и о том, что пятьдесят процентов чешских солдат politisch verdachtig.[152]

— Jawohl, meine Herren der Kramarsch, Scheiner und Klofatsch…[153]

Офицеры в своём большинстве во время доклада думали о том, когда наконец старый пустомеля перестанет нести эту белиберду, но полковник продолжал городить всякий вздор о новых задачах новых маршевых батальонов, о павших в бою офицерах полка, о цеппелинах, проволочных заграждениях, присяге…

Тут поручик Лукаш вспомнил, что в то время, когда весь маршевый батальон присягал, бравый солдат Швейк к присяге приведён не был, так как в те дни сидел в дивизионном суде.

При этом воспоминании он вдруг рассмеялся.

Это было что-то вроде истерического смеха, которым он заразил нескольких офицеров, сидевших рядом. Его смех привлёк внимание полковника, только что заговорившего об опыте, приобретённом при отступлении германских армий в Арденнах. Смешав всё это в одну кучу, полковник закончил:

— Господа, здесь нет ничего смешного.

Потом все отправились в Офицерское собрание, так как полковника Шрёдера вызвал к телефону штаб бригады.

Швейк дремал у телефона, когда его вдруг разбудил звонок.

— Алло! — послышалось в телефоне. — У телефона Regimentskanzlei.

— Алло! — ответил Швейк. — Здесь канцелярия одиннадцатой роты.

— Не задерживай, — послышался голос, — возьми карандаш и пиши. Прими телефонограмму, — Одиннадцатой маршевой роте…

Затем последовали одна за другой какие-то странные фразы, так как одновременно говорили двенадцатая и тринадцатая маршевые роты, и телефонограмма совершенно растворилась в этом хаосе звуков. Швейк не мог понять ни слова. Наконец всё утихло и Швейк разобрал:

— Алло! Алло! Повтори и не задерживай!

— Что повторить?

— Что повторить, дубина! Телефонограмму!

— Какую телефонограмму?

— Чёрт побери! Глухой ты, что ли? Телефонограм которую я продиктовал тебе, балбес!

— Я ничего не слышал, здесь ещё кто-то вмешался в наш разговор.

— Осёл ты, и больше ничего! Ты что думаешь, я с тобой валять дурака буду? Примешь ты телефонограмму или нет? Есть у тебя карандаш и бумага? Что?.. Нет?.. Скотина! Мне ждать, пока ты найдёшь? Ну и солдаты пошли!.. Ну, так как же? Может, ты ещё не подготовился? Наконец-то раскачался! Так слушай: 11. Marschkumpanie.[154] Повтори!

— 11. Marschkumpanie.

— Kumpaniekommandant..[155] Есть?.. Повтори!

— Kumpaniekommandant…

— Zur Besprechung morgen..[156] Готов? Повтори!

— Zur Besprechung morgen…

— Um neun Uhr — Unterschrift.[157] Понимаешь, что такое Unterschrift, обезьяна? Это подпись! Повтори это!

— Um neun Uhr — Unterschrift. Понимаешь… что… такое Unterschrift, обезьяна, это — подпись.

— Дурак! Подпись: Oberst Schroder,[158] скотина! Есть? Повтори!

— Oberst Schroder, скотина…

— Наконец-то, дубина! Кто принял телефонограмму?

— Я.

— Himmelherrgott![159] Кто это — «я»?

— Швейк. Что ещё?

— Слава богу, больше ничего. Тебя надо было назвать «Ослов». Что у вас там нового?

— Ничего нет. Всё по-старому.

— Тебе небось всё нравится? Говорят, у вас сегодня кого-то

привязывали?

— Всего-навсего денщика господина обер-лейтенанта он у него обед слопал. Не знаешь, когда мы едем?

— Это, брат, вопрос!.. Старик и тот этого не знает. Спокойной ночи! Блох у вас там много?

Швейк положил трубку и принялся будить старшего писаря Ванека, который отчаянно сопротивлялся; когда же Швейк начал его трясти, писарь заехал ему в нос. Потом перевернулся на живот и стал брыкаться.

Всё-таки Швейку удалось его разбудить и писарь, протирая глаза, повернулся к нему лицом и испуганно спросил:

— Что случилось?

— Ничего особенного, — ответил Швейк, — я хотел с вами посоветоваться. Только что мы получили телефонограмму: завтра в девять часов господин обер-лейтенант Лукаш должен явиться на совещание к господину полковнику. Я не знаю, как мне поступить. Должен ли я пойти передать ему это сейчас, немедленно, или завтра утром. Я долго колебался: стоит мне вас будить или не стоит, ведь вы так славно храпели… А потом решил, куда ни шло: ум хорошо, два лучше…

— Ради бога, прошу вас, не мешайте спать, — завопил Ванек, зевая во весь рот, — отправляйтесь туда утром и не будите меня!

Он повернулся на бок и тотчас заснул.

Швейк опять сел около телефона и, положив голову на стол, задремал. Его разбудил телефонный звонок.

— Алло! Одиннадцатая маршевая рота?

— Да, одиннадцатая маршевая рота. Кто там?

— Тринадцатая маршевая рота. Алло! Который час? Я никак не могу созвониться с телефонной станцией. Что-то долго не идут меня сменять.

— У нас часы стоят.

— Значит, как и у нас. Не знаешь, когда трогаемся? Ты не говорил с полковой канцелярией?

— Там ни хрена не знают, как и мы.

— Не грубите, барышня! Вы уже получили консервы? От нас туда ходили и ничего не принесли. Склад был закрыт.

— Наши тоже пришли с пустыми руками.

— Зря только панику подымают. Как думаешь, куда мы поедем?

— В Россию.

— А я думаю, что, скорее, в Сербию. Посмотрим, когда будем в Будапеште. Если нас повезут направо — так Сербия, а налево — Россия. У вас уже есть вещевые мешки? Говорят, жалованье повысят. А ты играешь в

три листика? Играешь — так приходи завтра. Мы наяриваем каждый вечер. Сколько вас сидит у телефона? Один? Так наплюй на всё и ступай дрыхать. Странные у вас порядки! Ты небось попал как кур во щи. Ну, наконец-то меня пришли сменять. Дрыхни на здоровье!

Швейк и в самом деле сладко уснул у телефона, забыв повесить трубку, так что никто не мог потревожить его сна. А телефонист в полковой канцелярии всю ночь чертыхался: ему никак не удавалось дозвониться до одиннадцатой маршевой роты и передать новую телефонограмму о том, что завтра до двенадцати часов дня в полковую канцелярию должен быть представлен список солдат, которым ещё не сделана противотифозная прививка.

Поручик Лукаш всё ещё сидел в Офицерском собрании с военным врачом Шанцлером, который, усевшись верхом на стул, размеренно стучал бильярдным кием об пол и произносил при этом следующие фразы:

«Сарацинский султан Салах-Эддин первый признал нейтральность санитарного персонала.

Следует подавать помощь раненым вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат.

Каждая сторона должна покрыть расходы за лекарство и лечение другой стороне. Следует разрешить посылать врачей и фельдшеров с генеральскими удостоверениями для оказания помощи раненым врагам.

Точно так же попавших в плен раненых следует под охраною и поручительством генералов отсылать назад или же обменивать. Потом они могут продолжать службу в строю.

Больных с обеих сторон не разрешается ни брать в плен, ни убивать, их следует отправлять в безопасные места, в госпитали.

Разрешается оставить при них стражу, которая, как и больные, должна вернуться с генеральскими удостоверениями. Всё это распространяется и на фронтовых священнослужителей, на врачей, хирургов, аптекарей, фельдшеров, санитаров и других лиц, обслуживающих больных. Все они не могут быть взяты в плен, но тем же самым порядком должны быть посланы обратно».

Доктор Шанцлер уже сломал при этом два кия и всё ещё не закончил своей странной лекции об охране раненых на войне, постоянно впутывая в свою речь какие-то непонятные генеральские удостоверения.

Поручик Лукаш допил свой чёрный кофе и пошёл домой, где нашёл бородатого великана Балоуна, который в это время поджаривал в котелке колбасу на его спиртовке.

— Я осмелился, — заикаясь, сказал Балоун, — я позволил себе,

осмелюсь доложить…

Лукаш с любопытством посмотрел на него. В этот момент Балоун показался ему большим ребёнком, наивным созданием, и поручик Лукаш пожалел, что приказал привязать его за неутолимый аппетит.

— Жарь, жарь, Балоун, — сказал он, отстёгивая саблю, — с завтрашнего дня я прикажу выписывать для тебе лишнюю порцию хлеба.

Поручик сел к столу. И вдруг ему захотелось написать сентиментальное письмо своей тёте.

> «Милая тётенька!
>
> Только что получил приказ подготовиться к отъезду на фронт со своей маршевой ротой. Может, это письмо будет последним моим письмом к тебе. Повсюду идут жестокие бои, наши потери велики. И мне трудно закончить это письмо словом „до свидания“; правильнее написать „прощай“».

«Докончу завтра утром», — подумал поручик Лукаш и пошёл спать.

Увидев, что поручик Лукаш крепко уснул, Балоун опять начал шнырять и шарить по квартире, как тараканы ночью; он открыл чемоданчик поручика и откусил кусок шоколаду. И вдруг Балоун испугался, — поручик зашевелился во сне, — быстро положил надкусанный шоколад в чемоданчик и притих.

Потом потихоньку пошёл посмотреть, что написал поручик.

Прочёл и был тронут, особенно словом «прощай». Он лёг на свой соломенный матрац у дверей и вспомнил родной дом и дни, когда резали свиней.

Балоун никак не мог отогнать от себя ту незабываемую яркую картину, как он прокалывает тлаченку, чтобы из неё вышел воздух: иначе во время варки она лопнет.

При воспоминании о том, как у соседей однажды лопнула и разварилась целая колбаса, он уснул беспокойным сном.

Ему приснилось, что он позвал к себе неумелого колбасника, который до того плохо набивал ливерные колбасы, что они тут же лопались. Потом оказалось, что мясник забыл сделать кровяную колбасу, пропала буженина и для ливерных колбас не хватает лучинок. Потом ему приснился полевой суд, будто его поймали, когда он крал из походной кухни кусок мяса. Наконец он увидел себя повешенным на липе в аллее военного лагеря в Бруке-на-Лейте.

Швейк проснулся вместе с пробуждающимся солнышком, которое

взошло в благоухании сгущённого кофе, доносившемся изо всех ротных кухонь. Он машинально, как будто только что кончил разговаривать по телефону, повесил трубку и совершил по канцелярии утренний моцион. При этом он пел. Начал он сразу с середины песни о том, как солдат переодевается девицей и идёт к своей возлюбленной на мельницу, а мельник кладёт его спать к своей дочери, но прежде кричит мельничихе:

Подавай, старуха, кашу,
Да попотчуй гостью нашу!

Мельничиха кормит нахального парня, а потом начинается семейная трагедия.

Утром мельник встал чуть свет,
На дверях прочёл куплет:
«Потеряла в эту ночь
Честь девичью ваша дочь».

Швейк пропел конец так громко, что вся канцелярия ожила: старший писарь Ванек проснулся и спросил:

— Который час?

— Только что играли утреннюю зорю.

— Встану уж после кофе, — решил Ванек: торопиться было не в его правилах, — и без того опять начнут приставать и гонять понапрасну, как вчера с этими консервами. — Ванек зевнул и спросил: — Не наболтал ли я лишнего, когда вернулся домой?

— Так кое-что невпопад, — сказал Швейк. — Вы всё время рассуждали сами с собой о каких-то формах: мол, форма не есть форма, а то, что не есть форма, есть форма, и та форма опять не есть форма. Но это вас быстро утомило, и вы сразу захрапели, словно пила в работе.

Швейк замолчал, дошёл до двери, опять повернул к койке старшего писаря, остановился и начал:

— Что касается меня лично, господин старший писарь, то когда я услышал, что вы говорите об этих формах, я вспомнил о фонарщике Затке. Он служил на газовой станции на Летне, в обязанности его входило зажигать и тушить фонари. Просвещённый был человек, он ходил по разным ночным кабачкам на Летне: ведь от зажигания до гашения фонарей

времени хватает. Утром на газовой станции он вёл точь-в-точь такие же разговоры, как, например, вы вчера, только говорил он так: «Эти кости для играния, потому что на них вижу рёбра и грани я». Я это собственными ушами слышал, когда один пьяный полицейский по ошибке привёл меня за несоблюдение чистоты на улице вместо полицейского комиссариата на газовую станцию.

В конце концов, — добавил Швейк тихо, — Затка этот кончил очень плохо. Вступил он в конгрегацию святой Марии, ходил с небесными козами на проповеди патера Емельки к святому Игнатию на Карлову площадь и, когда к святому Игнатию приехали миссионеры, забыл погасить все газовые фонари в своём районе, так что там беспрерывно три дня и три ночи горел газ на улицах.

Беда, — продолжал Швейк, — когда человек вдруг примется философствовать, — это всегда пахнет белой горячкой. Несколько лет тому назад к нам из Семьдесят пятого полка перевели майора Блюгера. Тот, бывало, раз в месяц соберёт нас, выстроит в каре и начнёт вместе с нами философствовать: «Что такое офицерское звание?» Он ничего, кроме сливянки, не пил. «Каждый офицер, солдаты, — разъяснял он нам на казарменном дворе, — сам по себе является совершеннейшим существом, которое наделено умом в сто раз большим, чем вы все вместе взятые. Вы не можете представить себе ничего более совершенного, чем офицер, даже если будете размышлять над этим всю жизнь. Каждый офицер есть существо необходимое, в то время как вы, рядовые, случайный элемент, ваше существование допустимо, но не обязательно. Если бы дело дошло до войны и вы пали бы за государя императора — прекрасно. От этого немногое бы изменилось, но если бы первым пал ваш офицер, тогда бы вы почувствовали, в какой степени вы от него зависите и сколь велика ваша потеря. Офицер должен существовать, и вы своим существованием обязаны только господам офицерам; вы от них происходите, вы без них не обойдётесь, вы без начальства и пёрнуть не можете. Офицер для вас, солдаты, закон нравственности — всё равно, понимаете вы это или нет, — а так как каждый закон должен иметь своего законодателя, то таким для вас, солдаты, является только офицер, которому вы себя чувствуете — и должны чувствовать — обязанными во всём, и каждое без исключения его приказание должно вами исполняться, независимо от того, нравится это вам или нет».

А однажды, после того как майор Блюгер закончил свою речь, он стал обходить каре и спрашивать одного за другим:

«Что ты чувствуешь, когда хватишь лишнего?»

Ну, ему отвечали как-то нескладно: дескать, или ещё никогда до этого не доходило, или всякий раз, как хватишь лишнего, начинает тошнить, а один даже сразу почувствовал, что останется без отпуска. Майор Блюгер тут же приказал отвести всех в сторону, чтобы они после обеда на дворе поупражнялись в вольной гимнастике в наказание за то, что не умеют выразить то, что они чувствуют. Ожидая своей очереди, я вспомнил, о чём он распространялся в последний раз, и когда майор подошёл ко мне, я совершенно спокойно ему ответил:

«Осмелюсь доложить, господин майор, когда я хвачу лишнее, то всегда чувствую внутри какое-то беслокойство, страх и угрызение совести. А когда я вовремя возвращаюсь из отпуска в казармы, мною овладевает блаженный покой и лезет внутреннее удовлетворение».

Все кругом расхохотались, а майор Блюгер заорал:

«По тебе, балда, клопы только лезут, когда ты дрыхнешь на койке! Он ещё острит, сукин сын!» — и вкатил мне такие шпангли — моё почтение!

— На военной службе иначе нельзя, — сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке, — это уж так исстари ведётся: как ни ответь, как ни сделай — всегда над тобой тучи и в тебя мечут гром и молнии. Без этого нет дисциплины!

— Правильно сказано, — заявил Швейк. — Никогда не забуду, как посадили рекрута Пеха. Ротным командиром был у нас лейтенант Моц. Вот собрал он рекрутов и спрашивает: кто откуда? «Перво-наперво, желторотые, — обратился он к ним, — вы должны научиться отвечать коротко и ясно, точно кнутом щёлкнуть. Итак, начнём. Откуда вы, Пех?» Пех был интеллигентный малый и ответил так: «Нижний Боусов, Unter Bautzen, двести шестьдесят семь домов, тысяча девятьсот тридцать шесть чешских обывателей, округ Ичин, волость Соботка, бывшая вотчина Кост, приходская церковь святой Екатерины, построенная в четырнадцатом столетии и реставрированная графом Вацлавом Вратиславом Нетолицким, школа, почта, телеграф, станция чешской товарной линии, сахарный завод, мельница, лесопилка, хутор Вальха, шесть ярмарок в году…»

Лейтенант Моц кинулся на него и стал бить его по морде, приговаривая: «Вот тебе первая ярмарка, вот тебе другая, третья, четвёртая, пятая, шестая…» А Пех, хоть и был рекрут, потребовал, чтобы его допустили на батальонный рапорт. В канцелярии была тогда развесёлая шатия. Ну, и написали они там, что он направляется на батальонный рапорт по поводу ежегодных ярмарок в Нижнем Боусове. Командиром батальона был тогда майор Рогелль. «Also, was gibts?»[160] — спросил он Пеха, а тот выпалил: «Осмелюсь доложить, господин майор, в Нижнем Боусове шесть

ярмарок в году». Ну, здесь майор Рогелль на него заорал, затопал ногами и немедленно приказал отвести в военный госпиталь в отделение для сумасшедших. С той поры стал из Пеха самый что ни на есть последний солдат, — не солдат, а одно наказание.

— Солдата воспитать дело нелёгкое, — сказал, зевая, старший писарь Ванек. — Солдат, который ни разу не был наказан на военной службе, не солдат. Это, может, в мирное время так было, что солдат, отбывший свою службу без единого наказания, потом имел всякие преимущества на гражданке. Теперь как раз наоборот: самые плохие солдаты, которые в мирное время не выходили из-под ареста, на войне оказались самыми лучшими. Помню я рядового из восьмой маршевой роты Сильвануса. У того, бывало, что ни день — то наказание. Да какие наказания! Не стыдился украсть у товарища последний крейцер. А когда попал в бой, так первый перерезал проволочные заграждения, трёх взял в плен и одного тут же по дороге застрелил, — дескать, он не внушал мне доверия. Он получил большую серебряную медаль, нашили ему две звёздочки, и, если бы потом его не повесили у Дукельского перевала, он давно бы уже ходил во взводных. А не повесить его после боя никак нельзя было. Раз вызвался он идти на рекогносцировку, а патруль другого полка застиг его за обшариванием трупов. Нашли у него часов штук восемь и много колец. Повесили у штаба бригады.

— Из этого видно, — глубокомысленно заметил Швейк, — что каждый солдат сам должен завоёвывать себе положение.

Раздался телефонный звонок. Старший писарь подошёл к телефону. Можно было разобрать голос поручика Лукаша, который спрашивал, что с консервами. Было слышно, как он давал нагоняй.

— Правда же, их нет, господин обер-лейтенант! — кричал в телефон Ванек. — Откуда им там взяться, это только фантазия интендантства. Совсем напрасно было посылать туда людей. Я хотел вам телефонировать. Я был в кантине? Кто сказал? Повар-оккультист из офицерской кухни? Действительно, я позволил себе туда зайти. Знаете, господин обер-лейтенант, как назвал этот самый оккультист всю панику с консервами? «Ужас нерождённого». Никак нет, господин обер-лейтенант, я совершенно трезв. Что делает Швейк? Он здесь. Прикажете его позвать?.. Швейк, к телефону! — крикнул старший писарь и шёпотом добавил: — Если вас спросят, в каком виде я вернулся, скажите, что в полном порядке.

Швейк у телефона:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, у телефона Швейк.

— Послушайте, Швейк, как обстоит дело с консервами? Всё в

порядке?

— Нет их, господин обер-лейтенант. Ни слуху ни духу.

— Я хотел бы, Швейк, чтобы вы, пока мы в лагере, по утрам всегда являлись ко мне с рапортом. А когда поедем, — неотлучно будете находиться при мне. Что вы делали ночью?

— Неотлучно сидел у телефона.

— Были какие-нибудь новости?

— Были, господин обер-лейтенант.

— Швейк, не валяйте опять дурака. Сообщали что-нибудь важное, срочное?

— Так точно, господин обер-лейтенант, но только к девяти часам.

— Что же вы сразу мне об этом не доложили?

— Не хотел вас беспокоить, господин обер-лейтенант, не смел об этом и помыслить.

— Так говорите же, — чёрт вас дери! — что предстоит в девять часов?!

— Телефонограмма, господин обер-лейтенант.

— Я вас не понимаю.

— Я это записал, господин обер-лейтенант. Примите телефонограмму. Кто у телефона?.. Есть? Читай… Или ещё что-то в этом роде…

— Чёрт вас побери, Швейк! Мука мне с вами… Передайте мне содержание, или я вас так тресну, что… Ну?!

— Опять какое-то совещание, господин обер-лейтенант, сегодня в девять часов утра у господина полковника. Хотел вас разбудить ночью, но потом раздумал.

— Ещё бы вы осмелились будить меня ночью из-за всякой ерунды, на это и утром времени достаточно. Wieder eine Besprechung, der Teufel soll das alles buserieren![161] Опустите трубку, позовите к телефону Ванека.

— Старший писарь Ванек у телефона. Rechnugsfeldwebl Vanek, Herr Oberleutnant.[162]

— Ванек, немедленно найдите мне другого денщика. Этот подлец Балоун за ночь сожрал у меня весь шоколад. Привязать? Нет, отдадим его в санитары. Детина, косая сажень в плечах, — пусть таскает раненых с поля сражения. Сейчас же и пошлю его к вам. Устройте всё это в полковой канцелярии немедленно и тотчас же возвращайтесь в роту. Как по-вашему, скоро мы тронемся?

— Торопиться некуда, господин обер-лейтенант. Когда мы отправлялись с девятой маршевой ротой, нас целых четыре дня водили за

нос. С восьмой то же самое. Только с десятой дела обстояли лучше. Мы были в полной боевой готовности, в двенадцать часов получили приказ, а вечером уже ехали, но зато потом нас гоняли по всей Венгрии и не знали, какую дыру на каком фронте заткнуть нами.

С тех пор как поручик Лукаш стал командиром одиннадцатой маршевой роты, он находился в состоянии, называемом синкретизмом, — по имени той философской системы, которая старалась примирить противоречия понятий путём компромисса, доходящего до смешения противоположных взглядов. А поэтому он ответил:

— Да, может быть, это и так. По-вашему, мы сегодня не тронемся? В девять часов совещание у полковника. Да, кстати, знаете о том, что вы дежурный? Я только так. Составьте мне… Подождите, что бишь должны вы мне составить? Список унтер-офицеров с указанием, с какого времени каждый из них служит… Потом провиант для роты. Национальность? Да, да, и национальность… А главное, пришлите мне нового денщика. Что сегодня прапорщику Плешнеру делать с командой? Подготовиться к отправке. Счета?.. Приду подписать после обеда. В город никого не отпускайте. В кантину, в лагерь? После обеда на час… Позовите сюда Швейка… Швейк, вы пока останетесь у телефона.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я ещё не пил кофе.

— Так принесите кофе и останьтесь в канцелярии у телефона, пока я вас не позову. Знаете, что такое ординарец?

— Это тот, кто на побегушках, господин обер-лейтенант.

— Итак, чтобы вы были на месте, когда я вам позвоню. Напомните ещё раз Ванеку, чтобы нашёл для меня какого-нибудь денщика. Швейк! Алло! Где вы?

— Здесь, господин обер-лейтенант, мне только что принесли кофе.

— Швейк! Алло!

— Я слушаю, господин обер-лейтенант. Кофе совсем холодный.

— Вы, Швейк, хорошо знаете, что такое денщик, поговорите с ним, а потом скажете мне, что он собой представляет. Повесьте трубку.

Ванек, прихлёбывая чёрный кофе, в который подлил рома из бутылки с надписью «Tinte»,[163] сделанной из предосторожности, посмотрел на Швейка и сказал:

— Наш обер-лейтенант так кричит в телефон, что я разобрал каждое слово. По всему видать, вы близко знакомы с господином обер-лейтенантом, Швейк?

— Я его правая рука. Рука руку моет. Попадали мы с ним в переделки. Сколько раз нас хотели разлучить, а мы опять сходились. Он на меня во

всём полагается. Сколько раз я сам этому удивлялся. Вот вы только что слышали, как он сказал, чтобы я вам ещё раз напомнил о том, что вы должны ему найти нового денщика, а я должен поговорить с ним и дать о нём отзыв. Господину обер-лейтенанту не каждый денщик угодит.

*

Полковник Шрёдер вызвал на совещание всех офицеров маршевого батальона. Он ждал этого совещания с нетерпением, чтобы иметь возможность высказаться. Кроме того, надо было принять какое-нибудь решение по делу вольноопределяющегося Марека, который отказался чистить отхожие места и как бунтовщик был послан полковником Шрёдером в дивизионный суд.

Из арестантского отделения дивизионного суда он только вчера ночью был переведён на гауптвахту, где и находился под стражей. Одновременно в полковую канцелярию была передана до невозможности запутанная бумага дивизионного суда, в которой указывалось, что в данном случае дело идёт не о бунте, так как вольноопределяющиеся не обязаны чистить отхожие места, но тем не менее в этом усматривается нарушение дисциплины, каковой проступок может быть искуплен им примерной службой на фронте. Ввиду всего этого обвиняемый вольноопределяющийся Марек опять отсылается в свой полк, а следствие о нарушении дисциплины приостанавливается до конца войны и будет возобновлено в случае нового проступка вольноопределяющегося Марека.

Предстояло ещё одно дело. Одновременно с вольноопределяющимся Мареком из арестантского дивизионного суда был переведён на гауптвахту самозванец взводный Тевелес, который недавно появился в полку, куда был послан из загребской больницы. Он имел большую серебряную медаль, нашивки вольноопределяющегося и три звёздочки. Он рассказывал о геройских подвигах шестой маршевой роты в Сербии и о том, что от всей роты остался один он. Следствием было установлено, что с шестой маршевой ротой в начале войны действительно отправился какой-то Тевелес, который, однако, не имел прав вольноопределяющегося. Была затребована справка от бригады, к которой во время бегства из Белграда 2 декабря 1914 года была прикомандирована шестая маршевая рота, и было установлено, что в списке представленных к награде и награждённых серебряными медалями никакого Тевелеса нет. Был ли, однако, рядовой Тевелес во время белградского похода произведён во взводные — выяснить

не удалось, ввиду того что вся шестая маршевая рота вместе со всеми своими офицерами после битвы у церкви св. Саввы в Белграде пропала без вести. В дивизионном суде Тевелес оправдывался тем, что действительно ему была обещана большая серебряная медаль и что поэтому он купил её у одного босняка. Что касается нашивок вольноопределяющегося, то их он себе пришил в пьяном виде, а продолжал носить потому, что пьян был постоянно, ибо организм его ослабел от дизентерии.

Открыв собрание, прежде чем приступить к обсуждению этих двух вопросов, полковник Шрёдер указал, что перед отъездом, который уже не за горами, следует почаще встречаться. Из бригады ему сообщили, что ждут приказов от дивизии. Солдаты должны быть наготове, и ротные командиры обязаны бдительно следить, за тем, чтобы никто не отлучался. Затем он ещё раз повторил всё, о чём говорил вчера. Опять сделал обзор военных событий и напомнил, что ничто не должно сломить боевой дух армии и отвагу.

На столе перед ним была прикреплена карта театра военных действий с флажками на булавках, но флажки были опрокинуты и фронты передвинулись. Вытащенные булавки с флажками валялись под столом.

Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил кот, которого держали в полковой канцелярии писаря. Кот нагадил на австро-венгерский фронт и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронты и предмостные укрепления и запакостил армейские корпуса. Полковник Шрёдер был очень близорук.

Офицеры маршевого батальона с интересом следили за тем, как палец полковника Шрёдера приближался к этим кучкам.

— Путь на Буг, господа, лежит через Сокаль, — изрёк полковник с видом прорицателя и продвинул по памяти указательный палец к Карпатам, но при этом влез в одну из тех кучек, с помощью которых кот старался сделать рельефной карту театра военных действий.

— Was ist das, meine Herren?[164] — с удивлением обратился он к офицерам, когда что-то прилипло к его пальцу.

— Wahrscheinlich Katzendreck, Herr Oberst[165] — очень вежливо сказал за всех капитан Сагнер.

Полковник Шрёдер ринулся в соседнюю канцелярию, откуда послышались громовые проклятия и ужасные угрозы, что он заставит всю канцелярию вылизать языком оставленные котом следы.

Допрос был краток. Выяснилось, что кота две недели тому назад притащил в канцелярию младший писарь Цвибельфиш. По выяснении дела

Цвибельфиш собрал свои манатки, а старший писарь отвёл его на гауптвахту и посадил впредь до дальнейших распоряжений господина полковника.

Этим, собственно, совещание и закончилось. Вернувшись к офицерам, весь красный от злости, полковник Шрёдер забыл, что следовало ещё потолковать о судьбе вольноопределяющегося Марека и лжевзводного Тевелеса.

— Прошу господ офицеров быть готовыми и ждать моих дальнейших приказаний и инструкций, — коротко сказал он.

Так и остались под стражей на гауптвахте вольноопределяющийся и Тевелес, и когда позднее к ним присоединился Цвибельфиш, они могли составить «марьяж». а после марьяжа стали приставать к своим караульным с требованием, чтобы те выловили всех блох из тюфяков.

Потом к ним сунули ефрейтора Пероутку из тринадцатой маршевой роты. Вчера, когда распространился по лагерю слух, что отправляются на позиции, Пероутка исчез и утром был найден патрулём в Бруке у «Белой розы». Он оправдывался тем, что хотел перед отъездом посмотреть знаменитый стекольный завод графа Гарраха у Брука, а на обратном пути заблудился и только утром, совершенно измождённый, добрёл до «Белой розы» (в действительности же он спал с Розочкой из «Белой розы»).

*

Ситуация по-прежнему осталась неясной. Поедут они или не поедут? Швейк по телефону в канцелярии одиннадцатой маршевой роты выслушал самые разнообразные мнения: пессимистические и оптимистические. Двенадцатая маршевая рота телефонировала, будто кто-то из канцелярии слышал, что предварительно будут производиться упражнения в стрельбе по движущейся мишени и что поедут потом. Этого оптимистического взгляда не разделяла тринадцатая маршевая рота, которая телефонировала, что из города вернулся капрал Гавлик, слышавший от одного железнодорожного служащего, будто на станцию уже поданы вагоны.

Ванек вырвал у Швейка трубку и в ярости закричал, что железнодорожники ни хрена не знают и что он сам только что пришёл из полковой канцелярии.

Швейк с истинным удовольствием дежурил у телефона и на вопросы: «Что нового?» — отвечал, что ничего определённого пока не известно.

Так он ответил и на вопрос поручика Лукаша.

— Что у вас нового?

— Ничего определённого пока не известно, господин обер-лейтенант, — стереотипно ответил Швейк.

— Осёл! Повесьте трубку.

Потом пришло несколько телефонограмм, которые Швейк после всяческих недоразумений наконец принял.

В первую очередь ту, которую ему не могли продиктовать ночью из-за того, что он уснул, не повесив трубку. Телефонограмма эта касалась списка тех, кому была сделана и кому не была сделана противотифозная прививка.

Потом Швейк принял запоздавшую телефонограмму о консервах. Вопрос этот был уже выяснен вчера.

Затем поступила телефонограмма всем батальонам, ротам и подразделениям полка.

> «Копия телефонограммы бригады № 756992. Приказ по бригаде № 172.
>
> При отчётности о хозяйстве полевых кухонь следует при наименовании нужных продуктов придерживаться нижеследующего порядка: 1 — мясо, 2 — консервы, 3 — овощи свежие, 4 — овощи сушёные, 5 — рис, 6 — макароны, 7 — крупа, 8 — картофель, — вместо прежнего порядка: 4 — сушёные овощи, 5 — свежие овощи».

Когда Швейк прочёл всё это старшему писарю, Ванек торжественно заявил, что подобные телефонограммы кидают в нужник.

— Какой-нибудь болван из штаба армии придумал, а потом это идёт по всем дивизиям, бригадам, полкам.

Затем Швейк принял ещё одну телефонограмму: её продиктовали так быстро, что он успел лишь записать в блокноте что-то вроде шифра: «In der Folge genauer eriaubt gewesen oder das Selbst einern hingegen immerhin eingeholet werden».[166]

— Всё это лишнее, — сказал Ванек после того, как Швейк страшно удивился тому, что он написал, и трижды вслух прочёл всё. — Одна ерунда, хотя — чёрт их знает! — может быть, это шифрованная телефонограмма. У нас нет в роте шифровального отделения. Это также можно выбросить.

— Я тоже так полагаю, — сказал Швейк, — если я объявлю господину обер-лейтенанту, что in der Folge genauer eriaubt gewesen Oder das selbst einern hingegen immerhin eingeholet werden, он ещё обидится, пожалуй.

— Попадаются, скажу я вам, такие недотроги, что прямо ужас! —

продолжал Швейк, вновь погружаясь в воспоминания. — Ехал я однажды на трамвае с Высочан в Прагу, а в Либни подсел к нам некто пан Новотный. Как только я его узнал, я пошёл к нему на площадку и завёл разговор о том, что мы, дескать, земляки, оба из Дражова, а он на меня разорался, чтобы я к нему не приставал, что он якобы меня не знает. Я стал ему всё объяснять, чтобы он припомнил, как я, ещё маленьким мальчиком, ходил к нему с матерью, которую звали Антония, а отца звали Прокоп, и был он стражником в имении. Но он и после этого не хотел признаться, что мы знакомы. Так я ему привёл в доказательство ещё более подробные сведения: рассказал, что в Дражове было двое Новотных — Тонда и Иосиф, и он как раз тот Иосиф, и мне из Дражова о нём писали, что он застрелил свою жену за то, что она бранила его за пьянство. Тут он как замахнётся на меня, а я увернулся, и он разбил большое стекло на передней площадке перед вагоновожатым. Ну, высадили нас и отвели, а в комиссариате выяснилось, что он потому так щепетилен, что звали его вовсе не Иосиф Новотный, а Эдуард Дубрава, и был он из Монтгомери в Америке, а сюда приехал навестить родственников.

Телефонный звонок прервал рассказ Швейка, и чей-то хриплый голос из пулемётной команды опять спросил, поедут ли? Об этом будто бы с утра идёт совещание у господина полковника.

В дверях показался бледный как полотно кадет Биглер, самый большой дурак в роте, потому что в учебной команде вольноопределяющихся он старался отличиться своими познаниями. Он кивнул Ванеку, чтобы тот вышел в коридор. Там они имели продолжительный разговор.

Вернувшись, Ванек презрительно ухмыльнулся.

— Вот осёл! — воскликнул он, обращаясь к Швейку. — Нечего сказать, экземплярчик у нас в маршевой роте! Он тоже был на совещании. Напоследок при расставании господин обер-лейтенант распорядился, чтобы взводные произвели осмотр винтовок со всей строгостью. А Биглер пришёл спросить меня, должен ли он дать распоряжение связать Жлабека за то, что тот вычистил винтовку керосином. — Ванек разгорячился. — О такой глупости спрашивает, хотя знает, что едут на позиции! Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, что велел отвязать своего денщика. Я этому щенку сказал, чтобы он поостерёгся ожесточать солдат.

— Раз уж вы заговорили о денщике, — сказал Швейк, — вы кого-нибудь подыскали для господина обер-лейтенанта?

— Будьте благоразумнее, — ответил Ванек, — времени хватит. Между прочим, я думаю, что господин обер-лейтенант привыкнет к Балоуну, Балоун разок-другой ещё что-нибудь у него слопает, а потом это пройдёт,

когда попадём на фронт. Там скорее всего ни тому, ни другому жрать будет нечего. Когда я ему скажу, что Балоун остался, он ничего не сможет поделать. Это моя забота, господина обер-лейтенанта это не касается. Главное: не торопиться! — Ванек опять лёг на свою койку и попросил: — Швейк, расскажите мне какой-нибудь анекдот из военной жизни.

— Можно, — ответил Швейк, — только я боюсь, что опять кто-нибудь позвонит.

— Так выключите телефон: отвинтите провод или снимите трубку.

— Ладно, — сказал Швейк, снимая трубку. — Я вам расскажу один случай, подходящий к нашему положению. Только тогда вместо настоящей войны были манёвры, а паника началась точь-в-точь такая же, как сегодня: мы тоже не знали, когда выступим из казарм. Служил со мной Шиц с Поржича, хороший парень, только набожный и робкий. Он представлял себе, что манёвры — это что-то ужасное и что люди на них падают от жажды, а санитары подбирают их, как опавшие плоды. Поэтому он пил про запас, а когда мы выступили из казарм на манёвры и пришли к Мнишеку, то сказал: «Я этого не выдержу, ребята, только господь бог меня может спасти!» Потом мы пришли к Горжовицам и там на два дня сделали привал, потому как из-за какой-то ошибки мы так быстро шли вперёд, что чуть было вместе с остальными полками, которые шли с нами по флангам, не захватили весь неприятельский штаб. И осрамились бы, потому что нашему корпусу полагалось про…ать, а противнику выиграть: у них там находился какой-то эрцгерцогишка-замухрышка. Шиц устроил такую штуку. Когда мы разбили лагерь, он собрался и пошёл в деревню за Горжовицами кое-что себе купить и к обеду возвращался в лагерь. Жарко было, к тому же выпил он тоже здорово, и тут увидел он при дороге столб, на столбе был ящик, а в нём под стеклом совсем маленькая статуя святого Яна Непомуцкого. Помолился он святому Яну и говорит: «Вот, чай, жарко тебе, не мешало бы тебе чего-нибудь выпить. На самом ты солнцепёке. Чай, всё время потеешь?» Взболтал походную фляжку, выпил и говорит: «Оставил я и тебе глоток, святой Ян из Непомук». Потом спохватился, вылакал всё, и святому Яну из Непомук ничего не осталось. «Иисус Мария! — воскликнул он. — Святой Ян из Непомук, ты это мне должен простить, я тебя за это вознагражу. Я возьму тебя с собой в лагерь и так тебя напою, что ты на ногах стоять не сможешь. И добрый Шиц из жалости к святому Яну из Непомук разбил стекло, вытащил статуйку святого, сунул под гимнастёрку и отнёс в лагерь. Потом святой Ян Непомуцкий вместе с ним спал на соломе. Шиц носил его с собой во время походов в ранце, и всегда ему страшно везло в карты. Где ни сделаем привал, он всегда

выигрывал, пока не пришли мы в Прахенско. Квартировали мы в Драгеницах, и он вконец продулся. Утром, когда мы выступили в поход, на груше у дороги висел в петле святой Ян Непомуцкий. Вот вам и анекдот, ну, а теперь повешу трубку.

И телефон снова начал вбирать в себя судороги нервной жизни лагеря. Гармония покоя была здесь нарушена.

В это самое время поручик Лукаш изучал в своей комнате только что переданный ему из штаба полка шифр с руководством, как его расшифровать, и одновременно тайный шифрованный приказ о направлении, по которому маршевый батальон должен был двигаться к границе Галиции (первый этап).

7217–1238–475–2121–35 — Мошон.
8922–375–7282 — Раб.
4432–1238–7217–375–8922–35 — Комарно.
7282–9299–310–375–7881-298–475–7979 — Будапешт.

Расшифровывая эти цифры, поручик Лукаш вздохнул:

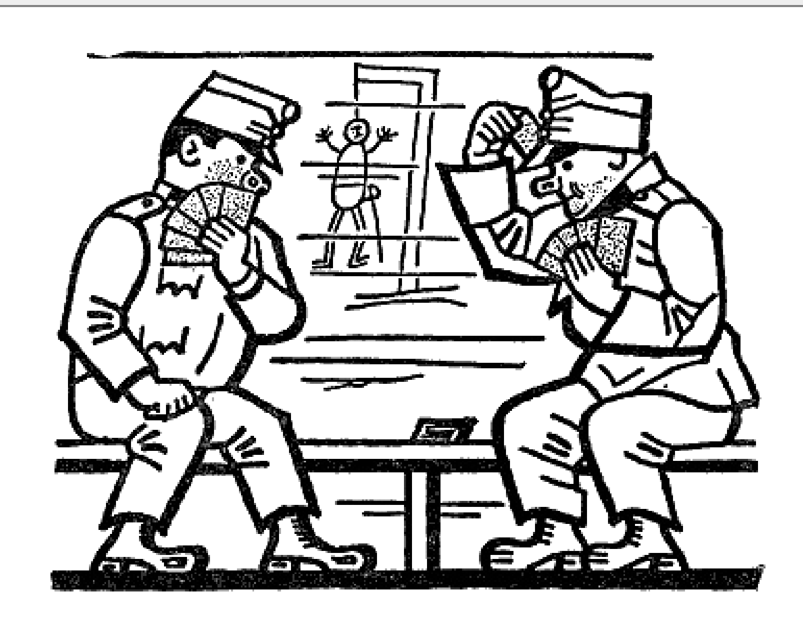
— Der Teufel soll das buserieren.[167]

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОРКА

Часть третья

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОРКА

Глава I
ПО ВЕНГРИИ



Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчёта сорок два человека или восемь лошадей. Лошади, разумеется, ехали с бо́льшими удобствами, так как могли спать стоя. Впрочем, это не имело ровно никакого значения: воинский поезд вёз новую партию людей в Галицию на убой.

И всё же, когда поезд тронулся, эти создания почувствовали некоторое облегчение. Теперь хоть что-то определилось, до этого же момента была лишь мучительная неизвестность, паника и бесконечные волнения, когда отправят: сегодня, завтра или послезавтра? Многие испытывали чувство приговорённых к смерти, со страхом ожидающих прихода палача. Но вот палач пришёл и наступает успокоение — наконец-то всё кончится!

Вероятно, поэтому один солдат орал точно помешанный: «Едем! Едем!»

Старший писарь Ванек был безусловно прав, когда говорил Швейку, что торопиться нечего.

Прошло несколько дней, прежде чем солдаты разместились по вагонам. И всё время не прекращались разговоры о консервах. Умудрённый опытом Ванек заявил, что это фантазия. Какие там консервы! Полевая обедня — это ещё куда ни шло. Ведь то же самое было с предыдущей маршевой ротой. Когда есть консервы, полевая обедня отпадает. В

противном случае полевая обедня служит возмещением за консервы.

И правда, вместо мясных консервов появился обер-фельдкурат Ибл, который «единым махом троих побивахом». Он отслужил полевую обедню сразу для трёх маршевых батальонов. Два из них он благословил на Сербию, а один — на Россию.

При этом он произнёс вдохновенную речь, материал для которой, как это не трудно было заметить, был почерпнут из военных календарей. Речь настолько взволновала всех, что по дороге в Мошон Швейк, вспоминая речь, сказал старшему писарю, ехавшему вместе с ним в вагоне, служившем импровизированной канцелярией:

— Что ни говори, а это в самом деле будет шикарно. Как он расписывал! «День начнёт клониться к вечеру, солнце со своими золотыми лучами скроется за горы, а на поле брани будут слышны последние вздохи умирающих, ржание упавших коней, стоны раненых героев, плач и причитания жителей, у которых над головами загорятся крыши». Мне нравится, когда люди становятся идиотами в квадрате.

Ванек в знак согласия кивнул головой:

— Это было чертовски трогательно!

— Это было красиво и поучительно, — назидательно сказал Швейк. — Я всё прекрасно запомнил и, когда вернусь с войны, буду рассказывать об этом «У чаши». Господин фельдкурат, когда нам это выкладывал, так раскорячился, что меня взял страх, как бы он не поскользнулся да не брякнулся на полевой алтарь, ведь он мог бы разбить себе башку о дароносицу. Он привёл нам замечательный пример из истории нашей армии, когда в ней ещё служил Радецкий. Тогда над полем брани с вечерней зарёй сливался огонь пылавших амбаров. Он будто всё это видел своими собственными глазами!

В тот же день обер-фельдкурат Ибл попал в Вену, и ещё один маршевый батальон прослушал ту же поучительную историю, о которой вспоминал Швейк и которая так сильно ему понравилась, что он с полным основанием окрестил её «идиотизмом в квадрате».

— Дорогие солдаты, — ораторствовал фельдкурат Ибл, — представьте себе: сейчас сорок восьмой год и только что победоносно окончилась битва у Кустоццы. После десятичасового упорного боя итальянский король Альберт был вынужден уступить залитое кровью поле брани фельдмаршалу Радецкому — нашему «отцу солдатам», который на восемьдесят четвёртом году своей жизни одержал столь блестящую победу. И вот, дорогие мои солдаты, на горе перед покорённой Кустоццей маститый полководец останавливает коня. Его окружают преданные генералы.

Серьёзность момента овладевает всеми, ибо — солдаты! — неподалёку от фельдмаршала лежит воин, борющийся со смертью. Тяжело раненный на поле славы, с раздроблёнными членами, знаменосец Герт чувствует на себе взор фельдмаршала Радецкого. Превозмогая смертельную боль, доблестный знаменосец холодеющей рукою сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилось его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу.

«Не утруждай себя, мой доблестный воин!» — воскликнул фельдмаршал, сошёл с коня и протянул ему руку.

«Увы, господин фельдмаршал, — вздохнул умирающий воин, — у меня обе руки перебиты. Прошу вас только об одном. Скажите мне правду: победа за нами?»

«За нами, милый брат мой, — ласково ответил фельдмаршал. — Как жаль, что твоя радость омрачена ранением».

«Да, высокочтимый вождь, со мною покончено», — слабеющим голосом вымолвил умирающий, приятно улыбаясь.

«Хочешь пить?» — спросил Радецкий.

«День был жаркий, господин фельдмаршал. Свыше тридцати градусов жары».

Тогда Радецкий, взял у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал её умирающему. Последний одним большим глотком утолил свою жажду.

«Да вознаградит вас бог за это сторицей!» — воскликнул он, пытаясь поцеловать руку своему полководцу.

«Давно ли служишь?» — спросил последний.

«Больше сорока лет, господин фельдмаршал. У Асперна я получил золотую медаль. Сражался и под Лейпцигом, получил „пушечный крест“. Пять раз я был смертельно ранен, а теперь мне пришёл конец. Но какое счастье, какое блаженство, что я дожил до сегодняшнего дня! Что мне смерть, раз мы одержали победу и императору возвращены его земли!»

В этот момент, дорогие солдаты, со стороны лагеря донеслись величественные звуки нашего гимна «Храни нам, боже, государя». Мощно и торжественно прозвучали они над полем сражения. И прощающийся с жизнью воин ещё раз попытался подняться.

«Да здравствует Австрия! — исступлённо воскликнул он. — Да здравствует Австрия! Пусть вечно звучит наш благородный гимн! Да здравствует наш полководец! Да здравствует армия!» Умирающий ещё раз склонился к правой руке фельдмаршала, облобызал её и упал; последний

тихий вздох вырвался из его благородной груди. Полководец с непокрытой головой стоял перед трупом одного из лучших своих солдат.

«Можно только позавидовать такой прекрасной кончине», — прочувствованно сказал фельдмаршал и закрыл лицо руками.

Милые воины, я желаю и вам всем дожить до такой прекрасной смерти!..

Вспоминая эту речь обер-фельдкурата Ибла, Швейк имел полное право назвать его «идиотом в квадрате».

Затем Швейк поделился своими соображениями о приказах, зачитанных солдатам перед посадкой на поезд. Сначала их ознакомили с приказом по армии, подписанным Францем-Иосифом, а затем им прочитали приказ главнокомандующего Восточной армией эрцгерцога Иосифа-Фердинанда. Оба приказа касались события, происшедшего 3 апреля 1915 года на Дукельском перевале, где два батальона Двадцать восьмого полка вместе с офицерами под звуки полкового оркестра перешли на сторону русских.

Оба приказа были зачитаны с дрожью в голосе и в переводе на чешский язык гласили:

«ПРИКАЗ ПО АРМИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 1915 ГОДА:

Преисполненный горечью, повелеваю вычеркнуть императорский королевский 28-й пехотный полк из списков моих войск за трусость и измену. Приказываю отобрать у покрывшего себя бесчестием полка знамя и передать его в военный музей. Полк, который морально разложился уже на родине и который отправился на театр военных действий с тем, чтобы осуществить свои предательские намерения, отныне перестаёт существовать.

Франц-Иосиф I».

«ПРИКАЗ ЭРЦГЕРЦОГА ИОСИФА-ФЕРДИНАНДА:

Чешские воинские части не оправдали нашего доверия, особенно в последних боях. Чаще всего они не оправдывали доверия при обороне позиций. В течение продолжительного времени они находились в окопах, что постоянно использовал

противник, вступая в связь с подлыми элементами этих воинских частей.

При поддержке этих изменников атаки неприятеля направлялись обычно именно на те фронтовые части, в которых находилось много предателей.

Часто неприятелю удавалось захватить нас врасплох, так сказать, без труда проникнуть на наши передовые позиции и захватить в плен большое число их защитников.

Позор, стократ позор презренным изменникам и подлецам, которые дерзнули предать императора и империю и своими злодеяниями осквернили не только славные знамёна нашей великой и мужественной армии, но и ту нацию, к которой они себя причисляют. Рано или поздно их настигнет пуля или петля палача.

Долг каждого чешского солдата, сохранившего честь, сообщить командиру о таком мерзавце, подстрекателе и предателе. Кто этого не сделает — сам предатель и негодяй. Этот приказ зачитать всем солдатам чешских полков.

Императорский королевский 28-й полк приказом нашего монарха уже вычеркнут из рядов армии, и все захваченные в плен перебежчики из этого полка заплатят кровью за свои тяжкие преступления.

Эрцгерцог Иосиф-Фердинанд».

— Да, поздновато нам его прочитали! — сказал Швейк Ванеку. — Меня очень удивляет, что нам зачитали это только теперь, а государь император издал приказ семнадцатого апреля. Похоже, по каким-то соображениям нам не хотели немедленно прочитать приказ. Будь я государем императором, я не позволил бы задерживать свои приказы. Если я издаю приказ семнадцатого апреля, так хоть тресни, но прочитай его во всех полках семнадцатого апреля.

Напротив Ванека в другом конце вагона сидел повар-оккультист из офицерской столовой и что-то писал. Позади него сидели денщик поручика Лукаша бородатый великан Балоун и телефонист Ходоунский, прикомандированный к одиннадцатой маршевой роте. Балоун жевал ломоть солдатского хлеба и в паническом страхе объяснял телефонисту Ходоунскому, что не его вина, если в такой толкотне при посадке он не смог пробраться в штабной вагон к своему поручику.

Ходоунский пугал Балоуна: теперь, мол, шутить не будут, и за это его ждёт пуля.

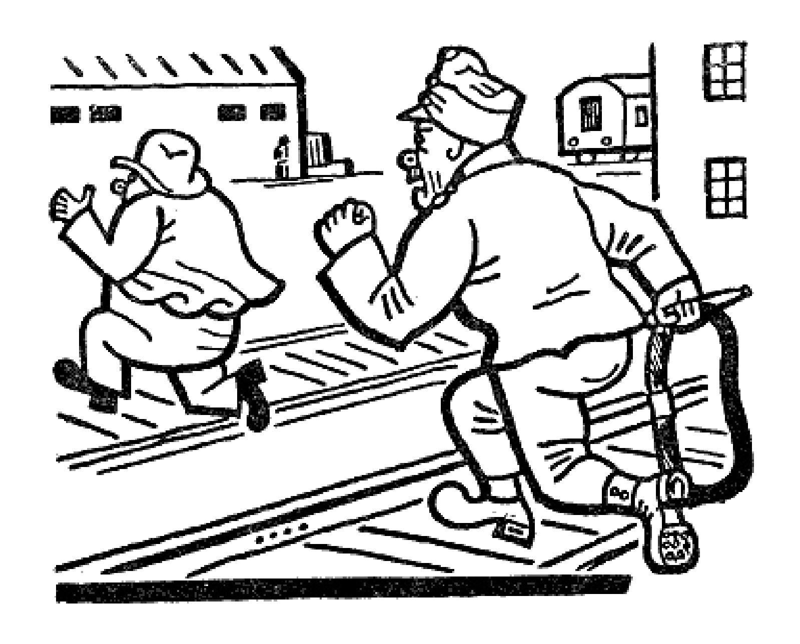
— Пора бы уж положить конец этим мучениям, — плакался Балоун. — Как-то раз, на манёврах под Вотицами, со мной это чуть было не случилось. Пропадали мы там от голода и жажды, и когда к нам приехал батальонный адъютант, я крикнул: «Воды и хлеба!» Так вот, этот самый адъютант повернул в мою сторону коня и говорит, что в военное время он приказал бы расстрелять меня перед строем. Но сейчас мирное время, поэтому он велит только посадить меня в гарнизонную тюрьму. Мне тогда здорово повезло: по дороге в штаб, куда он направился с донесением, конь понёс, адъютант упал и, слава богу, сломал себе шею.

Балоун тяжело вздохнул, поперхнулся куском хлеба, закашлялся и, когда отдышался, жадно посмотрел на вверенные ему саквояжи поручика Лукаша.

— Господа офицеры, — произнёс он меланхолически, — получили печёночные консервы и венгерскую колбасу. Вот такой кусочек.

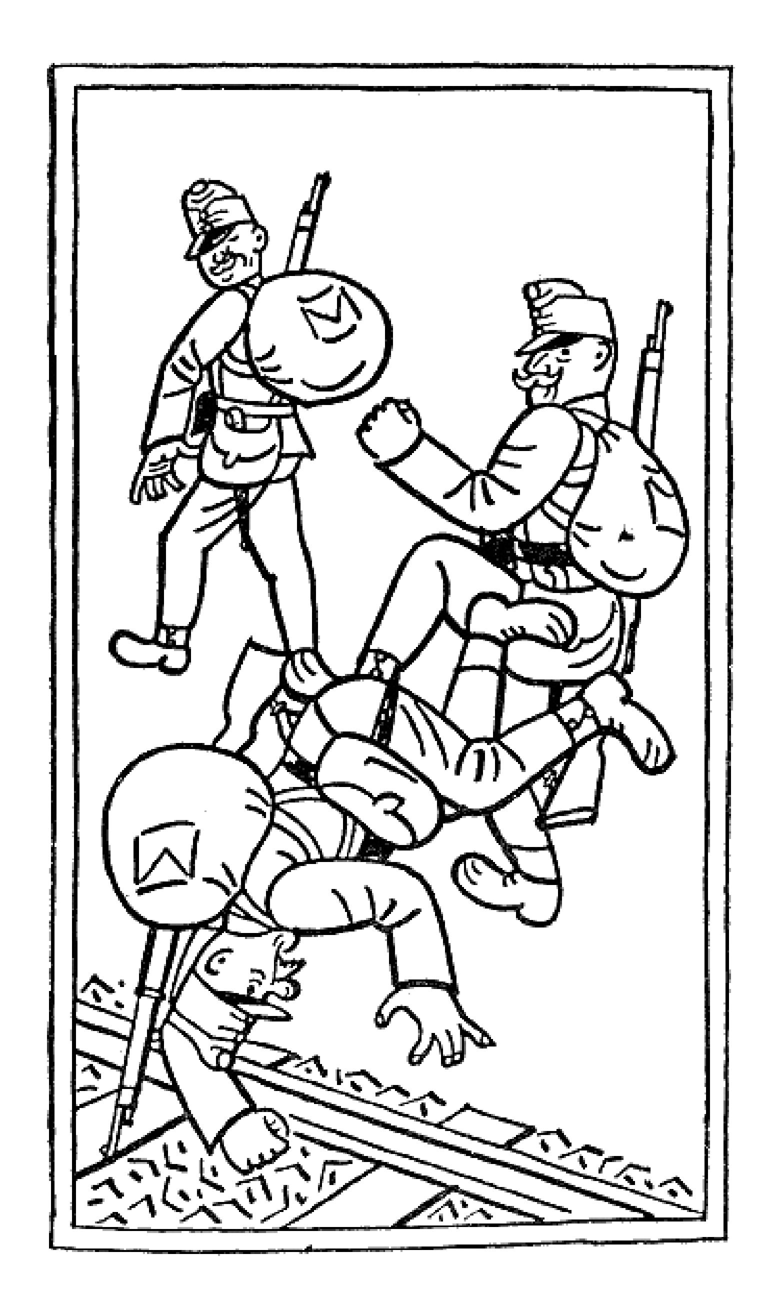
При этом он с вожделением смотрел на саквояжи своего поручика, словно забытый всеми пёс. Терзаемый волчьим голодом, сидит этот пёс у дверей колбасной и вдыхает пары варящихся окороков.

— Было бы невредно, — заметил Ходоунский, — если бы нас встретили где-нибудь хорошим обедом. Когда мы в начале войны ехали в Сербию, мы прямо-таки обжирались на каждой станции, так здорово нас повсюду угощали. С гусиных ножек мы снимали лучшие кусочки мяса, потом делали из них шашки и играли в «волки и овцы» на плитках шоколада. В Хорватии, в Осиеке, двое из союза ветеранов принесли нам в вагон большой котёл тушёных зайцев. Тут уж мы не выдержали и вылили им всё это на головы. В пути мы ничего не делали, только блевали. Капрал Матейка так облопался, что нам пришлось положить ему поперёк живота доску и прыгать на ней, как это делают, когда уминают капусту. Только тогда бедняге полегчало. Из него попёрло и сверху и снизу. А когда мы проезжали Венгрию, на каждой станции нам в вагоны швыряли жареных кур. Мы съедали только мозги. В Капошваре мадьяры бросали в вагоны целые туши жареных свиней и одному нашему так угодили свиной головой по черепу, что тот потом с ремнём гонялся за благодетелем по всем запасным путям. Правда, в Боснии нам даже воды не давали. Но зато до Боснии водки разных сортов было хоть отбавляй, а вина — море разливанное, несмотря на то что спиртные напитки были запрещены. Помню, на одной станции какие-то дамочки и барышни угощали нас пивом, а мы им в жбан помочились. Как они шарахнутся от вагона!



Всю дорогу мы были точно очумелые, а я не мог различить даже трефового туза. Вдруг ни с того ни с сего команда — вылезать. Мы даже партию не успели доиграть, вылезли из вагонов. Какой-то капрал, фамилию не помню, кричал своим людям, чтобы они пели «Und die Serben müssen sehen, das wir Osterreicher Sieger, Sieger sind».[168] Но сзади кто-то наподдал ему так, что он перелетел через рельсы. Потом опять команда: «Винтовки в козлы». Поезд моментально повернул и порожняком ушёл обратно. Ну конечно, как всегда во время паники бывает, увезли и наш провиант на два дня. И тут же вблизи, ну как вот отсюда до тех вон деревьев, начала рваться шрапнель. С другого конца приехал командир батальона и созвал всех офицеров на совещание, а потом пришёл обер-лейтенант Мацек — чех на все сто, хотя и говорил только по-немецки, — и рассказывает — а сам белый как мел, что дальше ехать нельзя, железнодорожный путь взорван, сербы ночью переправились через реку и сейчас находятся на левом фланге, но от нас ещё далеко. Мы-де получим подкрепление и разобьём их в пух и прах. В случае чего никто не должен сдаваться в плен. Сербы, мол, отрезают пленникам уши, носы и выкалывают глаза. То, что неподалёку рвётся шрапнель, не следует принимать во внимание: это-де наша артиллерия пристреливается. Вдруг где-то за горой раздалось та-та-та-та-та-та. Это якобы пристреливались наши пулемёты. Потом слева загрохотала канонада. Мы услышали её впервые и залегли. Через нас перелетело несколько гранат, ими был зажжён вокзал, с правой стороны засвистели пули, а вдали послышались залпы и щёлканье затворов. Обер-лейтенант приказал разобрать стоявшие в козлах ружья и зарядить их.

Дежурный подошёл к нему и доложил, что выполнить приказ никак нельзя, так как у нас совершенно нет боеприпасов. Ведь обер-лейтенант прекрасно знает, что мы должны получить боеприпасы на следующем этапе, перед самыми позициями. Поезд с боеприпасами ехал впереди нас и, вероятно, уже попал в руки к сербам. Обер-лейтенант Мацек на миг оцепенел, а потом отдал приказ: «Bajonett auf», — сам не зная зачем, просто так, лишь бы что-нибудь делать. Так мы довольно долго стояли в боевой готовности. Потом опять поползли по шпалам, потому что в небе заметили чей-то аэроплан и унтер-офицеры заорали: «Alles decken, decken!»[169] Вскоре выяснилось, что аэроплан был наш и его по ошибке сбила наша артиллерия. Мы опять встали, и никаких приказов, стоим «вольно». Вдруг видим, летит к нам кавалерист. Ещё издалека он прокричал: «Wo ist Batallionskommando?»[170] Командир батальона выехал навстречу всаднику. Кавалерист подал ему какой-то листок и поскакал дальше. Командир батальона прочёл по дороге полученную бумагу и вдруг, словно с ума спятил, обнажил саблю и полетел к нам. «Alles zurück! Alles zurück![171] — заорал он на офицеров. — Direktion Mulde, einzeln abfallen!»[172] А тут и началось! Со всех сторон, будто только этого и ждали, начали по нас палить. Слева от полотна находилось кукурузное поле. Вот где был ад! Мы на четвереньках поползли к долине, рюкзаки побросали на тех проклятых шпалах. Обер-лейтенанта Мацека стукнуло по голове, он и рта не успел раскрыть. Прежде чем укрыться в долине, мы многих потеряли убитыми и ранеными. Оставили мы их и бежали без оглядки, пока не стемнело. Весь край ещё до нашего прихода был начисто разорён нашими солдатами. Единственное, что мы увидели, — это разграбленный обоз. Наконец добрались мы до станции, где нас ожидал новый приказ: сесть в поезд и ехать обратно к штабу, чего мы не могли выполнить, так как весь штаб днём раньше попал в плен. Об этом нам было известно ещё утром. И остались мы вроде как сироты, никто нас и знать не хотел. Присоединили наш отряд к Семьдесят третьему полку, чтобы легче было отступать; это мы проделали с величайшей радостью. Но, чтоб догнать Семьдесят третий полк, нам пришлось целый день маршировать.



Никто его уже не слушал. Швейк с Ванеком играли в «долгий марьяж». Повар-оккультист из офицерской кухни продолжал подробное письмо своей супруге, которая в его отсутствие начала издавать новый теософский журнал. Балоун дремал на лавке, и телефонисту Ходоунскому не оставалось ничего другого, как повторять: «Да, этого я не забуду…»

Он поднялся и пошёл подглядывать в чужие карты.

— Ты бы мне хоть трубку разжёг, — дружески обратился Швейк к Ходоунскому, — если уж поднялся, чтоб подглядывать в чужие карты. «Долгий марьяж» — вещь серьёзная, серьёзнее, чем вся война и ваша проклятая авантюра на сербской границе. Я тут такую глупость выкинул! Так и дал бы себе по морде. Не подождал с королём, а ко мне как раз

пришёл валет. Ну и балбес же я!

Между тем повар-оккультист закончил письмо и стал перечитывать его, явно довольный тем, как он тонко всё сочинил, ловко обойдя военную цензуру:

> «Дорогая жена!
>
> Когда ты получишь это письмо, я уже несколько дней пробуду в поезде, потому что мы уезжаем на фронт. Меня это не слишком радует, так как в поезде придётся бить баклуши и я не смогу быть полезным, поскольку в нашей офицерской кухне не готовят, а питание мы получаем на станциях. С каким удовольствием я по дороге через Венгрию приготовил бы господам офицерам сегединский гуляш! Но все мои надежды рухнули. Может, когда мы приедем в Галицию, мне представится возможность приготовить настоящую галицийскую «шоулю» — тушёного гуся с перловой кашей или рисом. Поверь, дорогая Геленка, я всей душой стремлюсь, по мере сил и возможностей, скрасить господам офицерам жизнь, полную забот и напряжённого труда. Меня откомандировали из полка в маршевый батальон, о чём я уже давно мечтал, стремясь всею душою даже на очень скромные средства поднять офицерскую полевую кухню на должную высоту. Вспомни, дорогая Геленка, как ты, когда меня призвали, желала мне от всей души попасть к хорошему начальству. Твоё пожелание исполнилось: мне не только не приходится жаловаться, но наоборот. Все господа офицеры — наши лучшие друзья, а по отношению ко мне — отцы родные. При первой же возможности я сообщу тебе номер нашей полевой почты».

Это письмо явилось следствием того, что повар-оккультист вконец разозлил полковника Шрёдера, который до сих пор ему покровительствовал. На прощальном ужине офицеров маршевого батальона, по несчастной случайности, на долю полковника опять не хватило порции рулета из телячьих почек, и «отец родной» отправил «сынка» с маршевым батальоном на фронт, вверив полковую офицерскую кухню какому-то несчастному учителю из школы слепых на Кларове.

Повар-оккультист ещё раз пробежал написанное. Письмо показалось ему достаточно дипломатичным для того, чтобы помочь хоть некоторое время удержаться подальше от поля боя, так как, что там ни говори, а даже

на самом фронте должность повара есть своего рода дезертирство. Правда, до призыва на военную службу он как редактор и издатель оккультного научного журнала о загробном мире написал большую статью о том, что никто не должен бояться смерти, и статью о переселении душ.

Теперь он подошёл к Швейку и Ванеку и начал подглядывать к ним в карты. В этот момент оба игрока забыли и думать о чинопочитании. Они играли в «марьяж» уже не вдвоём, а втроём, вместе с Ходоунским.

Ординарец Швейк распекал старшего писаря Ванека:

— Просто удивительно, как вы ухитряетесь так глупо играть. Ведь вы же видите, что он играет на ренонсах, что у меня нет бубён, и всё-таки, как неразумная скотина, вместо восьмёрки идёте трефовым валетом, и этот балбес выигрывает!

— Подумаешь, сколько крику из-за одной проигранной взятки, — послышался вежливый ответ старшего писаря. — Вы сами играете, как идиот. Из пальца, что ли, я вам высосу бубновую восьмёрку, когда у меня на руках совсем нет бубён, а только крупные пики и трефы. Эх вы, бардачный заседатель!

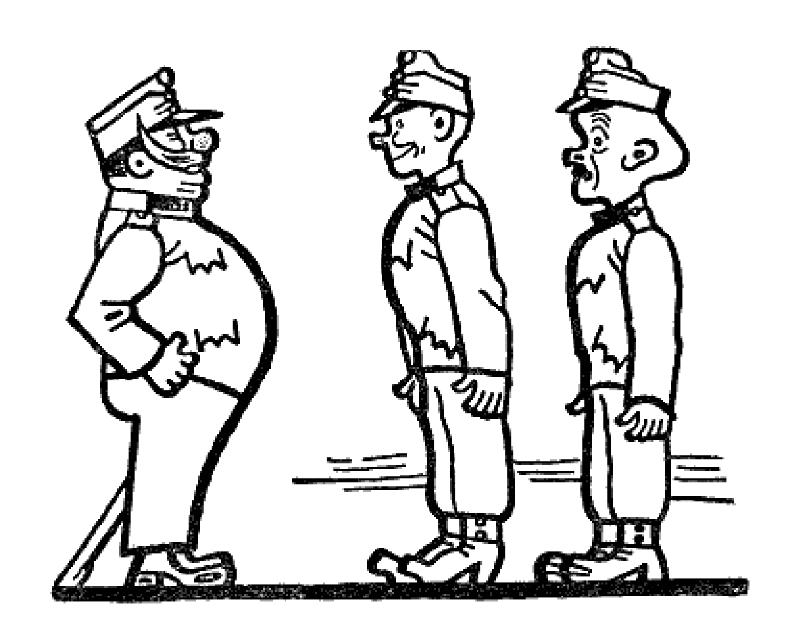
— Тогда вам надо было, умная вы голова, играть без козырей! — с улыбкой присоветовал Швейк. — Точь-в-точь такое случилось как-то раз в винном погребке «У Вальшов». Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не пользовался ими, а всё время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал. А какие были карты! Всех мастей, самые крупные! И так же как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды, так и в тот вечер ни мне и ни кому другому это не было выгодно. Шло бы всё это кругом, а мы платили бы да платили. Я в конце концов не выдержал и говорю: «Господин Герольд, будьте любезны, не валяйте дурака, играйте без козырей». Ну, а он на меня как набросится: имею, мол, право играть, как хочу, а вы должны держать язык за зубами, я-де с университетским образованием. Но это ему дорого обошлось. Хозяин трактира был знакомый, официантка относилась к нам более чем ласково, а патрулю мы разъяснили — и всё было в наилучшем порядке. Прежде всего, это хулиганство — нарушать ночную тишину и звать патруль только потому, что ты, поскользнувшись у трактира, упал, проехался по льду носом и в кровь его расквасил. Кроме того, мы и пальцем не тронули этого господина, когда он шулерничал в «марьяже». Ну а когда его разоблачили, он удирал так быстро, что трахнулся со всего размаху. Хозяин трактира и официантка подтвердили, что мы действительно вели себя чрезвычайно джентльменски, а он ничего лучшего не заслужил. Сидел с семи часов вечера до полночи всего за одной-единственной кружкой пива да стаканом

содовой воды и корчил из себя бог весть кого потому только, что он профессор университета, а в «марьяже» понимал как свинья в апельсине… Ну, кому теперь сдавать?

— Теперь сыграем в «прикупного», — предложил повар-оккультист, — по десять геллеров и по два.

— Лучше расскажите нам, — предложил старший писарь Ванек, — о переселении душ, как это вы рассказывали барышне в кантине, когда разбили себе нос.

— О переселении душ я уже слыхал, — отозвался Швейк. — Как-то, несколько лет тому назад, я решил, чтобы не отстать от других, заняться, простите за выражение, самообразованием и пошёл в читальный зал Пражского промышленного общества. Но, поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться самообразованием я не смог, в читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришёл красть шубы. Тогда я надел праздничный костюм и пошёл в библиотеку Музея. Там мы с товарищем получили книжку о переселении душ. В этой книжке я вычитал, что один индийский император после смерти превратился в свинью, а когда эту свинью закололи, он превратился в обезьяну, из обезьяны — в барсука, из барсука — в министра. На военной службе я убедился, что в этом есть доля правды. Ведь всякий, у кого на эполетах хоть одна звёздочка, обзывает солдат либо морской свиньёй, либо другим каким звериным именем. Поэтому можно предположить, что тысячу лет тому назад эти простые солдаты были знаменитыми полководцами. А в военное время такое переселение душ — глупейшая вещь. Чёрт знает, каких только метаморфоз не произойдёт с человеком, пока он станет, скажем, телефонистом, поваром или пехотинцем! И вдруг он убит гранатой, а его душа вселяется в какую-нибудь артиллерийскую лошадь. Но вот в батарею, когда она занимает высоту, опять попадает снаряд и разносит на куски лошадь, в которую воплотилась душа покойника. Теперь эта душа мигом переселяется в обозную корову, из которой готовят гуляш для всей воинской части, а из коровы — ну, скажем, в телефониста, а из телефониста…



— Удивляюсь, — прервал Швейка явно задетый телефонист Ходоунский, — почему именно я должен быть мишенью для идиотских острот?

— Ходоунский, который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой «Око», как у святой троицы, не родственник ли ваш? — невинно спросил Швейк. — Очень люблю частных сыщиков. Несколько лет тому назад я отбывал воинскую повинность вместе с одним частным сыщиком по фамилии Штендлер. Голова у него напоминала еловую шишку, и наш фельдфебель любил повторять, что за двадцать лет службы он видел много шишкообразных военных голов, но такой еловой шишки даже представить себе не мог. «Послушайте, Штендлер, — говорил он ему, — если бы в нынешнем году не было манёвров, ваша шишковидная голова даже для военной службы не пригодилась бы. Ну, а теперь по вашей шишке будет, по крайней мере, пристреливаться артиллерия, когда мы придём в такую местность, где не найдём лучшего ориентира». Ну и натерпелся же бедняга от него! Иногда во время похода вышлет его фельдфебель на пятьсот шагов вперёд, а потом командует: «Направление — голова-шишка!» Этому самому Штендлеру и как частному сыщику страшно не везло. Бывало, он частенько рассказывал, сидя в кантине, сколько пришлось претерпеть ему на этой службе! Получает он, например, задание: выследить супругу одного клиента. Прибегает такой клиент сам не свой в их контору и даёт поручение разузнать, не снюхалась ли его супруга с другим, а если снюхалась, то с кем снюхалась, где и как снюхалась. Или же наоборот. Этакая ревнивая баба захочет выследить, с кем шляется её муж, чтобы иметь основание почаще устраивать дома скандалы. Штендлер был человек

образованный, говорил о нарушении супружеской верности в самых деликатных выражениях и, бывало, чуть не плакал, рассказывая нам, как от него требовали, чтобы он застиг «её» или «его» in flagranti.[173] Другой бы, скажем, обрадовался, если бы застал такую парочку in flagranti и только глаза бы пялил, а Штендлер, по его словам, в таких случаях сам терялся. Он всегда изысканно выражался и говорил, что смотреть на все эти похабные гнусности у него нет больше сил. Бывало, у нас слюнки текут, как у собаки, мимо которой пронесли варёную ветчину, при его рассказах о позах, в каких он заставал разные парочки. Когда нас оставляли без отпуска в казарме, он нам всё это очень тонко описывал. «В таком положении, говорит, я видел пани такую-то с паном таким-то, — и сообщал их адреса. И был очень грустный при этом. — А сколько пощёчин я получил с той и другой стороны! Но больше всего меня угнетало, что я брал взятки. Одну взятку до самой смерти не забуду. Он голый, и она голая. В отеле — и не заперлись на крючок! Вот дураки! На диване они не поместились, потому что оба были толстые. Резвились на ковре, словно котята. А ковёр такой замызганный, пыльный, весь в окурках. Когда я вошёл, оба вскочили, он встал передо мной, руку держит фиговым листком. Она же повернулась ко мне спиной, на коже ясно отпечатался рисунок ковра, а к хребту прилип окурок. „Извините, говорю, пан Земек, я частный детектив Штендлер из бюро Ходоунского, и мой служебный долг поймать вас in flagranti, согласно заявке вашей уважаемой супруги. Дама, с которой вы находитесь в недозволенной связи, есть пани Гротова“. Во всю свою жизнь я не видел более спокойного гражданина. „Разрешите, — сказал он как ни в чём не бывало, — я оденусь. Во всём единственно виновата моя супруга, которая своей необоснованной ревностью вынуждает меня вступать в недозволенную связь и, побуждаемая необоснованным подозрением, оскорбляет меня как супруга упрёками и отвратительным недоверием. Если, однако, не остаётся никакого сомнения и позора уже не скрыть… Где мои кальсоны?“ — спросил он спокойно. „На постели“. Надевая кальсоны, он продолжал: „Если уже позор скрыть невозможно, остаётся одно: развод. Но этим пятно позора не смоешь. Вообще развод — вещь серьёзная, — рассуждал он, одеваясь. — Самое лучшее, если моя супруга вооружится терпением и не даст повода для публичного скандала. Впрочем, делайте, что хотите. Я вас оставляю здесь наедине с этой госпожой“. Пани Гротова между тем забралась в постель. Пан Земек пожал мне руку и вышел».

Я уже не помню хорошенько, как нам дальше рассказывал пан Штендлер, что он потом ей говорил. Только он весьма интеллигентно беседовал с этой дамой в постели, очень культурно рассуждал, например,

что брак вовсе не установлен для того, чтобы каждого вести прямо к счастью, и что долг каждого из супругов побороть похоть, а также очистить и одухотворить свою плоть. «При этом я, — рассказывал Штендлер, — начал раздеваться, и, когда разделся, одурел и стал диким, словно олень в период случки, в комнату вошёл мой хороший знакомый Штах, тоже частный детектив из конкурировавшего с нами бюро Штерна, куда обратился пан Грот за помощью относительно своей жены, которая якобы была с кем-то в связи. Этот Штах сказал только: «Ага, пан. Штендлер in flagranti с пани Гротовой! Поздравляю!» — закрыл тихо дверь и ушёл.

«Теперь уж всё равно, — сказала пани Гротова, — нечего спешить одеваться. Рядом со мною достаточно места». — «У меня, милостивая государыня, действительно речь идёт о месте», — ответил я, сам не понимая, что говорю. Помню только, я рассуждал о том, что если между супругами идут раздоры, то от этого страдает, между прочим, и воспитание детей».

Далее он нам рассказал, как он быстро оделся, как вовсю удирал и как решил обо всём немедленно сообщить своему хозяину, пану Ходоунскому. По дороге он зашёл подкрепиться, а когда пришёл в контору, на нём уже был поставлен крест. Там уже успел побывать Штах, которому его хозяин приказал нанести удар Ходоунскому и показать ему, что представляет собою сотрудник его частного сыскного бюро. А Ходоунский не придумал ничего лучшего, как немедленно послать за женой пана Штендлера, чтобы она сама с ним расправилась, как полагается расправиться с человеком, которого посылают по служебным делам, а сотрудник конкурирующего учреждения застаёт его in flagranti. «С той самой поры, — говорил пан Штендлер, когда об этом заходила речь, — моя башка стала ещё больше походить на еловую шишку».

— Так будем играть в «пять — десять»?

Игра продолжалась.

Поезд остановился на станции Мошон. Был уже вечер, — из вагона никого не выпустили.

Когда поезд тронулся, в одном вагоне раздалось громкое пение. Певец словно хотел заглушить стук колёс. Какой-то солдат с Кашперских гор, охваченный религиозным экстазом, диким рёвом воспевал тихую ночь, которая спускалась на венгерские долины:

Gute Nacht! Gute Nacht!
Allen Müden sei's gebrach..
Neigt der Tag stille zu Ende,

ruhen alle fleis'gen Hande,
Bis der Morgen ist erwacht.
Gute Nacht! Gute Nacht![174]

— Halt Maul, du Elender![175] — прервал кто-то сентиментального певца который сразу же умолк. Его оттащили от окна.

Но «люд усталый» не отдыхал до утра. Как во всём поезде при свечах так и здесь при свете маленькой керосиновой лампы, висевшей на стенке продолжали играть в «чапари». Швейк всякий раз, когда кто-нибудь проигрывал при раздаче козырей, возвещал, что это самая справедливая игра так как каждый может выменять себе столько карт, сколько захочет.

— Когда играешь в «прикупного», — утверждал Швейк, — можешь брать только туза или семёрку, но потом тебе остаётся только пасовать. Остальные карты брать нельзя. Если же берёшь, то на свой риск.

— Сыграем в «здоровьице», — предложил Ванек под общий одобрительный гул.

— Семёрка червей! — провозгласил Швейк, снимая карту. — С каждого по десяти геллеров, сдаётся по четыре карты. Ставьте, постараемся выиграть.

На лицах всех присутствовавших выражалось такое довольство, точно не было никакой войны, не было поезда, который вёз солдат на передовые позиции, на кровавые битвы и резню, а сидят они в одном из пражских кафе за игорными столиками.

— Когда я начал играть, не имея на руках ничего, и переменил все четыре карты, я не думал, что получу туза, — сказал Швейк после одной партии. — Куда вы прёте с королём? Бью короля тузом!

В то время как здесь короля били тузом, далеко на фронте короли били друг друга своими подданными.

*

В штабном вагоне, где разместились офицеры маршевого батальона, с начала поездки царила странная тишина. Большинство офицеров углубилось в чтение небольшой книжки в полотняном переплёте, озаглавленной «Die Sünden der Väter». Novelle von Ludwig Ganghofer.[176] Все одновременно сосредоточенно изучали страницу сто шестьдесят

первую. Командир батальона капитан Сагнер стоял у окна и держал в руке ту же книжку, открытую на той же сто шестьдесят первой странице.

Он смотрел на пейзаж, открывавшийся перед ним, и размышлял о том, как, собственно, вразумительно объяснить, что с этой книгой надлежит делать. Всё это было строго конфиденциально.

Офицеры между тем пришли к заключению, что полковник Шрёдер совершенно спятил. Он уже давно был малость не в себе, но всё же трудно было ожидать, что он так сразу свихнётся. Перед отправкой поезда он приказал всем офицерам собраться на последнее совещание, во время которого сообщил, что каждый должен получить по экземпляру книги «Die Sunden der Vater» Людвига Гангофера. Книги эти он приказал принести в канцелярию батальона.

— Господа, — произнёс он чрезвычайно таинственно, — никогда не забывайте страницу сто шестьдесят первую!

Внимательно прочитав эту страницу, офицеры ничего не поняли. На сто шестьдесят первой странице какая-то Марта подошла к письменному столу, взяла оттуда какую-то роль и громогласно высказала мысль, что публика должна сочувствовать страданиям героя пьесы; потом на той же странице появился некий Альберт, который без устали острил. Но так как остроты относились к предыдущим событиям, они казались такой ерундой, что поручик Лукаш со злости перекусил мундштук.

— Совсем спятил старикашка, — решили все. — Теперь кончено. Теперь его переведут в военное министерство.

Обдумав всё как следует, капитан Сагнер отошёл от окна. Большим педагогическим талантом он не обладал, поэтому у него много времени ушло на то, чтобы составить в голове план лекции о значении страницы сто шестьдесят первой.

Прежде чем начать свою речь, он обратился к офицерам со словами: «Meine Herren!»[177] — как это делал дед-полковник, хотя раньше, перед отправкой, все они были для него «Kameraden».[178]

— Also, meine Herren![179] — И Сагнер принялся читать лекцию о том, что вчера вечером он получил от полковника инструкцию касательно страницы сто шестьдесят первой в «Die Sünden der Väter» Людвига Гангофера.

— Also, meine Herren! — продолжал он торжественно. — Перед нами совершенно секретная информация, касающаяся новой системы шифровки полевых депеш.

Кадет Биглер вытащил записную книжку и карандаш и голосом,

выражавшим необычайное усердие и заинтересованность, произнёс: «Я готов, господин капитан».

Все взглянули на этого глупца, усердие которого в школе вольноопределяющихся граничило с идиотизмом. Он добровольно пошёл на войну и при первом удобном случае, когда начальник школы вольноопределяющихся знакомился с семейным положением своих учеников, объявил, что его предки писались в прошлом «Бюглер фон Лейтгольд» и что на их гербе было изображено крыло аиста с рыбьим хвостом.

С этого времени кадета прозвали «крыло аиста с рыбьим хвостом». Биглера сразу невзлюбили и жестоко над ним издевались, тем более что герб совсем не соответствовал солидной фирме его отца, торговавшего заячьими и кроличьими шкурками. Не помогало и то, что этот романтический энтузиаст честно и усердно стремился поглотить всю военную науку, отличался прилежанием и знал не только то, чему его учили. Чем дальше, тем больше он забивал себе голову изучением трудов по военному искусству и истории войн. Он всегда заводил разговор на эти темы, пока его не обрывали и не ставили на своё место. В кругу офицеров он считал себя равным высшим чинам.

— Sie, Kadett![180] — сказал капитан Сагнер. — Покуда я не разрешу вам говорить, извольте молчать. Вас не спрашивают. Нечего сказать, умный солдат! Я сообщаю совершенно секретную информацию, а вы записываете в записную книжку. В случае её потери вас ждёт военно-полевой суд!

Помимо всего прочего, у кадета Биглера была скверная привычка оправдываться: он старался убедить каждого, что у него только благие намерения.

— Осмелюсь доложить, господин капитан, — ответил он, — даже в случае потери записной книжки никто не сможет расшифровать, что там написано. Так как я стенографирую и мои сокращения прочесть никто не сумеет. Я пользуюсь английской системой стенографии.

Все посмотрели на него с презрением. Капитан Сагнер махнул рукой и продолжал свою лекцию:

— Я уже упоминал о новом способе шифровки полевых донесений. Вам, вероятно, казалось непонятным, почему полковник рекомендует читать именно сто шестьдесят первую страницу романа Людвига Гангофера «Грехи отцов». Это, господа, ключ к новой шифровальной системе, введённой согласно новому распоряжению штаба армейского корпуса, к которому мы прикомандированы. Как вам известно, имеется много способов шифровки важных сообщений в полевых условиях. Самый

новый метод, которым мы пользуемся, — это дополнительный цифровой метод. Тем самым отпадают вручённый вам на прошлой неделе штабом полка шифр и ключ к нему.

— Система эрцгерцога Альбрехта, заимствованная из Гронфельда, — 8922-R, — проворчал себе под нос дотошный кадет Биглер.

— Новая система необычайно проста, — разносился по вагону голос капитана. — Я лично получил от господина полковника второй том и ключ. Если нам, например, должны будут передать приказ: «Auf der Kote 228, Maschinengewehrfeuer links-richten»,[181] то мы, господа, получим следующую депешу: Sache — mit — uns — das — wir — aufsehen — in — die — versprachen — die — Martha — dich — das — ängstlich — dann — wir — Martha — wir — den — wir — Dank — wohl — Regiekollegium — Ende — wir — versprachen — wir — gebessert — versprachen — wirklich — denke — Idee — ganz — herrscht — Stimme — letzten.[182]

Это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций. Из штаба по телефону в батальон, из батальона по телефону в роту. Командир, получив эту шифрованную депешу, расшифрует её следующим способом: берём «Die Sünden der Väter», открываем страницу сто шестьдесят первую и начинаем искать сверху на противоположной странице сто шестидесятой слово «Sache». Пожалуйста, господа! В первый раз «Sache» встречается на странице сто шестидесятой по порядку фраз пятьдесят вторым словом, тогда на противоположной сто шестьдесят первой странице ищем пятьдесят вторую букву сверху. Заметьте себе, что это «a». Следующее слово в депеше — это «mit». На странице сто шестидесятой это — седьмое слово, соответствующее седьмой букве на странице сто шестьдесят первой, букве «u». Потом идёт «uns», то есть, прошу следить за мной внимательно, восемьдесят восьмое слово, соответствующее восемьдесят восьмой букве на противоположной, сто шестьдесят первой странице. Это буква «f». Мы расшифровали «auf». И так продолжаем, пока не расшифруем приказа: «На высоте двести двадцать восемь направить пулемётный огонь влево». Очень остроумно, господа, просто, и нет никакой возможности расшифровать без ключа сто шестьдесят первой страницы «Die Sünden der Väter» Людвига Гангофера.

Все молча посмотрели на злосчастные страницы и задумались. На минуту воцарилась тишина, и вдруг кадет Биглер озабоченно вскрикнул:

— Herr Hauptmann, ich melde gehorsam… Jesus Maria! Es stimmt nicht! [183]

И действительно, всё было очень загадочно. Сколько господа офицеры

ни силились, сколько ни старались, никто, кроме капитана Сагнера, не нашёл на странице сто шестидесятой названных слов, а на противоположной, сто шестьдесят первой странице, которой начинался ключ, соответствующих этому ключу букв.

— Meine Herren! — неловко замялся капитан Сагнер, убедившись, что кадет Биглер прав. — В чём дело? В моём «Die Sünden der Vättr» Гангофера всё это есть, а в вашем нет?

— С вашего разрешения, капитан, — отозвался опять кадет Биглер, — позволю себе обратить ваше внимание на то, что роман Люднига Гангофера в двух томах. Соблаговолите убедиться: на первой странице написано «Роман в двух томах». У нас первый том, а у вас второй. — развил свою мысль дотошный кадет. — Поэтому ясно как день, что наши сто шестидесятая и сто шестьдесят первая страницы не совпадают с вашими. У нас совершенно иной текст. Первое слово депеши у вас должно бы получиться «auf», а у нас выходит «Heu»!

Теперь все обнаружили, что Биглер не так уж глуп.

— Я получил второй том в штабе бригады, — сказал капитан Сагнер. По-видимому, произошла ошибка. Полковник заказал для вас первый том. Очевидно, — продолжал он таким тоном, словно для него всё было ясно и просто ещё задолго до начала лекции о чрезвычайно удобном способе шифровки, — в штабе бригады перепутали. В полк не сообщили, что дело касается второго тома, и вот результат.



Кадет Биглер обвёл всех торжествующим взглядом. Подпоручик Дуб

шепнул поручику Лукашу, что «крыло аиста с рыбьим хвостом» здорово утёрло нос капитану Сагнеру.

— Странный случай, господа, — снова начал капитан Сагнер, желая завязать разговор и рассеять удручающее молчание. — В канцелярии бригады сидят ограниченные люди.

— Позволю себе подчеркнуть, — перебил его неутомимый кадет Биглер, которому снова захотелось похвастаться своим умом, — подобные вещи секретного, строго секретного характера не должны были идти из дивизии через канцелярию бригады. Дела армейского корпуса, являющиеся секретными, сугубо секретными, должны передаваться сугубо секретным циркуляром только командирам частей, дивизий и бригады. Мне известны системы шифров, которыми пользовались во время войн за Сардинию и Савойю, во время англо-французской осады Севастополя, во время боксёрского восстания в Китае и во время последней русско-японской войны. Системы эти передавались…

— Плевать нам на это, кадет Биглер, — с выражением презрения и неудовольствия прервал его капитан Сагнер. — Несомненно одно: система, о которой шла речь и которую я вам объяснил, является не только одной из лучших, но, можно сказать, одной из самых непостигаемых. Все отделы контрразведки вражеских штабов теперь могут заткнуться, они скорее лопнут, чем разгадают наш шифр. Это нечто совершенно новое. Подобных шифров ещё никогда не бывало.

Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул.

— Позволю себе обратить ваше внимание, господин капитан, — сказал он, — на книгу Керикгофа о военной шифровке. Книгу эту каждый может заказать в издательстве Военного научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан, метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого метода является полковник Кирхнер, служивший при Наполеоне Первом в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод Кирхнера, метод шифровки словами. Каждое слово депеши расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был усовершенствован поручиком Флейснером в его книге «Handbuch der militärischen Kryptographie»,[184] которую каждый может купить в издательстве Военной академии в Винер-Нейштадте. Пожалуйста, господин капитан.

Кадет Биглер полез в чемоданчик и вынул оттуда книжку, о которой только что говорил.

— Пожалуйста. Извольте удостовериться. Флейснер приводит тот же самый пример. Тот же самый пример, который мы все сейчас слышали.

Депеша: «Auf der Kote 228, Maschinengewehrfeuer links-richten».

Ключ: Ludwig Ganghofer «Die Sünden der Väter», zweiter Band. Извольте проследить дальше. Шифр «Sache — rnit — uns — das — wir — aufsehen — in — die — versprachen — die — Martha». Точно, слово в слово то самое, что мы слышали минуту назад.

Возразить было нечего. Сопливое «крыло аиста с рыбьим хвостом» было абсолютно право. В штабе армии один из генералов облегчил себе работу: нашёл книгу Флейснера о военных шифрах, и дело с концом.

Пока всё это выяснялось, поручик Лукаш старался побороть необъяснимое душевное волнение. Он кусал себе губы, хотел что-то возразить и, наконец, сказал, но совсем не то, что намеревался сказать сначала.

— Не следует всё это воспринимать трагически, — произнёс он в каком-то странном замешательстве. — За время нашего пребывания в лагере у Брука-на-Лейте сменилось несколько систем шифровки депеш. Пока мы приедем на фронт, появятся новые системы, но думаю, что там вовсе не останется времени на разгадывание подобной тайнописи. Прежде чем кто-нибудь из нас успеет расшифровать нужный пример, ни батальона, ни роты, ни бригады не будет и в помине. Практического значения это не имеет!

Капитан Сагнер нехотя согласился.

— Практически, — подтвердил он, — по крайней мере, что касается моего опыта на сербском фронте, ни у кого не хватало времени на расшифровку. Это не значит, конечно, что шифры не имеют значения во время продолжительного пребывания в окопах, когда мы там засели и ждём. Что же касается частой смены шифров, это тоже верно. Капитан Сагнер одну за другой сдавал свои позиции. — Главная причина того, что теперь при передаче приказов из штаба на позиции всё меньше и меньше пользуются шифрами, заключается в том, что наши полевые телефоны недостаточно совершенны и неясно передают, особенно во время артиллерийской канонады, отдельные слоги. Вы абсолютно ничего не слышите, и это вносит ещё большую путаницу.

— Замешательство — самое скверное, что может быть на фронте, господа, — пророчески изрёк он и опять умолк. — Через минуту, — снова заговорил капитан, глядя в окно, — мы будем в Рабе. Meine Herren! Солдаты получат здесь по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы. Устроим получасовой отдых. — Он посмотрел на маршрут. — В четыре двенадцать отправление. В три пятьдесят восемь — все по вагонам. Выходить из вагонов по ротам: одиннадцатая и т. д. Zugsweise, Direktion

Verpflegsmagazin № 6.[185] Контроль при выдаче ведёт кадет Биглер.

Все посмотрели на кадета Биглера, словно предупреждая: «Придётся тебе, молокосос, выдержать здоровый бой».

Но старательный кадет достал из чемоданчика лист бумаги, линейку, разлиновал бумагу, разграфил лист по маршевым ротам и начал спрашивать офицеров о численном составе их рот; однако ни один из командиров не знал этого толком, — они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках.

Капитан Сагнер с отчаяния принялся читать злополучную книгу «Грехи отцов». Когда поезд остановился на станции Раб, он захлопнул её и заметил:

— Этот Людвиг Гангофер неплохо пишет.

Поручик Лукаш первый выпрыгнул из штабного вагона и направился к Швейку.

*

Швейк и его товарищи давно уже кончили играть в карты, а денщик поручика Лукаша Балоун почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как объедаются господа офицеры. Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так. Ещё в войну шестьдесят шестого года офицеры, как рассказывал ему дедушка, живший на содержании у своих детей, делились с солдатами и курицей, и куском хлеба. Причитаниям Балоуна не было конца, и Швейк счёл нужным похвалить военные порядки и нынешнюю войну.

— Уж очень молодой у тебя дедушка, — добродушно улыбаясь, начал он, когда приехали в Раб. — Твой дедушка помнит только войну шестьдесят шестого года, а вот дедушка моего знакомого Рановского служил в Италии ещё при крепостном праве. Отслужил он там двенадцать лет и вернулся домой капралом. Работы для него не находилось. Так вот, этого дедушку нанял его же отец. Как-то раз поехали они на барщину корчевать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего тятеньки, был такой здоровенный, что его не могли с места сдвинуть. Ну, дед и говорит: «Оставим эту сволочь здесь. На кой мучиться?» А лесник, услышав это, стал орать и замахнулся на него палкой: «Выкорчевать пень, и всё тут». Капрал и сказал-то ему всего-

навсего: «Ты молокосос, я старый отставной солдат», — а уже через неделю получил повестку и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Пробыл он там ещё десять лет и написал домой, что, когда вернётся, трахнет лесника по голове топором. По счастью, лесник умер раньше своей смертью.



В этот момент в дверях вагона появился поручик Лукаш.

— Швейк, идите-ка сюда! — сказал он. — Бросьте ваши глупые разглагольствования, лучше разъясните мне кое-что.

— Слушаюсь, иду, господин обер-лейтенант.

Поручик Лукаш увёл Швейка с собой. Взгляд, которым он наградил его, не предвещал ничего хорошего.

Дело заключалось в том, что во время позорно провалившейся лекции капитана Сагнера поручик Лукаш, сопоставив факты, нашёл единственно возможное решение загадки. Для этого, правда, не пришлось прибегать к особо сложным умозаключениям, так как за день до отъезда Швейк рапортовал Лукашу: «Господин обер-лейтенант, в батальоне лежат какие-то книжки для господ офицеров. Я принёс их из полковой канцелярии».

Когда Лукаш и Швейк перешли через второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обиняков спросил:

— Швейк, что стало с этими книжками?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это очень длинная история, а вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. Помните, вы разорвали официальное отношение касательно военного

займа и хотели мне дать подзатыльник, а я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде, во время войны, люди платили с окна: за каждое окно двадцать геллеров и с гуся столько же…

— Этак, Швейк, мы с вами никогда не кончим, — прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы этот прохвост Швейк самого важного не узнал и не мог этого использовать. — Знаете Гангофера?

— Кто он такой? — вежливо осведомился Швейк.

— Немецкий писатель, дурак вы этакий! — обозлился поручик Лукаш.

— Ей-богу, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку, — лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем, Гаеком Ладиславом из Домажлиц. Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняжку за чистокровного шпица. Очень весёлый и порядочный был человек. Посещал он один трактир и всегда читал там свои рассказы, такие печальные, что все со смеху умирали, а он плакал и платил за всех. А мы должны были ему петь:

Домажлицкая башня
Росписью украшена.
Кто её так размалевал,
Часто девушек целовал.
Больше нет его здесь:
Помер, вышел весь…

— Вы не в театре! Орёт, как оперный певец, — испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу: «Помер, вышел весь…» — Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать, обратили вы внимание, что те книжки, о которых мы говорили, — сочинение Гангофера? Так что стало с теми книжками? — злобно выпалил поручик.

— С теми, которые я принёс из полковой канцелярии? — задумчиво переспросил Швейк. — Они действительно, господин обер-лейтенант, были написаны тем, о котором вы спрашивали, не знаком ли я с ним. Я получил телефонограмму прямо из полковой канцелярии. Видите ли, там хотели послать эти книжки в канцелярию батальона, но в канцелярии не было ни души; ведь все непременно должны были пойти в кантину, ибо, отправляясь на фронт, никто не знает, доведётся ли ему когда-нибудь опять посидеть в кантине. Так вот, там они были и пили. В других маршевых ротах по телефону тоже никого не смогли отыскать. Памятуя, что мне как

ординарцу вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист Ходоунский, я сидел и ждал, пока не дошла и до меня очередь. В полковой канцелярии ругались: никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ офицеров всего маршевого батальона. Так как я понимаю, господин обер-лейтенант, что на военной службе нужно действовать быстро, я ответил им по телефону, что сам заберу эти книжки и отнесу их в батальонную канцелярию. Мне дали такой тяжёлый ранец, что я едва его дотащил. Здесь я просмотрел эти книжки. И рассудил по-своему: старший писарь в полковой канцелярии сказал мне, что, согласно телефонограмме, которая была передана в полк, в батальоне уже знают, какие из этих книжек выбрать, который там том. Эти книжки были в двух томах — первый том отдельно, второй — отдельно. Ни разу в жизни я так не смеялся, потому, что я прочёл много книжек, но никогда не начинал читать со второго тома. А он мне опять: «Вот вам первые тома, а вот — вторые. Который том должны читать господа офицеры, они уж сами знают!» Я подумал, что все нализались, потому что книжку всегда читают с начала. Скажем, роман об отцовских грехах, который я принёс (я, можно сказать, знаю немецкий язык), нужно начинать с первого тома, ведь мы не евреи и не читаем сзаду наперёд. Потом по телефону я спросил об этом вас, господин обер-лейтенант, когда вы возвратились из Офицерского собрания. Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне всё шиворот-навыворот и не полагается ли читать книжки в обратном порядке: сначала второй том, а потом первый. Вы ответили, что я пьяная скотина. Раз не знаю, что в «Отче наш» сначала идёт «Отче наш» и только потом «аминь»… Вам нехорошо, господин обер-лейтенант? — с участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего паровоза.

Бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нём было написано безнадёжное отчаяние.

— Продолжайте, продолжайте, Швейк… уже прошло. Уже всё равно…

— И я, — прозвучал на заброшенном пути мягкий голос Швейка, — придерживался, как я уже говорил, того же мнения. Однажды я купил кровавый роман «Рож Шаван из Баконского леса», и в нём не хватало первой части. Так мне пришлось догадываться о том, что было вначале. Ведь даже в разбойничьей истории без первой части не обойтись. Мне было совершенно ясно, что, собственно говоря, господам офицерам совершенно бессмысленно читать сначала вторую часть, а потом первую, и глупо было бы с моей стороны передавать в батальон то, что мне сказали в

полковой канцелярии: господа офицеры, мол, сами знают, который том должны читать. Вообще вся история с этими книжками, господин обер-лейтенант, казалась мне ужасно странной и загадочной. Я знал, что господа офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны…

— Оставьте ваши глупости, Швейк, — простонал поручик Лукаш.

— Ведь я, господин обер-лейтенант, тогда же спросил, желаете ли вы сразу оба тома. А вы ответили точь-в-точь как теперь, чтобы я оставил свои глупости — нечего, мол, таскаться с какими-то книгами, и я решил: раз таково ваше мнение, то остальные господа офицеры должны быть того же мнения. Посоветовался я об этом с нашим Ванеком. Ведь он уже был на фронте и имеет опыт в подобных делах. Он сказал, что поначалу господа офицеры воображали, будто война — чепуха, и привозили на фронт, словно на дачу, целые библиотеки. Офицеры получали от эрцгерцогинь в дар даже полные собрания сочинений разных поэтов, так что денщики под тяжестью книг сгибались в три погибели и проклинали день, когда их мать на свет родила. Ванек рассказывал, что эти книги совершенно не шли на раскурку, так как были напечатаны на очень хорошей толстой бумаге, а в отхожем месте человек такими стихами обдирал себе, извиняюсь, господин обер-лейтенант, всю задницу. Читать было некогда, так как всё время приходилось удирать; всё понемножку выбрасывалось, а потом уже стало правилом: заслышав первую канонаду, денщик сразу вышвыривает все книги для чтения. Всё это я уже знал, но мне хотелось, господин обер-лейтенант, ещё раз услышать ваше мнение, и, когда я вас спросил по телефону, что делать с этими книжками, вы сказали, что, когда мне что-нибудь влезет в мою дурацкую башку, я не отстану до тех пор, пока не получу по морде. Так я, значит, господин обер-лейтенант, отнёс в канцелярию батальона только первые тома этого романа, а второй том оставил на время в нашей ротной канцелярии. Сделал я это с добрым намерением, чтобы после того, как господа офицеры прочтут первый том, выдать им второй том, как это делается в библиотеке. Но вдруг пришло извещение об отправке, и по всему батальону была передана телефонограмма, — всё лишнее сдать на полковой склад. Я ещё раз спросил господина Ванека, не считает ли он второй том романа лишним. Он мне ответил, что после печального опыта в Сербии, Галиции и Венгрии никаких книг для чтения на фронт не возят. Единственно полезными являются только ящики в городах, куда для солдат складывают прочитанные газеты, так как в газету удобно завёртывать табак или сено, что курят солдаты в окопах. В батальоне уже роздали первые тома этого романа, а вторые тома мы отнесли на склад. — Швейк помолчал, а минуту

спустя добавил: — Там, на этом складе, чего только нет, даже цилиндр будейовнцкого регента, в котором он явился в полк по мобилизации.

— Одно скажу вам, Швейк, — с тяжким вздохом произнёс поручик Лукаш. — Вы даже не отдаёте себе отчёта в размерах своих проступков. Мне уже самому противно без конца повторять, что вы идиот. Слов не хватает, чтобы определить вашу глупость. Когда я называю вас идиотом, это ещё очень мягко и снисходительно. Вы сделали такую ужасную вещь, что все преступления, совершённые вами с тех пор, как я вас знаю, ангельская музыка по сравнению с этим. Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк… Но вы этого никогда не узнаете! Если когда-нибудь вспомнят об этих книжках, не вздумайте трепаться, что я сказал вам по телефону насчёт второго тома… Если зайдёт речь о том, как обстояло дело с первым и вторым томами, вы и виду не подавайте! Вы ничего не знаете, ни о чём не помните! Посмейте только впутать меня в какую-нибудь историю! Смотрите у меня…



Поручик Лукаш говорил как в лихорадке. Момент, когда он умолк, Швейк использовал для невинного вопроса:

— Прошу великодушно простить меня, господин обер-лейтенант, но почему я никогда не узнаю, что я такого ужасного натворил? Я, господин обер-лейтенант, осмелился вас спросить об этом единственно для того, чтобы в будущем избегать подобных вещей. Мы ведь, как говорится, учимся на своих ошибках. Вот, например, литейщик Адамец из Даньковки. Он по ошибке выпил соляную кислоту…

Швейк не окончил, так как поручик Лукаш прервал его повествование:

— Балбес! Ничего я не буду объяснять! Лезьте обратно в вагон и скажите Балоуну, пусть он, когда мы приедем в Будапешт, принесёт в штабной вагон булочку и печёночный паштет, который лежит внизу в моём чемоданчике, завёрнутый в станиоль. А Ванеку скажите, что он лошак. Трижды я приказывал ему представить мне точные данные о численном составе роты. Сегодня мне эти данные понадобились, и оказалось, что у меня старые сведения, с прошлой недели.

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant,[186] — пролаял Швейк и не спеша направился к своему вагону.

Поручик Лукаш, бредя по железнодорожному полотну, бранил сам себя: «Мне бы следовало надавать ему оплеух, а я болтаю с ним, как с приятелем!»

Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удаётся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.

*

— Господин фельдфебель, — доложил Швейк, усевшись на своё место, — господин обер-лейтенант Лукаш, как мне кажется, сегодня в очень хорошем расположении духа. Он велел передать вам, что вы лошак, так как он уже трижды требовал от вас точных сведений о численном составе роты.

— Боже ты мой! — разволновался Ванек. — Задам же я теперь этим взводным! Разве я виноват, если каждый бродяга взводный делает, что ему вздумается, и не посылает мне данных о составе взвода? Из пальца мне, что ли, высосать эти сведения? Вот какие порядки у нас в роте! Это возможно только в нашей одиннадцатой маршевой роте. Я это предчувствовал, я так и знал! Я ни минуты не сомневался, что у нас непорядки. Сегодня в кухне недостаёт четырёх порций, завтра, наоборот, три лишних. Если бы эти разбойники сообщали, по крайней мере, кто лежит в госпитале! Ещё прошлый месяц у меня в ведомостях значился Никодем, и только при выплате жалованья я узнал, что этот Никодем умер от скоротечной чахотки в будейовицкой туберкулёзной больнице, а мы всё это время получали на него довольствие. Мы выдали для него мундир, а куда он делся — один бог ведает. И после этого господин обер-лейтенант называет меня лошаком. Он сам не в состоянии уследить за порядком в своей роте.

Старший писарь Ванек взволнованно расхаживал по вагону.

— Будь я командиром, у меня всё бы шло как по-писаному! Я имел бы сведения о каждом. Унтера должны были бы дважды в день подавать мне данные о численном составе. Но что делать, когда наши унтера ни к чёрту не годятся! И хуже всех взводный Зика. Всё шуточки да анекдоты. Ты ему объявляешь, что Коларжик откомандирован из его взвода в обоз, а он на другой день докладывает, что численный состав взвода остался без изменения, как будто Коларжик и сейчас болтается в роте и в его взводе. И так изо дня в день. А после этого я лошак! Нет, господин обер-лейтенант, так вы не приобретёте себе друзей! Старший ротный писарь в чине фельдфебеля — это вам не ефрейтор, которым каждый может подтереть себе…

Балоун, слушавший разиня рот, договорил за Ванека это изящное словцо, желая, по-видимому, вмешаться в разговор.

— Цыц, вы там! — озлился разволновавшийся старший писарь.

— Послушай-ка, Балоун, — вдруг вспомнил Швейк, — господин обер-лейтенант велел тебе, как только мы приедем в Будапешт, принести булочку и печёночный паштет в станиоле, который лежит в чемоданчике у господина обер-лейтенанта в самом низу.

Великан Балоун сразу сник, безнадёжно свесив свои длинные обезьяньи руки, и долго оставался в таком положении.

— Нет его у меня, — едва слышно, с отчаянием пролепетал он, уставившись на грязный пол вагона. — Нет его у меня, — повторил он отрывисто. — Я думал… я его перед отъездом развернул… Я его понюхал… не испортился ли… Я его попробовал! — закричал он с таким искренним раскаянием, что всем всё стало ясно.

— Вы сожрали его вместе со станиолем, — остановился перед Балоуном старший писарь Ванек.

Он развеселился. Теперь ему не нужно доказывать, что не только он лошак, как назвал его поручик Лукаш. Теперь ясно, что причина колебания численности состава «х» имеет свои глубокие корни в других «лошаках». Кроме того, он был доволен, что переменилась тема разговора и объектом насмешек стал ненасытный Балоун и новое трагическое происшествие. Ванека так и подмывало сказать Балоуну что-нибудь неприятно-нравоучительное. Но его опередил повар-оккультист Юрайда. Отложив свою любимую книжку — перевод древнеиндийских сутр «Прагна Парамита», он обратился к удручённому Балоуну, безропотно принимавшему новые удары судьбы.

— Вы, Балоун, должны постоянно следить за собой, чтобы не потерять

веры в себя и в свою судьбу. Вы не имеете права приписывать себе то, что является заслугой других. Всякий раз, когда перед вами возникает проблема, подобная сегодняшней — сожрать или не сожрать, — спросите самого себя: «В каком отношении ко мне находится печёночный паштет?»

Швейк счёл нужным пояснить это теоретическое положение примером:

— Ты, Балоун, говорил, что у вас будут резать свинью и коптить её и что, как только ты узнаешь номер нашей полевой почты, тебе пришлют окорок. Вот представь себе, полевая почта переслала окорок к нам в роту и мы с господином старшим ротным писарем отрезали себе по куску. Ветчина так нам понравилась, что мы отрезали ещё по куску, пока с этим окороком не случилось то, что с одним моим знакомым почтальоном по фамилии Козёл. У него была костоеда. Сначала ему отрезали ногу по щиколотку, потом по колено, потом ляжку, а если бы он вовремя не умер, его чинили бы, как карандаш с разбитым графитом. Представь себе, что мы сожрали твой окорок, как ты слопал печёночный паштет у господина обер-лейтенанта.



Великан Балоун обвёл всех грустным взглядом.

— Только благодаря моим стараниям, — напомнил Балоуну старший писарь, — вы остались в денщиках у господина обер-лейтенанта. Вас хотели перевести в санитары, и вам пришлось бы выносить раненых с поля сражения. Под Дуклой наши три раза подряд посылали санитаров за прапорщиком, который был ранен в живот у самых проволочных заграждений, и все они остались там — всем пули угодили в голову. Только четвёртой паре санитаров удалось вынести его с линии огня, но ещё по дороге в перевязочный пункт прапорщик приказал долго жить.

Балоун не сдержался и всхлипнул.

— Постыдился бы, — с презрением сказал Швейк. — А ещё солдат!

— Да-а, если я не гожусь для войны! — захныкал Балоун. — Обжора я, ненасытный я, это правда. А ведь всё потому, что оторвали меня от привычной жизни. Это у нас в роду. Покойник отец в Противинском трактире бился об заклад, что за один присест съест пятьдесят сарделек да два каравая хлеба, и выиграл. А я раз поспорил, что съем четырёх гусей и две миски кнедликов с капустой, и съел. Бывало, после обеда захочется закусить. Схожу в чуланчик, отрежу себе кусок мяса, пошлю за жбаном пива и умну килограмма два копчёного мяса. Служил у нас батрак Вомела, старый человек, так он мне всегда внушал, чтобы я этим не гордился и не приучался к обжорству. Он, мол, помнит, как дед рассказывал про одного обжору. Во время войны восемь лет подряд не родился хлеб. Пекли тогда что-то из соломы и из льняного жмыха, а когда в молоко могли накрошить немного творогу, — ведь хлеба-то не было, — это считалось большим праздником. Обжора-мужик помер через неделю, потому что его желудок к голоду был непривычен.

Балоун обратил печальный взор к небу.

— Но я верю, что господь бог хоть и наказует людей за грехи, но всё же совсем их своей милостью не оставляет.

— Господь бог сотворил обжор, он о них и позаботится, — заметил Швейк. — Один раз тебя уже связывали, а теперь ты вполне заслужил передовые позиции. Когда я был денщиком господина обер-лейтенанта, он во всём на меня полагался. Ему и в голову не приходило, что я могу что-нибудь у него сожрать. Когда выдавали сверх пайка, он мне обычно говорил: «Возьмите это себе, Швейк» или же: «Чего там, мне много не нужно. Оставьте мне часть, а с остальным поступайте как знаете».

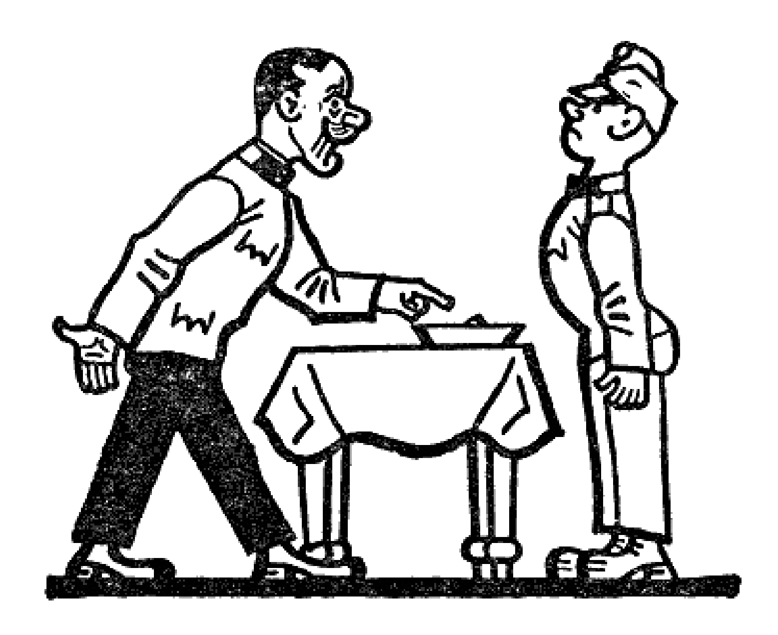
Когда мы жили в Праге, он меня посылал в ресторан за обедом. Порции там были очень маленькие, так я, чтоб он ничего плохого не вообразил, покупал ему на свои последние деньги ещё одну порцию, только бы он наелся досыта! Но как-то он об этом дознался. Я приносил из ресторана меню, а он себе выбирал. Однажды он выбрал фаршированного голубя. Когда мне дали половину голубя, я решил, что господин обер-лейтенант может подумать, будто другая половина съедена мной. Купил я ещё одну половину и принёс домой такую царскую порцию, что господин обер-лейтенант Шеба, который в тот день искал, где бы ему пообедать, и зашёл в гости к моему лейтенанту как раз в обеденное время, тоже наелся. А когда наелся, то заявил: «Только не рассказывай мне, что это одна порция. Нигде в мире ты не получишь по меню целого фаршированного голубя. Если сегодня мне удастся стрельнуть деньги, то я пошлю за обедом в этот твой ресторан. Сознайся, это двойная порция?» Господин обер-

лейтенант попросил меня подтвердить, что деньги были отпущены на одну порцию: ведь не знал же он, что в этот день у него будут гости! Я подтвердил. «Вот видишь! — сказал мой обер-лейтенант. — Но это ещё пустяки. Недавно Швейк принёс на обед две гусиные ножки. Представь себе: лапша, говядина с сарделевой подливой, две гусиные ножки, кнедликов и капусты прямо до потолка и, наконец, блинчики».

— Та-тта-тата! Чёрт подери! — облизывался Балоун.

Швейк продолжал:

— Это явилось камнем преткновения. Господин обер-лейтенант Шеба на следующий же день послал своего долговязого денщика в наш ресторан. Тот принёс ему на закуску маленькую кучку куриного пилава, ну словно шестинедельный ребёнок накакал в пелёночку, — так, ложечки две. Тут господин обер-лейтенант Шеба бросился на него: ты, мол, половину сам сожрал, а тот знай твердит, что не виновен. Господин обер-лейтенант Шеба съездил ему по морде и поставил в пример меня: он, мол, вот какие порции носит господину обер-лейтенанту Лукашу. На другой день этот невинно избитый солдат снова пошёл за обедом, расспросил обо мне в ресторане и рассказал всё своему господину, а тот, в свою очередь, моему обер-лейтенанту. Сижу я вечером с газетой и читаю сводки вражеских штабов с поля сражения. Вдруг входит мой обер-лейтенант, весь бледный, и сразу ко мне — признавайся-де, сколько двойных порций купил в ресторане за свой счёт; ему, мол, всё известно, и никакое запирательство мне не поможет. Он, мол, давно знает, что я идиот, но что я к тому же ещё и сумасшедший — это ему будто бы в голову не приходило. Я-де так его опозорил, что теперь у него единственное желание застрелить меня, а потом себя. «Господин обер-лейтенант, — объясняю я. — Когда вы меня принимали в денщики, то в первый же день заявили, что все денщики воры и подлецы, а так как в этом ресторане действительно давали очень маленькие порции, то вы и взаправду могли подумать, что я такой же подлец, как и все, способный жрать вашу…»



— Господи милостивый! — прошептал Балоун, нагнулся за чемоданчиком поручика Лукаша и скрылся с ним в глубине вагона.

— Потом поручик Лукаш, — продолжал Швейк, — стал рыться во всех карманах, а когда это ни к чему не привело, он вынул из жилетки серебряные часы и отдал их мне. Так растрогался! «Швейк, говорит, когда я получу жалованье, составьте счёт, сколько я вам должен. А часы эти — мой подарок. И в другой раз не будьте идиотом». Как-то раз нам пришлось очень туго, и я отнёс часы в ломбард…



— Что вы там делаете, Балоун? — вдруг воскликнул старший писарь Ванек.

Бедняга Балоун поперхнулся от неожиданности. Он уже успел открыть чемоданчик поручика Лукаша и запихивал в рот его последнюю булочку.

*

Мимо станции, не останавливаясь, прошёл другой воинский поезд, битком набитый «дейчмейстерами», которых отправляли на сербский фронт. Они до сих пор не опомнились после восторженных проводов в Вене и без устали орали:

Prinz Eugenius, der edle Ritter,
wollt` dem Kaiser wiedrum kriegen
Stadt und Festung Belegrad.
Er lies schlagen einen Brücken,
das man kunnt` hinüberrücken
mit der Armee wohl für die Stadt.[187]

Какой-то капрал с залихватски закрученными усами облокотился о плечи солдат, которые, сидя в дверях, болтали ногами, и высунулся из вагона. Капрал дирижировал и неистово кричал:

Als der Brücken war geschlagen,
das man kunnt` mit Stuck und Wagen
frei passier'n den Donauflus,
bei Semlin schlug man das Lager
alle Serben zu verjagen…[188]

Вдруг он потерял равновесие, вылетел из вагона, на лету со всего маху ударился животом о рычаг стрелки и повис на нём, как наколотый. Поезд же шёл всё дальше, и в задних вагонах пели другую песню:

Graf Radetzky, edier Degen,
schwur's des Kaisers Feind zu fegen
aus der falschen Lombardei.
In Verona langes Hoffen,
als mehr Truppen eingetroffen,

fühlt und rührt der Held sich frei…[189]

Наколотый на дурацкую стрелку воинственный капрал был мёртв. Около него на карауле уже стоял молодой солдатик из состава вокзальной комендатуры, исключительно серьёзно выполнявший свои обязанности. Он стоял навытяжку с таким победоносным видом, будто это он насадил капрала на стрелку.

Молодой солдат был мадьяр, и, когда из эшелона батальона Девяносто первого полка приходили смотреть на капрала, он орал на всю станцию:

— Nern szabat! Nem szabat! Komision militär, nern szabat![190]

— Уже отмучился, — вздохнул бравый солдат Швейк, который также оказался среди любопытствующих. — В этом есть своё преимущество. Хоть он и получил кусок железа в живот, зато все знают, где похоронен. Его могилу не придётся разыскивать на всех полях сражений. Очень аккуратно накололся, — со знанием дела прибавил Швейк, обойдя капрала со всех сторон, — кишки остались в штанах…

— Nem szabat! Nem szabat! — кричал молоденький мадьярский солдат. — Komision militär — Bahnhof, nem szabat!

За спиной Швейка раздался строгий окрик:

— Вы что тут делаете?

Перед ним стоял кадет Биглер. Швейк отдал честь.

— Осмелюсь доложить, рассматриваем покойника, господин кадет.

— А что за агитацию вы здесь развели? Какое вам до всего этого дело?

— Осмелюсь доложить, господин кадет, — с достоинством и спокойно ответил Швейк, — я никогда никакой «заагитации» не вёл.

За спиной кадета послышался смех солдат, и старший писарь Ванек выступил вперёд.

— Господин кадет, — объяснил он, — господин обер-лейтенант послал сюда ординарца Швейка, чтобы тот сообщил ему о случившемся. Я был недавно в штабном вагоне. Вас там разыскивает Матушич по распоряжению господина командира батальона. Вам следует немедленно явиться к господину капитану Сагнеру.

Когда минуту спустя раздался сигнал «на посадку», все разбрелись по вагонам.

Ванек, идя рядом со Швейком, сказал:

— Когда собирается много народу, вы поменьше разглагольствуйте. У вас могут быть неприятности. Раз этот капрал из «дейчмейстеров», то будут говорить, что вы радовались его смерти. Ведь Биглер — заядлый чехоед.

— Да ведь я ничего и не говорил, — возразил Швейк тоном, исключавшим всякое сомнение; — разве только, что капрал напоролся аккуратно и все кишки остались у него в штанах… Он мог…

— Лучше прекратим этот разговор, Швейк. — И старший писарь Ванек сплюнул.

— Ведь всё равно, — не унимался Швейк. — где за государя императора вылезут кишки, здесь или там. Он свой долг выполнил… Он мог бы…

— Посмотрите, Швейк, — прервал его Ванек, — ординарец батальона Матушич опять несётся к штабному вагону. Удивляюсь, как он ещё не растянулся на рельсах.

Незадолго перед этим между капитаном Сагнером и усердным Биглером произошёл очень резкий разговор.

— Я удивлён, кадет Биглер, — начал капитан Сагнер. — Почему вы немедленно не доложили мне, что солдатам не выдали сто пятьдесят граммов венгерской колбасы? Теперь мне самому приходится ходить и выяснять, почему солдаты возвращаются со склада с пустыми руками. Господа офицеры тоже хороши, словно приказ не есть приказ. Ведь я точно выразился: «На склад походной колонной поротно». Это значит, если вы на складе ничего не достали, то и возвращаться нужно походной колонной поротно. Я вам приказал, кадет Биглер, поддерживать порядок, а вы пустили всё на самотёк. Обрадовались, что теперь не нужно подсчитывать порции колбасы, и преспокойно пошли смотреть, как это я наблюдал из окна, на напоровшегося капрала из «дейчмейстеров». А когда я приказал вас позвать, вы дали волю своей кадетской фантазии и понесли всякий вздор. Я, мол, пошёл убедиться, не ведётся ли около напоротого капрала какой-либо агитации…

— Осмелюсь доложить, ординарец одиннадцатой роты Швейк…

— Оставьте меня в покое с вашим Швейком! — закричал капитан Сагнер. — Не думайте, кадет Биглер, что вам здесь удастся разводить интриги против поручика Лукаша. Мы послали туда Швейка… Вы так на меня смотрите, словно я к вам придираюсь. Да… я придираюсь к вам, кадет Биглер… Если вы не уважаете своего начальника, стараетесь его осрамить, то я вам устрою такую службу, что вы, кадет Биглер, долго будете помнить станцию Раб. Хвастаться своими теоретическими познаниями… Погодите, вот только прибудем на фронт… Тогда я пошлю вас в офицерскую разведку за проволочные заграждения… А как вы рапортуете? Да я и рапорта от вас не слышал, когда вы вошли… Даже теоретически, кадет Биглер…

— Осмелюсь доложить, господин капитан,[191] что вместо ста

пятидесяти граммов венгерской колбасы солдаты получили по две открытки. Пожалуйста, господин капитан…

Биглер подал командиру батальона две открытки, изданные дирекцией венского военного архива, начальником которого был генерал-от-инфантерии Войнович. На одной стороне был изображён русский солдат, бородатый мужик, которого обнимает скелет. Под карикатурой была подпись: «Der Tag, an dem das perfide Rusland krepieren wird, wird ein Tag der Erlösung für unsere ganze Monarchie sein»[192] Другая открытка была сделана в Германской империи. Это был подарок германцев австро-венгерским воинам. На верху открытки было напечатано: «Viribus unitis»[193] ниже помещалась картинка — сэр Грей на виселице: внизу под ним весело отдают честь австрийский и германский солдаты. Под картинкой стишок из книжки Грейнца «Железный кулак» — весёлые куплеты о наших врагах. Германские газеты отмечали, что стихи Грейнца хлёстки, полны неподдельного юмора и непревзойдённого остроумия. Текст под виселицей в переводе:

ГРЕЙ

На виселице в приятной выси
Качается Эдуард Грей из породы лисьей.
Надо бы повесить его ранее,
Но обратите внимание:
Ни один наш дуб сука не дал,
Чтоб баюкать того, кто Христа предал,
И приходится болтаться скотине
На французской республиканской осине.

Не успел капитан Сагнер прочесть эти стишки, полные «неподдельного юмора и непревзойдённого остроумия», как в штабной вагон влетел батальонный ординарец Матушич.

Он был послан капитаном Сагнером на телеграф при станционной военной комендатуре узнать, нет ли каких приказов, и принёс телеграмму из бригады. Прибегать к шифровальному ключу не пришлось. Телеграмма была нешифрованная и гласила: «Rasch abkochen, dann Vormarsch nach Sokal».[194]

Капитан Сагнер озабоченно покачал головой.

— Осмелюсь доложить, — сказал Матушич, — комендант станции велел просить вас лично зайти к нему для переговоров. Получена ещё одна телеграмма.

Несколько позже между комендантом вокзала и капитаном Сагнером произошёл строго конфиденциальный разговор.

Содержание первой телеграммы: «Быстро сварить обед и наступать на Сокаль» — вызвало недоумение: ведь в данный момент батальон находился на станции Раб. И всё же телеграмма должна была быть передана по назначению. Адресат — маршевый батальон Девяносто первого полка, копия — маршевому батальону Семьдесят пятого полка, который находился позади. Подпись правильная: «Командующий бригадой Риттер фон Герберт».

— Весьма секретно, господин капитан, — предостерёг комендант вокзала. — Из вашей дивизии получена секретная телеграмма. Командир вашей бригады сошёл с ума. Его отправили в Вену после того, как он разослал из бригады по всем направлениям несколько дюжин подобных телеграмм. В Будапеште вы получите ещё одну такую же телеграмму. Все его телеграммы, понятно, следует аннулировать. Но пока мы никакого распоряжения не получили. У меня на руках, как я уже сказал, только приказ из дивизии: нешифрованные телеграммы во внимание не принимать. Но вручать я их обязан, так как на этот счёт я не получил от своих инстанций никаких указаний. Через свои инстанции я справлялся у командования армейского корпуса. Начато расследование… Я кадровый офицер старой сапёрной службы, — прибавил он. — Участвовал в строительстве нашей стратегической железной дороги в Галиции. Господин капитан, — сказал он минуту спустя, — нас, стариков, начавших службу с простого солдата, гонят только на фронт! Нынче в военном министерстве штатских инженеров путей сообщения, сдавших экзамен на вольноопределяющегося, как собак нерезаных… Впрочем, вы ведь всё равно через четверть часа поедете дальше… Помню, как однажды в кадетской школе в Праге я, ваш старший товарищ, помогал вам при упражнениях на трапеции. Тогда нас обоих оставили без отпуска. Вы ведь тоже дрались в своём классе с немцами…[195] С вами вместе учился Лукаш, и вы, кажется, были большими друзьями. Всё это вспомнилось мне, когда я по телеграфу получил список офицеров маршевого батальона, которые проследуют через мою станцию с маршевым батальоном. Много воды утекло с тех пор. Я тогда очень симпатизировал кадету Лукашу.

На капитана Сагнера весь этот разговор произвёл удручающее

впечатление. Он узнал того, с кем говорил. В бытность свою учеником кадетского училища комендант руководил антиавстрийской оппозицией. Позднее погоня за чинами вытеснила у них оппозиционные настроения. Особенно задело его упоминание о поручике Лукаше, которого по каким-то неизвестным причинам, не в пример ему, Сагнеру, всюду обходили.

— Поручик Лукаш — отличный офицер, — подчёркнуто сказал капитан Сагнер. — Когда отправится поезд?

Комендант станции посмотрел на часы:

— Через шесть минут.

— Иду, — заторопился Сагнер.

— Я думал, вы мне что-нибудь скажете на прощание, Сагнер…

— Итак, до свидания,[196] — ответил Сагнер и вышел из помещения комендатуры вокзала.

*

Вернувшись в штабной вагон поезда, капитан Сагнер нашёл всех офицеров на своих местах. Они, разбившись на группы, играли в «чапари» (frische viere). Не играл только кадет Биглер. Он перелистывал начатые рукописи о событиях на театре военных действий. Кадет Биглер мечтал отличиться не только на поле сражения, но и на литературном поприще, как летописец военных событий. Обладатель удивительных крыльев и рыбьего хвоста собирался стать выдающимся военным писателем. Его литературные опыты начинались многообещающими заглавиями, и в них, как в зеркале, отражался милитаризм той эпохи. Но темы ещё не были разработаны, на четвертушках бумаги значились только наименования будущих трудов.

«Образы воинов великой войны», «Кто начал войну?», «Политика Австро-Венгрии и рождение мировой войны», «Заметки с театра военных действий», «Австро-Венгрия и мировая война», «Уроки войны», «Популярная лекция о возникновении войны», «Размышления на военно-политические темы», «День славы Австро-Венгрии», «Славянский империализм и мировая война», «Военные документы», «Материалы по истории мировой войны», «Дневник мировой войны», «Ежедневный обзор мировой войны», «Первая мировая война», «Наша династия в мировой войне», «Народы Австро-Венгерской монархии под ружьём», «Борьба за мировое господство», «Мой опыт в мировую войну», «Хроника моего военного похода», «Как воюют враги Австро-Венгрии», «Кто победит?»,

«Наши офицеры и наши солдаты», «Достопамятные деяния моих солдат», «Из эпохи великой войны», «В пылу сражений», «Книга об австро-венгерских героях», «Железная бригада», «Собрание моих писем с фронта», «Герои нашего маршевого батальона», «Пособие для солдат на фронте», «Дни сражений и дни побед», «Что я видел и испытал на поле сражения», «В окопах», «Офицер рассказывает…», «С сынами Австро-Венгрии вперёд!», «Вражеские аэропланы и наша пехота», «После боя», «Наши артиллеристы — верные сыны родины», «Даже если бы все черти восстали против нас…», «Война оборонительная и война наступательная», «Кровь и железо», «Победа или смерть», «Наши герои в плену».



Капитан Сагнер подошёл к кадету Биглеру, просмотрел все рукописи и спросил, для чего он всё это написал и что всё это значит.

Кадет Биглер восторженно ответил, что каждая надпись означает заглавие книги, которую он напишет. Сколько заглавий — столько книг.

— Я хотел бы, господин капитан, чтобы обо мне, когда я паду на поле брани, сохранилась память. Моим идеалом является немецкий профессор Удо Крафт. Он родился в тысяча восемьсот семидесятом году, в нынешнюю мировую войну добровольно вступил в ряды войск и пал двадцать второго августа тысяча девятьсот четырнадцатого года в Анло. Перед своей смертью он издал книгу «Самовоспитание к смерти за императора».[197]

Капитан Сагнер отвёл Биглера к окну.

— Покажите, кадет Биглер, что там ещё у вас. Меня чрезвычайно интересует ваша деятельность, — с нескрываемой иронией попросил капитан Сагнер. — Что за тетрадку вы сунули за пазуху?

— Да так, пустяки, господин капитан, — смутился Биглер и по-детски залился румянцем. — Извольте удостовериться.

Тетрадь была озаглавлена:

СХЕМЫ ВЫДАЮЩИХСЯ И СЛАВНЫХ БИТВ

ВОЙСК АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ.

СОСТАВЛЕНО СОГЛАСНО ИСТОРИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

ИМПЕРАТОРСКИМ КОРОЛЕВСКИМ ОФИЦЕРОМ

АДОЛЬФОМ БИГЛЕРОМ.

ПРИМЕЧАНИЯМИ И КОММЕНТАРИЯМИ СНАБДИЛ

ИМПЕРАТОРСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ ОФИЦЕР АДОЛЬФ БИГЛЕР.

Схемы были страшно примитивны.

Открывалась тетрадь схемой битвы у Нердлингена 6 сентября 1634 года, затем следовали битвы у Зенты 11 сентября 1697 года, у Кальдьеро 31 октября 1805 года, под Асперном 22 мая 1809 года, битва народов под Лейпцигом в 1813 году, далее битва под Санта-Лючией в мае 1848 года и бои у Трутнова 27 июня 1866 года. Последней в этой тетради была схема битвы у Сараева 19 августа 1878 года. Схемы и планы битв ничем не отличались друг от друга. Позиции одной воюющей стороны кадет Биглер обозначил пустыми клеточками, а другой — заштрихованными. На той и другой стороне был левый фланг, центр и правый фланг. Позади — резервы. Там и здесь — стрелки. Схема битвы под Нердлингеном, так же как и схема битвы у Сараева, напоминала футбольное поле, на котором ещё в начале игры были расставлены игроки. Стрелки же указывали, куда та или другая сторона должна послать мяч.

Это моментально пришло в голову капитану Сагнеру, и он спросил:

— Кадет Биглер, вы играете в футбол?

Биглер ещё больше покраснел и нервно заморгал; казалось, он собирается заплакать. Капитан Сагнер с усмешкой перелистывал тетрадку и остановился на примечании под схемой битвы у Трутнова в австро-прусскую войну.

Кадет Биглер писал: «Под Трутновом нельзя было давать сражения, ввиду того что гористая местность не позволяла генералу Мацухелли развернуть дивизию, которой угрожали сильные прусские колонны, расположенные на высотах, окружавших левый фланг нашей дивизии».

— По-вашему, сражение у Трутнова, — усмехнулся капитан Сагнер, возвращая тетрадку кадету Биглеру, — можно было дать только в том случае, если бы Трутнов лежал на ровном месте. Эх вы, будейовицкий Бенедек! Кадет Биглер, очень мило с вашей стороны, что за короткое время пребывания в рядах императорских войск вы старались вникнуть в стратегию. К сожалению, у вас всё выглядит так, будто это мальчишки играют в солдаты и сами производят себя в генералы. Вы так быстро повысили себя в чине, прямо одно удовольствие! Императорский королевский офицер Адольф Биглер! Этак, пожалуй, мы ещё не доедем до Будапешта, а вы уже будете фельдмаршалом. Ещё позавчера вы взвешивали у папаши коровью кожу, императорский королевский лейтенант Адольф Биглер! Послушайте, ведь вы даже не офицер. Вы кадет. Вы нечто среднее между ефрейтором и унтер-офицером. Вы с таким же правом можете называть себя офицером, как ефрейтор, который в трактире приказывает величать себя «господином штабным писарем».

— Послушай, Лукаш — обратился он к поручику, — кадет Биглер у тебя в роте. Этого парня подтяни. Он подписывается офицером. Пусть сперва заслужит это звание в бою. Когда начнётся ураганный артиллерийский огонь и мы пойдём в атаку, пусть кадет Биглер со своим взводом порежет проволочные заграждения, der gute Junge! A propos,[198] тебе кланяется Цикан, он комендант вокзала в Рабе.

Кадет Биглер понял, что разговор закончен, отдал честь и, красный как рак, побежал по вагону, пока не очутился в самом конце коридора.

Словно лунатик, он отворил дверь уборной и, уставившись на немецко-венгерскую надпись «Пользование клозетом разрешается только во время движения», засопел, начал всхлипывать и горько расплакался. Потом спустил штаны и стал тужиться, утирая слёзы. Затем использовал тетрадку, озаглавленную «Схемы выдающихся и славных битв австро-венгерской армии, составленные императорским королевским офицером

Адольфом Биглером». Осквернённая тетрадь исчезла в дыре и, упав на колею, заметалась между рельсами под уходящим воинским поездом.

Кадет промыл покрасневшие глаза водой и вышел в коридор, решив быть сильным, дьявольски сильным. С утра у него болели голова и живот.

Он прошёл мимо заднего купе, где ординарец батальона Матушич играл с денщиком командира батальона Батцером в венскую игру «шнопс» («шестьдесят шесть»).

Заглянув в открытую дверь купе, кадет Биглер кашлянул. Они обернулись и продолжали играть дальше.

— Не знаете разве, что полагается? — спросил кадет Биглер.

— Я не мог, mi' is' d' Trump' ausganga,[199] — ответил денщик капитана Сагнера Батцер на ужасном немецком диалекте Кашперских гор. — Мне полагалось, господин кадет, идти с бубён, — продолжал он, — с крупных бубён и сразу после этого королём пик… вот что надо было мне сделать…

Не проронив больше ни слова, кадет Биглер залез в свой угол. Когда к нему подошёл подпрапорщик Плешнер, чтоб угостить коньяком, выигранным им в карты, то удивился, до чего усердно кадет Биглер читает книгу профессора Удо Крафта «Самовоспитание к смерти за императора».

Ещё до Будапешта кадет Биглер был в доску пьян. Высунувшись из окна, он непрерывно кричал в безмолвное пространство:

— Frisch drauf! Im Gottes Namen frisch drauf![200]

По приказу капитана Сагнера, ординарец батальона Матушич втащил Биглера в купе и вместе с денщиком капитана Батцером уложил его на скамью. Кадету Биглеру приснился сон.

СОН КАДЕТА БИГЛЕРА ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ В БУДАПЕШТ

Он — майор, на груди у него signum laudis[201] и железный крест. Он едет инспектировать участок вверенной ему бригады. Но не может уяснить себе, каким образом он, кому подчинена целая бригада, всё ещё остаётся в чине майора. Он подозревает, что ему был присвоен чин генерал-майора, но «генерал» затерялся в бумагах на полевой почте.

В душе он смеялся над капитаном Сагнером, который тогда, в поезде, грозился послать его резать проволочные заграждения. Впрочем, капитан Сагнер вместе с поручиком Лукашем уже давно, согласно его — Биглера предложению, были переведены в другой полк, в другую дивизию, в другой армейский корпус.

Кто-то ему даже рассказывал, что оба они, удирая от врага, позорно погибли в каких-то болотах. Когда он ехал в автомобиле на позиции для инспектирования участка своей бригады, для него всё было ясно. Собственно, он послан генеральным штабом армии.

Мимо идут солдаты и поют песню, которую он читал в сборнике австрийских песен «Es gilt»:[202]

Halt euch brav, ihr tapf'ren Brüder,
werft den Feind nur herzhaft nieder?
last des Kaisers Fahne weh'n… i[203]

Пейзаж напоминает иллюстрации из «Wiener Illustrierte Zeitung».[204]

На правой стороне у амбара разместилась артиллерия. Она обстреливает неприятельские окопы, расположенные у шоссе, по которому он едет в автомобиле. Слева стоит дом, из которого стреляют, в то время как неприятель пытается ружейными прикладами вышибить двери. Возле шоссе горит вражеский аэроплан. Вдали виднеются кавалерия и пылающие деревни. Дальше, на небольшой возвышенности, расположены окопы маршевого батальона, откуда ведётся пулемётный огонь. Вдоль шоссе тянутся окопы неприятеля. Шофёр ведёт машину по шоссе в сторону неприятеля. Генерал орёт в трубку шофёру:

— Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель.

Но шофёр спокойно отвечает:

— Господин генерал, это единственная приличная дорога. И в хорошем состоянии. На соседних дорогах шины не выдержат.

Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь. Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам сливовой аллеи. Но шофёр спокойно передаёт в трубку:

— Это отличное шоссе, господин генерал! Едешь как по маслу. Если мы уклонимся в сторону, в поле, у нас лопнет шина… Посмотрите, господин генерал! — снова кричит шофёр. — Это шоссе так хорошо построено, что даже тридцатисполовинойсантиметровые мортиры нам ничего не сделают. Шоссе словно гумно. А на этих каменистых просёлочных дорогах у нас бы лопнули шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал!



«Дз-дз-дз-дзум!» — слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок.

— Не говорил ли я вам, господин генерал, — орёт шофёр в трубку, — что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась тридцативосьмисантиметровка, а ямы никакой, шоссе как гумно. Но стоит заехать в поле — и шинам конец. Теперь по нас стреляют с расстояния четырёх километров.

— Куда мы едем?

— Это будет видно, — отвечал шофёр, — пока шоссе такое, я за всё ручаюсь.

Рывок! Страшный полёт, и машина останавливается.

— Господин генерал, — кричит шофёр, — есть у вас карта генерального штаба?

Генерал Биглер зажигает электрический фонарик и видит, что у него на коленях лежит карта генерального штаба. Но это морская карта гельголандского побережья 1864 года, времён войны Пруссии и Австрии с Данией за Шлезвиг.

— Здесь перекрёсток, — говорит шофёр, — обе дороги ведут к вражеским позициям. Однако для меня важно только одно — хорошее шоссе, чтобы не пострадали шины, господин генерал… Я отвечаю за штабной автомобиль…

Вдруг удар, оглушительный удар, и звёзды становятся большими, как колёса. Млечный Путь густой, словно сливки.

Он — Биглер — возносится во вселенную на одном сиденье с шофёром. Всё остальное обрезано, как ножницами. От автомобиля остался

только боевой атакующий передок.

— Ваше счастье, — говорит шофёр, — что вы мне через плечо показывали карту. Вы перелетели ко мне, остальное взорвалось. Это была сорокадвухсантиметровка. Я это предчувствовал. Раз перекрёсток, то шоссе ни черта не стоит. После тридцативосьмисантиметровки могла быть только сорокадвухсантиметровка. Ведь других пока не производят, господин генерал.

— Куда вы правите?

— Летим на небо, господин генерал, нам необходимо сторониться комет. Они пострашнее сорокадвухсантиметровок.

— Теперь под нами Марс, — сообщает шофёр после долгой паузы.

Биглер снова почувствовал себя вполне спокойным.

— Вы знаете историю битвы народов под Лейпцигом? — спрашивает он. — Фельдмаршал князь Шварценберг четырнадцатого октября тысяча восемьсот тринадцатого года шёл на Либертковице, шестнадцатого октября произошло сражение за Линденау, бой генерала Мервельдта. Австрийские войска заняли Вахав, а когда девятнадцатого октября пал Лейпциг…

— Господин генерал, — вдруг перебил его шофёр, — мы у врат небесных, вылезайте, господин генерал. Мы не можем проехать через небесные врата, здесь давка. Куда ни глянь — одни войска.

— Задавите кого-нибудь, — кричит он шофёру, — сразу посторонятся!

И, высунувшись из автомобиля, генерал Биглер орёт:

— Achtung, sie Schweinbande![205] Вот скоты, видят генерала и не подумают сделать равнение направо!

Шофёр его успокаивает:

— Это им нелегко, господин генерал: у большинства оторваны головы.



Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела: головы, руки, ноги. Однако недостающее они носят с собой в рюкзаке. У какого-то праведного артиллериста, толкавшегося у небесных врат в разорванной шинели, в мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом.

— Таков порядок, — опять поясняет шофёр, проезжая сквозь густую толпу, — вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию.

В небесные врата пропускают только по паролю, который генерал Биглер тут же вспомнил: «Fur Gott und Kaiser».[206]

Автомобиль въезжает в рай.

— Господин генерал, — обращается к Биглеру офицер-ангел с крыльями, когда они проезжают мимо казармы для рекрутов-ангелов, — вы должны явиться в ставку главнокомандующего.

Миновали учебный плац, кишевший рекрутами-ангелами, которых учили кричать «аллилуйя».

Проехали мимо группы солдат, где рыжий капрал-ангел муштровал растяпу рекрута-ангела в полной форме, бил его кулаком в живот и орал: «Шире раскрывай глотку, грязная вифлеемская свинья. Разве так кричат „аллилуйя“? Словно кнедлик застрял у тебя во рту. Хотел бы я знать, какой осёл впустил тебя, скотину, сюда в рай? Попробуй ещё раз…» — «Гла-гли-гля!» — «Ты что, бестия, и в раю у нас будешь гнусить? Ещё раз попробуй, ты, кедр ливанский!»

Поехали дальше, но ещё долго был слышен рёв напуганного гнусавого

ангела-рекрута: «Гла-гли-глу-гля» и крик ангела-капрала: «А-ли-лу-и-я-а-и лу-и-я, корова ты иорданская!»

Потом они увидели величественное сияние над большим зданием, вроде Мариинских казарм в Чешских Будейовицах, а над зданием — два аэроплана, один слева, другой справа; между ними, посредине, натянуто громадное полотно с колоссальной надписью:

K. U. K. GOTTES HAUPTQUARTIER[207]

Два ангела в форме полевой жандармерии высаживают генерала Биглера из автомобиля, берут его за шиворот и отводят наверх, на второй этаж.

— Ведите себя прилично перед господом богом, — говорят они ему у дверей и вталкивают внутрь.

Посреди комнаты, на стенах которой висят портреты Франца-Иосифа и Вильгельма, наследника престола Карла-Франца-Иосифа, генерала Виктора Данкеля, эрцгерцога Фридриха и начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа, стоит господь бог.

— Кадет Биглер, — строго спрашивает бог, — вы меня узнаёте? Я бывший капитан Сагнер из одиннадцатой маршевой роты.

Биглер оцепенел.

— Кадет Биглер, — возглашает опять господь бог, — по какому праву вы присвоили себе титул генерал-майора? По какому праву вы, кадет Биглер, разъезжали в штабном автомобиле по шоссе между вражескими позициями?

— Осмелюсь доложить…

— Молчать, кадет Биглер, когда с вами разговаривает бог.

— Осмелюсь доложить, — ещё раз, заикаясь, начинает Биглер.

— Так вы не изволите замолчать? — кричит на него бог, открывает дверь и зовёт: — Два ангела, сюда!

В помещение входят два ангела с ружьями через левое крыло. Биглер узнаёт в них Матушича и Батцера.

Уста господа бога вещают:

— Бросьте его в сортир!

Кадет Биглер проваливается куда-то, откуда несёт страшной вонью.

*****

Напротив спящего кадета сидели Матушич с денщиком капитана Сагнера Батцером и всё время играли в «шестьдесят шесть».

— Stink awer d'Kerl wie a'Stockfisch,[208] — сказал Батцер, который с интересом наблюдал, как спящий кадет Биглер подозрительно вертится, — mus d'Hosen voll ha'n.[209]

— Это с каждым может случиться, — философски заметил Матушич. — Не обращай внимания. Не тебе его переодевать. Сдавай-ка лучше карты.

Уже было видно зарево огней над Будапештом. Над Дунаем ощупывал небо прожектор.

Кадету Биглеру, очевидно, снилось уже другое. Он бормотал:

— Sagen sie meiner tapferen Armee, das sie sich in meinem Herzen ein unvergängliches Denkmal der Liebe und Dankbarkeit errichtet hat.[210] — Так как при этих словах он заворочался, вонь опять ударила Батцеру в нос, он сплюнул и проворчал:

— Stink, wie a'Haizlputza, wie a'bescheisena Haizlputza![211]

А кадет Биглер ворочался всё беспокойнее и беспокойнее. Его новый сон был необычайно фантастичен: он защищал Линц в войне за австрийское наследство. Ему снились редуты и укрепления вокруг города. Его главная ставка превращена в большой госпиталь. Повсюду лежат раненые и держатся за животы. Мимо палисадов города Линца проезжают французские драгуны Наполеона I.

А он, комендант города, стоит над всеми ними, тоже держится за живот и кричит французскому парламентёру:

— Передайте своему императору, что я не сдамся!

Потом боли в животе как будто утихли, и он со своим батальоном через палисады бежит из города, вперёд, к славе и победе, и видит, как поручик Лукаш подставляет свою грудь под палаш французского драгуна, чтобы отвести удар, направленный на него — Биглера — защитника осаждённого Линца.

Поручик Лукаш умирает у его ног, восклицая:

— Ein Mann, wie Sie, Herr Oberst, ist nötiger, als ein nichtsnutziger Oberleutnant![212]

Растроганный защитник Линца отворачивается от умирающего, но тут картечь попадает ему в седалищные мышцы. Биглер машинально ощупывает штаны и чувствует на руке что-то липкое. Он кричит:

— Санитары! Санитары! — и падает с коня…

Батцер и Матушич подняли свалившегося с лавки кадета Биглера.

Затем Матушич направился к капитану Сагнеру и доложил, что с кадетом Биглером творится что-то неладное.

— Это не с коньяку, — сказал он. — Вернее всего — холера. Кадет Биглер на всех станциях пил воду. В Мошоне я видел, как он…

— Холеру сразу не схватишь, Матушич. Скажите врачу — он рядом в купе, пусть его осмотрит.

К батальону был прикомандирован «врач военного времени», вечный студент-медик и корпорант Вельфер. Он любил выпить и подраться, но медицину знал как свои пять пальцев. Он прослушал курс медицинских факультетов в различных университетских городах Австро-Венгрии, был на практике в самых разнообразных клиниках, но не имел звания доктора по той простой причине, что по завещанию покойного дяди студенту-медику Фридриху Вельферу выплачивалась ежегодная стипендия до получения им диплома врача. Эта стипендия была приблизительно раза в четыре больше жалованья ассистента в больнице. И кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер добросовестно стремился по возможности отсрочить получение звания доктора медицины.

Наследники чуть не сошли с ума, объявляли его идиотом, делали попытки женить на богатой невесте, только бы избавиться от него. Член приблизительно двенадцати корпорантских кружков, кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер, чтобы позлить наследников, издал несколько сборников весьма приличных стихов в Вене, Лейпциге, Берлине, печатался в «Sirnplicissimus» и спокойно продолжал учиться: над ним не каплет!

Но вот разыгралась война и коварно нанесла ему удар в спину. Поэта, автора книг «Lachende Lieder»,[213] «Krug und Wissenschaft»,[214] «Märchen und Parabein»,[215] забрали безо всяких, а один из наследников приложил все усилия, чтобы беззаботный Фридрих Вельфер получил звание «лекаря военного времени». Он выдержал экзамен. В письменной форме ему был предложен ряд вопросов, на которые он обязан был прислать ответы. На все вопросы он дал стереотипный ответ: «Lecken sie mir Arsch!»[216] Три дня спустя полковник торжественно объявил, что Фридрих Вельфер получил диплом доктора медицинских наук, который давно заслужил, и что старший штабной врач назначает его в госпиталь пополнения. Теперь от его поведения будет зависеть быстрое продвижение по службе. Известно, правда, что в разных городах у Фридриха Вельфера были дуэли с офицерами, но сейчас время военное, и это всё предано забвению.



Автор книги стихов «Кружка и наука» закусил губы и пошёл служить. После того как было установлено, что по отношению к солдатам он вёл себя чрезвычайно снисходительно и задерживал их в больнице по возможности дольше, в то время когда лозунгом было: «Валяться и подохнуть в больнице или валяться и подохнуть в окопах — всё равно подохнуть», — доктора Вельфера отправили с тринадцатым маршевым батальоном на фронт.

Кадровые офицеры батальона считали его неполноценным, офицеры запаса, чтобы не углублять пропасть между собой и кадровиками, также не замечали его и не дружили с ним.

Капитан Сагнер, естественно, чувствовал себя намного выше бывшего

кандидата медицинских наук, изрезавшего за время своей долголетней учёбы множество офицеров. Когда Вельфер — «лекарь военного времени» — прошёл мимо Сагнера, тот даже не посмотрел на него и продолжал разговаривать с поручиком Лукашем о каких-то пустяках, вроде того, что около Будапешта разводят тыкву. В связи с этим поручик Лукаш вспомнил, как на третьем году обучения в кадетской школе он с товарищами «из штатских» был в Словакии. Раз они пришли к евангелическому пастору-словаку. Тот угостил их жареной свининой с гарниром из тыквы. Потом налил им вина и сказал: «Тыква, свинья, хочет вина», — на что Лукаш страшно обиделся.[217]

— Будапешта мы почти не увидим, — с сожалением заметил капитан Сагнер. — Согласно маршруту, мы должны простоять здесь только два часа.

— Думаю, что будут переформировывать состав, — ответил поручик Лукаш. — Мы прибудем на сортировочную станцию Transport-Militär-Bahnhof.[218]

К ним подошёл «лекарь военного времени» Вельфер.

— Пустяки, — сказал он, улыбаясь. — Господ, которые мечтают со временем стать офицерами и хвастаются в Офицерском собрании своими стратегическо-историческими познаниями, следовало бы предупредить, что вредно в один присест съедать посылку со сластями. С момента отъезда из Брука кадет Биглер проглотил, как он сам признаётся, тридцать трубочек с кремом, а на вокзалах пил только кипячёную воду. Это напоминает мне, господин капитан, стихи Шиллера: «Wer sagt von…»[219]

— Послушайте, доктор, — прервал его капитан Сагнер, — не о Шиллере речь. Что, собственно, случилось с кадетом Биглером?

«Лекарь военного времени» Вельфер ухмыльнулся:

— Кандидат в офицеры, ваш кадет, просто обделался. Это не холера и не дизентерия, а самый простой и обыкновенный случай. Ничего особенного, человек всего-навсего обделался. Ваш господин кандидат в офицеры выпил коньяку больше, чем следовало, и обделался. Но, по-видимому, он обделался бы и без коньяку, с одних только трубочек, которые ему прислали из дому. Это ребёнок. Насколько мне известно, в Офицерском собрании он всегда выпивал только четвертинку вина. Он абстинент…

Доктор Вельфер сплюнул.

— Он покупал всегда линцские пирожные!

— Значит, ничего серьёзного? — переспросил капитан Сагнер. — Но… получив огласку, такое дело…

Поручик Лукаш встал и заявил, обращаясь к Сагнеру:

— Благодарю покорно за такого взводного командира!

— Я помог ему стать на ноги, — сказал Вельфер, не переставая улыбаться. — Об остальном соблаговолите распорядиться сами, господин батальонный командир. Я сдам кадета Биглера в здешний госпиталь и выдам справку, что у него дизентерия. Тяжёлый случай дизентерии… необходима изоляция. Кадет Биглер попадёт в заразный барак… Это, без сомнения, лучший выход из положения, — продолжал Вельфер с тою же отвратительной улыбкой. — Одно дело — обделавшийся кадет, другое — кадет, заболевший дизентерией.

Капитан Сагнер строго официально обратился к своему приятелю Лукашу:

— Господин поручик, кадет вашей роты Биглер заболел дизентерией и останется для лечения в Будапеште.

Капитану Сагнеру показалось, что Вельфер вызывающе смеётся, но, когда он взглянул на «лекаря военного времени», лицо того выражало полное безразличие.

— Итак, всё в порядке, господин капитан, — спокойно произнёс Вельфер, — кандидат на офицерский чин… — Он махнул рукой: — При дизентерии каждый может наложить в штаны.

Таким образом, доблестный кадет Биглер был отправлен в военный изолятор в Уй-Буда.

Его обделанные брюки исчезли в водовороте мировой войны. Грёзы кадета Биглера о великих победах были заключены в одну из палат изоляционных бараков.

Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришёл в восторг. Велика ли разница: быть раненым или заболеть за своего государя императора при исполнении своего долга?

В госпитале с ним произошла маленькая неприятность: ввиду того что в дизентерийном бараке все места были заняты, кадета перевели в холерный барак.

Когда Биглера выкупали и сунули под мышку термометр, штабной врач-мадьяр задумчиво покачал головой: «37,1°! Худший симптом при холере — сильное падение температуры. Больной становится апатичным…»

Действительно, кадет Биглер не проявлял ни малейших признаков волнения. Он был необычайно спокоен, повторяя про себя, что всё равно страдает за государя императора.

Штабной врач приказал поставить термометр в задний проход.

— Последняя стадия холеры, — решил он. — Начало конца. Крайняя слабость, больной перестаёт реагировать на окружающее, сознание его затемнено. Умирающий улыбается в предсмертной агонии.

Действительно, кадет Биглер улыбался улыбкой мученика и даже не пошевелился, когда ему в задний проход ставили термометр. Он воображал себя героем.

— Симптомы медленного умирания, — определил штабной врач. — Пассивность…

Для верности он спросил венгерского санитара унтер-офицера, была ли у кадета рвота и понос в ванне.

Получив отрицательный ответ, врач посмотрел на Биглера. Если при холере прекращаются понос и рвота, то наряду с предшествующими симптомами это типичная картина последних часов перед смертью.

Кадет Биглер, которого вынули из тёплой ванны и совершенно голого положили на койку, страшно озяб. У него зуб на зуб не попадал, а всё тело покрылось гусиной кожей.

— Вот видите, — по-венгерски сказал штабной врач. — Сильный озноб и похолодевшие конечности. Это — конец.

Наклонившись к кадету Биглеру, он спросил его по-немецки:

— Also, wie geht's?[220]

— S-s-se-hr-hr gu-gu-tt, — застучал зубами кадет Биглер. — …Eine De-deck-ke![221]

— Сознание моментами затемнено, моментами просветляется, — опять по-венгерски сказал штабной врач. — Тело худое. Губы и ногти должны бы почернеть. Третий случай у меня, когда больной умирает от холеры, а ногти и губы не чернеют. — Он снова наклонился к кадету Биглеру и по-венгерски продолжал: — Сердце не прослушивается.

— Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke, — стуча зубами, снова попросил кадет Биглер.

— Это его последние слова, — обращаясь к санитару унтер-офицеру по-венгерски, предсказал штабной врач. — Завтра мы его похороним вместе с майором Кохом. Сейчас он потеряет сознание. Его бумаги в канцелярии?

— Будут там, — спокойно ответил санитар унтер-офицер.

— Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke, — умоляюще проговорил кадет Биглер вслед уходящим.

В палате, где стояло шестнадцать коек, лежало всего пять человек, один из них — мёртвый. Он умер два часа назад и был накрыт простынёй.

Умерший носил фамилию учёного, открывшего бациллы холеры. Это был капитан Кох, вместе с которым штабной врач намеревался завтра похоронить кадета Биглера.

Кадет Биглер приподнялся на койке и тут впервые увидел, как умирают от холеры за государя императора. Из четырёх оставшихся в живых двое умирали, задыхались, посинели и выдавливали из себя какие-то слова. Невозможно было разобрать, что и на каком языке они говорят. Это скорее походило на хрипение.

У двух других наступила бурная реакция, свидетельствовавшая о выздоровлении. Оба походили на больных, охваченных тифозной горячкой. Они кричали что-то непонятное и выбрасывали из-под одеяла тощие ноги. Над ними склонился бородатый санитар, говоривший на штирийском наречии (как разобрал кадет Биглер), и успокаивал их.

— И у меня была холера, дорогие господа, но я так не брыкался. Вот вам и лучше стало. Получите отпуск и…

— Да не дрыгай ты ногами! — прикрикнул он на одного из больных, который наподдал ногой одеяло так, что оно перелетело к нему на голову. — У нас это не полагается. Скажи спасибо, что у тебя горячка. Теперь, по крайней мере, тебя не повезут отсюда с музыкой. Оба вы уже отделались.

Он оглянулся.

— Вон те двое померли. Мы так и знали, — сказал он добродушно. — Будьте довольны, что отделались. Пойду за простынями.

Через минуту он вернулся и прикрыл простынями умерших. Губы у них совершенно почернели. Санитар сложил их растопыренные и скрюченные в предсмертной агонии руки с почерневшими ногтями, попытался всунуть языки назад в рот, затем опустился на колени и начал:

— Heilige Marie, Mutter Gottes![222]

При этом старый санитар из Штирии глядел на своих выздоравливающих пациентов, бред которых свидетельствовал о возвращении их к жизни.

— Heilige Marie, Mutter Gottes! — набожно повторял санитар, как вдруг какой-то голый человек похлопал его по плечу. Это был кадет Биглер.

— Послушайте… — сказал он. — Я купался… То есть меня купали… Мне нужно одеяло… Мне холодно…

— Исключительный случай, — полчаса спустя сообщил штабной врач кадету Биглеру, отдыхавшему под одеялом. — Вы, господин кадет, на пути к выздоровлению. Завтра мы отправляем вас в Тарнов, в запасный госпиталь. Вы являетесь носителем холерных бацилл… Наша наука так

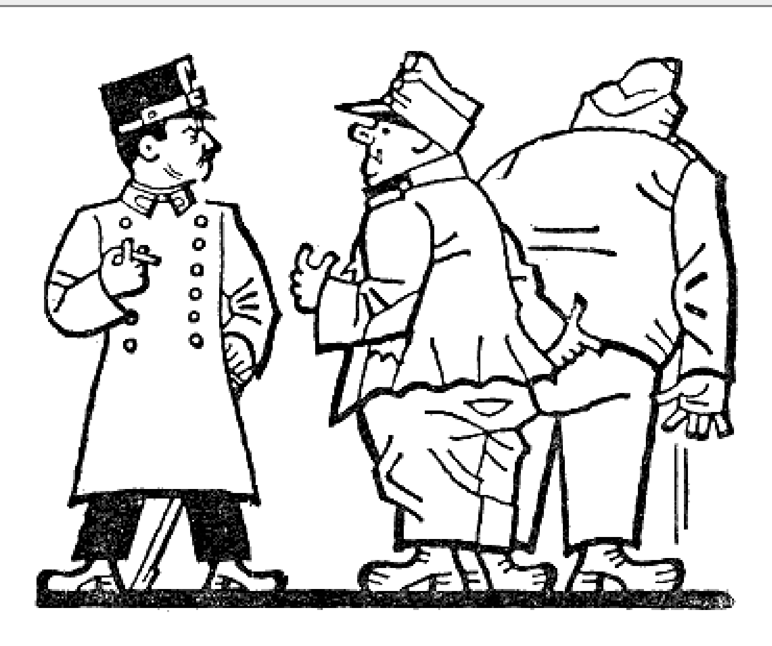
далеко ушла вперёд, что мы точно можем это установить. Вы из Девяносто первого полка?

— Тринадцатого маршевого батальона, одиннадцатой роты, — ответил за кадета Биглера санитарный унтер-офицер.

— Пишите, — приказал штабной врач: — «Кадет Биглер тринадцатого маршевого батальона, одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка направляется для врачебного наблюдения в холерный барак в Тарнов. Носитель холерных бацилл…»

Так, полный энтузиазма воин, кадет Биглер стал носителем холерных бацилл.

Глава II
В БУДАПЕШТЕ



На будапештском воинском вокзале Матушич принёс капитану Сагнеру телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая: «Быстро сварить обед и наступать на Сокаль». К этому было прибавлено: «Обоз зачислить в восточную группу. Разведочная служба отменяется. Тринадцатому маршевому батальону построить мост через реку Буг. Подробности в газетах».

Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер.

— Ну и наворотил ваш бригадный генерал, — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. — Но всё же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии ещё не пришло распоряжения не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал четырнадцатый маршевый батальон Семьдесят пятого полка, и командир батальона получил телеграмму: выдать всей команде по шесть крон в качестве особой награды за Перемышль. К тому же было отдано распоряжение: две из этих шести крон каждый солдат должен внести на военный заём… По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил паралич.

— Господин майор, — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала. — Согласно приказам по полку, мы едем по маршруту в

Геделле. Команде полагается получить здесь по сто пятьдесят граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили.

— И здесь вы едва ли чего-нибудь добьётесь, — по-прежнему улыбаясь, ответил майор. — Мне неизвестен такой приказ *для полков из Чехии*. Впрочем, это не моё дело, обратитесь в управление по снабжению.

— Когда мы отправляемся, господин майор?

— Впереди вас стоит поезд с тяжёлой артиллерией, направляющийся в Галицию. Мы отправим его через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд. Он отходит спустя двадцать пять минут после артиллерии. На двенадцатом пути стоит поезд с боеприпасами. Он отправляется десять минут спустя после санитарного, и через двадцать минут после него мы отправим ваш поезд. Конечно, если не будет каких-либо изменений, — прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивел капитану Сагнеру.

— Извините, господин майор, — решив выяснить всё до конца, допытывался Сагнер, — можете ли вы дать справку о том, что вам ничего не известно о ста пятидесяти граммах швейцарского сыра *для полков из Чехии*.

— Это секретный приказ, — ответил, не переставая приятно улыбаться, комендант воинского вокзала в Будапеште.

«Нечего сказать, сел я в лужу, — подумал капитан Сагнер, выходя из здания комендатуры. — На кой чёрт я велел поручику Лукашу собрать командиров и идти вместе с ними и с солдатами на продовольственный склад?»

Командир одиннадцатой роты поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнера, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по сто пятьдесят граммов на человека, но именно в этот момент перед ним предстал Швейк с несчастным Балоуном. Балоун весь трясся.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк с обычной для него расторопностью, — дело чрезвычайно серьёзное. Смею просить, господин обер-лейтенант, справить это дело где-нибудь в сторонке. Так выразился один мой товарищ, Шпатина из Згоржа, когда был шафером на свадьбе и ему в церкви вдруг захотелось…

— В чём дело, Швейк? — не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по Швейку, так же как и Швейк по поручику Лукашу. — Отойдём.

Балоун поплёлся за ними. Этот великан совершенно утратил душевное

равновесие и в полном отчаянии размахивал руками.

— Так в чём дело, Швейк? — спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — выпалил Швейк, — всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. Вы отдали вполне ясный приказ, господин обер-лейтанант, чтобы Балоун, когда мы прибудем в Будапешт, принёс вам печёночный паштет и булочку. Получил ты этот приказ или нет? — обратился Швейк к Балоуну.

Балоун ещё отчаяннее замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника.

— К сожалению, господин обер-лейтенант, — продолжал Швейк, — этот приказ не мог быть выполнен. Ваш печёночный паштет сожрал я… Я его сожрал, — повторил Швейк, толкнув в бок обезумевшего Балоуна. — Я подумал, что печёночный паштет может испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись паштетом из печёнки. Раз это произошло в Здеразе, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Младой Болеславе, раз в Пршибраме. Все отравленные умерли. Паштет из печёнки — ужаснейшая мерзость…

Балоун, трясясь всем телом, отошёл в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало.

— Что с вами, Балоун?

— Блю-блю-ю, го-го-сподин об-бе-бер-лей-те-нант, — между приступами рвоты кричал несчастный Балоун. — Э-э-э-то я со-со-жрал… — Изо рта страдальца Балоуна лезли также куски станиолевой обёртки паштета.

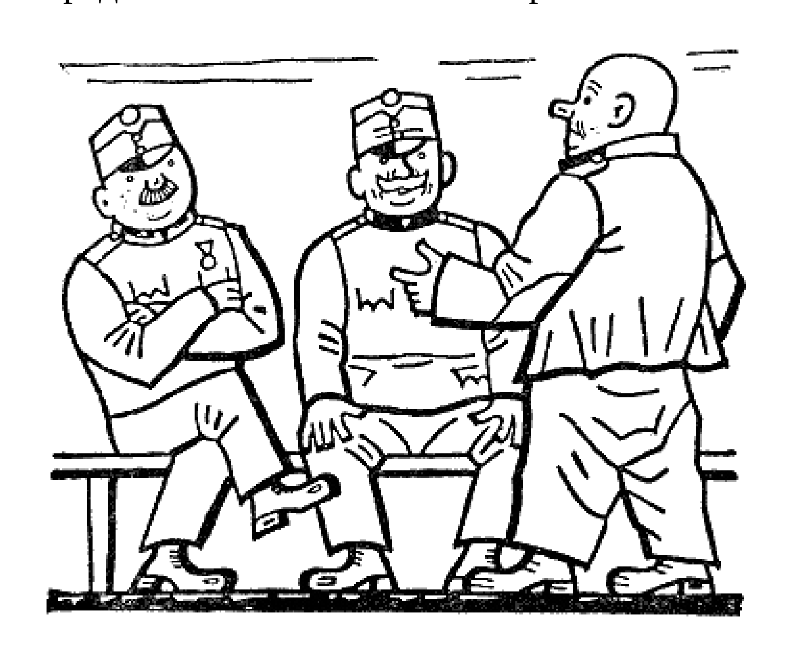
— Как видите, господин обер-лейтенант, — ничуть не растерявшись, сказал Швейк, — каждый сожранный паштет всегда лезет наружу, как шило из мешка. Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выдал. Балоун вполне порядочный человек, но сожрёт всё, что ни доверь. Я знал ещё одного такого субъекта, тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали лишних тысячу крон. Он тут же вернул их. Но послать его купить копчёного ошейка на пятнадцать крейцеров было невозможно: обязательно по дороге сожрёт половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что, когда его посылали за ливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком, а дыры залеплял английским пластырем. Пластырь для пяти маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем одна большая ливерная колбаса.

Поручик Лукаш вздохнул и пошёл прочь.

— Не будет ли каких приказаний, господин обер-лейтенант? — прокричал вслед ему Швейк, в то время как несчастный Балоун беспрерывно совал палец в глотку.

Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу. На ум ему пришла парадоксальная мысль: раз солдаты жрут печёночные паштеты своих офицеров — Австрия выиграть войну не сможет.

Между тем Швейк перевёл Балоуна на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебреценских сосисок. Представление Швейка о столице венгерского королевства, естественно, ограничивалось представлением об особом сорте копчёностей.



— Как бы наш поезд не ушёл, — заныл Балоун, ненасытность которого сочеталась с исключительной скупостью.

— Когда едешь на фронт, — убеждённо заявил Швейк, — то никогда не опоздаешь, потому как каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезёт на конечную станцию только половину эшелона. Впрочем, я тебя прекрасно понимаю, Балоун! Дрожишь за свой карман.

Однако пойти им никуда не удалось, так как вдруг раздалась команда «по вагонам». Солдаты разных рот возвращались к своим вагонам не солоно хлебавши. Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра, которые им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии

(Вена, XIX/4, ул. Канизиус). Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра им вручили Седлецкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам. Этот монумент был создан скульптором, отвертевшимся от фронта, вольноопределяющимся старшим писарем Шольцем.

У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона толпились вокруг капитана Сагнера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года.

Штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии. Ещё в Бруке-на-Лейте в Офицерском собрании во время сытных обедов и ужинов с полным ртом говорили о странном поведении Италии, однако никто не ожидал, что исполнятся пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил: «Этого-то я вдоволь наемся у врат Вероны».

Капитан Сагнер, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу.

Когда все солдаты маршевого батальона были собраны, их построили в каре, и капитан Сагнер необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ:

— «Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он был связан как союзник нашей державы. С самого начала войны, в которой он, как союзник, должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник — итальянский король — играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с двадцать второго на двадцать третье мая, когда он объявил войну нашей монархии. Наш верховный главнокомандующий выражает уверенность, что наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким сокрушительным ударом, что предатель поймёт, что, позорно и коварно начав войну, он погубил самого себя. Мы твёрдо верим, что с божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские равнины опять увидят победителя при Санта-Лючии, Виченце, Новаре, Кустоцце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим!»

Потом последовало обычное «dreimal hoch»,[223] и приунывшее воинство село в поезд. Вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра

на голову солдатам свалилась война с Италией.

*

В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телефонист Ходоунский, Балоун и повар Юрайда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну.

— Подобный же случай произошёл в Праге на Таборской улице, — начал Швейк. — Там жил купец Горжейший. Неподалёку от него, напротив, в своей лавчонке хозяйничал купец Пошмоурный. Между ними держал мелочную лавочку Гавласа.

Так вот, купцу Горжейшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавласой против купца Пошмоурного, и он начал вести переговоры с Гавласой о том, как бы им объединить обе лавки под одной фирмой «Горжейший и Гавласа». Но лавочник Гавласа пошёл к купцу Пошмоурному да и рассказал ему, что Горжейший даёт тысячу двести крон за его лавчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Пошмоурный даст ему тысячу восемьсот, то он предпочтёт заключить союз с ним против Горжейшего. Договорились. Однако Гавласа, предав Горжейшего, всё время тёрся около него и делал вид, будто он его ближайший друг, а когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал: «Да-да, скоро, скоро. Я только жду, когда вернутся жильцы с дач». Ну, а когда жильцы вернулись, то уже действительно всё было готово для совместной работы, как он и обещал Горжейшему. Вот раз утром пошёл Горжейший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента большую вывеску, а на ней большущими буквами выведено название фирмы «Пошмоурный и Гавласа».

— У нас, — вмешался глуповатый Балоун, — тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить тёлку, уже договорился, а вотицкий мясник возьми и перехвати её у меня под самым носом.

— Раз опять новая война, — продолжал Швейк, — раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придётся экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розог, говорил, бывало, дедушка Хованец из Мотоле, который за небольшое вознаграждение сёк соседских детей.

— Я боюсь только, — высказал свои опасения Балоун, задрожав всем телом, — что из-за этой самой Италии нам пайки сократят.

Старший писарь Ванек задумался и серьёзно ответил:

— Всё может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится.

— Эх, нам бы нового Радецкого, — сказал Швейк. — Вот кто был знаком с тамошним краем! Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь не легко — куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. Раз в нашем доме, ещё на старой квартире, на чердаке поймали вора. Но он, подлец, когда лез, то заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он вырвался у них из рук, заколол швейцариху и спустился по лесам в этот фонарь, а оттуда уже и не выбрался. Но наш отец родной, Радецкий, знал в Италии «каждую стёжку», его никто не мог поймать. В одной книжке описывается, как он удрал из Санта-Лючии и итальянцы удирали тоже. Радецкий только на другой день открыл, что, собственно, победил он потому, что итальянцев и в полевой бинокль не видать было. Тогда он вернулся и занял оставленную Санта-Лючию. После этого ему присвоили звание фельдмаршала.

— Нечего и говорить, прекрасная страна, — вступил в разговор повар Юрайда. — Я был раз в Венеции и знаю, что итальянец каждого называет свиньёй. Когда он рассердится, всё у него «porco maledetto».[224] И папа римский у него «porco»,[225] и «madonna mia è porca, papa è porco».[226]

Старший писарь Ванек, напротив, отозвался об Италии с большой симпатией. В Кралупах в своей аптекарской лавке он готовил лимонные сиропы, — это делается из гнилых лимонов, а самые дешёвые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. Теперь конец поставкам лимонов из Италии в Кралупы. Нет сомнения, война с Италией принесёт много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии.



— Легко сказать, отомстить! — с улыбкой возразил Швейк. — Иной думает, что отомстит, а в конце концов страдает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Когда я несколько лет назад жил на Виноградах, там в первом этаже жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамериевой улице и как-то поругался с одним господином. У того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче, постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их под нос, чтобы каждый помочился и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его

семьи. Притом это дёшево: всего шесть крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяин и хозяйка пивной дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек упорствовал, хотя господин всякий раз, когда он шёл в писсуар, лез за ним туда и озабоченно говорил: «Не знаю, не знаю, пан Скорковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно, в бутылочку!» В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в шесть крон. И насолил же ему этот господин своим анализом! Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю. Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьёзный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудием мести швейцара, зная, что это человек жестокий. Как-то раз он и говорит господину, исследовавшему мочу, что швейцар с некоторых пор чувствует себя нездоровым и просит завтра утром к семи часам прийти к нему за мочой. Тот пошёл. Швейцар ещё спал. Этот господин разбудил его и любезно сказал: «Моё почтение, пан Малёк, с добрым утром! Вот вам бутылочка, извольте помочиться. Мне с вас следует получить шесть крон». Тут такое началось!.. Хоть святых выноси! Швейцар выскочил из постели в одних подштанниках, да как схватит этого господина за горло, да как швырнёт его в шкаф! Тот влетел туда и застрял. Швейцар вытащил его, схватил арапник и в одних подштанниках погнался за ним вниз по Челаковской улице, а тот визжать, словно пёс, которому на хвост наступили. На Гавличковой улице пан Малёк вскочил в трамвай. Швейцара схватил полицейский, он подрался и с полицейским. А так как швейцар был в одних подштанниках и всё у него вылезало, то за оскорбление общественной нравственности его кинули в корзину и повезли в полицию, а он и из корзины ревел, как тур: «Мерзавцы, я вам покажу, как исследовать мою мочу!» Ему дали шесть месяцев за насилие, совершённое в общественном месте, и за оскорбление полиции, но после оглашения приговора он допустил оскорбление царствующего дома. Может быть, сидит, бедняга, и по сей день. Вот почему я и говорю: «Когда кому-нибудь мстишь, то от этого страдает невинный».



Балоун между тем напряжённо и долго о чём-то размышлял и наконец с трепетом спросил Ванека:

— Простите, господин старший писарь, вы думаете, из-за войны с Италией нам урежут пайки?

— Ясно как божий день, — ответил Ванек.

— Иисус Мария! — воскликнул Балоун, опустив голову на руки, и затих в углу.

Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии.

*

В штабном вагоне разговор о новой ситуации, создавшейся в связи со вступлением Италии в войну, грозил быть весьма нудным из-за отсутствия там прославленного военного теоретика кадета Биглера, но его отчасти заменил подпоручик третьей роты Дуб.

Подпоручик Дуб в мирное время был преподавателем чешского языка и уже тогда, где только представлялась возможность, старался проявить свою лояльность. Он задавал своим ученикам письменные работы на темы из истории династии Габсбургов. В младших классах учеников устрашали император Максимилиан, который влез на скалу и не мог спуститься вниз, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый; в старших классах темы были более сложными. Например, в седьмом классе предлагалось сочинение «Император Франц-Иосиф — покровитель наук и искусств». Из-за этого сочинения один семиклассник был исключён без права поступления в

средние учебные заведения Австро-Венгерской монархии, так как он написал, что замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста императора Франца-Иосифа I в Праге.

Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн.

В обществе его не любили, так как было определённо известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где Дуб преподавал, он состоял членом «тройки» крупнейших идиотов и ослов. В тройку входили, кроме него, окружной начальник и директор гимназии. В этом узком кругу он научился рассуждать о политике в рамках, дозволенных в Австро-Венгерской монархии. Теперь он излагал свои мысли тоном косного преподавателя гимназии:

— В общем, меня совершенно не удивило выступление Италии. Я ожидал этого ещё три месяца назад. После своей победоносной войны с Турцией из-за Триполи Италия сильно возгордилась. Кроме того, она слишком надеется на свой флот и на настроение населения наших приморских областей и Южного Тироля. Ещё перед войной я беседовал с нашим окружным начальником о том, что наше правительство недооценивает ирредентистское движение на юге. Тот вполне со мной соглашался, ибо каждый дальновидный человек, которому дорога целостность нашей империи, должен был предвидеть, куда может завести чрезмерная снисходительность к подобным элементам. Я отлично помню, как года два назад я — это было, следовательно, в Балканскую войну, во время афёры нашего консула Прохазки, — в разговоре с господином окружным начальником заявил, что Италия ждёт только удобного случая, чтобы коварно напасть на нас. И вот мы до этого дожили! — крикнул он, будто все с ним спорили, хотя кадровые офицеры, присутствовавшие во время его речи, молчали и мечтали о том, чтоб этот штатский трепач провалился в тартарары. — Правда, — продолжал он, несколько успокоившись, — в большинстве случаев даже в школьных сочинениях мы забывали о наших прежних отношениях с Италией, забывали о тех великих днях побед нашей славной армии, например, в тысяча восемьсот сорок восьмом году, равно как и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом… О них упоминается в сегодняшнем приказе по бригаде. Однако что касается меня, то я всегда честно выполнял свой долг и ещё перед окончанием учебного года почти, так сказать, в самом начале войны задал своим ученикам сочинение на тему «Unsere Helden in Italien von Vicenza bis zur Custozza, oder…»[227]

И дурак подпоручик Дуб торжественно присовокупил:

— Blut und Leben fur Habsburg! Für ein Österreich, ganz, einig, gros!..[228]

Он замолчал, ожидая, по-видимому, что все остальные в штабном вагоне тоже заговорят о создавшейся ситуации, и тогда он ещё раз докажет, что уже пять лет тому назад предвидел, как Италия поведёт себя по отношению к своему союзнику. Но он жестоко просчитался, так как капитан Сагнер, которому ординарец батальона Матушич принёс со станции вечерний выпуск «Пестер-Ллойд», просматривая газету, воскликнул: «Послушайте, та самая Вейнер, на гастролях которой мы были в Бруке, вчера выступала здесь на сцене Малого театра!»

На этом прекратились дебаты об Италии в штабном вагоне.

*

Ординарец батальона Матушич и денщик Сагнера Батцер, также ехавшие в штабном вагоне, рассматривали войну с Италией с чисто практической точки зрения: ещё давно, в мирное время, будучи на военной службе, они принимали участие в манёврах в Южном Тироле.

— Тяжело нам будет лазить по холмам, — вздохнул Батцер, — у капитана Сагнера целый воз всяких чемоданов. Я сам горный житель, но это совсем другое дело, когда, бывало, спрячешь ружьё под куртку и идёшь выслеживать зайца в имении князя Шварценберга.

— Если нас действительно перебросят на юг, в Италию… Мне тоже не улыбается носиться по горам и ледникам с приказами. А что до жратвы, то там, на юге, одна полента и растительное масло, — печально сказал Матушич.

— А почему бы и не сунуть нас в эти горы? — разволновался Батцер. — Наш полк был и в Сербии и на Карпатах. Я уже достаточно потаскал чемоданы господина капитана по горам. Два раза я их терял. Один раз в Сербии, другой раз в Карпатах. Во время такой баталии всё может случиться. Может, то же самое ждёт меня и в третий раз, на итальянской границе, а что касается тамошней жратвы… — Он сплюнул, подсел поближе к Матушичу и доверительно заговорил: — Знаешь, у нас в Кашперских горах делают вот такие маленькие кнедлики из сырой картошки. Их сварят, поваляют в яйце, посыплют как следует сухарями, а потом… а потом поджаривают на свином сале!

Последнее слово он произнёс замирающим от восторга голосом.

— Но лучше всего кнедлики с кислой капустой, — прибавил он

меланхолически, — а макаронам место в сортире.

На этом и здесь закончился разговор об Италии…

В остальных вагонах в один голос утверждали, что поезд, вероятно, повёрнут и пошлют в Италию, так как он уже больше двух часов стоит на вокзале.

Это отчасти подтверждалось и теми странными вещами, которые проделывались с эшелоном. Солдат опять выгнали из вагонов, пришла санитарная инспекция с дезинфекционным отрядом и обрызгала всё лизолом, что было встречено с большим неудовольствием, особенно в тех вагонах, где везли запасы пайкового хлеба.

Но приказ есть приказ, санитарная комиссия дала приказ произвести дезинфекцию во всех вагонах эшелона № 728, а потому преспокойным образом были обрызганы лизолом и горы хлеба, и мешки с рисом. Это уже говорило о том, что происходит нечто необычное.

Потом всех опять загнали в вагоны, а через полчаса снова выгнали, так как эшелон пришёл инспектировать дряхленький генерал. Швейк тут же дал старику подходящее прозвище. Стоя позади шеренги, Швейк шепнул старшему писарю:

— Ну и дохлятинка.

Старый генерал в сопровождении капитана Сагнера прошёл вдоль фронта и, желая воодушевить команду, остановился перед одним молодым солдатом и спросил, откуда он, сколько ему лет и есть ли у него часы. Хотя у солдата часы были, он, надеясь получить от старика ещё одни, ответил, что часов у него нет. На это дряхленький генерал-дохлятинка улыбнулся придурковато, как, бывало, улыбался император Франц-Иосиф, обращаясь к бургомистру, и сказал:

— Это хорошо, это хорошо!

После этого оказал честь стоявшему рядом капралу, спросив, здорова ли его супруга.

— Осмелюсь доложить, — рявкнул капрал, — я холост!

На это генерал с благосклонной улыбкой тоже пробормотал своё:

— Это хорошо, это хорошо!



Затем впавший в детство генерал потребовал, чтобы капитан Сагнер продемонстрировал, как солдаты выполняют команду: «На первый-второй рассчитайсь!» И тут же раздалось:

— Первый-второй, первый-второй, первый-второй…

Генерал-дохлятинка это страшно любил. Дома у него было два денщика. Он выстраивал их перед собой, и они кричали:

— Первый-второй, первый-второй.

Таких генералов в Австрии было великое множество.

Когда смотр благополучно окончился, генерал не поскупился на похвалы капитану Сагнеру; солдатам разрешили прогуляться по территории вокзала, так как пришло сообщение, что эшелон тронется только через три часа. Солдаты слонялись по перрону и вынюхивали, нельзя ли что-нибудь стрельнуть. На вокзале всегда много народу, и кое-кому из солдат удавалось выклянчить сигарету.

Это было ярким показателем того, насколько повыветрился восторг прежних, торжественных встреч, которые устраивались на вокзалах для эшелонов: теперь солдатам приходилось попрошайничать.

К капитану Сагнеру прибыла делегация от «Кружка для приветствия героев» в составе двух невероятно измождённых дам, которые передали подарок, предназначенный для эшелона, а именно: двадцать коробочек ароматных таблеток для освежения рта — реклама одной будапештской конфетной фабрики. Эти таблетки были упакованы в очень красивые жестяные коробочки. На крышке каждой коробочки был нарисован венгерский гонвед, пожимающий руку австрийскому ополченцу, а над ними — сияющая корона святого Стефана. По ободку была выведена надпись на

венгерском и немецком языках: «Für Kaiser, Gott und Vaterland».[229]

Конфетная фабрика была настолько лояльна, что отдала предпочтение императору, поставив его перед господом богом.

В каждой коробочке содержалось восемьдесят таблеток, так что на трёх человек приходилось приблизительно по пяти таблеток. Кроме того, пожилые изнурённые дамы принесли целый тюк листовок с двумя молитвами, сочинёнными будапештским архиепископом Гезой из Сатмар-Будафала. Молитвы были написаны по-немецки и по-венгерски и содержали самые ужасные проклятия по адресу всех неприятелей. Молитвы были пронизаны такой страстью, что им не хватало только крепкого венгерского ругательства «Baszorn a Kristusmarját».

По мнению достопочтенного архиепископа, любвеобильный бог должен изрубить русских, англичан, сербов, французов и японцев, сделать из них лапшу и гуляш с красным перцем. Любвеобильный бог должен купаться в крови неприятелей и перебить всех врагов, как перебил младенцев жестокий Ирод. Преосвященный архиепископ будапештский употребил в своих молитвах, например, такие милые выражения, как: «Бог да благословит ваши штыки, дабы они глубоко вонзались в утробы врагов. Да направит наисправедливейший господь артиллерийский огонь на головы вражеских штабов. Милосердный боже, соделай так, чтоб все враги захлебнулись в своей собственной крови от ран, которые им нанесут наши солдаты». Следует ещё раз отметить, что этим молитвам не хватало только: «Baszom a Kristusmarját!»



Передав всё это, дамы выразили капитану Сагнеру своё страстное

желание присутствовать при раздаче подарков. Одна из них даже отважилась попросить разрешения обратиться с речью к солдатам, которых она называла не иначе как «unsere braven Feldgrauen».[230] Обе состроили ужасно обиженные мины; когда капитан Сагнер отверг их просьбу. Между тем подарки были переправлены в вагон, где помещался склад. Достопочтенные дамы обошли солдатский строй, причём одна из них не преминула похлопать по щеке бородатого Шимека из Будейовиц. Шимек, не будучи осведомлён о высокой миссии дам, по-своему расценил такое поведение и после их ухода сказал своим товарищам:

— Ну и нахальные же эти шлюхи. Хоть бы мордой вышла, а то ведь цапля цаплей. Кроме тощих ног, ничего нет, а страшна как смертный грех, и этакая старая карга ещё заигрывает с солдатами!..

На вокзале всё пришло в смятение. Выступление Италии вызвало здесь панику: два эшелона с артиллерией были задержаны и посланы в Штирию. Эшелон боснийцев, по неизвестным причинам, ждал отправления третий день. О нём совершенно забыли и потеряли из виду. Боснийцы целых два дня не получали обеда и ходили в Новый Пешт христарадничать. Здесь, кроме злобной матерщины возмущённо жестикулирующих, брошенных на произвол судьбы боснийцев, ничего не было слышно. Вскоре маршевый батальон Девяносто первого полка был опять согнан, и солдаты расселись по вагонам. Однако через минуту батальонный ординарец Матушич вернулся из станционной комендатуры с сообщением, что поезд отправят только через три часа. Ввиду этого только что собранных солдат снова выпустили из вагонов.

Перед самым отходом поезда в штабной вагон влетел страшно взволнованный подпоручик Дуб и обратился к капитану Сагнеру с просьбой немедленно арестовать Швейка. Подпоручик Дуб ещё в бытность свою преподавателем гимназии прослыл доносчиком. Он любил поговорить с солдатом, выведать его убеждения, пользуясь случаем — наставить его и разъяснить, почему они воюют и за что они воюют.

Во время обхода он увидел за вокзалом стоявшего у фонаря Швейка, который с интересом рассматривал плакат какой-то благотворительной военной лотереи. На плакате был изображён австрийский солдат, штыком пригвоздивший к стене оторопелого бородатого казака.

Подпоручик Дуб похлопал Швейка по плечу и спросил, как это ему нравится.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — это глупость. Много я видел глупых плакатов, но такой ерунды ещё не видел.

— Что же, собственно, вам тут не нравится? — спросил подпоручик

Дуб.

— Мне не нравится, господин лейтенант, как солдат обращается с вверенным ему оружием. Ведь о каменную стену он может поломать штык. А потом это вообще ни к чему, его за это могут наказать, так как русский поднял руки и сдаётся. Он взят в плен, а с пленными следует обращаться хорошо, всё же и они люди.

Подпоручик Дуб, продолжая прощупывать убеждения Швейка, задал ещё один вопрос:

— Вам жалко этого русского, не правда ли?

— Мне жалко, господин лейтенант, их обоих: русского, потому что его проткнули, и нашего — потому что за это его арестуют. Он, господин лейтенант, как пить дать, сломает штык, ведь стена-то каменная, а сталь она ломкая. Ещё перед войной, господин лейтенант, когда я проходил действительную, у нас в роте был один лейтенант. Даже наш старший фельдфебель не умеет так выражаться, как тот господин лейтенант. На учебном плацу он нам говорил: «Когда раздаётся „Habacht“, ты должен выкатить зенки, как кот, когда гадит на соломенную сечку». А в общем, это был очень хороший человек. Раз на рождество он спятил: купил роте целый воз кокосовых орехов, и с тех пор я знаю, как ломки штыки. Полроты переломало штыки об эти орехи, и наш подполковник приказал всех посадить под арест. Три месяца нам не разрешалось выходить из казарм… а господин лейтенант сидел под домашним арестом.

Подпоручик с ненавистью посмотрел на беззаботное лицо бравого солдата Швейка и зло спросил:

— Вы меня знаете?

— Знаю, господин лейтенант.

Подпоручик Дуб вытаращил глаза и затопал ногами.

— А я вам говорю, что вы меня ещё не знаете!

Швейк невозмутимо-спокойно, как бы рапортуя, ещё раз повторил:

— Я вас знаю, господин лейтенант. Вы, осмелюсь доложить, из нашего маршевого батальона.

— Вы меня не знаете, — снова закричал подпоручик Дуб. — Может быть, вы знали меня с хорошей стороны, но теперь узнаете меня и с плохой стороны. Я не такой добрый, как вам кажется. Я любого доведу до слёз. Так знаете теперь, с кем имеете дело, или нет?

— Знаю, господин лейтенант.

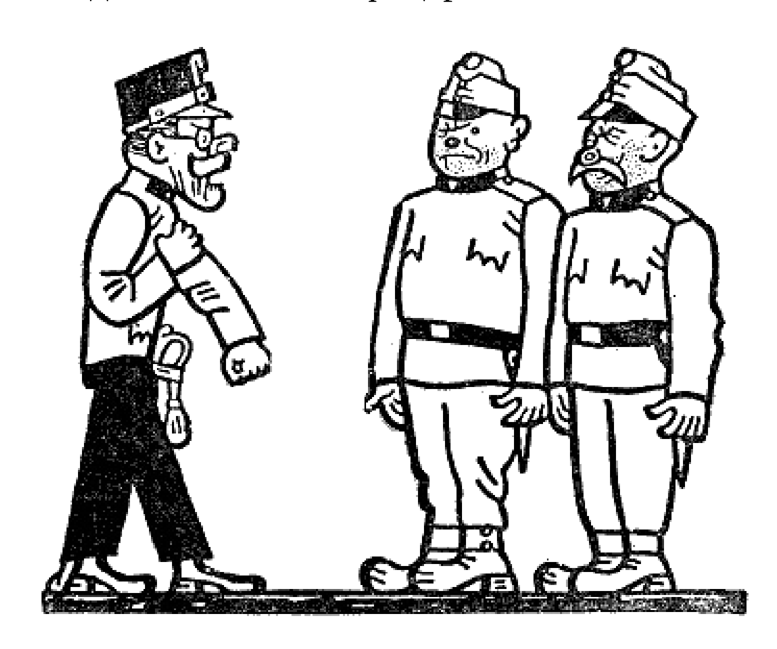
— В последний раз вам повторяю, вы меня не знаете! Осёл! Есть у вас братья?

— Так точно, господин лейтенант, есть один.

Подпоручик Дуб, взглянув на спокойное, открытое лицо Швейка, пришёл в бешенство и, совершенно потеряв самообладание, заорал:

— Значит, брат ваш такая же скотина, как и вы! Кем он был?

— Преподавателем гимназии, господин лейтенант. Был также на военной службе и сдал экзамен на офицера.



Подпоручик Дуб посмотрел на Швейка так, будто хотел пронзить его взглядом. Швейк с достоинством выдержал озлобленный взгляд дурака подпоручика, и вскоре разговор окончился словом: «Abtreten!»

Каждый пошёл своей дорогой, и каждый думал о своём.

Подпоручик думал о том, как он всё расскажет капитану и тот прикажет арестовать Швейка; Швейк же заключил, что много видел на своём веку глупых офицеров, но такого, как Дуб, во всём полку не сыщешь.

Подпоручик Дуб, который именно сегодня твёрдо решил заняться воспитанием солдат, нашёл за вокзалом новые жертвы. Это были два солдата того же Девяносто первого полка, но другой роты. Они на ломаном немецком языке под покровом темноты договаривались с двумя проститутками: на вокзале и около него их бродило несметное множество.

Даже издалека Швейк совершенно отчётливо слышал пронзительный голос подпоручика Дуба:

— Вы меня знаете?!

— А я вам говорю, что вы меня не знаете!..

— Но вы меня ещё узнаете!..

— Может, вы меня знаете только с хорошей стороны!..

— А я говорю, вы узнаете меня и с плохой стороны!.. Я вас до слёз

доведу! Ослы!

— Есть у вас братья?!!

— Наверное, такие же скоты, как и вы. Кем они были? В обозе… Ну, хорошо… Не забывайте, что вы солдаты… Вы чехи?.. Знаете, что Палацкий сказал: если бы не было Австрии, мы должны были бы её создать!.. Abtreten!

Но, в общем, обход подпоручика Дуба не дал положительных результатов. Он остановил ещё три группы солдат, однако его педагогические попытки «довести их до слёз» потерпели неудачу. Это был материал, отправляемый на фронт. По глазам солдат подпоручик Дуб догадывался, что все они думают о нём очень скверно. Его самолюбие страдало, и поэтому перед отходом поезда он попросил капитана Сагнера распорядиться арестовать Швейка. Обосновывая необходимость изоляции бравого солдата, он указывал на подозрительную дерзость его поведения и квалифицировал простосердечный ответ Швейка на последний свой вопрос как язвительное замечание. Если так пойдёт дальше, офицерский состав потеряет всякий авторитет, что должно быть ясно каждому из господ офицеров. Он сам ещё до войны говорил с господином окружным начальником о том, что начальник должен всеми силами поддерживать свой авторитет.

Господин окружной начальник был того же мнения.

Особенно теперь, во время войны. Чем ближе мы к неприятелю, тем более необходимо держать солдат в страхе. Ввиду всего этого он просит подвергнуть Швейка дисциплинарному взысканию.

Капитан Сагнер, как всякий кадровый офицер, ненавидел офицеров запаса из штатского сброда. Он обратил внимание подпоручика Дуба, что подобные заявления могут делаться только в форме рапорта, а не как на базаре, где торгуются о цене на картошку. Что же касается Швейка, то первой инстанцией, которой он подчинён, является господин поручик Лукаш. Такие дела идут только по инстанциям, из роты дело поступает, как, вероятно, известно подпоручику, в батальон. Если Швейк действительно провинился, он должен быть послан с рапортом к командиру роты, а в случае апелляции — с рапортом к батальонному командиру. Однако если господин поручик Лукаш не возражает и согласен считать рассказ господина подпоручика Дуба официальным заявлением о наказании, то и он, командир батальона, ничего не имеет против того, чтоб Швейк был вызван и допрошен.



Поручик Лукаш не возражал, но заметил, что из разговоров со Швейком ему точно известно, что брат Швейка действительно был преподавателем гимназии и офицером запаса.

Подпоручик Дуб замялся и сказал, что он настаивал на наказании единственно в широком смысле этого слова и что упомянутый Швейк, может быть, просто не умеет как следует выразить свою мысль, а потому его ответ производит впечатление дерзости, язвительности и неуважения к начальству.

— Впрочем, — добавил он, — судя по внешности упомянутого Швейка, он человек слабоумный.

Таким образом, собравшаяся было над головой Швейка гроза прошла стороной, и он остался цел и невредим.

В вагоне, где находилась канцелярия и склад батальона, старший писарь маршевого батальона Баутанцель милостиво выдал двум батальонным писарям по горсти ароматных таблеток из тех коробочек, которые должны были быть розданы всем солдатам батальона. Так уж повелось: со всем предназначенным для солдат в канцелярии батальона производили те же манипуляции, что и с этими несчастными таблетками.

Во время войны это стало обычным явлением, и даже если воровство не обнаруживалось при ревизии, то всё же каждого из старших писарей всевозможных канцелярий подозревали в превышении сметы и жульничестве.

Ввиду этого пока писаря набивали себе рты солдатскими таблетками, — если уж ничего другого украсть нельзя, нужно

попользоваться хоть этой дрянью, — Баутанцель произнёс речь о тяжёлых лишениях, которые они испытывают в пути.

— Я проделал с маршевым батальоном уже два похода. Но таких нехваток, какие мы испытываем теперь, я никогда не видывал.

— Эх, ребята! Прежде, до приезда в Прешов, у нас было всё, что только душеньке угодно! У меня было припрятано десять тысяч «мемфисок», два круга швейцарского сыра, триста банок консервов. Когда мы направились на Бардеев, в окопы, а русские у Мушины перерезали сообщение с Прешововом… Вот тут пошла торговля! Я для отвода глаз отдал маршевому батальону десятую часть своих запасов, это я, дескать, сэкономил, а всё остальное распродал в обозе. Был у нас майор Сойка — настоящая свинья! Геройством он не отличался и чаще всего околачивался у нас, так как наверху свистели пули и рвалась шрапнель. Придёт, бывало, к нам, — он, дескать, должен удостовериться, хорошо ли готовят обед для солдат батальона. Обыкновенно он спускался вниз тогда, когда приходило сообщение, что русские к чему-то готовятся. Весь дрожит, напьётся сначала на кухне рому, а потом начнёт ревизовать полевые кухни: они находились около обоза, потому что устанавливать кухни на горе, около окопов, было нельзя, и обед наверх носили ночью. Положение было такое, что ни о каком офицерском обеде не могло быть и речи. Единственную свободную дорогу, связывающую нас с тылом, заняли германцы. Они задерживали всё, что нам посылали из тыла, всё сжирали сами, так что нам уж ничего не доставалось. Мы все в обозе остались без офицерской кухни. За это время мне ничего не удалось сэкономить для нашей канцелярии, кроме одного поросёнка, которого мы закоптили. А чтобы этот самый майор Сойка ничего не узнал, мы припрятали поросёнка у артиллеристов, находившихся на расстоянии часа пути от нас. Там у меня был знакомый фейерверкер. Так вот, этот майор, бывало, придёт к нам и прежде всего попробует в кухне похлёбку. Правда, мяса варить приходилось мало, разве только когда посчастливится раздобыть свиней и тощих коров где-нибудь в окрестностях. Но и тут пруссаки были нашими постоянными конкурентами; ведь они платили за реквизированный скот вдвое больше, чем мы. Пока мы стояли под Бардеевом, я на закупке скота сэкономил тысячу двести крон с небольшим, да и то потому, что чаще всего мы вместо денег платили бонами с печатью батальона. Особенно в последнее время, когда узнали, что русские находятся на востоке от нас в Радвани, а на западе — в Подолине. Нет хуже работать с таким народом, как тамошний: не умеют ни читать, ни писать, а вместо подписи ставят три крестика.

Наше интендантство было прекрасно осведомлено об этом, так что,

когда мы посылали туда за деньгами, я не мог приложить в качестве оправдательных документов подложные квитанции о том, что я уплатил деньги. Это можно проделывать только там, где народ более образованный и умеет подписываться. А к тому же, как я уже говорил, пруссаки платили больше, чем мы, и платили наличными. Куда бы мы ни пришли, на нас смотрели как на разбойников. Ко всему этому интендантство издало приказ о том, что квитанции, подписанные крестиками, передаются полевым ревизорам. А их в те времена было полным-полно! Придёт такой молодчик, нажрётся у нас, напьётся, а на другой день идёт на нас доносить. Так этот майор Сойка ходил по всем этим кухням и раз как-то, вот разрази меня бог, вытащил из котла мясо, отпущенное на всю четвёртую роту. Начал он со свиной головы и заявил, что она недоварена, и велел её ещё немножко поварить для него. По правде сказать, тогда мяса много не варили. На всю роту приходилось двенадцать прежних, настоящих порций мяса. Но он всё это съел, потом попробовал похлёбку и поднял скандал: дескать, как вода, и это, мол, непорядок — мясная похлёбка без мяса… Велел её заправить маслом и бросить туда мои собственные макароны, сэкономленные за всё последнее время. Но пуще всего меня возмутило то, что на подболтку похлёбки он загубил два кило сливочного масла, которые я сэкономил в ту пору, когда была офицерская кухня. Хранилось оно у меня на полочке над койкой. Как он заорёт на меня: «Это чьё?» Я отвечаю, что согласно раскладке последнего дивизионного приказа на каждого солдата для усиления питания полагается пятнадцать граммов масла или двадцать один грамм сала, но так как жиров не хватает, то запасы масла мы храним, пока не наберётся столько, что можно будет усилить питание команды маслом в полной мере.

Майор Сойка разозлился и начал орать, что я, наверно, жду, когда придут русские и отберут у нас последние два кило масла. «Немедленно положить это масло в похлёбку, раз похлёбка без мяса!» Так я потерял весь свой запас. Верите ли, когда бы он ни появился, всегда мне на горе. Постепенно он так навострился, что сразу узнавал, где лежат мои запасы. Как-то раз я сэкономил на всей команде говяжью печёнку, и хотели мы её тушить. Вдруг он полез под койку и вытащил её. В ответ на его крики я ему говорю, что печёнку эту ещё днём решено было закопать по совету кузнеца из артиллерии, окончившего ветеринарные курсы. Майор взял одного рядового из обоза и с этим рядовым принялся в котелках варить эту печёнку на горе под скалами. Здесь ему и пришёл капут. Русские увидели огонь да дёрнули по майору и по его котелку восемнадцатисантиметровкой. Потом мы пошли туда посмотреть, но разобрать, где говяжья печёнка, а где

печёнка господина майора, было уже невозможно.

*

Пришло сообщение, что эшелон отправится не раньше, чем через четыре часа. Путь на Хатван занят поездами с ранеными. Ходили слухи, что у Эгера столкнулись санитарный поезд с поездом, вёзшим артиллерию. Из Будапешта отправлены туда поезда, чтоб оказать помощь.

Фантазия батальона разыгралась. Толковали о двух сотнях убитых и раненых, о том, что эта катастрофа подстроена: нужно же было замести следы мошенничества при снабжении раненых.

Это дало повод к острой критике снабжения батальона и к разговорам о воровстве на складах и в канцеляриях.

Большинство придерживалось того мнения, что старший батальонный писарь Баутанцель всем делится с офицерами.

В штабном вагоне капитан Сагнер заявил, что, согласно маршруту, они, собственно, должны бы уже быть на галицийской границе. В Эгере им обязаны выдать для всей команды на три дня хлеба и консервов, но до Эгера ещё десять часов езды, а кроме того, в связи с наступлением за Львовом, там скопилось столько поездов с ранеными, что, если верить телеграфным сообщениям, ни одной буханки солдатского хлеба, ни одной банки консервов достать невозможно. Капитан Сагнер получил приказ: вместо хлеба и консервов выплатить каждому солдату по шесть крон семьдесят геллеров. Эти деньги выдадут при уплате жалованья за девять дней, если капитан Сагнер к этому времени получит их из бригады. В кассе сейчас только двенадцать с чем-то тысяч крон.

— Это свинство со стороны полка, — не выдержал поручик Лукаш, — отправить нас без гроша.

Прапорщик Вольф и поручик Коларж начали шептаться о том, что полковник Шрёдер за последние три недели положил на свой личный счёт в Венский банк шестнадцать тысяч крон.

Поручик Коларж потом объяснял, как накапливают капитал. Сопрут, например, в полку шесть тысяч и сунут их в собственный карман, а по всем кухням совершенно логично отдаётся приказ: порцию гороха на каждого человека сократить в день на три грамма. В месяц это составит девяносто граммов на человека. В каждой ротной кухне накапливается гороха не менее шестнадцати кило. Ну, а в отчёте повар укажет, что горох израсходован весь.

Поручик Коларж в общих чертах рассказал Вольфу и о других достоверных случаях, которые он лично наблюдал.

Такими фактами переполнена была деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эполетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму.



Война требовала храбрости и в краже.

Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать: «Мы единое тело и единая душа; крадём, товарищи, мошенничаем, братцы, но ничего не поделаешь, против течения не поплывёшь! Если ты не возьмёшь — возьмёт другой, да ещё скажет о тебе, что ты не крадёшь потому, что уж вдоволь награбил!»

В вагон вошёл господин с красно-золотыми лампасами. Это был один из инспектирующих генералов, разъезжающих по всем железным дорогам.

— Садитесь, господа, — любезно пригласил он, радуясь, что накрыл какой-то эшелон, даже не подозревая о его пребывании здесь.

Капитан Сагнер хотел отрапортовать, но генерал отмахнулся.

— В вашем эшелоне непорядок, в вашем эшелоне ещё не спят. В вашем эшелоне уже должны спать. В эшелонах, когда они стоят на вокзале, следует ложиться спать, как в казармах, — в девять часов, — отрывисто пролаял он. — Около девяти часов вывести солдат в отхожие места за вокзалом, а потом идти спать. Иначе команда ночью загрязнит полотно железной дороги. Вы понимаете, господин капитан? Повторите! Или нет, не повторяйте, а сделайте так, как я желаю. Трубить сигнал, погнать

команду в отхожие места, играть зорю и спать. Проверить и, кто не спит — наказывать! Да-с! Всё? Ужин раздать в шесть часов.

Потом он заговорил о давно минувших делах, о том, чего вообще никогда не было, что было где-то, так сказать, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Он стоял как призрак из царства четвёртого измерения.

— Ужин раздать в шесть часов, — продолжал он, глядя на часы, на которых было десять минут двенадцатого ночи. — Um halb neune Alarm, LatrinenscheiBen, dann schlafen gehen![231] На ужин в шесть часов гуляш с картофелем вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра.

Потом последовал приказ — проверить боевую готовность. Капитан Сагнер опять приказал трубить тревогу, а генерал-инспектор, следя, как строится батальон, расхаживал с офицерами и неустанно повторял одно и то же, как будто все были идиотами и не могли понять его сразу. При этом он постоянно показывал на стрелки часов.

— Also, sehen Sie. Um halb neune scheifien und nach einer halben Stunde schlafen. Das genügt vollkommen[232] В это переходное время у солдат и без того редкий стул. Главное, подчёркиваю, это сон: сон укрепляет для дальнейших походов. Пока солдаты в поезде, они должны отдохнуть. Если в вагонах недостаточно места, солдаты спят поочерёдно. Одна треть солдат удобно располагается в вагоне и спит от девяти до полуночи, а остальные стоят и смотрят на них. Затем, после того как первые выспались, они уступают место второй трети, которая спит от полуночи до трёх часов. Третья партия спит от трёх до шести, потом побудка, и команда идёт умываться. На ходу из вагонов не вы-ска-ки-вать! Расставить патрули, чтобы солдаты на ходу не со-ска-ки-вали! Если солдату переломит ногу неприятель… — генерал похлопал себя по ноге, — …это достойно похвалы, но калечить себя соскакиванием с вагонов на полном ходу — наказуемо. Так, стало быть, это ваш батальон, — обратился он к капитану Сагнеру, рассматривая заспанные лица солдат. Многие не могли удержаться и, внезапно разбуженные, зевали на свежем ночном воздухе.

— Это, господин капитан, батальон зевак. Солдаты в девять часов должны спать.

Генерал остановился перед одиннадцатой ротой, на левом фланге которой стоял и зевал во весь рот Швейк. Из приличия он прикрывал рот рукой, но из-под неё раздавалось такое мычание, что поручик Лукаш дрожал от страха, как бы генерал не обратил внимания на Швейка. Ему показалось, что Швейк зевает нарочно.

Генерал, словно прочитав мысли Лукаша, обернулся к Швейку и подошёл к нему:

— Böhm oder Deutscher?[233]

— Böhm, melde gehorsam, Herr Generalmajor.[234]

— Добже, — сказал генерал по-чешски. Он был поляк, знавший немного по-чешски. — Ты ржевешь, как корова на сено. Молчи, заткни глотку! Не мычи! Ты уже был в отхожем месте?

— Никак нет, не был, господин генерал-майор.

— Отчего ты не пошёл с другими солдатами?

— Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, на манёврах в Писеке господин полковник Вахтль сказал, когда весь полк во время отдыха полез в рожь, что солдат должен думать не только о сортире, солдат должен думать и о сражении. Впрочем, осмелюсь доложить, что нам делать в отхожем месте? Нам нечего из себя выдавливать. Согласно маршруту, мы уже на нескольких станциях должны были получить ужин и ничего не получили. С пустым брюхом в отхожее место не лезь!

Швейк в простых словах объяснил генералу общую ситуацию и посмотрел на него с такой неподдельной искренностью, что генерал ощутил потребность всеми средствами помочь им. Если уж действительно даётся приказ идти строем в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то внутренне, физиологически обоснован.

— Отошлите их спать в вагоны, — приказал генерал капитану Сагнеру. — Как случилось, что они не получили ужина? Все эшелоны, следующие через эту станцию, должны получить ужин: здесь — питательный пункт. Иначе и быть не может. Имеется точно установленный план.

Генерал всё это произнёс тоном, не допускающим возражений. Отсюда вытекало: так как было уже около двенадцати часов ночи, а ужинать, как он уже прежде указал, следовало в шесть часов, то, стало быть, ничего другого не остаётся, как задержать поезд на всю ночь и на весь следующий день до шести часов вечера, чтобы получить гуляш с картошкой.

— Нет ничего хуже, — с необычайно серьёзным видом сказал генерал, — как во время войны, при переброске войск забывать об их снабжении. Мой долг — выяснить истинное положение вещей и узнать, как действительно обстоит дело в комендатуре станции. Ибо, господа, иногда бывают виноваты сами начальники эшелонов. При ревизии станции Субботице на южнобоснийской дороге я констатировал, что шесть эшелонов не получили ужина только потому, что начальники эшелонов

забыли потребовать его. Шесть раз на станции варился гуляш с картошкой, но никто его не затребовал. Этот гуляш выливали в одну кучу. Образовались целые залежи гуляша с картошкой, а солдаты, проехавшие в Субботице мимо куч и гор гуляша, уже на третьей станции христарадничали на вокзале, вымаливая кусок хлеба. В данном случае, как видите, виновата была не военная администрация! — Генерал развёл руками. — Начальники эшелонов не исполнили своих обязанностей! Пойдёмте в канцелярию!

Офицеры последовали за ним, размышляя, отчего все генералы сошли с ума одновременно.

В комендатуре выяснилось, что о гуляше действительно ничего не известно. Правда, варить гуляш должны были для всех эшелонов, которые проследуют мимо этой станции. Потом пришёл приказ вместо гуляша начислить каждой части войск семьдесят два геллера на каждого солдата, так что каждая проезжающая часть имеет на своём счёту семьдесят два геллера на человека, которые она получит от своего интендантства дополнительно при раздаче жалованья. Что касается хлеба, то солдатам выдадут на остановке в Ватиане по полбуханки.

Комендант питательного пункта не струсил и сказал прямо в глаза генералу, что приказы меняются каждый час. Бывает так: для эшелонов приготовят обед, но вдруг приходит санитарный поезд, предъявляет приказ высшей инстанции — и конец: эшелон оказывается перед проблемой пустых котлов.

Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось, в начале войны было гораздо хуже. Ничего не даётся сразу, необходимы опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка.

— Могу вам привести конкретный пример, — сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие. — Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван два дня тому назад, не получили хлеба, а вы его завтра получите. Ну, теперь пойдёмте в вокзальный ресторан.

В ресторане генерал опять завёл разговор об отхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережёвывает один из этих кактусов.

Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа Австро-Венгерской монархии.

По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италией

войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах — наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места. Для генерала это было просто. Путь к славе шёл по рецепту: в шесть часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в половине девятого войско «опорожнится» в отхожем месте, а в девять все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает.

Генерал-майор задумался, закурил «операс» и долго-долго смотрел в потолок. Он мучительно припоминал, что бы ещё такое сказать в назидание офицерам эшелона, раз уж он сюда попал.

— Ядро вашего батальона вполне здоровое, — вдруг начал он, когда все решили, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать. — Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил, своей прямотой и выправкой подаёт надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови.

Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положения, продолжил свою речь. Подпоручик Дуб, рабская душонка, уставился в потолок вслед за ним.

— Однако ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были преданы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам недостаёт человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти все нити, он должен знать, что содеяла каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан, вы должны выделить историографа батальона.

Потом он посмотрел на стенные часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться.

На путях стоял личный инспекторский поезд, и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон.

Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придётся ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить два вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и которые продал военному поставщику сена — фирме Левенштейн — так, как продают рожь на корню. Казна снова купила эти два вагона у той же фирмы, но комендант оставил их на всякий случай в тупике. Может быть, придётся ещё раз перепродать сено фирме Левенштейн.

Зато все военные инспектора, проезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поит на славу.

*

На утро следующего дня эшелон ещё стоял на станции. Настала побудка. Солдаты умывались около колонок из котелков. Генерал со своим поездом ещё не уехал и пошёл лично ревизовать отхожие места. Сегодня солдаты ходили сюда по приказу, отданному в этот день капитаном Сагнером ради удовольствия генерал-майора: Schwarmweise unter Kornmando der Schwarmkommandanten.[235]

Чтобы доставить удовольствие подпоручику Дубу, капитан Сагнер назначил его дежурным.

Итак, подпоручик Дуб надзирал за отхожими местами. Отхожее место в виде двухрядной длинной ямы вместило два отделения роты. Солдаты премило сидели на корточках над рвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелётом в Африку.

У каждого из-под спущенных штанов выглядывали голые колени, у каждого на шее висел ремень, как будто каждый готов был повеситься и только ждал команды.

Во всём была видна железная воинская дисциплина и организованность.

На левом фланге сидел Швейк, который тоже втиснулся сюда, и с интересом читал обрывок страницы из бог весть какого романа Ружены Есенской:

> …дешнем пансионе, к сожалению, дамы
> ем неопределённо, в действительности может быть больше
> ге в большинстве в себе самой заключённая поте
> в свои комнаты или ходи —
> национальном празднике. А если выронил т
> шёл лишь человек и только стосковался об э
> улучшалась или не хотела с таким успехом
> стать, как бы сами этого хотели
> ничего не оставалось молодому Кршичке…

Швейк поднял глаза, невзначай посмотрел по направлению к выходу из отхожего места и замер от удивления. Там в полном параде стоял вчерашний генерал-майор со своим адъютантом, а рядом — подпоручик Дуб, что-то старательно докладывавший им.

Швейк оглянулся. Все продолжали спокойно сидеть над ямой, и только унтера как бы оцепенели и не двигались.

Швейк понял всю серьёзность момента.

Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнём на шее, и, использовав в последнюю минуту клочок бумаги, заорал: «Einstellen! Auf Habacht! Rechts schaut»[236] — и взял под козырёк. Два взвода со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой.



Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал:

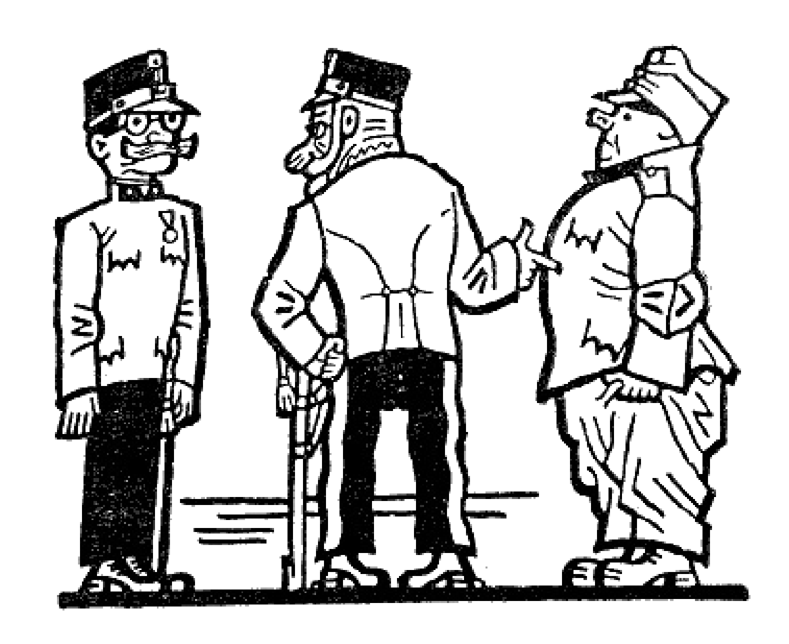
— Ruht, weiter machen![237]

Отделённый Малёк первый подал пример своему взводу, приняв первоначальную позу. Только Швейк продолжал стоять, взяв под козырёк, ибо с одной стороны к нему грозно приближался подпоручик Дуб, с другой улыбающийся генерал-майор.

— Вас я видел ночью, — обратился генерал-майор к Швейку, представшему перед ним в такой невообразимой позе.

Взбешённый подпоручик Дуб бросился к генерал-майору:

— Ich melde gehorsam, Herr Generalmajor, der Mann ist blödsinnig und als Idiot bekannt. Saghafter Dummkopf.[238]



— Was sagen Sie, Herr Leutnant?[239] — неожиданно заорал на подпоручика Дуба генерал-майор, доказывая как раз обратное. — Простой солдат знает, что следует делать, когда подходит начальник, а вот унтер-офицер начальства не замечает и игнорирует его. Это точь-в-точь как на поле сражения. Простой солдат в минуту опасности принимает на себя команду. Ведь господину поручику Дубу как раз и следовало бы подать команду, которую подал этот солдат: «Einstellen! Auf! Habacht! Rechtsschaut!» — Ты уже вытер задницу? — спросил генерал-майор Швейка.

— Так точно, господин генерал-майор, всё в порядке. — Wiecej srac nie bedziesz?[240]

— Так точно, генерал-майор, готов.

— Так подтяни штаны и встань опять во фронт!

Так как «во фронт» генерал-майор произнёс несколько громче, то сидевшие рядом с генералом начали привставать над ямой.

Однако генерал-майор дружески махнул им рукой и нежным отцовским голосом сказал:

— Aber nein, ruht, ruht, nur weiter machen![241]

Швейк уже в полном параде стоял перед генерал-майором, который произнёс по-немецки краткую речь:

— Уважение к начальству, знание устава и присутствие духа на военной службе — это всё. А если к этим качествам присовокупить ещё и доблесть, то ни один неприятель не устоит перед нами.

Генерал, тыча пальцем в живот Швейка, указывал подпоручику Дубу:

— Заметьте этого солдата; по прибытии на фронт немедленно повысить и при первом удобном случае представить к бронзовой медали за образцовое исполнение своих обязанностей и знание… Wissen Sie doch, was ich schon meine… Abtreten![242]

Генерал-майор удалился, а подпоручик Дуб громко скомандовал, так, чтобы генерал-майору было слышно:

— Erster Schwarm, auf! Doppelreihen… Zweiter Schwarm.[243]

Швейк между тем направился к своему вагону и, проходя мимо подпоручика Дуба, отдал честь как полагается, но подпоручик всё же заревел:

— Herstellt![244]

Швейк снова взял под козырёк и опять услышал:

— Знаешь меня? Не знаешь меня. Ты знаешь меня с хорошей стороны, но ты узнаешь меня и с плохой стороны. Я доведу тебя до слёз!

Наконец Швейк добрался до своего вагона. По дороге он вспомнил, что в Карлине, в казармах, тоже был лейтенант, по фамилии Худавый. Так тот, рассвирепев, выражался иначе: «Ребята! При встрече со мною не забывайте, что я для вас свинья, свиньёй и останусь, покуда вы в моей роте».

Когда Швейк проходил мимо штабного вагона, его окликнул поручик Лукаш и велел передать Балоуну, чтобы тот поспешил с кофе, а банку молочных консервов опять как следует закрыл, не то молоко испортится. Балоун как раз варил на маленькой спиртовке, в вагоне у старшего писаря Ванека, кофе для поручика Лукаша. Швейк, пришедший выполнить поручение, обнаружил, что в его отсутствие кофе начал пить весь вагон.

Банки кофейных и молочных консервов поручика Лукаша были уже наполовину пусты, Балоун отхлёбывал кофе прямо из котелка, заедая сгущённым молоком — он черпал его ложечкой прямо из банки, чтобы сдобрить кофе.

Повар-оккультист Юрайда и старший писарь Ванек поклялись вернуть взятые у поручика Лукаша консервы, как только они поступят на склад.

Швейку также предложили кофе, но он отказался и сказал Балоуну:

— Из штаба армии получен приказ: денщика, укравшего у своего офицера молочные или кофейные консервы, вешать без промедления в двадцать четыре часа. Передаю это по приказанию обер-лейтенанта, который велел тебе немедленно явиться к нему с кофе.

Перепуганный Балоун вырвал у телеграфиста Ходоунского кофе, который только что сам ему налил, поставил подогреть, прибавил

консервированного молока и помчался с кофе к штабному вагону.

Вытаращив глаза, Балоун подал кофе поручику Лукашу, и тут у него мелькнула мысль, что поручик по его глазам видит, как он хозяйничал с консервами.

— Я задержался, — начал он, заикаясь, — потому что не мог сразу открыть.

— Может быть, ты пролил консервированное молоко, а? — пытал его поручик Лукаш, пробуя кофе. — А может, ты его лопал, как суп, ложками? Знаешь, что тебя ждёт?

Балоун вздохнул и завопил:

— Господин лейтенант, осмелюсь доложить, у меня трое детей!

— Смотри, Балоун, ещё раз предостерегаю, погубит тебя твоя прожорливость. Тебе Швейк ничего не говорил?

— Меня могут повесить в двадцать четыре часа, — ответил Балоун трясясь всем телом.

— Да не дрожи ты так, дурачина, — улыбаясь, сказал поручик Лукаш, — и исправься. Не будь такой обжорой и скажи Швейку, чтобы он поискал на вокзале или где-нибудь поблизости чего-нибудь вкусного. Дай ему эту десятку. Тебя не пошлю. Ты пойдёшь разве только тогда, когда нажрёшься до отвала. Ты ещё не сожрал мои сардины? Не сожрал, говоришь? Принеси и покажи мне.

Балоун передал Швейку, что обер-лейтенант посылает ему десятку, чтобы он, Швейк, разыскал на вокзале чего-нибудь вкусного. Вздыхая, Балоун вынул из чемоданчика поручика коробку сардинок и с тяжёлым сердцем понёс её на осмотр к поручику.

Он-то, несчастный, тешил себя надеждой, что поручик Лукаш забыл об этих сардинах, а теперь — всему конец! Поручик оставит их у себя в вагоне, и он, Балоун, лишится их. Балоун почувствовал себя обворованным.

— Вот, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, ваши сардинки, — сказал он с горечью, отдавая коробку владельцу. — Прикажете открыть?

— Хорошо, Балоун, открывать не надо, отнеси обратно. Я только хотел проверить, не заглянул ли ты в коробку. Когда ты принёс кофе, мне показалось, что у тебя губы лоснятся, как от прованского масла. Швейк уже пошёл?

— Так точно, господин обер-лейтенант, уже отправился, — ответил, сияя, Балоун. — Швейк сказал, что господин обер-лейтенант будут довольны и что господину обер-лейтенанту все будут завидовать. Он пошёл куда-то с вокзала и сказал, что знает одно место, за Ракошпалотой. Если же

поезд уйдёт без него, он примкнёт к автоколонне и догонит нас на автомобиле. О нём, мол, беспокоиться нечего, он прекрасно знает свои обязанности. Ничего страшного не случится, даже если придётся на собственный счёт нанять извозчика и ехать следом за эшелоном до самой Галиции: потом всё можно вычесть из жалованья. Пусть господин обер-лейтенант ни в коем случае не беспокоится о нём!

— Ну, убирайся, — грустно сказал поручик Лукаш.

Из комендатуры сообщили, что поезд отправится только в два пополудни в направлении Геделле — Асод и что на вокзале офицерам выдают по два литра красного вина и по бутылке коньяку. Рассказывали, будто найдена какая-то посылка для Красного Креста. Как бы там ни было, но посылка эта казалась даром небес, и в штабном вагоне развеселились. Коньяк был «три звёздочки», а вино — марки «Гумпольдскирхен». Один только поручик Лукаш был не в духе. Прошёл час, а Швейк всё ещё не возвращался. Потом прошло ещё полчаса. Из дверей комендатуры вокзала показалась странная процессия, направлявшаяся к штабному вагону. Впереди шагал Швейк, самозабвенно и торжественно, как первые христиане-мученики, когда их вели на арену.



По обеим сторонам шли венгерские гонведы с примкнутыми штыками, на левом фланге — взводный из комендатуры вокзала, а за ними какая-то женщина в красной сборчатой юбке и мужчина в коротких сапогах, в круглой шляпе, с подбитым глазом. В руках он держал живую, испуганно кудахтавшую курицу.

Все они полезли было в штабной вагон, но взводный по-венгерски

заорал мужчине с курицей и его жене, чтобы они остались внизу.

Увидев поручика Лукаша, Швейк стал многозначительно подмигивать ему.

Взводный хотел поговорить с командиром одиннадцатой маршевой роты. Поручик Лукаш взял у него бумагу со штампом из комендатуры станции и, бледнея, прочёл:

> «Командиру одиннадцатой маршевой роты М-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка к дальнейшему исполнению.
>
> Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты М-ского маршевого батальона Девяносто первого пехотного полка, задержанный по обвинению в ограблении супругов Иштван, проживающих в Ишатарче, в районе комендатуры вокзала. Основание: пехотинец Швейк Йозеф украл курицу, принадлежащую супругам Иштван, когда та бегала в Ишатарче за домом Иштван-супругов (в оригинале было блестяще образовано новое немецкое слово «Istvangatten»[245]), и был пойман владельцем курицы, который хотел её у него отобрать. Вышепоименованный Швейк оказал сопротивление, ударив хозяина курицы Иштвана в правый глаз, а посему и был схвачен призванным патрулём и отправлен в свою часть. Курица возвращена владельцу».
>
> Подпись дежурного офицера.

Когда поручик Лукаш давал расписку в принятии Швейка, у него тряслись колени. Швейк стоял близко и видел, что поручик Лукаш забыл приписать дату.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — произнёс Швейк, — сегодня двадцать четвёртое. Вчера было двадцать третье мая, вчера нам Италия объявила войну. Я сейчас был на окраине города, так там об этом только и говорят.

Гонведы со взводным ушли, и внизу остались только супруги Иштван, которые всё время делали попытки влезть в вагон.

— Если, господин обер-лейтенант, у вас при себе имеется пятёрка, мы бы могли эту курицу купить. Он, злодей, хочет за неё пятнадцать золотых, включая сюда и десятку за свой синяк под глазом, — повествовал

Швейк, — но думаю, господин обер-лейтенант, что десять золотых за идиотский фонарь под глазом будет многовато. В трактире «Старая дама» токарю Матвею за двадцать золотых кирпичом своротили нижнюю челюсть и вышибли шесть зубов, а тогда деньги были дороже, чем нынче. Сам Вольшлегер вешает за четыре золотых. Иди сюда, — кивнул Швейк мужчине с подбитым глазом и с курицей, — а ты, старуха, останься там.

Мужчина вошёл в вагон.

— Он немножко говорит по-немецки, — сообщил Швейк, — понимает все ругательства и сам вполне прилично может обложить по-немецки.

— Also, zehn Gulden, — обратился он к мужчине. — Fünf Gulden Henne, fünf Auge. Öt forint, — видишь, кукареку: öt forint kukuk, igen.[246] Здесь штабной вагон, понимаешь, жулик? Давай сюда курицу!

Сунув ошеломлённому мужику десятку, он забрал курицу, свернул ей шею и мигом вытолкал крестьянина из вагона. Потом дружески пожал ему руку и сказал:

— Jó napot, barátom, adieu,[247] катись к своей бабе, не то я скину тебя вниз.

— Вот видите, господин обер-лейтенант, всё можно уладить. — успокоил Швейк поручика Лукаша. — Лучше всего, когда дело обходится без скандала, без особых церемоний. Теперь мы с Балоуном сварим вам такой куриный бульон, что в Трансильвании пахнуть будет.

Поручик Лукаш не выдержал, вырвал у Швейка из рук злополучную курицу, бросил её на пол и заорал:

— Знаете, Швейк, чего заслуживает солдат, который во время войны грабит мирное население?

— Почётную смерть от пороха и свинца, — торжественно ответил Швейк.

— Но вы, Швейк, заслуживаете петли, ибо вы первый начали грабить. Вы, вы!.. Я просто не знаю, как вас назвать, вы забыли о присяге. У меня голова идёт кругом!

Швейк вопросительно посмотрел на поручика Лукаша и быстро отозвался:

— Осмелюсь доложить, я не забыл о присяге, которую мы, военные, должны выполнять. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я торжественно присягал светлейшему князю и государю Францу-Иосифу Первому в том, что буду служить ему верой и правдой, а также генералов его величества и своих начальников буду слушаться, уважать и охранять, их распоряжения и приказания всегда точно выполнять; против всякого

неприятеля, кто бы он ни был, где только этого потребует его императорское и королевское величество: на воде, под водой, на земле, в воздухе, в каждый час дня и ночи, во время боя, нападения, борьбы и других всевозможных случаев, везде и всюду…



Швейк поднял курицу с пола и продолжал, выпрямившись и глядя прямо в глаза поручику Лукашу:

— …всегда и во всякое время сражаться храбро и мужественно; свие войско, свои полки, знамёна и пушки никогда не оставлять, с неприятелем никогда ни в какие соглашения не вступать, всегда вести себя так, как того требуют военные законы и как надлежит вести себя доблестному солдату. Честно я буду жить, с честью и умру, и да поможет мне в этом бог. Аминь. А эту курицу, осмелюсь доложить, я не украл, я никого не ограбил и держал себя, помня о присяге, вполне прилично.



— Бросишь ты эту курицу или нет, скотина? — взвился поручик Лукаш, ударив Швейка протоколом по руке, в которой тот держал покойницу. — Взгляни на этот протокол. Видишь, чёрным по белому: «Сим препровождается пехотинец Швейк Йозеф, согласно его показаниям, ординарец той же маршевой роты… по обвинению в ограблении…» И теперь ты, мародёр, гадина, будешь мне ещё говорить… Нет, я тебя когда-нибудь *убью*! Понимаешь? Ну, отвечай, идиот, разбойник, как тебя угораздило?

— Осмелюсь доложить, — вежливо ответил Швейк, — здесь просто какое-то недоразумение. Когда мне передали ваше приказание раздобыть или купить чего-нибудь повкуснее, я стал обдумывать, что бы такое

достать. За вокзалом не было ничего, кроме конской колбасы и сушёной ослятины. Я, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, всё как следует взвесил. На фронте надо иметь что-нибудь очень питательное, — тогда легче переносятся военные невзгоды. Мне хотелось доставить вам *горизонтальную радость*. Задумал я, господин обер-лейтенант, сварить вам куриный суп.

— Куриный суп! — повторил за ним поручик, хватаясь за голову.

— Так точно, господин обер-лейтенант, куриный суп. Я купил луку и пятьдесят граммов вермишели. Вот всё здесь. В этом кармане лук, в этом — вермишель. Соль и перец имеются у нас, в канцелярии. Оставалось купить только курицу. Пошёл я, значит, за вокзал в Ишатарчу. Это, собственно, деревня, на город даже и не похожа, хоть на первой улице и висит дощечка с надписью: «Город Ишатарча». Прошёл я одну улицу с палисадниками, вторую, третью, четвёртую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, пока не дошёл до конца тринадцатой улицы, где за последним домиком уже начинались луга. Здесь бродили куры. Я подошёл к ним и выбрал самую большую и самую тяжёлую. Извольте посмотреть на неё, господин обер-лейтенант, одно сало, и осматривать не надо, сразу, с первого взгляда видно, что ей как следует подсыпали зерна. Беру я её у всех на виду, они мне что-то кричат по-венгерски, а я держу её за ноги и спрашиваю по-чешски и по-немецки, кому принадлежит эта курица, хочу, мол, её купить. Вдруг в эту самую минуту из крайнего домика выбегают мужик с бабой. Мужик начал меня ругать сначала по-венгерски, а потом по-немецки, — я-де у него средь белого дня украл курицу. Я сказал, чтобы он на меня не кричал, что меня послали купить курицу, — словом, разъяснил, как обстоит дело. А курица, которую я держал за ноги, вдруг стала махать крыльями и хотела улететь, а так как я держал её некрепко, она вырвалась из рук и собиралась сесть на нос своему хозяину. Ну, а он принялся орать, будто я хватил его курицей по морде. А женщина всё время что-то лопотала и звала: «Цып, цып, цып!»

Тут какие-то идиоты, ни в чём не разобравшись, привели патруль гонведов, и я сам предложил им пойти на вокзал в комендантское управление, чтобы там моя невинность всплыла, как масло на поверхность воды. Но с господином лейтенантом, который там дежурил, нельзя было договориться, даже когда я попросил его узнать у вас, правда ли, что вы послали меня купить чего-нибудь повкуснее. Он ещё обругал меня, приказал держать язык за зубами, так как, мол, и без разговоров по моим глазам видно, что меня ждёт крепкий сук и хорошая верёвка. Он, по-видимому, был в очень плохом настроении, раз уж дошёл до того, что

сгоряча выпалил: такая, мол, толстая морда может быть только у солдата, занимающегося грабежом и воровством. На станцию, мол, поступает много жалоб. Вот третьего дня тоже где-то неподалёку пропал индюк. А когда я ему напомнил, что третьего дня мы ещё были в Рабе, он ответил, что такие отговорки на него не действуют. Послали меня к вам. Да, там ещё на меня раскричался какой-то ефрейтор, которого я сперва не заметил: не знаю, дескать, я, что ли, кто передо мною стоит? Я ответил, что стоит ефрейтор, и если бы его перевели в команду егерей, то он был бы начальником патруля, а в артиллерии — обер-канониром.

— Швейк, — минуту спустя сказал поручик Лукаш, — с вами было столько всяких приключений и невзгод, столько, как вы говорите, «ошибок» и «ошибочек», что от всех этих неприятностей вас спасти может только петля, со всеми военными почестями, в каре. Понимаете?

— Так точно, господин обер-лейтенант, каре из так называемого замкнутого батальона составляется из четырёх и в виде исключения также из трёх или пяти рот. Прикажете, господин обер-лейтенант, положить в куриный суп побольше вермишели, чтобы он был погуще?

— Швейк, приказываю вам немедленно исчезнуть вместе с вашей курицей, иначе я расшибу её о вашу башку, идиот несчастный!

— Как прикажете, господин обер-лейтенант, но только осмелюсь доложить, сельдерея я не нашёл, морковки тоже нигде нет. Я положу картош…

Швейк не успел договорить «ки», вылетев вместе с курицей из штабного вагона. Поручик Лукаш залпом выпил стопку коньяку.

Проходя мимо окон штабного вагона, Швейк взял под козырёк и проследовал к себе.

*

Благополучно одержав победу в борьбе с самим собой, Балоун собрался уже открыть сардины поручика, как вдруг появился Швейк с курицей, что, естественно, вызвало волнение среди всех присутствовавших в вагоне. Все посмотрели на него, как будто спрашивая: «Где это ты украл?»

— Купил для господина обер-лейтенанта, — сообщил Швейк, вытаскивая из карманов лук и вермишель. — Хотел ему сварить суп, но он отказался и подарил её мне.

— Дохлая? — недоверчиво спросил старший писарь Ванек.

— Своими руками свернул ей шею, — ответил Швейк, вытаскивая из кармана нож.

Балоун с благодарностью и уважением посмотрел на Швейка и молча стал подготовлять спиртовку поручика. Потом взял котелки и побежал за водой.

К Швейку, начавшему ощипывать курицу, подошёл телеграфист Ходоунский и предложил свою помощь, доверительно спросив:

— Далеко отсюда? Надо перелезать во двор или прямо на улице?

— Я её купил.

— Уж помалкивал бы, а ещё товарищ называется! Мы же видели, как тебя вели.

Тем не менее телеграфист принял горячее участие в ощипывании курицы. В приготовлениях к торжественному великому событию проявил себя и повар-оккультист Юрайда: он нарезал в суп картошку и лук.

Выброшенные из вагона перья привлекли внимание подпоручика Дуба, производившего обход. Он крикнул, чтобы показался тот, кто ощипывает курицу, и в двери тотчас же появилась довольная физиономия Швейка.

— Что это? — крикнул подпоручик Дуб, поднимая с земли отрезанную куриную голову.

— Осмелюсь доложить, — ответил Швейк. — Это голова курицы из породы чёрных итальянок — прекрасные несушки: несут до двухсот шестидесяти яиц в год. Извольте посмотреть, какой у неё был замечательный яичник. — Швейк сунул под самый нос подпоручику Дубу кишки и прочие куриные потроха.



Дуб плюнул и отошёл. Через минуту он вернулся.

— Для кого эта курица?

— Для нас, осмелюсь Доложить, господин лейтенант. Посмотрите, сколько на ней сала!

Подпоручик Дуб, уходя, проворчал:

— Мы встретимся у Филипп.

— Что он тебе сказал? — спросил Швейка Юрайда.

— Мы назначили свидание где-то у Филиппа. Эти знатные баре в большинстве случаев педерасты.

Повар-оккультист заявил, что только все эстеты — гомосексуалисты; это вытекает из самой сущности эстетизма.

Старший писарь Ванек рассказал затем об изнасиловании детей педагогами в испанских монастырях.

И уже в то время, когда вода в котелке закипала, Швейк рассказал, что одному воспитателю доверили колонию венских брошенных детей и этот воспитатель растлил их всех.

— Страсть! Ничего не попишешь! Но хуже всего, когда найдёт страсть на женщин. Несколько лет тому назад в Праге Второй жили две брошенные дамочки-разводки, потому что были шлюхи, по фамилии Моуркова и Шоускова. Как-то раз, когда в розтокских аллеях цвела черешня, поймали они там вечером старого импотента — столетнего шарманщика, оттащили в розтокскую рощу и там его изнасиловали. Чего они только с ним не делали! На Жижкове живёт профессор Аксамит, он там делал раскопки, разыскивая могилы со скрюченными мертвецами, и несколько таких скелетов взял с собой. Так они, эти шлюхи, оттащили шарманщика в одну из раскопанных могил и там его растерзали и изнасиловали. На другой день пришёл профессор Аксамит и обрадовался, увидев, что в могиле кто-то лежит. Но это был всего-навсего измученный, истерзанный разведёнными барыньками шарманщик. Около него лежали одни щепки. На пятый день шарманщик умер. А эти стервы дошли до такой наглости, что пришли на похороны. Вот это уж извращённость! Посолил уже? — обратился Швейк к Балоуну, который, воспользовавшись всеобщим интересом к рассказу Швейка, что-то припрятывал в свой вещевой мешок. — Что ты там делаешь? Балоун, Балоун! — вдруг серьёзно упрекнул приятеля Швейк. — Что ты собираешься делать с этой куриной ножкой? Поглядите-ка! Украл у нас куриную ножку, чтобы потом, тайно от нас, сварить её. Понимаешь ли ты, Балоун, что ты совершил? Знаешь, как наказывают в армии того, кто на фронте обворовал товарищей? Его привязывают к дулу пушки, и он

разлетается, как картечь. Теперь уж поздно вздыхать! Как только мы встретим на фронте артиллерию, ты явишься к ближайшему обер-фейерверкеру. А пока что в наказание придётся тебе заняться учением. Вылезай из вагона!

Несчастный Балоун вылез, а Швейк сел в дверях вагона, свесил ноги и начал командовать:

— Habtacht! Ruht! Habtacht! Rechts schaut! Habtacht! Смотреть прямо! Ruht! Теперь займёмся упражнениями на месте… Rechts um! Ну, брат, и корова же вы! Ваши рога должны очутиться там, где раньше было правое плечо! Herstellt! Rechts um! Links um! Halbrechts! Не так, осёл! Herstellt! Halbrechts! Ну, видите, лошак, уже получается. Halblinks! Links um! Links! Front! Front, дурак! Не знаешь, что ли, что такое шеренга! Grad aus! Kehrt euch! Kniet! Nieder! Setzen! Auf! Setzen! Auf! Nieder! Auf! Nieder! Auf! Setzen! Auf! Ruht! Ну, видишь, Балоун, как это полезно. По крайней мере, пищеварение у тебя будет хорошее.

Вокруг них собирались солдаты. Повсюду был слышен весёлый смех.

— Будьте любезны, посторонитесь! — крикнул Швейк. — Мы займёмся маршировкой. Смотри, Балоун, держи ухо востро, чтобы мне не приходилось двадцать раз отставлять. Не люблю команду зря гонять. Итак: Direktion Bahnhof. Смотри, куда тебе показывают! Marschieren marsch! Glied — halt! Стой, чёрт подери, пока я тебя в карцер не посадил! Glied — halt! Наконец-то я тебя, дуралей, остановил. Kurzer Schritt! Ты не знаешь, что такое «kurzer Schritt»! Я те, брат, такой «kurzer Schritt» покажу, что своих не узнаешь. Voller Schritt! Wechselt Schritt! Ohne Schritt! Буйвол ты этакий! Когда я командую «Ohne Schritt», ты должен топтаться на месте. [248]

Вокруг собрались, по крайней мере, две роты. Балоун потел и не чувствовал под собой ног. А Швейк продолжал командовать:

— Gleicher Schritt! Glied ruckwarts marsch!

— Glied halt!

— Lauf schritt!

— Glied marsch!

— Schritt! Glied halt!

— Ruht!

— Habt

acht! Direktion Bahnhof! Laufschritt marsch! Halt! Kehrt euch! Direktion Wagon! Laufschritt marsch! Kurzer Schritt! Glied halt! Ruht![249] Теперь отдохни, а потом начнём сызнова. При желании всего можно достичь.

— Что тут происходит? — вдруг раздался голос подпоручика Дуба, в

волнении подбежавшего к толпе солдат.

— Осмелюсь доложить, господин подпоручик, — ответил Швейк, — мы слегка занялись маршировкой, чтобы не позабыть строевых упражнений и не терять зря драгоценного времени.

— Вылезайте из вагона! — приказал подпоручик Дуб. — Хватит! Пойдёмте со мной к командиру батальона.

Случилось так, что в тот момент, когда Швейк входил в штабной вагон, поручик Лукаш через другую площадку сошёл на перрон.

Подпоручик Дуб доложил капитану Сагнеру о странном, как он выразился времяпрепровождении бравого солдата Швейка. Капитан Сагнер был в прекрасном расположении дула, ибо «Гумпольдскирхен» оказался действительно превосходным.

— Так, значит, вы не хотите зря терять драгоценного времени? — улыбнулся он многозначительно. — Матущич, подите-ка сюда.

Батальонный ординарец получил приказание позвать фельдфебеля Насакло из двенадцатой роты, известного изверга, и немедленно раздобыть для Швейка винтовку.

— Вот этот солдат, — сказал капитан Сагнер фельдфебелю Насакло, — не хочет зря терять драгоценного времени. Пойдите с ним за вагон и позанимайтесь с ним там часок ружейными приёмами. Но не давать ему ни отдыху, ни сроку! Главное, займитесь двумя приёмами, притом подряд! Setzt ab, an, setzt ab![250]

— Вот увидите, Швейк, скучать не придётся, — пообещал он на прощание. И через минуту за вагоном уже раздавалась отрывистая команда, торжественно разносившаяся по путям. Фельдфебель Насакло, которого оторвали от игры в «двадцать одно» как раз в тот момент, когда он держал банк, орал на весь божий свет: «Beim Fus! Schultert! Beim Fus! Schultert!»[251]

На мгновение команда смолкла, и послышался довольный, рассудительный голос Швейка:

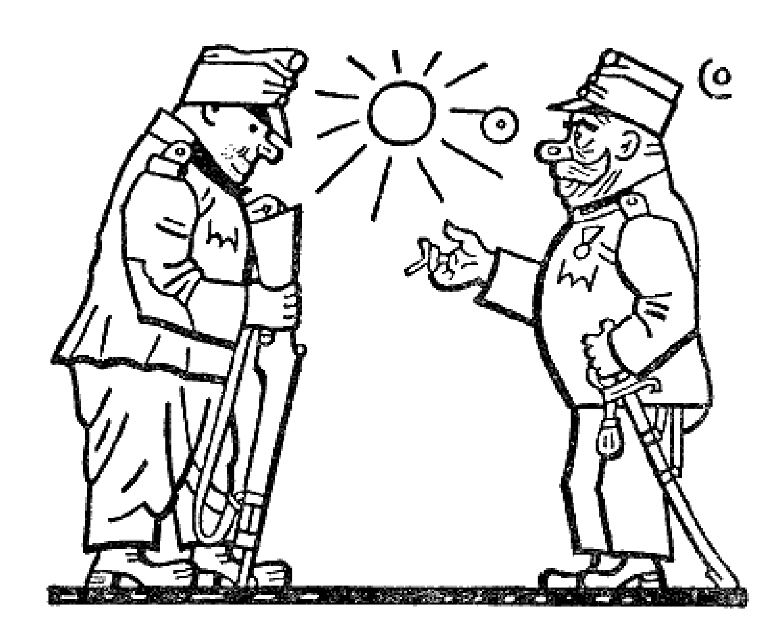
— Всё это я проходил ещё на действительной военной службе несколько лет тому назад. По команде «beim Fus» винтовка стоит у правой ноги так, что конец приклада находится на прямой линии с носком. Правая рука свободно согнута и держит винтовку так, что большой палец лежит на стволе, а остальные сжимают ложе. При команде же «Schultert» винтовка висит свободно на ремне на правом плече дулом вверх, а ствол несколько отклонён назад.

— Хватит болтать! — раздался опять голос фельдфебеля Насакло. —

Habtacht! Rechts schaut![252] Чёрт побери, как вы это делаете…

— У меня «schultert» и при «rechts schaut» моя правая рука скользит по ремню и обхватывает шейку ложа, а голова поворачивается направо. По команде же «habtacht!»[253] правой рукой я опять берусь за ремень, а голова обращена прямо на вас. Опять раздался голос фельдфебеля:

— In die Balanz! Beim Fuss! In die Balanz! Schultert! Bajonett auf! Bajonett ab! Fällt das Bajonett! Zum Gebet! Vom Gebet! Kniet niederzurn Gebet! Laden! Schiessen! Schiessen halbrechts! Ziel Stabswagon! Distanz zwei Hundert Schritt… Fertig! An! Feuer! Setzt ab! An! Feuer! An! Feuer! Setzt ab! Aufsatz normal! Patronen versorgen! Ruht![254]



Фельдфебель начал свёртывать цигарку. Швейк между тем разглядывал номер винтовки и вдруг воскликнул:

— Четыре тысячи двести шестьдесят восемь! Такой номер был у одного паровоза в Печках. Этот паровоз стоял на шестнадцатом пути. Его собирались увести на ремонт в депо Лысую-на-Лабе, но не так-то это оказалось просто, господин фельдфебель, потому что у старшего машиниста, которому поручили его туда перегнать, была прескверная память на числа. Тогда начальник дистанции позвал его в свою канцелярию и говорит: «На шестнадцатом пути стоит паровоз номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Я знаю, у вас плохая память на цифры, а если вам записать номер на бумаге, то вы бумагу эту также потеряете. Если у вас такая плохая память на цифры, послушайте меня повнимательней. Я вам докажу, что очень легко запомнить какой угодно номер. Так слушайте:

номер паровоза, который нужно увести в депо в Лысую-на-Лабе, — четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Слушайте внимательно. Первая цифра — четыре, вторая — два. Теперь вы уже помните сорок два, то есть дважды два — четыре, это первая цифра, которая, разделённая на два, равняется двум, и рядом получается четыре и два. Теперь не пугайтесь! Сколько будет дважды четыре? Восемь, так ведь? Так запомните, что восьмёрка в номере четыре тысячи двести шестьдесят восемь будет по порядку последней. После того как вы запомнили, что первая цифра — четыре, вторая — два, четвёртая — восемь, нужно ухитриться и запомнить эту самую шестёрку, которая стоит перед восьмёркой, а это очень просто. Первая цифра — четыре, вторая — два, а четыре плюс два — шесть. Теперь вы уже точно знаете, что вторая цифра от конца — шесть; и теперь у вас этот порядок цифр никогда не вылетит из головы. У вас в памяти засел номер четыре тысячи двести шестьдесят восемь. Но вы можете прийти к этому же результату ещё проще…

Фельдфебель перестал курить, вытаращил на Швейка глаза и только пролепетал:

— Kappe ab![255]

Швейк продолжал вполне серьёзно:

— Тут он начал объяснять более простой способ запоминания номера паровоза четыре тысячи двести шестьдесят восемь. «Восемь без двух — шесть. Теперь вы уже знаете шестьдесят восемь, а шесть минус два — четыре, теперь вы уже знаете четыре и шестьдесят восемь, и если вставить эту двойку, то всё это составит четыре — два — шесть — восемь. Не очень трудно сделать это иначе, при помощи умножения и деления. Результат будет тот же самый. Запомните, — сказал начальник дистанции, — что два раза сорок два равняется восьмидесяти четырём. В году двенадцать месяцев. Вычтите теперь двенадцать из восьмидесяти четырёх, и останется семьдесят два, вычтите из этого числа ещё двенадцать месяцев, останется шестьдесят. Итак, у нас определённая шестёрка, а ноль зачеркнём. Теперь уже у нас сорок два, шестьдесят восемь, четыре. Зачеркнём ноль, зачеркнём и четвёрку сзади, и мы преспокойно опять получили четыре тысячи двести шестьдесят восемь, то есть номер паровоза, который следует отправить в депо в Лысую-на-Лабе. И с помощью деления, как я уже говорил, это также очень легко. Вычисляем коэффициент, согласно таможенному тарифу…» Вам дурно, господин фельдфебель? Если хотите, я начну, например, с «General de charge! Fertig! Hoch an! Feuer!»[256] Чёрт подери! Господину капитану не следовало посылать вас на солнце. Побегу

за носилками.

Пришёл доктор и констатировал, что налицо либо солнечный удар, либо острое воспаление мозговых оболочек.

Когда фельдфебель пришёл в себя, около него стоял Швейк и говорил:

— Чтобы докончить… Вы думаете, господин фельдфебель, этот машинист запомнил? Он перепутал и всё помножил на три, так как вспомнил святую троицу. Паровоза он не нашёл. Так он и до сих пор стоит на шестнадцатом пути.

Фельдфебель опять закрыл глаза.

Вернувшись в свой вагон, Швейк на вопрос, где он так долго пропадал, ответил: «Кто другого учит «бегом марш!» — тот сам делает стократ «на плечо!».

В заднем углу вагона дрожал Балоун. Он, когда часть курицы уже сварилась, сожрал половину порции Швейка.

*

Незадолго до отхода эшелон нагнал смешанный воинский поезд, составленный из разных частей. Это были опоздавшие или вышедшие из госпиталей и догонявшие свои части солдаты, а также всякие подозрительные личности, возвращающиеся из командировок или из-под ареста.

С этого поезда сошёл вольноопределяющийся Марек, судившийся как бунтовщик, — он не захотел чистить отхожие места. Однако дивизионный суд его освободил. Следствие по его делу было прекращено, и поэтому вольноопределяющийся Марек появился теперь в штабном вагоне, чтобы представиться батальонному командиру. Вольноопределяющийся до сих пор никуда не был зачислен, так как его постоянно переводили из одной тюрьмы в другую.

Когда капитан Сагнер увидал вольноопределяющегося и принял от него бумаги с секретной пометкой «Politisch verdächtig! Vorsicht!»,[257] большого удовольствия он не испытал. К счастью, он вспомнил о «генерале-от-отхожих мест», который столь занятно рекомендовал пополнить личный состав батальона историографом.

— Вы очень нерадивы, вольноопределяющийся, — сказал капитан. — В учебной команде вольноопределяющихся вы были сущим наказанием; вместо того чтобы стараться отличиться и получить чин соответственно с вашим образованием, вы путешествовали из тюрьмы в тюрьму. Вы

позорите полк, вольноопределяющийся! Но вы можете загладить свои проступки, если в дальнейшем будете добросовестно выполнять свои обязанности и станете примерным солдатом. Посвятите всего себя батальону. Испытаем вас! Вы интеллигентный молодой человек, безусловно владеете пером, обладаете хорошим слогом. Вот что я вам теперь скажу. Каждый батальон на фронте нуждается в человеке, который вёл бы хронику военных событий, непосредственно касающихся батальона и его участия в военных действиях. Необходимо описывать все победоносные походы, все выдающиеся события, в которых принимал участие батальон, при которых он играл ведущую или заметную роль. Тем самым будет подготавливаться необходимый материал по истории армии. Вы меня понимаете?

— Так точно, господин капитан. Вы имеете в виду, как я понимаю, боевые эпизоды из жизни всех частей. Батальон имеет свою историю, полк на основании истории своих батальонов составляет историю полка. На основании истории полков создаётся история бригады, на основании истории бригады составляется история дивизий и так далее… Я вложу, господин капитан, в это дело всё своё умение. — Вольноопределяющийся Марек приложил руку к сердцу. — Я буду с искренней любовью отмечать все славные даты нашего батальона, особенно теперь, когда наступление в полном разгаре и когда со дня на день нужно ждать упорных боёв, в которых наш батальон покроет поле битвы телами своих героических сынов. С сознанием всей важности дела я буду отмечать ход всех грядущих событий, дабы страницы истории нашего батальона были полны побед.

— Вы, вольноопределяющийся, прикомандировываетесь к штабу батальона. Вменяю вам в обязанность отмечать представленных к награде, описывать, конечно, согласно нашим указаниям, походы, в которых были проявлены исключительная боеспособность и железная дисциплина батальона. Это не так просто, вольноопределяющийся, но надеюсь, что вы обладаете достаточной наблюдательностью и, получив от меня определённые директивы, выделите наш батальон среди остальных частей. Я посылаю в полк телеграмму о назначении вас историографом батальона. Явитесь к старшему писарю одиннадцатой роты Ванеку и скажите ему, чтобы он поместил вас в своём вагоне. Там вполне достаточно места. Передайте Ванеку, что я его жду. Итак, вы будете зачислены в штаб батальона. Это будет проведено приказом по батальону.

*

Повар-оккультист спал, а Балоун не переставая дрожал, ибо он уже открыл сардинки поручика. Старший писарь Ванек пошёл к капитану Сагнеру, а телеграфист Ходоунский где-то на вокзале тайно перехватил бутылку можжевёловки, выпил её и, растрогавшись, запел:

Пока я в наслажденьях плавал,
Меня манил земной простор,
Ты мне вселяла в сердце веру,
И мой горел любовью взор.
Когда ж узнал я, горемыка,
Что жизнь коварна, как шакал,
Прошла любовь, угасла вера,
И я впервые возрыдал.

Потом поднялся, подошёл к столу старшего писаря Ванека и написал крупными буквами на листе бумаги:

> «Настоящим покорнейше прошу назначить меня батальонным горнистом.
>
> *Телеграфист Ходоунский»*.

*

Разговор капитана Сагнера со старшим писарем Ванеком был краток. Он только предупредил его, что батальонный историограф, вольноопределяющийся Марек, будет временно находиться в вагоне вместе со Швейком.

— Могу вам сказать одно: Марек, я бы выразился, человек подозрительный, politisch verdächtig. Бог мой! Ныне в этом нет ничего удивительного. О ком этого не говорят! Но это только предположение. Ведь вы меня понимаете? Итак, я предупреждаю вас лишь о том, что, если он начнёт что-нибудь такое, его… понимаете?.. нужно сразу осадить, чтобы у меня не было каких-либо неприятностей. Скажите ему просто-напросто, чтобы перестал болтать, и вся недолга! Это не значит, конечно, что вы тут же должны бежать ко мне. Поговорите с ним по-дружески. Такой разговор гораздо лучше, чем дурацкие доносы. Одним словом, я ничего не желаю

слышать, потому что… Понимаете? Такие вещи бросают тень на весь батальон.

Вернувшись в вагон, Ванек отвёл в сторону вольноопределяющегося Марека и сказал ему:

— Послушайте-ка, вы под подозрением? Впрочем, это не важно! Только не говорите лишнего в присутствии телеграфиста Ходоунского.

Только он это сказал, Ходоунский подошёл к старшему писарю, бросился ему в объятия и начал всхлипывать. Эти пьяные всхлипывания, по-видимому, должны были обозначать пение:

Всеми брошен, одинокий
Полон грусти безнадёжной,
Горьких слёз я лил потоки
На груди подруги нежной.
И любовью неземной
Светят мне глаза голубки.
И коралловые губки
Шепчут: «Я навек с тобой».

— Мы навек с тобой, — орал Ходоунский. — Всё, что я услышу по телефону, тут же всё вам расскажу. Начхать мне на присягу!

Балоун в углу испуганно крестился и молился вслух:

— Матерь божия, не отвергай моей мольбы! Но милостиво внемли мне! Утешь меня, милостивая! Помоги мне, несчастному! Взываю к тебе с верой живой, надеждой крепкой и любовью горячей! Взываю к тебе в юдоли печали моей. Царица небесная! Заступись за меня, дабы милостию божией под покровом твоим до конца живота моего пребывал!

Благословенная дева Мария и впрямь ходатайствовала за него, потому что вольноопределяющийся вытащил из своего видавшего виды походного мешка несколько коробочек сардин и каждому дал по коробочке.

Балоун отважно открыл чемоданчик поручика Лукаша и положил туда с неба упавшие сардинки.

Однако когда все открыли коробочки и с наслаждением начали есть, Балоун поддался искушению, открыл чемоданчик и затем коробочку и жадно проглотил сардинки.

И тут благословенная и сладчайшая дева Мария от него отвернулась. Только он допил масло из жестянки, к вагону подлетел батальонный ординарец Матушич и заорал:

— Балоун, живо неси сардинки своему обер-лейтенанту!

— Теперь посыплются оплеухи, — сказал писарь Ванек.

— С пустыми руками уж лучше не ходи, — посоветовал Швейк, — возьми, по крайней мере, пять пустых жестянок.

— В чём вы провинились, отчего это бог вас так наказывает? — сочувственно спросил вольноопределяющийся. — В прошлом вы, несомненно, содеяли большой грех. Не совершили ли вы святотатства? Уж не стащили ли вы у своего приходского священника окорок, коптившийся в печной трубе? Может быть, вы забрались к нему в погреб и выпили церковное вино? А может, вы ещё мальчишкой лазили за грушами в его сад?

Балоун сокрушённо замахал руками. Лицо его выражало совершенное отчаяние. Душераздирающий вид этого затравленного человека взывал: «Когда же настанет конец моим страданиям?»

— Понимаю, — догадался вольноопределяющийся, словно услышав вопль несчастного Балоуна. — Вы, дружище, потеряли связь с господом богом. Вы не можете умолить бога, чтобы он вас поскорее спровадил на тот свет.

Швейк добавил:

— Балоун до сих пор не может решиться препоручить свою солдатскую жизнь, свои солдатские убеждения, свои слова, поступки и свою солдатскую смерть благости «материнского сердца всевышнего бога», как говаривал мой фельдкурат Кац, когда, бывало, перепьётся и на улице спьяну налетит на солдата.

Балоун завопил, что господь бог вышел у него из доверия. Уж сколько раз он молил бога о том, чтобы тот дал ему силу претерпеть и как-нибудь стянул его желудок.

— Это не с войны началось. Обжорство — моя старая болезнь, — сетовал он. — Из-за этой самой болезни моя жена с детьми ходила на богомолье в Клокоты.

— Знаю, — кивнул Швейк, — это возле Табора. У них там богатая дева Мария с фальшивыми бриллиантами… Как-то хотел её обокрасть церковный сторож откуда-то из Словакии. Очень набожный был человек. Приехал он в Клокоты и решил, что дело у него пойдёт лучше, если он сначала очистится от старых грехов. На исповеди он покаялся также и в том, что хочет завтра обокрасть деву Марию. Он и оглянуться не успел, не успел и триста раз «Отче наш» прочесть — такую епитимью наложил на него пан патер, чтобы он не удрал, — как церковные сторожа отвели его в жандармский участок.

Повар-оккультист начал спорить с телефонистом Ходоунским о том, является ли это вопиющим нарушением тайны исповеди и стоило ли вообще поднимать об этом разговор, раз бриллианты были фальшивые. Под конец он доказал Ходоунскому, что это была карма, то есть предопределение судьбы в неведомом далёком прошлом, когда несчастный церковный сторож из Словакии был ещё, может быть, головоногим на какой-то иной планете. Равным образом уже давно, когда этот патер из Клокот был ещё ехидной или каким другим сумчатым, ныне уже вымершим млекопитающим, — судьба предопределила, что он нарушит тайну исповеди, хотя с юридической точки зрения, по каноническому праву, отпущение грехов даётся даже в случае покушения на монастырское имущество.

Ко всему этому Швейк присовокупил следующее мудрое замечание:

— Что и говорить! Ни один человек не знает, что он натворит через миллион лет, и ни от чего он не должен отрекаться. Обер-лейтенант Квасничка — мы тогда служили в Карлине в дополнительной команде запасных — всегда говорил во время учения: «Не думайте, жуки навозные, ленивые коровы вы этакие, боровы мадьярские, что ваша военная служба закончится на этом свете. Мы ещё и после смерти увидимся, и я вам такое чистилище уготовлю, что вы очумеете, свиное отродье!»

Между тем Балоун, думая, что говорят только о нём, в полном отчаяния продолжал свою публичную исповедь:

— Даже Клокоты не помогли мне избавиться от обжорства. Вернётся жена с детьми с богомолья, начинает считать кур, одной или двух недосчитается, — не удержался я. Ведь я хорошо знаю, что они нужны в хозяйстве. А как выйду во двор, посмотрю на них — чувствую в животе бездну. Через час мне лучше, а курицы-то уже нет. Раз как-то мои были в Клокотах и молились за меня, чтобы я — их тятенька — опять чего-нибудь не сожрал дома и не нанёс убытку хозяйству. Хожу я по двору, и вдруг на глаза мне попался индюк. В тот раз я чуть жизнью не поплатился. Застряла у меня в горле кость от его ножки, и, не будь у меня на мельнице ученика, совсем ещё маленького парнишки, — он эту кость вытащил, — не сидел бы я с вами сегодня и этой мировой войны не дождался бы. Этот мой мальчонка-ученик такой был шустрый. Маленький такой бутуз, плотный, толстенький, жирненький…

Швейк подошёл к Балоуну:

— Покажи язык!

Балоун высунул язык, после чего Швейк обратился к присутствующим:

— Так я и знал. Он сожрал своего ученика! Признавайся, когда ты его сожрал? В тот день, когда ваши опять пошли в Клокоты? Правда?

Балоун в отчаянии молитвенно сложил руки и воскликнул:

— Оставьте меня, братцы! Ещё и такое слышать от своих товарищей!

— Мы вас за это не осуждаем, — сказал вольноопределяющийся. — Наоборот, это доказывает, что из вас выйдет хороший солдат. Когда во время наполеоновских войн французы осаждали Мадрид, испанец, комендант города, чтобы с голоду не сдать крепость, без соли съел своего адъютанта. Это действительно жертва, потому что посоленный адъютант был бы безусловно съедобнее. Господин старший писарь, как фамилия адъютанта нашего батальона? Циглер? Уж очень он тощий. Таким не накормишь и одну маршевую роту.

— Посмотрите-ка, — сказал старший писарь Ванек, — у Балоуна в руках чётки.

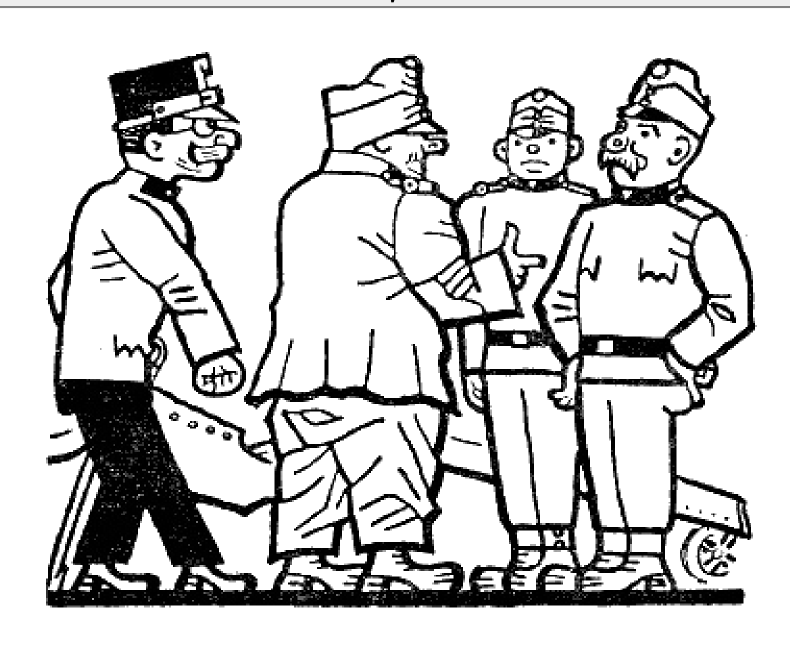
И действительно, Балоун в великом горе своём искал спасения в фисташковых бусинках производства венской фирмы Мориц Левенштейн.

— Они тоже из Клокот, — печально доложил Балоун, — раньше, чем мне их принесли, плакали у нас два гусёнка. Вот было мясо! Одна мякоть!

Вскоре пришёл приказ по всему эшелону — через четверть часа отправляться. Но никто этому не поверил, и случилось так, что, несмотря на все предосторожности, кое-кто отстал. Когда поезд тронулся, недосчитались восемнадцати человек, в том числе и взводного из двенадцатой маршевой роты Насакло. Поезд уже давно скрылся за Ишатарчей, а взводный всё ещё торговался в неглубокой лощине, в акациевой рощице за вокзалом, с какой-то проституткой, которая требовала с него пять крон, тогда как он предлагал ей в награду за выполненную уже службу одну крону или несколько оплеух.

Под конец он произвёл с ней расчёт оплеухами с такой силой, что на её рёв сбежались люди с вокзала.

Глава III
ИЗ ХАТВАНА НА ГАЛИЦИЙСКУЮ ГРАНИЦУ



Во время пути по железной дороге в батальоне, которому предстояло ещё пешком пройти от Лаборца в Восточной Галиции до фронта и там добыть воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственной измены. Так было в вагоне, где ехали вольноопределяющийся и Швейк; то же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило повсюду. Даже в штабном вагоне царило недовольство, так как в Фюзешабони из полка пришёл приказ по армии, согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на одну восьмую литра. Конечно, не был забыт и рядовой состав, которому паёк саго сокращался на десять граммов. Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не видывал саго.

Тем не менее приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумтанцеля. Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, саго теперь — дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше восьми крон.

В Фюзешабони выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня, а между тем именно на этой станции должны были наконец сварить гуляш с картофелем, на который возлагал такие надежды «генерал-от-сортиров».

В результате проведённого расследования установили, что злосчастная полевая кухня вообще не выезжала из Брука и, наверно, до сих пор стоит

где-нибудь там, за бараком № 186, холодная и забытая.

Как выяснилось впоследствии, персонал этой полевой кухни накануне был посажен на гауптвахту за дебоширство в городе и ухитрился остаться там на всё время, пока его маршевая рота проезжала по Венгрии.

Маршевая рота, оставшаяся без кухни, была прикреплена на довольствие к другой полевой кухне. Правда, здесь не обошлось без скандала, потому что между солдатами обеих рот, выделенными для чистки картошки, начались контроверзии; те и другие заявили, что они не болваны и работать на других не собираются. Пока они спорили, обнаружилось, что, собственно, вся история с гуляшом и картошкой была лишь ловким манёвром. Солдат тренировали на тот случай, если на передовой будут варить гуляш и придёт приказ «alles zuruck!». Тогда гуляш выльют из котлов и солдаты останутся не солоно хлебавши.

Хотя подготовка в дальнейшем не имела трагических последствий, в данный момент она была весьма полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гуляша, послышалась команда: «По вагонам!» И эшелон повезли дальше, в Мишкольц. Но и в Мишкольце гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат не выпускали из вагонов. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции, когда они вылезут из поезда. Тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят.

Гуляш отправили в Тисалок, в Зомбор. Солдаты уж совсем отчаялись получить его, как вдруг поезд остановился в Новом Месте у Шятора, где под котлами снова развели огонь, гуляш разогрели и, наконец, роздали.

Станция была перегружена. Сначала должны были отправить два поезда с боеприпасами, за ними — два эшелона артиллерии и поезд с понтонными отрядами. Здесь скопились, можно сказать, поезда всевозможных частей армии.

За вокзалом гонведы-гусары поймали двух польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства, так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие гонведы-гусары залезли под юбки чернооких дочерей избитых евреев.

На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолёты. На втором пути ждали отправки вагоны, тоже нагруженные орудиями и самолётами, но уже выбывшими из строя. Тут были свалены подбитые самолёты и развороченные гаубицы. Всё крепкое и новое ехало туда, на

фронт, остатки же былой славы отправлялись в тыл для ремонта и реконструкции.

Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолётов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалёку от него, в центре другой группы, стоит Швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя поближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка:

— Что там ни говори, а всё же это трофеи. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особливо когда на лафете ты читаешь «k. u. k. Artillerie-Division».[258] Очевидно, дело обстояло так: орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать, а такие трофеи много ценнее, потому что… Потому что, — вдохновенно воскликнул он, завидев подпоручика Дуба, — ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это всё равно как с Перемышлем или с тем солдатом, у которого во время боя противник вырвал из рук походную фляжку. Это случилось ещё во времена наполеоновских войн. Ну, солдат ночью отправился во вражеский лагерь и принёс свою флягу обратно. Да ещё заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку.

Подпоручик Дуб просипел только:

— Чтобы духу вашего не было! Чтобы я вас здесь больше не видел!

— Слушаюсь, господин лейтенант. — И Швейк пошёл к другим вагонам. Если бы подпоручик Дуб слышал всё, что сказал Швейк, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение: «Вмале и узрите мя и паки вмале и не узрите мя».

Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого чётко было обозначено: «Wiener-Neustadt».[259]

— Этот русский самолёт мы сбили под Львовом, — твердил он.

Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил:

— При этом оба русских лётчика сгорели.

И, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя подпоручики Дуба ослом.

Миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него многое накопилось на душе и он горит желанием обо всём доложить своему начальству.

Швейк направлялся прямо к нему.

— Ich melde gehorsam, Kompanieordonanz[260] Швейк просит дальнейших распоряжений. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже искал вас в штабном вагоне…

— Послушайте. Швейк, — резко и зло обрушился на подчинённого поручик Лукаш. — Знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал?

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, этого забыть нельзя. Я не какой-нибудь вольноопределяющийся Железный. Это ещё задолго до войны случилось, находились мы в Карпинских казармах. Был тогда у нас полковник то ли Флидлер фон Бумеранг, то ли другой какой «ранг».

Поручик Лукаш невольно усмехнулся этому «ранг», а Швейк рассказывал дальше:

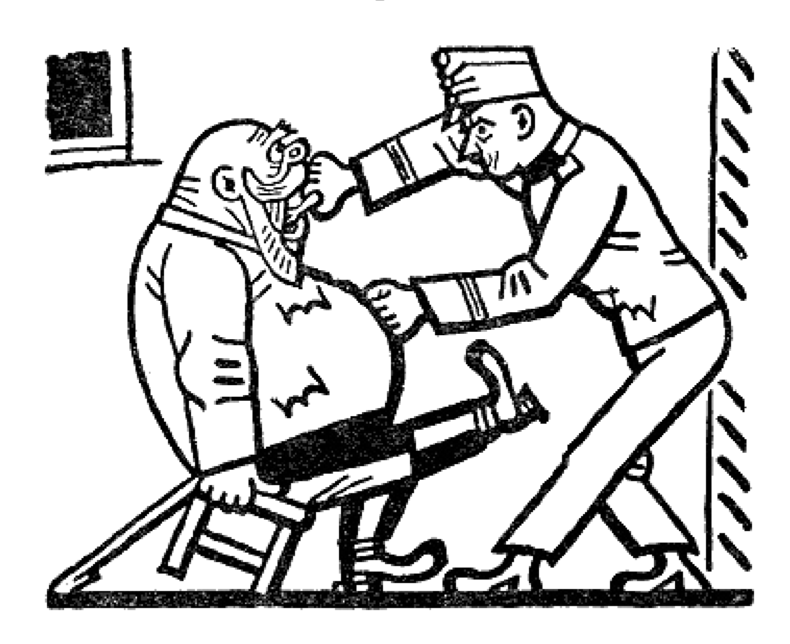
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, наш полковник ростом был вдвое ниже вас, носил баки, как князь Лобковиц, — словом, вылитая обезьяна. Как рассердится, так прыгает выше своего роста. Мы прозвали его «резиновый дедушка». Это произошло как раз перед первым мая. Мы находились в полной боевой готовности. Накануне вечером во дворе он обратился к нам с большой речью и сказал, что завтра мы все останемся в казармах и отлучаться никуда не будем, чтобы в случае надобности по высочайшему приказанию перестрелять всю социалистическую банду. Поэтому тот, кто опоздает и сегодня не вернётся в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не может попасть в человека да ещё, пожалуй, начнёт палить в воздух. Ну, вольноопределяющийся Железный пришёл в казармы и говорит: «Резиновый дедушка» в самом деле не глупо придумал. Ведь это абсолютно правильно. Если завтра никого не пустят в казармы, так лучше вообще не приходить», — и осмелюсь доложить вам, господин обер-лейтенант, исполнил это, как пить дать!

Ну, а полковник Флидлер, царство ему небесное, такая был бестия! Весь следующий день он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто вылезти из казармы, и неподалёку от Прашной браны прямо-таки наткнулся на Железного и тут же на него набросился: «Я тебе сатам, я тебе научу, я тебе покашу кузькину мать!» Наговорил ему всякой всячины и загрёб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей с три короба, угрожал всячески и всё спрашивал фамилию: «Шелесный, ты проиграль, я рад, что тебе поймаль, я тебе покашу «den ersten Mai»,[261] Шелесный, Шелесный, ти тепер мой, я тебе запереть, крепко запереть!» Железному всё равно терять было нечего, и он, когда они проходили по

Поржичи* мимо Розваржила*, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым «резинового дедушку» удовольствия посадить его под арест. Полковник так рассвирепел, что-в гневе снова забыл фамилию преступника и всё перепутал. Пришёл он в казармы и начал подскакивать до потолка (потолок был низкий). Дежурный по батальону очень удивлялся, почему это «дедушка» ни с того ни с сего заговорил на ломаном чешском языке, а тот знай кричит: «Метный запереть!», «Метный не запереть!», «Сфинцовый запереть!», «Олофьянный запереть!» Вот тут-то и начались страдания «дедушки». Он каждый день расспрашивал, не поймали ли Медного, Свинцового, Оловянного. Он приказал выстроить весь полк, но Железного, об истории которого все знали, уже перевели в госпиталь — он по профессии был зубным техником. На этом вроде всё закончилось. Но однажды кому-то из нашего полка посчастливилось проткнуть в трактире «У Буцеков» драгуна, который волочился за его девчонкой.

Ну, так выстроили нас в каре. Должны были выйти все до одного, даже лежавшие в больнице. Тяжелобольных выводили под руки. Делать нечего, — Железному тоже пришлось идти. На дворе нам прочли приказ по полку, примерно в таком смысле, что драгуны тоже солдаты и колоть их воспрещается, так как они наши соратники. Какой-то вольноопределяющийся переводил приказ, полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошёлся перед фронтом, потом обошёл каре и вдруг узнал Железного. Тот был в сажень ростом, так что, господин обер-лейтенант, очень было комично, когда полковник выволок его на середину. Вольноопределяющийся сразу умолк, а полковник наш ну подскакивать перед Железным, вроде как пёс перед кобылой, ну орать: «Ты мне не уйти, ты мне никуда не уйти, не удрать, ты опять говорить, что Шелесный, а я всё говориль Метный, Олофьянный, Сфинцовый. Он Шелесный, подзаборник, а он Шелесный, я тебе научиль, Сфинцовый, Олофьянный, Метный, ты Mistvieh, du Schwein,[262] ты Шелесный». Потом закатил ему месяц гауптвахты. А недели через две разболелись у полковника зубы, и тут он вспомнил, что Железный — зубной техник. Приказал он привести его в госпиталь и велел вырвать себе зуб. Железный дёргал зуб с полчаса, так что «дедушку» раза три водой отливали, но зато он стал кротким и простил Железному оставшиеся две недели. Вот оно как получается, господин обер-лейтенант, когда начальник забудет фамилию своего подчинённого. А подчинённый никогда не смеет забывать фамилии своего начальника, как нам говаривал тот самый господин полковник. И мы долгие годы будем помнить, что когда-то у нас был полковник Флидлер…

Не очень я надоел вам, господин обер-лейтенант?



— Знаете, Швейк, — ответил поручик Лукаш, — чем чаще я вас слушаю, тем более убеждаюсь, что вы не уважаете своих начальников. Солдат и много лет спустя должен говорить о своих начальниках только хорошее.

Видно было, что этот разговор поручика Лукаша начинает забавлять.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — как бы оправдываясь, перебил его Швейк, — ведь он, господин полковник Флидлер, давно умер, но если вы, господин обер-лейтенант, желаете, — я буду говорить о нём только самое хорошее. Он, господин обер-лейтенант, был для солдат ангел во плоти. Такой добрый, прямо что твой святой Мартин, который раздавал гусей бедным и голодным. Он мог поделиться своим офицерским обедом с первым встречным солдатом, а когда нам всем приелись кнедлики с повидлом, дал распоряжение приготовить к обеду свинину с тушёной картошкой. Но по-настоящему он показал свою доброту во время манёвров. Когда мы пришли в Нижние Краловицы, он приказал за его счёт выпить всё пиво в нижнекраловицком пивоваренном заводе. На свои именины и дни рождения полковник разрешал на весь полк готовить зайцев в сметане с сухарными кнедликами. Он был так добр к своим солдатам, что как-то раз, господин обер-лейтенант…

Поручик Лукаш нежно потрепал Швейка за ухо и дружелюбно сказал:

— Ну уж ладно, иди, каналья, оставь его!

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant[263] — Швейк направился к своему вагону. В это время у одного из вагонов эшелона, где были заперты

телефонные аппараты и провода, разыгралась следующая сцена.

Там, по приказанию капитана Сагнера, стоял часовой, так как всё должно было быть по-фронтовому. Приняв во внимание ценность телефонных аппаратов и проводов, по обе стороны вагонов расставили часовых и сообщили им пароль и отзыв.

В тот день пароль был «Карре»,[264] а отзыв «Хатван». Часовой, стоявший у вагона с телефонными аппаратами, поляк из Колотый, по странной случайности, попал в Девяносто первый полк*.

Ясно, что он не имел никакого представления о «Карре». Но так как у него обнаруживались всё же кое-какие способности к мнемотехнике, он запомнил, что начинается это слово с «к». Когда дежурный по батальону подпоручик Дуб спросил у него пароль, он невозмутимо ответил «Kaffee». Это было вполне естественно, ибо поляк из Коломыи до сих пор не мог забыть об утреннем и вечернем кофе в брукском лагере.

Когда поляк ещё раз прокричал своё «Kaffee», а подпоручик Дуб шёл всё прямо на него, то поляк-часовой, помня о своей присяге и о том, что стоит на посту, угрожающе закричал: «Halt!» Когда же подпоручик Дуб сделал по направлению к нему ещё два шага и снова потребовал от него пароль, он наставил на него ружьё и, не зная как следует немецкого языка, заорал на смешанном польско-немецком языке: «Бенже шайсн, бенже шайсн».[265]

Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад, крича:

— Wachkommandant! Wachkommandant![266]

Появился взводный Елинек, разводящий у часового-поляка, и спросил у него пароль, потом то же сделал подпоручик Дуб. Отчаявшийся поляк из Коломыи на все вопросы кричал «Kaffee! Kaffee!», да так громко, что слышно было по всему вокзалу.

Из вагонов уже выскакивали солдаты с котелками, началась паника, которая кончилась тем, что разоружённого честного солдата отвели в арестантский вагон.

Подпоручик Дуб имел определённое подозрение на Швейка. Швейк первым вылез с котелком — он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал:

— Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!

После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовце — Требишов, где рано утром его приветствовал кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон Четырнадцатого венгерского гонведского полка, который проехал эту

станцию ещё ночью. Не оставалось никакого сомнения, что ветераны были пьяны. Своим рёвом: «Isten áld meg a Királyt»[267] — они разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты, из наиболее сознательных, высунулись из вагонов и ответили им:

— Поцелуйте нас в задницу! Eljen![268]

Тут ветераны заорали так, что стёкла в окнах задрожали:

— Eljen! Eljen a Tizenegyedik regiment![269]

Через пять минут поезд шёл по направлению к Гуменне. Теперь повсюду отчётливо были видны следы боёв, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тисы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы; там и сям виднелись сожжённые крестьянские усадьбы, а рядом с ними — наскоро сколоченные домишки, которые указывали, что хозяева вернулись.

К полудню поезд подошёл к станции Гуменне. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которому русские были близки по языку и религии.

На перроне, окружённая венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угрорусов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной верёвками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста.

Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге верёвку, другой конец которой держал в руке, и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш. Время от времени жандарм дёргал верёвку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от души, до слёз. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дёргал за верёвку, и бедняга снова валился на землю.

Конец этому развлечению положил жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвести арестованных на вокзал, в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают.

Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и, нужно отдать справедливость, большинство офицеров осудило

такую жестокость.

— Если они действительно предатели, — считал прапорщик Краус, — то их следует повесить, но не истязать.

Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное поведение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил всё тем, что венгерские жандармы со станции Гуменне мстят за смерть эрцгерцога Франца-Фердинанда и его супруги. Пытаясь как-то обосновать своё утверждение, он заявил, что ещё до войны в июньском номере журнала «Четырёхлистник», издаваемого Шимачеком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям был нанесён удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителя исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами.

Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гуменне, жандармы тоже получали «Четырехлистник» Шимачека с этой трогательной статьёй. Вообще всё на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби.

Он вышел из вагона и пошёл искать Швейка.

— Послушайте, Швейк, — обратился он к нему, — вы не знаете, где бы раздобыть бутылку коньяку? Мне что-то не по себе.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет ещё хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то удалился от родного дома. Шёл он из Страшниц на Виноградры и остановился по дороге в трактире «У остановки». Сначала-то всё шло хорошо, а как пришёл он к водокачке на Корунную улицу, как стал летать по всей Корунной из трактира в трактир до самого костёла святой Людмилы, — вот тут-то силы его и покинули. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире «У ремиза» в Страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в три недели совершит пешком кругосветное путешествие.

Он всё дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у «Чёрного пивовара» на Карловой площади. Оттуда он пошёл на Малую Страну в пивную к «Святому Томашу», а потом, сделав

остановку «У Монтагов», пошёл выше, остановился «У брабантского короля» и отправился в «Прекрасный вид», а оттуда — в пивную к Страговскому монастырю. Но здесь перемена климата дала себя знать. Добрался он до Лоретанской площади, и тут на него напала такая тоска по родине, что он грохнулся наземь, начал кататься по тротуару и кричать: «Люди добрые, дальше не пойду! Начхать мне (простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант) на это кругосветное путешествие!» Всё же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяк раздобуду, только боюсь, как бы поезд не ушёл.

Поручик Лукаш уверил его, что раньше чем через два часа они не тронутся и что коньяк в бутылках продают из-под полы тут же за вокзалом. Капитан Сагнер уже посылал туда Матушича, и тот принёс ему за пятнадцать крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал Швейку пятнадцать крон и приказал действовать немедленно, но никому не говорить, для кого понадобился коньяк и кто его послал за бутылкой, так как это, собственно говоря, дело запрещённое.

— Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант, всё будет в наилучшем виде: я очень люблю всё запрещённое, нет-нет да и сделаю что-нибудь запрещённое, сам того не ведая… Как-то раз в Карпинских казармах нам запретили…

— Kehrt euch — marschieren — marsch![270] — скомандовал поручик Лукаш.

Швейк пошёл за вокзал, повторяя по дороге все задания своей экспедиции: коньяк должен быть хорошим, поэтому сначала его следует попробовать. Коньяк — дело запрещённое, поэтому надо быть осторожным.

Едва он свернул с перрона, как опять наткнулся на подпоручика Дуба.

— Ты чего шляешься? — налетел тот на Швейка. — Ты меня не знаешь?

— Осмелюсь доложить, — ответил Швейк, отдавая честь, — я бы не хотел узнать вас с плохой стороны.

Подпоручик Дуб пришёл в ужас от такого ответа, но Швейк стоял спокойно, всё время держа руку у козырька, и продолжал:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я хочу знать вас только с хорошей стороны, чтобы вы меня не довели до слёз, как вы недавно изволили выразиться.

От такой дерзости у подпоручика Дуба голова пошла кругом, и он едва нашёл в себе силы крикнуть:

— Пшёл отсюда, негодяй! Мы с тобой ещё поговорим!

Швейк ушёл с перрона, а подпоручик Дуб, опомнившись, последовал за ним. За вокзалом, тут же у самой дороги, стоял ряд больших корзин, опрокинутых вверх дном, на которых лежали плоские плетушки с разными сладостями, выглядевшими совсем невинно, словно всё это добро было предназначено для школьной молодёжи, готовящейся к загородной прогулке. Там были тянучки, вафельные трубочки, куча кислой пастилы, кое-где — ломтики чёрного хлеба с колбасой явно лошадиного происхождения. Под большими корзинами хранились различные спиртные напитки: бутылки коньяку, водки, рома, можжевёловки и всяких других ликёров и настоек.

Тут же, за придорожной канавой, стояла палатка, где, собственно, и производилась вся торговля запрещённым товаром.

Солдаты сначала договаривались у корзин, пейсатый еврей вытаскивал из-под столь невинно выглядевшей корзины водку и относил её под кафтаном в деревянную палатку, где солдат незаметно прятал бутылку в брюки или за пазуху.

Туда-то и направил свои стопы Швейк, в то время как от вокзала за ним наблюдал завзятый сыщик — подпоручик Дуб.

Швейк забрал всё у первой же корзины. Сначала он взял конфеты, заплатил и сунул в карман, при этом пейсатый торговец шепнул ему:

— Schnaps hab' ich auch, gnädiger Herr Soldat![271]

Переговоры были быстро закончены. Швейк вошёл в палатку, но заплатил только после того, как господин с пейсами раскупорил бутылку и дал ему попробовать. Коньяком Швейк остался доволен и, спрятав бутылку за пазуху, направился к вокзалу.



— Где был, подлец? — преградил ему дорогу подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, ходил за конфетами. — Швейк сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть грязных, покрытых пылью конфет. — Если господин лейтенант не побрезгует… я их пробовал, неплохие. У них, господин лейтенант, такой приятный особый вкус, как у повидла.

Под мундиром Швейка обрисовывались округлые очертания бутылки.

Подпоручик Дуб похлопал Швейка по груди:

— Что несёшь, мерзавец? Вынь!

Швейк вынул бутылку с желтоватым содержимым, на этикетке которой чёрным по белому было написано «Cognac».

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — проговорил Швейк, ничуть не смутившись, — я в эту бутылку из-под коньяка накачал немного воды. У меня от этого самого вчерашнего гуляша страшная жажда. Только вода там, в колодце, как видите, господин лейтенант, какая-то желтоватая. По-видимому, это железистая вода. Такая вода очень полезна для здоровья.

— Раз у тебя такая сильная жажда, Швейк, — дьявольски усмехаясь, сказал подпоручик Дуб, желая возможно дольше продлить сцену, которая должна была закончиться полным поражением Швейка, — так напейся, но как следует. Выпей всё сразу!

Подпоручик Дуб наперёд представил себе, как Швейк, сделав несколько глотков, не в состоянии будет продолжать, а он, подпоручик Дуб, одержав над ним полную победу, скажет: «Дай-ка и мне немножко, у меня тоже жажда». Посмотрим, как будет выглядеть этот мошенник в грозный для него час! Потом последует рапорт и так далее.

Швейк открыл бутылку, приложил её ко рту, и напиток глоток за глотком исчез в его горле.

Подпоручик Дуб оцепенел. На его глазах Швейк выдул всё и бровью не повёл, потом швырнул порожнюю бутылку через шоссе в пруд, сплюнул и сказал, словно выпил стаканчик минеральной воды:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, у этой воды действительно железистый привкус. В Камыке-на-Влтаве один трактирщик летом делал для своих посетителей железистую воду очень просто: он бросал в колодец старые подковы!

— Я тебе дам старые подковы! Покажи колодец, из которого ты набрал эту воду!

— Недалеко отсюда, господин лейтенант, вон за той деревянной палаткой.

— Иди вперёд, негодяй, я хочу видеть, как ты держишь шаг! «Действительно странно, — подумал подпоручик Дуб. — По этому негодяю ничего не видно!»

Швейк шёл, предав себя воле божьей. Что-то подсказывало ему, что колодец должен быть впереди, и поэтому он совсем не удивился, когда они действительно вышли к колодцу. Мало того, и насос был цел. Швейк начал качать, из насоса потекла желтоватая вода.

— Вот она, эта железистая вода, господин лейтенант, — торжественно провозгласил он.

Приблизился перепуганный пейсатый мужчина, и Швейк по-немецки попросил его принести стакан — дескать, господин лейтенант хотят пить.



Подпоручик Дуб настолько ошалел, что выпил целый стакан воды, от которой у него во рту остался вкус лошадиной мочи и навозной жижи. Совершенно очумев от всего пережитого, он дал пейсатому еврею за этот стакан воды пять крон и, повернувшись к Швейку, сказал:

— Ты чего здесь глазеешь? Пошёл домой!

Пять минут спустя Швейк появился в штабном вагоне у поручика Лукаша, таинственным жестом вызвал его из вагона и сообщил ему:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, через пять, самое большее через десять минут я буду совершенно пьян и завалюсь спать в своём вагоне; смею вас просить, чтобы вы, господин обер-лейтенант, меня в течение, по крайней мере, трёх часов не звали и никаких поручений не давали, пока я не высплюсь. Всё в порядке, но меня поймал господин лейтенант Дуб. Я ему сказал, что это вода, и был вынужден при нём выпить целиком бутылку коньяку, чтобы доказать, что это действительно вода. Всё в порядке. Я, согласно вашему пожеланию, ничего не выдал и был осторожен. Но теперь, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже чувствую, как у меня отнимаются ноги. Однако осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, пить я привык, потому что с господином фельдкуратом Кацем…

— Изыди, бестия! — крикнул, но без гнева, поручик Лукаш, зато подпоручик Дуб стал в его глазах, по крайней мере, процентов на пятьдесят менее симпатичным, чем был до сих пор.

Швейк осторожно влез в свой вагон и, укладываясь на своей шинели и вещевом мешке, сказал, обращаясь к старшему писарю и ко всем присутствующим:

— Жил-был один человек. Как-то раз надрызгался он и попросил его не будить…

После этих слов Швейк повернулся на бок и захрапел.

Вскоре выдыхаемые им винные пары наполнили всё помещение, так что повар-оккультист Юрайда, втягивая ноздрями воздух, воскликнул:

— Чёрт побери! Пахнет коньяком!

У складного стола сидел вольноопределяющийся Марек, достигший наконец после всех злоключений должности батальонного историографа.

Ныне он сочинял впрок героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие заглядывать в будущее.

Старший писарь Ванек давно с интересом наблюдал, как прилежно пишет вольноопределяющийся и при этом хохочет во всё горло. Он встал и наклонился к вольноопределяющемуся, который тут же принялся ему объяснять:

— Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное, чтобы всё развивалось систематически. Во всём должна быть система.

— Систематическая система, — заметил старший писарь Ванек, скептически улыбаясь.

— Да, — небрежно обронил вольноопределяющийся, — систематизированная систематическая система при написании истории батальона. Мы не можем с самого начала одержать большую победу. Всё должно развиваться постепенно, согласно определённому плану. Наш батальон не может сразу выиграть мировую войну. Nihil nisi bene.[272] Для обстоятельного историографа, как я, главное — составить план наших побед. Например, вот здесь я описываю, как наш батальон (это произойдёт примерно месяца через два) чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля, — скажем, полками донских казаков. В это время несколько арабских дивизий обходят наши позиции. На первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят, и тут капитан Сагнер даёт приказ по батальону: «Бог не хочет нашей погибели, бежим!» Наш батальон удирает, но вражеская дивизия, которая нас обошла, видит, что мы, собственно говоря, мчимся на неё. Она бешено улепётывает от нас и без единого выстрела попадает в руки резервных частей нашей армии. Вот, собственно говоря, с этого и начинается история нашего батальона. Незначительное происшествие, говоря пророчески, пан Ванек, влечёт за собой далеко идущие последствия. Наш батальон идёт от победы к победе. Интересно, как наши люди нападут на спящего неприятеля, но для описания этого необходимо овладеть слогом «Иллюстрированного военного корреспондента», выхолившего во время русско-японской войны

в издательстве Вилимека.

Наш батальон нападает на спящий неприятельский лагерь. Каждым из наших солдат выбирает себе одного вражеского солдата и со всей силой втыкает ему штык в грудь. Прекрасно отточенный штык входит как в масло, только иногда затрещит ребро. Спящие враги дёргаются всем телом, на миг выкатывают удивлённые, но уже ничего не видящие глаза, хрипят и вытягиваются. На губах спящих врагов выступает кровавая пена. Этим дело заканчивается, и победа на стороне нашего батальона. А вот ещё лучше. Будет это приблизительно месяца через три. Наш батальон возьмёт в плен русского царя, но об этом, пан Ванек, мы расскажем несколько позже, а пока что мы должны подготовить про запас небольшие эпизоды, свидетельствующие о нашем беспримерном героизме. Для этого мне придётся придумать совершенно новые военные термины. Один я уже придумал. Это способность наших солдат, нашпигованных осколками гранат, к самопожертвованию. Взрывом вражеского фугаса одному из наших взводных, скажем, двенадцатой или тринадцатой роты, оторвёт голову.

— A propos, — сказал вольноопределяющийся, хлопнув себя по лбу, — чуть-чуть не забыл, господин старший писарь, или, выражаясь по-штатски, пан Ванек, вы должны снабдить меня списком всех унтер-офицеров. Назовите мне какого-нибудь писаря из двенадцатой роты. Гоуска? Хорошо, так, значит, взрывом этого фугаса оторвёт голову Гоуске. Голова отлетит, но тело сделает ещё несколько шагов, прицелится и выстрелом собьёт вражеский аэроплан. Само собой разумеется, эти победы будут торжественно отпразднованы в семейном кругу в Шенбрунне. У Австрии очень много батальонов, но только один из них, а именно наш, так отличится, что исключительно в его честь будет устроено небольшое семейное торжество царствующего дома. Дело представляется так, как вы это видите в моих заметках: семья эрцгерцогини Марии-Валери ради этого перенесёт свою резиденцию из Вальзее в Шенбрунн. Торжество носит строго интимный характер и происходит в зале рядом со спальней монарха, освещённой белыми восковыми свечами, ибо, как известно, при дворе не любят электрических лампочек из-за возможности короткого замыкания, чего боится старенький монарх. В шесть часов вечера начинается торжество в честь и славу нашего батальона. В это время в зал, который, собственно говоря, относится к покоям в бозе почившей императрицы, вводят внуков его величества. Теперь вопрос, кто ещё, кроме императорского семейства, будет присутствовать на торжестве. Там должен и будет присутствовать генерал-адъютант монарха, граф Паар. Ввиду того

что при таких семейных и интимных приёмах иногда кому-нибудь становится дурно, — я вовсе не хочу сказать, что граф Паар начнёт блевать, — желательно присутствие лейб-медика, советника двора его величества Керцеля. Порядка ради, дабы камер-лакеи не позволяли себе вольностей по отношению к присутствующим на приёме фрейлинам, прибывают обер-гофмейстер барон Ледерер, камергер граф Белегарде и статс-дама графиня Бомбелль, которая среди фрейлин играет ту же роль, что «мадам» в борделе «У Шугов». После того как это великосветское общество собралось, докладывают императору. Он появляется в сопровождении внуков, занимает своё место за столом и поднимает тост в честь нашего маршевого батальона. После него слово берёт эрцгерцогиня Мария Валери, которая особенно хвалебно отзывается о вас, господин старший писарь. Правда, как видно из моих заметок, наш батальон терпит тяжёлые и чувствительные потери, ибо батальон без павших — не батальон. Необходимо будет подготовить ещё статью о наших павших. История батальона не должна складываться только из сухих фактов о победах, которых я наперёд наметил около сорока двух. Вы, например, пан Ванек, падёте у небольшой речки, а вот Балоун, который так дико глазеет на нас, погибнет своеобразной смертью, не от пули, не от шрапнели и не от гранаты. Он будет удавлен арканом, закинутым с неприятельского самолёта как раз в тот момент, когда будет пожирать обед своего обер-лейтенанта Лукаша.

Балоун отошёл, горестно взмахнув руками, и удручённо прошептал:

— Я не виноват, уж таким я уродился! Ещё когда я служил на действительной, так я раза по три приходил за обедом, пока меня под арест не посадят. Как-то я три раза подряд получил на обед грудинку, а потом сидел за это целый месяц… Да будет воля твоя, господи!

— Не робейте, Балоун, — утешил его вольноопределяющийся. — В истории батальона не будет указано, что вы погибли по дороге от офицерской кухни к окопам, когда уплетали офицерский обед. Вы будете поименованы вместе со всеми солдатами нашего батальона, павшими во славу нашей империи, вместе с такими, как, скажем, старший писарь Ванек.

— А мне какую смерть вы готовите, Марек?

— Только не торопитесь, господин фельдфебель, это не так просто делается.

Вольноопределяющийся задумался.

— Вы из Кралуп, не правда ли? Ну, так пишите домой в Кралупы, что пропадёте без вести, но только напишите как-нибудь поосторожней. А

может быть, вы предпочитаете быть тяжелораненым, остаться за проволочными заграждениями? Лежите себе этак с перебитой ногой целый день. Ночью неприятель прожектором освещает наши позиции и обнаруживает вас. Полагая, что вы исполняете разведочную службу, он начинает садить по вас гранатами и шрапнелью. Вы оказали армии огромную услугу, неприятельское войско на одного вас истратило столько боеприпасов, сколько тратит на целый батальон. После всех взрывов части вашего тела свободно парят в атмосфере, рассекая в своём вращении воздух. Они поют великую песнь победы. Короче говоря, каждый получит по заслугам, каждый из нашего батальона отличится, так что славные страницы нашей истории будут переполнены победами. Хотя мне очень не хотелось бы переполнять их, но ничего не могу поделать, всё должно быть исполнено тщательно, чтобы после нас осталась хоть какая-нибудь память. Всё это должно быть закончено до того, как от нашего батальона, скажем, в сентябре, ровнёхонько ничего не останется, кроме славных страниц истории, которые найдут путь к сердцу всех австрийских подданных и расскажут им, что все те, кто уже не увидит родного дома, сражались одинаково мужественно и храбро. Конец этого некролога, пан Ванек, я уже составил. Вечная память павшим! Их любовь к монархии — любовь самая святая, ибо привела к смерти. Да произносятся их имена, с уважением, например, имя Ванеа. А те, кого особенно тяжело поразила смерть кормильцев, пусть с гордостью утрут свои слёзы, ибо павшие были героями нашего батальона!

Телефонист Ходоунский и повар Юрайда с нескрываемым интересом слушали сообщение вольноопределяющегося о подготовляемой им истории батальона.

— Подойдите поближе, господа, — попросил вольноопределяющийся, перелистывая свою рукопись. — Страница пятнадцать! «Телефонист Ходоунский пал третьего сентября одновременно с батальонным поваром Юрайдой». Теперь слушайте мои примечания: «Беспримерный героизм. Первый, находясь бессменно три дня у телефона, с опасностью для жизни защищает в своём блиндаже телефонный провод. Второй, видя угрожающую со стороны неприятеля опасность обхода с фланга, с котлом кипящего супа бросается на врага, ошпаривает вражеских солдат и сеет панику в рядах противника. Прекрасная смерть обоих. Первый взрывается на фугасе, второй умирает от удушливых газов, которые ему сунули под самый нос, когда ему нечем было уже обороняться. Оба погибают с возгласами: «Es lebe unser Batallionskommandant!»[273] Верховному командованию не остаётся ничего другого, как только ежедневно выражать

нам благодарность в форме приказов, чтобы и другие части нашей армии были осведомлены о доблестях нашего батальона и брали с него пример. Могу вам прочесть выдержку из приказа по армии, который зачитан по всем армейским частям. Он очень похож на приказ эрцгерцога Карла, изданный им в тысяча восемьсот пятом году, когда он со своей армией стоял под Падуей, где ему на другой день после объявления приказа всыпали по первое число… Ну, так слушайте, что будут читать о нашем батальоне как о доблестной, примерной для всей армии воинской части: «Надеюсь, вся армия возьмёт пример с вышепоименованного батальона и переймёт от него ту веру в свои силы и доблесть, ту несокрушимость в опасности, то беспримерное геройство, любовь и доверие к своим начальникам, словом, все те доблести, которыми отличается этот батальон и которые ведут его к достойным удивления подвигам ко благу и победе нашей империи. Все да последуют его примеру!»

Из угла, где лежал Швейк, послышался громкий зевок и слова, произносимые во сне: «Вы правы, пани Мюллерова, бывают случаи удивительного сходства. В Кралупах устанавливал насосы для колодцев пан Ярош. Он, как две капли воды, был похож на часовщика Лейганца из Пардубиц, а тот, в свою очередь, страшно был похож на Пискора из Ичина, а все четверо на неизвестного самоубийцу, которого нашли повесившимся и совершенно разложившимся в одном пруду около Индржихова Градца, прямо под железнодорожной насыпью, где он, вероятно, бросился под поезд…» Новый сладкий зевок, и все услышали продолжение: «Всех остальных присудили к большому штрафу, а завтра сварите, пани Мюллерова, лапшу…» Швейк перевалился на другой бок и снова захрапел. В это время между поваром-оккультистом Юрайдой и вольноопределяющимся начались дебаты о предугадывании будущего.

Оккультист Юрайда считал, что хотя на первый взгляд кажется бессмысленным шутки ради писать о том, что совершится в будущем, но, несомненно, и такая шутка очень часто оказывается пророческой, если духовное зрение человека под влиянием таинственных сил проникает сквозь завесу неизвестного будущего. Вся последующая речь Юрайды была сплошной завесой. Через каждую фразу он поминал завесу будущего, пока наконец не перешёл на регенерацию, то есть восстановление человеческого тела, приплёл сюда способность инфузорий восстанавливать части своего тела и закончил заявлением, что каждый может оторвать у ящерицы хвост, а он у неё отрастёт снова.

Телефонист Ходоунский прибавил к этому, что если бы люди обладали той же способностью, что и ящерицы, то было бы не житьё, а масленица.

Скажем, например, на войне оторвёт кому-нибудь голову или другую какую часть тела. Для военного ведомства это было бы очень удобно, ведь тогда в армии не было бы инвалидов. Один австрийский солдат, у которого беспрерывно росли бы ноги, руки, голова, был бы, безусловно, ценнее целой бригады.

Вольноопределяющийся заявил, что в настоящее время, благодаря достижениям военной техники, неприятеля с успехом можно рассечь поперёк, хотя бы даже и на три части. Существует закон восстановления отдельной части тела у некоторых инфузорий, каждый отрезок инфузории возрождается и вырастает в самостоятельный организм. В аналогичном случае после каждой битвы австрийское войско, участвовавшее в бою, утраивалось бы, удесятерялось бы, из каждой ноги развивался бы новый свежий пехотинец.

— Если бы вас слышал Швейк, — заметил старший писарь Ванек, тот бы, по крайней мере, привёл нам какой-нибудь пример.

Швейк тотчас реагировал на свою фамилию и пробормотал:

— Hier!

Доказав свою дисциплинированность, он захрапел снова.

В полуоткрытую дверь вагона всунулась голова подпоручика Дуба.

— Швейк здесь? — спросил он.

— Так точно, господин лейтенант. Спит, — ответил вольноопределяющийся.

— Если я спрашиваю о Швейке, вы, вольноопределяющийся, должны немедленно вскочить и позвать его.

— Нельзя, господин лейтенант, он спит.

— Так разбудите его! Удивляюсь, вольноопределяющийся, как вы сразу об этом не догадались. Вы должны быть более любезны по отношению к своим начальникам! Вы меня ещё не знаете. Но когда вы меня узнаете…

Вольноопределяющийся начал будить Швейка:

— Швейк, пожар! Вставай!

— Когда был пожар на мельнице Одколека, — забормотал Швейк, поворачиваясь на другой бок, — даже с Высочан приехали пожарные…

— Изволите видеть, — спокойно доложил вольноопределяющийся подпоручику Дубу. — Бужу его, но толку никакого.

Подпоручик Дуб рассвирепел:

— Как фамилия, вольноопределяющийся?

— Марек.

— Ага, это тот вольноопределяющийся Марек, который всё время

сидел под арестом?

— Так точно, господин лейтенант. Прошёл я, как говорится, одногодичный курс в тюрьме и был реабилитирован, а именно: по оправдании в дивизионном суде, где была доказана моя невиновность, я был назначен батальонным историографом с оставлением мне звания вольноопределяющегося.

— Долго им вы не будете! — заорал подпоручик Дуб, побагровев от гнева. Цвет его лица менялся так быстро, что создавалось впечатление, будто кто-то хлестал его по щекам. — Я позабочусь об этом!

— Прошу, господин лейтенант, направить меня по инстанции к рапорту, — с серьёзным видом сказал вольноопределяющийся.

— Не шутите со мной, — не унимался подпоручик Дуб. — Я вам покажу рапорт! Мы ещё с вами встретимся, но вам от этой встречи здорово солоно придётся! Вы меня узнаете, если до сих пор ещё не узнали!

Обозлённый подпоручик Дуб ушёл, в волнении позабыв о Швейке, хотя минуту тому назад намеревался позвать его и приказать: «Дыхни на меня!» Это было последней возможностью уличить Швейка в незаконном употреблении алкоголя.

Через полчаса подпоручик Дуб опомнился и вернулся к вагону. Но теперь уже было поздно — солдатам роздали чёрный кофе с ромом.

Швейк уже встал и на зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротой молодой серны.

— Дыхни на меня! — заорал подпоручик Дуб.

Швейк выдохнул на него весь запас своих лёгких. Словно горячий ветер пронёс по полю запах винокуренного завода.

— Чем это от тебя так разит, прохвост?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от меня разит ромом.

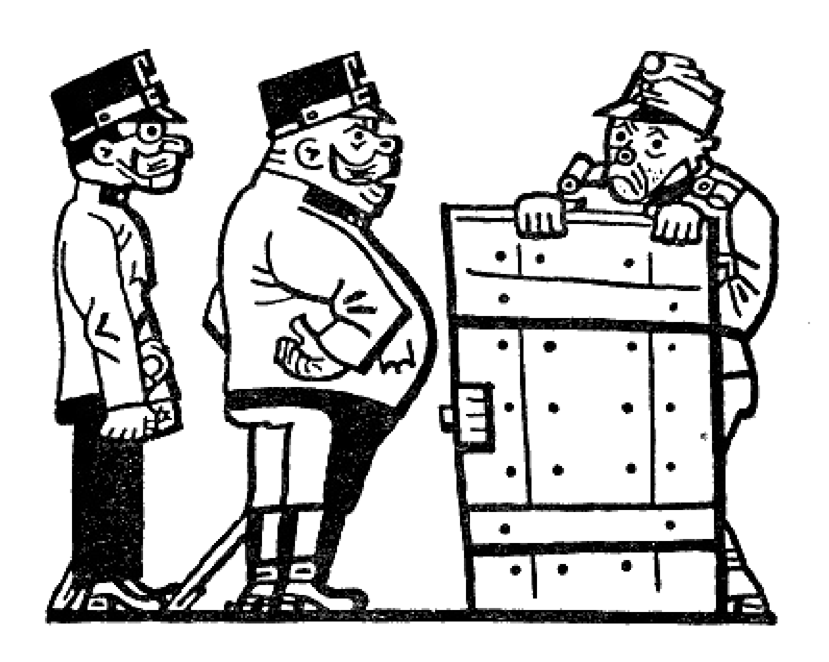
— Попался, негодяй! — злорадствовал подпоручик Дуб. — Наконец-то я тебя накрыл!

— Так точно, господин лейтенант, — совершенно спокойно согласился Швейк, — только что мы получили ром к кофе, и я сначала выпил ром. Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение и следует пить сначала кофе, а потом ром, прошу простить. Впредь этого не будет.

— А отчего же ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Тебя даже добудиться не могли.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я всю ночь не спал, так как вспоминал о том времени, когда мы были на манёврах около Веспрема. Первый и Второй армейские корпуса, исполнявшие роль неприятеля, шли через Штирию и Западную Венгрию и окружили наш Четвёртый корпус,

расквартированный в Вене и в её окрестностях, где у нас всюду построили крепости. Они нас обошли и подошли к мосту, который сапёры наводили с правого берега Дуная. Мы готовились к наступлению, а к нам на помощь должны были подойти войска с севера, а затем также с юга, от Осека. Тогда зачитывали приказ, что к нам на помощь идёт Третий армейский корпус, чтобы, когда мы начнём наступление против Второго армейского корпуса, нас не разбили между озером Балатон и Пресбургом. Да напрасно! Мы уже должны были победить, но затрубили отбой — и выиграли те, с белыми повязками.



Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой, в растерянности ушёл, но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул Швейку:

— Запомните вы все! Придёт время, наплачетесь вы у меня!

На большее его не хватило, и он ушёл в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал одного несчастного солдата двенадцатой роты, которого привёл фельдфебель Стрнад. Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах, и откуда-то со станции притащил обитую жестью дверку свиного хлева.

Теперь он стоял, вытаращив со страху глаза, и оправдывался тем, что хотел взять с собой дверку в качестве прикрытия от шрапнели, чтобы быть в безопасности.

Воспользовавшись случаем, подпоручик Дуб разразился проповедью о том, как должен вести себя солдат, в чём состоят его обязанности по отношению к отечеству и монарху, являющемуся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне

завелись подобные элементы, их следует искоренить, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему:

— Если у вас в мыслях не было ничего худого, то в дальнейшем не повторяйте этого. Ведь это глупость. Дверку отнесите, откуда вы её взяли, и убирайтесь ко всем чертям!

Подпоручик Дуб закусил губу и решил, что только от него одного зависит спасение дисциплины в батальоне. Поэтому он ещё раз обошёл территорию вокзала и около склада, на котором большими буквами стояла надпись по-венгерски и по-немецки: «Курить воспрещается», заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрылся газетой, что погон не было видно. Дуб крикнул ему: «Habtacht!» Это был солдат венгерского полка, стоявшего в Гуменне в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул, солдат-венгр встал и не счёл даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошёл по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб словно во сне последовал за ним: солдат-венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик ни на минуту не усомнился в том, что он сразу определил его принадлежность к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих домов по другую сторону шоссе.

Подпоручик Дуб в доказательство того, что он к этой сцене никакого отношения не имеет, величественно вошёл в лавочку у дороги, в замешательстве указал на большую катушку чёрных ниток, сунул её в карман, уплатил и вернулся в штабной вагон, приказав батальонному ординарцу позвать своего денщика Кунерта. Передавая денщику нитки, Дуб сказал: «Приходится мне самому обо всём заботиться! Я знаю, что вы забыли про нитки».

— Никак нет, господин лейтенант, у нас их целая дюжина.

— Ну-ка, покажите! Немедленно! Тут же принести катушки сюда! Думаете, я вам верю?

Когда Кунерт вернулся с целой коробкой белых и чёрных катушек, подпоручик Дуб сказал:

— Ты посмотри, братец, получше на те нитки, которые ты принёс, и на мою большую катушку. Видишь, какие тонкие у тебя нитки, как легко они рвутся, а теперь посмотри на мои, сколько труда потратишь, прежде чем их разорвёшь. На фронте хлам не нужен, на фронте всё должно быть основательно. Забери с собой все катушки и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай не спросясь, а когда соберёшься что-нибудь купить, приди ко мне и спроси меня. Не стремись узнать меня

короче! Ты ещё не знаешь меня с плохой стороны!

Когда Кунерт ушёл, подпоручик Дуб обратился к поручику Лукашу:

— Мой денщик совсем неглупый малый. Правда, иногда делает ошибки, но в общем очень сметливый. Главное его достоинство — безукоризненная честность. В Бруке я получил посылку из деревни от своего шурина. Несколько жареных молодых гусей. Так, поверите ли, он до них пальцем не дотронулся, а так как я быстро их съесть не смог, он предпочёл, чтобы они протухли. Вот это дисциплина! На обязанности офицера лежит воспитание солдат.

Поручик Лукаш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнёс:

— Да, сегодня среда.

Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно, по-приятельски, начал:

— Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о…

— Пардон, минутку, — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона.

*

Между тем Швейк беседовал с Кунертом о его хозяине.

— Где это ты пропадал всё время? Почему тебя нигде не было видно? — спросил Швейк.

— Небось знаешь, — ответил Кунерт, — у моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовёт к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся.

— Очень мило с его стороны — спрашивать обо мне. Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный, а для солдата — прямо отец родной, — серьёзно сказал Швейк.

— Ты думаешь? — возразил Кунерт. — Большая свинья, а глуп, как пуп. Надоел мне хуже горькой редьки, всё время придирается.

— Поди ж ты! — удивлялся Швейк. — А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своём лейтенанте. Ну да уж все вы, денщики, такими уродились. Взять хоть денщика майора Венцеля, тот своего господина иначе не называет, как «окаянный балбес», а денщик полковника Шрёдера, когда говорит о своём господине, честит его «вонючим чудовищем» и «вонючей вонючкой». А всё потому, что денщик учится у своего господина. Если бы господин не крыл

почём зря своего денщика, то и денщик не повторял бы за ним. В Будейовицах, когда я служил на действительной, был у нас лейтенант Прохазка, так тот сильно не ругался. Так только скажет, бывало, своему денщику: «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств денщик Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, отбыв срок военной службы, по привычке стал обзывать и папашу, и мамашу, и сестру: «Эй ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, её папаше, и мамаше, и сёстрам во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал её «коровой» с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую, ну, а так — позор на всю Европу.

Между нами, Кунерт, о твоём лейтенанте я никогда бы этого не подумал. Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвёл очень симпатичное впечатление, словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворённым… Ты сам-то откуда? Прямо из Будейовиц? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живёшь? Под аркадами? Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. Семейный? Жена и трое детей? Так ты счастливец, товарищ. Тебя, по крайней мере, есть кому оплакивать, как говаривал в проповедях мой фельдкурат Кац. И это истинная правда, потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которую он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так: «Когда он труп, он труп для земья, земейная связь уже нет, он польше чем «ein Held»[274] за то, что сфой шизнь «hat geopfert»[275] за большой земья, за «Vaterland».[276] Ты живёшь на пятом этаже?

— На первом.

— Да, да, верно, я теперь вспомнил, что там, на площади в Будейовицах, нет ни одного пятиэтажного дома. Ты уже уходишь? А-а! Твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нём, ты безо всяких скажи, что говорил, и не забудь передать, как хорошо я о нём отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интелликентный. И ещё расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и

все их исполнять. Смотри не забудь!

Швейк влез в свой вагон, а Кунерт с нитками убрался в свою берлогу. Через четверть часа батальон двинулся дальше, через сожжённые деревни, Брестов и Великий Радвань в Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои.

Склоны Карпат были изрыты окопами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в Лаборец (дорога проходила вдоль верховья Лаборца), видны были новые мосты и обгорелые устои старых.

Вся Медзилаборецкая долина была разрыта и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было разбито и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск.

После частых и обильных ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров.

За Новой Чабиной на ветвях старой обгорелой сосны висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени.

Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь: деревья стояли оголённые, без листьев, без хвои, без верхушек; хутора были разорены.

Поезд медленно шёл по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошённых холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте.

Немцы с Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и ещё в Миловицах при въезде на станцию галдевшие своё «Wann ich kumm, wann ich wieda kumm…», начиная от Гуменне притихли, так как поняли, что многие из тех, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернутся и навсегда останутся дома со своей милой.

В Медзилаборце поезд остановился за разбитым, сожжённым вокзалом, из закоптелых стен которого торчали искорёженные балки.

Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожжённого вокзала, был залеплен плакатами на всех языках: «Подписывайтесь на австрийский военный заём».

В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым врачом, который для их увеселения подражал

крику различных животных и бездарно хрюкал.

Под железнодорожной насыпью в долине ручья лежала разбитая полевая кухня.

Указывая на неё, Швейк сказал Балоуну:

— Посмотри, Балоун, что нас ждёт в ближайшем будущем. Вот-вот должны были раздать обед, и тут прилетела граната и вон как разделала кухню.

— Прямо страх берёт! — вздохнул Балоун. — Мне и не снилось, что я попаду в такой переплёт. А всему виной моя гордыня. Ведь я, сволочь, прошлой зимой купил себе в Будейовицах кожаные перчатки. Мне уже зазорно было на своих мужицких лапах носить старые вязаные рукавицы, какие носил покойный батя. Куда там, я всё вздыхал по кожаным, городским… Батя горох уплетал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу. И от простой свинины я тоже нос воротил. Жена должна была, прости господи моё прегрешение, вымачивать её в пиве! — Балоун в полном отчаянии стал исповедоваться как на духу: — Я хулил святых и угодников божьих в трактире на Мальше, в Нижнем Загае избил капеллана. В бога я ещё верил, от этого не отрекаюсь, но в святости Иосифа усомнился. Всех святых терпел в доме, только образ святого Иосифа удалил, и вот теперь господь покарал меня за все мои прегрешения и мою безнравственность. Сколько этих безнравственных дел я натворил на мельнице! Как часто я ругал своего тятеньку и полагающиеся ему деньги зажиливал, а жену свою тиранил.

Швейк задумался:

— Вы мельник? Так ведь? Вам следовало бы знать, что божьи мельницы мелют медленно, но верно, ведь из-за вас и разразилась мировая воина.

Вольноопределяющийся вмешался в разговор:

— Своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы, безусловно, сильно себе повредили. Ведь вам следовало знать, что наша австрийская армия уже издавна является армией католической и блестящий пример ей подаёт наш верховный главнокомандующий. Да и как вообще вы отважились с ядом ненависти хотя бы к некоторым святым и угодникам божьим идти в бой? Когда военное министерство в гарнизонных управлениях ввело проповеди иезуитов для господ офицеров! Когда на пасху мы видели торжественный воинский крёстный ход! Вы понимаете меня, Балоун? Сознаёте ли, что вы, собственно, выступаете против духа пашей славной армии? Возьмём, например, святого Иосифа, образ которого, по вашим словам, вы не позволяли вешать в вашей комнате. Ведь

он, Балоун, как раз является покровителем всех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником, а вы, должно быть, знаете поговорку: «Поищем, где плотник оставил дыру». Уж сколько народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окружёнными со всех сторон, они спасали себя не из эгоистических побуждений, а как члены армии, чтобы потом, вернувшись из плена, иметь возможность сказать государю императору: «Мы здесь и ждём дальнейших приказаний». Понимаете теперь, в чём дело, Балоун?

— Не понимаю, — вздохнул Балоун. — Тупая у меня башка. Мне всё надо повторять по десяти раз.

— Может, маленько уступишь? — спросил Швейк. — Так я тебе ещё раз объясню. Ты, значит, слышал, что должен вести себя соответственно тому духу, который является господствующим в армии, что тебе придётся верить в святого Иосифа, а когда тебя окружит неприятель, поищи, где плотник оставил дыру, чтобы сохранить себя ради государя императора на случай новых войн. Ну, теперь ты, я полагаю, понял и хорошо сделаешь, если более обстоятельно покаешься, что за безнравственные поступки ты совершал на этой самой мельнице. Но только смотри не рассказывай нам такие вещи, как в анекдоте про девку-батрачку, которая пошла исповедоваться к ксёндзу и потом, когда уже покаялась в различных грехах, застыдилась и сказала, что каждую ночь вела себя безнравственно… Ну, ясно, как только ксёндз это услышал, у него слюнки потекли. Он и говорит ей: «Не стыдись, милая дочь, ведь я служитель божий, подробно расскажи мне о своих прегрешениях против нравственности». А она расплакалась: ей, мол, стыдно, это такая ужасная безнравственность. Он опять её уговаривать, он-де отец её духовный. Наконец, дрожа всем телом, она рассказала, что каждый вечер раздевалась и влезала в постель. И опять он не мог от неё слова добиться. Она ещё пуще разревелась. А он снова: «Не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость божия бесконечна!» Наконец она собралась с духом и плача проговорила: «Когда я раздетая ложилась в постель, то выковыривала грязь между пальцами на ногах, да притом ещё нюхала её». Вот вам и вся безнравственность. Но я надеюсь, что ты, Балоун, на мельнице такими делами не занимался и расскажешь нам что-нибудь посерьёзнее, про настоящую безнравственность.

Балоун, по его собственным словам, безнравственно вёл себя с крестьянками. Безнравственность состояла в том, что он подмешивал им плохую муку. И это в простоте душевной Балоун называл безнравственностью. Больше всех был разочарован телеграфист

Ходоунский, который всё выпытывал, действительно ли у него ничего не было с крестьянками в мукомольне на мешках муки. Балоун, отмахиваясь, ответил: «На это у меня ума не хватало».

Солдатам объявили, что обед будет за Палотой на Лупковском перевале, а потому старший писарь батальона вместе с поварами всех рот и подпоручиком Цайтгамлем, который ведал батальонным хозяйством, отправились в селение Медзилаборец. В качестве патруля к ним были прикомандированы четыре солдата.

Не прошло и получаса, как они вернулись с тремя поросятами, связанными за задние ноги, с ревущей семьёй угроруса — у него были реквизированы поросята — и с толстым врачом из барака Красного Креста. Врач что-то горячо объяснял пожимавшему плечами подпоручику Цайтгамлю.

Спор достиг кульминационного пункта у штабного вагона, когда военный врач стал доказывать капитану Сагнеру, что поросята эти предназначены для госпиталя Красного Креста. Крестьянин же знать ничего не хотел и требовал, чтобы поросят ему вернули, так как это последнее его достояние и он никак не может отдать их за ту цену, которую ему выплатили.

При этом он совал капитану Сагнеру полученные им за поросят деньги; жена его, ухватив капитана за руку, целовала её с раболепием, извечно свойственным этому краю.

Капитан Сагнер, напуганный всей этой историей, с трудом оттолкнул старую крестьянку. Но это не помогло. Её заменили молодые силы, которые, в свою очередь, принялись сосать его руку.

Подпоручик Цайтгамль заявил тоном коммерсанта:

— У этого мужика осталось ещё двенадцать поросят, а выплачено ему было совершенно правильно, согласно последнему дивизионному приказу номер двенадцать тысяч четыреста двадцать, часть хозяйственная. Согласно параграфу шестнадцатому этого приказа, свиней следует покупать в местах, не затронутых войной, не дороже, чем две кроны шестнадцать геллеров за килограмм живого веса. В местах, войной затронутых, следует прибавлять на один килограмм живого веса тридцать шесть геллеров, что составит за один килограмм две кроны пятьдесят два геллера. Примечание: в случае, если будет установлено, что в местах, затронутых войной, хозяйства остались в целости с полным составом свиного поголовья, то свиньи могут быть отправлены для снабжения проходящих частей; выплачивать же за реквизированную свинину следует как в местах, войной не затронутых, с особой приплатой в размере

двенадцати геллеров на один килограмм живого веса. Если же ситуация не вполне ясна, то немедленно составить на месте комиссию из заинтересованного лица, командира проходящей воинской части и того офицера или старшего писаря (если дело идёт о небольшом подразделении), которому поручена хозяйственная часть.

Всё это подпоручик Цайтгамль прочёл по копии дивизионного приказа, которую всё время носил с собой и знал почти наизусть. В прифронтовой полосе оплата за один килограмм моркови повышается на пятнадцать целых три десятых геллера, а для Offiziersmenageküchеabteilling[277] в прифронтовой полосе за цветную капусту оплата повышается на одну крону семьдесят пять геллеров за один килограмм.

Те, кто составлял в Вене этот приказ, представляли себе прифронтовую полосу изобилующей морковью и цветной капустой.

Подпоручик Цайтгамль прочёл это взволнованному крестьянину, разумеется, по-немецки, и спросил его на том же языке, понял ли он, а когда тот в знак отрицания покачал головой, заорал:

— Значит, хочешь комиссию?

Тот понял слово «комиссия» и утвердительно закивал головой. Между тем поросят уже повлекли на казнь к полевым кухням. Крестьянина обступили прикомандированные для реквизиции солдаты со штыками, и комиссия отправилась на его хутор, чтобы на месте определить, должен ли он получить по две кроны пятьдесят два геллера за один килограмм или только по две кроны двадцать восемь геллеров.

Они ещё не вышли на дорогу, ведущую к селу, как от полевых кухонь донёсся троекратный предсмертный визг поросят. Крестьянин понял, что всему конец, и отчаянно закричал:

— Давайте мне за каждую свинью по два золотых!

Четыре солдата окружили его ещё плотнее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнеру и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посередь пыльной дороги. Мать с двумя дочерьми обнимала колени обоих, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул на них и не заорал на украинском диалекте угрорусов, чтобы они встали. Пусть, мол, солдаты подавятся поросятами…

Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался и стал грозить кулаками; тогда один из солдат так хватил его прикладом, что у него в глазах потемнело, и вся семья во главе с отцом семейства, перекрестившись, пустилась наутёк.

Десять минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем

батальона Матушичем уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги. Уплетая за обе щеки, старший писарь время от времени язвительно обращался к младшим писарям со словами:

— Небось и вы не прочь этого пожрать? Не так ли? Нет, ребята, эти только для унтер-офицеров. Поварам — печёнка и почки, мозг и голова — господам фельдфебелям, а младшим писарям — только двойная солдатская порция мяса.

Капитан Сагнер уже отдал приказ относительно офицерской кухни: «Свиное жаркое с тмином. Выбрать самое лучшее мясо, но не слишком жирное!» Вот почему, когда на Лупковском перевале солдатам раздавали обед, каждый из них обнаружил в своём котелке по два маленьких кусочка мяса, а тот, кто родился под несчастливой звездой, нашёл только кусочек шкурки.

В кухне царило обычное армейское кумовство: благами пользовались все, кто был близок к господствующей клике. Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами. У всех ординарцев животы были словно барабаны. Творились вопиющие безобразия.

Вольноопределяющийся Марек из чувства справедливости произвёл возле кухни скандал. Когда кашевар положил ему в котелок с супом солидный кусок варёного филе, сказав при этом: «Это нашему историографу», — Марек заявил, что на войне все солдаты равны, и это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать кашеваров.

Вольноопределяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что отказывается от всяких привилегий. В кухне, однако, ничего не поняли и сочли, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому кашевар шепнул ему, чтобы он пришёл после раздачи обеда, — тогда он, мол, отрежет ему часть от окорока.

У писарей тоже лоснились морды; санитары, казалось, так и пышут благополучием. Рядом со всей этой благодатью валялись ещё не прибранные остатки недавних боёв. Повсюду были разбросаны патронные обоймы, пустые жестяные консервные банки, клочья русских, австрийских и немецких мундиров, части разбитых повозок, длинные окровавленные ленты марлевых бинтов и вата. В старой сосне у вокзала, от которого осталась только груда развалин, торчала неразорвавшаяся граната. Везде валялись осколки снарядов, по-видимому, недалеко находились солдатские могилы, откуда страшно несло трупным запахом.

Так как здесь проходили и располагались лагерем войска, то повсюду виднелись кучки человеческого кала международного происхождения — представителей всех народов Австрии, Германии и России. Испражнения

солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга безо всяких споров и раздоров.

Полуразрушенную водонапорную башню, деревянную будку железнодорожного сторожа и вообще всё, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелестей войны, неподалёку, из-за холма, поднимались столбы дыма, будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это жгли холерные и дизентерийные бараки — на радость господам, принимавшим участие в устройстве этого госпиталя под протекторатом эрцгерцогини Марии. Господа эти крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных бараков.

Ныне одна группа бараков расплачивалась за все остальные, и в смраде горящих соломенных тюфяков к небесам возносились все хищения, совершённые под покровительством эрцгерцогини Марии.

На скале за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим бранденбуржцам с надписью: «Den Helden von Lupkapass»,[278] с большим германским орлом, вылитым из бронзы, причём в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема отлита из русских пушек, отбитых при освобождении Карпат германскими полками.

В этой странной и до тех пор непривычной атмосфере батальон отдыхал после обеда в вагонах, а капитан Сагнер вместе со своим адъютантом всё ещё не могли с помощью шифрованных телеграмм договориться с базой бригады о дальнейшем маршруте батальона.

Сообщения были невероятно путанны. Из них можно было заключить единственно, что им вовсе не следовало ехать на Лупковский перевал, а, добравшись до Нового Места у Шятора, двигаться в совершенно другом направлении, так как в телеграммах шла речь о городах Чоп — Унгвар — Киш — Березна — Ужок.

Через десять минут выяснилось, что сидевший в бригаде штабной офицер — форменный балбес: в батальон пришла шифрованная телеграмма, где он спрашивал, говорит ли с бригадой восьмой маршевый батальон Семьдесят пятого полка (военный шифр Сз). Бригадный балбес удивился, получив ответ, что на проводе седьмой маршевый батальон Девяносто первого полка, и спросил, кто дал им приказ ехать на Мукачево по военной железной дороге на Стрый, тогда как их маршрут через Лупковский перевал на Санок в Галицию.

Балбес был потрясён тем, что ему телеграфируют с Лупковского перевала, и послал шифрованную телеграмму: «Маршрут остаётся без изменения: Лупковский перевал — Санок, где ждать дальнейших

распоряжений».

По возвращении капитана Сагнера в штабном вагоне начинали говорить о явной бестолковщине, делая намёки на то что, не будь германцев, восточная военная группа совершенно потеряла бы голову.

Подпоручик Дуб попытался выступить в защиту бестолковщины австрийского штаба и понёс околесицу о том, что здешний край был опустошён недавними боями и что железнодорожный путь ещё не мог быть приведён в надлежащий порядок.

Все офицеры посмотрели на него с состраданием, словно желая сказать: «Этот господин не виноват. Уж таким идиотом уродился». Не встречая возражений, подпоручик Дуб распространялся о великолепном впечатлении, которое производит на него этот разорённый край, свидетельствующий о том, как умеет бить железный кулак нашей армии. Ему опять никто не ответил. И он повторил: «Да, безусловно, разумеется, русские отступали здесь в страшной панике».

Капитан Сагнер про себя решил, что, когда они будут в окопах и положение станет особенно опасным, он при первом же удобном случае пошлёт подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогносцировки неприятельских позиций. А поручику Лукашу, высунувшемуся так же, как и он, из окна вагона, шепнул сгоряча:

— Послал чёрт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей.

Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам всё, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австро-германского наступления на Сане.

Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями.

Особенное отвращение вызывали его изречения, вроде «Потом мы двинулись на Буковско, чтобы обеспечить за собой линию Буковско — Дынув, поддерживая связь с бардеевской группой у Большой Полянки, где мы разбили самарскую дивизию неприятеля».

Поручик Лукаш не выдержал и вставил, прервав подпоручика Дуба «О чём ты, по-видимому, ещё до войны говорил со своим окружным начальником?»

Подпоручик Дуб враждебно взглянул на поручика Лукаша и вышел из вагона.

Воинский поезд стоял на насыпи, а внизу, в нескольких метрах под откосом, лежали разные предметы, брошенные русскими солдатами,

которые, по-видимому, отступали по этому рву. Тут валялись заржавленные чайники, горшки, патронташи. Здесь же среди разнообразнейших предметов виднелись мотки колючей проволоки и снова окровавленные полосы марлевых бинтов и вата. В одном месте надо рвом стояла группа солдат, и подпоручик Дуб тотчас заметил, что находящийся среди них Швейк что-то рассказывает.

Он отправился туда.

— Что случилось? — раздался строгий окрик подпоручика Дуба, который вырос прямо перед Швейком.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил за всех Швейк, — смотрим.

— На что смотрите? — крикнул подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы смотрим вниз, в ров.

— А кто вам разрешил это?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, такова воля нашего господина полковника Шрёдера из Брука. Когда мы отправлялись на фронт, он в своей прощальной речи велел нам, когда будем проходить по местам боёв, сугубое внимание обращать на то, как развивалось сражение, чтобы извлечь пользу для себя. И вот здесь, господин лейтенант, в этом рву, мы видим, что солдату приходится бросать при отступлении. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, мы здесь поняли, как глупо, когда солдат тащит с собой всякие лишние вещи. Этим он понапрасну отягощает себя. От этого понапрасну утомляется. Когда солдат тащит на себе такую тяжесть, ему трудно воевать.

У подпоручика Дуба мелькнула надежда, что наконец-то он сможет предать Швейка военно-полевому суду за предательскую антимилитаристскую пропаганду, а потому он быстро спросил:

— Вы, значит, думаете, что солдат должен бросать патроны или штыки, чтоб они валялись где-нибудь в овраге, как вон там?

— Никак нет, ни в коем случае, господин лейтенант, — приятно улыбаясь, ответил Швейк, — извольте посмотреть вон туда, вниз, на этот брошенный железный ночной горшок.

И действительно, под насыпью среди черепков вызывающе торчал ночной горшок с отбитой эмалью и изъеденный ржавчиной. Все эти предметы, негодные для домашнего употребления, начальник вокзала складывал сюда как материал для дискуссий археологов будущих столетий, которые, открыв это становище, совершенно обалдеют, а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков.

Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего не

оставалось, как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, который юность свою провёл под кроватью.

На всех это произвело колоссальное впечатление. И так как подпоручик Дуб молчал, заговорил Швейк:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла презабавная история на курорте Подебрады… Об этом рассказывали у нас в трактире на Виноградах. В то время в Подебрадах начали издавать журнальчик «Независимость», во главе которого стал подебрадский аптекарь, а редактором поставили Владислава Гаека из Домажлиц.

Аптекарь был большой чудак. Он собирал старые горшки и прочую дребедень, набрал прямо-таки целый музей. А этот самый домажлицкий Гаек позвал в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну нализались они что надо, так как уже целую неделю не виделись. И тот ему обещал за угощение написать фельетон в эту самую «Независимость», в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал фельетон про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы нашёл старый железный ночной горшок и, приняв его за шлем святого Вацлава, поднял такой шум, что посмотреть на этот шлем прибыл с процессией и с хоругвями епископ Бриних из Градца. Подебрадский аптекарь решил, что это намёк, и подал на Гаека в суд.

Подпоручик с большим удовольствием столкнул бы Швейка вниз, но сдержался и заорал на всех:

— Говорю вам, не глазеть тут попусту! Вы все меня ещё не знаете, но вы меня узнаете! Вы останетесь здесь, Швейк, — приказал он грозно, когда Швейк вместе с остальными направился к вагону.

Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое сказать пострашнее, но Швейк опередил его:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, хорошо, если удержится такая погода. Днём не слишком жарко, а ночи очень приятные. Самое подходящее время для военных действий.



Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил:

— Знаешь, что это такое?

— Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь такой же.

— Так запомни, мерзавец, — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. — Знай, что дело кончится очень плохо, если ты и впредь будешь вести свою пропаганду.

Уходя, подпоручик Дуб довольно повторял про себя: «Это я ему хорошо сказал: «про-па-ган-ду, да, про-па-ган-ду!..»

Прежде чем влезть в вагон, Швейк прошёлся немного, ворча себе под нос:

— Куда же мне его зачислить? — И чем дальше, тем отчётливее в сознании Швейка возникало прозвище «полупердун».

В военном лексиконе слово «пердун» издавна пользовалось особой любовью. Это почётное наименование относилось главным образом к полковникам или пожилым капитанам и майорам. «Пердун» было следующей ступенью прозвища «дрянной старикашка»… Без этого эпитета слово «старикашка» было ласкательным обозначением старого полковника или майора, который часто орал, но любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались сверх положенного времени. «Старикашка» заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у «старикашки» непременно должен быть какой-нибудь конёк. Как сядет на него, так и поехал! За это его и прозывали «старикашкой».

Но если «старикашка» понапрасну придирался к солдатам и унтерам, выдумывал ночные учения и тому подобные штуки, то он становился из просто «старикашки» «паршивым старикашкой» или «дрянным старикашкой».

Высшая степень непорядочности, придирчивости и глупости обозначалась словом «пердун». Это слово заключало всё. Но между «штатским пердуном» и «военным пердуном» была большая разница.

Первый, штатский, тоже является начальством, в учреждениях так его называют обычно курьеры и чиновники. Это филистер-бюрократ, который распекает, например, за то, что черновик недостаточно высушен промокательной бумагой и т. п. Это исключительный идиот и скотина, осёл, который строит из себя умного, делает вид, что всё понимает, всё умеет объяснить, и к тому же на всех обижается.

Кто был на военной службе, понимает, конечно, разницу между этим типом и «пердуном» в военном мундире. Здесь это слово обозначало «старикашку», который был настоящим «паршивым старикашкой», всегда лез на рожон и тем не менее останавливался перед каждым препятствием. Солдат он не любил, безуспешно воевал с ними, не снискал у них того авторитета, которым пользовался просто «старикашка» и отчасти «паршивый старикашка».

В некоторых гарнизонах, как, например, в Тренто, вместо «пердуна» говорили «наш старый нужник». Во всех этих случаях дело шло о человеке пожилом, и если Швейк мысленно назвал подпоручика Дуба «полупердуном», то поступил вполне логично, так как и по возрасту, и по чину, и вообще по всему прочему подпоручику Дубу до «пердуна» не хватало ещё пятидесяти процентов.

Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика Кунерта. Щека у Кунерта распухла, он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух: у него, мол, имеются определённые доказательства, что Кунерт поддерживает связь со Швейком.

— В таком случае, — рассудил Швейк, — идём подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определённых случаях. Твой хозяин переступил все границы, как говаривал старый Евгений Савойский: «От сих до сих». Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдёшь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карпинских казармах был у нас лейтенант по фамилии Гауснер. У него тоже был денщик, которого он бил по морде и

награждал пинками. Как-то раз он так набил морду этому денщику, что тот совершенно обалдел и пошёл с рапортом, а при рапорте всё перепутал и сказал, что ему надавали пинков. Ну, лейтенант доказал, что солдат врёт: в тот день он никаких пинков ему не давал, бил только по морде. Конечно, разлюбезного денщика за ложное донесение посадили на три недели. Однако это дела не меняет, — продолжал Швейк. — Ведь это как раз то самое, что любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что всё равно, кого вскрыть в анатомическом театре, человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара пощёчин на военной службе много значат.

Кунерт совершенно обалдел и поплёлся за Швейком к штабному вагону.

Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал:

— Что вам здесь нужно, негодяи?

— Держись с достоинством, — советовал Швейк Кунерту, вталкивая его в вагон.

В коридор вагона вошёл поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер. Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлён, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие и не имело знакомого всем милого выражения. Скорее наоборот, на нём было написано, что произошли новые неприятные события.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — дело идёт о рапорте.

— Только, пожалуйста, не валяй дурака, Швейк! Мне это уже надоело.

— С вашего разрешения, я ординарец вашей маршевой роты, а вы, с вашего разрешения, изволите быть командиром одиннадцатой роты. Я знаю, это выглядит очень странно, но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинён вам.

— Вы, Швейк, окончательно спятили! — прервал его поручик Лукаш. — Вы пьяны и лучше всего сделаете, если уйдёте отсюда. Понимаешь, дурак, скотина?!

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, подталкивая вперёд Кунерта, — это похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решётку, чтоб никого не переехало трамваем. В жертву принёс себя сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение.

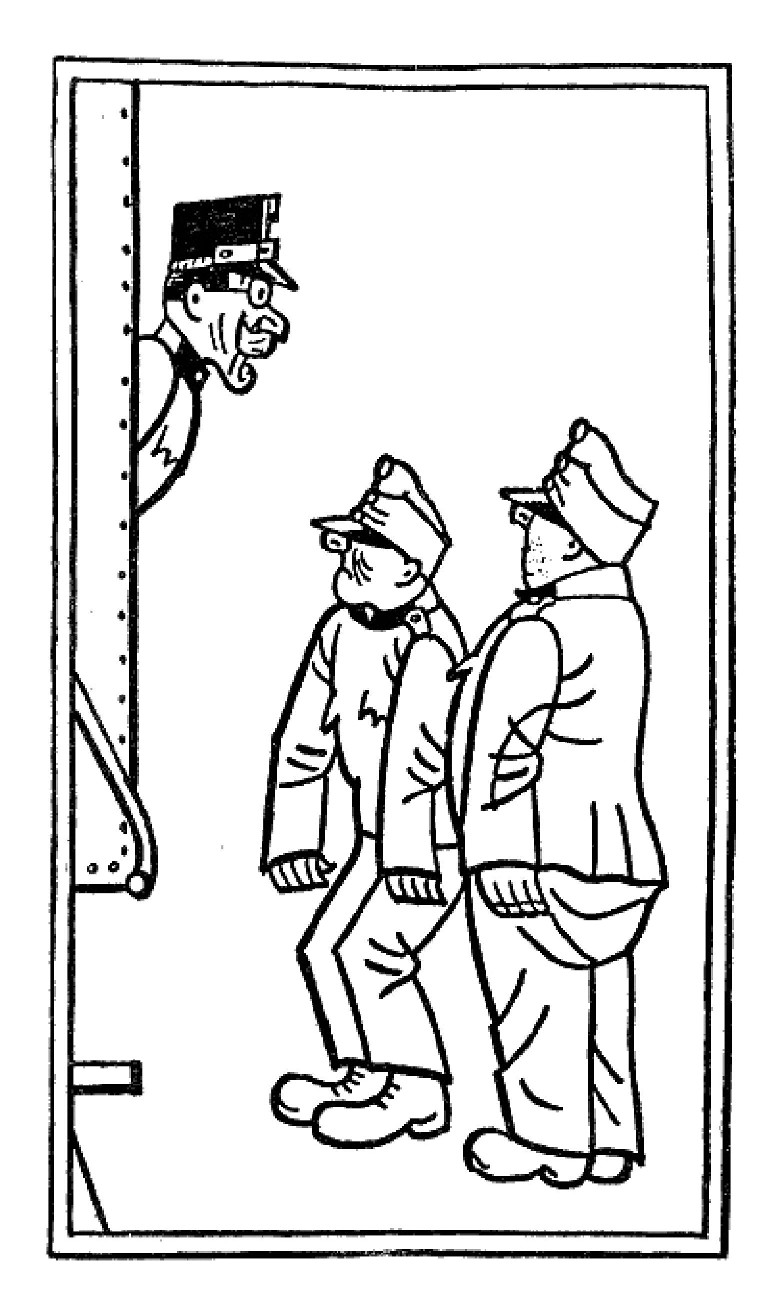
Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо поручика Лукаша выражало полнейшее отчаяние.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, обо всём следует

рапортовать, — неумолимо продолжал Швейк. — Ещё в Бруке вы говорили мне, господин обер-лейтенант, что уж если я стал ординарцем роты, то у меня есть и другие обязанности, кроме всяких приказов. Я должен быть информирован обо всём, что происходит в роте. На основании этого распоряжения я позволю себе доложить вам, господин обер-лейтенант, что господин лейтенант Дуб ни с того ни с сего надавал пощёчин своему денщику. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я об этом и говорить бы не стал, но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчинённым, я решил, что мне следует рапортовать.

— Странная история, — задумался капитан Сагнер. — Почему вы всё время, Швейк, подталкиваете к нам Кунерта?

— Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всём следует рапортовать. Он глуп, ему господин лейтенант Дуб набил морду, а ему совестно одному идти с рапортом. Господин капитан, извольте только взглянуть, как у него трясутся колени, он еле жив, оттого что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда не решился бы пойти с рапортом. Вроде того Куделя из Бытоухова, который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до корнета, а потом на каком-то острове в Тихом океане был объявлен дезертиром. Потом он там женился и беседовал как-то с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземца. Вообще очень печально, когда из-за каких-то идиотских пощёчин приходится идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдёт. Он получил этих оплеух столько, что теперь даже не знает, о которой оплеухе идёт речь. Он сам никогда бы не пошёл сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он и впредь, позволит себя избивать сколько влезет. Осмелюсь доложить, господин капитан, посмотрите на него: он со страху обделался. С другой же стороны, он должен был тотчас же пожаловаться, потому что получил несколько пощёчин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть «скромной фиалкой». Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба.



Подталкивая Кунерта вперёд, Швейк сказал ему:

— Да не трясись же ты как осиновый лист!

Капитан Сагнер спросил Кунерта, как было дело. Кунерт, дрожа всем телом, заявил, что господин капитан могут обо всём расспросить самого господина лейтенанта. Вообще господин лейтенант Дуб по морде его не бил.

Иуда Кунерт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк всё выдумал.

Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб, который вдруг появился и закричал на Кунерта:

— Хочешь получить новые оплеухи?

Всё стало ясно, и капитан Сагнер прямо заявил подпоручику Дубу:

— С сегодняшнего дня Кунерт прикомандировывается к батальонной кухне, что же касается нового денщика, обратитесь к старшему писарю Ванеку.

Подпоручик Дуб взял под козырёк и, уходя, бросил Швейку:

— Бьюсь об заклад, вам не миновать петли!

Когда Дуб ушёл, Швейк растроганно и по-дружески обратился к поручику Лукашу:

— В Мниховом Градиште был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ: «Под виселицей встретимся».

— Ну и идиот же вы, Швейк! — с сердцем воскликнул поручик Лукаш. — Но не вздумайте, по своему обыкновению, ответить: «Так точно — я идиот».

— Frappant![279] — воскликнул капитан Сагнер, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно; несчастье уже совершилось: под окном стоял подпоручик Дуб.

Подпоручик Дуб выразил своё сожаление по поводу того, что капитан Сагнер ушёл, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте.

— Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление, — кричал подпоручик Дуб в окно, — мы должны отдать себе отчёт в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой.

— Я с тобой об этом не спорю, — сухо ответил капитан Сагнер и отошёл от окна.

Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Саноку, капитан Сагнер растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления.

В вагоне, где находился Швейк, недоставало Балоуна. Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котёл, в котором варили гуляш. В момент отправления Балоун находился на платформе с полевыми кухнями и, когда поезд дёрнуло, очутился в очень неприятном положении, влетев головой в котёл. Из котла торчали только ноги. Вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье, вроде того, какое издаёт ёж, охотясь за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Балоуна:

— Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда ещё кусок хлеба. Здесь много соуса.

Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда одиннадцатая рота приехала с котлом, вычищенным до блеска.

— Да вознаградит вас за это господь бог, товарищи, — сердечно благодарил Балоун. — С тех пор как я на военной службе, мне впервой посчастливилось.

И он был прав. На Лупковском перевале Балоун получил две порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Балоун принёс из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Балоун был счастлив вполне. Он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то тёплым и родным.

Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в Саноке им сварят ужин и ещё один обед в счёт тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Балоун только одобрительно кивал головою и шептал: «Вот увидите, товарищи, господь бог нас не оставит».

Все откровенно расхохотались, а кашевар, сидя на полевой кухне, запел:

Жупайдия, жупайда,
Бог не выдаст никогда,
Коли нас посадит в лужу,
Сам же вытащит наружу,
Коли в лес нас заведёт,
Сам дорогу нам найдёт.
Жупайдия, жупайда,
Бог не выдаст никогда.

За станцией Шавне, в долине, опять начали попадаться военные кладбища. С поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесло голову при обстреле железнодорожного пути.

Поезд набирал скорость, летя по лощине к Саноку. Всё чаще попадались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта.

Около Кулашны, внизу, в реке лежал разбитый поезд Красного Креста, рухнувший с железнодорожной насыпи.

Балоун вылупил глаза, его особенно поразили раскиданные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и

торчала, словно двадцативосьмисантиметровое орудие.



Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрайда:

— Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?

— Не полагается, но допускается, — ответил Швейк. — Попадание было хорошее, ну, а потом каждый может оправдаться, что случилось это ночью, красного креста не заметили. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Главное, попытаться сделать то, чего делать нельзя. Во время императорских манёвров под Писеком пришёл приказ, что в походе запрещается связывать солдат «козлом». Но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный «козлом» солдат не может маршировать. Так он, в сущности, этого приказа не обходил, а просто-напросто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот ещё случай, который произошёл на нашей улице лет пять-шесть назад. В одном доме, во втором этаже, жил пан Карлик, а этажом выше — очень порядочный человек, студент консерватории Микеш. Этот Микеш был страшный бабник, начал он, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская да где-то в Моравии переплётная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошёл к нему на квартиру и сказал: «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий! Я не выдам её за вас». — «Хорошо, — ответил пан Микеш, — что же делать, нельзя так нельзя! Не пропадать же мне совсем!» Через два месяца пан

Карлик снова пришёл к студенту да ещё привёл свою жену, и оба они в один голос воскликнули: «Мерзавец! Вы обесчестили нашу дочь!» — «Совершенно верно, — подтвердил он. — Я, милостивая государыня, попортил девчонку!» Пан Карлик стал орать на него, хоть это было совсем ни к чему. Он, мол, говорил, что не выдаст дочь за босяка. А тот ему в ответ совершенно резонно заявил, что он и сам не женится на такой: тогда же не было речи о том, что он может с ней сделать. Об этом они никаких разговоров не вели, а он своё слово сдержит, пусть не беспокоятся. Жениться на ней он не хочет; человек он с характером, не ветрогон какой: что сказал, то свято. А если его будут преследовать, — ну что же, совесть у него чиста. Покойная мать на смертном одре взяла с него клятву, что он никогда в жизни лгать не будет. Он ей это обещал и дал на то руку, а такая клятва нерушима. В его семье вообще никто не лгал, и в школе он тоже всегда за поведение имел «отлично». Вот видите, кое-что допускается, чего не полагается, могут быть пути различны, но к единой устремимся цели!

— Дорогие друзья, — воскликнул вольноопределяющийся, усердно делавший какие-то заметки, — нет худа без добра! Этот взорванный, полусожжённый и сброшенный с насыпи поезд Красного Креста в будущем обогатит славную историю нашего батальона новым геройским подвигом. Представим себе, что этак около шестнадцатого сентября, как я уже наметил, от каждой роты нашего батальона несколько простых солдат под командой капрала вызовутся взорвать вражеский бронепоезд, который обстреливает нас и препятствует переправе через реку. Переодевшись крестьянами, они доблестно выполнят своё задание. Что я вижу! — удивился вольноопределяющийся, заглянув в свою тетрадь. — Как попал сюда наш пан Ванек? Послушайте, господин старший писарь, — обратился он к Ванеку, — какая великолепная глава в истории батальона посвящена вам! Вы как будто уже упоминались где-то, но это, безусловно, лучше и ярче.

Вольноопределяющийся прочёл патетическим тоном:

— «*Геройская смерть старшего писаря Ванека.* На отважный подвиг — подрыв неприятельского бронепоезда — среди других вызвался и старший писарь Ванек. Для этого он, как и все остальные, переоделся в крестьянскую одежду. Произведённым взрывом он был оглушён, а когда пришёл в себя, то увидел, что окружён врагами, которые немедленно доставили его в штаб своей дивизии, где он, глядя в лицо смерти, отказался дать какие-либо показания о расположении и силах нашего войска. Ввиду того что он был найден переодетым, его приговорили, как шпиона, к повешению, кое наказание, принимая во внимание его высокий чин, было

заменено расстрелом.

Приговор был немедленно приведён в исполнение у кладбищенской стены. Доблестный старший писарь Ванек попросил, чтобы ему не завязывали глаз. На вопрос, каково его последнее желание, он ответил: «Передайте через парламентёра моему батальону мой последний привет. Передайте, что я умираю, твёрдо веря, что наш батальон продолжит свой победный путь. Передайте ещё господину капитану Сагнеру, что, согласно последнему приказу по бригаде, ежедневная порция консервов увеличивается на две с половиной банки».

Так умер наш старший писарь Ванек, вызвав своей последней фразой панический страх у неприятеля, полагавшего, что, препятствуя нашей переправе через реку, он отрежет нас от базы снабжения и тем вызовет голод, а вместе с ним деморализацию в наших рядах. О спокойствии, с которым Ванек глядел в глаза смерти, свидетельствует тот факт, что перед казнью он играл с неприятельскими штабными офицерами в карты: «Мой выигрыш отдайте русскому Красному Кресту», — сказал он, глядя в упор на наставленные дула ружей. Это великодушие и благородство до слёз потрясли военных чинов, присутствовавших на казни».

— Простите, пан Ванек, — продолжал вольноопределяющийся, — что я позволил себе распорядиться вашим выигрышем. Сначала я думал передать его австрийскому Красному Кресту, но в конечном счёте, с точки зрения гуманности, это одно и то же, лишь бы передать деньги благотворительному учреждению.

— Наш покойник, — сказал Швейк, — мог бы передать этот выигрыш «суповому учреждению» города Праги, но так, пожалуй, лучше, а то, чего доброго, городской голова на эти деньги купит себе на завтрак ливерной колбасы.

— Всё равно крадут всюду, — сказал телефонист Ходоунский.

— Больше всего крадут в Красном Кресте, — с озлоблением сказал повар Юрайда. — Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестёр милосердия. Так он мне рассказывал, что заведующая лазаретом и старшие сёстры посылали домой целые ящики малаги и шоколаду. Виной всему случай, то есть предопределение. Каждый человек в течение своей бесконечной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в определённые периоды своей деятельности должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период…

Повар-оккультист Юрайда вытащил из своего мешка бутылку коньяка.

— Вы видите здесь, — сказал он, откупоривая бутылку, — неопровержимое доказательство моего утверждения. Перед отъездом я взял

эту бутылку из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки, выдан на сахарную глазурь для линцских тортов. Но ему было предопределено судьбой, чтобы я его украл, равно как мне было предопределено стать вором.

— Было бы нескверно, — отозвался Швейк, — если бы нам было предопределено стать вашими соучастниками. По крайней мере, у меня такое предчувствие.

И предопределение судьбы исполнилось. Несмотря на протесты старшего писаря Ванека, бутылка пошла вкруговую. Ванек утверждал, что коньяк следует пить из котелка, по справедливости разделив его, ибо на одну эту бутылку приходится пять человек, то есть число нечётное, и легко может статься, что кто-нибудь выпьет на один глоток больше, чем остальные. Швейк поддержал его, заметив:

— Совершенно верно, и если пан Ванек хочет, чтобы было чётное число, пускай выйдет из компании, чтобы не давать повода ко всякого рода недоразумениям и спорам.

Тогда Ванек отказался от своего проекта и внёс другой, великодушный: пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему Юрайде выпить два раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ванек уже раз хлебнул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки.

В конечном счёте был принят проект вольноопределяющегося пить по алфавиту. Вольноопределяющийся обосновывал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой.

Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту Ходоунский, проводив грозным взглядом Ванека, который высчитал, что ему достанется на один глоток больше, так как по алфавиту он самый последний. Но это оказалось грубым математическим просчётом, так как всего вышел двадцать один глоток.

Потом стали играть в «простой цвик» из трёх карт. Выяснилось, что, взяв козыря, вольноопределяющийся всякий раз цитировал отдельные места из Священного писания. Так, забрав козырного валета, он возгласил:

— Господи, остави ми валета и сё лето дондеже окопаю и осыплю гноем, и аще убо сотворит плод…

Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную восьмёрку, он гласом велиим возопил:

— Или коя жена имущи десять драхм, аще погубит драхму едину, не возжигает ли светильника, и пометет храмину, и ищет прилежно, дондеже обрящет; и обретши созывает другини и соседы глаголюще: радуйтеся со мною, ибо взяла я восьмёрку и прикупила козырного короля и туза…

Давайте сюда карты, вы все сели.

Вольноопределяющемуся Мареку действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, так что его партнёры проигрывали один за другим, а он брал взятку за взяткой, взывая к поражённым:

— И настанет трус великий в градех, глад и мор по всей земли, и будут знамения велия на небе.

Наконец карты надоели, и они бросили играть, после того как Ходоунский просадил своё жалованье за полгода вперёд. Он был страшно удручён этим, а вольноопределяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалованья старший писарь Ванек должен выдать жалованье Ходоунского ему, Мареку.

— Не трусь, Ходоунский, — подбодрил несчастного Швейк. — Тебе ещё повезёт. Если тебя убьют при первой схватке, Марек утрёт себе морду твоей распиской. Подпиши!

Это замечание задело Ходоунского за живое, и он с уверенностью заявил:

— Я не могу быть убитым: я телефонист, а телефонисты всё время находятся в блиндаже, а провода натягивают или ищут повреждения после боя.

В ответ на это вольноопределяющийся возразил, что как раз наоборот — телефонисты подвергаются колоссальной опасности и что неприятельская артиллерия точит зуб главным образом против телефонистов. Ни один телефонист не застрахован в своём блиндаже от опасности. Заройся телефонист в землю хоть на десять метров, и там его найдёт неприятельская артиллерия. Телефонисты тают, как летний град под дождём. Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он покидал его, был объявлен двадцать восьмой набор на курсы телефонистов.

Ходоунскому стало очень жаль себя. Он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько тёплых слов в утешение:

— Здорово тебя объегорили!

Ходоунский приветливо отозвался:

— Цыц, тётенька!

— Посмотрим в заметках по истории батальона на букву «Х». Ходоунский… гм… Ходоунский… ага, здесь: «Телефонист Ходоунский засыпан при взрыве фугаса. Он телефонирует из своей могилы в штаб: «Умираю. Поздравляю наш батальон с победой!»

— Этого с тебя достаточно? — спросил Швейк. — А может, ты хочешь что-нибудь прибавить? Помнишь того телефониста на «Титанике»? Тот,

когда корабль уже шёл ко дну, ещё телефонировал вниз, в затопленную кухню: «Когда же будет обед?»

— Это мне нетрудно, — уверил вольноопределяющийся. — Если угодно, предсмертные слова Ходоунского можно дополнить. Под конец он прокричит у меня в телефон: «Передайте мой привет нашей железной бригаде!»

Глава IV
ШАГОМ МАРШ!



Оказалось, что в вагоне, где помещалась полевая кухня одиннадцатой маршевой роты и где, наевшись до отвала, с шумом пускал ветры Балоун, были правы, когда утверждали, что в Саноке батальон получит ужин и паёк хлеба за все голодные дни. Выяснилось также, что как раз в Саноке находится штаб «железной бригады», к которой, согласно своему метрическому свидетельству, принадлежал батальон Девяносто первого полка. Так как железнодорожное сообщение отсюда до Львова и севернее, до Великих Мостов, не было прервано, то оставалось загадкой, почему штаб восточного участка составил такую диспозицию, по которой «железная бригада» сосредоточивала маршевые батальоны в ста пятидесяти километрах от линии фронта, проходившей в то время от города Броды до реки Буг и вдоль неё на север к Сокалю.

Этот в высшей степени интересный стратегический вопрос был весьма просто разрешён, когда капитан Сагнер отправился в штаб бригады с докладом о прибытии маршевого батальона в Санок.

Дежурным был адъютант бригады капитан Тайрле.

— Меня очень удивляет, — сказал капитан Тайрле, — что вы не получили точных сведений. Маршрут вполне определённый. График своего продвижения вы должны были, понятно, сообщить заранее. Вопреки диспозиции главного штаба ваш батальон прибыл на два дня раньше.

Капитан Сагнер слегка покраснел, но не догадался повторить все те шифрованные телеграммы, которые он получал во время пути.

— Вы меня удивляете, — сказал капитан Тайрле.

— Насколько я знаю, — успел вставить капитан Сагнер, — все мы, офицеры, между собой на «ты».

— Идёт, — сказал капитан Тайрле. — Скажи, кадровый ты или штатский? Кадровый? Это совсем другое дело… Ведь на лбу у тебя не написано! Сколько здесь перебывало этих балбесов — лейтенантов запаса! Когда мы отступали от Лимановой и Красника, все эти «тоже лейтенанты» теряли голову, завидев казачий патруль. Мы в штабе не жалуем этих паразитов. Какой-нибудь идиот, выдержав «интеллигентку», в конце концов становится кадровым. А то ещё штатским сдаст офицерский экзамен, да так и останется в штатских дурак дураком; а случись война, из него выйдет не лейтенант, а засранец.

Капитан Тайрле сплюнул и дружески похлопал капитана Сагнера по плечу:

— Задержитесь тут денька на два. Я вам всё покажу. Потанцуем. Есть смазливые девочки, «Engeihuren».[280] Здесь сейчас дочь одного генерала которая раньше предавалась лесбийской любви. Мы все переоденемся в женские платья, и ты увидишь, какие номера она выкидывает. По виду тощая, стерва, никогда не подумаешь! Но своё дело знает, товарищ. Это, брат, такая сволочь! Ну да сам увидишь… Пардон, — смущённо извинился он, — пойду блевать, сегодня уже в третий раз.

Чтоб лишний раз доказать капитану Сагнеру, как весело им живётся, он, возвратившись, сообщил, что рвота — последствие вчерашней вечеринки, в которой приняли участие также и офицеры-сапёры.

С командиром сапёрного подразделения, тоже капитаном, Сагнер очень скоро познакомился. В канцелярию влетел дылда в офицерской форме, с тремя золотыми звёздочками, и, словно в тумане, не замечая присутствия незнакомого капитана, фамильярно обратился к Тайрле:

— Что поделываешь, поросёнок? Недурно ты вчера обработал нашу графиню! — Он уселся в кресло и, похлопывая себя стеком по голени, громко захохотал. — Ох, не могу, когда вспомню, как ты ей в колени наблевал.

— Да, — причмокнув от удовольствия, согласился Тайрле, — здорово весело было вчера.

Только теперь он догадался познакомить капитана Сагнера с новым офицером. Они вышли из канцелярии штаба бригады и направились в кафе, под которое спешно была переоборудована пивная.

Когда они проходили через канцелярию, капитан Тайрле взял у командира сапёрного подразделения стек и ударил им по длинному столу, вокруг которого по этой команде встали во фронт двенадцать военных писарей. Это были одетые в экстра-форму приверженцы спокойной, безопасной работы в тылу армии, с большими гладкими брюшками.

Желая показать себя перед Сагнером и вторым капитаном, капитан Тайрле обратился к этим двенадцати толстым апостолам «отлынивания от фронта» со словами:

— Не думайте, что я держу вас здесь на откорме, свиньи! Меньше жрать и пьянствовать — больше бегать! Теперь я вам покажу ещё один номер, — объявил Тайрле своим компаньонам. Он снова ударил стеком по столу и спросил у двенадцати: — Когда лопнете, поросята?

Все двенадцать в один голос ответили.

— Когда прикажете, господин капитан.

Смеясь над собственной глупостью и идиотизмом, капитан Тайрле вышел из канцелярии.

Когда они втроём расположились в кафе, Тайрле велел принести бутылку рябиновки и позвать незанятых барышень. Оказалось, что кафе не что иное, как публичный дом. Свободных барышень не оказалось, и это крайне разозлило капитана Тайрле. Он грубо обругал «мадам» в передней и закричал:

— Кто у мадемуазель Эллы?

Получив ответ, что она занята с каким-то подпоручиком, капитан стал ругаться ещё непристойнее.

Мадемуазель Элла была занята с подпоручиком Дубом. После того как маршевый батальон расквартировали в здании гимназии, подпоручик Дуб собрал всех солдат и в длинной речи предупредил их, что русские, отступая, повсюду открывали публичные дома и оставляли в них персонал, заражённый венерическими болезнями, чтобы нанести таким образом австрийской армии большой урон. Он предостерегал солдат от посещения подобных заведений. Он-де сам обойдёт эти дома, чтобы убедиться, не ослушался ли кто его приказа. Ввиду того что они во фронтовой полосе, всякий, застигнутый в таком доме, будет предан полевому суду.

Подпоручик Дуб лично пошёл убедиться, не нарушил ли кто-нибудь его приказа, и поэтому, вероятно, исходным пунктом своей ревизии избрал диван в комнатке Эллы на втором этаже так называемого «городского кафе» и очень мило развлекался на этом диване.

Между тем капитан Сагнер вернулся в свой батальон. Компания Тайрле распалась: капитана Тайрле вызвали в бригаду, так как бригадный

командир уже больше часа искал своего адъютанта.

Из дивизии пришли новые приказы, и необходимо было окончательно определить маршрут прибывшего Девяносто первого полка, так как, согласно новой диспозиции, по первоначальному маршруту теперь отправлялся маршевый батальон Сто второго полка.

Всё страшно перепуталось. Русские поспешно отступали из северо-восточной Галиции, и некоторые австрийские части здесь перемешались. Кое-где в расположение австрийских войск клином врезались части германской армии. Хаос увеличивали новые маршевые батальоны и другие воинские части, прибывавшие на фронт. То же самое происходило в прифронтовой полосе, например, здесь, в Саноке, куда внезапно нагрянул резерв германской ганноверской дивизии под командованием полковника с таким отвратительным взглядом, что бригадный командир пришёл в полное замешательство. Полковник резерва ганноверской дивизии предъявил диспозицию своего штаба, по которой его солдат следовало разместить в гимназии, где только что был расквартирован маршевый батальон Девяносто первого полка. Для размещения своего штаба он требовал очистить здание Краковского банка, в котором помещался штаб бригады.

Бригадный командир связался с дивизией, изложил точно ситуацию, а затем с дивизией говорил ганноверец с отвратительным взглядом. В результате этих разговоров бригада получила приказ: «Бригаде оставить город в шесть часов вечера и идти по направлению Турова-Волска — Лисковец — Старая Соль — Самбор, где ждать дальнейших распоряжений. Вместе с ней сняться маршевому батальону Девяносто первого полка, образующему прикрытие. Порядок выступления выработан бригадой по следующей схеме: авангард выступает в полшестого на Турову, между южным и северным фланговыми прикрытиями расстояние три с половиной километра. Прикрывающий арьергард выступает в четверть седьмого».

В гимназии началась суматоха. На совещании офицеров батальона отсутствовал только подпоручик Дуб, отыскать которого было поручено Швейку.

— Надеюсь, — сказал Швейку подпоручик Лукаш, — вы найдёте его без всяких затруднений, у вас ведь вечно друг с другом какие-то трения.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, прошу дать письменный приказ от роты именно потому, что у нас вечно друг с другом какие-то трения.

Пока поручик Лукаш писал на листке блокнота приказ подпоручику Дубу: немедленно явиться в гимназию на совещание, — Швейк уверял его:

— Так точно, господин обер-лейтенант, теперь вы, как всегда, можете быть спокойны. Я его найду. Так как солдатам запрещено ходить в бордели, то он безусловно в одном из них. Ему же надо быть уверенным, что никто из его взвода не хочет попасть под полевой суд, которым он обыкновенно угрожает. Он сам объявил солдатам, что обойдёт все бордели и что они узнают его с плохой стороны. Впрочем, я знаю, где он. Вот тут, как раз напротив, в этом кафе. Все его солдаты следили, куда он сперва пойдёт.

«Объединённое увеселительное заведение и городское кафе», о котором упомянул Швейк, было разделено на две части. Кто не желал идти через кафе, шёл чёрным ходом, где на солнце грелась старая дама, произносившая по-немецки, по-польски и по-венгерски приблизительно следующее приветствие: «Заходите, заходите, солдатик, у нас хорошенькие барышни!»

Когда солдатик входил, она отводила его в нечто похожее на приёмную и звала одну из барышень, которая тут же прибегала в одной рубашке; прежде всего барышня требовала денег; пока солдатик отмыкал штык, деньги тут же на месте забирала «мадам».

Офицерство проникало через кафе. Эта дорога была более трудной, так как вилась по коридору через задние комнаты, где жили барышни, предназначенные для офицерства. Здесь красоток наряжали в кружевные рубашечки, здесь пили вино и ликёры. Но в этих помещениях «мадам» ничего не допускала, — всё происходило наверху, в комнатках.

В таком раю, полном клопов, на диване, в одних кальсонах валялся подпоручик Дуб. Мадемуазель Элла рассказывала ему вымышленную, как это всегда бывает в таких случаях, трагедию своей жизни: отец её был фабрикантом, она — учительницей гимназии в Будапеште и вот из-за несчастной любви пошла по этой дорожке.

Совсем близко от подпоручика Дуба, на расстоянии вытянутой руки, на столике стояла бутылка рябиновки и рюмки. Так как бутылка была опорожнена только наполовину, а Элла и подпоручик Дуб уже и лыка не вязали, было ясно, что пить Дуб не умеет. Из его слов можно было понять, что он всё перепутал и принимает Эллу за своего денщика Кунерта; он так её и называл, угрожая, по привычке, воображаемому Кунерту: «Кунерт, Кунерт, бестия! Ты ещё узнаешь меня с плохой стороны!»



Швейк должен был подвергнуться той же процедуре, что и остальные солдаты, которые ходили через чёрный ход. Однако он галантно вырвался из рук полураздетой девицы, на крик которой прибежала «мадам» — полька; она нахально соврала Швейку, что никакого подпоручика среди гостей нет.

— Не очень-то орите на меня, милостивая государыня, — вежливо попросил Швейк, сопровождая свои слова сладкой улыбкой, — не то получите в морду. Раз у нас на Платнержской улице одну «мадам» так избили, что она своих долго вспомнить не могла. Сын искал там своего отца, Вондрачека, торговца пневматическими шинами. Фамилия этой «мадам» — Кржованова. Когда её на станции Скорой помощи привели в

себя и спросили, как её фамилия, она сказала что-то на букву «х». А позвольте узнать, как ваша фамилия?

После этого Швейк отстранил «мадам» и с важным видом стал подниматься по деревянной лестнице вверх, на второй этаж, а почтенная матрона подняла страшный крик.

Внизу появился сам владелец публичного дома, обедневший польский шляхтич, он погнался по лестнице за Швейком и схватил его за рукав, крича при этом по-немецки, что солдатам наверх ходить воспрещается, что там для господ офицеров, что для солдат внизу.

Швейк обратил его внимание на то, что пришёл сюда в интересах целой армии, что ищет одного господина подпоручика, без которого армия не может отправиться на поле сражения. Когда приставания хозяина приобрели агрессивный характер, Швейк спустил его с лестницы и принялся осматривать верхнее помещение. Все комнатки были пусты, и лишь в самом конце галереи комнатка была занята. Когда Швейк постучался и, взявшись за ручку, приоткрыл дверь, писклявый голос Эллы пронзительно взвизгнул: «Besetzt!»[281] — а бас подпоручика Дуба, воображавшего, должно быть, что он находится ещё в своей комнате, в лагере, разрешил: «Herein!»[282]

Швейк вошёл, подошёл к дивану и, подавая подпоручику Дубу листок из блокнота, отрапортовал, косясь на разбросанное в углу постели обмундирование:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что, согласно приказу, который я вам здесь вручаю, вы должны немедленно одеться и прибыть в наши казармы в гимназию. Там идёт большой военный совет!

Подпоручик Дуб вытаращил на него посоловевшие глазки, но сообразил, однако, что он не настолько пьян, чтобы не узнать Швейка. Ему тут же пришла мысль, что Швейка послали к нему на рапорт, поэтому он сказал:

— Я сейчас с тобой расправлюсь, Швейк! Увидишь, что с тобой будет…

— Кунерт, — крикнул он Элле, — налей мне ещё одну!

Он выпил и, разорвав письменный приказ, расхохотался:

— Это извинение? У — нас — извинения — недействительны! Мы — на — военной службе, — а не — в школе. Так — значит — тебя — поймали в борделе? Подойди — ко мне, Швейк, — ближе — я тебе — дам в морду. В каком году Филипп Македонский победил римлян, не знаешь, жеребец этакий?!

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — неумолимо стоял на своём Швейк, — это строжайший приказ по бригаде: господам офицерам одеться и отправиться на батальонное совещание. Мы ведь выступаем, теперь уже будут решать вопрос, которая рота пойдёт в авангарде, которая — во фланговом прикрытии и которая — в арьергарде. Это будут решать теперь, и я думаю, что вам, господин лейтенант, тоже следует высказаться по этому вопросу.

Под влиянием столь дипломатической речи подпоручик Дуб отчасти пришёл в себя: для него в какой-то мере сделалось ясно, что он не в казармах, однако из предосторожности он всё же спросил:

— Где я?

— Вы изволите быть в бардачке, господин лейтенант. Пути господни неисповедимы!

Подпоручик Дуб тяжело вздохнул, слез с дивана и стал надевать своё обмундирование. Швейк ему помогал. Наконец Дуб оделся, и оба вышли. Но Швейк тут же вернулся и, не обращая внимания на Эллу, которая, превратно истолковав его возвращение, по причине несчастной любви опять полезла на кровать, быстро выпил остаток рябиновки и устремился за подпоручиком.

На улице подпоручику Дубу хмель снова ударил в голову, так как было очень душно. Он понёс какую-то бессвязную чушь. Рассказывал Швейку о том, что у него дома есть почтовая марка с Гельголанда и что они тотчас же по получении аттестата зрелости пошли играть в бильярд и не поздоровались с классным наставником. К каждой фразе он прибавлял:

— Надеюсь, вы меня правильно понимаете?!

— Вполне правильно, — твердил Швейк. — Вы говорите, как будейовицкий жестяник Покорный. Тот, когда его спрашивали: «Купались ли вы в этом году в Мальше?» — отвечал: «Не купался, но зато в этом году будет хороший урожай слив». А когда его спрашивали: «Вы уже ели в этом году грибы?» — он отвечал: «Не ел, но зато новый марокканский султан, говорят, весьма достойный человек».

Подпоручик Дуб остановился и высказал ещё одно своё убеждение:

— Марокканский султан — конченая фигура, — вытер пот со лба и, глядя помутневшими глазами на Швейка, проворчал: — Так сильно я даже зимою не потел. Согласны? Вы понимаете меня?

— Вполне, господин лейтенант. К нам в трактир «У чаши» ходил один старый господин, какой-то отставной советник из Краевого комитета, он утверждал то же самое. Он всегда говорил, что удивлён огромной разницей в температуре зимой и летом, что его поражает, как люди до сих пор этого

не замечали.

В воротах гимназии Швейк оставил подпоручика Дуба. Тот, шатаясь, поднялся вверх по лестнице в учительскую, где происходило военное совещание, и сейчас же доложил капитану Сагнеру, что он совершенно пьян.

Во время доклада он сидел с опущенной головой, а во время дебатов изредка поднимался и кричал:

— Ваше мнение справедливо, господа, но я совершенно пьян!

План диспозиции был разработан. Рота поручика Лукаша была назначена в авангард. Подпоручик Дуб внезапно вздрогнул, встал и сказал:

— Никогда не забуду, господа, нашего классного наставника. Многая ему лета! Многая, многая, многая лета!

Поручик Лукаш подумал, что лучше всего велеть денщику Кунерту уложить подпоручика Дуба рядом, в физическом кабинете, у дверей которого стоял караульный, дабы никто не мог украсть уже наполовину разворованной коллекции минералов. На это бригада постоянно обращала внимание проходящих частей.

К предосторожностям подобного рода начали прибегать с тех пор, как один из гонведских батальонов, размещённый в гимназии, попытался ограбить кабинет. Особенно понравилась гонведам коллекция минералов — пёстрых кристаллов и колчеданов, которые они рассовали по своим вещевым мешкам.

На военном кладбище на одном из белых крестов имеется надпись: «Ласло Гаргань». Там спит вечным сном гонвед, который при грабеже гимназических коллекций выпил весь денатурат из банки, где были заспиртованы разные пресмыкающиеся.

Мировая война истребляла человеческое племя даже настойкой на змеях.

Когда все разошлись, поручик Лукаш велел позвать денщика Кунерта, который увёл и уложил на кушетку подпоручика Дуба.

Подпоручик Дуб вдруг превратился в маленького ребёнка: взял Кунерта за руку, долго рассматривал его ладонь, уверяя, что угадает по ней фамилию его будущей супруги.

— Как ваша фамилия? Выньте из нагрудного кармана моего мундира записную книжку и карандаш. Значит, ваша фамилия Кунерт. Придите через четверть часа, и я вам оставлю здесь листок с фамилией вашей будущей супруги.



Сказав это, он захрапел, но вдруг проснулся и стал что-то чёркать в своей записной книжке, потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол. Приложив многозначительно пальцы к губам, он заплетающимся языком прошептал:

— Пока ещё нет, но через четверть часа… Лучше всего искать бумажку с завязанными глазами.

Кунерт был настолько глуп, что действительно пришёл через четверть часа и, развернув бумажку, прочитал каракули подпоручка Дуба: «Фамилия вашей будущей супруги: *пани Кунертова*».

Когда Кунерт показал бумажку Швейку, тот посоветовал ему хорошенько её беречь. Такие документы от начальства должно ценить; в мирное время на военной службе не было такого случая, чтобы офицер переписывался со своим денщиком и называл его при этом паном.

*

Когда все приготовления к выступлению согласно данным диспозиции были закончены, бригадный генерал, которого так великолепно выставил из помещения ганноверский полковник, собрал весь батальон, построил его, как обычно, в каре и произнёс речь. Генерал очень любил произносить речи. Он понёс околесицу, перескакивая с пятого на десятое, а исчерпав до конца источник своего красноречия, вспомнил о полевой почте.

— Солдаты! — гремел он, обращаясь к выстроившимся в каре

солдатам. — Мы приближаемся к неприятельскому фронту, от которого нас отделяют лишь несколько дневных переходов. Солдаты, до сих пор во время похода вы не имели возможности сообщить вашим близким, которых вы оставили, свои адреса, дабы ваши далёкие знали, куда вам писать, и дабы вам могли доставить радость письма ваших дорогих покинутых…

Он запутался, смешался, повторяя бесконечно: «Милые, далёкие — дорогие родственники — милые покинутые» и т. д., пока наконец не вырвался из этого заколдованного круга могучим восклицанием: «Для этого и существует на фронте полевая почта!»

Дальнейшая его речь сводилась приблизительно к тому, что все люди в серых шинелях должны идти на убой с величайшей радостью потому лишь, что на фронте существует полевая почта. И если граната оторвёт кому-нибудь обе ноги, то каждому будет приятно умирать, если он вспомнит, что номер его полевой почты семьдесят два и там, быть может, лежит письмо из дому от далёких милых с посылкой, содержащей кусок копчёного мяса, сало и домашние сухари.

После этой речи, когда бригадный оркестр сыграл гимн, была провозглашена слава императору, и отдельные группы людского скота, предназначенного на убой где-нибудь за Бугом, согласно отданным приказам, одна за другой отправились в поход.

Одиннадцатая рота выступила в половине шестого по направлению на Турову-Волску. Швейк тащился позади со штабом роты и санитарной частью, а поручик Лукаш объезжал всю колонну, то и дело возвращаясь в конец её, чтобы посмотреть, как на повозке, накрытой брезентом, санитары везут подпоручика Дуба к новым геройским подвигам в неведомом будущем, а также чтобы скоротать время беседой со Швейком, который безропотно нёс свой мешок и винтовку, рассказывая фельдфебелю Ванеку, как приятно было маршировать несколько лет тому назад на манёврах возле Бельке Мезиржичи.

— Местность была точь-в-точь такая же, только мы маршировали не с полной выкладкой, потому что тогда мы даже и не знали, что такое запасные консервы; если где-нибудь мы и получали консервы, то сжирали их на ближайшем же ночлеге и вместо них клали в мешки кирпичи. В одно село пришла инспекция и все кирпичи из мешков выбросила. Их оказалось так много, что кто-то там даже выстроил себе домик.

Через некоторое время Швейк энергично шагал рядом с лошадью поручика Лукаша и рассказывал о полевой почте:

— Прекрасная была речь! Конечно, каждому очень приятно на войне получить нежное письмецо из дому. Но я, когда несколько лет тому назад

служил в Будейовицах, за всё время военной службы получил в казармы одно-единственное письмо; оно у меня до сих пор хранится.

Швейк достал из грязной кожаной сумки засаленное письмо и принялся читать, стараясь попадать в ногу с лошадью поручика Лукаша, которая шла умеренной рысью:

— «Ты подлый хам, душегуб и подлец! Господин капрал Кржиш приехал в Прагу в отпуск, я с ним танцевала «У Коцанов», и он мне рассказал, что ты танцуешь в Будейовицах «У зелёной лягушки» с какой-то идиоткой-шлюхой и что ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами всё кончено. Твоя бывшая Божена.

Чтобы не забыть, этот капрал будет тебя тиранить, он на это мастак, и я его об этом просила. И ещё, чтобы не забыть, когда приедешь в отпуск, то меня уже не найдёшь среди живых».

— Разумеется, — продолжал Швейк, труся рядом с лошадью поручика лёгкой рысцой, — когда я приехал в отпуск, она была «среди живых», да ещё среди каких живых! Нашёл я её там же «У Коцанов». Около неё увивались два солдата из другого полка, и один такой шустрый, что при всех полез к ней за лифчик, как будто хотел, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, достать оттуда пыльцу невинности, как сказала бы Венцеслава Лужицкая. Нечто вроде этого отмочила одна молоденькая девица, так лет шестнадцати: на уроке танцев она, заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему её за плечо: «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности!» Ну ясно, все засмеялись, а мамаша, присматривавшая за ней, вывела дурёху в коридор в «Беседе» и надавала пинков. Я пришёл, господин обер-лейтенант, к тому заключению, что деревенские девки всё же откровеннее, чем изморённые городские барышни, которые ходят на уроки танцев. Когда мы несколько лет назад стояли лагерем в Мнишеке, я ходил танцевать в «Старый Книн» и ухаживал там за Карлой Вековой. Но только я ей не очень нравился. Однажды в воскресенье вечером пошёл я с ней к пруду, и сели мы там на плотину. А когда солнце стало заходить, я спросил, любит ли она меня. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, воздух был такой тёплый, все птицы пели, а она дьявольски захохотала и ответила: «Люблю, как соломину в заднице. Дурак ты!» И действительно, я был так здорово глуп, что, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, до этого, гуляя с ней по полям меж высоких хлебов, где не видела нас ни единая душа, мы даже ни разу не присели, я только показывал ей эту божью благодать и, как дурак, разъяснял деревенской девке, что рожь, что пшеница, а что овёс.

И как бы в подтверждение слов Швейка об овсе, где-то впереди послышались голоса солдат его роты, хором распевавших песню, с которой когда-то чешские полки шли к Сольферино проливать кровь за Австрию:

А как ноченька пришла,
Овёс вылез из мешка,
Жупайдия, жупайдас,
Нам любая девка даст!

Остальные подхватили:

Даст, даст, как не дать,
Да почему бы ей не дать?
Даст нам по два поцелуя,
Не кобенясь, не балуя.
Жупайдия, жупайдас,
Нам любая девка даст.
Даст, даст, как не дать,
Да почему бы ей не дать?

Потом немцы принялись петь ту же песню по-немецки.

Это была старая солдатская песня. Её, вероятно, на всех языках распевали солдаты ещё во время наполеоновских войн. Теперь она привольно разливалась по галицийской равнине, по пыльному шоссе к Турове-Волске, где по обе стороны шоссе до видневшихся далеко-далеко на юге зелёных холмов нива была истоптана и уничтожена копытами коней и подошвами тысяч и тысяч тяжёлых солдатских башмаков.

— Раз на манёврах около Писека мы этак же поле разделали, — проронил Швейк, оглядываясь кругом. — Был там с нами один эрцгерцог. Такой справедливый был барин, что когда из стратегических соображений проезжал со своим штабом по хлебам, то адъютант тут же на месте оценивал нанесённый ими ущерб. Один крестьянин, по фамилии Пиха, которого такой визит ничуть не обрадовал, не взял восемнадцать крон, которые казна ему давала за потоптанные пять мер поля, захотел, господин обер-лейтенант, судиться и получил за это восемнадцать месяцев.

Я полагаю, господин обер-лейтенант, что он должен был быть

счастлив, что член царствующего дома навестил его на его земле. Другой, более сознательный крестьянин, одел бы всех своих девиц в белые платья, как на крёстный ход, дал бы им в руки цветы, расставил бы по полю, велел бы каждой приветствовать высокопоставленного пана, как это делают в Индии, где подданные властелина бросаются под ноги слону, чтобы слон их растоптал.

— Что вы там болтаете, Швейк? — окликнул ординарца поручик Лукаш. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я имел в виду того слона, который нёс на своей спине властелина, про которого я читал.

— Если бы вы только всё правильно объясняли… — сказал поручик Лукаш и поскакал вперёд. Там колонна разорвалась. После отдыха в поезде непривычный поход в полном снаряжении утомил всех; в плечах ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода, как мог. Солдаты перекладывали винтовки с одного плеча на другое, большинство уже несло их не на ремне, а на плече, как грабли или вилы. Некоторые думали, что будет легче, если пойти по канаве или по меже, где почва казалась мягче, чем на пыльном шоссе.

Головы поникли, все страдали от жажды. Несмотря на то что солнце уже зашло, было душно и жарко, как в полдень, во фляжках не осталось ни капли влаги. Это был первый день похода, и непривычная обстановка, бывшая как бы прологом к ещё большим мытарствам, чем дальше, тем сильнее утомляла всех и расслабляла. Солдаты даже перестали петь и только высчитывали, сколько осталось до Туровы-Волски, где, как они предполагали, будет ночлег. Некоторые садились на краю канавы и, чтобы прикрыть недозволенный отдых, расшнуровывали башмаки. Сперва можно было подумать, что у солдата скверно навёрнуты портянки и он старается перемотать их так, чтобы в походе не натереть ног. Другие укорачивали или удлиняли ремни на винтовке; третьи развязывали мешок и перекладывали находящиеся в нём предметы, убеждая самих себя, что делают это для равномерного распределения груза, дабы лямки мешка не оттягивали то одно, то другое плечо. Когда же к ним медленно приближался поручик Лукаш, они вставали и докладывали, что у них где-то жмёт или что-нибудь в этом роде, если до того кадет или взводный, увидев издали кобылу поручика Лукаша, уже не погнал их вперёд.

Объезжая роту, поручик Лукаш мягко предлагал солдатам встать, так как до Туровы-Волски осталось километра три и там сделают привал.

Тем временем от постоянной тряски на санитарной двуколке подпоручик Дуб пришёл в себя, правда, не окончательно, но всё-таки мог уже подняться. Он высунулся из двуколки и стал что-то кричать людям из

штаба роты, которые налегке бодро двигались рядом с ним, так как все, начиная с Балоуна и кончая Ходоунским, сложили свои мешки на двуколку. Один лишь Швейк молодцевато шёл вперёд с мешком на спине, с винтовкой по-драгунски на груди. Он покуривал трубку и напевал:

Шли мы прямо в Яромерь,
Коль не хочешь, так не верь.
Подоспели к ужину…

Больше чем в пятистах шагах от подпоручика Дуба поднимались по дороге клубы пыли, из которых выплывали фигуры солдат. Подпоручик Дуб, к которому вернулся энтузиазм, высунулся из двуколки и принялся орать в дорожную пыль:

— Солдаты, ваша почётная задача трудна, вам предстоят тяжёлые походы, лишения, всевозможные мытарства. Но я твёрдо верю в вашу выносливость и в вашу силу воли.

— Молчал бы, дурень, что ли… — срифмовал Швейк.

Подпоручик Дуб продолжал:

— Для вас, солдаты, нет таких преград, которых вы не могли бы преодолеть. Ещё раз, солдаты, повторяю, не к лёгкой победе я веду вас! Это будет твёрдый орешек, но вы справитесь! История впишет ваши имена в свою золотую книгу!

— Смотри, поедешь в Ригу, — опять срифмовал Швейк.

Как бы послушавшись Швейка, подпоручик Дуб, свесивший вниз голову, вдруг начал блевать в дорожную пыль, а после этого, крикнув ещё раз: «Солдаты, вперёд!» — повалился на мешок телефониста Ходоунского и проспал до самой Туровы-Волски, где его наконец поставили на ноги и по приказу поручика Лукаша сняли с повозки. Поручик Лукаш имел с ним весьма продолжительный и весьма неприятный разговор, пока подпоручик Дуб не пришёл в себя настолько, что мог наконец заявить: «Рассуждая логически, я сделал глупость, которую искуплю перед лицом неприятеля».

Впрочем, он не совсем пришёл в себя, так как, направляясь к своему взводу, погрозил поручику Лукашу:

— Вы меня ещё не знаете, но вы меня узнаете!..

— О том, что вы натворили, можете узнать у Швейка.

Поэтому, прежде чем пойти к своему взводу, подпоручик Дуб направился к Швейку, которого нашёл в обществе Балоуна и старшего писаря Ванека.

Балоун как раз рассказывал, что у себя на мельнице, в колодце, он всегда держал бутылку пива. Пиво было такое холодное, что зубы ныли. Вечером на мельнице этим пивом запивали творог со сметаной, но он по своей обжорливости, за которую господь бог теперь так его наказал, после творога съедал ещё порядочный кусок мяса. Теперь, дескать, правосудие божье покарало его, и в наказание он должен пить тёплую вонючую воду из колодца в Турове-Волске, в которую солдаты должны были сыпать только что розданную им лимонную кислоту, дабы не подцепить здесь холеру.

Балоун высказал мнение, что эта самая лимонная кислота раздаётся, вероятно, для того, чтобы морить людей голодом. Правда, в Саноке он немножко подкормился, так как обер-лейтенант опять уступил ему полпорции телятины, которую Балоун принёс из бригады. Но это ужасно, ведь он думал, что на ночлеге будут что-нибудь варить. Балоун уверился в этом, когда кашевары начали набирать воду в котлы. Он сейчас же пошёл к кухням спросить, что и как, но кашевары ответили, что пока дали приказ набрать воду, а может, через минуту придёт приказ её вылить.

Тут подошёл подпоручик Дуб и, не будучи уверен в себе, спросил:

— Беседуете?

— Беседуем, господин лейтенант, — за всех ответил Швейк, — беседа в полном разгаре. Нет ничего лучше, как хорошо побеседовать. Сейчас мы как раз беседуем о лимонной кислоте. Без беседы ни один солдат обойтись не может, тогда он легче забывает о всех мытарствах.

Подпоручик Дуб пригласил Швейка пройтись с ним, он хочет кое о чём с ним побеседовать. Когда они отошли в сторонку, Дуб неуверенно спросил:

— Вы не обо мне сейчас говорили?

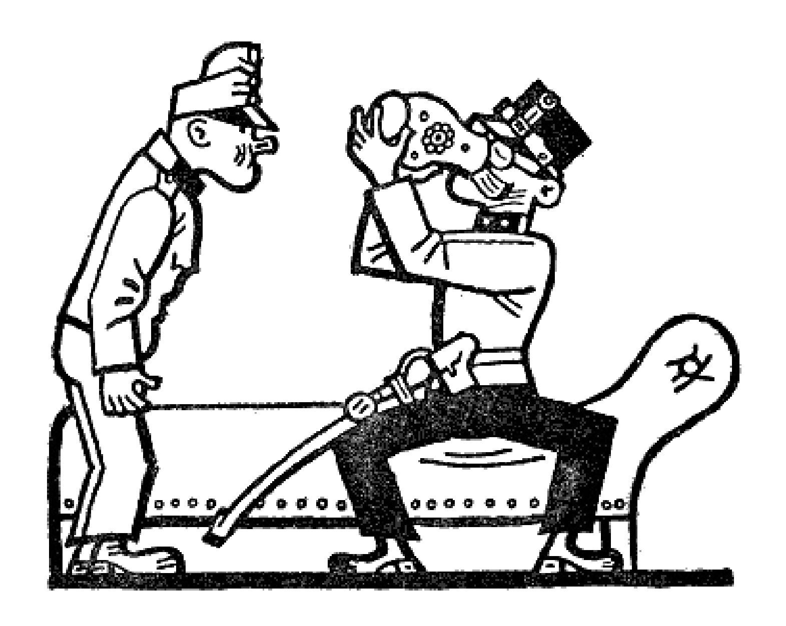
— Никак нет. О вас ни слова, господин лейтенант, только об этой лимонной кислоте и копчёном мясе.

— Мне обер-лейтенант Лукаш говорил, будто я что-то натворил и вы об этом хорошо осведомлены, Швейк…

Швейк ответил очень серьёзно и многозначительно:

— Ничего вы не натворили, господин лейтенант. Вы только были с визитом в одном публичном доме. Но это, вероятно, просто недоразумение. Жестяника Пимпра с Козьей площади также всегда разыскивали, когда он отправлялся в город покупать жесть, и тоже всегда находили в таком же заведении, в каком я нашёл вас, то «У Шугов», то «У Дворжаков». Внизу помещалось кафе, а наверху — в нашем случае — были девочки. Вы, должно быть, и не понимали, господин лейтенант, где, собственно, вы находитесь, потому что было очень жарко, и если человек не привык пить,

то в такую жару он пьянеет и от обыкновенного рома, а вы, господин лейтенант, хватили рябиновки. Я получил приказ вручить вам приглашение на совещание, происходившее перед тем, как выступить, и нашёл вас у этой девицы наверху. От жары и от рябиновки вы меня даже не узнали и лежали там на кушетке раздетым. Вы там ничего не натворили и даже не говорили: «Вы меня ещё не знаете…» Подобная вещь с каждым может произойти в такую жару. Один от этого очень страдает, другой попадает в такое положение не по своей вине, как кур во щи. Если бы вы знали старого Вейводу, десятника из Вршовиц! Тот, осмелюсь доложить, господин лейтенант, решил никогда не употреблять таких напитков, от которых он мог бы опьянеть. Опрокинул он рюмку на дорогу и вышел из дому искать напитки без алкоголя. Сначала, значит, остановился в трактире «У остановки», заказал четвертинку вермута и стал осторожно расспрашивать хозяина, что, собственно, пьют абстиненты. Он совершенно правильно считал, что чистая вода даже для абстинентов — крепкий напиток. Хозяин ему разъяснил, что абстиненты пьют содовую воду, лимонад, молоко и потом безалкогольные вина, холодный чесночный суп и другие безалкогольные напитки. Из всех этих напитков старому Вейводе понравились только безалкогольные вина. Он спросил, бывает ли также безалкогольная водка, выпил ещё одну четвертинку и поговорил с хозяином о том, что действительно грех напиваться часто. Хозяин ему ответил на это, что он всё может снести, только не пьяного человека, который надерётся где-нибудь, а к нему приходит отрезвиться бутылкой содовой воды, да ещё и наскандалит. «Надерись у меня, — говорил хозяин, — тогда ты мой человек, а не то я тебя и знать не хочу!» Старый Вейвода тут допил и пошёл дальше, пока не пришёл, господин лейтенант, на Карлову площадь, в винный погребок, куда он и раньше захаживал; там он спросил, нет ли у них безалкогольных вин. «Безалкогольных вин у нас нет, господин Вейвода, — сказали ему, — но вермут и шерри имеются». Старому Вейводе стало как-то совестно, и он решил выпить четвертинку вермута и четвертинку шерри. Пока он там сидел, он познакомился, господин лейтенант, с одним таким же абстинентом. Слово за слово, хватили они ещё по четвертинке шерри, разговорились, и тот пан сказал, что знает место, где подают безалкогольные вина. «Это на Бользановой улице, вниз по лестнице, там играет граммофон». За такое приятное сообщение пан Вейвода поставил на стол целую бутылку вермута, и потом оба отправились на Бользанову улицу, где надо было спуститься вниз по лестнице и где играет граммофон.



Действительно, там подавали одни фруктовые вина, не только что без спирта, но и вообще без алкоголя. Сперва они заказали по пол-литра вина из крыжовника, затем пол-литра смородинного вина, а когда выпили ещё по пол-литра безалкогольного крыжовенного вина, ноги у них стали отниматься после всех этих вермутов и шерри, которые они перед тем выпили. Тут они стали кричать и требовать официального подтверждения, действительно ли то, что они здесь пьют, безалкогольные вина. Они абстиненты, и, если немедленно им такого подтверждения не принесут, они всё разобьют вдребезги, вместе с граммофоном… Ну, пришлось полицейским вытащить обоих по лестнице наверх, на Бользанову улицу. Пришлось запихать их в корзину, пришлось посадить их в одиночные камеры. Обоих, как абстинентов, пришлось осудить за пьянство.

— К чему вы всё это мне рассказываете? — подозревая неладное, крикнул подпоручик Дуб, которого рассказ окончательно отрезвил.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, это к вам не относится, но раз уж мы разговорились…

Подпоручику Дубу в этот момент показалось, что Швейк его оскорбил, и так как он почти пришёл в себя, то заорал:

— Ты меня узнаёшь! Как ты стоишь?

— Осмелюсь доложить, плохо стою, я забыл, осмелюсь доложить, поставить пятки вместе, носки врозь! Сейчас это сделаю. — Швейк по всем правилам вытянулся во фронт.

Подпоручик Дуб раздумывал, что бы этакое ему ещё сказать, и в конце концов выговорил лишь:

— Смотри у меня, чтобы это было в последний раз! — И как бы в

дополнение повторил своё старое присловье, немного изменив его: — Ты меня ещё не знаешь! Но я-то тебя знаю!

Отходя от Швейка, подпоручик Дуб с похмелья подумал: «Может, на него больше подействовало бы, если бы я сказал: «Я тебя, братец, уже давно знаю с плохой стороны».

Затем подпоручик Дуб позвал своего денщика Кунерта и приказал раздобыть кувшин воды.

Кунерт, надо отдать ему справедливость, потратил немало времени на поиски в Турове-Волске кувшина воды.

Кувшин ему наконец удалось выкрасть у священника. А воду в кувшин он начерпал из наглухо заколоченного досками колодца. Для этого ему, разумеется, пришлось оторвать несколько досок. Колодец был заколочен, так как подозревали, что вода в нём тифозная.

Однако подпоручик Дуб выпил целый кувшин без всяких последствий, чем ещё раз подтвердилась верность старой пословицы: «Доброй свинье всё впрок».

Все жестоко ошиблись, думая, что будут ночевать в Турове-Волске.

Поручик Лукаш позвал телефониста Ходоунского, старшего писаря Ванека, ординарца роты Швейка и Балоуна. Приказ был прост: они оставляют оружие в санитарной части и немедленно выступают по просёлочной дороге на Малый Поланец, а потом вниз вдоль реки в юго-восточном направлении на Лисковец.

Швейк, Ванек и Ходоунский — квартирьеры. Они должны подыскать места для ночлега роты, которая придёт вслед за ними через час, максимум полтора. Балоуну надлежит распорядиться, чтобы на квартире, где будет ночевать он, то есть поручик Лукаш, зажарили гуся, а остальным трём следить за Балоуном, чтобы он не сожрал половины. Кроме того, Ванек со Швейком должны купить свинью для роты, весом сообразно положенной норме мяса на всю роту. Ночью будут готовить гуляш. Места для ночлега солдат должны быть вполне приличными: избегать завшивленных изб, чтобы солдаты как следует отдохнули, так как рота выступает уже в половине седьмого утра из Лисковца через Кросенку на Старую Соль.

Батальон теперь уже не нуждался в деньгах. Бригадное интендантство в Саноке выплатило ему авансом за предстоящую бойню. В кассе роты лежало свыше ста тысяч крон, и старший писарь Ванек получил приказ по прибытии на место (под этим подразумевались окопы) подсчитать и выплатить роте перед смертью бесспорно причитающуюся компенсацию за недополученные обеды и хлебные пайки.

Пока все четверо готовились в путь, появился местный священник и

роздал солдатам листовку с «Лурдской песней», в зависимости от национальности солдат каждому на его языке. У него был целый тюк этой песни; ему оставило их для раздачи проходящим воинским частям лицо высокого воинского духовного сана, проезжавшее с какими-то девками по опустошённой Галиции на автомобиле.

Где в долину сбегает горный склон,
Всем благовестит колокольный звон:
Аве, аве, аве, Мария! Аве, аве, аве, Мария!

Юницу Бернарду ведёт святой дух
К берегу речному, на зелёный луг.
Аве!

Видит юница — лучи над скалой,
Стан осиянный и лик святой.
Аве!

Мило украшены платом лиловым
Да голубеньким поясом новым.
Аве!

Обвиты чёток нитью живой
Руки пречистой и всеблагой.
Аве!

Ах, изменилась Бернарда лицом:
Отблеск небесных лучей на нём.
Аве!

Став на колени, молитвы творит,
А матерь божья ей говорит:
Аве!

Дитя я смогла без греха зачать
И хочу заступницей вашей стать!
Аве!

В торжественных шествиях мой набожный народ
Пускай сюда приходит, мне честь воздаёт.
Аве!

Да будет свидетелем мраморный храм,
Что я здесь милость являть буду вам.
Аве!

А ты их, журчащий родник, зови.
Будь им порукой моей любви.
Аве!

О, славься, долина из долин,
В которой процвёл сей райский крин!
Аве!

Прообраз горних — пещера твоя,
Владычица наша небесная!
Аве!

Преславный, радостный день — вот он:
Тянутся процессии к тебе на поклон.
Аве!

Ты хотела заступницей верных быть:
Удостой и нас свой взор склонить.
Аве!

Звездой путеводной встав впереди,
К престолу господню нас приведи.
Аве!

Не лиши, пресвятая, любви своей
И нас материнской лаской овей.
Аве!

В Турове-Волске было много отхожих мест, и там повсюду валялись бумажки с «Лурдской песней».

Капрал Нахтигаль с Кашперских гор достал у запуганного еврея бутылку водки, собрал несколько приятелей, и они стали петь немецкий текст «Лурдской песни», без припева «Аве», на мотив песни «Принц Евгений».

Когда стемнело, передовой отряд, которому следовало позаботиться о ночлеге для одиннадцатой роты, попал в небольшую рощу у речки. Эта роща должна была привести к Лисковцу. Дорога стала дьявольски трудной.

Балоун впервые очутился в такой ситуации, когда идёшь неизвестно куда. Всё — и темнота, и то, что их выслали вперёд разыскивать квартиры, — казалось ему необыкновенно таинственным; его вдруг охватило страшное подозрение, что это неспроста.

— Товарищи, — тихо сказал он, спотыкаясь по дороге, которая шла вдоль реки, — нас принесли в жертву.

— Как так? — тоже тихо, но строго прикрикнул на него Швейк.

— Товарищи, не будем шуметь, — умоляющим голосом просил Балоун. — У меня уже мурашки по коже бегают. Я чувствую: они нас услышат и начнут стрелять, я это знаю. Они нас послали вперёд, чтобы мы разведали, нет ли поблизости неприятеля, а когда услышат стрельбу, то сразу узнают, что дальше идти нельзя. Мы, товарищи, разведывательный патруль, как меня учил капрал Терна.

— Тогда иди вперёд, — сказал Швейк. — Мы пойдём за тобой, а ты защищай нас своим телом, раз ты такой великан. А когда в тебя выстрелят, то извести нас, чтобы мы вовремя могли залечь. Ну, какой ты солдат, если пули боишься! Каждого солдата это должно только радовать, каждый солдат должен знать, что чем больше по нему даст выстрелов неприятель, тем меньше у противника останется боеприпасов. Выстрел, который по тебе делает неприятельский солдат, понижает его боеспособность. Да и он

доволен, что может в тебя выстрелить. По крайней мере, не придётся тащить на себе патроны, да и бежать легче.

Балоун тяжело вздохнул:

— Но если у меня дома хозяйство?!

— Плюнь на хозяйство, — посоветовал Швейк. — Лучше отдай жизнь за государя императора. Разве не этому тебя учили на военной службе?

— Они этого лишь слегка касались, — отозвался глупый Балоун, — меня только гоняли по плацу, а после я ни о чём подобном уже не слыхал, так как стал денщиком. Хоть бы государь император кормил нас получше…

— Ах ты, проклятая ненасытная свинья! Солдата перед битвой вообще не следует кормить, это нам уже много лет назад объяснял в школе капитан Унтергриц. Тот нам постоянно твердил: «Хулиганьё проклятое! Если разразится война и вам придётся идти в бой, не вздумайте нажираться перед битвой. Кто обожрётся и получит пулю в живот, тому — конец, так как все супы и хлеб при ранении вылезут из кишок, и у солдата — сразу антонов огонь. Но когда в желудке ничего нет, то такая рана в живот всё равно что оса укусила, одно удовольствие!»

— Я быстро перевариваю, — успокоил товарищей Балоун, — у меня в желудке никогда ничего не остаётся. Я, братец, сожру тебе хоть целую миску кнедликов со свининой и капустой и через полчаса больше трёх суповых ложек не выдавлю. Всё остальное во мне исчезает. Другой, скажем, съест лисички, а они выйдут из него так, что только промой и снова подавай под кислым соусом, а у меня наоборот. Я нажрусь этих лисичек до отвала, другой бы на моём месте лопнул, а я в нужнике выложу только немножко жёлтой каши, словно ребёнок наделал, остальное, всё в меня пойдёт. У меня, товарищ, — доверительно сообщил Балоун Швейку, — растворяются рыбьи кости и косточки слив. Как-то я нарочно подсчитал. Съел я семьдесят сливовых кнедликов с косточками, а когда подошло время, пошёл за гумно, потом расковырял это лучинкой, косточки отложил в сторону и подсчитал. Из семидесяти косточек во мне растворилось больше половины. — Из уст Балоуна вылетел тихий, долгий вздох. — Мельничиха моя делала сливовые кнедлики из картофельного теста и прибавляла немного творогу, чтобы было сытнее. Она больше любила кнедлики, посыпанные маком, чем сыром а я наоборот. За это я однажды надавал ей затрещин… Не умел я ценить своё семейное счастье!

Балоун остановился, зачмокал, облизнулся и сказал печально и нежно:

— Знаешь, товарищ, теперь, когда у меня никаких кнедликов нет, мне кажется, что жена всё же была права: с маком-то лучше. Тогда мне всё казалось, что этот мак у меня в зубах застревает, а теперь я мечтаю о нём.

Эх! Только бы застрял! Много моя жена от меня натерпелась! Сколько раз она, бедная, плакала, когда я, бывало, требовал, чтобы она сыпала побольше майорана в ливерную колбасу… Ей всегда за это от меня влетало! Однажды я её, бедную, так отделал, что она два дня пролежала, а всё из-за того, что не хотела мне на ужин индюка зарезать — хватит, мол, и петушка.

— Эх, товарищ, — расхныкался Балоун, — если бы теперь ливерную, хоть бы без майорана, и петушка… Ты любишь соус из укропа? Эх, какие я, бывало, устраивал из-за него скандалы! А теперь пил бы, как кофей!

Балоун постепенно забывал о воображаемой опасности и в тиши ночи, спускаясь к Лисковцу, взволнованно продолжал рассказывать Швейку о том, чего он раньше не ценил и что теперь ел бы с величайшим удовольствием, только бы за ушами трещало.

За ними шли телефонист Ходоунский и старший писарь Ванек.

Ходоунский объяснял Ванеку, что, по его мнению, мировая война — глупость. Хуже всего в ней то, что если где-нибудь порвётся телефонный провод, ты должен ночью идти исправлять его: а ещё хуже, что если в прежние войны не знали прожекторов, теперь как раз наоборот: когда исправляешь эти проклятые провода, неприятель моментально находит тебя прожектором и жарит по тебе из всей своей артиллерии.

Внизу, в селе, где они должны были подыскать ночлег, не видно было ни зги. Собаки заливались вовсю, что заставило экспедицию остановиться и обдумать, как сопротивляться этим тварям.

— Может, вернёмся? — зашептал Балоун.

— Балоун, Балоун, если бы мы об этом донесли, тебя бы расстреляли за трусость, — ответил на это Швейк.

Собаки, казалось, взбесились; наконец лай послышался с юга, с реки Ролы. Потом собаки залаяли в Кросенке и в других окрестных сёлах, потому что Швейк орал в ночной тишине:

— Куш, куш, куш! — вспомнив, как кричал он на собак, когда ещё торговал ими.

Собаки не могли успокоиться, и старший писарь Ванек попросил Швейка:

— Не кричите на них, Швейк, а то вся Галиция залает.

— Это как на манёврах в Таборском округе, — отозвался Швейк. — Пришли мы как-то ночью в одно село, а собаки подняли страшный лай. Деревень там много, так что лай разносился от села к селу, всё дальше и дальше. Стоило только затихнуть собакам в нашем селе, как лай доносился откуда-то издали, ну, скажем, из Пелгржимова, и наши заливались снова, а

через несколько минут лаяли Таборский, Пелгржимовский, Будейовицкий, Гумполецкий, Тршебоньский и Иглавский округа. Наш капитан, очень нервный дед, не выносил собачьего лая. Он не спал всю ночь, всё ходил и спрашивал у патруля: «Кто лает? Чего лают?» Солдаты отрапортовали, что лают собаки. Это его так разозлило, что все бывшие в тот раз в патруле по нашем возвращении с манёвров остались без отпуска.



После этого случая он всегда выбирал «собачью команду» и посылал её вперёд. Команда обязана была предупредить население села, где мы должны остановиться на ночлег, что ни одна собака не смеет ночью лаять, в противном случае она будет убита. Я тоже был в такой команде, а когда мы пришли в одно село в Милевском районе, я всё перепутал и объявил сельскому старосте, что владелец собаки, которая ночью залает, будет уничтожен по стратегическим соображениям. Староста испугался, велел сейчас же запрячь лошадь и поехал в главный штаб просить от всего села смилостивиться. Его туда не пустили, часовые чуть было его там не застрелили. Он вернулся домой, и, ещё до того как мы вошли в село, по его совету всем собакам завязали тряпками морды, так что три пса взбесились.

Все согласились со Швейком, что ночью собаки боятся огня зажжённой сигареты, и вошли в село. На беду, никто из них сигарет не курил, и совет Швейка не имел положительных результатов. Оказалось, однако, что собаки лают от радости: они любовно вспоминали о проходящих войсках, которые всегда оставляли что-нибудь съедобное.

Они уже издали почуяли приближение тех созданий, которые после себя оставляют кости и дохлых лошадей.

Откуда ни возьмись, около Швейка оказались четыре дворняжки. Они радостно кидались на него, задрав хвосты кверху.

Швейк гладил их, похлопывал по бокам, разговаривал с ними в темноте, как с детьми.

— Вот и мы! Пришли к вам делать баиньки, покушать — ам, ам! Дадим вам косточек, корочек и утром отправимся дальше, на врага.

В селе, в хатах, зажглись огни. Когда квартирьеры постучали в дверь первой хаты, чтобы узнать, где живёт староста, изнутри отозвался визгливый и неприятный женский голос, который не то по-польски, не то по-украински прокричал, что муж на войне, что дети больны оспой, что москали всё забрали и что муж, отправляясь на войну, приказал ей никому не отворять ночью. Лишь после того как квартирьеры усилили атаку на дверь, чья-то неизвестная рука отперла дом. Войдя в хату, они узнали, что здесь как раз и живёт староста, тщетно старавшийся доказать Швейку, что это не он отвечал визгливым женским голосом. Он, мол, всегда спит на сеновале, а его жена, если её внезапно разбудишь, бог весть что болтает со сна. Что же касается ночлега для всей роты, то деревня маленькая, ни один солдат в ней не поместится. Спать совершенно негде. И купить тоже ничего нельзя. Москали всё забрали.

Если паны добродии не пренебрегут его советом, он отведёт их в Кросенку, там большие хозяйства: это всего лишь три четверти часа отсюда, места там достаточно, каждый солдат сможет прикрыться овчинным кожухом. А коров столько, что каждый солдат получит по котелку молока, вода тоже хорошая; паны офицеры могут спать в замке. А в Лисковце что! Нужда, чесотка и вши! У него самого было когда-то пять коров, но москали всех забрали, и теперь, когда нужно молоко для больных детей, он вынужден ходить за ним в Кросенку.

Как бы в подтверждение достоверности этих слов рядом в хлеву замычали коровы и послышался визгливый женский голос, кричавший на них: «Холера вас возьми!»

Старосту это не смутило, и, надевая сапоги, он продолжал:

— Единственная корова здесь у соседа Войцека, — вот вы изволили слышать, паны добродии, она только что замычала. Но эта корова больная, тоскует она. Москали отняли у неё телёнка. С тех пор молока она не даёт, но хозяину жалко её резать, он верит, что Ченстоховская божья матерь опять всё устроит к лучшему.

Говоря это, он надел на себя кунтуш…*

— Пойдёмте, паны добродии, в Кросенку, и трёх четвертей часа не пройдёт, да что я, грешный, болтаю, не пройдёт и получаса! Я знаю дорогу

через речку, затем через берёзовую рощицу, мимо дуба… Село большое, и дюже крепкая водка в корчмах. Пойдёмте, паны добродии! Чего мешкать? Панам солдатам вашего славного полка необходимо расположиться как следует, с удобствами. Пану императорскому королевскому солдату, который сражается с москалями, нужен, понятно, чистый ночлег, удобный ночлег. А у нас? Вши! Чесотка! Оспа и холера! Вчера у нас, в нашей проклятой деревне, три хлопа почернели от холеры… Милосердный бог проклял Лисковец!

Тут Швейк величественно махнул рукой.

— Паны добродии! — начал он, подражая голосу старосты. — Читал я однажды в одной книжке, что во время шведских войн, когда был дан приказ расквартировать полки в таком-то и таком-то селе, а староста отговаривался и отказывался помочь в этом, его повесили на ближайшем дереве. Кроме того, один капрал-поляк рассказал мне сегодня в Саноке, что, когда квартирьеры приходят, староста обязан созвать всех десятских, те идут с квартирьерами по хатам и просто говорят: «Здесь поместятся трое, тут четверо, в доме священника расположатся господа офицеры». И через полчаса всё должно быть подготовлено. Пан добродий, — с серьёзным видом обратился Швейк к старосте, — где здесь у тебя ближайшее дерево?



Староста не понял, что значит слово «дерево», и поэтому Швейк объяснил ему, что это берёза, дуб, груша, яблоня, — словом, всё, что имеет крепкие сучья. Староста опять не понял, а когда услышал названия некоторых фруктовых деревьев, испугался, так как черешня поспела, и сказал, что ничего такого не знает, у него перед домом стоит только дуб.

— Хорошо, — сказал Швейк, делая рукой международный знак повешения. — Мы тебя повесим здесь, перед твоей хатой, так как ты должен сознавать, что сейчас война и что мы получили приказ спать здесь, а не в какой-то Кросенке. Ты, брат, или не будешь нам менять наши стратегические планы, или будешь качаться, как говорится в той книжке о шведских войнах… Такой случай, господа, был раз на манёврах у Велького

Мезиржичи…

Тут Швейка перебил старший писарь Ванек:

— Это, Швейк, вы нам расскажете потом, — и тут же обратился к старосте: — Итак, теперь тревога и квартиры!

Староста затрясся и, заикаясь, забормотал, что он хотел устроить своих благодетелей получше, но если иначе нельзя, то в деревне всё же кой-что найдётся и паны будут довольны, он сейчас принесёт фонарь.

Когда он вышел из горницы, которую скудно освещала маленькая лампадка, зажжённая под образом какого-то скрюченного, как калека, святого, Ходоунский воскликнул:

— Куда делся наш Балоун?

Но не успели они оглянуться, за печкой тихонько открылась дверь, ведшая куда-то во двор, и в неё протиснулся Балоун. Он осмотрелся, убедился, что старосты нет, и прогнусавил, словно у него был страшный насморк:

— Я-я был в кла-до-вой, су-сунул во что-то хуку, набгал полный хот, а теперь оно пгхистало к нёбу. Оно ни сладко, ни солёно. Это тесто.

Старший писарь Ванек направил на него фонарь, и все удостоверились, что в жизни им ещё не приходилось видеть столь перемазанного австрийского солдата. Они испугались, заметив, что гимнастёрка на Балоуне топорщится так, будто он на последнем месяце беременности.

— Что с тобой, Балоун? — с участием спросил Швейк, тыча пальцем в раздувшийся живот денщика.

— Это огухцы, — хрипел Балоун, давясь тестом, которое не пролезало ни вверх, ни вниз. — Осторожно, это солёные огухцы, я в чулане съел трхи, а остальные принёс вам.

Балоун стал вытаскивать из-за пазухи огурец за огурцом и раздавать их.

На пороге вырос староста с фонарём. Увидев эту сцену, он перекрестился и завопил:

— Москали забирали, и наши забирают!

Сопровождаемые сворой собак, они все вместе отправились в село. Собаки упорно держались Балоуна и норовили влезть к нему в карман штанов: там лежал кусок сала, также добытый в кладовке, но из алчности предательски утаённый от товарищей.

— Что это на тебя собаки лезут? — поинтересовался Швейк.

После долгого размышления Балоун ответил:

— Чуют доброго человека.

Он ничем себя не выдал, хотя одна из собак всё время хватала его за руку, которой он придерживал сало.

Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец — большой посёлок, действительно сильно истощённый войной. Правда, он не пострадал от пожаров, воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сёл Хырова, Грабова и Голубли.

В некоторых хатах ютилось по восемь семейств. Вследствие потерь, нанесённых грабительской войной, один из периодов которой пронёсся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду.

Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по десять человек в нескольких усадьбах, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голытьбу, обнищавших и лишённых земли беженцев.

Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ванеком, денщиками, телефонистом, санитарами, поваром и Швейком разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разорённой семьи из окрестных сёл. Поэтому свободного места у него было много.

Ксёндз был высокий худой старик, в выцветшей засаленной рясе. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех гусей и кур, которых русские не тронули, хоть у него стояли лохматые забайкальские казаки.

Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мёд из ульев, он ещё более яростно возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошеных ночных гостей; ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять: «У меня ничего нет. Я нищий, вы не найдёте у меня, господа, ни кусочка хлеба».

Более всех этим был огорчён Балоун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросёнке, подрумяненная кожица которого хрустит и аппетитно пахнет. Балоун клевал носом в кухне ксёндза, куда время от времени заглядывал долговязый подросток, работавший за батрака и кухарку одновременно. Ему строго-настрого приказано было следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили.

Но и в кухне Балоун не нашёл ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, который он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросёнка. За домом священника, во дворе маленького винокуренного завода, горел огонь под котлами полевой кухни. Кипела вода, но в этой воде ничего не варилось.

Старший писарь с поваром обегали всё село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали всё или съели, или забрали.

Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить панам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую, столетнюю корову, тощую дохлятину: кости да кожа. Он требовал за неё бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всём мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волочиска, что по всему краю идёт молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колена то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходите».



Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и в конце концов они потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодёр, к полевой кухне. Ещё долго после этого, когда уже деньги были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав

задёшево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу.

Повалявшись ещё немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошёл домой в каморку и сказал жене: «Elsa lébn,[283] солдаты глупы, а Натан твой мудрый!»

С коровой было много возни. Моментами казалось, её вообще невозможно ободрать. Когда с неё стали сдирать шкуру, шкура разорвалась и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты.

Между тем откуда-то притащили мешок картофеля и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом, у малой кухни, повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета.

Эта несчастная корова, если можно так назвать сие редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что, если бы перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным рёвом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки.

Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из неё не удалось сварить: чем больше варилось мясо, тем крепче оно держалось на костях, образуя с ним единое целое, закостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только «делами».

Швейк, в качестве курьера поддерживавший постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил наконец поручику Лукашу:

— Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твёрдое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балоуном мясо, сломал себе передний зуб, а Балоун — задний коренной.

Балоун с серьёзным видом стал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завёрнутый в «Лурдскую песню».

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал всё, что мог. Этот зуб я сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из этого мяса приготовить бифштекс. При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура. Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым.

— Прошу соблюдать тишину, — произнёс он голосом, полным отчаяния, — мне дурно!

И он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопиных яичек.

— Я утомлён, — проговорил он трагическим голосом, — я слаб и болен, прошу в моём присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес: Смихов, Краловская, номер восемнадцать. Если я не доживу до утра, то прошу осторожно известить об этом мою семью и прошу не забыть написать на моей могиле, что до войны я был преподавателем императорской и королевской гимназии.

Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из заупокойной:

Грех Марии отпустил ты,
И разбойнику простил ты,
Мне надежду подарил ты!

После этого старшим писарем Ванеком было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне ещё два часа, что о бифштексе не может быть и речи и что вместо бифштекса сделают гуляш.

Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют «на ужин», так как всё равно ужин поспеет лишь к утру.

Старший писарь Ванек притащил откуда-то сена, подложил его себе в столовой дома ксёндза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукашу, отдыхавшему на старой кушетке:

— Поверьте мне, господин обер-лейтенант, такой коровы я не жрал за всё время войны…

В кухне перед зажжённым огарком церковной свечи сидел телефонист Ходоунский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя потом, когда у батальона будет наконец определённый номер полевой почты. Он писал:

«Милая и дорогая жена, дражайшая Боженка!

Сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, моё золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредёт мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуск и уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем

быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочится за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая Боженка. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Микулашской улицы. Теперь, когда я ночью вдруг вспомню об этом и подумаю, что этот урод может в моё отсутствие снова иметь на тебя притязания, мне кажется, дорогая Боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал, но при мысли, что он, может, опять пристаёт к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твоё внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и позорящую моё имя. Прости мне, дорогая Боженка, мои резкие слова, но смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее. Иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на всё, даже если бы это стоило мне жизни. Целую тебя тысячу раз, кланяюсь папеньке и маменьке.

Твой *Тоноуш.*

NB Не забывай, что ты носишь мою фамилию».

Он начал писать второе письмо про запас:

«Моя милейшая Боженка!

Когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили штук десять неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывалась шрапнель, я думал о тебе, дорогая Боженка. Что ты поделываешь, как живёшь, что нового дома? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной «У Томаша», и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты осталась мне верна, ибо хорошо знаешь, что неверности я не потерплю.

Пора в поход! Целую тебя тысячу раз, дорогая Беженка, и надейся, что всё кончится благополучно!

Искренне любящий тебя *Тоноуш!*»

Телефонист Ходоунский стал клевать носом и уснул за столом.

Ксёндз, который совсем не ложился спать и всё время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради догоравший возле Ходоунского огарок церковной свечи.

В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванек, получивший в Саноке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал её и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становятся пайки. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно которому при приготовлении солдатской похлёбки запрещалось употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание: полевые кухни должны собирать кости и отсылать их в тыл на дивизионные склады. Было неясно, о каких костях идёт речь — о человеческих или о костях другого убойного скота.

— Послушайте, Швейк, — сказал поручик Лукаш, зевая от скуки, — пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю.

— Ох! — ответил Швейк. — Пока мы дождёмся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну почтмейстершу из Седлчанского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услыхал разговоры о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет.

— Швейк, — отозвался с кушетки поручик Лукаш, — вы опять начинаете пороть глупости.

— Так точно, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врождённая глупость, а может, воспоминание детства. На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры, — всё же повар Юрайда был прав. Напившись в Бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал: «Человек предопределён и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира, разума и любви». Когда мы хотели его оттуда вытащить, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и, только после того, как мы его сбросили обратно, стал умолять, чтобы его вытащили.

— Но что же с почтмейстершей? — с тоской воскликнул поручик Лукаш.

— Весьма достойная была женщина, но и сволочь, господин обер-

лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у неё был один недостаток: она думала, что все к ней пристают, все преследуют её, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило.

Однажды утром пошла она в лес по грибы. И, проходя мимо школы, приметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась. Она ему ответила, что по грибы, тогда он сказал, что скоро пойдёт по грибы тоже. Она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения, и потом, когда увидела его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел её изнасиловать. По делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие, и, чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено: учитель однажды уже был обвинён в приставаниях к племяннице ксёндза, с которой спал сам ксёндз. Но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с шести лет, после того как упал с чердака на оглоблю телеги. Тогда эта сволочь — почтмейстерша — подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора: они-де все подкуплены учителем. Они все подали на неё в суд, её осудили, но потом она приговор обжаловала, — она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали её и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность.

Поручик Лукаш воскликнул:

— Иисус Мария! — и прибавил: — Сказал бы я вам словечко, но не хочу портить себе ужин.

Швейк на это ответил:

— Я же предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю.

Поручик Лукаш только рукой махнул.

— От вас я этих глупостей слышал достаточно.

— Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант, — убеждённо сказал Швейк. — В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Если бы, например, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояния на небе, то он лишь докучал

бы всем, как некий пан Чапек, который ходил в трактир «У чаши». Ночью он всегда выходил из пивной на улицу, разглядывал звёздное небо, а вернувшись в трактир, переходил от одного к другому и сообщал: «Сегодня прекрасно светит Юпитер. Ты, хам, даже не знаешь, что у тебя над головой! Это такое расстояние, что, если бы тобой, мерзавец, зарядить пушку и выстрелить, ты летел бы до него со скоростью снаряда миллионы и миллионы лет». При этом он вёл себя так грубо, что обычно сам вылетал из трактира со скоростью обыкновенного трамвая, приблизительно, господин обер-лейтенант, километров десять в час. Или возьмём, господин обер-лейтенант, к примеру, муравьёв…

Поручик Лукаш приподнялся на кушетке, молитвенно сложив руки на груди:

— Я сам удивляюсь, почему я до сих пор разговариваю с вами, Швейк. Ведь я, Швейк, вас так давно знаю…

Швейк в знак согласия закивал головой.

— Это привычка, господин обер-лейтенант. В том-то и дело, что мы уже давно знаем друг друга и вместе немало пережили. Мы уже много выстрадали и всегда не по своей вине. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — это судьба. Что государь император ни делает, всё к лучшему: он нас соединил, и я себе ничего другого не желаю, как только быть чем-нибудь вам полезным. Вы не голодны, господин обер-лейтенант?

Поручик Лукаш, который между тем опять растянулся на старой кушетке, сказал, что последний вопрос Швейка — прекрасная развязка томительного разговора. Пусть Швейк пойдёт справиться, что с ужином. Будет, безусловно, лучше, если Швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь поход от Санока. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может.

— Это из-за клопов, господин обер-лейтенант. Это старое поверье, будто священники плодят клопов. Нигде не найдёшь столько клопов, как в доме священника. В своём доме в Горних Стодулках священник Замастил написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нём даже во время проповеди.

— Я вам что сказал, Швейк, отправитесь вы в кухню или нет?

Швейк ушёл, и вслед за ним из угла как тень вышел на цыпочках Балоун…

Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на Старую Соль — Самбор, несчастную корову, всё ещё не сварившуюся, везли в полевой кухне. Было решено варить её по дороге и съесть на привале, когда будет

пройдена половина пути.

Солдатам дали на дорогу чёрный кофе.

Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после вчерашнего ему стало хуже. Больше всего страдал от него денщик, которому пришлось бежать рядом с двуколкой. Подпоручик Дуб без устали бранил Кунерта за то, что вчера он нисколько о нём не заботился, и обещал по приезде на место назначения расправиться с ним. Он ежеминутно требовал воды, выпивал её, и тут же его рвало.

— Над кем, над чем смеётесь? — кричал он с двуколки. — Я вас проучу, вы со мной не шутите! Вы меня узнаете!

Поручик Лукаш ехал верхом на коне, а рядом с ним бодро шагал Швейк. Казалось, Швейку не терпелось сразиться с неприятелем. По обыкновению, он рассказывал:

— Вы заметили, господин обер-лейтенант, что некоторые из наших людей ровно мухи. За спиной у них меньше, чем по тридцать кило, — и того выдержать не могут. Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханек. Он застрелился из-за задатка, который получил под женитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй задаток от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно. Он их постепенно проигрывал в карты, а девочек оставил. Но денег хватило ненадолго, так что ему пришлось обратиться за задатком к третьему будущему тестю. На эти деньги он купил себе коня, арабского жеребца, нечистокровного…

Поручик Лукаш соскочил с коня.

— Швейк, — крикнул он угрожающе, — если вы произнесёте хоть слово о четвёртом задатке, я столкну вас в канаву!

Он опять вскочил на коня, а Швейк серьёзно продолжал:

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвёртом задатке и речи быть не может, так как после третьего задатка он застрелился.

— Наконец-то, — облегчённо вздохнул поручик Лукаш.

— Чтобы не забыть, — спохватился Швейк. — Лекции, подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек, когда солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать, как это делал он, всем солдатам. Он объявлял привал, собирал всех нас, как наседка цыплят, и начинал: «Вы, негодяи, не умеете ценить того, что маршируете по земному шару, потому что вы такая некультурная банда, что тошно становится, как только на вас посмотришь. Заставить бы вас маршировать на Солнце, где человек, который на нашей убогой планете

имеет вес шестьдесят кило, весит свыше тысячи семисот килограммов. Вы бы подохли! Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше двухсот восьмидесяти килограммов, почти три центнера, а винтовка — около полутора центнеров. Вы бы разохались и высунули бы языки, как загнанные собаки!» Был среди нас один несчастный учитель, он также осмелился взять слово: «С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, а на Луне человек, весом в шестьдесят килограммов, весит лишь тринадцать килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь четыре килограмма. На Луне мы не маршировали бы, а парили в воздухе». — «Это ужасно, — сказал покойный господин обер-лейтенант Буханек. — Ты, мерзавец, соскучился по оплеухе? Радуйся, что я дам тебе обыкновенную земную затрещину. Если бы я дал тебе лунную, то при своей лёгкости ты полетел бы куда-нибудь на Альпы, от тебя только мокрое место осталось бы… А если б я залепил тебе тяжёлую солнечную, то твой мундир превратился бы в кашу, а голова перелетела бы прямо в Африку». Дал он, значит, ему обыкновенную земную затрещину. Этот выскочка разревелся, а мы двинулись дальше. Всю дорогу на марше тот солдат ревел и твердил, господин обер-лейтенант, о каком-то человеческом достоинстве. С ним, мол, обращаются, как с тварью бессловесной. Затем господин обер-лейтенант Буханек послал его на рапорт, и его посадили на четырнадцать дней; после этого тому солдату оставалось служить ещё шесть недель, но он не дослужил их. У него была грыжа, а в казармах его заставляли вертеться на турнике, он этого не выдержал и умер в госпитале, как симулянт.

— Это поистине странно, Швейк, — сказал поручик Лукаш, — вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым образом унижать офицерство.

— Нет у меня такого обыкновения, — откровенно признался Швейк. Я только хотел рассказать, господин обер-лейтенант, как раньше на военной службе люди сами доводили себя до беды. Этот человек думал, что он образованнее господина обер-лейтенанта, и хотел Луной унизить его в глазах солдат. А когда он получил земную затрещину, все облегчённо вздохнули, никому это не было неприятно, наоборот, всем понравилось, как сострил господин обер-лейтенант с этой земной затрещиной; это называется спасти положение. Нужно тут же, не сходя с места, что-нибудь придумать, и дело в шляпе. Несколько лет тому назад, господин обер-лейтенант, в Праге, напротив кармелитского монастыря, была лавка пана Енома. Он торговал кроликами и другой птицей. Этот пан Еном стал ухаживать за дочерью переплётчика Билека. Пану Билеку это не нравилось,

и он публично заявил в трактире, что, если пан Еном придёт просить руки его дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Пан Еном напился и всё же пошёл к пану Билеку, встретившему его в передней с большим ножом, которым он обрезал книги и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек. Билек заорал на пана Енома, — чего, мол, ему здесь надо. Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билек расхохотался, подал пану Еному руку и сказал: «Милости прошу, войдите, пан Еном; присядьте, пожалуйста, надеюсь, вы не накакали в штаны? Ведь я не такой уж злой человек. Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, — вы очень приятный человек и большой оригинал. Я переплётчик, прочёл много романов и рассказов, но ни в одной книге не написано, чтобы жених представлялся таким образом». Он смеялся до упаду, заявил, что ему кажется, будто они с самого рождения знакомы, словно родные братья. Он с радостью предложил гостю сигару, послал за пивом, за сардельками, позвал жену, представил ей его, рассказал со всеми подробностями об его визите. Та плюнула и ушла. Потом он позвал дочь и сообщил: «Этот господин при таких-то и таких-то обстоятельствах пришёл просить твоей руки». Дочь тут же расплакалась и заявила, что не знает такого и видеть его даже не хочет, так что обоим ничего не оставалось, как выпить пиво, съесть сардельки и разойтись. После этого пан Еном был опозорен в трактире, куда ходил Билек, и всюду, во всём квартале, его иначе не звали, как «засранец Еном». И все рассказывали друг другу, как он хотел спасти ситуацию. Жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, ни черта не стоит. Ещё до войны к нам в трактир «У чаши» на Боиште ходили полицейский, старший вахмистр пан Губичка, и один репортёр, который охотился за сломанными ногами, задавленными людьми, самоубийцами и печатал о них в газетах. Это был большой весельчак, в дежурной комнате полиции он бывал чаще, чем в своей редакции. Однажды он напоил старшего вахмистра Губичку, поменялся с ним в кухне одеждой, так что старший вахмистр был в штатском, а из пана репортёра получился старший вахмистр полиции. Он прикрыл только номер револьвера и отправился в Прагу на дозор. На Ressловой улице, за бывшей Сватовацлавской тюрьмой, глубокой ночью он встретил пожилого господина в цилиндре и шубе под руку с пожилой дамой в меховом манто. Оба спешили домой и не разговаривали. Он бросился к ним и рявкнул тому господину прямо в ухо: «Не орите так, или я вас отведу!» Представьте себе, господин обер-лейтенант, их испуг. Тщетно они объясняли, что, очевидно, здесь какое-то недоразумение, они

возвращаются с банкета, который был дан у господина наместника. Экипаж довёз их до Национального театра, а теперь они хотят проветриться. Живут они недалеко, на Морани, сам он советник из канцелярии наместника, а это его супруга. «Вы меня не дурачьте, — продолжал орать переодетый репортёр. — Вам тем более должно быть стыдно, если вы, как вы утверждаете, советник канцелярии генерал-губернатора, а ведёте себя как мальчишка. Я за вами уже давно наблюдаю, я видел, как вы тростью колотили в железные шторы всех магазинов, попадавшихся вам по дороге, и при этом ваша, как вы говорите, супруга помогала вам». — «Ведь у меня, как видите, никакой трости нет. Это, должно быть, кто-то, шедший впереди нас». — «Как же эта трость может у вас быть, — ответил переодетый репортёр, — когда, я это сам видел, вы её обломали вон за тем углом о старуху, которая разносит по трактирам жареную картошку и каштаны». Дама даже плакать была не в состоянии, а господин советник так разозлился, что стал обвинять его в грубости, после чего был арестован и передан ближайшему патрулю в районе комиссариата на Сальмовой улице. Переодетый репортёр велел эту пару отвести в комиссариат, сам он-де идёт к «Святому Индржиху», по служебным делам был на Виноградах. Оба нарушили ночную тишину и спокойствие и принимали участие в ночной драке, кроме того, они нанесли оскорбление полиции. Он торопится, у него есть дело в комиссариате святого Индржиха, а через час он придёт в комиссариат на Сальмовую улицу.



Таким образом, патруль потащил обоих. Они просидели до утра и ждали этого старшего вахмистра, который между тем окольным путём пробрался «К чаше» на Боиште, разбудил старшего вахмистра Губичку, деликатно рассказал ему о случившемся и намекнул о том, что может подняться серьёзное дело, если тот не будет держать язык за зубами.

Поручик Лукаш, видимо, устал от разговоров. Прежде чем пустить лошадь рысью, чтобы обогнать авангард, он сказал Швейку:

— Если вы собираетесь говорить до вечера, то это час от часу будет глупее и глупее.

— Господин обер-лейтенант, — кричал вслед отъезжавшему поручику Швейк, — хотите узнать, чем это кончилось?

Поручик Лукаш поскакал галопом.

Подпоручик Дуб настолько оправился, что смог вылезти из санитарной двуколки, собрал вокруг себя весь штаб роты и, как бы в забытьи, стал его наставлять. Он обратился к собравшимся со страшно длинной речью, обременявшей их больше, чем амуниция и винтовки.

Это был набор разных поучений. Он начал:

— Любовь солдат к господам офицерам делает возможными невероятные жертвы, но вовсе не обязательно, — и даже наоборот, — чтобы эта любовь была врождённой. Если у солдата нет врождённой любви, то его следует к ней принудить. В гражданской жизни вынужденная любовь одного к другому, скажем, школьного сторожа к учительскому персоналу, продолжается до тех пор, пока существует внешняя сила, вызывающая её. На военной службе мы наблюдаем как раз противоположное, так как офицер не имеет права допускать ни со стороны солдата, ни со своей собственной стороны малейшего ослабления этой любви, которая привязывает солдата к своему начальнику. Эта любовь — не обычная любовь, это, собственно говоря, уважение, страх и дисциплина.

Швейк всё это время шёл с левой стороны санитарной повозки. И пока подпоручик Дуб говорил, Швейк шагал, повернув голову к подпоручику, делая «равнение направо».

Подпоручик Дуб вначале не замечал этого и продолжал свою речь:

— Эту дисциплину и долг послушания, обязательную любовь солдата к офицеру можно выразить очень кратко, ибо отношения между солдатом и офицером несложны: один повинуется, другой повелевает. Мы уже давно знаем из книг о военном искусстве, что военный лаконизм, военная простота являются именно той добродетелью, которую должен усвоить солдат, волей-неволей любящий своего начальника. Начальник в его глазах должен быть величайшим, законченным, выкристаллизовавшимся образцом твёрдой и сильной воли.

Теперь только подпоручик Дуб заметил, что Швейк не отрываясь смотрит на него и держит «равнение направо». Ему это было очень неприятно, так как внезапно он почувствовал, что запутался в своей речи и не может выбраться из бездны любви солдата к начальнику, а потому он заорал на Швейка:

— Чего ты на меня уставился, как баран на новые ворота?

— Согласно вашему приказу, осмелюсь доложить, господин лейтенант. Вы как-то сами изволили обратить моё внимание на то, что, когда вы разговариваете, я должен не спускать глаз с ваших уст. Потому как любой солдат обязан свято выполнять приказы своего начальника и помнить их

всю жизнь, я был вынужден так поступить.

— Смотри, — кричал подпоручик Дуб, — в другую сторону! А на меня смотреть не смей, дурак! Знаешь, что я этого не люблю, не выношу твоей глупой морды. Я тебе ещё покажу кузькину мать…

Швейк сделал «равнение налево» и, как бы застыв, продолжал шагать рядом с подпоручиком Дубом.

Подпоручик Дуб не стерпел.

— Куда смотришь, когда я с тобой разговариваю?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, согласно вашему приказу, я сделал «равнение налево».

— Ах, — вздохнул подпоручик Дуб, — мука мне с тобой! Смотри прямо перед собой и думай: «Я такой дурак, что мне терять нечего». Запомнил?

Швейк, глядя перед собой, сказал:

— Разрешите спросить, господин лейтенант, должен ли я на это ответить?

— Что ты себе позволяешь?! — заорал подпоручик Дуб. — Как ты со мной разговариваешь? Что ты имел в виду?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я имел в виду ваш приказ на одной из станций, чтобы я вообще не отвечал, даже когда вы закончите свою речь.

— Значит, ты боишься меня. — обрадовался подпоручик Дуб. — Но как следует ты меня ещё не узнал! Передо мной тряслись и не такие, как ты, запомни это! Я укрощал и не таких молодчиков!.. Молчи и иди позади, чтобы я тебя не видел!

Швейк отстал и присоединился к санитарам. Здесь он удобно устроился в двуколке и ехал до самого привала, где наконец все дождались супа и мяса злополучной коровы.

— Эту корову должны были, по крайней мере, недели две мариновать в уксусе, ну, если не корову, то хотя бы того, кто её покупал. — заявил Швейк.

Из бригады прискакал ординарец с новым приказом одиннадцатой роте: маршрут изменяется на Фельдштейн; Ворaличе и Самбор оставить в стороне, так как в Самборе разместить роту нельзя, ввиду того что там находятся два познанских полка.

Поручик Лукаш распорядился: старший писарь Ванек со Швейком подыскивают для роты ночлег в Фельдштейне.

— Только не выкиньте, Швейк, опять какой-нибудь штуки по дороге. — предупредил поручик Лукаш. — Главное, повежливее

обращайтесь с местными жителями.

— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — постараюсь. Я на рассвете вздремнул немного, и приснился мне скверный сон. Снилось мне корыто, из которого всю ночь текла вода по коридору дома, где я жил, пока вся не вытекла. У домовладельца промок потолок, и он мне тут же отказал от квартиры. Такой же, господин обер-лейтенант, случай действительно произошёл однажды в Карлине за виадуком…

— Оставьте нас в покое, Швейк, со своими глупыми историями и посмотрите лучше с Ванеком по карте, куда вам следует идти. Видите здесь эту деревню? Отсюда вы повернёте направо, к речке, и по течению реки доберётесь до ближайшей деревни. От первого ручья, который впадает в реку (он будет у вас по правую руку), пойдёте просёлочной дорогой в гору прямо на север. Заблудиться тут нельзя. Вы попадёте в Фельдштейн и никуда больше. Запомнили?

Швейк со старшим писарем Ванеком отправились в путь согласно маршруту.

Было за полдень. Парило. Земля тяжело дышала. Из плохо засыпанных солдатских могил несло трупным запахом. Они пришли в места, где происходили бои во время наступления на Перемышль. Тут пулемёты скосили целые батальоны людей. Рощицы у речки свидетельствовали об ураганном артиллерийском огне. Повсюду, на широких равнинах и на склонах гор, из земли торчали какие-то обрубки вместо деревьев, и вся эта пустыня была изрезана траншеями.

— Пейзаж тут не тот, что под Прагой, — заметил Швейк, лишь бы нарушить молчание.

— У нас уже жатва прошла, — вспомнил старший писарь Ванек. — В Кралупском районе жать начинают раньше всех.

— После войны здесь хороший урожай уродится, после небольшой паузы проговорил Швейк. — Не надо будет покупать костяной муки. Для крестьян очень выгодно, если на их полях сгниёт целый полк: короче говоря, это для них хлеб. Одно только меня беспокоит, как бы эти крестьяне не дали себя одурачить и не продали бы понапрасну эти солдатские кости сахарному заводу на костяной уголь. Был в Карлинских казармах обер-лейтенант Голуб. Такой был учёный, что в роте его считали дурачком, потому что из-за своей учёности он не научился ругать солдат и обо всём рассуждал лишь с научной точки зрения. Однажды ему доложили, что розданный солдатам хлеб жрать нельзя. Другого офицера такая дерзость возмутила бы, а его нет, он остался спокойным, никого не обозвал даже свиньёй или, скажем, грязной свиньёй, никому не дал по морде.

Только собрал всех солдат и говорит им своим приятным голосом: «Солдаты, вы прежде всего должны осознать, что казармы — это не гастрономический магазин, где вы можете выбирать маринованных угрей, сардинки и бутерброды. Каждый солдат должен быть настолько умён, чтобы безропотно сожрать всё, что выдаётся, и должен быть настолько дисциплинирован, чтобы не задумываться над качеством того, что дают. Представьте себе, идёт война. Земле, в которую нас закопают после битвы, совершенно безразлично, какого хлеба вы налопались перед смертью. Она — мать сыра-земля — разложит вас и сожрёт вместе с башмаками. В мире ничего не исчезает. Из вас, солдаты, вырастут снова хлеба, которые пойдут на хлеб для новых солдат. А они, может, так же как и вы, опять будут недовольны, будут жаловаться и налетят на такого начальника, который их арестует и упечёт так, что им солоно придётся, ибо он имеет на это право. Теперь я вам, солдаты, всё хорошо объяснил и ещё раз повторять не буду. Кто впредь вздумает жаловаться, тому так достанется, что он вспомнит мои слова, когда вновь появится на божий свет». «Хоть бы обложил нас когда», — говорили между собой солдаты, потому что деликатности в лекциях господина обер-лейтенанта всем опротивели. Раз меня выбрали представителем от всей роты. Я должен был ему сказать, что все его любят, но военная служба не в службу, если тебя не ругают. Я пошёл к нему на квартиру и попросил не стесняться: военная служба — вещь суровая, солдаты привыкли к ежедневным напоминаниям, что они свиньи и псы, иначе они теряют уважение к начальству. Вначале он упирался, говорил что-то о своей интеллигентности, о том, что теперь уже нельзя служить из-под палки. В конце концов я его уговорил, он дал мне затрещину и, чтобы поднять свой авторитет, выбросил меня за дверь. Когда я сообщил о результатах своих переговоров, все очень обрадовались, но он им эту радость испортил на следующий же день. Подходит ко мне и в присутствии всех говорит: «Швейк, я вчера поступил необдуманно, вот вам золотой, выпейте за моё здоровье. С солдатами надо обходиться умеючи».



Швейк осмотрелся.

— Мне кажется, мы идём не так. Ведь господин обер-лейтенант так хорошо нам объяснил. Нам нужно идти в гору, вниз, потом налево и направо, потом опять направо, потом налево, а мы всё время идём прямо. Или мы всё это прошли и за разговором не заметили… Я определённо вижу перед собой две дороги в этот самый Фельдштейн. Я бы предложил теперь идти по этой дороге, налево.

Как это обыкновенно бывает, когда двое очутятся на перекрёстке, старший писарь Ванек стал утверждать, что нужно идти направо.

— Моя дорога, — сказал Швейк, — удобнее вашей. Я пойду вдоль ручья, где растут незабудки, а вы попрёте по выжженной земле. Я придерживаюсь того, что нам сказал господин обер-лейтенант, а именно, что мы заблудиться не можем; а раз мы не можем заблудиться, то чего ради я полезу куда-то на гору; пойду-ка я спокойненько по лугам, воткну себе цветочек в фуражку и нарву букет для господина обер-лейтенанта. Впрочем, потом увидим, кто из нас прав, я надеюсь, мы расстанемся добрыми товарищами. Здесь такая местность, что все дороги должны вести в Фельдштейн.

— Не сходите с ума, Швейк, — уговаривал Швейка Ванек, — по карте мы должны идти, как я сказал, именно направо.

— Карта тоже может ошибаться, — ответил Швейк, спускаясь в долину. — Однажды колбасник Крженек из Виноград возвращался ночью, придерживаясь плана города Праги, от «Монтагов» на Малой Стране домой на Винограды, а к утру пришёл в Розделов у Кладна. Его нашли окоченевшим во ржи, куда он свалился от усталости. Раз вы не хотите

слушать, господин старший писарь, и настаиваете на своём, давайте сейчас же разойдёмся и встретимся уже на месте, в Фельдштейне. Только взгляните на часы, чтобы нам знать, кто раньше придёт. Если вам будет угрожать опасность, выстрелите в воздух, чтобы я знал, где вы находитесь.

К вечеру Швейк пришёл к маленькому пруду, где встретил бежавшего из плена русского, который здесь купался. Русский, заметив Швейка, вылез из воды и нагишом пустился наутёк.

Швейку стало любопытно, пойдёт ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракитой. Он быстро разделся и надел форму несчастного голого русского, убежавшего из эшелона военнопленных, размещённого в деревне за лесом. Швейку захотелось как следует посмотреть на своё отражение в воде. Он ходил по плотине пруда долго, пока его не нашёл патруль полевой жандармерии, разыскивавший русского беглеца. Жандармы были венгры и, несмотря на протесты Швейка, потащили его в этапное управление в Хырове, где его зачислили в транспорт пленных русских, назначенных на работы по исправлению железнодорожного пути на Перемышль.

Всё это произошло так стремительно, что лишь на следующий день Швейк понял своё положение и головешкой начертал на белой стене классной комнаты, в которой была размещена часть пленных:

«Здесь ночевал Йозеф Швейк из Праги, ординарец 11-й маршевой роты 91-го полка, который, находясь при исполнении обязанностей квартирьера, по ошибке попал под Фельдштейном в австрийский плен».

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПОРКИ

Часть четвертая

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПОРКИ

Глава I
ШВЕЙК В ЭШЕЛОНЕ ПЛЕННЫХ РУССКИХ



Когда Швейк, которого по русской шинели и фуражке ошибочно приняли за пленного русского, убежавшего из деревни под Фельдштейном, начертал углём на стене свои вопли отчаяния, никто не обратил на это никакого внимания. Когда же в Хырове на этапе при раздаче пленным чёрствого кукурузного хлеба он хотел самым подробным образом всё объяснить проходившему мимо офицеру, солдат-мадьяр, один из конвоировавших эшелон, ударил его прикладом по плечу, прибавив: «Baszom az élet.[284] Встань в строй, ты, русская свинья!»

Такое обращение с пленными русскими, языка которых мадьяры не понимали, было в порядке вещей. Швейк вернулся в строй и обратился к стоявшему рядом пленному:

— Этот человек исполняет свой долг, но он подвергает себя большой опасности. Что, если винтовка у него заряжена, курок на боевом взводе? Ведь этак легко может статься, что, в то время как он колотит прикладом по плечу пленного, курок спустится, весь заряд влетит ему в глотку и он умрёт при исполнении своего долга! На Шумаве в одной каменоломне рабочие воровали динамитные запалы, чтобы зимой было легче выкорчёвывать пни. Сторож каменоломни получил приказ всех поголовно обыскивать при выходе и ревностно принялся за это дело. Схватив первого попавшегося

рабочего, он с такой силой начал хлопать по его карманам, что динамитные запалы взорвались и они оба взлетели в воздух. Когда сторож и каменоломщик летели по воздуху, казалось, что они сжимают друг друга а предсмертных объятиях.

Пленный русский, которому Швейк рассказывал эту историю, недоумевающе смотрел на него, и было ясно, что из всей речи он не понял ни слова.

— Не понимат, я крымский татарин. Аллах ахпер.

Татарин сел на землю и, скрестив ноги и сложив руки на груди, начал молиться: «Аллах ахпер — аллах ахпер — безмила — арахман — арахим — малинкин мустафир».*

— Так ты, выходит, татарин? — с сочувствием протянул Швейк. — Тебе повезло. Раз ты татарин, то должен понимать меня, а я тебя. Гм! Знаешь Ярослава из Штернберга?* Даже имени такого не слыхал, татарское отродье? Тот вам наложил у Гостина по первое число. Вы, татарва, тогда улепётывали с Моравы во все лопатки. Видно, в ваших школах этому не учат, а у нас учат. Знаешь Гостинскую божью матерь?* Ясно, не знаешь. Она тоже была при этом. Да всё равно теперь вас, татарву, в плену всех окрестят!

Швейк обратился к другому пленному:

— Ты тоже татарин?

Спрошенный понял слово «татарин» и покачал головой:

— Татарин нет, черкес, мой родной черкес, секим башка.

Швейку очень везло. Он очутился в обществе представителей различных восточных народов. В эшелоне ехали татары, грузины, осетины, черкесы, мордвины и калмыки.

К несчастью, он ни с кем из них не мог сговориться, и его наравне с другими потащили в Добромиль, где должен был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи.

В этапном управлении в Добромиле их переписали, что было очень трудно, так как ни один из трёхсот пленных, пригнанных в Добромиль, не понимал русского языка, на котором изъяснялся сидевший за столом писарь. Фельдфебель-писарь заявил в своё время, что знает русский язык, и теперь в Восточной Галиции выступал в роли переводчика. Добрых три недели тому назад он заказал немецко-русский словарь и разговорник, но они до сих пор не пришли. Так что вместо русского языка он объяснялся на ломаном словацком языке, который кое-как усвоил, когда в качестве представителя венской фирмы продавал в Словакии иконы св. Стефана, кропильницы и чётки.

С этими странными субъектами он никак не мог договориться и растерялся. Он вышел из канцелярии и заорал на пленных: «Wer kann deutsch sprechen?»[285]

Из толпы выступил Швейк и с радостным лицом устремился к писарю, который велел ему немедленно следовать за ним в канцелярию.

Писарь уселся за списки, за груду бланков, в которые вносились фамилия, происхождение, подданство пленного, и тут произошёл забавный разговор по-немецки.

— Ты еврей? Так? — спросил он Швейка.

Швейк отрицательно покачал головой.

— Не запирайся! Каждый из вас, пленных, знающих по-немецки, еврей, — уверенно продолжал писарь-переводчик. — И баста! Как твоя фамилия? Швейх? Ну, видишь, чего же ты запираешься, когда у тебя такая еврейская фамилия? У нас тебе бояться нечего: можешь признаться в этом. У нас в Австрии еврейских погромов не устраивают. Откуда ты? Ага, Прага, знаю… знаю, это около Варшавы.* У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги, из-под Варшавы. А какой номер у твоего полка? Девяносто первый?

Старший писарь взял военный справочник и принялся его перелистывать.

— Девяносто первый полк, эреванский, Кавказ, кадры его в Тифлисе; удивляешься, как это мы здесь всё знаем?

Швейка действительно удивляла вся эта история, а писарь очень серьёзно продолжал, подавая Швейку свою наполовину недокуренную сигарету:

— Этот табак получше вашей махорки. Я здесь, еврейчик, высшее начальство. Если я что сказал, всё дрожит и прячется. У нас в армии не такая дисциплина, как у вас. Ваш царь — сволочь, а наш — голова! Я тебе сейчас кое-что покажу, чтобы ты знал, какая у нас дисциплина.

Он открыл дверь в соседнюю комнату и крикнул:

— Ганс Лефлер!

— Hier! — послышался ответ, и в комнату вошёл зобатый штириец с плаксивым лицом кретина. В этапном управлении он был на ролях прислуги.

— Ганс Лефлер, — приказал писарь, — достань мою трубку, возьми в зубы, как собаки носят, и бегай на четвереньках вокруг стола, пока я не скажу: «Halt!» При этом ты лай, но так, чтобы трубка изо рта не выпала, не то я прикажу тебя связать.

Зобатый штириец принялся ползать на четвереньках и лаять.

Старший писарь торжествующе посмотрел на Швейка:

— Ну, что я говорил? Видишь, еврейчик, какая у нас дисциплина? И писарь с удовлетворением посмотрел на бессловесную солдатскую тварь, попавшую сюда из далёкого альпийского пастушьего шалаша.

— Halt! — наконец сказал он. — Теперь служи, апорт трубку! Хорошо, а теперь спой по-тирольски!

В помещении раздался рёв: «Голарио, голарио…»

Когда представление окончилось, писарь вытащил из ящика четыре сигареты «Спорт» и великодушно подарил их Гансу, и тут Швейк на ломаном немецком языке принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был такой же послушный денщик. Он делал всё, что ни пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего офицера сожрать ложку его кала, он ответил: «Если господин лейтенант прикажет — я сожру, только чтобы в нём не попался волос. Я страшно брезглив, и меня тут же стошнит».

Писарь засмеялся:

— У вас, евреев, очень остроумные анекдоты, но я готов побиться об заклад, что дисциплина в вашей армии не такая, как у нас. Ну, перейдём к главному. Я назначаю тебя старшим в эшелоне. К вечеру ты перепишешь мне фамилии всех остальных пленных. Будешь получать на них питание, разделишь их по десяти человек. Ты головой отвечаешь за каждого! Если кто сбежит, еврейчик, мы тебя расстреляем!

— Я хотел бы с вами побеседовать, господин писарь, — сказал Швейк.

— Только никаких сделок, — отрезал писарь. — Я этого не люблю, не то пошлю тебя в лагерь. Больно быстро ты у нас, в Австрии, акклиматизировался. Уже хочешь со мной поговорить частным образом… Чем лучше с вами, пленными, обращаешься, тем хуже… А теперь убирайся, вот тебе бумага и карандаш, и составляй список! Ну, чего ещё?

— Ich melde gehorsam, Herr Feldwebl![286]

— Вылетай! Видишь, сколько у меня работы! — Писарь изобразил на лице крайнюю усталость.

Швейк отдал честь и направился к пленным, подумав при этом: «Муки, принятые во имя государя императора, приносят плоды!»

С составлением списка дело обстояло хуже. Пленные долго не могли понять, что им следует назвать свою фамилию. Швейк много повидал на своём веку, но всё же эти татарские, грузинские и мордовские имена не лезли ему в голову. «Мне никто не поверит, — подумал Швейк, — что на свете могут быть такие фамилии, как у этих татар: Муглагалей Абдрахманов — Беймурат Аллагали — Джередже Чередже —

Давлатбалей Нурдагалеев и так далее. У нас фамилии много лучше. Например, у священника в Живогошти фамилия «Вобейда».[287]

Он опять пошёл по рядам пленных, которые один за другим выкрикивали свои имена и фамилии: Джидралей Ганемалей — Бабамулей Мирзагали и так далее.

— Как это ты язык не прикусишь? — добродушно улыбаясь, говорил каждому из них Швейк. — Куда лучше наши имена и фамилии: Богуслав Штепанек, Ярослав Матоушек или Ружена Свободова.

Когда после страшных мучений Швейк наконец переписал всех этих Бабуля Галлее, Худжи Муджи, он решил ещё раз объяснить переводчику-писарю, что он жертва недоразумения, что по дороге, когда его гнали вместе с пленными, он несколько раз тщетно добивался справедливости.

Писарь-переводчик ещё с утра был не вполне трезв, а теперь совершенно потерял способность рассуждать здраво. Перед ним лежала страница объявлений из какой-то немецкой газеты, и он на мотив марша Радецкого распевал: «Граммофон меняю на детскую коляску!», «Покупаю бой белого и зелёного листового стекла», «Каждый может научиться составлять счета и балансы, если пройдёт заочные курсы бухгалтерии» и так далее.

Для некоторых объявлений мотив марша не подходил. Однако писарь прилагал все усилия, чтобы преодолеть это неожиданное препятствие, и поэтому, отбивая такт, колотил кулаком по столу и топал ногами. Его усы, слипшиеся от контушовки, торчали в разные стороны, словно в каждую щёку ему кто-то воткнул по засохшей кисточке от гуммиарабика. Правда, его опухшие глаза заметили Швейка, но их обладатель никак не реагировал на это открытие. Писарь перестал только стучать кулаком и ногами. Зато он начал барабанить по стулу, распевая на мотив «Ich weis nicht, was soll es bedeuten»[288] новое объявление: «Каролина Дрегер, повивальная бабка, предлагает свои услуги достоуважаемым дамам во всех случаях…»

Он пел всё тише и тише, потом чуть слышно, наконец совсем умолк, неподвижно уставившись на большую страницу объявлений, и тем дал Швейку возможность рассказать о своих злоключениях, на что Швейку едва-едва хватило его скромных познаний в немецком языке.



Швейк начал с того, что он всё же был прав, выбрав дорогу в Фельдштейн вдоль ручья, и он не виноват, что какой-то неизвестный русский солдат удирает из плена и купается в пруду, мимо которого он, Швейк, должен был пройти, ибо его обязанностью, как квартирьера, было найти кратчайший путь на Фельдштейн. Русский, как только его увидел, убежал, оставив своё обмундирование в кустах. Он — Швейк — не раз слыхал, что даже на передовых позициях, в целях разведки, например, часто используется форма павшего противника, а потому на этот случай примерил брошенную форму, чтобы проверить, каково ему будет ходить в чужой форме.

Разъяснив эту свою ошибку, Швейк понял, что говорил совершенно напрасно: писарь уснул ещё раньше, чем дорога привела к пруду. Швейк приблизился к нему и слегка коснулся плеча, чего было вполне достаточно, чтобы писарь-фельдфебель свалился со стула на пол, где и продолжал спокойно спать.

— Извиняюсь, господин писарь! — сказал Швейк, отдал честь и вышел из канцелярии.

Рано утром военно-инженерное управление изменило диспозицию, и было приказано группу пленных, в которой находился Швейк, отправить прямо в Перемышль для восстановления железнодорожного пути Перемышль — Любачов.

Всё осталось по-старому. Швейк продолжал свою одиссею среди пленных русских. Конвойные мадьяры всех и вся быстрым темпом гнали вперёд. В одной деревне на привале пленные столкнулись с обозным отделением. У повозок стоял офицер и глядел на пленных. Швейк выскочил

из строя, вытянулся перед офицером и крикнул: «Herr Leutnant, ich melde gehorsam!»

Больше, однако, он сказать ничего не успел, ибо тут же к нему подскочили два солдата-мадьяра и ударами кулака в спину отбросили обратно к пленным.

Офицер бросил вслед Швейку окурок сигареты, но его быстро поднял другой пленный и стал докуривать. После этого офицер начал рассказывать стоящему рядом капралу, что в России есть немцы-колонисты и что они также обязаны воевать.

Затем до самого Перемышля Швейку не представилось подходящего случая пожаловаться и рассказать, что он, собственно говоря, ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Такой случай представился только в Перемышле, когда их вечером загнали в разрушенный форт во внутренней зоне крепости, где находились конюшни для лошадей крепостной артиллерии.

В соломенной подстилке на полу кишело столько вшей, что она шевелилась; казалось, что это не вши, а муравьи, и тащат они материал для постройки своего муравейника.

Пленным роздали тут немного чёрной бурды из чистого цикория и по куску чёрствого кукурузного хлеба.

Потом их принял майор Вольф, в то время владыка всех пленных, занятых на восстановительных работах в крепости Перемышль и её окрестностях. Это был весьма солидный человек. Он держал целый штаб переводчиков, отбиравшихся из пленных специалистов по строительству соответственно их способностям и полученному образованию.

Майор Вольф был твёрдо уверен, что пленные русские притворяются дурачками, так как бывали случаи, когда на его вопрос: «Умеешь ли строить железные дороги?» — все пленные давали стереотипный ответ: «Ни о чём не знаю, ни о чём таком даже не слыхал, жил честно-благородно».

Когда пленные были выстроены перед майором Вольфом и перед всем его штабом, майор Вольф спросил по-немецки, кто из них знает немецкий язык.

Швейк решительно выступил вперёд, вытянулся перед майором, взял под козырёк и отрапортовал, что говорит по-немецки. Майор Вольф, явно довольный, сразу спросил Швейка, не инженер ли он.

— Осмелюсь доложить, господин майор, — ответил Швейк, — я не инженер, но ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Я попал к нам в плен. Случилось это, господин майор, вот как…

— Что? — заорал Вольф.

— Осмелюсь доложить, господин майор, случилось это так…

— Вы чех, — не унимался майор Вольф, — вы переоделись в русскую форму?

— Так точно, господин майор, так оно и было, я искренне рад, что господин майор сразу вошёл в моё положение. Может быть, наши уже сражаются, а я тут безо всякой пользы могу прогулять всю войну. Разрешите, господин майор, ещё раз объяснить всё по порядку.

— Хватит, — отрубил майор Вольф, призвал двух солдат и приказал им немедленно отвести этого человека на гауптвахту. Сам же с одним офицером медленно пошёл вслед за Швейком и, разговаривая на ходу, яростно размахивал руками. В каждой фразе он поминал чешских псов. Второй офицер чувствовал, как безмерно счастлив майор, благодаря проницательности которого удалось поймать одну из этих птичек. Уже в течение многих месяцев командирам воинских частей рассылались секретные инструкции относительно предательской деятельности за границей некоторых перебежчиков из чешских полков. Было установлено, что эти перебежчики, забывая о присяге, вступают в ряды русской армии и служат неприятелю, оказывая ему наиболее ценные услуги в шпионаже.

В вопросе о местонахождении какой-либо боевой организации перебежчиков австрийское министерство внутренних дел пока что действовало вслепую. Оно ещё не знало ничего определённого о революционных организациях за границей, и только в августе, находясь на линии Сокаль — Милятин — Бубново, командиры батальонов получили секретные циркуляры о том, что бывший австрийский профессор Масарик бежал за границу, где ведёт пропаганду против Австрии. Какой-то идиот в дивизии дополнил циркуляр следующим приказом: «В случае поимки немедленно доставить в штаб дивизии».

Майор Вольф в то время ещё и понятия не имел, что именно готовят Австрии перебежчики, которые позднее, встречаясь в Киеве и других местах, на вопрос: «Чем ты здесь занимаешься?» — весело отвечали: «Я предал государя императора».

Из этих циркуляров он знал только о перебежчиках-шпионах, из которых один, а именно тот, которого ведут на гауптвахту, так легко попался в его ловушку. Майор Вольф был несколько тщеславен и легко представил себе, как он получит благодарность от высшего начальства, награду за бдительность, осторожность и способности.

Прежде чем они дошли до гауптвахты, он уже уверил себя, что вопрос: «Кто говорит по-немецки?» — он задал умышленно, так как при первом же

взгляде на пленных этот тип показался ему подозрительным.

Сопровождающий майора офицер кивал головой и высказал мысль, что об аресте необходимо сообщить командованию гарнизона для дальнейшего расследования дела и предания подсудимого военному суду высшей инстанции. Поступить так, как предлагает господин майор, а именно: допросить преступника на гауптвахте и немедленно повесить за гауптвахтой, — решительно нельзя. Он будет повешен, но законным путём, согласно военному судебному уставу. Подробный допрос перед повешением позволит раскрыть его связи с другими подобными преступниками. Кто знает, что ещё при этом вскроется?

Майора Вольфа внезапно охватило упрямство, его обуяла скрытая до сих пор в тайниках души звериная жестокость. Он заявил, что повесит перебежчика-шпиона немедленно после допроса, на свой собственный страх и риск. Он может себе это позволить, так как у него есть знакомства в высших сферах и ему всё нипочём. Здесь как на фронте. Если бы шпиона поймали и разоблачили в непосредственной близости от поля сражения, он был бы немедленно допрошен и повешен, с ним бы не разводили церемоний. Впрочем, господину капитану известно, что в прифронтовой полосе каждый командир от капитана и выше имеет право вешать всех подозрительных людей. Однако в вопросе полномочий военных чинов на повешение майор Вольф немного напутал.

В Восточной Галиции по мере приближения к фронту эти правомочия переходили от высших к низшим чинам, и бывали случаи, когда, например, капрал, начальник патруля, приказывал повесить двенадцатилетнего мальчика, показавшегося ему подозрительным лишь потому, что в покинутой и разграбленной деревне в развалившейся хате варил себе картофельную шелуху.

Спор между капитаном и майором обострялся.

— Вы не имеете на это никакого права! — раздражённо кричал капитан. — Он будет повешен на основании приговора военного суда.

— Будет повешен без приговора! — шипел майор Вольф.

Швейк, которого вели несколько поодаль, слышал этот увлекательный разговор с начала до конца и только заметил сопровождавшим его конвойным:

— Что в лоб, что по лбу. В одном трактире в Либени мы не могли решить, как поступить со шляпником Вашаком, который постоянно хулиганил на танцульках: выкинуть сразу, как только он появится в дверях, после того как он закажет пиво, заплатит и выпьет, или же снять с него ботинки, когда он протанцует первый тур. Трактирщик предложил

выбросить его не в начале танцульки, а после того, как он напьёт и наест: пусть за всё заплатит и сразу же вылетает. А знаете, что устроил этот негодяй? Не пришёл. Ну, что вы на это скажете?

Оба солдата, которые были откуда-то из Тироля, в один голос ответили:

— Nix böhmisch.[289]

— Verstehen sie deutsch? — спокойно спросил Швейк.[290]

— Jawohl![291] — ответили оба, на что Швейк заметил:

— Это хорошо, — по крайней мере, среди своих не пропадёте.

Коротая время в дружеской беседе, они дошли до гауптвахты, где майор Вольф с капитаном продолжал дебаты о судьбе Швейка, а Швейк скромно уселся позади на лавке.

Майор Вольф в конце концов склонился к мнению капитана, что этого человека должно повесить только после продолжительной процедуры, мило именуемой «законный путь».

Если бы они спросили Швейка, что он сам думает на этот счёт, он бы ответил: «Мне очень жаль, господин майор, но, хотя вы по чину выше господина капитана, однако прав господин капитан. Всякая поспешность вредна. Однажды сошёл с ума судья одного из пражских районных судов. Долгое время за ним ничего не замечали, но во время разбирательства дела об оскорблении личности это выяснилось. Некий Знаменачек, повстречав на улице капеллана Гортика, который на уроке закона божьего надавал пощёчин его сынишке, сказал: «Ах ты, осёл, ах ты, чёрная уродина, религиозный идиот, чёрная свинья, поповский козёл, осквернитель Христова учения, лицемер и шарлатан в рясе!» Сумасшедший судья был очень набожный человек. Три его сестры служили у ксендзов кухарками, а он был крёстным их детей. Он так разволновался, что вдруг лишился рассудка и заорал на подсудимого: «Именем его величества императора и короля присуждаю вас к смертной казни через повешение! Приговор суда обжалованию не подлежит. Пан Горачек, — обратился он к судебному надзирателю, — возьмите вот этого господина и повесьте его там, ну, знаете, там, где выбивают ковры, а потом зайдите сюда, получите на пиво!» Само собой разумеется, пан Знаменачек и надзиратель остолбенели, но судья топнул ногой и заорал: «Вы будете повиноваться или нет?»

Тут надзиратель так напугался, что потащил пана Знаменачека вниз, и, не будь адвоката, который вмешался и вызвал Скорую помощь, не знаю, чем бы всё это кончилось для Знаменачека. Судью уже сажали в карету Скорой помощи, а он всё кричал: «Если не найдёте верёвки, повесьте его на

простыне, стоимость учтём после в полугодовом отчёте».

Швейка под конвоем отвели в комендатуру гарнизона, после того как он подписал составленный майором Вольфом протокол, гласивший, что Швейк, солдат австрийской армии, сознательно и без давления с чьей бы то ни было стороны переоделся в русскую форму и после отступления русских был задержан за линией фронта полевой жандармерией.

Всё это было истинной правдой, и Швейк как человек честный возражать не мог. При составлении протокола он неоднократно пытался вставить замечание, которое, быть может, уточнило бы ситуацию, но всякий раз раздавался повелительный окрик господина майора: «Молчать! Я вас об этом не спрашиваю. Дело совершенно ясное!»

И Швейку ничего иного не оставалось, как только отдавать честь и соглашаться: «Так точно, молчу, дело совершенно ясное».

В комендатуре гарнизона он был отведён в какую-то дыру, где прежде находился склад риса и одновременно пансион для мышей. Рис был рассыпан повсюду, и мыши, ничуть не смущаясь Швейка, весело бегали вокруг, поедая зёрна. Швейку пришлось сходить за соломенным тюфяком, но, когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что в его тюфяк переселяется целая мышиная семья. Не было никакого сомнения, что они намерены свить себе новое гнездо на развалинах славы истлевшего австрийского соломенного тюфяка. Швейк принялся стучать в запертую дверь. Подошёл капрал-поляк, и Швейк попросил, чтобы его перевели в другое помещение, так как на своём тюфяке он может заспать мышей и тем нанести ущерб казне, ибо всё, что хранится на военных складах, является казённым имуществом.

Поляк частично понял, погрозил Швейку кулаком перед запертой дверью, упомянув при этом о «вонючей дупе»,[292] и удалился, гневно проворчав что-то о холере, как будто Швейк бог весть как его оскорбил.

Ночь Швейк провёл спокойно, так как мыши не предъявляли к нему больших претензий. По-видимому, у них была своя ночная программа, они выполняли её в соседнем складе военных шинелей и фуражек, которые мыши грызли спокойно и в полной безопасности, так как интендантство опомнилось только год спустя и завело на военных складах казённых кошек, без права на пенсию; кошки значились в интендантствах под рубрикой «K. u k. Militärmagazinkätze».[293] Этот кошачий чин был, собственно говоря, только восстановлением старого института, упразднённого после войны шестьдесят шестого года.

Когда-то давно, при Марии-Терезии, во время войны на военных

складах тоже были кошки, а господа из интендантства все свои делишки с обмундированием сваливали на несчастных мышей.

Однако императорские и королевские кошки во многих случаях не выполняли своего долга, и дело дошло до того, что как-то в царствование императора Леопольда на военном складе на Погоржельце по приговору военного суда были повешены шесть кошек. Воображаю, как посмеивались тогда в усы все, кто имел отношение к этому складу.

*****

Вместе с утренним кофе к Швейку в дыру втолкнули какого-то человека в русской фуражке и в русской шинели.

Человек этот говорил по-чешски с польским акцентом. То был один из негодяев, служивших в контрразведке армейского корпуса, штаб которого находился в Перемышле. Агент военной тайной полиции даже не дал себе труда сколько-нибудь тонко выведать тайны у Швейка.

Он начал прямо:

— Попал я в лужу из-за своей неосторожности. Я служил в Двадцать восьмом полку и сразу перешёл на службу к русским и вот так глупо влип. У русских я вызвался пойти в разведку… Служил я в Шестой киевской дивизии. А ты, товарищ, в каком русском полку служил? Сдаётся мне, что мы где-то встречались. В Киеве я знал чехов, которые вместе с нами пошли на фронт и перешли в русскую армию. Теперь я уже перезабыл их фамилии и из каких мест они были, но ты-то, должно быть, помнишь кое-кого, с кем ты там служил? Мне хотелось бы знать, кто остался из нашего Двадцать восьмого полка.



Вместо ответа Швейк заботливо приложил свою руку ко лбу незнакомца, потом пощупал пульс и, наконец, подведя к маленькому окошечку, попросил его высунуть язык. Всей этой процедуре негодяй не противился, думая, что Швейк объясняется с ним тайными заговорщицкими знаками. Потом Швейк начал колотить в дверь, и, когда надзиратель пришёл спросить, почему арестованный так шумит, он по-чешски и по-немецки потребовал, чтобы немедля позвали доктора, так как человек, которого сюда поместили, бредит в горячке.

Однако это не произвело должного впечатления: за больным человеком никто не пришёл. Он преспокойно остался сидеть в камере и без умолку болтал что-то о Киеве, о Швейке, которого он, безусловно, видел

маршировавшим среди русских солдат.

— Вы наверняка напились болотной воды, — сказал Швейк, — как наш молодой Тынецкий, человек вообще неглупый. Как-то раз пустился он путешествовать и добрался до самой Италии. Он ни о чём другом не говорил, только об этой самой Италии, дескать, там одни болотные воды и никаких других достопримечательностей. Вот он тоже от болотной воды схватил лихорадку. Трясла она его четыре раза в год: на всех святых — на святого Иосифа, на Петра и Павла и на успение богородицы. Как его схватит эта самая лихорадка, он, вроде вот вас, начинал узнавать чужих, незнакомых ему людей. Ну, например, в трамвае мог сказать незнакомому человеку, что видел его на вокзале в Вене. Кого ни встретит на улице, — всех он или видел на вокзале в Милане, или выпивал с ними в винном погребке при ратуше в штирийском Граце. Если эта самая болотная горячка нападала на него, когда он сидел в трактире, он начинал узнавать посетителей и говорил, что все они ехали с ним на пароходе в Венецию. Против этой болезни нет никаких лекарств, кроме одного, которое выдумал новый санитар в Катержинках. Велели этому санитару ухаживать за помешанным, который целый божий день ничего не делал, а только сидел в углу и считал: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть», и опять: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Это был какой-то профессор. Санитар чуть не лопнул от злости, видя, что сумасшедший не может перескочить через шестёрку. Сначала санитар по-хорошему просил его сосчитать: «Семь, восемь, девять, десять». Куда там! Профессор и в ус не дует, сидит себе в уголку и считает: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». Санитар не выдержал, подскочил к своему подопечному и, когда тот проговорил «шесть», дал ему подзатыльник. «Вот вам, говорит, семь, а вот восемь, девять, десять». Что ни цифра, то подзатыльник. Больной схватился за голову и спрашивает, где он находится. Когда санитар сказал, что в сумасшедшем доме, профессор сразу припомнил, что попал туда из-за какой-то кометы. Он высчитал, что она появится через год, восемнадцатого июня, в шесть часов утра, а ему доказали, что эта комета сгорела уже несколько миллионов лет тому назад. Я с этим санитаром был знаком. Когда профессор окончательно выздоровел и выписался, он взял этого санитара в слуги. Никаких других обязанностей у него не было, только каждое утро давать господину профессору четыре подзатыльника, что он и выполнял добросовестно и аккуратно.

— Я знал всех ваших киевских знакомых, — неутомимо продолжал агент контрразведки. — Не с вами ли был один такой толстый и один такой худой? Никак не припомню, как их звали и какого они полка.

— Пусть это вас не беспокоит, — успокаивал его Швейк, — с каждым

может случиться! Разве запомнишь фамилии всех толстых и всех худых? Фамилии худых людей, конечно, труднее запомнить, потому что их на свете больше. Они, как говорится, составляют большинство.

— Товарищ, — захныкал императорский и королевский мерзавец, — ты мне не веришь! А ведь нас ждёт одинаковая участь!

— На то мы и солдаты, — невозмутимо ответил Швейк, — для того нас матери и на свет породили, чтобы на войне, когда мы наденем мундиры, от нас полетели клочья. И мы на это идём с радостью, потому как знаем, что наши кости не будут гнить понапрасну. Мы падём за государя императора и его августейшую семью, ради которой мы отвоевали Герцеговину. Из наших костей будут вырабатывать костяной уголь для сахарных заводов. Это уже несколько лет тому назад объяснял нам господин лейтенант Циммер. «Вы свиная банда, — говорил он, — кабаны вы необразованные, вы никчёмные, ленивые обезьяны, вы своим ножищам покоя не даёте, точно они никакой цены не имеют. Если вас убьют на поле сражения, то из каждой вашей ноги выйдет полкило костяного угля, а из целого солдата со всеми костями его рук и ног — свыше двух кило. Сквозь вас, идиоты, на сахароваренных заводах будут фильтровать сахар. Вы и понятия не имеете, как после смерти будете полезны потомкам. Ваши дети будут пить кофе с сахаром, процеженным сквозь ваши кости, олухи». Я, помнится, задумался, а он ко мне: «О чём размышляешь?» — «Осмелюсь доложить, говорю, я полагаю, что костяной уголь из господ офицеров должен быть значительно дороже, чем из простых солдат». За это я получил три дня одиночки.

Компаньон Швейка постучал в дверь и стал о чём-то договариваться со стражей, а та доложила канцелярии.

Вскоре за компаньоном пришёл штабной писарь, и Швейк опять остался один.

Уходя, эта тварь, указывая на Швейка, во всеуслышание заявила:

— Это мой старый товарищ по Киеву.

Целых двадцать четыре часа пробыл Швейк в одиночестве, если не считать тех нескольких минут, когда ему приносили еду.

Ночью он убедился, что русская шинель теплее и больше австрийской и что нет ничего неприятного, если ночью мышь обнюхивает спящего. Швейку казалось, что кто-то нежно шепчет ему на ухо. На рассвете «шёпот» этот был прерван конвоирами, пришедшими за арестованным.

Швейк до сих пор не может точно определить, что, собственно, это был за суд, куда привели его в то печальное утро. Но что это был суд военный, в этом не могло быть никаких сомнений. Там заседали генерал,

полковник, майор, поручик, подпоручик, писарь и какой-то пехотинец, который, собственно говоря, ничего другого не делал, только подносил курящим спички.

Допрос длился недолго.



Несколько больший интерес, чем другие, проявил к Швейку майор, говоривший по-чешски.

— Вы предали государя императора! — рявкнул он.

— Иисус Мария! Когда? — воскликнул Швейк. — Чтобы я предал государя императора, нашего светлейшего монарха, из-за которого я столько выстрадал?!

— Бросьте эти глупости, — сказал майор.

— Осмелюсь доложить, господин майор, предать государя императора — не глупость. Мы народ служивый и присягали государю императору на верность, а присягу эту, как пели в театре, я, как верный муж, сдержал.

— Вот, — сказал майор, — вот здесь доказательства вашей вины, и вот где правда. — Он указал на объёмистую кипу бумаг.

Основной материал дал суду человек, которого подсадили к Швейку.

— Вы и теперь не желаете сознаваться? — спросил майор. — Ведь вы сами подтвердили, что, находясь в рядах австрийской армии, вы добровольно переоделись в русскую форму. Спрашиваю в последний раз: принуждал вас кто-нибудь к этому?

— Я сделал это без всякого принуждения.

— Добровольно?

— Добровольно.

— Без давления?

— Без давления.

— А вы знаете, что вы пропали?

— Знаю; в Девяносто первом полку меня, безусловно, уже ждут, но разрешите мне, господин майор, сделать небольшое примечание о том, как люди добровольно переодеваются в чужое платье. В тысяча девятьсот восьмом году, в июле, в старом рукаве реки Бероунки в Збраславе купался переплётчик Божетех с Пршичной улицы в Праге. Одежду он повесил на вербах и очень обрадовался, когда спустя некоторое время в воду влез ещё один господин. Слово за слово, баловались, брызгались, ныряли до самого вечера. Но из воды этот незнакомый господин вылез первым: пора-де ужинать. Пан Божетех остался посидеть ещё немного в воде, а когда пошёл одеваться к вербам, то вместо своей одежды нашёл босяцкие лохмотья и записку: «Я долго размышлял: брать, не брать, ведь мы так хорошо веселились, тут я сорвал ромашку, и последний оторванный лепесток вышел: брать! А посему я обменялся с вами тряпками. Не бойтесь надеть их: они очищены от вшей неделю назад в окружной тюрьме в Добржиши. В другой раз внимательнее приглядывайтесь к тому, с кем купаетесь: в воде всякий голый человек похож на депутата, даже если он убийца. Вы даже не знаете, с кем купались. Купание того стоило. К вечеру вода самая приятная. Влезьте в воду ещё разок, чтоб прийти в себя».

Пану Божетеху не оставалось ничего другого, как дождаться темноты. Потом он завернулся в босяцкие лохмотья и направился в Прагу. Он старался обойти шоссе, шёл лугами, окольными тропками и встретился с жандармским патрулём из Хухли, который арестовал бродягу и на другой день утром отвёл его в районный суд в Збраслав, ведь каждый может назваться Йозефом Божетехом, переплётчиком с Пршичной улицы в Праге, дом номер шестнадцать.

Секретарь, который не так уж блестяще знал чешский язык, решил, что обвиняемый сообщает адрес своего соучастника, и переспросил:

— Ist das genau Prag, № 16, Josef Bozetech?[294]

— Живёт ли он сейчас там, я не знаю, — ответил Швейк, — но тогда, в тысяча девятьсот восьмом году, жил. Он очень красиво переплетал книги, но долго держал, потому что сперва прочитывал их, а потом переплетал соответственно содержанию. Если он делал на книге чёрный обрез, то её не стоило читать: каждому сразу было понятно, что у романа очень плохой конец. Может, вы желаете узнать более точные подробности? Да, чтобы не забыть: он каждый день сидел «У Флеков» и рассказывал содержание всех книг, которые ему перед тем отдали в переплёт.

Майор подошёл к секретарю и что-то шепнул ему на ухо. Тот зачеркнул в протоколе адрес нового мнимого заговорщика, опасного военного преступника Божетеха.

Странное судебное заседание протекало под председательством генерала Финка фон Финкенштейна, приспособившего этот суд к типу полевого суда.

У некоторых людей мания собирать спичечные коробки, а у этого господина была мания организовывать полевые суды, хотя в большинстве случаев это противоречило воинскому уставу.

Генерал объявил, что никаких аудиторов ему не нужно, что он сам созовёт суд, а через три часа обвиняемый должен висеть. Пока генерал был на фронте, в полевых судах недостатка у него не ощущалось.

Как иной во что бы то ни стало должен сыграть партию в шахматы, в бильярд или «марьяж», так этот знаменитый генерал ежедневно должен был устраивать срочные заседания полевых судов. Он председательствовал на них и с величайшей серьёзностью и радостью объявлял подсудимому мат.

Сентиментальный человек написал бы, наверное, что на совести у этого генерала десятки человеческих жизней, особенно после востока, где, по его словам, он боролся с великорусской агитацией среди галицийских украинцев. Мы, однако, принимая во внимание его точку зрения, не можем сказать, чтобы у него вообще кто-нибудь был на совести.

Угрызений совести он не испытывал, их для него не существовало. Приказав на основании приговора своего полевого суда повесить учителя, учительницу, православного священника или целую семью, он возвращался к себе на квартиру, как возвращается из трактира азартный игрок в «марьяж», с удовлетворением вспоминая, как ему дали «флека», как он дал «ре», а они «супре», он «тути», они «боты», как он выиграл и набрал сто семь.

Он считал повешение делом совершенно простым и естественным, своего рода хлебом насущным, и, вынося приговор, довольно часто забывал про государя императора. Он не говорил «именем его императорского величества вы приговариваетесь к смертной казни через повешение», но просто объявлял: «Я приговариваю вас».

Иногда он умел найти в повешении комические моменты, о чём однажды написал своей супруге в Вену: «…ты, например, не можешь себе представить, моя дорогая, как я недавно смеялся. Несколько дней назад я осудил одного учителя за шпионаж. Есть тут у меня один испытанный человек — писарь. У него большая практика по части вешания. Для него

это своего рода спорт. Я находился в своей палатке, когда, по вынесении приговора, явился ко мне этот самый писарь и спрашивает: „Где прикажете повесить учителя?“ Я говорю: „На ближайшем дереве“. И вот представь себе комизм положения. Кругом степь, ничего, кроме травы, не видать, и далеко впереди нет ни единого деревца. Но приказ есть приказ, а потому взял писарь с собой учителя и конвойных, и поехали они вместе искать дерево. Вернулись только вечером, и учитель с ними. Писарь пришёл ко мне и спрашивает опять: „На чём повесить этого молодчика?“ Я его выругал и напомнил, что уже дал приказ — на ближайшем дереве. Он сказал, что утром попробует это сделать, а утром пришёл бледный как полотно: за ночь, мол, учитель исчез. Меня это так рассмешило, что я простил всех, кто его караулил. И ещё пошутил, что учитель, вероятно, сам пошёл искать дерево. Как видишь, моя дорогая, мы здесь не скучаем. Скажи маленькому Вилли, что папа его целует и скоро пришлёт ему живого русского. Вилли будет на нём ездить, как на лошадке. Ещё, моя дорогая, вспоминаю такой смешной случай. Повесили мы как-то одного еврея за шпионаж. Этот молодчик встретился нам по дороге, хотя делать ему там было нечего; он оправдывался и говорил, что продавал сигареты. Так вот, его повесили, но только на несколько секунд. Вдруг верёвка оборвалась, и он упал, но сразу опомнился и закричал мне: „Господин генерал, я иду домой! Вы меня уже повесили, а, согласно закону, я не могу быть повешен дважды за одно и то же“. Я расхохотался, и еврея мы отпустили. У нас, дорогая моя, весело!..»

Когда генерала Финка назначили комендантом крепости Перемышль, ему уже не так часто представлялась возможность для подобных цирковых представлений, и он с большой радостью ухватился за дело Швейка.

Теперь Швейк стоял перед этим тигром, который, сидя в центре длинного стола, курил сигарету за сигаретой и приказывал переводить ответы Швейка, после чего одобрительно кивал головой.

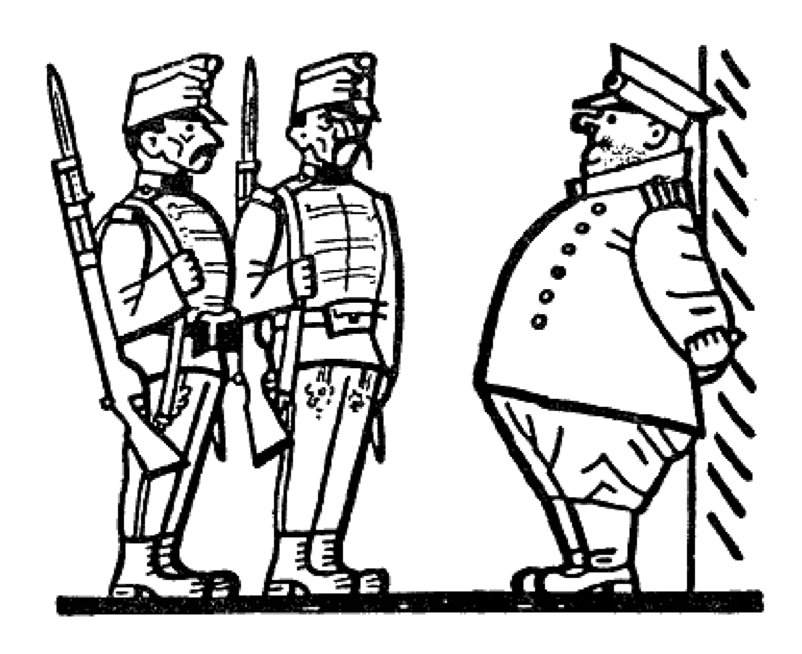
Майор внёс предложение послать телеграфный запрос в бригаду для выяснения, где в настоящее время находится одиннадцатая маршевая рота Девяносто, первого полка, к которой, согласно показаниям обвиняемого, он принадлежит.

Генерал высказался против и заявил, что этим задержится вынесение приговора, что противоречит смыслу данного мероприятия. Сейчас налицо полное признание обвиняемого в том, что он переоделся в русскую форму потом имеется одно важное свидетельское показание, согласно которому обвиняемый признался, что был в Киеве. Он, генерал, предлагает немедленно удалиться на совещание, вынести приговор и немедленно

привести его в исполнение.

Майор всё же настаивал, что необходимо установить личность обвиняемого, так как это — дело исключительной политической важности. Установив личность этого солдата, можно будет добраться и до связей обвиняемого с его бывшими товарищами по той воинской части, к которой он принадлежал.

Майор был романтиком-мечтателем. Он говорил, что нужно найти какие-то нити, что недостаточно приговорить одного человека. Приговор является только результатом определённого следствия, которое заключает в себе нити, каковые нити… Он окончательно запутался в своих нитях, но все его поняли и одобрительно закивали головой, даже сам генерал, которому нити очень понравились, потому что он представил, как на Майоровых нитях висят новые полевые суды. Поэтому он уже не протестовал против того, чтобы справиться в бригаде и точно установить, действительно ли Швейк принадлежит к Девяносто первому полку и когда, во время каких операций одиннадцатой маршевой роты, он перешёл к русским.



Швейк во время дебатов находился в коридоре, под охраной двух штыков. Потом его опять ввели в зал суда, поставили перед лицом судей и ещё раз спросили, какого он полка. Потом Швейка перевели в гарнизонную тюрьму.

Вернувшись после неудавшегося полевого суда домой, генерал Финк лёг на диван и стал обдумывать, как бы ускорить эту процедуру.

Он был твёрдо уверен, что ответ они получат скоро, но всё же это уже

не та быстрота, какой отличались его суды, так как после этого последует духовное напутствие приговорённого, что задержит приведение приговора в исполнение на лишних два часа.

— А, всё равно, — решил генерал Финк. — Мы можем предоставить ему духовное напутствие ещё перед вынесением приговора, до получения сведений из бригады. Всё равно ему висеть.

Генерал Финк приказал позвать к себе фельдкурата Мартинеца. Это был несчастный учитель закона божьего, капеллан, откуда-то из Моравии. Раньше он был под началом такого безнравственного варвара, что предпочёл пойти в армию. Новый фельдкурат был по-настоящему религиозный человек, он с горечью в сердце вспоминал о своём фараре, который медленно, но верно шёл навстречу погибели. Он вспоминал, как его фарар до положения риз надирался сливовицей и однажды ночью во что бы то ни стало хотел втолкнуть ему в постель бродячую цыганку, которую подобрал где-то за селом, когда сильно навеселе возвращался с винокуренного завода.

Фельдкурат Мартинец надеялся, что, напутствуя раненых и умирающих на поле битвы, он искупит грехи своего распутного фарара, который, придя домой поздно ночью, неоднократно будил его, приговаривая при этом:

— Еничек, Еничек! Толстая девка — жизнь моя!

Надежды его не сбылись. Его перебрасывали из гарнизона в гарнизон, где он всего-навсего раз в две недели должен был произносить проповедь солдатам гарнизона и бороться с искушениями Офицерского собрания, а там велись такие разговоры, что в сравнении с ними «толстые девки» фарара были невинной молитвой к ангелу-хранителю.

Обычно его вызывали к генералу Финку во время крупных операций на фронте, когда нужно было торжественно отпраздновать очередную победу австрийской армии. Генерал Финк с таким же удовольствием организовывал торжественные полевые обедни, с каким устраивал полевые суды.

Бестия Финк был таким ярым патриотом Австрии, что не молился о победе германского или турецкого оружия. Когда германцы одерживали победу над французами или англичанами, у алтаря царило молчание.

Незначительную удачную схватку австрийского разведочного патруля с русским аванпостом штаб раздувал, словно огромный мыльный пузырь, до поражения целого корпуса русских, и это служило генералу Финку предлогом для торжественных богослужений. У несчастного фельдкурата Мартинеца создавалось такое впечатление, что генерал-комендант Финк

является одновременно главою католической церкви в Перемышле.

Генерал Финк сам распоряжался церемониалом обедни, высказывая всякий раз пожелание, чтобы такие богослужения совершались по образцу богослужений в праздник тела господня — с октавой.

Кроме того, генерал Финк имел обыкновение по возношении святых даров подскакать галопом на коне к алтарю и троекратно возгласить: «Ура! ура! ура!»

Фельдкурат Мартинец, душа набожная и праведная, один из немногих, кто ещё верил в бога, не любил визитов к генералу Финку.

Комендант крепости Финк давал фельдкурату необходимые инструкции, а потом приказывал налить ему чего-нибудь покрепче и рассказывал рабу божьему Мартинецу новейшие анекдоты из глупейших сборничков, издававшихся специально для армии журналом «Lustige Blatter».

Генерал собрал целую библиотеку книжонок с глупыми названиями, вроде «Юмор для зрения и слуха в солдатском ранце», «Гинденбурговы анекдоты», «Гинденбург в зеркале юмора», «Второй ранец юмора, наполненный Феликсом Шлемпером», «Из нашей гуляшевой пушки». «Сочные гранатные осколки из окопов», или такая чепуха, как «Под двуглавым орлом», «Венский шницель из императорской королевской полевой кухни разогрел Артур Локеш». Иногда он пел весёлые солдатские песни из сборника «Wir mussen siegen»,[295] причём неустанно подливал чего-нибудь покрепче, заставляя фельдкурата пить и горланить вместе с ним. Потом заводил похабные разговоры, во время которых фельдкурат Мартинец с тоской в сердце вспоминал своего фарара, по части сальностей ни в чём не уступавшего генералу Финку.

Фельдкурат Мартинец с ужасом замечал, что чем чаще он ходит в гости к генералу Финку, тем ниже падает нравственно.

Несчастному начали нравиться ликёры, которые он распивал у генерала. Постепенно он вошёл во вкус генеральских разговоров. Воображению его рисовались безнравственные картины, и ради контушовки, рябиновки и старого вина в покрытых паутиной бутылках, которыми его поил генерал Финк, фельдкурат забывал о боге. Теперь между строчек требника у него танцевали «девочки» из генеральских анекдотов. Отвращение к посещениям генерала ослабевало.

Генерал полюбил фельдкурата Мартинеца, который сначала явился к нему святым Игнатием Лойолой, а затем приспособился к генеральскому окружению.

Как-то раз генерал позвал к себе двух сестёр милосердия из полевого

госпиталя. Собственно говоря, в госпитале они не служили, а только были к нему приписаны, чтобы получать жалование, и подрабатывали, как это часто бывало в те тяжёлые времена, проституцией. Генерал велел позвать фельдкурата Мартинеца, который уже так запутался в тенётах дьявола, что после получасового флирта приласкал обеих дам, причём вошёл в такой раж, что обслюнявил на диване всю подушку. Потом он долгое время упрекал себя за такое развратное поведение. Грех свой он не искупил даже тем, что, возвращаясь ночью домой, упал на колени в парке по ошибке перед статуей архитектора и городского головы — мецената пана Грабовского, у которого в восьмидесятых годах были большие заслуги перед Перемышлем.

Топот военного патруля смешался с его пламенной молитвой:

— «Не осуди раба своего. Несть человека безгрешного перед судом твоим, не разрешишь ли от всех грехов его. Да не будет суров твой приговор. Помощи у тебя молю и в руки твои, господи, предаю дух мой».

С той поры, когда его звали к генералу Финку, он несколько раз пытался отречься от всяческих земных наслаждений, ссылаясь на больной желудок. Он верил, что это ложь во спасение и что она избавит его душу от мук ада. Но вместе с тем он считал, что нализаться его обязывает воинская дисциплина: если генерал предлагает фельдкурату: «Нализжись, товарищ!» — сделать это нужно хотя бы из одного только уважения к начальнику.

Уклониться ему, впрочем, не всегда удавалось, особенно после торжественных полевых богослужений, когда генерал устраивал ещё более торжественные пиры за счёт гарнизонной кассы. Потом в финансовой части все расходы смешивали вместе, чтобы заодно и себе урвать кое-что. После таких торжеств фельдкурату казалось, что он морально погребён перед лицом господним, и это приводило его в трепет.

Он ходил словно в забытьи и, не теряя в этом хаосе веры в бога, совершенно серьёзно стал подумывать: не следует ли ему ежедневно систематически бичевать себя?

В таком настроении явился он по вызову к генералу.

Генерал вышел к нему сияющий и радостный.

— Слышали, — ликующе воскликнул он, идя навстречу Мартинецу, — о моём полевом суде? Будем вешать одного вашего земляка.

При слове «земляк» фельдкурат бросил на генерала страдальческий взгляд. Он уже несколько раз опровергал оскорбительное предположение, будто он чех, и неоднократно объяснял, что в их моравский приход входят два села: чешское и немецкое — и что ему часто приходится одну неделю говорить проповеди для чехов, а другую — для немцев, но так как в

чешском селе нет чешской школы, а только немецкая, то он должен преподавать закон божий в обоих сёлах по-немецки, и, следовательно, он никоим образом не является чехом. Однажды это убедительное доказательство послужило сидевшему за столом майору предлогом для замечания, что этот фельдкурат из Моравии, собственно говоря, просто мелочная лавочка.

— Пардон, — извинился генерал, — я забыл, он не ваш земляк, это чех-перебежчик, изменник, служил у русских, будет повешен. Пока для проформы мы всё же устанавливаем его личность. Впрочем, это неважно, он будет повешен немедленно, как только по телеграфу придёт ответ.

Усаживая фельдкурата рядом с собой на диван, генерал оживлённо продолжал:

— У меня уж если полевой суд, то всё должно делаться быстро, как полагается в полевом суде; быстрота — это мой принцип. В начале войны я был за Львовом и добился такой быстроты, что одного молодчика мы повесили через три минуты после вынесения приговора. Впрочем, это был еврей, но одного русина мы тоже повесили через пять минут после совещания. — Генерал добродушно засмеялся. — Случайно оба не нуждались в духовном напутствии. Еврей был раввином, а русин — священником. Здесь перед нами иной случай, теперь мы будем вешать католика. Мне пришла в голову превосходная идея: дабы потом не задерживаться, духовное напутствие вы дадите ему заранее, чтобы, как я только что вам объяснил, нам не задерживаться. — Генерал позвонил и приказал денщику: — Принеси две из вчерашней батареи.

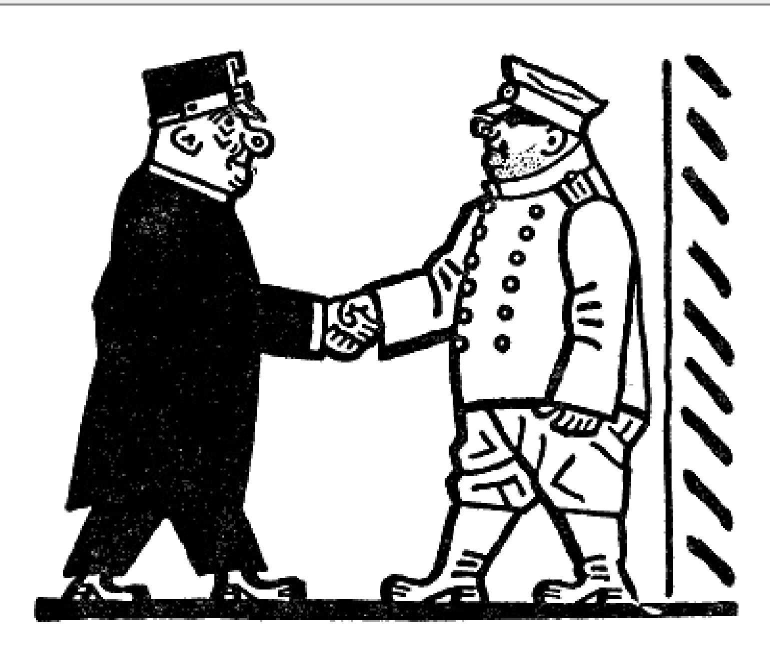
Минуту спустя, наполняя бокал фельдкурата вином, он приветливо обратился к нему:

— Выпейте в путь-дорогу перед духовным напутствием…

В этот грозный час из-за решётки раздавалось пение сидевшего на койке Швейка:

Мы солдаты-молодцы,
Любят нас красавицы,
У нас денег сколько хошь,
Нам приём везде хорош…
Ца-рара… Ein, zwei!

Глава II
ДУХОВНОЕ НАПУТСТВИЕ



Фельдкурат Мартинец не вошёл, а буквально впорхнул к Швейку, как балерина на сцену. Жажда небесных благ и бутылка старого «Гумпольдскирхен» сделали его в эту трогательную минуту лёгким, как пёрышко. Ему казалось, что в этот серьёзный и священный момент он приближается к богу, в то время как приближался он к Швейку.

За ним заперли дверь и оставили наедине со Швейком. Фельдкурат восторженно обратился к сидевшему на койке арестанту:

— Возлюбленный сын мой, я фельдкурат Мартинец.

Всю дорогу это обращение казалось ему наиболее соответствующим моменту и отечески-трогательным.

Швейк поднялся со своего ложа, крепко пожал руку фельдкурату и представился:

— Очень приятно, я Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка. Нашу часть недавно перевели в Брук-на-Лейте. Присаживайтесь, господин фельдкурат, и расскажите, за что вас посадили. Вы всё же в чине офицера, и вам полагается сидеть на офицерской гауптвахте, а вовсе не здесь. Ведь эта койка кишит вшами. Правда, иной сам не знает, где, собственно, ему положено сидеть. Бывает, в канцелярии напутают или случайно так произойдёт. Сидел я как-то, господин фельдкурат, под арестом в Будейовицах, в полковой тюрьме, и привели ко

мне зауряд-кадета: эти зауряд-кадеты были вроде как фельдкураты: ни рыба ни мясо, орёт на солдат, как офицер, а случись с ним что, — запирают вместе с простыми солдатами.

Были они, скажу я вам, господин фельдкурат, вроде как подзаборники: на довольствие в унтер-офицерскую кухню их не зачисляли, довольствоваться при солдатской кухне они тоже не имели права, так как были чином выше, но и офицерское питание опять же им не полагалось. Было их тогда пять человек. Сначала они только сырки жрали в солдатской кантине, ведь питание на них не получали. Потом в это дело вмешался обер-лейтенант Вурм и запретил им ходить в солдатскую кантину: это-де несовместимо с честью зауряд-кадета. Ну что им было делать: в офицерскую-то кантину их тоже не пускали. Повисли они между небом и землей и за несколько дней так настрадались, что один из них бросился в Мальшу, а другой сбежал из полка и через два месяца прислал в казармы письмо, где сообщал, что стал военным министром в Марокко. Осталось их четверо: того, который топился в Мальше, спасли. Он когда бросался, то от волнения забыл, что умеет плавать и что выдержал экзамен по плаванию с отличием. Положили его в больницу, а там опять не знали, что с ним делать, укрывать офицерским одеялом или простым; нашли такой выход: одеяла никакого не дали и завернули в мокрую простыню, так что он через полчаса попросил отпустить его обратно в казармы. Вот его-то, совсем ещё мокрого, и посадили со мной. Просидел он дня четыре и блаженствовал, так как получал питание, арестантское, правда, но всё же питание. Он почувствовал под ногами, как говорится, твёрдую почву. На пятый день за ним пришли, а через полчаса он вернулся за фуражкой, заплакал от радости и говорит мне: «Наконец-то пришло решение относительно нас. С сегодняшнего дня нас, зауряд-кадетов, будут сажать на гауптвахту с офицерами. За питание будем приплачивать в офицерскую кухню, а кормить нас будут только после того, как наедятся офицеры. Спать будем вместе с нижними чинами и кофе тоже будем получать из солдатской кухни. Табак будем получать вместе с солдатами».

Только теперь фельдкурат Мартинец опомнился и прервал Швейка фразой, содержание которой не имело никакого отношения к предшествовавшему разговору:

— Да, да, возлюбленный сын мой, между небом и землей существуют вещи, о которых следует размышлять с пламенным сердцем и с полной верой в бесконечное милосердие божие. Прихожу к тебе, возлюбленный сын мой, с духовным напутствием.

Он умолк, потому что напутствие у него как-то не клеилось. По дороге

он обдумал план своей речи, которая должна была навести преступника на размышления о своей жизни и вселить в него уверенность, что на небе ему отпустят все грехи, если он покается и будет искренне скорбеть о них.

Пока он размышлял, как лучше перейти к основной теме, Швейк опередил его, спросив, нет ли у него сигареты.

Фельдкурат Мартинец до сих пор ещё не научился курить. Это было то последнее, что он сохранил от своего прежнего образа жизни. Однажды в гостях у генерала Финка, когда в голове у него зашумело, он попробовал выкурить сигару, но его тут же вырвало. Тогда у него было такое ощущение, будто это ангел-хранитель предостерегающе пощекотал ему глотку.

— Я не курю, возлюбленный сын мой. — с необычайным достоинством ответил он Швейку.

— Удивляюсь, — сказал Швейк, — я был знаком со многими фельдкуратами, так те дымили, что твой винокуренный завод в Злихове! Я вообще не могу себе представить фельдкурата некурящего и непьющего. Знал я одного, который не курил, но тот зато жевал табак. Во время проповеди он заплёвывал всю кафедру. Вы откуда будете, господин фельдкурат?

— Из Нового Ичина, — упавшим голосом отозвался его императорское королевское преподобие Мартинец.

— Так вы, может, знали, господин фельдкурат, Ружену Гаудрсову, она в позапрошлом году служила в одном пражском винном погребке на Платнержской улице и подала в суд сразу на восемнадцать человек, требуя с них алименты, так как родила двойню. У одного из близнецов один глаз был голубой, другой карий, а у второго — один глаз серый, другой чёрный, поэтому она предполагала, что тут замешаны четыре господина с такими же глазами. Эти господа ходили в тот винный погребок и кое-что имели с ней. Кроме того, у первого из двойняшек одна ножка была кривая, как у советника из городской управы, он тоже захаживал туда, а у второго на одной ноге было шесть пальцев, как у одного депутата, тамошнего завсегдатая. Теперь представьте себе, господин фельдкурат, что в гостиницы и на частные квартиры с ней ходили восемнадцать таких посетителей и от каждого у этих близнецов осталась какая-нибудь примета. Суд решил, что в такой толчее отца установить невозможно, и тогда она всё свалила на хозяина винного погребка, у которого служила, и подала иск на него. Но тот доказал, что он уже двадцать с лишним лет импотент после операции, которая ему была сделана в связи с воспалением нижних конечностей. В конце концов её спровадили, господин фельдкурат, к вам в

Новый Ичин. И вот вам наука: кто за большим погонится, тот ни черта не получит. Она должна была держаться одного и не утверждать перед судом, что один близнец от депутата, а другой от советника из городской управы. От одного — и всё тут. Время рождения ребёнка легко вычислить: такого-то числа я была с ним в номере, а такого-то числа такого-то месяца у меня родился ребёнок. Само собой разумеется, если роды нормальные, господин фельдкурат. В таких номерах за пятёрку всегда можно найти свидетеля, полового, например, или горничную, которые вам присягнут, что в ту ночь он действительно был с нею и она ему ещё сказала, когда они спускались по лестнице: «А если что-нибудь случится?» А он ей на это ответил: «Не бойся, моя канимура, о ребёнке я позабочусь».

Фельдкурат задумался. Духовное напутствие теперь показалось ему делом нелёгким, хотя в основном им был разработан план того, о чём и как он будет говорить с возлюбленным сыном: о безграничном милосердии в день Страшного суда, когда из могил восстанут все воинские преступники с петлёй на шее. Если они покаялись, то все будут помилованы, как «благоразумный разбойник» из Нового Завета.

Он подготовил, быть может, одно из самых проникновенных духовных напутствий, которое должно было состоять из трёх частей: сначала он хотел побеседовать о том, что смерть через повешение легка, если человек вполне примирён с богом. Воинский закон наказывает за измену государю императору, который является отцом всех воинов, так что самый незначительный проступок воина следует рассматривать как отцеубийство, глумление над отцом своим. Далее он хотел развить свою теорию о том, что государь император — помазанник божий, что он самим богом поставлен управлять светскими делами, как папа поставлен управлять делами духовными. Измена императору является изменой самому богу. Итак, воинского преступника ожидают, помимо петли, муки вечные, вечное проклятие. Однако если светское правосудие в силу воинской дисциплины не может отменить приговора и должно повесить преступника, то что касается другого наказания, а именно вечных мук, — здесь ещё не всё потеряно. Тут человек может парировать блестящим ходом — покаянием. Фельдкурат представлял себе трогательную сцену, после которой там, на небесах, вычеркнут все записи о его деяниях и поведении на квартиру генерала Финка в Перемышле.

Он представлял себе, как под конец он заорёт на осуждённого: «Кайся, сын мой, преклоним вместе колена! Повторяй за мной, сын мой!»

А потом в этой вонючей, вшивой камере раздастся молитва: «Господи боже! Тебе же подобает смилостивиться и простить грешника! Усердно

молю тя за душу воина (имярек), коей повелел ты покинуть свет сей, согласно приговору военно-полевого суда в Перемышле. Даруй этому пехотинцу, покаянно припадающему к стопам твоим, прощение, избавь его от мук ада и допусти его вкусить вечные твоя радости».

— С вашего разрешения, господин фельдкурат, вы уже пять минут молчите, будто воды в рот набрали, словно вам и не до разговора. Сразу видать, что в первый раз попали под арест.

— Я пришёл, — серьёзно сказал фельдкурат, — ради духовного напутствия.

— Чудно, господин фельдкурат, чего вы всё время толкуете об этом духовном напутствии? Я, господин фельдкурат, не в состоянии дать вам какое бы то ни было напутствие. Вы не первый и не последний фельдкурат, попавший за решётку. Кроме того, по правде сказать, господин фельдкурат, нет у меня такого дара слова, чтобы я мог кого-либо напутствовать в тяжёлую минуту. Один раз я попробовал было, но получилось не особенно складно. Присаживайтесь-ка поближе, я вам кое-что расскажу. Когда я жил на Опатовицкой улице, был у меня один приятель Фаустин, швейцар гостиницы, очень достойный человек. Правильный человек, рачительный. Всех уличных девок знал наперечёт. В любое время дня и ночи вы, господин фельдкурат, могли прийти к нему в гостиницу и сказать: «Пан Фаустин, мне нужна барышня». Он вас подробно расспросит, какую вам: блондинку, брюнетку, маленькую, высокую, худую, толстую, немку, чешку или еврейку, незамужнюю, разведённую или замужнюю дамочку, образованную или без образования.

Швейк дружески прижался к фельдкурату и, обняв его за талию, продолжал:

— Ну, предположим, господин фельдкурат, вы ответили, — нужна блондинка, длинноногая, вдова, без образования. Через десять минут она будет у вас в постели и с метрическим свидетельством.

Фельдкурата бросило в жар, а Швейк рассказывал дальше, с материнской нежностью прижимая его к себе:

— Вы и представить себе не можете, господин фельдкурат, какое у этого Фаустина было глубокое понятие о морали и честности. От женщин, которых он сватал и поставлял в номера, он и крейцера не брал на чай. Иной раз какая-нибудь из этих падших забудется и вздумает сунуть ему в руку мелочь, — нужно было видеть, как он сердился и как кричал на неё: «Свинья ты этакая! Если ты продаёшь своё тело и совершаешь смертный грех, не воображай, что твои десять геллеров мне помогут. Я тебе не сводник, бесстыжая шлюха! Я делаю это единственно из сострадания к

тебе, чтобы ты, раз уж так низко пала, не выставляла себя публично на позор, чтобы тебя ночью не схватил патруль и чтоб потом тебе не пришлось три дня отсиживаться в полиции. Тут ты, по крайней мере, в тепле и никто не видит, до чего ты дошла». Он ничего не хотел брать с них и возмещал это за счёт клиентов. У него была своя такса: голубые глаза — десять крейцеров, чёрные — пятнадцать. Он подсчитывал всё до мелочей на листке бумаги и подавал посетителю как счёт. Это были очень доступные цены за посредничество. За необразованную бабу он накидывал десять крейцеров, так как исходил из принципа, что простая баба доставит удовольствия больше, чем образованная дама. Как-то под вечер пан Фаустин пришёл ко мне на Опатовицкую улицу страшно взволнованный, сам не свой, словно его только что вытащили из-под предохранительной решётки трамвая и при этом украли часы. Сначала он ничего не говорил, только вынул из кармана бутылку рома, выпил, дал мне и говорит: «Пей!» Так мы с ним и молчали, а когда всю бутылку выпили, он вдруг выпалил: «Друг, будь добр, сослужи мне службу. Открой окно на улицу, я сяду на подоконник, а ты схватишь меня за ноги и столкнёшь с четвёртого этажа вниз. Мне ничего уже в жизни не надо. Одно для меня утешение, что нашёлся верный друг, который спровадит меня со света. Не могу я больше жить на этом свете. На меня, на честного человека, подали в суд, как на последнего сводника из Еврейского квартала. Наш отель первоклассный. Все три горничные и моя жена имеют жёлтые билеты и ни одного крейцера не должны доктору за визит. Если ты хоть чуточку меня любишь, столкни меня с четвёртого этажа, даруй мне последнее напутствие. Утешь меня». Велел я ему влезть на окно и столкнул вниз на улицу. Не пугайтесь, господин фельдкурат. — Швейк встал на нары и туда же втащил фельдкурата. — Смотрите, господин фельдкурат, я его схватил вот так… и раз вниз!

Швейк приподнял фельдкурата и спустил его на пол. Пока перепуганный фельдкурат поднимался на ноги, Швейк закончил свой рассказ:

— Видите, господин фельдкурат, с вами ничего не случилось, и с ним, с паном Фаустином, тоже. Только окно там было раза в три выше, чем эта койка. Ведь он, пан Фаустин, был вдребезги пьян и забыл, что на Опатовицкой улице я жил на первом этаже, а не на четвёртом. На четвёртом этаже я жил за год до этого на Кршеменцевой улице, куда он ходил ко мне в гости.

Фельдкурат в ужасе смотрел с пола на Швейка, а Швейк, возвышаясь над ним, стоя на нарах, размахивал руками.

Фельдкурат решил, что имеет дело с сумасшедшим, и, заикаясь, начал:

— Да, да, возлюбленный сын мой, даже меньше, чем в три раза. — Он потихоньку подобрался к двери и начал барабанить что есть силы. Он так ужасно вопил, что ему сразу же открыли.

Швейк сквозь оконную решётку видел, как фельдкурат, энергично жестикулируя, быстро шагал по двору в сопровождении караульных.

— По-видимому, его отведут в сумасшедший дом, — заключил Швейк. Он соскочил с нар и, прохаживаясь солдатским шагом, запел:

Перстенёк, что ты дала, мне носить неловко.
Что за чёрт? Почему?
Буду я тем перстеньком
Заряжать винтовку.

Вскоре после этого происшествия генералу Финку доложили о приходе фельдкурата.

*

У генерала уже собралось большое общество, где главную роль играли две милые дамы, вино и ликёры.

Офицеры, заседавшие в полевом суде, были здесь в полном составе. Отсутствовал только солдат-пехотинец, который утром подносил курящим зажжённые спички.

Фельдкурат вплыл в комнату, как сказочное привидение. Был он бледен, взволнован, но исполнен достоинства, как человек, который сознаёт, что незаслуженно получил пощёчину.

Генерал Финк, в последнее время обращавшийся с фельдкуратом весьма фамильярно, притянул его к себе на диван и пьяным голосом спросил:

— Что с тобой, моё духовное напутствие?

При этом одна из весёлых дам кинула в фельдкурата сигареткой «Мемфис».

— Пейте, духовное напутствие, — предложил генерал Финк, наливая фельдкурату вино в большой зелёный бокал. А так как тот выпил не сразу, то генерал стал поить его собственноручно, и если бы фельдкурат глотал медленнее, он бы облил его с головы до ног.

Только потом начались расспросы, как осуждённый держался во время духовного напутствия. Фельдкурат встал и трагическим голосом произнёс:

— Спятил.

— Значит, напутствие было замечательное, — радостно захохотал генерал, и всё общество загоготало в ответ, а дамы опять принялись бросать в фельдкурата сигаретками.

В конце стола клевал носом майор, хвативший лишнего. С приходом нового человека он оживился, быстро наполнил два бокала каким-то ликёром, расчистил себе дорогу между стульев и принудил очумевшего пастыря духовного выпить с ним на брудершафт. Потом майор опять повалился в кресло и продолжал клевать носом.

Бокал, выпитый на брудершафт, бросил фельдкурата в сети дьявола, а тот раскрывал ему свои объятия в каждой бутылке, стоявшей на столе, во взглядах и улыбках весёлых дам, которые положили ноги на стол, так что из кружев на него глядел Вельзевул.

До самого последнего момента фельдкурат был уверен, что дело идёт о спасении его души, что сам он — мученик.

Он выразил это в словах, с которыми обратился к двум денщикам генерала, относившим его в соседнюю комнату на диван:

— Печальное, но вместе с тем и возвышенное зрелище откроется перед вашими очами, когда вы непредубеждённо и с чистою мыслью вспомните о стольких прославленных страдальцах, которые пожертвовали собой за веру и причислены к лику святых мучеников. По мне вы видите, как человек становится выше всех страданий, если в сердце его обитают истина и добродетель, кои вооружают его для достижения славной победы над самыми страшными мучениями.

Здесь его повернули лицом к стенке, и он сразу же уснул.



Сон фельдкурата был тревожен.

Снилось ему, что днём он исполняет обязанности фельдкурата, а вечером служит швейцаром в гостинице вместо швейцара Фаустина, которого Швейк столкнул с четвёртого этажа.

Со всех сторон на него сыпались жалобы генералу за то, что вместо блондинки он привёл брюнетку, а вместо разведённой, образованной дамы доставил необразованную вдову.

Утром он проснулся вспотевший, как мышь. Желудок его расстроился, а в мозгу сверлила мысль, что его моравский фарар по сравнению с ним ангел.

Глава III
ШВЕЙК СНОВА В СВОЕЙ МАРШЕВОЙ РОТЕ



Майор, который на вчерашнем утреннем заседании суда по делу Швейка исполнял обязанности аудитора, вечером пил с фельдкуратом на брудершафт и клевал носом.

Никто не знал, когда и как майор ушёл от генерала. Все напились до такого состояния, что не заметили его отсутствия. Даже сам генерал не мог разобрать, кто именно из гостей говорит. Майора не было среди них уже больше двух часов, а генерал, покручивая усы и глупо улыбаясь, кричал:

— Это вы хорошо сказали, господин майор!

Утром майора нигде не могли найти. Его шинель висела в передней на вешалке, сабля тоже, не хватало только офицерской фуражки. Предположили, что он заснул где-нибудь в уборной. Обыскали все уборные, но майора не обнаружили. Вместо него в третьем этаже нашли спящего поручика, тоже бывшего в гостях у генерала. Он спал, стоя на коленях, нагнувшись над унитазом. Сон напал на него во время рвоты.

Майор как в воду канул.

Но если бы кто-нибудь заглянул в решётчатое окошко камеры, где был заперт Швейк, то он увидел бы, что под русской шинелью спят на одной койке двое. Из-под шинели выглядывали две пары сапог: сапоги со шпорами принадлежали майору, без шпор — Швейку.

Они лежали, прижавшись друг к другу, как два котёнка. Лапа Швейка

покоилась под головой майора, а майор обнимал Швейка за талию, прижавшись к нему, как щенок к суке.

В этом не было ничего загадочного, а со стороны майора это было просто осознанием своего служебного долга.

Наверно, вам случалось сидеть с кем-нибудь всю ночь напролёт. Бывало, наверно, и так: вдруг ваш собутыльник хватается за голову, вскакивает и кричит: «Иисус Мария! В восемь часов я должен был быть на службе!» Это так называемый приступ осознания служебного долга, который наступает у человека в результате расщепления угрызений совести. Человека, охваченного этим благородным приступом, ничто не может отвратить от святого убеждения, что он должен немедленно наверстать упущенное по службе. Эти люди — те призраки без шляп, которых швейцары учреждений перехватывают в коридоре и укладывают в своей берлоге на кушетку, чтобы они проспались.

Точно такой приступ был в эту ночь у майора.

Когда он проснулся в кресле, ему вдруг пришло в голову, что он должен немедленно допросить Швейка. Этот приступ осознания служебного долга наступил так внезапно и майор подчинился ему с такой быстротой и решительностью, что никто не заметил его исчезновения.

Зато тем сильнее ощутили присутствие майора в караульном помещении военной тюрьмы. Он влетел туда как бомба.

Дежурный фельдфебель спал, сидя за столом, а вокруг него в самых разнообразных позах дремали караульные.

Майор в фуражке набекрень разразился такой руганью, что солдаты как зевали, так и остались с разинутыми ртами; лица у всех перекосились. На майора с отчаянием и как бы кривляясь смотрел не отряд солдат, а стая оскалившихся обезьян.

Майор стучал кулаком по столу и кричал на фельдфебеля:

— Вы нерадивый мужик, я уже тысячу раз повторял вам, что ваши люди — банда вонючих свиней. — Обращаясь к остолбеневшим солдатам, он орал: — Солдаты! Из ваших глаз прёт глупость, даже когда вы спите! А проснувшись, вы, мужичьё, корчите такие рожи, словно каждый из вас сожрал по вагону динамита.

После этого последовала длинная и обильная проповедь об обязанностях караульных и под конец требование немедленно отпереть ему камеру, где находится Швейк; он хочет подвергнуть преступника новому допросу. Вот каким образом майор ночью попал к Швейку.

Он пришёл в тюрьму, когда в нём, как говорится, всё расползалось. Последним взрывом был приказ выдать ключи от тюрьмы.

Фельдфебель пришёл в отчаяние от требований майора, но, помня о своих обязанностях, ключи выдать отказался, что неожиданно произвело на майора прекраснейшее впечатление.

— Вы банда вонючих свиней! — кричал он во дворе. — Если бы вы мне выдали ключи, я бы вам показал!

— Осмелюсь доложить, — ответил фельдфебель, — я вынужден запереть вас и для вашей безопасности приставить к арестанту караульного. Если вы пожелаете выйти, то будьте любезны, господин майор, постучать в дверь.

— Ты дурной, — сказал майор, — павиан ты, верблюд! Ты думаешь, что я боюсь какого-то там арестанта, раз собираешься поставить караульного, когда я буду его допрашивать? Чёрт вас побери! Заприте меня — и вон отсюда!

Керосиновая лампа с прикрученным фитилём, сшившая в окошечке над дверью в решётчатом фонаре, давала тусклый свет, и майор с трудом отыскал проснувшегося Швейка. Последний, стоя навытяжку у своих нар, терпеливо выжидал, чем, собственно говоря, окончится этот визит.

Швейк решил, что самым правильным будет представиться господину майору, и поэтому энергично отрапортовал:

— Осмелюсь доложить, господин майор, арестованный один, других происшествий не было.

Майор вдруг забыл, зачем он пришёл сюда, и поэтому сказал:

— Ruht! Где у тебя этот арестованный?

— Это, осмелюсь доложить, я сам, — с гордостью ответил Швейк.

Майор, однако, не обратил внимания на этот ответ, ибо генеральское вино и ликёры вызвали в его мозгу последнюю алкогольную реакцию. Он зевнул так страшно, что любой штатский вывихнул бы себе при этом челюсть. У майора же этот зевок направил мышление по тем мозговым извилинам, где у человека хранится дар пения. Он непринуждённо повалился на тюфяк, лежавший на нарах у Швейка, и завопил так, как перед своим концом визжит недорезанный поросёнок:

Oh, Tannenbaum! Oh, Tannenbaum,
wie schön sind deine Blätter![296]

Он повторял эту фразу несколько раз подряд, обогащая мелодию нечленораздельными повизгиваниями. Потом перевалился, как медвежонок, на спину, свернулся клубочком и тут же захрапел.

— Господин майор, — будил его Швейк, — осмелюсь доложить, вы наберётесь вшей!

Но это было совершенно бесполезно. Майор спал мёртвым сном.

Швейк нежно посмотрел на него и сказал:

— Ну, тогда спи, бай-бай, ты, пьянчуга, — и прикрыл его шинелью. Потом сам забрался под шинель. Утром их нашли тесно прижавшимися друг к другу.

К девяти часам, в самый разгар поисков исчезнувшего майора, Швейк слез с нар и счёл нужным разбудить господина начальника. Он стащил с него русскую шинель и весьма энергично принялся трясти, пока наконец майор не уселся на нарах. Он тупо глядел на Швейка, как бы ища у него разгадки того, что, собственно, произошло с ним.

— Осмелюсь доложить, господин майор, — сказал Швейк, — сюда уже несколько раз приходили из караульного помещения, чтобы убедиться, живы ли вы. Поэтому я позволил себе разбудить вас теперь, так как я не знаю, в котором часу вы встаёте. На пивоваренном заводе в Угржиневеси работал один бондарь. Он спал обыкновенно до шести часов утра, но если проспит хотя бы ещё четверть часика, то есть до четверти седьмого, то уже потом дрыхнет до полудня; он делал это до тех пор, пока его не выгнали с завода; со злости он потом нанёс оскорбление церкви и одному из членов царствующей фамилии.

— Ты глюпый? Так! — крикнул майор не без некоторого отчаяния, так как после вчерашнего голова его была как разбитый горшок, и ему всё ещё было непонятно, почему он здесь сидит, зачем приходили из караульного помещения и почему этот парень, который стоит перед ним, болтает такие глупости, что не поймёшь, где начало, где конец. Всё казалось ему очень странным. Он смутно вспоминал, что был уже здесь как-то ночью, но зачем?

— Я уже быль раз ночью здесь? — спросил он не совсем уверенно.

— Согласно приказу, господин майор, — ответил Швейк, — насколько я понял из слов господина майора, осмелюсь доложить, господин майор пришли меня допросить.

Тут у майора прояснилось в голове, он посмотрел на себя, потом оглянулся, как бы отыскивая что-то.

— Не извольте ни о чём беспокоиться, господин майор, — успокоил его Швейк. — Вы проснулись совершенно так, как пришли. Вы пришли сюда без шинели, без сабли, но в фуражке. Фуражка там. Мне пришлось её взять у вас из рук, так как вы хотели подложить её себе под голову. Парадная офицерская фуражка — всё равно что цилиндр. Выспаться на

цилиндре умел только один пан Кардераз в Лоденице. Тот, бывало, растянется в трактире на скамейке, подложит цилиндр под голову, — он ведь пел на похоронах и ходил на похороны в цилиндре, — так вот, подложит цилиндр под голову и внушит себе, что не должен его помять. Целую ночь, бывало, парил над цилиндром незначительной частью своего веса, так что цилиндру это нисколько не вредило, наоборот, это ему даже шло на пользу. Поворачиваясь с боку на бок, Кардераз своими волосами лощил его так, что он всегда был как выутюженный.

Майор теперь уже сообразил, что к чему, и, не переставая тупо глядеть на Швейка, повторял:

— Ты дурить? Да? Я быть здесь — я идти отсюда… — Он встал, пошёл к двери и громко постучал.

Прежде чем пришли открыть, он успел сообщить Швейку:

— Если телеграмм не прийти, что ты есть ты, то ты будеть висель.

— Сердечно благодарю, — ответил Швейк, — я знаю, господин майор, вы очень заботитесь обо мне, но если вы, господин майор, может, тут на тюфяке одну подцепили, то будьте уверены, если маленькая и с красноватой спинкой, так это самец, и если он только один и вы не найдёте такую длинную серую с красноватыми полосками на брюшке, тогда хорошо, а то была бы парочка, а они, эти твари, ужас как быстро размножаются, ещё быстрее, чем кролики.

— Lassen Sie das![297] — упавшим голосом сказал майор Швейку, когда ему отпирали дверь.

В караульном помещении майор уже не устраивал никаких сцен. Он очень сдержанно распорядился послать за извозчиком и, трясясь в пролётке по скверной мостовой Перемышля, всё думал о том, что преступник — идиот первой категории, но всё же, по-видимому, это невинная скотина, а ему, майору, остаётся одно из двух: или немедленно, вернувшись домой, застрелиться, или же послать за шинелью и саблей к генералу и поехать в городские бани выкупаться, а после бань зайти в винный погребок у Фолльгрубера, как следует там подкрепиться и заказать по телефону билет в городской театр.

Не доехав до своей квартиры, он выбрал второе.

На квартире его ожидал небольшой сюрприз. Он подоспел как раз вовремя…

В коридоре квартиры стоял генерал Финк. Он держал за шиворот денщика и, тряся его изо всех сил, орал:

— Где твой майор, скотина? Отвечай, животное!

Но животное не отвечало. Лицо у него посинело: генерал слишком

сильно сдавил ему горло.

Подошедший во время этой сцены майор заметил, что несчастный денщик крепко держит под мышкой его шинель и саблю, которые он, очевидно, принёс из передней генерала.

Сцена эта показалась майору забавной, поэтому он остановился у приоткрытой двери и молча смотрел на страдания своего верного слуги, давно уже сидевшего у него в печёнках: денщик постоянно его обворовывал. Генерал на момент выпустил посиневшего денщика, единственно для того, чтобы вынуть из кармана телеграмму, которой затем он стал хлестать денщика по лицу и по губам, крича при этом:

— Где твой майор, скотина? Где твой майор-аудитор, скотина, я должен передать ему служебную телеграмму…

— Я здесь, — отозвался майор Дервота, которому сочетание слов «майор-аудитор» и «телеграмма» снова напомнило о его прямых обязанностях.

— А-а! — воскликнул генерал Финк. — Ты вернулся?

В его голосе было столько яду, что майор ничего не ответил и в нерешительности остался стоять в дверях.

Генерал приказал ему следовать за ним в комнату. Когда они сели, он бросил исхлёстанную об денщика телеграмму на стол и произнёс трагическим голосом:

— Читай, это твоя работа.

Пока майор читал телеграмму, генерал бегал по комнате, опрокидывая стулья и табуретки, и вопил:

— А всё-таки я его повешу!

Телеграмма гласила следующее:

> «Пехотинец Йозеф Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты, пропал без вести 16-го с. м. на переходе Хыров — Фельдштейн, будучи командирован как квартирьер. Немедленно отправить пехотинца Швейка в Воялич, в штаб бригады».

Майор выдвинул ящик стола, достал оттуда карту и задумался: Фельдштейн находится в сорока километрах к юго-востоку от Перемышля. Каким образом к Швейку попала русская форма в местности, находящейся на расстоянии свыше ста пятидесяти километров от фронта, — остаётся неразрешимой загадкой. Ведь окопы тянутся по линии Сокаль — Турзе — Козлов.



Когда майор сообщил об этом генералу и показал на карте место, где, согласно телеграмме, несколько дней назад пропал Швейк, генерал заревел, как бык, так как почувствовал, что все его надежды на полевой суд рассыпались в пух и прах. Он подошёл к телефону, вызвал караульное помещение и отдал приказ — немедленно привести на квартиру майора арестанта Швейка.

В ожидании исполнения приказа генерал со страшными проклятиями выражал свою досаду на то, что не распорядился повесить Швейка немедленно, на собственный риск, без всякого следствия.

Майор возражал и всё твердил что-то о законе и справедливости, которые идут рука об руку; он в пышных периодах ораторствовал о справедливом суде, о роковых судебных ошибках и вообще обо всём, что приходило ему на ум, ибо с похмелья у него сильно болела голова и он испытывал потребность рассеяться разговором.

Когда Швейка, наконец, привели, майор приказал ему объяснить, что произошло у Фельдштейна и откуда вообще взялась эта русская форма.

Швейк объяснил всё надлежащим образом, подкрепив свои положения примерами из истории людских мытарств. Когда майор спросил, почему он об этом не говорил на допросе, Швейк ответил, что его, собственно, никто и не спрашивал. Все вопросы сводились лишь к одному: «Признаёте ли вы, что добровольно и без какого-либо давления надели на себя форму неприятеля?» Так как это была правда, он ничего другого не мог сказать, кроме: «Безусловно, да, действительно, точно так, бесспорно». С другой стороны, он с огорчением отверг предъявленное ему на суде обвинение в

том, что он-де предал государя императора.

— Этот человек просто идиот, — сказал генерал майору. — Переодеваться на плотине в русское обмундирование, бог весть кем оставленное, позволить зачислить себя в партию пленных русских — на это способен только идиот.

— Осмелюсь доложить, — откликнулся Швейк, — я сам за собой иногда намечаю, что я слабоумный, особенно к вечеру…

— Цыц, осёл! — прикрикнул на него майор и обратился к генералу с вопросом, что теперь делать со Швейком.

— Пусть его повесят в бригаде, — решил генерал.

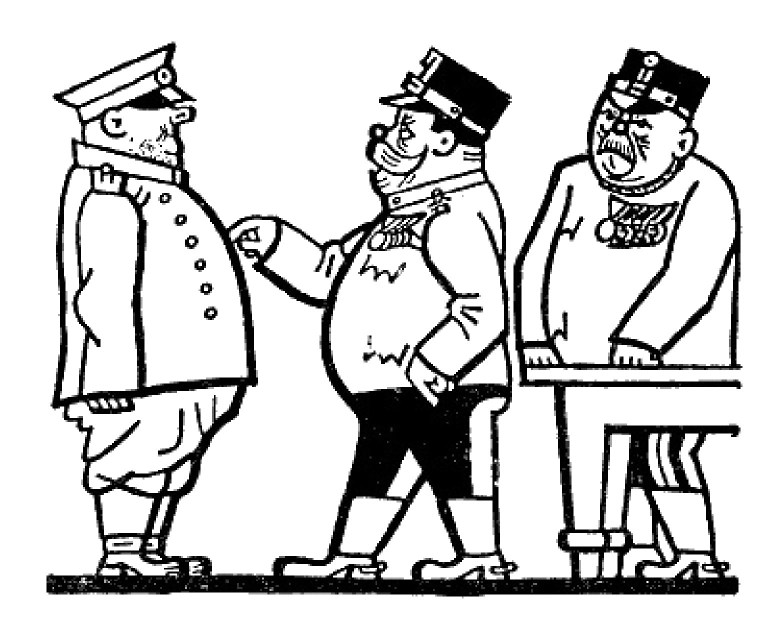
Час спустя Швейка под конвоем вели на вокзал, чтобы доставить его в Воялич, в штаб бригады.

В тюрьме Швейк оставил маленькую памятку о себе, выцарапав щепкой на стене в три столбика список всех супов, соусов и закусок, которые он ел до войны. Это было своеобразным протестом против того, что в течение двадцати четырёх часов у него маковой росинки во рту не было.

Одновременно со Швейком в бригаду пошла следующая бумага: «На основании телеграммы № 469 пехотинец Йозеф Швейк, сбежавший из одиннадцатой маршевой роты, передаётся штабу бригады для дальнейшего расследования».

Конвой, состоявший из четырёх человек, представлял собой смесь разных национальностей. Там были поляк, венгр, немец и чех; последнего назначили начальником конвоя: он был в чине ефрейтора. Он чванился перед земляком-арестантом, явно выказывая свою неограниченную власть над ним. Когда Швейк на вокзале попросил разрешения помочиться, ефрейтор очень грубо ответил, что мочиться он будет в бригаде.

— Ладно, — согласился Швейк, — только дайте мне этот приказ в письменной форме, чтобы, когда у меня лопнет мочевой пузырь, все знали, кто был тому виной. На всё есть закон, господин ефрейтор.



Ефрейтор, деревенский мужик, испугался этого мочевого пузыря, и весь конвой торжественно повёл Швейка по вокзалу в отхожее место. Вообще ефрейтор во время пути производил впечатление человека свирепого. Он старался выглядеть таким надутым, будто назавтра должен был получить по меньшей мере звание командующего корпусом.

Когда они сидели в поезде на линии Перемышль — Хыров, Швейк, обращаясь к ефрейтору, сказал:

— Господин ефрейтор, смотрю я на вас и вспоминаю ефрейтора Бозбу, служившего в Тренто. Когда того произвели в ефрейторы, он с первого же дня стал увеличиваться в объёме. У него стали опухать щёки, а брюхо так надулось, что на следующий день даже казённые штаны на нём не застёгивались. Но что хуже всего, у него стали расти уши. Отправили его в лазарет, и полковой врач сказал, что так бывает со всеми ефрейторами. Сперва их всех раздувает, но у некоторых это проходит быстро, а данный больной очень тяжёлый и может лопнуть, так как от звёздочки у него перешло на пупок. Чтобы его спасти, пришлось отрезать звёздочку, и он сразу всё спустил.

С этой минуты Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и по-дружески объяснить ему, отчего говорится, что ефрейтор — это наказание роты.

Ефрейтор ничего не отвечал, только угрюмо пригрозил, что неизвестно, кто из них двоих будет смеяться, когда они прибудут в бригаду. Короче говоря, земляк не оправдал надежд. А когда Швейк спросил, откуда он, тот ответил: «Это не твоё дело».

Швейк на все лады пробовал разговориться с ефрейтором. Рассказал,

что его не впервые ведут под конвоем, что он всегда очень хорошо проводил время со всеми конвоирами.

Но ефрейтор продолжал молчать, и Швейк не унимался:

— Мне кажется, господин ефрейтор, вас постигло большое несчастье, раз вы потеряли дар речи. Много знавал я печальных ефрейторов, но такого убитого горем, как вы, господин ефрейтор, простите и не сердитесь на меня, я ещё не встречал. Доверьтесь мне, скажите, что вас так мучает. Может, я помогу вам советом, так как у солдата, которого ведут под конвоем, всегда больше опыта, чем у того, кто его караулит. Или, знаете, господин ефрейтор, расскажите что-нибудь, чтобы скоротать время. Расскажите, например, какие у вас на родине окрестности, есть ли там пруды, а может быть, развалины замка. Вы могли бы сообщить нам также, какое предание связано с этими развалинами.

— Довольно! — крикнул вдруг ефрейтор.

— Вот счастливый человек, — порадовался Швейк, — ведь люди всегда чем-нибудь недовольны.

— В бригаде тебе вправят мозги, я с тобой связываться не стану, — это были последние слова ефрейтора, после чего он погрузился в полное молчание.

Вообще конвойные мало развлекались. Венгр беседовал с немцем особым способом, поскольку по-немецки он знал только «jawohl»[298] и «was?».[299] Когда немец что-нибудь рассказывал, венгр кивал головой и приговаривал «jawohl», а когда умолкал, он говорил «was?», и немец начинал снова. Конвоир-поляк держался аристократом: он ни на кого не обращал внимания и забавлялся тем, что сморкался на пол, очень ловко пользуясь большим пальцем правой руки, потом он задумчиво растирал сопли прикладом ружья, а загаженный приклад благовоспитанно вытирал о свои штаны, неустанно бормоча при этом: «Святая дева».

— У тебя что-то не получается, — сказал ему Швейк. — На Боиште в подвальной квартире жил метельщик Махачек. Так тот, бывало, высморкается на окно и так искусно размажет, что получалась картина, как Либуша пророчит славу Праге.* За каждую картину он получал от жены такую государственную стипендию, что вечно ходил с распухшей рожей. Однако этого занятия он не бросил и продолжал совершенствоваться. Правда, это было его единственным развлечением.

Поляк ничего не ответил, и под конец весь конвой погрузился в глубокое молчание, будто они ехали на похороны и благочестиво размышляли о покойнике.

Так они приблизились к Вояличу, где стоял штаб бригады.

*

Тем временем в штабе бригады произошли существенные перемены. Начальником штаба был назначен полковник Гербих. Это был человек больших военных способностей, которые ударили ему в ноги и проявились в форме подагры. Однако он имел в министерстве очень влиятельных знакомых, благодаря которым не ушёл на пенсию, а слонялся по штабам разных крупных воинских соединений, получал высшие ставки с самыми разнообразнейшими надбавками военного времени и оставался на посту до тех пор, пока во время очередного подагрического приступа не выкидывал какой нибудь глупости. После этого его переводили в другое место, обычно с повышением. За обедом он говорил с офицерами исключительно о своём отёкшем большом пальце на ноге, который иногда так распухал, что полковнику приходилось носить специальный сапог.

Во время еды самым приятным развлечением для него было рассказывать всем, что этот палец мокнет и беспрестанно потеет, что его постоянно приходится обкладывать ватой и что испарина от пальца пахнет прокисшим мясным супом.

Понятно, почему весь офицерский состав с искренней радостью расставался с Гербихом, когда его переводили в другое место. Но в общем это был приветливый господин. С младшими офицерами он держался по-приятельски и рассказывал им, сколько он в своё время выпил и съел вкусных вещей, покуда его не скрутило.

Когда Швейка доставили в бригаду и по приказу дежурного офицера с соответствующими бумагами привели к полковнику Гербиху, у последнего сидел подпоручик Дуб.

Через несколько дней после перехода Санок — Самбор с подпоручиком Дубом стряслась новая беда. За Фельдштейном одиннадцатая маршевая рота повстречала транспорт лошадей, который перегоняли к драгунскому полку в Садовую Вишню.

Подпоручик Дуб и сам не знал, как это произошло, но ему вдруг захотелось показать поручику Лукашу своё кавалерийское искусство. Он не помнил, как вскочил на коня и как исчез вместе с ним в долине ручья. Позже подпоручика нашли прочно засевшим в небольшом болотце. Должно быть, и самый искусный садовник не сумел бы так посадить его. Когда подпоручика вытащили оттуда с помощью аркана, он ни на что не

жаловался и только тихо стонал, словно перед смертью. В таком состоянии его привезли в штаб бригады, мимо которого они шли, и поместили в маленький лазарет.

Через несколько дней он пришёл в себя, и врач объявил, что ему ещё раза два или три намажут спину и живот йодом, а потом он смело может догонять свою роту.

Теперь подпоручик Дуб сидел у полковника Гербиха и разговаривал с ним о разных болезнях.

Завидев Швейка, Дуб, которому было известно о загадочном исчезновении ординарца у Фельдштейна, громко закричал:

— Так ты опять здесь! Многих негодяев носит чёрт знает где, но ещё худшими мерзавцами они возвращаются обратно. Ты — один из них.

Для полноты картины следует заметить, что в результате приключения с конём подпоручик Дуб получил лёгкое сотрясение мозга. Поэтому мы не должны удивляться, что он, наступая на Швейка, призывал бога на борьбу со Швейком и кричал в рифму:

— О царю небесный, взываю к тебе! Дымом скрыты от меня пушки гремящие, бешено летят пули свистящие. Воеводе непобедимый, молю тебя, помоги мне одолеть этого разбойника… Где ты так долго пропадал, мерзавец? Чьё это обмундирование ты надел на себя?

Следует также добавить, что в канцелярии у полковника-подагрика были весьма демократические порядки, правда, лишь между приступами подагры. Здесь пребывали все чины, дабы выслушать его рассуждения относительно отёкшего пальца с запахом прокисшего мясного супа.

Когда у полковника Гербиха не было приступа, к нему в канцелярию набивались самые различные военные чины, ибо он в эти редкие минуты бывал очень весел и разговорчив, любил собирать вокруг себя слушателей, которым рассказывал сальные анекдоты, что на него прекрасно действовало, а остальным доставляло удовольствие принуждённо посмеяться над старыми анекдотами времён генерала Лаудона.

В эти периоды служить у полковника Гербиха было очень легко. Всякий делал что ему вздумается, и можно с уверенностью сказать, что там, где штаб возглавлял полковник Гербих, вовсю крали и творили всевозможные глупости.

Так и сегодня. Вместе со Швейком в канцелярию полковника нагрянули разные военные чины. Пока полковник читал препроводительную бумагу, адресованную штабу бригады и составленную майором из Перемышля, они молча ожидали, что произойдёт дальше.

Подпоручик Дуб, однако, продолжал разговор со Швейком в

привычной для него милой форме:

— Ты меня ещё не знаешь, но когда меня узнаёшь, подохнешь от страха!

Полковник обалдел от письма майора, так как тот диктовал эту бумагу, ещё находясь под влиянием лёгкого отравления алкоголем.

Несмотря на это, полковник Гербих был всё же в хорошем настроении, так как со вчерашнего дня боли прекратились и его большой палец вёл себя тихо, словно агнец.

— Так что вы, собственно, натворили? — спросил он Швейка так ласково, что у подпоручика Дуба от зависти сжалось сердце и он поспешил ответить за Швейка.

— Этот солдат, господин полковник, — представил он Швейка, — строит из себя дурака, дабы прикрыть идиотством свои преступления. Правда, я не ознакомлен с содержанием присланной с ним бумаги, но тем не менее догадываюсь, что этот негодяй опять что-то натворил, и в крупном масштабе. Если вы разрешите мне, господин полковник, ознакомиться с содержанием этой бумаги, я, безусловно, смогу вам дать определённые указания, как с ним поступить. — Обращаясь к Швейку, он сказал по-чешски: — Ты пьёшь мою кровь, чувствуешь?

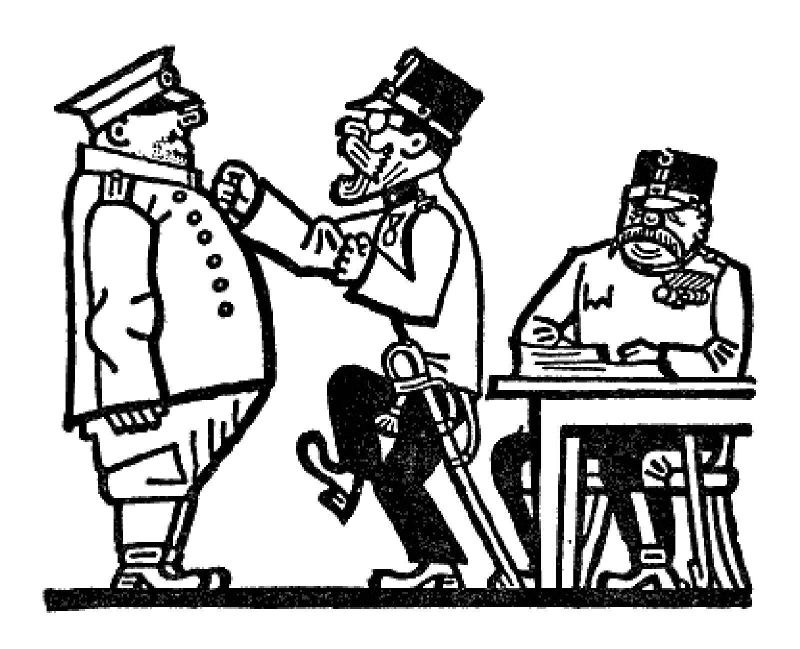
— Пью, — с достоинством ответил Швейк.

— Вот видите, что это за тип, господин полковник, — уже по-немецки продолжал подпоручик Дуб. — Вы ни о чём не можете его спросить, с ним вообще нельзя разговаривать. Но когда-нибудь найдёт коса на камень! Его необходимо примерно наказать. Разрешите, господин полковник…

Подпоручик Дуб углубился в чтение бумаги, составленной майором из Перемышля, и, дочитав до конца, торжествующе воскликнул:

— Теперь тебе, Швейк, аминь. Куда ты дел казённое обмундирование?

— Я оставил его на плотине пруда, когда примерял эти тряпки, чтобы узнать, как в них чувствуют себя русские солдаты, — ответил Швейк. — Это просто недоразумение.



Швейк подробно рассказал подпоручику Дубу, как он настрадался из-за этого недоразумения. Когда он кончил свой рассказ, подпоручик Дуб заорал на него:

— Вот теперь-то ты меня узнаёшь! Понимаешь ты, что значит потерять казённое имущество? Знаешь ли ты, негодяй, что это значит — потерять на войне обмундирование?

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, — ответил Швейк, — знаю. Когда солдат лишается обмундирования, он должен получить новое.

— Иисус Мария, — крикнул подпоручик Дуб, — осёл, скотина ты этакая, если ты и впредь будешь так со мной шутить, то ещё сто лет после войны будешь дослуживать!

Полковник Гербих, сидевший до сих пор спокойно и деловито за столом, вдруг сделал страшную гримасу, ибо его палец, который до сих пор вёл себя смирно, из тихого и спокойного агнца превратился в ревущего тигра, в электрический ток в шестьсот вольт, в палец, каждую косточку которого молот медленно дробит в щебень. Полковник Гербих лишь рукой махнул и заорал диким голосом, как орёт человек, которого медленно поджаривают на вертеле:

— Вон! Дайте мне револьвер!

Это был дурной признак, поэтому все выскочили вон вместе со Швейком, которого конвойные вытолкали в коридор. Остался лишь подпоручик Дуб. Он хотел использовать этот подходящий, как ему казалось, момент против Швейка и сказал готовому заплакать полковнику:

— Господин полковник, позвольте мне обратить ваше внимание на то, что этот солдат…

Полковник замяукал и запустил в подпоручика чернильницей, после чего подпоручик в ужасе отдал честь и, пролепетав: «Разумеется, господин полковник», — исчез за дверью.

Ещё долго потом из канцелярии полковника были слышны рёв и вой. Наконец вопли прекратились. Палец полковника неожиданно опять превратился в агнца, приступ подагры прошёл, полковник позвонил и снова приказал привести к нему Швейка.

— Так что, собственно, с тобой приключилось? — по-прежнему ласково спросил полковник Швейка. Всё неприятное осталось позади. Он снова почувствовал себя прекрасно и испытывал такое блаженство, словно нежился на пляже на берегу моря.

Дружески улыбаясь полковнику, Швейк рассказал свою одиссею от начала до конца, доложил, что он ординарец одиннадцатой маршевой роты Девяносто первого полка и что не знает, как они там без него обойдутся.

Полковник тоже улыбался, а потом отдал следующий приказ: «Выписать Швейку воинский литер через Львов до станции Золтанец, куда завтра должна прибыть его маршевая рота, и выдать ему со склада новый казённый мундир и шесть крон восемьдесят два геллера вместо продовольствия на дорогу».

Когда Швейк в новом австрийском мундире покидал штаб бригады, он столкнулся с подпоручиком Дубом. Тот был немало удивлён, когда Швейк по всем правилам отрапортовал ему, показал документы и заботливо спросил, что передать господину поручику Лукашу.

Подпоручик Дуб не нашёлся сказать ничего другого, как только «Abtreten!», и, глядя вслед удаляющемуся Швейку, проворчал про себя: «Ты меня ещё узнаешь, Иисус Мария, ты меня узнаешь!»

*

На станции Золтанец собрался весь батальон капитана Сагнера, за исключением арьергарда — четырнадцатой роты, потерявшейся где-то при обходе Львова.

Попав в местечко, Швейк очутился в совершенно новой обстановке. Судя по всеобщему оживлению, недалеко был фронт, где шла резня. Всюду стояли пушки и обозы; из каждого дома выходили солдаты разных полков, среди них выделялись германцы. Они с видом аристократов раздавали австрийским солдатам сигареты из своих богатых запасов. У германских кухонь на площади стояли даже бочки с пивом. Германским солдатам

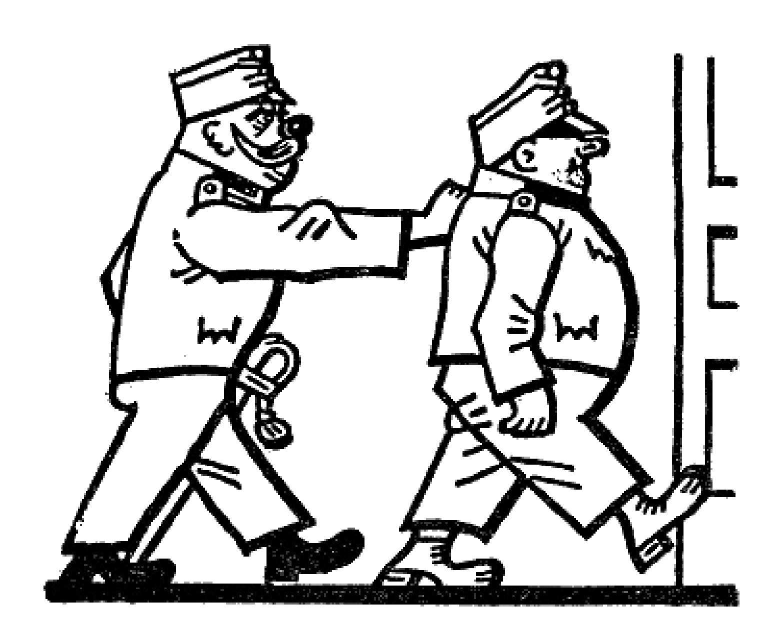
раздавали пиво в обед и в ужин, а вокруг них, как голодные кошки, бродили заброшенные австрийские солдаты с животами, раздувшимися от грязного подслащённого отвара цикория.

Пейсатые евреи в длинных кафтанах, собравшись в кучки, размахивали руками, показывая на тучи дыма на западе. Со всех сторон раздавались крики, что это на реке Буг горят Утишков, Буёк и Деревяны.

Отчётливо был слышен гул пушек. Снова стали кричать, что русские бомбардируют со стороны Грабова Каменку-Струмилову и что бои идут вдоль всего Буга, а солдаты задерживают беженцев, которые собрались уже вернуться за Буг, к себе домой.

Повсюду царила суматоха, никто не знал точно — перешли русские в наступление, приостановив своё отступление по всему фронту, или нет.

В главную комендатуру местечка патрули полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев избивали в кровь и отпускали с выпоротой задницей домой.



Итак, Швейк попал в эту сутолоку и попробовал разыскать свою маршевую роту. Уже на вокзале, в этапном управлении, у него чуть было не возник конфликт. Когда он подошёл к столу, где солдатам, разыскивающим свою часть, давалась информация, какой-то капрал раскричался: не хочет ли Швейк, чтобы капрал за него разыскал его маршевую роту? Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь, в местечке, расположена одиннадцатая маршевая рота Девяносто первого полка такого-то маршевого батальона.

— Мне очень важно знать, — подчеркнул Швейк, — где находится одиннадцатая маршевая рота, так как я её ординарец.

К несчастью, за соседним столом сидел какой-то штабной писарь; он вскочил, как тигр, и тоже заорал на Швейка:

— Свинья окаянная, ты ординарец и не знаешь, где твоя маршевая рота?

Не успел Швейк ответить, как штабной писарь исчез в канцелярия и тотчас же привёл оттуда толстого поручика, который выглядел так почтенно, словно был владельцем крупной мясной фирмы. Этапные управления служили одновременно ловушками для слоняющихся одичавших солдат, которые, вероятно, были не прочь всю войну разыскивать свои части и околачиваться на этапах, а всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка: «Minagegeld».[300]

Когда вошёл толстый поручик, старший писарь крикнул:

— Habacht!

А поручик спросил Швейка:

— Где твои документы?

Швейк предъявил документы, и поручик, удостоверившись в правильности маршрута Швейка от штаба к роте, вернул ему бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом:

— Информируйте его, — и снова заперся в своей канцелярии.

Когда дверь за ним захлопнулась, штабной писарь-фельдфебель схватил Швейка за плечо и, отведя его к дверям, информировал следующим образом:

— Чтоб и духу твоего здесь не было, вонючка!

И Швейк снова очутился в этой суматохе. Надеясь увидеть какого-нибудь знакомого из батальона, он долго ходил по улицам, пока наконец не поставил всё на карту.

Остановив одного полковника, он на ломаном немецком языке спросил, не знает ли господин полковник, где расположен его, Швейка, батальон и маршевая рота.

— Ты можешь со мною разговаривать по-чешски, — сказал полковник, — я тоже чех. Твой батальон расположен рядом, в селе Климонтове, за железнодорожной линией, но туда лучше не ходи, потому что при вступлении в Климонтово солдаты одной вашей роты подрались на площади с баварцами.

Швейк направился в Климонтово.

Полковник окликнул его, полез в карман и дал пять крон на сигареты,

потом, ещё раз ласково простившись с ним, удалился, думая про себя: «Какой симпатичный солдатик».

Швейк продолжал свой путь в село. Думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай: двенадцать лет назад в Тренто был полковник Гебермайер, который тоже ласково обращался с солдатами, а в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте у Адидже растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием.

С такими мрачными мыслями Швейк добрался до ближайшего села. Он без труда нашёл штаб батальона. Хотя село было большое, там оказалось лишь одно приличное здание — большая сельская школа, которую в этом чисто украинском краю выстроило галицийское краевое управление с целью усиления полонизации.

Во время войны школа эта прошла несколько этапов. Здесь размещались русские и австрийские штабы, а во время крупных сражений, решавших судьбу Львова, гимнастический зал был превращён в операционную. Здесь отрезали ноги и руки и производили трепанации черепов.

Позади школы, в школьном саду, от взрыва крупнокалиберного снаряда осталась большая воронкообразная яма. В углу сада стояла крепкая груша; на одной её ветви болтался обрывок перерезанной верёвки, на которой ещё недавно качался местный греко-католический священник. Он был повешен по доносу директора местной школы, поляка, и обвинён в том, что был членом партии старорусов и во время русской оккупации служил в церкви обедню за победу оружия русского православного царя. Это была неправда, так как в то время обвинённого здесь не было вообще. Он находился тогда на небольшом курорте, которого не коснулась война, — в Бохне Замуровано, где лечился от камней в жёлчном пузыре.

В повешении греко-католического священника сыграло роль несколько фактов: национальность, религиозная распря и курица. Дело в том. Что несчастный священник перед самой войной убил в своём огороде одну из директорских кур, которые выклёвывали посеянные им семена дыни.

Дом покойного греко-католического священника пустовал, и, можно сказать, каждый взял себе что-нибудь на память о священнике.

Один мужичок-поляк унёс домой даже старый рояль, крышку которого он использовал для ремонта дверцы свиного хлева. Часть мебели, как водится, солдаты покололи на дрова, и только по счастливой случайности в кухне осталась целой большая печь со знаменитой плитой, ибо греко-католический священник ничем не отличался от своих римско-католических коллег, любил покушать и любил, чтобы на плите и в духовке

стояло много горшков и противней.

Стало традицией готовить в этой кухне для офицеров всех проходящих воинских частей. Наверху в большой комнате устраивалось что-то вроде Офицерского собрания. Столы и стулья собирали по всему селу.

Как раз сегодня офицеры батальона устроили торжественный ужин: купили вскладчину свинью, и повар Юрайда по этому случаю устроил для офицеров роскошный пир. Юрайда был окружён разными прихлебателями из числа денщиков, среди которых выделялся старший писарь. Он советовал Юрайде так разрубить свиную голову, чтобы для него, Ванека, остался кусок рыльца.

Больше всех таращил глаза ненасытный Балоун.

Должно быть, с такой же жадностью и вожделением людоеды смотрят на миссионера, которого поджаривают на вертеле и из которого течёт жир, издавая приятный запах шкварок. Балоун почувствовал себя, как пёс молочника, запряжённый в тележку, мимо которого колбасник-подмастерье на голове проносит корзину со свежими сосисками. Сосиски свисают цепочкой, бьют носильщика по спине. Ничего не стоило бы подпрыгнуть и схватить, не будь противного ремня на упряжке да этого мерзкого намордника.

А ливерный фарш в периоде зарождения, громадный эмбрион ливерной колбасы, лежал на доске и благоухал перцем, жиром, печёнкой.

Юрайда с засученными рукавами выглядел столь величественным, что с него можно было писать картину на тему, как бог из хаоса создаёт землю.

Балоун не выдержал и начал всхлипывать; всхлипывания постепенно перешли в рыдания.

— Чего ревёшь, как бык? — спросил его повар Юрайда.

— Вспомнился мне родной дом, — рыдая, ответил Балоун. — Я, бывало, ни на минуту не уходил из дому, когда делали колбасу. Я никогда не посылал гостинца даже самому лучшему своему соседу, всё один хотел сожрать… и сжирал. Однажды я обожрался ливерной колбасой, кровяной колбасой и бужениной, и все думали, что я лопну, и меня гоняли бичом по двору всё равно как корову, которую раздуло от клевера. Пан Юрайда, позвольте мне попробовать этого фарша, а потом пусть меня свяжут. Я не вынесу этих страданий.



Балоун поднялся со скамьи и, пошатываясь как пьяный, подошёл к столу и протянул лапу к куче фарша.

Завязалась упорная борьба. Присутствующим с трудом удалось помешать Балоуну наброситься на фарш. Но когда его выбрасывали из кухни, он в отчаянии схватил мокнувшие в горшке кишки для ливерной колбасы, и в этом ему помешать не успели.

Повар Юрайда так разозлился, что выбросил вслед удирающему Балоуну целую связку лучинок и заорал:

— Нажрись деревянных шпилек, сволочь!

Между тем наверху уже собрались офицеры батальона и в

торжественном ожидании того, что рождалось внизу, в кухне, за неимением другого алкоголя пили простую хлебную водку, подкрашенную луковым отваром в жёлтый цвет. Еврей-лавочник утверждал, что это самый лучший и самый настоящий французский коньяк, который достался ему по наследству от отца, а тот унаследовал его от своего дедушки.

— Послушай, ты, — грубо оборвал его капитан Сагнер, — если ты прибавишь ещё, что твой прадедушка купил этот коньяк у французов, когда они бежали из Москвы, я велю тебя запереть и держать под замком, пока самый младший в твоей семье не станет самым старшим.

В то время как они после каждого глотка проклинали предприимчивого еврея, Швейк сидел в канцелярии батальона, где не было никого, кроме вольноопределяющегося Марека. Марек воспользовался задержкой батальона у Золтанца, чтобы впрок описать несколько победоносных битв, которые, по всей вероятности, совершатся в будущем.

Пока что он делал наброски. До появления Швейка он успел только написать: «Если перед нашим духовным взором предстанут все герои, участники боёв у деревни N, где бок о бок с нашим батальоном сражался один из батальонов N-ского полка и другой батальон N-ского полка, мы увидим, что наш N-ский батальон проявил блестящие стратегические способности и бесспорно содействовал победе N-ской дивизии, задачей которой являлось окончательное закрепление нашей позиции на N-ском участке».

— Вот видишь, — сказал Швейк вольноопределяющемуся, — я опять здесь.

— Позволь тебя обнюхать, — ответил растроганный вольноопределяющийся Марек. — Гм, от тебя действительно воняет тюрьмой.

— По обыкновению, — сказал Швейк, — это было лишь небольшое недоразумение. А ты что поделываешь?

— Как видишь, — ответил Марек, — запечатлеваю на бумаге геройских защитников Австрии. Но я никак не могу всё связать воедино. Получаются одни только N. Я подчёркиваю, что буква № достигла необыкновенного совершенства в настоящем и достигнет ещё большего в будущем. Кроме моих известных уже способностей, капитан Сагнер обнаружил у меня необычайный математический талант. Я теперь должен проверять счета батальона и в настоящий момент пришёл к заключению, что батальон абсолютно пассивен и ждёт лишь случая, чтобы прийти к какому-нибудь соглашению со своими русскими кредиторами, так как и после поражения и после победы крадут вовсю. Впрочем, это не важно.

Даже если нас разобьют наголову, — вот здесь документ о нашей победе, ибо мне как историографу нашего батальона дано почётное задание написать: «Батальон снова ринулся в атаку на неприятеля, уже считавшего, что победа на его стороне». Нападение наших солдат и штыковая атака были делом одной минуты. Неприятель в отчаянии бежит, бросается в собственные окопы, мы колем его немилосердно штыками, так что он в беспорядке покидает окопы, оставляя в наших руках раненых и нераненых пленных. Это один из самых славных моментов. Тот, кто после боя останется в живых, отправит домой по полевой почте письмо: «Всыпали по заднице, дорогая жена! Я здоров. Отняла ли ты от груди нашего озорника? Только не учи его называть „папой“ чужих, мне это было бы неприятно». Цензура потом вычеркнет из письма «всыпали по заднице», так как неизвестно, кому всыпали, это можно понять по-разному, выражено неясно.

— Главное — ясно выражаться, — изрёк Швейк. — В тысяча девятьсот двенадцатом году в Праге у святого Игнаца служили миссионеры. Был среди них один проповедник, и он говорил с амвона, что ему, вероятно, на небесах ни с кем не придётся встретиться. На той вечерней службе присутствовал жестяник Кулишек. После богослужения пришёл он в трактир и высказался, что тот миссионер, должно быть, здорово набедокурил, если в костёле на открытой исповеди оглашает, что на небесах он ни с кем не встретится. И зачем только таких людей пускают на церковную кафедру?! Нужно говорить всегда ясно и вразумительно, а не обиняками. «У Брейшков» много лет тому назад работал один управляющий. У него была дурная привычка: возвращаясь с работы навеселе, он всегда заходил в одно ночное кафе и там чокался с незнакомыми посетителями; при этим он приговаривал: «Мы на вас, вы на нас…» За это однажды он получил от одного вполне приличного господина из Иглавы вполне приличную зуботычину. Когда утром выметали его зубы, хозяин кафе позвал свою дочку, ученицу пятого класса, и спросил её, сколько зубов у взрослого человека. Она этого не знала, так он вышиб ей два зуба, а на третий день получил от управляющего письмо. Тот извинялся за доставленные неприятности: он, мол, не хотел сказать никакой грубости, публика его не поняла, потому что «мы на вас, вы на нас», собственно, означает: «Мы на вас, вы на нас не должны сердиться». Кто любит говорить двусмысленности, сначала должен их обдумать. Откровенный человек, у которого что на уме, то и на языке, редко получает по морде. А если уж получит, так потом вообще предпочтёт на людях держать язык за зубами. Правда, про такого человека думают, что он коварный и ещё бог весть какой, и тоже не раз отлупят как следует, но это всё зависит от его

рассудительности и самообладания. Тут уж он сам должен учитывать, что он один, а против него много людей, которые чувствуют себя оскорблёнными, и если он начнёт с ними драться, то получит вдвое-втрое больше. Такой человек должен быть скромен и терпелив. В Нуслях живёт пан Гаубер. Как-то раз, в воскресенье, возвращался он с загородной прогулки с Бартуньковой мельницы, и на шоссе в Кундратицах ему по ошибке всадили нож в спину. С этим ножом он пришёл домой, и когда жена снимала с него пиджак, она аккуратненько вытащила нож, а днём уже рубила им мясо на гуляш. Прекрасный был нож, из золингенской стали, на славу отточенный, а дома у них все ножи никуда не годились — до того были зазубренные и тупые. Потом его жене захотелось иметь в хозяйстве целый комплект таких ножей, и она каждое воскресенье посылала мужа прогуляться в Кундратицы; но он был так скромен, что ходил только к Банзетам в Нусли… Он хорошо знал, что если он у них на кухне, то скорее его Банзет вышибет, чем кто-нибудь другой тронет.

— Ты ничуть не изменился, — заметил Швейку вольноопределяющийся.

— Не изменился, — просто ответил тот. — На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять, но и это ещё не самое худшее, главное, я с двенадцатого числа нигде не получал жалованья!

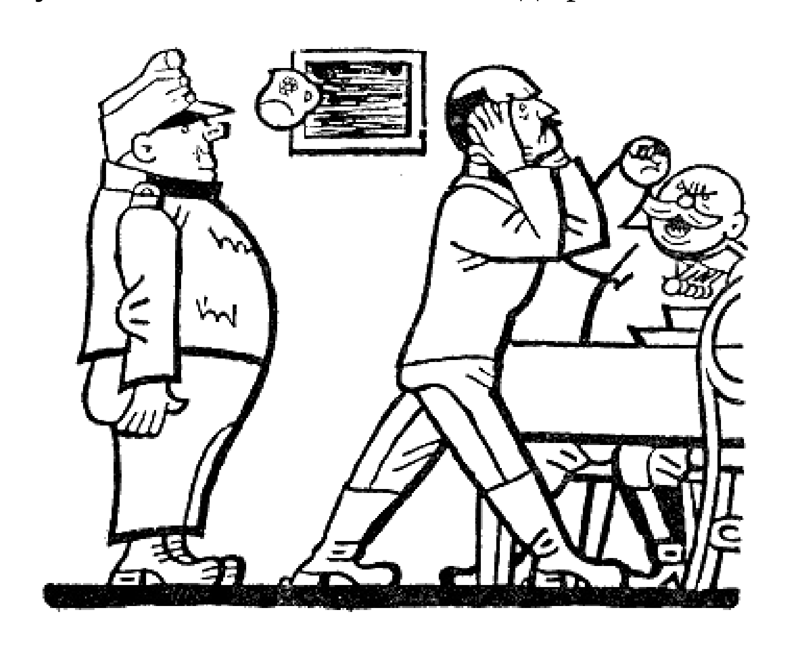
— У нас ты теперь его не получишь, потому что мы идём на Сокаль и жалованье будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за две недели что-то произойдёт, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим двадцать четыре кроны семьдесят два геллера.

— А ещё что новенького у вас?

— Во-первых, потерялся наш арьергард, затем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку, а солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. Перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной семидесятилетней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается.

— Мне тоже кажется, — выразил своё мнение Швейк, — что он не виновен, ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно её лица. Точно такой же случай произошёл на манёврах у Табора. Один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла там в прихожей пол. Солдат Храмоста подкрался к ней и хлопнул её, как бы это сказать, по юбкам, что ли. Юбка у неё была подоткнута очень высоко. Он её шлёпнул раз, — она ничего, шлёпнул другой, третий, — она всё

ничего, как будто это её не касается, тогда он решился на действие; она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулась к нему и говорит: «Вот как я вас поймала, солдатик». Этой бабушке было за семьдесят; после она рассказала об этом всему селу. Позволь теперь задать один вопрос. За время моего отсутствия ты не был ли тоже под арестом?



— Да как-то случая не подвернулось, — оправдывался Марек, — но что касается тебя, приказ по батальону о твоём аресте отдан — это я должен тебе сообщить.

— Это неважно, — спокойно сказал Швейк, — они поступили совершенно правильно. Батальон должен был это сделать, батальон должен был отдать приказ о моём аресте, это было их обязанностью, ведь столько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона. Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника на пирушке по случаю убоя свиньи? Тогда мне нужно туда пойти и доложить, что я опять здесь. У господина обер-лейтенанта Лукаша и без того со мной немало хлопот.

И Швейк твёрдым солдатским шагом направился к дому священника, распевая:

Полюбуйся на меня,
Моя дорогая!
Полюбуйся на меня:
Ишь каким сегодня я
Барином шагаю!

Швейк вошёл в дом священника и поднялся наверх, откуда доносились голоса офицеров.

Болтали обо всём, что придётся, и как раз в этот момент честили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе, а адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил:

— Мы всё же телеграфировали относительно этого Швейка: Швейк… — Hier! — из-за приоткрытой двери отозвался Швейк и, войдя в комнату, повторил: — Hier! Melde gehorsam, Infanterist Svejk, Kumpanieordonanz 11. Marschkumpanie![301]

Видя изумление капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил:

— Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя императора.

— Бог мой, что вы говорите, Швейк? — горестно воскликнул побледневший поручик Лукаш.

— Осмелюсь доложить, дело было так, господин обер-лейтенант…

И Швейк обстоятельно принялся описывать, как это с ним произошло.

Все смотрели на него и не верили своим глазам, а он рассказывал обо всём подробно, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде Галлимулабалибей, а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, Валиволаваливей, Малимуламалимей, поручик Лукаш не удержался и пригрозил:

— Я вас выкину, скотина. Продолжайте кратко, но связно.

И Швейк продолжал со свойственной ему обстоятельностью. Когда он дошёл до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянул, что генерал косит на левый глаз, а у майора — голубые очи.

— Не дают покоя в ночи! — добавил он в рифму.

Тут командир двенадцатой роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку.

Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии, о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть как пропавшего без вести. Под конец, уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с

него всякое подозрение, он вспомнил:

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант Дуб находится в бригаде, у него сотрясение мозга, он всем вам просил кланяться. Прошу выдать мне жалованье и деньги на табак.

Капитан Сагнер и поручик Лукаш обменялись вопросительными взглядами, но в этот момент двери открылись, и в деревянном чане внесли дымящийся суп из свиных потрохов. Это было начало наслаждений, которых ожидали все.

— Несчастный, — проворчал капитан Сагнер, придя в хорошее настроение в предвкушении предстоящего блаженства, — вас спасла лишь пирушка в честь заколотой свиньи.

— Швейк, — добавил поручик Лукаш, — если с вами ещё раз случится нечто подобное, вам придётся плохо.

— Осмелюсь доложить, со мною должно быть плохо, — подтвердил, отдавая честь, Швейк. — Когда человек на военной службе, то ему должно знать и понимать…

— Исчезните! — заорал капитан Сагнер.

Швейк исчез и спустился в кухню.

Туда же вернулся удручённый Балоун и попросил разрешения прислуживать поручику Лукашу на пирушке.

Швейк пришёл как раз в самый разгар спора повара Юрайды с Балоуном.

Юрайда пользовался не совсем понятными выражениями.

— Ты прожорливая тварь, — говорил он Балоуну, — ты бы жрал до седьмого пота. Вот натерпелся бы ты мук пепельных, позволь я тебе отнести наверх ливерную колбасу.

Кухня теперь выглядела совсем по-иному. Старшие писаря батальонов и рот лакомились согласно разработанному поваром Юрайдой плану. Батальонные писаря, ротные телефонисты и несколько унтер-офицеров жадно ели из ржавого умывального таза суп из свиных потрохов, разбавленный кипятком, чтобы хватило на всех.

— Здорово, — приветствовал Швейка старший писарь Ванек, обгладывая ножку. — Только что здесь был вольноопределяющийся Марек и сообщил, что вы снова в роте и что на вас новый мундир. В хорошенькую историю я влип из-за вас. Марек меня пугает, говорит, что из-за вашего обмундирования мы теперь никогда не рассчитаемся с бригадой. Ваш мундир нашли на плотине пруда, и мы через канцелярию батальона сообщили об этом бригаде. У меня вы числитесь как утонувший во время купания. Вы вообще не должны были возвращаться и причинять нам

неприятности с двойным мундиром. Вы и понятия не имеете, какую свинью вы подложили батальону. Каждая часть вашего обмундирования у нас заприходована. В моих списках наличия обмундирования роты это обмундирование значится как излишек. В роте одним комплектом обмундирования больше. Это я уже довёл до сведения батальона. Теперь нам пришлют из бригады уведомление, что вы получили новое обмундирование, а между тем батальон в списке о наличии обмундирования отметил, что имеется излишек одного комплекта. Я знаю, чем это кончится, из-за этого могут назначить ревизию. А когда дело касается такой мелочи, обязательно приедут из самого интендантства. Вот когда пропадает две тысячи пар сапог, этим никто не поинтересуется.

— Но у нас ваше обмундирование потерялось, — трагически сообщил Ванек, высасывая мозг из попавшей ему в руки кости, а остаток выковыривая спичкой, которая заменяла ему также зубочистку. — Из-за такой мелочи сюда непременно явится инспекция. Когда я служил на Карпатах, так инспекция прибыла из-за того, что мы плохо выполняли распоряжение стаскивать с замёрзших солдат сапоги, не повреждая их. Стаскивали, стаскивали, — и на двоих они лопнули. Правда, у одного они были разбиты ещё перед смертью. И несчастье — как снег на голову. Приехал полковник из интендантства, и, не угоди ему тут же по прибытии русская пуля в голову и не свались он в долину, не знаю, чем бы всё это кончилось.

— С него тоже стащили сапоги? — полюбопытствовал Швейк.

— Стащили, — задумчиво ответил Ванек, — но неизвестно кто, так что полковничьи сапоги мы не смогли указать в отчёте.

Повар Юрайда снова вернулся сверху, и его взгляд упал на сокрушённого Балоуна, который, опечаленный и уничтоженный, сидел на лавке у печи и с невыразимой тоской разглядывал свой ввалившийся живот.

— Твоё место в секте гезихастов, — с состраданием произнёс учёный повар Юрайда, — те по целым дням смотрели на свой пупок, пока им не начинало казаться, что вокруг пупка появилось сияние. После этого они считали, что достигли третьей степени совершенства.

Юрайда открыл духовку и достал оттуда одну кровяную колбаску.

— Жри, Балоун, — сказал он ласково, — жри, пока не лопнешь, подавись, обжора.

У Балоуна на глазах выступили слёзы.

— Дома, когда мы кололи свинью, — жалобно рассказывал он, пожирая маленькую кровяную колбаску, — я сперва съедал кусок буженины, всё рыло, сердце, ухо, кусок печёнки, почки, селезёнку, кусок

бока, язык, а потом… — И тихим голосом, как бы рассказывая сказку, прибавил: — А потом шли ливерные колбаски, шесть, десять штучек, пузатые кровяные колбаски, крупяные и сухарные, так что не знаешь, с чего начать: то ли с сухарной, то ли с крупяной. Всё тает во рту, всё вкусно пахнет, и жрёшь, жрёшь…

— Я думаю, — продолжал Балоун, — пуля-то меня пощадит, но вот голод доконает, и никогда в жизни я больше не увижу такого противня кровяного фарша, какой я видывал дома. Вот студень я не так любил, он только трясётся, и никакого от него толку. Жена, та, наоборот, готова была умереть из-за студня. А мне на этот студень и куска уха было жалко, я всё хотел сам сожрать и так, как мне было больше всего по вкусу. Не ценил я этого, всех этих прелестей, всего этого благополучия. Как-то раз у тестя, жившего на содержании детей, я выспорил свинью, зарезал её и сожрал всю один, а ему, бедному старику, пожалел послать даже маленький гостинец. Он мне потом напророчил, что я подохну с голоду, оттого что нечего мне будет есть.

— Так, видно, оно и есть, — сказал Швейк, у которого сегодня сами собой с языка срывались рифмы.



Повар Юрайда, только что пожалевший Балоуна, потерял всякое к нему сочувствие, так как Балоун быстро подкрался к плите, вытащил из кармана целую краюху хлеба и попытался макнуть её в соус, в котором на большом противне лежала груда жареной свинины.

Юрайда так сильно ударил его по руке, что краюха упала в соус, подобно тому как пловец прыгает с мостков в реку.

И, не давая Балоуну вытащить этот лакомый кусок из противня, Юрайда схватил и выбросил обжору за дверь.

Удручённый Балоун уже в окно увидел, как Юрайда вилкой достал его краюху, которая вся пропиталась соусом так, что стала совершенно

коричневой, прибавил к ней срезанный с самого верха жаркого кусок мяса и подал всё это Швейку со словами:

— Ешьте, мой скромный друг!

— Дева Мария! — завопил за окном Балоун. — Мой хлеб в сортире! — Размахивая длинными руками, он отправился на село, чтобы хоть там перехватить чего-нибудь.

Швейк, поедая великодушный дар Юрайды, говорил с набитым ртом:

— Я, право, рад, что опять среди своих. Мне было бы очень досадно, если бы я не мог и дальше быть полезным нашей роте. — Вытирая с подбородка соус и сало, он закончил: — Не знаю, не знаю, что бы вы тут делали, если бы меня где-нибудь задержали, а война затянулась бы ещё на несколько лет.

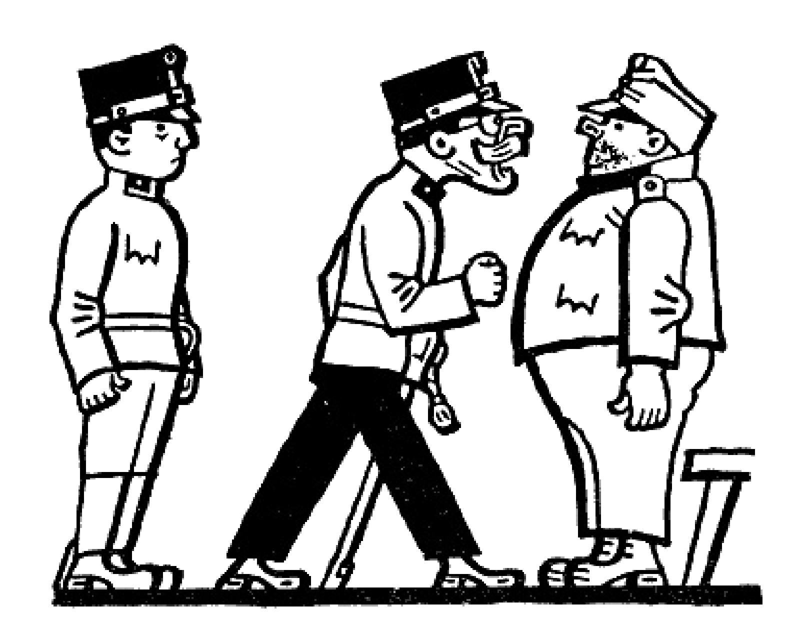
Старший писарь Ванек с интересом спросил:

— Как вы думаете, Швейк, война ещё долго протянется?

— Пятнадцать лет, — ответил Швейк. — Дело ясное. Ведь раз уже была Тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать.

— Денщик нашего капитана, — отозвался Юрайда, — рассказывал, и будто он сам это слышал: как только нами будет занята граница Галиции, мы дальше не пойдём; после этого русские начнут переговоры о мире.

— Тогда не стоило и воевать, — убеждённо сказал Швейк. — Коль война, так война. Я решительно отказываюсь говорить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде. Уж раз мировая война, так неужели мы будем валандаться возле границ? Возьмём, например, шведов в Тридцатилетнюю войну. Ведь они вон откуда пришли, а добрались до самого Немецкого Брода и до Липниц, где устроили такую резню, что ещё нынче в тамошних трактирах говорят по-шведски и друг друга не понимают. Или пруссаки, те тоже не из соседней деревни пришли, а в Липницах после них пруссаков хоть отбавляй. Добрались они даже до Едоухова и до Америки, а затем вернулись обратно.



— Впрочем, — сказал Юрайда, которого сегодняшнее пиршество совершенно выбило из колеи и сбило с толку, — все люди произошли от карпов. Возьмём, друзья, эволюционную теорию Дарвина…

Дальнейшие его рассуждения были прерваны вторжением вольноопределяющегося Марека.

— Спасайся кто может! — завопил Марек. — Только что к штабу батальона подъехал на автомобиле подпоручик Дуб и привёз с собой вонючего кадета Биглера.

— С Дубом происходит что-то страшное, — информировал далее Марек. — Когда они с Биглером вылезли из автомобиля, он ворвался в канцелярию. Вы помните, уходя отсюда, я сказал, что немного вздремну. Растянулся я, значит, в канцелярии на скамейке и только стал засыпать, он на меня и налетел. Кадет Биглер заорал: «Habacht!» Подпоручик Дуб поднял меня и набросился: «Ага! Удивляетесь, что я застиг вас в канцелярии при неисполнении вами своих обязанностей? Спать полагается только после отбоя». А Биглер определил: «Раздел шестнадцатый, параграф девятый казарменного устава». Тут Дуб стукнул кулаком по столу и разорался: «Видно в батальоне хотели от меня избавиться, не думайте, что это было сотрясение мозга, мой череп выдержит». Кадет Биглер в это время перелистывал на столе бумаги и для себя прочёл вслух выдержку из одного документа: «Приказ по дивизии номер двести восемьдесят». Подпоручик Дуб, думая, что тот насмехается над его последней фразой насчёт крепкого черепа, стал упрекать кадета в недостойном и дерзком поведении по отношению к старшему по чину офицеру и теперь ведёт его сюда, к капитану, чтобы на него пожаловаться.

Спустя несколько минут Дуб и Биглер пришли на кухню, через которую нужно было пройти, чтобы попасть наверх, где находился офицерский состав и где, наевшись жареной свинины, пузатый прапорщик Малый распевал арии из оперы «Травиата», рыгая при этом после капусты и жирного обеда.

Когда подпоручик Дуб вошёл, Швейк закричал:

— Habacht! Всем встать!

Подпоручик Дуб вплотную подошёл к Швейку и крикнул ему прямо в лицо:

— Теперь радуйся, теперь тебе аминь! Я велю из тебя сделать чучело на память Девяносто первому полку.

— Zum Befehl, господин лейтенант, — козырнул Швейк. — однажды я читал, осмелюсь доложить, что некогда была великая битва, в которой пал шведский король со своим верным конём. Обоих павших отправили в Швецию и из их трупов набили чучела, и теперь они стоят в Стокгольмском музее.

— Откуда у тебя такие познания, хам? — взвизгнул подпоручик Дуб.

— Осмелюсь доложить, господин лейтенант, от моего брата, преподавателя гимназии.

Подпоручик Дуб круто повернулся, плюнул и, подталкивая вперёд кадета Биглера, прошёл наверх, в зал. Однако в дверях он всё же не преминул обернуться к Швейку и с неумолимой строгостью римского цезаря, решающего в цирке судьбу раненого гладиатора, сделал движение большим пальцем правой руки и крикнул:

— Большой палец книзу!

— Осмелюсь доложить. — прокричал вслед ему Швейк, — пальцы всегда книзу!

*

Кадет Биглер был слаб, как муха. За это время он успел побывать в нескольких холерных пунктах и после манипуляций, которые проделывали с ним, как с бациллоносителем холеры, естественно, привык совершенно непроизвольно делать в штаны, пока наконец на одном из таких пунктов не попал в руки специалиста. Тот в его испражнениях не нашёл холерных бацилл, закрепил ему кишечник танином, как сапожник дратвой рваные башмаки, и направил в ближайшее этапное управление, признав лёгкого, как пар над горшком, кадета Биглера «frontdiensttauglich».[302]

Доктор был сердечный человек.

Когда кадет Биглер обратил внимание врача на то, что чувствует себя очень слабым, тот, улыбаясь, ответил: «Золотую медаль за храбрость у вас ещё хватит сил унести. Ведь вы же добровольно пошли на войну».

Итак, кадет Биглер отправился за золотой медалью.

Его укреплённый кишечник уже не выделял жидкость в штаны, но частые позывы всё ещё мучили кадета, так что весь путь Биглера от последнего этапного пункта до самого штаба бригады, где он встретился с подпоручиком Дубом, был воистину торжественным шествием по всевозможным уборным. Он несколько раз опаздывал на поезд, потому что подолгу просиживал в вокзальных клозетах и поезд уходил. Несколько раз он не успевал пересесть с поезда на поезд из-за того, что не мог выйти из уборной вагона.

И всё же, несмотря на это, несмотря на все уборные, которые стояли на его пути, кадет Биглер приближался к бригаде.

Подпоручик Дуб ещё некоторое время должен был оставаться под врачебным надзором в бригаде. Однако в день отъезда Швейка в батальон штабной врач передумал, узнав, что после обеда в расположение батальона Девяносто первого полка идёт санитарная автомашина.

Врач был очень рад избавиться от подпоручика Дуба, который в качестве лучшего доказательства разных своих утверждений приводил единственный довод: «Об этом мы ещё до войны говорили с господином окружным начальником».

«Mit deinern Bezirkshauptrnann kannst du mir Arsch lecken»[303] — подумал штабной врач и возблагодарил судьбу за то, что санитарные автомашины отправляются на Каменку-Струмилову через Золтанец.

Швейк не видел в бригаде кадета Биглера, потому что тот уже свыше двух часов сидел в офицерском ватерклозете. Можно смело утверждать, что кадет Биглер в подобных местах, никогда не терял напрасно времени, так как повторял в уме все славные битвы доблестной австро-венгерской армии, начиная со сражения 6 сентября 1634 года у Нердлингена и кончая Сараевом 19 августа 1888 года. Несчётный раз дёргая за цепочку в ватерклозете и слушая, как вода с шумом устремляется в унитаз, он, зажмурив глаза, представлял себе рёв битвы, кавалерийскую атаку и грохот пушек.

Встреча подпоручика Дуба с кадетом Биглером была не особенно приятной и, несомненно, явилась причиной их дальнейшей обоюдной неприязни как на службе, так и вне её.

Пытаясь в четвёртый раз проникнуть в уборную, Дуб, разозлившись,

крикнул:

— Кто там?

— Кадет одиннадцатой маршевой роты М-ского батальона Девяносто первого полка Биглер, — гласил гордый ответ.

— Здесь, — представился за дверью конкурент, — подпоручик той же роты Дуб.

— Сию минуту, господин подпоручик.

— Жду.

Подпоручик Дуб нетерпеливо смотрел на часы. Никто не поверит, сколько требуется энергии и упорства, чтобы в таком состоянии выдержать у двери пятнадцать минут, потом ещё пять, затем следующие пять и на стук и волчки рукой и ногами получать всё один и тот же ответ: «Сию минуту, господин подпоручик».

Подпоручика Дуба бросило в жар, особенно когда после обнадёживающего шуршания бумаги прошло ещё семь минут, а дверь всё не открывалась. Кадет Биглер был ещё столь тактичен, что не каждый раз спускал воду. Охваченный лёгкой лихорадкой, подпоручик Дуб стал подумывать, не пожаловаться ли ему командующему бригадой, который, может быть, отдаст приказ взломать дверь и вынести кадета Биглера. Ему пришло также в голову, что это, может быть, является нарушением субординации.

Спустя пять минут подпоручик Дуб почувствовал, что ему, собственно, уже нечего делать там, за дверью, что ему уже давно расхотелось. Но он не отходил от уборной из принципа, продолжая колотить ногой в дверь, из-за которой раздавалось одно и то же: «In einer Minute fertig, Herr Leutnant!»[304]

Наконец подпоручик услышал, как Биглер спускает воду, и через минуту оба стояли лицом к лицу.

— Кадет Биглер, — загремел подпоручик Дуб, — не думайте, что я пришёл сюда с той же целью, что и вы. Я пришёл сюда потому, что вы, прибыв в штаб бригады, не явились ко мне с рапортом. Не знаете правил, что ли? Известно ли вам, кому вы отдали предпочтение?

Кадет Биглер старался вспомнить, не допустил ли он чего противоречащего дисциплине и инструкциям, касающимся отношений низших офицерских чинов с более высокими.

В его познаниях в этой области был большой пробел.

В школе им не читали лекций о том, как в таких случаях низший офицерский чин обязан вести себя по отношению к старшему, должен ли он, недоделав, вылететь из уборной, одной рукой придерживая штаны, а

другой отдавая честь.

— Ну, отвечайте, кадет Биглер! — вызывающе крикнул подпоручик Дуб.

И тут кадету Биглеру пришёл на ум самый простой ответ:

— Господин подпоручик, по прибытии в штаб бригады я не имел сведений о том, что вы находитесь здесь, и, покончив со своими делами в канцелярии, немедленно отправился в уборную, где и находился вплоть до вашего прихода. — И он торжественно прибавил: — Кадет Биглер докладывает о себе господину подпоручику Дубу!

— Видите, это не мелочь, — с горечью сказал подпоручик Дуб. — По моему мнению, кадет Биглер, вы должны были сейчас же по прибытии в штаб бригады справиться в канцелярии, не находится ли здесь случайно офицер вашего батальона и вашей роты. О вашем поведении мы вынесем решение в батальоне. Я еду туда на автомобиле, вы едете со мною. Никаких «но»!

Кадет Биглер возразил было, что у него имеется составленный штабом бригады железнодорожный маршрут. Этот вид транспорта для него намного удобнее, если принять во внимание слабость его прямой кишки. Каждому ребёнку известно, что автомобили не приспособлены для таких случаев. Пока пролетишь сто восемьдесят километров, наложишь в штаны.

Чёрт знает, как это случилось, но вначале, когда они выехали, тряска автомобиля никак не подействовала на желудок Биглера.

Подпоручик Дуб был в полном отчаянии от того, что ему не удаётся осуществить свой план мести.

Дело в том, что, когда они выезжали, подпоручик Дуб подумал про себя: «Подожди, кадет Биглер, ты думаешь, что я позволю остановить, когда тебя схватит!»

Следуя этому плану, Дуб, насколько позволяла скорость, с которой они проглатывали километр за километром, начинал приятный разговор о том, что военные автомашины, получившие определённый маршрут, не должны зря расходовать бензин и делать остановки.

Кадет Биглер совершенно справедливо возразил, что на стоянке бензин вообще не расходуется, так как шофёр выключает мотор.

— Поскольку, — неотвязно твердил подпоручик Дуб, — машина должна прибыть на место в установленное время, никакие остановки не разрешаются.

Со стороны кадета Биглера не последовало никаких реплик.

Так они резали воздух свыше четверти часа; вдруг подпоручик Дуб почувствовал, что у него пучит живот, и что было бы желательно

остановить машину, вылезти, сойти в ров, спустить штаны и облегчиться.

Он держался героем до сто двадцать шестого километра, но больше не вынес, энергично дёрнул шофёра за шинель и крикнул ему в ухо: «Halt!»

— Кадет Биглер, — милостиво сказал подпоручик Дуб, быстро соскакивая с автомобиля и спускаясь в ров, — теперь у вас также есть возможность…

— Благодарю, — ответил кадет Биглер, — я не хочу понапрасну задерживать машину.

Кадет Биглер, который тоже чувствовал крайнюю потребность, решил про себя, что скорее наложит в штаны, чем упустит прекрасный случай осрамить подпоручика Дуба.

До Золтанца подпоручик Дуб ещё два раза останавливал машину и на последней остановке угрюмо буркнул:

— На обед мне подали бигос по-польски. Из батальона пошлю телеграфную жалобу в бригаду. Испорченная кислая капуста и негодная к употреблению свинина. Дерзость поваров переходит всякие границы. Кто меня ещё не знает, тот узнает.

— Фельдмаршал Ностиц-Ринек, цвет запасной кавалерии, — ответил на это Биглер, — издал сочинение «Was schadet clem Magen im Kriege»,[305] в котором он вообще не рекомендует есть свинину во время военных тягот и лишений. Всякая неумеренность в походе вредна.

Подпоручик Дуб не произнёс ни слова, только подумал про себя: «Я тебе покажу учёность, мальчишка», — а потом, поразмыслив, задал Биглеру глупейший вопрос:

— Итак, кадет Биглер, вы думаете, что офицер, по отношению к которому вы должны вести себя как подчинённый, неумеренно ест? Не собирались ли вы, кадет Биглер, сказать, что я обожрался? Благодарю за грубость. Будьте уверены, я с вами рассчитаюсь, вы меня ещё не знаете, но когда меня узнаете, вспомните подпоручика Дуба.

На последнем слове он чуть было не прикусил себе язык, так как в это время они перелетели через вымоину.

Кадет Биглер опять промолчал, что снова оскорбило подпоручика Дуба, и он грубо спросил:

— Послушайте, кадет Биглер, я думаю, вас учили отвечать на вопросы своего начальника?

— Конечно, — сказал кадет Биглер, — есть такое место в уставе. Но прежде всего следует разобраться в наших взаимоотношениях. Насколько мне известно, я ещё никуда не прикомандирован, так что вопрос о моём непосредственном подчинении вам, господин подпоручик, совершенно

отпадает. Однако самым важным является то, что в офицерских кругах на вопросы начальников подчинённый обязан отвечать лишь по служебным делам. Поскольку мы здесь сидим вдвоём в автомобиле, мы не представляем собой никакой боевой единицы, принимающей участие в определённой военной операции, между нами нет никаких служебных отношений. Мы оба направляемся к своим подразделениям, и ответ на ваш вопрос, собирался ли я сказать, что вы, господин подпоручик, обожрались, ни в коем случае не явился бы служебным высказыванием.

— Вы кончили? — заорал на него подпоручик Дуб. — Вы…

— Да, — заявил твёрдо кадет Биглер, — не забывайте, господин подпоручик, что нас рассудит офицерский суд чести.

Подпоручик Дуб был вне себя от злости и бешенства. Обыкновенно, волнуясь, он нёс ещё большую ерунду, чем в спокойном состоянии.

Поэтому он проворчал:

— Вопрос о вас будет решать военный суд.

Кадет Биглер воспользовался случаем, чтобы окончательно добить Дуба, и потому самым дружеским тоном сказал:

— Ты шутишь, товарищ.

Подпоручик Дуб крикнул шофёру, чтобы тот остановился.

— Один из нас должен идти пешком, — сказал он заплетающимся языком.

— Я еду, — спокойно ответил кадет Биглер, — а ты, товарищ, поступай как хочешь.

— Поехали, — словно в бреду заревел на шофёра подпоручик Дуб и завернулся в тогу молчания, полного достоинства, как Юлий Цезарь, когда к нему приблизились заговорщики с кинжалами, чтобы пронзить его.

Так они приехали в Золтанец, где напали на след своего батальона.

*****

В то время как подпоручик Дуб и кадет Биглер спорили на лестнице о том, имеет ли никуда не зачисленный кадет право претендовать на ливерную колбасу из того количества, которое дано для офицеров различных рот, внизу, в кухне, уже насытились, разлеглись на просторных лавках и вели разговоры о всякой всячине, пуская вовсю дым из трубок.

Повар Юрайда объявил:

— Итак, я сегодня изобрёл замечательную вещь. Думаю, что это произведёт полный переворот в кулинарном искусстве. Ты ведь, Ванек,

знаешь, что в этой проклятой деревне я нигде не мог найти майораны для ливера.

— Herba majoranae, — вымолвил старший писарь Ванек, вспомнив, что он торговец аптекарскими товарами.

Юрайда продолжал:

— Ещё не исследовано, каким образом человеческий разум в нужде ухитряется находить самые разнообразные средства, как перед ним открываются новые горизонты, как он начинает изобретать всякие невероятные вещи, которые человечеству до сих пор и не снились… Ищу я по всем домам майоран, бегаю, разыскиваю всюду, объясняю, для чего это мне надо, какой он с виду…

— Тебе нужно было описать его запах, — отозвался с лавки Швейк, — ты должен был сказать, что майоран пахнет, как пузырёк с чернилами, если его понюхать в аллее цветущих акаций. На холме в Богдальце, возле Праги…

— Но, Швейк, — перебил умоляющим голосом вольноопределяющийся Марек. — Дайте Юрайде закончить.

Юрайда рассказывал дальше:

— В одном доме я наткнулся на старого отставного солдата времён оккупации Боснии и Герцеговины, который отбывал военную службу уланом в Пардубицах и ещё не забыл чешского языка. Тот стал со мной спорить, что в Чехии в ливерную колбасу кладут не майоран, а ромашку. Я, по правде сказать, не знал, что делать, потому что каждый разумный и объективный человек должен считать майоран королём всех пряностей, которые идут в ливерную колбасу.



Необходимо было быстро найти такой заменитель, который придал бы колбасе характерный пряный привкус. И вот в одном доме я нашёл свадебный миртовый веночек, висевший под образом какого-то святого. Жили там молодожёны, и веточки мирта у веночка были ещё довольно свежие. Я положил мирт в ливерную колбасу; правда, свадебный веночек мне пришлось три раза ошпарить кипятком, чтобы листочки стали мягкими и потеряли чересчур острый запах и вкус. Понятно, когда я забирал для ливера этот свадебный миртовый веночек, было пролито немало слёз… Молодожёны, прощаясь со мной, уверяли, что за такое кощунство — ведь веночек свячёный — меня убьёт первая пуля. Вы ели мой суп из потрохов, но никто из вас не заметил, что он пахнет миртом, а не майораном.

— В Индржиховом Градце, — отозвался Швейк, — много лет тому назад был колбасник Йозеф Линёк. У него на полке стояли две коробки. В одной была смесь всяких пряностей, которые он клал в кровяную и ливерную колбасу. В другой — порошок от насекомых, так как этот колбасник неоднократно мог удостовериться, что его покупателям часто приходилось разгрызать в колбасе клопа или таракана. Он всегда говорил, что клопам присущ пряный привкус горького миндаля, который кладут в бабу, но прусаки в колбасных изделиях воняют, как старая заплесневелая Библия. Ввиду этого он зорко следил за чистотой в своей мастерской и повсюду рассыпал порошок от насекомых.

Так вот, делал он раз кровяную колбасу, а у него в это время был насморк. Схватил он коробку с порошком от насекомых и всыпал этот порошок в фарш, приготовленный для кровяной колбасы. С тех пор в Индржиховом Градце за кровяной колбасой ходили только к Линеку. Люди буквально ломились к нему в лавку. Он был не дурак и смекнул, что причиной всему — порошок от насекомых. С этого времени он стал заказывать наложенным платежом целые ящики этого порошка, а фирму, у которой он его покупал, предупредил, чтобы на ящиках писали: «Индийские пряности». Это было его тайной, и он унёс её с собой в могилу. Но самое интересное оказалось то, что из семей, которые покупали у него кровяную колбасу, все тараканы и клопы ушли. С тех пор Индржихов Градец принадлежит к самым чистым городам во всей Чехии.

— Ты кончил? — спросил вольноопределяющийся Марек, которому, должно быть, тоже не терпелось принять участие в разговоре.

— С этим я покончил, — ответил Швейк, — но аналогичный случай произошёл в Бескидах, об этом я расскажу вам, когда мы пойдём в сражение.

Вольноопределяющийся Марек начал:

— Поварское искусство лучше всего познаётся во время войны, особенно на фронте. Позволю себе маленькое сравнение. В мирное время все мы читали и слушали о так называемых ледяных супах, то есть о супах, в которые кладут лёд. Это — излюбленные блюда в Северной Германии, Дании, Швеции. Но вот пришла война, и нынешней зимой на Карпатах у солдат было столько мёрзлого супа, что они в рот его не брали, а между тем это — изысканное блюдо.

— Мёрзлый гуляш есть можно, — возразил старший писарь Ванек, — но недолго, самое большее неделю. Из-за него наша девятая рота оставила окопы.

— Ещё в мирное время, — необычайно серьёзно заметил Швейк, — вся военная служба вертелась вокруг кухни и вокруг разнообразнейших кушаний. Был у нас в Будейовицах обер-лейтенант Закрейс, тот всегда вертелся около офицерской кухни, и если солдат в чем-нибудь провинится, он скомандует ему «смирно» и напустится: «Мерзавец, если это ещё раз повторится, я сделаю из твоей рожи настоящую отбивную котлету, раздавлю тебя в картофельное пюре и потом тебе же дам это всё сожрать. Полезут из тебя гусиные потроха с рисом, будешь похож на шпигованного зайца на противне. Вот видишь, ты должен исправиться, если не хочешь, чтоб люди принимали тебя за фаршированное жаркое с капустой».

Дальнейшее изложение и интересный разговор об использовании меню в целях воспитания солдат в довоенное время были прерваны страшным криком сверху, где закончился торжественный обед.

В беспорядочном гомоне голосов выделялся резкий голос кадета Биглера:

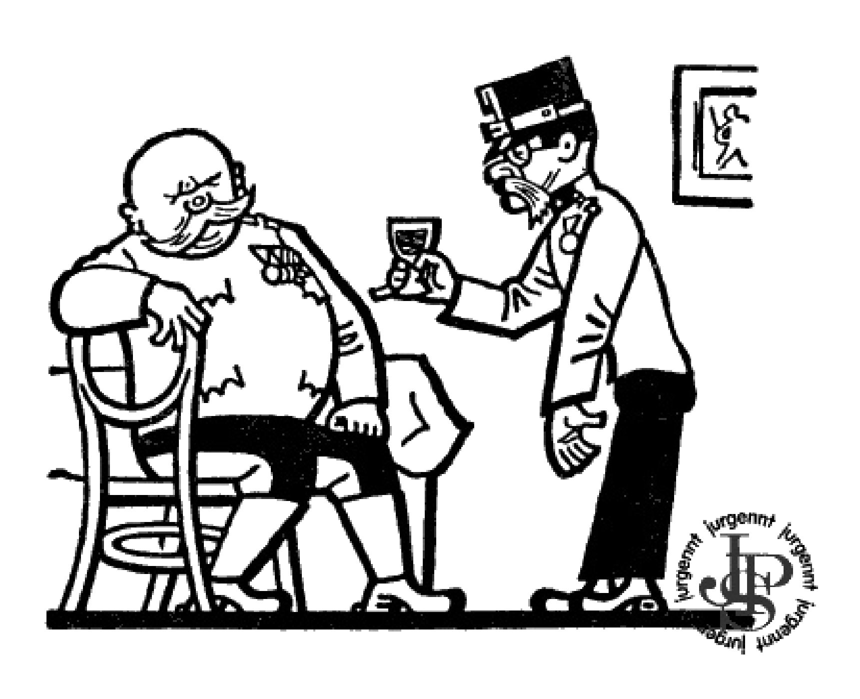
— Солдат должен ещё в мирное время знать, чего требует война, а во время войны не забывать того, чему научился на учебном плацу.

Потом запыхтел подпоручик Дуб:

— Прошу констатировать, мне уже в третий раз наносят оскорбление.

Наверху совершались великие дела.

Подпоручик Дуб, лелеявший известные коварные умыслы против кадета Биглера и жаждавший излить свою душу перед командиром батальона, был встречен страшным рёвом офицеров. На всех замечательно подействовала еврейская водка.



Один старался перекричать другого, намекая на кавалерийское искусство подпоручика Дуба: «Без грума не обойдётся!», «Испуганный мустанг!», «Как долго, приятель, ты пробыл среди ковбоев на Западе?», «Цирковой наездник!»

Капитан Сагнер быстро сунул Дубу стопку проклятой водки, и оскорблённый подпоручик Дуб подсел к столу. Он придвинул старый, поломанный стул к поручику Лукашу, который приветствовал его участливыми словами: «Мы уже всё съели, товарищ».

Кадет Биглер строго по инструкции доложил о себе капитану Сагнеру и другим офицерам, каждый раз повторяя: «Кадет Биглер прибыл в штаб батальона». Хотя все это видели и знали, тем не менее его грустная фигура каким-то образом осталась незамеченной.

Биглер взял полный стакан, скромно уселся у окна и ждал удобного момента, чтобы бросить на ветер свои познания, почерпнутые из учебников.

Подпоручик Дуб, которому ужасная сивуха ударила в голову, стуча пальцем по столу, ни с того ни с сего обратился к капитану Сагнеру:

— Мы с окружным начальником всегда говорили: «Патриотизм, верность долгу, самосовершенствование — вот настоящее оружие на войне». Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном времени перейдут через границы.

До этих слов продиктовал уже больной Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после первой мировой войны.

---

notes

Примечание

1

Держи язык за зубами и служи (нем.). Читатель должен иметь в виду, что Швейк и некоторые другие герои в романе по-немецки, польски, венгерски говорят неправильно.

2

Годен! (нем.)

3

Некоторые писатели употребляют выражение «грызут упрёки совести». Я не считаю это выражение вполне точным. Ведь и тигр человека пожирает, а не грызёт. (Прим. автора.)

4

Книга записи арестованных (нем.)

5

Хайль! Долой сербов! (нем.)

6

Весь чешский народ — банда симулянтов (нем.)

7

Кругом! (нем.)

8

Это действительно необычный фиговый листок (нем.)

9

Вы симулянт! (нем.)

10

Немедленно арестовать этого типа (нем.)

11

Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная! (нем.)

12

Вольно! (нем.)

13

Разойдись! (нем.)

14

Бравый солдат (нем.)

15

Иоганн, подойдите! (нем.)

16

Боже, покарай Англию (нем.)

17

Объединёнными силами (лат.)

18

За бога, императора и отечество! (нем.)

19

Храни вас бог (нем.)

20

Идиот (нем.)

21

Чёрт побери! (нем.)

22

Этот молодчик думает, что ему поверят, будто он действительно идиот… (нем.)

23

Пли! (нем.)

24

Стеречь строго, наблюдать (нем.)

25

Изыдите, служба окончена {лат.)

26

Смирно! (нем.)

27

Да, насчёт мира душевного, очень хорошо! (нем.)

28

Очень хорошо, не правда ли, господа? (нем.)

29

Кругом! Марш! (нем.)

30

Привет! (лат.)

31

Тридцать процентов людей, сидевших в гарнизонной тюрьме, пробыли там всю войну и ни разу не были на допросе. (Прим. автора.)

32

Императорско-королевский военный суд (нем.)

33

Это испытанное средство попасть в госпиталь. Однако часто выдаёт запах керосина, остающийся в опухоли. Бензин лучше, так как быстрее испаряется. Позднее солдаты впрыскивали себе смесь эфира с бензином; ещё позднее достигли они и других усовершенствований. (Прим. автора.)

34

Честь имеем… доложить… господин фельдкурат… доставить пакет с человеком (нем.)

35

Благословение господне на вас, и со духом твоим. Благословение господне на вас (лат.)

36

Извините, дорогой товарищ, вы болван! Я могу петь, что хочу! (нем.)

37

Честь имею сообщить, господин полковник, я пьян (нем.).

38

Я в состоянии заплатить! (нем.)

39

Просмотрено цензурой. Императорский королевский концентрационный лагерь Штейнгоф (нем.).

40

И со духом твоим (лат.)

41

Благословение господне на вас (лат.)

42

Вольно! (нем.)

43

На молитву! (нем.)

44

В самом деле это ужасно, господин фельдкурат. Народ так испорчен (нем.)

45

Неповторимое (лат.)

46

Дорогой Генрих! Муж гонится за мною по пятам. Мне необходимо погостить у тебя пару дней. Твой денщик — скотина. Я несчастна. Твоя Кати (нем.).

47

Грубое немецкое ругательство

48

С этими бандитами я живо расправлюсь

49

Стой! (нем.)

50

Вон отсюда, свинья! (нем.)

51

Мадьяр? (венгерск.)

52

Не понимаю, товарищ (венгерск.)

53

Сердечно благодарен (венгерск.)

54

Нечего… нечего (венгерск.)

55

Трое детей, нечего… ура! (венгерск.)

56

Ваши документы (нем.)

57

Что значит это слово? (нем.)

58

Это всё равно, что «господин фельдфебель» (нем.)

59

… в военную станционную комендатуру вшивого парня, как бешеную собаку (нем.)

60

Стоит уйти на три минуты, как только и слышно: «По-чешски, чехи» (нем.)

61

Вот ведь шлюха, не хочет спать со мной (нем.)

62

Подозревается в шпионаже (нем.)

63

Доношу покорно, что неприятельский офицер сегодня же будет отправлен в окружное жандармское управление в город Писек. (нем.).

64

Вахмистр! А где ответ на циркуляр (нем.)

65

Поздравляю вас, господин вахмистр (нем.)

66

Примкнуть штык! (нем.)

67

Состав преступления (лат.)

68

Должен присовокупить, что русская контушовка (нем.)

69

В дополнение к моему сообщению № 2172 докладываю… (нем.)

70

Хайль! Долой сербов! (нем.)

71

Со всей этой вашей войной поцелуйте меня в задницу! (нем.)

72

Как только высочайшие особы появятся в виду крепости, на всех бастионах и укреплениях производится салют из всех орудий. Комендант крепости верхом выезжает вперёд, с саблей наголо, чтобы принять их (нем.).

73

В момент, когда комендант отдаёт саблею честь высочайшим особам, производится второй салют, который повторяется в третий раз при вступлении высочайших особ на территорию крепости (нем.).

74

Полковая гауптвахта (нем.)

75

Больничная книга

76

Негоден к несению строевой службы (нем.)

77

Полковой рапорт! (нем.)

78

Военное училище! Занятия с воспитанниками, оставшимися на второй год! (нем.)

79

Учёт состава чинов запаса! Чёрт побери (нем.)

80

Где поют — ложись и спи спокойно: кто поёт, тот человек достойный! (нем.)

81

Что вы тут делаете, эй вы, шляпа? (нем.)

82

Чешская (нем.)

83

Пара оплеух (нем.)

84

Ложись (нем.)

85

Кругом! (нем.)

86

Наш бравый дурачок (нем.)

87

Муштровка или воспитание (нем.)

88

Строгий арест (нем.)

89

Подумаешь, экая важность, ему всё равно подыхать (нем.)

90

Солдатам всё равно подыхать (нем.)

91

Лишение права на уважение равных по положению граждан (нем.)

92

Марш! (нем.)

93

Праздник по случаю того, что зарезали свинью (нем.).

94

Кругом марш! (нем.)

95

Полковой писарь! (нем.)

96

Один за другим! Примкнуть штыки! (нем.)

97

Принц Евгений, славный рыцарь. (нем.)

98

Боже, покарай Англию! (нем.)

99

Долой сербов! (нем.)

100

Вольно! (нем.)

101

Вперёд! Марш! (нем.)

102

Когда приеду я назад. (Песня на немецком диалекте.)

103

А ты, моё сокровище, остаёшься здесь. Голарио, голарио, голо! (нем.)

104

Кстати! (франц.)

105

Сельская жизнь (англ.)

106

Eichel — жёлудь (нем.)

107

Дрозд (лат)

108

А, Фреди, здорово, что нового? Ужин готов? (нем.)

109

«Победа и отмщение», «Боже, покарай Англию!», «У сына Австрии есть отчизна. Он любит её, и у него есть ради чего сражаться за отчизну» (нем.)

110

Брук-на-Лейте (нем.)

111

Шопроньская улица (венгерск.)

112

Боже мой (нем.)

113

Это отвратительно! (нем.)

114

Отвратительно, в самом деле отвратительно! (нем.)

115

Таскает с собой (нем.)

116

Идите… (нем.)

117

Господин, господин, господин судья! Девочки, девочки, деревенские девочки (венгерск.)

118

Не понимаю (венгерск.)

119

Вы понимаете по-немецки? (нем.)

120

Немножко (нем.)

121

Скажите барыне, что я хочу с ней говорить. Скажите, что для неё в коридоре есть письмо от одного господина (нем. с ошибками)

122

Барыня сказала, что у неё нет времени; если что-нибудь нужно, передайте мне (нем.)

123

Письмо для барыни, но держите язык за зубами (нем.)

124

Я подожду ответа здесь, в передней (нем.)

125

Венгерская площадная ругань.

126

Что это должно значить? Где этот проклятый негодяй, который принёс письмо? (нем.)

127

Я написал, не обер-лейтенант (нем.)

128

Подпись, фамилия фальшивые (нем.)

129

Я люблю вашу жену (нем.)

130

Капитальная женщина (нем.)

131

Вещественное доказательство преступления (лат.)

132

Прекратить огонь! (нем.)

133

Держаться до конца! (нем.)

134

Женский род — эх вы, а ещё образованный человек — есть «он фож». А мужской род есть «она фожак». Мы знаем своих паппенгеймцев! (нем.)

135

Благослови, боже, мадьяров (начало венгерского национального гимна)

136

Новенький (нем.)

137

«Исследование по истории эволюции половой морали» (нем.)

138

В чём дело? (нем.)

139

Швейк и Водичка (нем.).

140

Морковные обжоры, глупые рольмопсы, трефовая семёрка, грязная свинья, влеплю вам затрещины в ваши лунообразные морды (польск.)

141

Друзья в минуту расставанья. С надеждой шепчут: «До свиданья» (нем.)

142

Знак отличия (лат.)

143

Не стрелять! (нем.)

144

Не стучать) (нем.)

145

Войдите! (нем.)

146

Осмелюсь доложить (нем.)

147

Да, оде раз! (нем.)

148

Поверьте, до сих пор я видел в жизни мало хорошего, меня удивляет этот вопрос (нем.)

149

Через, полгода я сдам государственные экзамены и получу степень доктора (нем.)

150

Если они появятся в хороших переплётах (нем.)

151

В таком настроении он получил приглашение и пошёл к ней (нем.)

152

Политически неблагонадёжны (нем.)

153

Да, господа, Крамарж, Шейнер и Клофач… (нем.)

154

Одиннадцатой маршевой роте (нем.)

155

Ротному командиру (нем.)

156

Завтра утром на совещание (нем.)

157

В девять часов — подпись (нем.)

158

Полковник Шрёдер (нем.)

159

А, чтобы тебя чёрт подрал! (нем.)

160

Итак, в чём дело? (нем.)

161

Опять совещание, чёрт их дери всех! (нем.)

162

Старший писарь фельдфебель Ванек, господин обер-лейтенант (нем.)

163

Чернила (нем.)

164

Это что такое, господа? (нем.)

165

По всей вероятности, кошачий кал, господин полковник (нем.)

166

Вследствие точнее разрешается или же самостоятельно напротив во всех случаях подлежит возмещению (нем.)

167

Грубое немецкое ругательство

168

Мы покажем этим сербам, что австрийцы победят (нем.)

169

Всем укрыться, укрыться! (нем.)

170

Где командование батальона? (нем.)

171

Все назад! Все назад! (нем.)

172

Направление на ложбину, по одному! (нем.)

173

На месте преступления (лат.)

174

Спи, усни! Спи, усни! Очи сонные сомкни. Луч погас на небе алый, засыпай же, люд усталый, и до утра отдохни. Спи, усни! Спи, усни! (нем.)

175

Заткнись ты, несчастный! (нем.)

176

«Грехи отцов» Роман Людвига Гангофера (нем.)

177

Господа! (нем.)

178

Товарищи (нем.)

179

Итак, господа! (нем.)

180

Вы, кадет! (нем.)

181

На высоте 228 направить пулемётный огонь влево (нем.)

182

Вещь — с — нами — это — мы — посмотреть — в — эта — обещали — эта — Марта — себя — это — боязливо — тогда — мы — Марта — мы — этого — мы — благодарность — блаженно — коллегия — конец — мы — обещали — мы — улучшили — обещали — действительно — думаю — идея — совершенно — господствует — голос — последние (нем.)

183

Господин капитан, осмелюсь доложить… Иисус Мария! Не получается! (нем.)

184

«Руководство по военной тайнописи» (нем.)

185

Походной колонной, направление — склад № 6 (нем.)

186

Слушаюсь, господин обер-лейтенант (нем.)

187

Храбрый рыцарь, принц Евгений, обещал монарху в Вене, что вернёт ему Белград: перекинет мост понтонный, и тотчас пойдут колонны на войну, как на парад (нем.)

188

Скоро мост был перекинут и обоз тяжёлый двинут вместе с войском за Дунай. Под Землином стали наши, чтоб из сербов сделать кашу… (нем.)

189

Граф Радецкий, воин бравый, из Ломбардии лукавой клялся вымести врагов. Ждал в Вероне подкреплений и, хоть не без промедлений, дождался, вздохнул легко… (нем.)

190

Не разрешается! Не разрешается! Военная комиссия, не разрешается! (венг. и нем.)

191

Все разговоры между офицерами, естественно, ведутся на немецком языке. (Прим. автора.)

192

День, когда подохнет вероломная Россия, будет днём избавления для всей нашей монархии (нем.)

193

Объединёнными силами (лат.)

194

Быстро сварить обед и наступать на Сокаль (нем.)

195

Оба офицера вели разговор по-немецки. Эта фраза звучала так: «Sie haben sich damals auch mit den deutschen Mitschulern gerauft». (Прим. автора.)

196

В действительности Сагнер сказал: «Also, nazdar!» (Прим. автора.)

197

Udo Kraft. Selbsterziehung zum Tod tür Kaiser. C. F. Amelang’s Verlag. Leipzig.

198

Милый мальчик! (нем.) Кстати (франц.)

199

У меня вышли все козыри (нем. диал.)

200

Смелее вперёд! С богом, смелее вперёд! (нем.)

201

Знак отличия (лат.)

202

«Дело идёт о том» (нем.)

203

Держитесь стойко, храбрецы, врага разите, удальцы, стяг императорский развейте… (нем.)

204

«Венская иллюстрированная газета» (нем.)

205

Берегитесь, свиньи! (нем.)

206

За бога и императора (нем.)

207

Императорская и королевская штаб-квартира бога (нем.)

208

А воняет, парень, словно треска (нем. диал.)

209

Наложил, должно быть, полные штаны (нем. диал.)

210

Передайте моей доблестной армии, что она воздвигла себе в моём сердце вечный памятник любви и благодарности (нем.)

211

Воняет, как золотарь! Как засранный золотарь! (нем. диал.)

212

Такой человек, как вы, господин полковник, более необходим, чем никчёмный обер-лейтенант! (нем.)

213

«Смеющиеся песни» (нем.)

214

«Кружка и наука» (нем.)

215

«Сказки и притчи» (нем.)

216

Поцелуйте меня в задницу (нем.)

217

Разговор капитана Сагнера с поручиком Лукашем ведётся на чешском языке. (Прим. автора.)

218

Вокзал для воинских эшелонов (нем.)

219

Кто говорит о… (нем.)

220

Ну, как себя чувствуете? (нем.)

221

О-о-очень хо-ро-шо… Одеяло! (нем.)

222

Святая Мария, матерь божья' (нем.)

223

Троекратное ура (нем.)

224

Проклятая свинья (итал.)

225

Свинья (итал.)

226

Мадонна моя свинья, папа свинья (итал.)

227

Наши герои в Италии от Виченцы до Кустоццы, или… (нем.)

228

Кровь и жизнь за Габсбургов! За Австрию, единую, неделимую, великую!.. (нем.)

229

За императора, бога и отечество (нем)

230

Наши бравые серые шинели (нем.)

231

В половине девятого тревога, испражняться и спать! (нем.)

232

Итак, извольте видеть, в половине девятого испражняться, а через полчаса спать. Этого вполне достаточно (нем.)

233

Чех или немец? (нем.)

234

Чех, осмелюсь доложить, господин генерал-майор (нем.)

235

Отделениями, под командой отделённых командиров (нем.)

236

Встать! Смирно! Равнение направо! (нем.)

237

Вольно, продолжайте! (нем.)

238

Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, солдат этот слабоумный, слывёт за идиота, фантастический дурак (нем.)

239

Что вы говорите, господин лейтенант? (нем.)

240

Больше срать не будешь? (польск.)

241

Да нет, вольно, вольно, продолжайте! (нем.)

242

Понимаете, что я хочу сказать… Можете идти! (нем.)

243

Первое отделение, встать! Ряды вздвой… Второе отделение… (нем)

244

Отставить! (нем.)

245

Иштвансупруги (нем.)

246

Итак, десять гульденов… Пять гульденов курица, пять — глаз. Пять форинтов кукареку, пять форинтов глаз, да? (нем. и венг.)

247

Добрый день, приятель, прощай… (венг. и франц.)

248

Смирно! Вольно! Смирно! Направо равняйся! Смирно! Вольно! Направо! Отставить! Направо! Налево! Полуоборот направо! Отставить! Полуоборот направо! Полуоборот налево! Налево! Налево! Заходить шеренгой! Шеренгой… Прямо! Кругом! Стать на одно колено! Ложись! Приседание делай! Встать! Приседание делай! Встать! Ложись! Встать! Ложись! Встать! Приседание делай! Встать! Вольно! Направление на вокзал. Шагом марш! Отделение, стой! Отделение, стой! Короче шаг! Шире шаг! Переменить ногу! На месте! На месте! (нем.)

249

В ногу! Отделение, кругом марш! Отделение, стой! Бегом марш! Отделение, марш. Шагом! Отделение, стой! Вольно! Смирно! Направление на вокзал! Бегом марш! Стой! Кругом! Направление к вагону! Бегом марш! Короче шаг! Отделение, стой! Вольно! (нем.)

250

На прицел! Наизготовку! На прицел! (нем.)

251

К ноге! На плечо! К ноге! На плечо! (нем.)

252

Смирно! Равнение направо! (нем.)

253

Смирно! (нем.)

254

Наперевес! К ноге! Наперевес! На плечо! Примкнуть штыки! Отомкнуть штыки! Штык в ножны! На молитву! С молитвы! На колени к молитве! Заряжай! Пли! Стрелять вполуоборот направо! Цель — штабной вагон! Дистанция — двести шагов… Приготовиться! На прицел! Пли! К ноге! На прицел! Пли! На прицел! Пли! К ноге! Прицел нормальный! Патроны готовь Вольно! (нем.)

255

Снять головной убор! (нем.)

256

Стрельба залпами! (франц.) Готовьсь! На прицел! Пли! (нем.)

257

Политически неблагонадёжен! Остерегаться! (нем.)

258

Императорский и королевский артиллерийский дивизион (нем.)

259

Винер-Нейштадт (нем.)

260

Осмелюсь доложить, ротный ординарец… (нем.)

261

Первое мая (нем.)

262

Грязная скотина, ты свинья (нем.)

263

Слушаюсь, господин обер-лейтенант! (нем.)

264

Шапка (нем.)

265

Буду стрелять! (Солдат-поляк плохо говорит по-немецки, и у него выходит scheisen вместо schiesen, то есть «срать» вместо «стрелять»)

266

Начальник караула! Начальник караула! (нем.)

267

Боже, храни короля! (венг.)

268

Слава! (венг.)

269

Слава! Слава Четырнадцатому полку! (венг.)

270

Кругом — шагом марш! (нем.)

271

Водка у меня тоже имеется, достоуважаемый господин солдат! (нем.)

272

Ничего, кроме хорошего (лат.)

273

Да здравствует наш батальонный командир! (нем.)

274

Герой (нем.)

275

Пожертвовал (нем.)

276

Отечество (нем.)

277

Отделение кухни офицерского питания (нем.)

278

Героям Лупковского перевала (нем.)

279

Поразительно! (франц.)

280

Ангельские шлюхи (нем.)

281

Занято! (нем.)

282

Войдите! (нем.)

283

Эльза, жизнь моя (еврейск.)

284

Грубое мадьярское ругательство

285

Кто говорит по-немецки? (нем.)

286

Осмелюсь доложить, господин фельдфебель! (нем.)

287

Вобейда — в русском переводе «хулиган»

288

«Не знаю, что это значит» (нем.)

289

Не знаем по-чешски (нем.)

290

Вы понимаете по-немецки? (нем.)

291

Да! (нем.)

292

Задница (польск.)

293

Императорская и королевская кошка военных складов (нем.)

294

Это точно: Прага № 16, Йозеф Божетех? (нем.)

295

Мы должны победить (нем.)

296

О ёлочка, о ёлочка, как прекрасна твоя хвоя! (нем.)

297

Оставьте это! (нем.)

298

Да (нем.)

299

Что? (нем.)

300

Деньги на питание (нем.)

301

Здесь! Осмелюсь доложить, пехотинец Швейк, ординарец одиннадцатой маршевой роты! (нем.)

302

Годным к строевой службе (нем.)

303

Вместе с твоим окружным начальником можешь поцеловать меня в задницу (нем.)

304

Сию минуту, господин лейтенант! (нем.)

305

«Что вредит желудку на войне» (нем.)